СЕРГЕЙ НИКИТИН

Повести и рассказы

СЕРГЕЙ НИКИТИН

Повести и рассказы



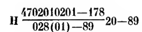
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1989

ББК 84Р7
Н62

Предисловие
В. Соколова

Составление и подготовка текста
К. Никитиной

Оформление художника
Е. Карацевич


Н $\frac{4702010201-178}{028(01)-89}$ 20—89

ISBN 5—280—00520—7

О СЕРГЕЕ НИКИТИНЕ

Я познакомился с Сергеем Никитиным очень давно, лет сорок назад. Никитин тогда перевелся из Института международных отношений в наш, Литературный. Постепенно мы подружились. И по окончании института, приезжая в Москву из Владимира, Сергей Константинович часто останавливался у меня. В дальнейшем чаще у своего знаменитого земляка Алексея Фатьянова. Что сблизило нас тогда? Видимо, чувство какой-то литературной обособленности. И, как теперь понимаю — лиризм.

«Я твердо верю, что путь к природе — это путь к прекрасному не только вне себя, но и в себе. Кто волновался, вдохнув буйный занах черемухи, видел, как раскрывается на рассвете точеный цветок лилии в тихой заводи реки, грустил, провожая взглядом осенний караван журавлей, проходил, как в сказке, по зимнему ельнику — тот и в себе открыл что-то прекрасное» («Голубая планета»). Эти строки с тенью декларации я с трудом обнаружил у Никитина. Декларации он не любил, как недолюбливал и разговоров о литературе, всякие там споры о форме, об идейности, о безыдейности и т. п.

В этом смысле мне с ним было легко, а ему со мной, наверно, тоже. Он втайне вынашивал замыслы, втайне вырабатывал свой взгляд на вещи, втайне формировал себя как писателя. Он даже с догматизмом и культом личности боролся как-то про себя, предпочитая противоречить им самой сутью своих рассказов. При этом он был человеком неробкого десятка.

Однажды у меня дома Сергей с самого утра начал волноваться, перелистывать свои рукописи, перечитывать что-то в них... Потом выяснилось, что вечером он идет к Пришвину. Вернулся он от Пришвина какой-то даже слишком тихий. Озадаченный. Долго молчал, а потом спросил: «Как ты считаешь, нужна философия писателю?..»

Были мы очень молоды. И я сперва обрадовался, потому что не к оценке рассказов относится озадаченность моего друга (рассказы Пришвину понравились). А затем только задумался над его вопросом и понял, что разговор был очень серьезным. «Помимо таланта, формы, содержания необходима своя философия...» — повторил Никитин слова Пришвина. Я сказал, что есть же у нас философия. «Да нет,— сказал Никитин,— он считает, что своя должна быть». В несколько подавленном настроении мы пошли пройтись по вечерней Москве...

Не знаю, как насчет своей философии, но свое кредо у Никитина с годами сформировалось. Оно в основе своей может быть выражено словами Есенина: «Я думаю, как прекрасна земля, а на ней человек».

Помню, я как-то задумался и непроизвольно сказал: «И каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне...» И не продолжил. Никитин вздохнул и сказал: «А мне больше нравятся

стихи, когда... ну вот такие: «Скребницей чистил он коня и все ворчал, озлясь не в меру...» Это было на моей памяти чуть ли не единственное его высказывание о поэзии. Тогда оно мне показалось нарочитым. Интересно, что в коротеньком вступлении к книге «Медосбор» Никитин приводит четверостишие именно Твардовского («Что-то я начал болеть о порядке в пыльном лежалом хозяйстве стола» и т. д.) — там «скребница», здесь «хозяйство», то есть элементы «прозы» импонировали ему в стихах. Мне же в его прозе импонировала поэтичность.

В том же вступлении к «Медосбору» Никитин говорит, что до этой книги он придерживался «строгих классических правил жанра» (рассказа). Это очень трудное дело — придерживаться строгих правил. «Придерживаться» означало — каждый раз, от рассказа к рассказу — побеждать эти правила. Для этого нужен большой и сильный талант, высокое умение владеть этим талантом. И тем и другим Никитин обладал в полной мере. Волшебной свежестью веет от его прозы. Прав Владимир Солоухин: «Страница его творчества легла золотой страницей в родную речь и останется в ней навсегда».

Действие его рассказов чаще всего разворачивается на почти идиллическом фоне (лесное озеро, речка, опушка леса, городская или сельская улочка...), но в идиллию как-то незаметно вторгаются элегия, драма, трагедия. И оттого, что эти драмы, а порой действительно трагедии происходят в жизни людей, которых принято считать обычными, «простыми»,— щемит сердце, волнуется память, тревожным и глубоким смыслом наполняется такое примелькавшееся выражение «судьбы народные».

Гармоническая проза Никитина полна горчайших диссонансов. В одних рассказах они звучат открыто, в других прорываются между строк... Никитина нужно читать медленно. Рассказы его можно слушать, как шум леса, как чей-то разговор на лавочке возле дома, как курлыканье журавлей; в его рассказы можно вглядываться, разглядывать их, как картины старых наших пейзажистов и передвижников.

Природа — одно из активных действующих лиц в прозе Сергея Никитина, здесь он продолжает на достойном уровне традицию Тургенева, Чехова, Бунина. Мир, в котором живут его герои, предметен, полон живых подробностей. Это мир ощутимый.

«Плотный, тяжелый туман бродил над рекой; вода тихо плескалась о бревенчатые сваи причала». «Когда пролетали гуси, он нес к костру котелок с водой, остановился и долго, как зачарованный, стоял, прислушиваясь, потом вздохнул глубоко, радостно и сказал:

— На север полетели...

Все звуки были предельно чисты. И то же ощущение чистоты вызывали и колко-свежий воздух, и лучистый свет звезд, и тонкий, едва уловимый запах вербной пыльцы»,

«На крыльце, в затишке, чувствуется, как солнце совсем по-весеннему пригревает щеку, а на карнизе матовая с ночного мороза сосулька уже сверкает на самом кончике алмазной каплей».

А вот лесное озеро:

«Осенью оно бывает сплошь завалено сухими листьями дубов, рябин, черемухи, липы, орешника. Лодка скользит по его поверхности с тихим шуршанием, мокрые листья липнут к ее бортам, виснут на веслах».

Природа, ее черты одухотворены не только красотой, но и постоянным, ненавязчивым присутствием в ней человека. Примеры эти выбраны наугад; видимо, есть и более яркие. Но и по этим цитатам видно одно из драгоценных свойств писателя — умение вкрапливать черты природы и обстановки в само действие рассказов, связывать их с ощущением героев так, как это бывает в жизни, невзначай. Зримость места действия в прозе Никитина как бы уверяет и убеждает в подлинности происходящего.

Сергей Никитин хорошо знал людей, о которых писал. Когда в 1951 году мы с ним были на Куйбышевгидрострое, я в течение довольно долгого времени имел возможность наблюдать, как легко и просто он умел «разговорить» человека. Здесь играл, конечно, свою роль опыт газетчика, но в большей степени это зависело от его личного обаяния, от его искреннего интереса к людям. Книги его населены множеством людей. Иной рассказ он мог бы при желании развернуть в повесть — такие интересные характеры и завязки возникали в пределах небольшой вещи. Но именно в тесных пределах рассказа Никитин чувствовал себя свободно и просторно.

Может показаться, что Сергей Никитин, как писатель, не ставил перед собой больших проблем. Это не так.

Конец 40-х — начало 50-х годов, когда он писал свои первые рассказы, были временем труднейшим для литературы. После известного «ждановского» постановления о журналах, в атмосфере, гнетущей и угнетающей живые таланты, и писание и публикация самобытных, неподчиненных официальным указаниям произведений само по себе было проблемой. Так что даже наедине с пером и бумагой писатель не был один — с ним рядом сидел призрак (в чем-то даже более реальный, чем сам писатель),— призрак-цензор, то и дело хватающий за руку. А начинающий писатель хочет печататься не в меньшей степени, чем писатель известный, даже в большей... Начинающий писатель Никитин позволил себе писать так, как будто никакого давления не было. Правда, у лирической прозы, особенно если в ней больше хорошей погоды, чем плохой, были еще какие-то возможности. Редко, но отдельные небольшие рассказы Никитина начали появляться в печати. Начал пробиваться рывками живой никитинский родник.

Показать живых, настоящих, невыдуманных людей, не «кава-

леров золотой звезды», а именно простых людей в их обыденных ситуациях — тоже было проблемой. С. Никитин уже тогда прокладывал путь, по которому так увлеченно, размашисто пойдут В. Шукшин, В. Белов, другие.

«Я видел много российских рек,— писал Никитин,— и вовсе не по пристрастию туземца могу сказать, что Клязьма с ее притоками, Киржачом, Пекшей, Воршей, Колокшей, Нерлью... и другими, более мелкими — один из самых красивых речных бассейнов средней России. Все эти реки, речушки не похожи друг на друга...

Я давно замечал, что река, вблизи которой вырос человек, откладывает своеобразный отпечаток на его характер. Даже глаза щурят по-разному волжане и дончаки, днепровцы и уральцы, клязьминцы и деснинцы. И если говорить о Клязьме, то я сказал бы, что она вплетает в характер человека какую-то лирико-меланхолическую жилку, начинающую нежно вибрировать от соприкосновения с природой даже в каком-нибудь отчаянном ковровском ушкуйнике — кому, как известно, сам черт не брат».

Как это характерно для Никитина, от реки перейти к человеку. Людские судьбы, как притоки, втекают в ровную реку его прозы, отражающую и небо, и берега с лесами, деревнями и городками Владимирщины. Бакенщики, плотники, доярки, художники, пастухи, музыканты, сочинители, паромщики... Каждый со своим сюжетом, своим обличьем и характером составляют пестрое и интереснейшее население книг этого талантливого самобытного писателя.

Как каждый значительный русский писатель, Никитин защищал лес. Он был для него и некоей философской категорией.

«Мертвое дерево надо мной роняло с веток сухую шелуху».

«Дерево падает, а лес стоит»,— вспомнил я поговорку знакомого лесного объездчика Феди.— ...Он так прочно соединился душой своей с лесом, что решал через него самые сложные вопросы человеческого бытия. Эти откровения, по-видимому, являлись ему без усилия мысли, в результате мгновенного и непроизвольного обобщения опыта и выражались в пословицах, как издревле выражалась всякая народная мудрость... дерево падает, а лес стоит...

Но, как всегда, в пословице смысл слов перерастал их буквальное значение, и в этом случае она, по-Фединому, выражала мысль о том, что в одиночку человек смертен, а в массе вечен».

Сергей Константинович Никитин родился в 1926 году в Коврове. В декабре 1973 года скончался во Владимире. Он был замечательным писателем, превыше всего ценившим правду и Родину. Россию.

Когда я думаю о Сергее Никитине, часто вспоминаю слова одного из его героев, старого владимирского рожечника: «Я против души не играю»; это в полной мере относится и к писателю.

Владимир Соколов

Повести

СОБСТВЕННЫЙ ДОМ

1

Жил да был в городке посреди России портной Роман Половодов.

Городок невеликий — были в нем только районные учреждения, машинно-тракторная станция, пекарня да крохотный заводик, отливающий из чугунного лома сковородки, печные дверцы и статуэтки «Мефистофель». Но жизнь текла в нем, как и всюду. Здесь был свой рабочий класс, своя футбольная команда, своя газета, свои патриоты, говорившие, что лучше их Ульева нет места на земле, и свои недоброжелатели, утверждавшие как раз обратное. Разница между ним и большими городами была только в масштабах. Она особенно резко выступала там, где масштаб суживался до возможного предела, окружая какую-нибудь личность ореолом единственности. Так было и с портным, и если в городке говорили: «Иду к портному»,— то все знали, что речь шла не просто о портном, а об определенном человеке с фамилией, судьбой и характером.

Надо заметить, что шил этот портной прескверно. Благодаря ему ульевцы одевались по модам, никогда не существовавшим, но давно уже привыкли к этому и на приезжего человека, одетого со вкусом, смотрели как на чудака.

Судьбы Роман Половодов был с виду ровной и прямой. Он жил в городке с молодых лет, здесь же состарился, нажил двух дочерей, похоронил жену и выстроил большой пятистенный дом на высоком каменном фундаменте.

Строил он его долго и тяжело, весь вытянулся на работе, ссутулился и стал похож на длинный гвоздь, который долго вбивали, но не вбили, а только согнули слегка. Зато и дом стоил трудов. Он выделялся даже среди добротных построек Ульева и с каким-то высокомерием смотрел на улицу поверх долговязых мальв, словно и в нем отразился самодовольный нрав хозяина, непоколебимо убежденного теперь в том, что жил он не зря и так, как надо.

В летние вечера Роман Половодов любил открыть окно, поставить на подоконник радиолу и сотрясать тихий

воздух мощью ее музыки. В этот час у каждых ворот стояли хозяйки, встречавшие с выгона коров, и Роман, скрытый тюлевой занавеской, наслаждался тем, что лишний раз может подчеркнуть перед людьми свой прочный достаток. Из тех же побуждений принимал он заказчиков не в передней, а в самой задней комнате, чтобы те, пройдя через весь дом, были должным образом потрясены и ковровыми дорожками, и диваном с высокой спинкой, и зеркальным шкафом, и пианино, и горкой с хрусталем, а паче всего — раззолоченными немецкими литографиями, на которых в целомудренных позах возлежали синие русалки и порхали жирненькие ангелы.

На исходе шестого десятка Роман женился во второй раз.

Случилось это в ту самую зиму, когда он шил пальто вдове Мурыгиной. Полненькая разбитная вдова прибегала на примерку в лихой смушковой папахе набекрень, строчила каблучками через весь дом, а Роман при этом выпячивал грудь, старался не горбиться, не шаркать ногами и угощал вдову чаем с вареньем.

Свадьбу он сыграл, как молодой, с показным разгулом, даже с битьем горшков, за что многие из тех, кто вволюшку пил и ел на свадьбе, осудили его.

В жизни Романа впервые случилось так, что людская молва не одобрила его поступок, и он вначале даже смутился, но потом, укрепясь сознанием своей независимости, высказался так:

— Собака лает, ветер носит. Я у людей не занимал, чтобы свадьбу играть. Значит, пусть подожмут языки.

2

В молодости вдова Олимпиада Сергеевна Мурыгина была очень хороша собой. Маленькая, крепенькая и смуглая, с золотистыми насмешливыми глазами, она считалась в селе Акулове первой красавицей. Многодетная семья жила бедно, но даже в обносках старших сестер Липа вызывала между парнями мордобития и более серьезные столкновения, после которых сельский старичок фельдшер выстригал чубы и сшивал на головах раны.

— Хороша у тебя, сват, девка,— говорил на ее первой свадьбе отец жениха, толстогубый мордастый мельник, известный тем, что ел живых пескарей,— да сел на цветок порхун мотылек. Ей бы моего старшенького из армии по-

дождать: агромадная шельма! А этот ни нажить, ни прожить не умеет, только исть горазд...

Жених — белокурый, ясноглазый великан, глядевший на мир с каким-то радостным изумлением,— имел пристрастие к певчим птицам. Он добывал перепелов, дроздов, канареек — любил особенно последних, отличал среди них поющих россыпью, дудкой, овсянкой, колокольчиком,— а потом, чуждый всяких помыслов о выгоде, отпускал их на волю.

Пьяненький отец невесты на слова свата только хихикал и крутил головой. Никто не знал, что перед свадьбой между отцом и дочерью происходил такой разговор.

«На что тебе этот недотепа сдался, Липка?»

«И-и-и, батя, полно! Мне ума не занимать. Своим проживу, без мужниного, а уж вылезу из грязи в князи».

«Семьишка-то крепкая, ухватистая,— соглашаясь, тянул отец,— да парень-то того... Он в стороне у них, на отшибе».

«Зато моя власть будет. Я его, как соломенное чучело, куда хочу поверну».

И тот действительно двигался в жизни исключительно волей жены, покуда эта воля не привела его к тому, что, забросив птиц, стал он прижималой и живоглотом не хуже мельника и в пору раскулачивания пошел вместе с ним на Алдан мыть советское золото.

Чтобы не мозолить глаза односельчанам, Олимпиада Сергеевна исчезла из Акулова, затерялась и осела в безвестном городке Ульеве, где вскоре вышла замуж за капитана речного катера.

Какая же красивая была эта пара — стройный, широкоплечий, мускулистый капитан и смуглая, гибкая, с грациозно ленивыми движениями сытого зверя Олимпиада Сергеевна!

Жили они в маленькой комнатке капитана, увешанной по стенам репродукциями с Айвазовского на кнопках. Капитан бредил морем. Ему надоело возить торговок луком, надоело отрывать им длинные ленты трамвайных билетов на рубль сорок, на два с полтиной, на пятерку, надоела оскорбительная придирчивость кассира пристани, надоело все, что было связано с этим обшарпанным катером, носившим, словно в насмешку, такое сурово-романтическое имя — «Прибой»... Но Липа взглянула на работу мужа поиному. Всеми хитрыми и верными, как осада, бабьими средствами она понуждала капитана, поелику возможно,

укорачивать ленты билетов. И тот вначале оскорблялся, ссорился с женой, переселялся на катер и там в дни безденежья валялся на койке, машинально ковыряя пальцем стенную шпаклевку, а когда случались деньги, напивался так, что однажды видел на крыше гальюна русалку, а в другой раз — круглую дырочку в самом центре луны. Потом в минуту похмельной слабости и раскаяния он уступил. И уж с тех пор запил беспросветно, не сумев столковаться со своей совестью.

Через три года это был совсем больной человек, который, вызывая у соседей сочувствие к несчастной Олимпиаде Сергеевне, ходил зимой по улицам в калошах на босу ногу и выпрашивал у знакомых «до завтра» денег. Просил он всегда почему-то восемь рублей и кончил тем, что замерз пьяный в рубке катера, стоявшего на зимовке в затоне.

Итог Олимпиада Сергеевна подвела для себя печальный. Годы уходили, а за душой у нее — ни дома, ни семьи, ни зажитка.

В сороковые военные годы, когда жулье и спекулянты со сказочной быстротой воздвигали карточные домики своего богатства, ей опять не повезло. Тогда в Ульеве промелькнул молодой грузин в грязном габардиновом макинтоше Жора Микадзе, делавший гигантские обороты с цитрусовой водкой. Он увлек с пути истинного демобилизованного по ранению председателя Ульевского райпотребсоюза, и тот — человек веселый, бесшабашный — открыто загулял на дурные денежки, бросил семью и переселился к Олимпиаде Сергеевне. Он умел легко, не мучаясь потом укорами совести, пропить все, что у него было, умел, не чувствуя себя должником, погулять на чужой счет, умел ударить по струнам гитары и со страстным придыханием выговорить: «Эх, раз, еще раз...» — но все это было не тем, к чему стремилась Олимпиада Сергеевна. Ей хотелось иметь собственный дом. Он вставал в ее грезах большой, просторный, полный дорогих вещей — надежный залог благополучия и счастья. Но сколько ни старалась Олимпиада с помощью Жоры Микадзе утихомирить разгулявшегося председателя, тот не слушал никаких советов и вскоре попал под суд, на котором, впрочем, не было Жоры Микадзе.

На этот раз Олимпиада Сергеевна вдовела долго. Она сильно сдала — потеряла прежнюю румяную смуглоту, поплотнела, округлела в талии и при своем маленьком росте стала похожа на кубарь. И вот когда она уже почти

примирилась с мыслью, что ей придется вековать во вдовьей комнатушке с застиранными тюлевыми занавесками, на ее пути попался Роман Половодов...

3

Старшая дочь Половодова — Анна — вела домашнее хозяйство, а младшая, Елена, или Елка, как звала ее покойная мать, училась в школе.

Анна была уже не молодая, крупная девица, похожая широким глазастым лицом на сову, когда, ошалев от яркого света, та бессмысленно ворочает круглой головой. Потеряв надежду выйти замуж в Ульеве, она ездила в места, где преобладало мужское население — в Магадан, на Сахалин, на Курилы,— но через пять лет вернулась ни с чем.

Сознавая, что некрасива, Анна всячески старалась подчеркнуть роскошную силу своего тела — рослого, стройного и подавляюще жизнеобильного. С этой целью она одевалась во все узкое, короткое и открытое. Мужчины, словно загипнотизированные кролики, смотрели на ее высокую острую грудь, на полные желто-смуглые, как свежее масло, руки и постепенно начинали испытывать нездоровый гнет, точно окормленные каким-то дурманом.

Анна редко улыбалась, еще реже смеялась, с отцом и младшей сестрой была груба и надменна, зато наедине с собой много плакала, и после этого лицо у нее становилось бледным, с синевой под глазами, и все догадывались, что она плакала, но не решались заговорить с ней, боясь налететь на грубость.

В предсвадебной суете она не участвовала, делая вид, что все это ее не касается. Зато Елка с откровенным упреком смотрела, как незнакомые тетки перетаскивали из комнаты в комнату столы, рубили на пороге мороженое мясо, палили телячьи ноги, переливали из четвертей в графины мутно-розовый самогон.

— Папа, ты бы не звал гостей,— улучив минутку, попросила она отца.

Но Роман в мечтах своих давно уже видел обильный стол, себя в дорогом бостоновом костюме, дорогой подарок (цигейковую шубу первой жены), который он на глазах гостей преподнесет невесте, и нелегко ему было отказаться от предвкушаемого удовольствия подмечать на себе одобрительные, завистливые, уважительные взгляды: крепко-де живет Половодов Роман...

— Бывало, добрую свадьбу целую неделю гуляли. Княжий стол был, пирожный стол, у свекра...— с мечтательной рассеянностью ответил он дочери.

Утром Елка взяла свой портфельчик, будто собралась в школу, и пошла на кладбище.

В городе было два кладбища — старое и новое. На старом давно уже не хоронили, и все оно заросло акацией, жимолостью, бузиной и сиренью, а в прозеленевшей у земли церковке расположился краеведческий музей.

Мама была похоронена на новом кладбище. Елка долго шла по булыжному шоссе, уже обтаявшему на мартовском солнце, потом свернула на затоптанную грязными подошвами тропу и направилась к сосновому бору, густо и четко синевшему среди сверкающих снегов. В этом бору и было кладбище. Здесь стоял запах морозной хвои, с которым всегда связан погребальный обряд, и он, этот запах, живо напомнил Елке день маминых похорон. Туманное солнце висело тогда над желтыми от его света сугробами, визжал под ногами промерзший снег, и звук похоронного марша среди морозного солнечного покоя наполнял душу какой-то леденящей безнадежностью, ощущением вечного холода и пустоты... И теперь, как только синяя тень бора накрыла Елку, это ощущение опять вошло ей в душу, заставив со стоном закрыть глаза и бессильно привалиться плечом и щекой к шершавому стволу сосны. Еще секунда — и она бросилась бы прочь в страхе перед оцепенелой тишиной зимнего кладбища, но услышала над головой тихий шорох и, вздрогнув, открыла глаза. По стволу деловито бегали два поползня, прятались за толстое корье и со смешным любопытством косились вниз, на розовый помпон Елкиной шапочки. И Елка при виде этих крохотных сгусточков жизни успокоилась, пошла дальше по тропке, петляющей между едва заметными под снегом холмиками. Иногда она останавливалась, чтобы прочитать надпись на кресте или сварном чугунном обелиске, выкрашенном серебряной краской. Эпитафии были простые, лаконичные: «Иван Петров Вавилов. Родился в году 1879, июля 7 дня. Почил в году 1938, апреля 3 дня». Были и пространные, витиеватые, с перечислением всех добродетелей и мирских заслуг покойного. Одна из них, написанная стихами, гласила:

Средь нас он жил и весел и умен.
И с честью нами же захоронен.
Скончался он от роду двадцать лет.
Красив и молод был. Порукой в том — портрет.

На пожелтевшей, с потеками карточке почему-то не выцвели только зрачки и резко чернели двумя точками, словно проколотые. К стихам, выведенным каллиграфическим почерком, была сделана корявая приписка: «Сынок, мы тебя никогда не позабудем». И в сравнении с пошлостью стихов эти слова глубокого, искреннего горя были так трагически просты, были так трогательны своей непосредственностью, что жалость к тому, кто писал их, пронзительно кольнула Елку. Когда она подошла к маминой могиле, слезы давно уже бежали жгучими струйками по ее стянутым холодом щекам.

«Ах, зачем, зачем так устроено!» — с отчаянием подумала Елка.

Она постаралась представить и себя в мерзлой глине, вот здесь, под снегом, но все ее семнадцатилетнее существо воспротивилось этой мысли, и смерть показалась такой далекой, даже невероятной, что представить ее просто не удалось.

Подложив свой портфельчик, Елка села на смерзшийся сугроб. Отсюда сквозь стволы сосен ей была видна улица городка на высоком берегу реки, яркие вспышки солнца в окнах домов, ребятишки на лыжах, собаки, куры, выпущенные на первые проталины,— вся незатейливая, будничная жизнь улицы. Вот вышла женщина с ведром, пустила по речному склону поток помоев и загляделась из-под ладони на сверкающий мартовский снег. Проехал мужчина в тулупе на возке дров, отмахнулся кнутом от ребят, ладивших пристроиться сзади. Потом вылез на крышу парень в рубахе, замахал, засвистал — и с конька сорвались белые, палевые, сизые голуби, взмыли ввысь, упоенные полетом в солнечной синеве неба.

Елка вспомнила, как пять лет назад шла за маминым гробом и думала, что теперь и ее собственная жизнь бесповоротно кончена. Потом решила, что останется жить, но откажется от всех развлечений, будет только учиться, помогать Анне по хозяйству, и никто никогда не увидит на ее лице улыбки. И что же? Время летит над головой — только шапку держи, чтоб не сдуло: скользнули пять лет — и она хохочет, запрокидывая голову, бегает по субботам в заводской клуб на танцы, а в новогодний вечер танцевала с десятиклассником и вот уже больше года никак не может забыть об этом случае.

Елка все еще плакала, сидя на сугробе, но уже не глухое могильное отчаяние вызывало у нее эти слезы, а грустная нежность к маме, которую она теперь считала

забытой всеми, кроме нее. Это чувство даже радовало Елку, как что-то хорошее в ней, и она старалась продлить его, перенося на все, что видела перед собой. И никогда еще, казалось ей, не думала она с такой любовью и нежностью о серепьких поползнях, о ребятишках, о женщине с ведром, о голубях, о всем этом мире, наивно обрадованном нынче такому малому пустяку — первому теплу весеннего солнца-бокогрея...

4

Вернувшись домой, Елка едва протиснулась сквозь толпу любопытных, забивших крыльцо, сени и кухню.

— Подойди поздравь отца,— сказала Анна, сильно толкнув ее в плечо.

В зальце, как называли эту просторную комнату, было людно, тесно, шумно и так накурено, что дым голубовато-серыми языками утекал под потолком в смежные комнаты. С холода у Елки слезились глаза, она ничего не видела, кроме блеска посуды на столе, и, шагнув наугад, на голос отца, сказала, целуя его в мокрые усы:

— Поздравляю, папочка...

— Прошу любить и жаловать! Дочка моя! Наследница! — орал Роман.

От вонючего самогона все тупо охмелели, бестолково кричали в уши друг другу каждый о своем, и было не весело, как могло показаться, а просто шумно. Плясали без улыбки, с бледными потными лицами, и когда на эту визжавшую, трясущуюся в тесноте толпу упал через окно красноватый отблеск заката, пляска стала похожа на безобразную оргию дикарей, бесновавшихся вокруг костра. Движок с литейного завода еще не дал ток; комната погрузилась в дымные фиолетовые сумерки, и среди них из кухни вдруг донесся взрыв хохота, потом наступила выжидательная тишина и послышалась песня. Пели ее двое мужчин, внося в комнату на плечах женщину, сидевшую верхом на гладильной доске. И что это была за песня! Сложенная на мотив «Дубинушки», она состояла из гнуснейшей похабщины, но не так сама похабщина была страшна и отвратительна, как женщина, восседавшая на гладильной доске. Толстая, коротконогая, она была слеплена из каких-то пузырей, обтянутых блестящим шелком, и вся колыхалась при каждом шаге мужчин. А шагали они рывками — шаг вперед и тут же полшага назад,— и

женщина, колотя в такт мерзкой песне вилкой по жестяному чайнику, визгливо выкрикивала:

— Нейдет! Нейдет!

— Пойдет! — уверенными басами обещали мужчины и заунывно начинали новый куплет.

Елка, сидевшая возле двери, гадливо отшатнулась от этой процессии и посмотрела на отца, как бы призывая его встать и прекратить разгул своей властью хозяина дома. Но тот даже не заметил ее взгляда. Он сидел, подавшись вперед, прерывисто дыша разинутым ртом, испытывая, очевидно, только одно — восторг и безграничное довольство собой: «Вот как гуляет Половодов Роман!..»

В кухне Елку схватили, усадили на табурет и стали подкидывать к потолку, требуя выкуп.

— Пустите... пустите...— задыхаясь от бессильной злобы, шипела она и, не помня себя, ударила кого-то по лицу...

Потом долго сидела посреди двора на перевернутом поросячьем корыте, ела и прикладывала к щекам и темени ломотно-морозный снег. Было уже совсем темно. Строгий в своих очертаниях, холодный и печальный, блистал в небе Орион. Кто-то в этот вымороженный до сухости вечер, быть может, наводил на него телескоп, где-то мчался по своей орбите маленький спутник, чья-то мысль билась над созданием новой машины, звучала в каком-то театре увертюра «Лебединого озера», а совсем рядом стены половодовского дома глухо гудели от пьяной песни:

— Нейдет! Нейдет!

— Пойдет...

5

Анне сразу же пришлось потесниться в своем положении хозяйки дома, и хотя она продолжала справлять всю кухонную работу, уже не получала от отца на хозяйство ни копейки. Чуть свет Олимпиада Сергеевна, надвинув на ухо каракулевую папаху, подведя глаза и губы, сама убегала на рынок за покупками, и все чаще Роман на вопрос Анны, что приготовить, как сделать то или это, отвечал:

— Ты уж спроси у Липы. Пусть она распорядится...

В ответ Анна лишь надменно усмехалась, а если при этом была и Олимпиада Сергеевна, с нарочитым безразличием говорила:

— Всякая потаскуха мне не указ, это вы оставьте, папаша.

— Опара перекисшая. Невеста застоялая,— парировала Олимпиада Сергеевна.

Они жалили друг друга зло, расчетливо, в самое больное место, потом разбегались по разным комнатам и плакали.

— Зачем, зачем вы привели ее в наш дом? — кричала Анна, когда отец приходил утешать ее.— Ослепли, что ли? Думаете, вы ей нужны? Посмотрите на себя! Разве вы муж такой бабе? Ваш дом ей нужен, наследство.

— Ну, Аннушка, полно,— бормотал старик.— Вы-то с Елкой разлетитесь из родного гнезда... фрр! А я-то на старости лет с кем останусь? Кто за мной ходить станет?

— Фррр! — передразнила его Анна.— Я ли за вами не ходила, чего вам еще? А понадобилась грелка под бок, так могли бы и без свадьбы к Липке ходить, у нее это просто.

— Цыц, паскудница, сквернословка! Нахваталась по сибирям-то! — топал ногами Роман.

Он шел утешать Олимпиаду Сергеевну и там слышал:

— Уйду я, нет моих сил больше терпеть от нее. Ну что плохого я ей сделала? Зачем она меня грязью поливает?

Роман ладонью вытирал ей слезы, глядел в поблекшее, но все еще милое лицо, и в груди у него странно теплело, глаза тоже подплывали близкой стариковской слезой.

И опять во время этих омерзительных сцен всем было не до Елки. Она уходила из дому, шагала по улицам, по весенней распутице и угрюмо думала:

«Уехать бы отсюда... Вот только папу жалко... Нет, не жалко. Ничего здесь не жалко!.. Уеду! Разбегусь на все четыре стороны — хорошо!»

Она принималась мечтать, грезила о сияющих вокзалах больших городов, о какой-то еще неясной для себя, но, конечно, интересной работе — чтоб по ночам не спать, мучиться, а потом буйно ликовать победу, о громадном белокаменном доме, в котором будет светиться и ее окно.

— Анечка,— просила она сестру, обнимая и целуя ее.— Зачем тебе этот дом! Поедем далеко, где ты была. Пусть они здесь остаются. Уедем!

Анна отбивалась, губы у нее тряслись, ломались.

— Отстань! — закричала она наконец громко, срываясь на визг.— Зачем дом! Ишь, богатая! У тебя вон оно, богатство-то, на роже. Дуреха смазливая! А у меня что? Мне теперь только и ждать, что какой-нибудь сволочуга из-за дома женится, куркуль какой-нибудь, мешочник, луковник... Я теперь непривередлива стала. Мне теперь хоть

дряненького, да своего мужичишку... Чтоб дети были, семья была... Уйди!

Елка попятилась от нее, закрылась руками и, точно оглушенная, упала на диван, затихла.

6

Весной старик Половодов заболел. Возвращаясь из областного города на автобусе, он вдруг почувствовал боль в сердце, переменил положение, сел поудобнее, но боль все усиливалась, и уже заболела левая лопатка, потом плечо, рука, нога... До дома Роман добрался, волоча ногу, держась за стены и заборы, и, как только переступил порог, откровенно заплакал, расслабленный нестерпимой болью.

К нему пригласили знакомого доктора, тоже старика, Почемуева, которого, как и портного, знал весь город. Он был высок, сухотел, прям, с бородой и усами короля треф, с дремучими бровями, говорил по-стариковски много и ко всем, будь то мужчина или женщина, обращался одинаково — «брат». При этом он так нажимал на звук «р», что возводил его до дробного рокотания. С больными Почемуев обходился так, словно те, заболев, совершали непростительную глупость.

«Ну, бррат, удружил! — распекал он какого-нибудь больного на приеме в поликлинике.— Покажи-ка обувку-то... Это что же, по-твоему, обувь? Пижон ты, бррат, франтишка. Выпишу тебе рецепт на галоши. А еще лучше — купи ботинки на микропористой подошве. Обувь сухая, теплая и, если хочешь, красивая. За нее от нас, врачей, великое спасибо химикам. Молодцы ребята, волшебники, гении...

— Что, бррат, рухнул? — пробасил он, входя к Роману.— Ты! — приказал Анне.— Открой форточку, душно, как в сундуке.

— Сердце у меня,— простонал Роман.— Болит, будто дверью его прищемили или холодным ножом порспули...

— Стенокардия,— бормотал Почемуев.

— Чего?

— Ну, грудная жаба.

От этих слов Роман испугался и упавшим голосом спросил:

— А от чего она бывает?

— От различных причин.— Почемуев вытянул из кармана извивавшийся, как змея, фонендоскоп и стал запи-

хивать наконечники в свои волосатые уши.— А у тебя, бррат, главным образом от некультурности. Отгрохал домище, как дворец, а ванны нет, и в комнатах при сквозняке воняет выгребной уборной. Вспомни, сколько лет ты не был за городом, в лесу, на речке! И, наверно, каждый день трескаешь по две тарелки жирного супища и пьешь водку. А работа! Пока был силен, гнулся и день и ночь, хоромы наживал, а теперь силенки уж нет, одряб, а жадность-то прежняя осталась.

— Оттого и жаба? — недоверчиво спросил Роман, уверенный доселе, что все болезни бывают от простуды или оттого, что съел что-нибудь нехорошее.

— А ты как думал? — сердито сказал Почемуев.

В кухне, вытирая руки чистым полотенцем, которое ему подала Елка, он глянул из-под густых бровей ей в глаза и вдруг ахнул, словно в изумлении:

— Господи, боже мой!

Потом положил на плечо тяжелую волосатую лапу и сказал:

— Я, бррат, тебя серьезно прошу.— В голосе его действительно скользнула просительная нотка.— Работай за десятерых, люби во все лопатки, страдай до отчаяния, но только не кисни и не живи по гнусным законам обывателей.

И ушел, оставив Елку в недоумении и какой-то тревоге — что за человек?

К Роману приходили медсестры; одна — веселенькая, быстрая, чернявая — уколола в палец, надавила в стеклянные трубочки крови, а другая — красивая и строгая, с подведенными бровями-дугами — долго опутывала какими-то проводами, а Роман, дожидаясь, когда его шибанет током, замирал и закрывал глаза.

Спустя несколько дней доктор Почемуев опять шел навестить своего больного. Был май, и доктору, когда он шагал по улицам, хотелось весело подмигивать всем встречным оттого, что мягко грело милое майское солнце, пахло тополями, и еще оттого, что у пациента не оказалось той опасной болезни сердца, которая в лучшем случае надолго укладывает человека в постель, а в худшем... Но о худшем в такой день доктору и думать не хотелось.

Возле половодовского дома он не удержался-таки и подмигнул соседке Половодовых Катерине Козловой, высокой сухопарой старухе, которая была так худа и костиста, что лопатки торчали у нее на спине наподобие сложенных крыльев. За нрав непримиримый, напористый и

деятельный ее называли в городе «Рабочий клич», отождествляя с районной газетой того же названия. Она давно была уже на пенсии, но, не занимая никакой должности, умудрялась находить для себя дело и в райсовете, и в суде, и в редакции, и даже в клубе, где под собственный аккомпанемент на гармошке пела русские песни.

Когда доктор увидал ее, она что-то с жаром доказывала участковому милиционеру Спирину, медленно отступавшему перед ней.

— Давай, давай, Катерина! — поощрительно сказал доктор.

— Да как же, Иван Власыч! — тотчас же закричала старуха.— У нас на улице второй день война идет, а он без внимания.

— Мы в семейное дело избегаем встревать,— угрюмо сказал Спирин, глядя на половодовские окна, которые в этот теплый благостный день почему-то были наглухо закрыты.

— А что там такое? — с тревогой спросил Почемуев.

— Не знаешь? — искренне удивилась Катерина.— Липка-то, как старик занемог, подъехала к нему насчет дома: запиши, мол, дом на мене. Анна узнала и сейчас же: «Как так на тебе? Кто ты такая? Ты...» Уж и повторять не смею, как она ее обрезала. Вчерась за волосья друг дружку таскали и давеча утром таскали... А Елушкато их вся слезами облилась, смыгнула со двора, и до сей поры ее нету. Непременно у них до беды дойдет, если так оставить.

— У-у-у, собственники! — прорычал доктор и со всей своей немалой силой двинул ногой в калитку. Она не подалась: в дом сегодня никого не впускали.

Но уже на следующий день все приняло там благопристойный вид: открыты окна, отперта калитка, натянута улыбочка на лицо Олимпиады Сергеевны. Доктор, дивясь, только качал головой: умеет же эта порода не выносить сор из избы.

Елка в тени готовилась к выпускным экзаменам, лежала целыми днями в траве, на старом половичке, и читала учебники.

— Да, бррат,— говорил доктор, проходя по двору и заглядывая через ее плечо в учебник.— Толстой! Велик старичище. Как бог. Все знает и не боится сказать... Я видел его однажды, когда был молод.

У Елки круглели глаза. Она смотрела на старого доктора и усмехалась недоверчиво: Толстой был для нее ис-

торией, прошлым веком, могучей, но не материальной силой, и видеть его было нельзя. А доктор, словно подслушав все ее мысли последних дней, продолжал:

— Читай, проникайся. Может быть, именно на тебе порвется в вашем доме цепь обывательщины и мещанства. Ух, не терплю мещан!

Елка слушала, прикусив горькую травинку, глубоко втягивая ноздрями запах первой листвы. И ее точно манила куда-то его рокочущая речь; казалось, шагни за порог, и тебя подхватит, завертит светлый поток жизни.

«Уеду!» — радостно думала она.

И ей казалось, что трава и цветы шептали:

«Шагни...»

«Шагни за порог...» — звала первая вечерняя звезда, серебристо лучась в прозрачном небе.

«Шагни, шагни, шагни...» — вторило все кругом — кусты, деревья, грачи, засыпающие в старых вязах, нежный вечерний воздух и отблеск солнца на длинных перьях облаков...

7

После болезни старик Половодов стал задумчив, тих и непонятен. Достал из сундука иконы, развесил их в спальне по стенам; часто поминая бога, твердил:

— Бога отменили, и от этого весь беспорядок в жизни произошел. Коли был бы в нас бог, вы не собачились бы с утра до вечера, а жили бы в любви и согласии. Все на земле не наше, а богово, нехорошо это рвать из рук друг у дружки. Сказано вам господом в десятой заповеди: не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ни всякого скота его, ни всего, елико суть ближнего твоего.

— Ну, понес! И скота и осла...— ворчала Анна.

И они еще злее схватывались с Олимпиадой Сергеевной, чувствуя, что старик скоро оставит их и в жизни и в доме один на один.

— Вот ужо я вас всех помирю,— загадочно говорил Роман.

Когда доктор наконец разрешил ему выходить на улицу, он взял палку, не велел никому провожать его и ушел из дому на целый день. Но хоронясь за углами и заборами, Анна выследила его.

— У нотариуса, папаша, были? — с угрожающим спокойствием сказала она, когда он вернулся.— Вот это видели? Яд. Если подпишете на Липку дом, отравлюсь. Тогда уж с богом-то и не расквитаетесь.

— Врет! Это у нее мятные капли в пузырьке,— раздался за дверью голос Олимпиады Сергеевны.

— Заперлась! Боишься, тварь! — захохотала Анна.

— Ну-ка, открой, Липа,— сказал старик, берясь за ручку двери.— А ты, сквернословка, тоже иди сюда. Елену позовите.

В его голосе было что-то торжественное, непреклонное, и женщины выжидающе присмирели, почувствовав, что старик уже принял решение.

— Елены нет, папа,— покорно сказала Анна.

— Ладно, она добрей вас, не взыщет с меня, старика.

Роман сел, и женщины тоже чинно расселись по разным углам зальца.

— Я вам скажу,— начал он негромко,— а вы, если жалеете меня, примите это без злобы и вражды, потому что они ускоряют конец мой. Тебе, Анна, я купил дом на Садовой улице. Ты его знаешь — хороший дом, новый. Елке куплю, когда будет подходящий,— сейчас пока нет. Этот дарю супруге моей Олимпиаде Сергеевне с тем, чтобы она соблюдала мою старость до смерти, после чего может владеть им по своему усмотрению... Хоть с квасом стрескать... Гм!.. Прости меня, господи.

Он встал и, прежде чем женщины успели опомниться и решить, кто же из них все-таки остался в накладе, вышел из комнаты, грузно опираясь на палку.

А Елка в это время сидела в школьном зале и, подавшись вперед, прижав к груди руки, даже чуть приоткрыв рот, слушала Борю Кудеярова.

Он был ястребино-горбонос, черен волосом, колюч и цепок взглядом, рубил кулаком воздух и приглашал поголовно весь десятый класс работать на строительстве гидростанции. Слушать его было интересно и жутко — ведь все-таки это не кто иной, как Боря Кудеяров, Кудеяр-разбойник, голубятник, уличный коновод, первый ученик в школе, человек непонятный. В любой школе есть такие выпускники, которых долго после их выпуска помнят учителя и ученики. Зовут их активистами, выбирают в комитет комсомола, в учком, в редколлегию стенгазеты, некоторые из них отлично играют в шахматы, другие — конструируют физические приборы, третьи — просто горазды на все руки, и часто их фотографии висят на почетной до-

ске среди медалистов школы. Таким был и Боря. Все, как о решенном и не поддающемся сомнению факте, думали, что он поедет учиться в столичный институт. Но Боря вдруг, к общему удивлению и даже разочарованию, ограничился лишь заочным отделением одного из институтов в областном городе и стал работать на строительстве гидростанции в ста километрах от городка, на большой реке. Теперь он приехал в отпуск — ни у кого из сидящих в зале никогда не было отпуска, только каникулы; он говорил о зарплате — никто никогда не получал еще зарплаты; он рассказывал о шпунтах, дюкерах, шлакоблоках — никто в точности не знал, что это такое,— и поэтому у всех перехватывало дух от заманчивой неизвестности: как это так — из палисадничков с мальвами и сиренями да вдруг к шпунтам и шлакоблокам!

Как в детстве обязательно перебаливали корью, так, подрастая, все школьные девчонки ненадолго влюблялись в Борю. Было такое и с Елкой. Но он ее не замечал — она шла двумя классами младше и поэтому была достойна если уж не презрения, то полного равнодушия и пренебрежения. Лишь один раз он снизошел до нее с высоты своего старшинства. Это было на новогоднем вечере, когда Боря первый раз в жизни выпил вина. Пили на школьном дворе, за поленницей, причем все ребята делали вид, будто питие — занятие для них самое привычное, и он тоже опрокинул свою чашку небрежно, как гусар. Было морозно, гулко лопались столбы, звезды на небе сияли необыкновенно ярко, а голову так странно, так непривычно покруживало. Боря вошел в зал, огляделся. К стенам жалась всякая мелюзга в белых фартучках. Он мог осчастливить любую из них, пригласив танцевать. С этим сознанием своей великой щедрости он подошел к Елке, щелкнул каблуками и молча склонил голову.

— От вас холодно, как от айсберга,— сказала она, кружась с ним по залу.

И долгим взглядом глядела в глаза тоненькая, глупая, смешная восьмиклассница...

— Я помню тебя совсем маленькой,— небрежно сказал Боря.— Ведь ты портновская дочка?

— Да! — счастливо просияла Елка.

Когда-то он приходил с отцом к портному, и маленькая девочка, блестя в полутьме глазами, кидала в него с печи лучиной, показывая язык, а он дергал отца за рукав и громко тянул:

— Отец, пойдем...

После Бори выступал Глеб Андреев. Когда он вышел на сцену, Елке показалось, что все, кто был в зале, смотрят на нее, потому что уже знают, что вчера да и позавчера, и на прошлой неделе в среду она каталась с Глебом на лодке.

Он вырос в далеком селе Венец, про которое говорили, что оно всему миру конец. Завалилось это село за торфяные болота, за гнилое чернолесье, за петлистые речонки, и, чтобы добраться туда, приходилось в наш век космических ракет и атомных двигателей закладывать в телегу какого-нибудь сивку-бурку и пускаться под грохот колес на узластых корневищах в нелегкий и нескорый путь. Лишь в межень речных вод, когда подсыхают и болота, да по глубокой осени, если снег запоздает, а мороз накрепко свяжет землю, становилась на Венец машинная дорога. Но бывали года дождей, года кислой осени-развезихи, и уже тогда сивка-бурка — незаменимый, испытанный, извечный трудяга — один нес на этих гиблых путях транспортную службу.

А вокруг Венца до черты лесов ходили волны ржи, зимой лежали синие сугробы. В труде — снопы, хомуты, навоз, в забавах — пастуший кнут, бабки, ореховые удочки знал с детства Глеб. Позже, в техникуме, по-мужицки упрямо, по-крестьянски выносливо он давил на учебу, во внешности сохранил что-то тяжелое, ржаное, васильковое и вообще-то мало обломался на городской лад.

Теперь он работал механиком в мастерских МТС и обстоятельно, спокойно, неопровержимо доказывал десятиклассникам, что они должны немедленно идти в сельское хозяйство.

«Конечно! Куда же еще?» — думала Елка, стараясь не глядеть ни по сторонам, ни на Глеба, чтобы окончательно не выдать себя.

— Нет, бррат! — загремел из зала доктор Иван Власыч Почемуев и крепким шагом пошел к сцене, заставляя тоненько звенеть оконные стекла.— Если уж пригласили, послушайте и меня.

Давным-давно вот точно таким же шагом проходил он по коридору больницы и мимоходом бросил тоненькой, бледной девушке, которая мыла пол:

— Молодая еще, учиться надо.

И с тех пор часто ловил на себе ее диковатый, недружелюбный взгляд. Он верно разгадал его и, выбрав момент, спросил девушку:

— Ну что, бррат? Больное разбередил?

И осторожно выведал все. Она училась в сельской школе, но отец попрекал ее дармоедством и, когда решил, что она достаточно грамотна, сжег все учебники и тетради. Она убежала из дома в город, была судомойкой в столовой, уборщицей в конторе завода, санитаркой в больнице...

— Помытарилась, конечно, бррат, но все это — тьфу! Не горе. Помогу,— обещал Иван Власыч.

Здоровьишком и силой она была не богата; он перевел ее на несложную, оставлявшую много свободного времени работу в регистратуре, отвел в школу взрослых, где во всех классах было тогда шесть учеников, а через три года помог сдать экзамены в медицинский институт, со стипендией.

И хотя все уже знали эту историю и знали, что речь идет о знаменитом хирурге, чей портрет висит теперь в краеведческом музее, выслушали Ивана Власыча с вниманием и должным уважением к его авторитету и седой бороде.

— Я вам, бррат, вот что скажу,— гремел он со сцены.— Идите учиться дальше.

«Конечно! — думала Елка.— Обязательно учиться! В Москву. В университет! Куда же еще?!»

8

Елка шла по глубокому, уже остывшему песку речного острова и говорила:

— А что, если нашу лодку унесло течением? Согласен ты быть Робинзоном, добывать себе пищу охотой, рыбной ловлей, одеваться в шкуры? Я стала бы твоим верным Пятницей. Мы сражались бы с дикарями, приручали бы диких коз, а потом... потом... Ну, подскажи, Глеб, что случилось бы с нами потом?

Она остановилась и требовательно взяла своего спутника за рукав.

— Ну, подскажи!

— Тебе, как недавней школьнице, должно быть известно, что подсказки не поощряются,— в шутливо-наставительном тоне сказал Глеб.

Он очень близко увидел ее лиловый от ежевики рот, два сияющих глаза, и никто, наверно, не сможет понять и объяснить, как это случается в жаркие дни лета, когда пилят в скошенной траве кузнечики, пахнут липы, плывет

мгла над рекой,— как это случается, что истома сухих горячих дней разрешается вдруг первым поцелуем... Случается, да и все тут.

Взявшись за руки, они медленно пошли по хрустящему песку, принимавшему лиловатый оттенок заката. Потом на лодке, повизгивающей уключинами, пересекли широкий проток, отделяющий остров от берега, сдали лодку сторожу водной станции и поднялись в городок. Они давно уже молчали. Было немного душно, как перед грозой, и она, очевидно, проходила где-то поблизости, потому что в самом зените неба нет-нет да мелькал бледный сполох — отражение недалекой молнии. В такие ночи бывает напряжен каждый нерв и трудно собраться с мыслями.

— Погуляем? — спросил Глеб.

— Да,— почти шепотом ответила Елка.

Они свернули в маленький парк. Здесь тоже, как перед грозой, тревожно попискивали в кустах разбуженные птицы и при полном безветрии по кустам пробегал шум. Сквозь темные кусты проступали белые статуи — подарок городу от учащихся областного художественного училища. По очертаниям можно было узнать Павлика Морозова, Виктора Талалихина, Пушкина, Зою Космодемьянскую, но Глеб и Елка знали, что здесь еще были Исаак Ньютон, Гарибальди, Виктор Гюго, и этих в темноте уже трудно было отличить друг от друга.

А час спустя по парку проходили Иван Власыч Почемуев и Боря Кудеяров. Они допоздна заигрались в шахматы, и теперь доктор вышел проветриться перед сном и заодно проводить Борю. Они остановились у церковки и смотрели на ее стены, освещенные ныряющей в волокнистых облаках луной.

— Древность, бррат, древность...— говорил доктор.— Помню, нас, мальчишек, наняли помогать научной экспедиции в раскопках... Жуткое и странное чувство испытал я, когда кость за костью из пыли веков выступал скелет человека. Позеленевшие бронзовые браслеты свободно болтались на предплечьях, и я невольно представил себе, как эти браслеты когда-то туго охватывали женскую руку, а под бронзовой диадемой, обрамлявшей голый побуревший череп, билась живая человеческая мысль. Она когда-то ходила, смеялась, пела, страдала, любила, была матерью, эта женщина... И вот история, которую я так не любил в приходской школе, открывалась мне не через букву, а через человека. Я мог представить себе как живых ремесленника, смерда, воина, юродивого на паперти

собора... И с тех пор так и изучал историю, подставляя на место буквы человека. Бывает теперь, проснешься светлой ночью, смотришь вот на эту луну и думаешь — черт возьми! Светила она так же и сто лет назад и тысячу, будет светить еще миллионы лет — кому? Даже страшно станет. А потом вспомнишь ту женщину, которая в точности, как мы, смеялась, пела, страдала, любила, и думаешь — ничего страшного нет, если в прошлом и будущем ты все можешь понять через современного человека и в том числе самого себя! Неразрывная цепь, связывающая прошлое, настоящее и будущее. Все мы — звенья этой цепи. Мы, бррат,— настоящее народа.

Было уже далеко за полночь, когда Боря вернулся домой. Он вошел, не стуча, не щелкая замками, не гремя засовами: все двери были снабжены запирательными механизмами его собственной системы, рассчитанной на абсолютную бесшумность действия. Но никакая хитроумная техника не могла усыпить мамину заботу и тревогу о нем. В какой бы час он ни возвратился, его встречал один и тот же вопрос:

— Вернулся, Боря? Ну, слава богу...

И теперь уже можно было шуметь, стучать, бегать, топать — мама все равно спала, спала до своего часу, когда над городком, поглощая и растворяя в себе все остальные звуки, несся тонкий свист заводского гудка.

Боре было больно замечать в маминых глазах признаки постоянной тревоги о нем, но он понимал, что с этим ничего не поделаешь. Эта тревожная печаль залегла в них после гибели отца на фронте — гибели самоотверженной и славной, во имя спасения товарищей — и не слабела с годами, а, наоборот, приобрела оттенок какой-то затаенной просьбы, словно в Борином сходстве с отцом и особенно до жути похожих глазах, больших, раскаленных, мама видела какую-то роковую предначертанность и его пути.

Мама!.. Боря помнил, как давным-давно, когда он был еще совсем мальчиком, вошел к ним в дом, прихрамывая и держа зябнувшую правую руку в кармане, старый друг отца доктор Иван Власыч Почемуев. Многие тогда, видя его, такого моложавого, высокого, крепкого, недружелюбно косились: «На фронт бы тебя, жеребца эдакого...» Но почти никто не знал, что еще в гражданскую войну он был сильно контужен и теперь временами у него немела вся правая сторона тела, он волочил ногу и не мог даже выписать рецепт. Боря думал, что ему просто нездоровится — так тяжело он стоял, припав лбом к намокшей раме,

смотрел на рябое стекло и барабанил по нему пальцами. А потом повернул к Боре чуть перекошенное лицо и сказал (Боря до сих пор помнил, с каким трудным спокойствием он это сказал):

— Бориска, приготовься, бррат, к плохому. Погиб твой отец. Ты должен подумать, как сказать об этом матери.

И, должно быть, потому, что на Борю вдруг легла эта забота о маме, он не зашатался, не упал, не онемел и не умер. Он понял — ему надо держаться.

Поэтому в конце концов и не мог он допустить, чтобы еще долгих пять лет, пока он учился бы в институте, мама носила единственное платье, ограничивала свой обед сухой булкой в заводском буфете и засиживалась по ночам над вышиванием дорожек, наволочек и салфеток.

Он хорошо держался все время.

— Спи,— сказал он.— Я вернулся.

И еще одного человека можно было видеть на улицах города в ту ночь. На Садовой, против крепенького домика, фасонно, в елочку, обшитого тесом, с мезонином, шпилем и шаром на нем, стояла Анна. Она уже не первый раз приходила сюда, но там, в доме, прикрытая тюлевыми занавесками, еще гнездилась чужая жизнь и уже чем-то мешала Анне, вызывая у нее раздражение и досаду.

Покуривая тоненькую папироску-гвоздик, долго сидел на лавочке возле общежития Андреев Глеб. Курил он основательно, спокойно, как делал все: курить так курить, спать так спать, работать так работать. Он вырос в семье крепкого мужика, который не любил никаких неожиданностей в жизни, самолюбивого от сознания своей незыблемой уверенности в завтрашнем дне, презирающего всякое непонятное ему проявление неустойчивости, сомнения, необдуманного порыва,— и воспринял эти черты отцовского характера. В школе он знал, что поступит в сельскохозяйственный техникум, в техникуме знал, что будет работать в Ульевской МТС, потом женится, а потом... потом начнет просто жить. Один только необдуманный шаг сделал он на этом прямом пути. Приехал на побывку домой и широко, разгульно праздновал окончание техникума. Брага, выдержанная к его приезду на изюме, удалась отменно, и даже самые стойкие выпивохи с трех кружек несли околесицу, лезли к хозяину обниматься и вопили дурными голосами «Камыш». Когда бражничание перевалило на третий день, в избе появился председатель колхоза — мужчина, широченный в плечах, угрюмого вида. Подгулявшие парни и девки притихли, кое-кто шмыгнул из горницы в

кухню, оттуда — в сени. Не отказавшись от медовухи, председатель медленно, с почтением к ее сногсшибательным достоинствам вытянул полную кружку и, ткнув Глеба пальцем в лоб, сказал:

— Хватит, Глебка, сосать, отвались. И главное — молодежь мне не смущай, завтра косить начинаем.

— У молодежи-то об эту пору и другие дела есть. Неужто позабыл, председатель? — блестя глазами, спросила бойкая бабенка Санька.

Глеб засмеялся.

— Все равно день разменяли. А завтра, обещаю,— конец. Руку, председатель! Выпей еще.

И он зачерпнул из корчаги полную кружку.

Рассмешив всех, председатель показал здоровенный, из толстых растрескавшихся пальцев шиш и молча вышел, а Глеб напоследок нагрузился так, что очнулся в незнакомой избе на чужой постели и в той похмельной немощи духа, когда человек до ненависти противен сам себе.

Рядом на белой подушке темнела растрепанная Санькина голова. Глеб лежал одетым, но ботинок на нем не было. Решив, что потихоньку все равно не уйти, он толкнул Саньку и спросил:

— Спишь?

Та вздрогнула и сейчас же прильнула к нему — видно, не спала всю ночь и, томясь, ждала и ждала, когда он проспится.

— Идти мне надо,— угрюмо сказал Глеб.— Скоро светать начнет.

Руки у Саньки сделались вялыми, мягкими, оттолкнули его и упали на одеяло.

— Ступай, милок, ступай, коли ты только по ночному времю храбрый ко мне ходить. Катись!

Голос у нее был презрителен, насмешлив, и Глеба даже скорчило от нового приступа отвращения к себе.

— Ничего я не боюсь,— зло сказал он.— Так только с языка сорвалось... Захочу — и жениться на тебе могу. Слышь, что ли?

— Слышу,— вздохнула Санька и опять повернулась к нему.— Все вы так говорите...

Утром, не заходя домой, Глеб ушел в луга. Там уже блестели косы, стрекотали косилки, ветер трепал рубахи парней и яркие кофточки девушек.

Глеб поддался общему рабочему азарту, косил, обедал вместе с косарями, но мысль о Саньке нет-нет да и царапала его, как острый коготок: «Говорил, женюсь... Ах, ду-

рень пьяный! Привяжется теперь, быть сраму... Она баба отчаянная».

Дома за ужином, когда он сидел над блюдом с кислыми щами, мать подошла к нему сзади и больно стукнула по затылку твердой, как доска, ладонью.

— Где шлялся, ирод?

— Не дерись, мать! — взвился Глеб.— А то, знаешь...

— А то что, сынок? — спросила мать и еще раз ударила его по уху.

Глеб заскрипел зубами, сломал алюминиевую ложку и ушел в горницу.

— У Саньки, ирод, почлежил! — кричала в кухне мать глухой старой бабке.— Утром соседка Матвеевна пошла на колодец, а он и выкатывается от Саньки, как ясный месяц...

— Ой! — обмирала бабка.

— Да-а-а. Выкатывается — и бежка в луга. Домой-то, значит, совестно глаза показать, так он в луга...

— Ой!

— Да-а-а. Я разве худа ему желаю? Учение кончил, теперь, значит, обрастай, как камень, мхом, женись, бери девушку, станови свое хозяйство. А он — на тебе! Связался с... тьфу, прости господи! То-то она, язва, вертелась тут возле него всю неделю. Уж был бы отец жив, он бы за всем доглядел, он бы ее наладил отседа. Ишь, язва, учуяла, где жареным пахнет. Еще бы — парень ученый, видный. Авось, думает, к рукам приберу...

Мать рассказывала, бабка охала, а Глеб думал:

«В самом деле! На кой черт она мне! Не по плечу дерево рубит баба...»

И на другой день уехал из Венца в Ульев.

В общежитии он облюбовал место у окна. Поставив под кровать деревянный чемодан с висячим замком, положил на тумбочку несколько технических справочников, на стенку повесил портрет отца, потом на танцах в парке, в кино стал приглядываться к девушкам и приглядывался целый год: жениться так жениться.

Два раза приглашал он в кино участкового агронома МТС — миловидную девушку с пухлыми детскими губами, которая во время сеанса снимала туфли и засыпала от усталости. Ну разве это жена, если она по целым неделям мотается из колхоза в колхоз? Потом ему приглянулась примадонна клубной самодеятельности — крупная девица, сильным контральто певшая арии из опер. Но та весь вечер проговорила с ним о своих планах на будущее,

связанных с Московской консерваторией, и он подумал: «Э-э-э, лучше синицу в руке, чем журавля в небе...» Провожал он несколько раз после танцев кассиршу промтоварного магазина, и та очень нравилась ему — спокойная, ласковая, мягкая,— но у нее было такое количество меньших сестер и братьев, что маленький домик их на Набережной улице был похож на детский сад. Где же тут поселиться еще и молодоженам? И Глеб всем этим девушкам сказал одно и то же:

— Останемся друзьями.

Елку Половодову он случайно встретил на улице в солнечный, сверкающий капелью день ранней весны. Ах, что за весны бывают на земле! Морозным красным днем по занавоженной дороге скакал боком блестящий грач, долбил и подбрасывал крепкие комки, потом вытянулся, разбежался, полетел, и, словно вдогонку за ним, сорвался откуда-то тяжелый ветер. На чердаках, почуя его, заорали хриплым мявом коты. Ветер быстро нагрудил мокрых облаков, дул весь день, всю ночь, изноздрил снега, а еще через день сломал на реке лед. Точно тешась своей удалью, шальной и разбойной, он носился по улицам, мотал на скрипучих петлях ворота, подхватывал юбки, а когда сквозь облачное мутиво опять проглянуло солнце, завалился куда-то за реку, в еловый лес, в чащу, в теплую сырь и затих. И уж давно сбежали по оврагам ручьи, уже пылили дороги, земля взгоняла яровые, а Глеб все вспоминал тот день, когда он случайно заглянул в глубокие синие глаза и, как доктор Почемуев, тоже ахнул в радостном изумлении.

Нашел он случай познакомиться с ней в клубе на танцах, и проводил до ворот, и был в воскресенье дома, и всем там понравился — спокойный, рассудительный, трезвый. Ему тоже понравилось у Половодовых, и только одно смущало его в Елке — уж очень красива. Красивая жена — чужая жена.

Глеб докурил папиросу, пригасил окурок каблуком и пошел спать.

А Елка в ту ночь бродила до рассвета. Как только стихли за углом шаги Глеба, она тоже пошла, сворачивая из улицы в улицу, отдыхая на лавочках у незнакомых ворот, промочив туфли в холодной утренней росе... Было уже совсем светло, когда она увидела себя на базарной площади. У ног ее дрались, безобразничали воробьи. Базара здесь давно уже не было, но все до сих пор напоминало о нем. Его следы хранило и само название площади,

и архитектура окаймляющих ее зданий, и блестяще-круглые камни мостовой, источавшие специфический базарный запах истертого в пыль навоза и сена, и даже эти драчливые воробьи, и большая витрина моментального фотографа. В ней на покоробившихся от жары карточках, в кривобоких сердечках, осененные кудрявой надписью «Люблю навеки» застыли молодые парочки, отпускные солдаты и сержанты; был один моряк; был полузадушенный галстуком жених с бумажным цветком в петлице — и все они кого-то любили, любили пожизненно, навеки.

«Во все лопатки»,— вспомнила Елка и вдруг засмеялась глубоким счастливым смехом.

9

Иван Власыч проиграл Боре третью партию подряд и обиделся.

— Где это, бррат, ты насобачился так играть? Или я уж старею, что нет того проворства в мыслях?

— Уметь надо,— подтрунивал Боря.

Они сидели в маленьком саду, с ухода за которым обычно начинался летний день Ивана Власыча. На первый взгляд с деревьями он обращался грубо, насильственно — резал ветви, обрывал цветы,— но они отвечали на его вмешательство в их природу бурным взрывом жизненных сил. Боря еще в детстве любил бывать здесь и слушать яростные споры отца с доктором, в которых ничего не понимал, но которые его всегда так смешили, потому что, казалось, отец и доктор вот-вот начнут драться, а вместо этого они вынимали папиросы и предлагали друг другу зажженную спичку. Милое время, такое далекое, что кажется, будто было все это не с ним, а с каким-то другим, хоть и очень знакомым, мальчиком!.. Разве мог тот мальчик вот так, с полным сознанием своего равенства и даже с иронической снисходительностью к чудачеству старика, спросить доктора:

— Ну как, Иван Власыч! Не накатывает пока?

И разве мог с серьезной откровенностью старый доктор поделиться с тем мальчиком:

— Из последних сил креплюсь, бррат Бориска.

Вообще Иван Власыч много работает, подвижен, жизнеобилен, но иногда годы все-таки дают себя знать.

— Опять, бррат, киснуть начинаю,— говорит он.

В такие дни его раздражают все — больные, сестры,

пяньки,— и начинает думаться, что времени его на земле осталось мало. И тогда он прибегает к испытанному средству. Он берет небольшой, дня на три, отпуск, уходит из дому с мешочком за плечами, идет, куда ветер лист несет, без ружья, без удочек, потому что «я слишком азартен,— говорит он,— и охота поглощает меня всего, я становлюсь слепым и глухим, а мне надо видеть, мне надо слышать, мне надо трогать и нюхать...». Сначала он приходил на пристань, где о размочаленные бревна трется боком его фрегат «Паллада», его «Бигль», его «Бель Ами» — маленький катерок «Ракушка». Потом слезет на какой-нибудь стояночке поглуше, махнет с венца рукой и уйдет в леса, поля, в даль и ширь, пока не подстережет его где-нибудь на перекрестке дорог необходимая для жизни тоска, которой всегда кончается одиночество,— тоска по живому человеку.

— Значит, накатывает?

— Подступает, бррат.

Кто-то сильно, почти истерически застучал на улице в окно.

— Не заперто! — крикнул Иван Власыч.

И его рука инстинктивно сдернула со спинки стула чесучовый пиджак, потому что он привык к тому, что за таким стуком обычно следовал вызов к больному. Распахнув калитку и позабыв закрыть ее, в сад вбежала Елка Половодова.

— Отец? Что? — отрывисто спросил доктор Почемуев и сильно потряс ее за плечи, потому что она не отвечала, глядя на него полными ужаса глазами.

— Он, кажется, умер...— сказала наконец Елка.

В экстренных случаях здесь по старинке обращались не в «Скорую помощь», а прямо к доктору, и поэтому Иван Власыч всегда держал наготове чемодан со шприцами и медикаментами.

— Воды ей из-под крана,— коротко бросил он Борису, ушел в дом и тут же появился опять со своим неотложным чемоданчиком.

В городке все было недалеко, и, наверно, поэтому здесь редко опаздывали доктора, пожарники и милиционеры. Но Роману Половодову их расторопность была уже ни к чему. Иван Власыч вышел из половодовского дома, не открыв чемоданчика, посмотрел на пыльную траву, на поникшую к вечеру темную листву сирени и подумал, что перед лицом случившегося он уже не врач, а только старый заказчик портного, которому он вскоре отдаст по-

следний поклон у гроба и будет донашивать сработанные его руками вещи, пережившие мастера.

— Ну, бррат Елушка,— ласково и горько сказал он,— ты надейся на свою молодость. В ней найдешь силы пережить это горе. Как согнутая лозинка, выпрямишься и опять закачаешься радостно на вольном ветру. Я старик, мне тяжелей видеть смерть, а видел я ее много и дважды был уверен, что моя очередь. И оказалось, что страха нет. В первый раз подумал о близких, о том, как им тяжело будет. А во второй раз почувствовал злость и раздражение: устроено же, дескать, так на белом свете! Нет страха и теперь, когда спокойно думаю о будущей встрече, и только жаль, что многое недоделано в жизни... А теперь, бррат, пойдем-ка со мной. Не надо тебе сейчас быть здесь.

По дому и по двору уже деловито сновали какие-то старухи с поджатыми губами, тащили тазы, корыта, шепотом спорили о похоронах, о поминках и были отвратительны в своем упоении этой деловитостью. Елка вспомнила свадьбу, и ее с ног до головы передернула нервная дрожь.

— Пойдемте,— сказала она.

Боря все еще был в саду и, когда они вошли, порывисто повернулся навстречу. Он понял все.

И без суесловия, без бодрячества, с пониманием истинной глубины горя, с искренним сочувствием ему двое мужчин — старик и юноша — отдали Елке все свое внимание и заботу.

10

Лето было ясное, жаркое, обильное солнцем, но вот на несколько дней повисло ненастье, а потом с полудня опять вдруг стало открываться небо, но глубже, прозрачней, холодней — и это уже пришло бабье лето.

В эти дни последнего тепла Елка готовилась к отъезду из Ульева. Она жила теперь на Садовой в доме Анны и, не находя ничего, что могла бы искренне пожалеть здесь, собиралась в дорогу с радостью и нетерпением. Боря прислал со стройки уже несколько писем, на все лады расхваливая независимую рабочую жизнь.

— Значит, со стервой не хочешь судиться? — уже не в первый раз спрашивала Анна Елку, но та наконец перестала отвечать ей, и Анна только качала головой: — Дура и есть дура, что скажешь! Но я это дело так не оставлю! Я стерву по судам затаскаю! Я ей покажу дарственную!

Был ясный, свежий с утра день. Перед дорогой на минуту присели, чтобы соблюсти внешнюю добропорядочность проводов, шли до пристани молча, отчужденно, и только когда внесли в каюту катера чемодан и опять присели на узкий кожаный диванчик, Анна, всхлипывая, ткнулась Елке в плечо.

— Ты не осуждай меня, милая. А о нем не жалей. Не стоит он того, чтобы ты о нем жалела. Зачем тебе такая дрянь? Ты красивая, найдешь другого, а я и этому рада, мне деток хочется.

Елка сначала только брезгливо отводила плечо, но потом тоже расплакалась и обняла Анну.

С тех пор, как Глеб сказал ей: «Останемся друзьями»,— словно какой-то хрусталик, пропускающий через себя жизнь, сместился в ее сознании. Жизнь полилась грязным густым ленивым потоком, и она никак иначе не могла воспринимать ее, мучилась этим, стала искать одиночества и постоянно кривила губы в брезгливой усмешке. Однажды она пошла опять на кладбище, увидела тех самых голубей, парящих в небе, и вдруг неудержимо разрыдалась прямо на дороге.

— Что же они со мной сделали!

Совсем еще недавно любила и этих голубей, и свой просторный дом с квадратами солнечного света на полу, и отца, и некрасивую Аню... И вот эта любовь оказалась опоганенной, оскорбленной, вытравленной. А что такое человек без любви? Чем он еще-то привязан к жизни?

Тогда она решила уехать из Ульева навсегда.

А Глеб и Анна готовились в эти дни к своей свадьбе. Он, не стесняясь присутствием Елки,— ведь они остались друзьями! — приходил в дом, обсуждал с Анной, что надо купить, сколько надо потратить, кого надо пригласить и как ущемить в будущем стерву Липку Мурыгину, владевшую теперь половодовским домом.

Он был доволен собой, чувствуя, что Анна будет той самой женой, какая ему нужна — заботливой, домовитой и верной. К этому выводу он пришел давно, с тех пор, как стал бывать на Садовой улице и узнал, что, по сути дела, им с Елкой и жить-то будет негде — ведь старик так и не успел купить для нее дом, а денег в третьей доле досталось ей сущие пустяки. К тому же некрасивая Анна по-своему влекла его к себе — такая крутотелая, большая, одетая во все короткое и узкое,— и, увидев ее раз, он потом весь день чувствовал какое-то нездоровое неудовлетворение. И он был очень доволен собой за то, что не давал

Елке никаких обещаний, как и тем другим девушкам, потому что нарушенное когда-то в Венце обещание запомнилось тем, что легонько царапнуло его совесть.

Катерок протяжно провыл сиреной.

И когда уже убрали сходни, на пристани с рюкзаком за плечами, в гетрах и ботинках на толстой подошве появился вдруг доктор Иван Власыч Почемуев. Команда знала его, и несколько голосов с катера приветственно закричало:

— А, борода!

— Здорово!

— Разбегись подальше, прыгай!

— Вам только на пьяной козе ездить. Не уйдете! — в свою очередь, отшучивался Иван Власыч, разбежался и ловко перемахнул с дебаркадера на палубу катерка.

Катерок резко побежал вниз. Сначала он удалялся от городка, но вдруг стал опять приближаться и долго петлял по извилистому руслу реки, словно хитро путал следы свои.

Иван Власыч и Елка стояли на палубе.

— Средний!.. Тихий...— слышался в рубке голос штурмана.

Затуманенное красное солнце спускалось в луга и гривы левобережья. Справа, где был городок, оно дробилось на сотни солнц, отраженных окнами домов, и нежнейшим розовым отблеском ложилось на стройную белую, как невеста в кружевах, церковку.

— Прав я, бррат, оказался. Вот и порвалась цепь,— говорил Иван Власыч.— Я, бррат, если хочешь знать, в революцию пошел потому, что она силой своей меня очаровала,— чуял, прихлопнет она мещан, вот и пошел. Мещане, бррат, это гниды. Каждый сам по себе мелок, а скопом могут чистое тело жизни опаршивить. Но ты, бррат, думаешь, мы его совсем прихлопнули? Черта лысого! Российский мещанин ушел в подполье. Он лишен опоры — собственности и государства, охраняющего ее,— он затаился, но гниленькая мораль его еще заражает воздух. У него, бррат, еще есть сила. Медленная гнусная сила болота, которое, только недогляди, затянет возделанную пашню. Будем противостоять этой силе!

Елка даже голову откинула, глядя вдаль перед собой,— эти слова возвышали ее, настраивали торжественно, даже сурово, как гимн.

Доктор умолк, сел на сверток каната, дыша взволнованно, часто, так, что отлетали усы. Потом постепенно

успокоился и, глядя на удалявшуюся церковку, думал о старине, о воинственном князе Федоре Пестром, заложившем ее на крутом берегу, и, как обычно, старался зримо представить его себе. Вот он — рябой, с колючими глазами, скуластый, в шапке из куницы, пойманной за рекой,— едет на гнедом коне впереди дружины. В нехоженом лесище скрылась дружина, и вдруг... Чу! Где-то за лесным угром гикнули, завизжали всадники, заржали татарские кони, и полетели через городские степы огненные стрелы. Гонец — бражник и озорник Еропка — ужом прополз по оврагу: «Воротись, князь!..» А над городом уже воет пожар, клубится на ветру черно-красный дым. Уже идут, спотыкаясь об острые камни, босые, полонянки,— «Воротись, дружина!» — и среди них девушка с разметанной по плечам русой косой печально смотрит синими глазами Василисы Прекрасной... Долго смотрит на него милыми глазами Елки Половодовой...

— Жизнь! — сказал доктор.— Л-люблю!

А когда Елка просыпается рано утром, его уже нет на катере. Она идет босая, поджимая пальцы, по вымытой, еще сырой и прохладной палубе; матрос, зачерпнув воды ведром на веревке, дает ей умыться; и это обыкновенное утро с золотистыми облачками на востоке, с криком чаек над рекой, с маленьким черным жучком, пробирающимся куда-то по спасательному кругу, исполнено для нее величайшего смысла, потому что сегодня она, как это говорится, начинает новую жизнь.

И сама река уже не та. Она приняла в себя, как много других рек, и Елкину речку,— в ней нет ни капризных излук, ни мелководных тинистых стариц, ни спокойных заводей с белыми лилиями и желтыми кувшинками, ни плакучих ив, склоненных над водой. Бутылочно-зеленая вода с радужными разводами нефти монолитной массой стремится вниз. Катерок обгоняет белые стройные красавцы дизель-электроходы, закопченные буксиры натужно тащат плоты, от которых наплывает винный запах раскисшей коры, покачиваются широкие, как черепахи, самоходные баржи.

И не всему даже находится у Елки название, что видят ее глаза. Сходит она на пристани, заваленной крепко сбитыми ящиками с надписью «Не кантовать!», огромными катушками освинцованного кабеля, металлическими прутьями, свертками каната... На берегу экскаватор, словно громадная птица с длинной шеей, методично клюет хрусткий щебень, выплевывая его в грузно оседающие

кузова самосвалов. На широком плёсе реки неуклюже ворочается, лязгает, скрежещет какое-то громоздкое плавучее сооружение, неутомимо гоняя цепь ковшей с кусками жирного зеленовато-черного ила. А правей и выше берег разорван, искорежен, измят, и там слышится тяжелое урчание многих машин, стук металла о металл, и катятся в небо валы пыли, окрашенной восходящим солнцем в желтый и розовый тона.

Елка смотрит на свою затекшую ладошку, пересеченную белым рубцом от чемоданной ручки,— ей немного страшно и одиноко в этом незнакомом мире и не верится даже, что люди могут здесь любить, веселиться, грустить, а должны только работать, стучать железом о железо, трещать моторами и чадить бензиновой гарью. Но, упрямо сжав губы, она идет дальше. Она еще не знает, в каком шлакоблочном доме и какую открыть ей дверь, не знает, что сказать новым людям, кроме «здравствуйте»; но здесь есть Боря, и он-то уж, наверное, знает все и научит ее. А раз есть Боря, есть Иван Власыч, она спокойна. Раз они есть, она верит, что будет и в ее жизни и любовь, и грусть, и радость, придется работать за десятерых, а может быть, и страдать до отчаяния... Хорошо, что они есть.

1960

РИСУНОК АКВАРЕЛЬЮ

В старом деревянном доме пахло сухой сосной. И если падала у печки кочерга, били часы или раздавался иной резкий звук, бревна в стене отзывались на него долгим замирающим звоном. Время останавливалось в этом доме. Когда под обаянием его звенящей тишины я выходил из повышенного темпа жизни большого города, то начинал видеть, словно через волшебные очки, множество окружавших меня подробностей и значительных мелочей, которые раньше пропускал мимо внимания. Мир из грохочущей лавины времени превращался в красочную вереницу длинных минут. Я видел, как с кончика моего пера стекала на бумагу строчка, а когда откладывал перо, вспыхивающее под лампой золотом и черной пластмассой, успевал подумать, что Алексей Николаевич Толстой очень любил автоматические перья и говорил, что если бы он не был писателем, то держал бы лавку письменных принадлежностей.

Хозяйками таких домов обычно бывают старушки, давно уже пережившие свое время, добрые, чистоплотные и немного наивные. Именно такой была хозяйка и этого дома — Ирина Васильевна Ладыгина. Много зим подряд я приезжал к ней поскрипеть, как она говорила, по снежку валенками. (Удивительно вкусен был в этом тихом городе скрип снега под ногами, и я могу сравнить его только разве с треском раскусываемого антоновского яблока — благоуханной прелести осенних садов.) А как хорошо было, войдя в этот дом, ощутить его добротное изразцовое тепло, сесть в старое кресло, открыть книгу или просто сидеть и разматывать в уме клубок ассоциаций, вызванных каким-нибудь случайным предметом. Над письменным столом в простенке между двумя окнами висел, например, небольшой рисунок акварелью. На рисунке был изображен серый зимний рассвет, стог сена, пожелтевшая к утру луна. Я думал о том, что к этому стогу подходили ночью лоси, погружали в него свои горбоносые морды, долго перетирали зубами сено и шумно вздыхали при этом; что из леса, вертя башкой, таращила на них свои глазищи сова; что луна в то время сияла вы-

соко и бело; и что художник видел все это, потому что иначе нельзя передать сиротливую грусть зимнего рассвета над голым лесом, над растрепанным ветрами стогом, над мглистыми снегами равнин.

Этот художник нравился мне, и я старался гадать о нем, как орнитолог гадает по единственному перу о птице. Я придумал ему биографию; он был в ней безвестным, нищим художником, благородным человеком, преисполненным любви к искусству и сделавшим несчастной свою семью. Мне даже захотелось написать эту биографию в виде повести, что ли, но потом подумалось, что, может быть, удастся добыть какие-нибудь сведения из его подлинной биографии, и я спросил о рисунке Ирину Васильевну.

— Это рисовал мой брат Женя. Он был старшим в нашей семье и очень добрый, справедливый,— сказала она со свойственной ей манерой высказываться очень непоследовательно.— Он всегда устраивал для нас, малышей, карусель. И вообще очень любил детей. Ему было двадцать шесть лет, когда он погиб. Он носил бороду, чтобы скрыть природную худобу щек.

Она достала из комода карточку на твердом негнущемся картоне и протянула мне. Старая карточка запечатлела человека с большим лбом, ясным умным взглядом, печальными глазами и каким-то скромным изяществом во всем облике, несмотря на окладистую крестьянскую бороду.

— Значит, он не был профессиональным художником. Кем же он был? — спросил я Ирину Васильевну.

— Учился он в Москве, а уж на кого — не помню. Кажется, на географа. В каникулы он все бродил по лесам и потом писал статьи.

Она опять порылась в комоде и вынула длинный узкий журнал в горохово-зеленой обложке, на которой значилось: «Труды Владимирского общества любителей естествознания».

Я открыл его на первой странице.

НЕКРОЛОГ

Тяжелая ирония судьбы! Здесь, в этой книжке Трудов Общества, мы помещаем первую работу Евгения Васильевича Ладыгина и здесь же с глубокой грустью должны

сообщить, что первая работа его, увы, к сожалению, явилась последней. 27 мая сего года, двадцати шести лет от роду, в бою с австрийцами пал он смертью храбрых.

Кто из знавших его не помнит его общественного такта, его энергии при поразительной мягкости, его справедливости в решении порой по-своему почти неразрешимых вопросов!

Большой любитель природы, он отдал ее изучению всю свою краткую жизнь. Без гроша в кармане, движимый любовью к исследованиям, бродил он летом, собирал географические материалы.

Надвинувшиеся военные события не позволили ему свести и оформить ничего большего, кроме ниже печатаемой статьи о «Карстовых образованиях Владимирской губернии», где среди серьезного научного материала читатель найдет немало строк, посвященных красотам сурового ландшафта нашего владимирского карста, с его бездонными, в глубине темными воронками, с глухими тропами, пробитыми в их темных зарослях...

Пусть же на страницах Трудов нашего Общества, где появились впервые и, увы, в последний раз твои строки, посвященные родному уголку, вечной будет память о тебе, твоей любви к природе родины, о твоей светлой личности, наш дорогой товарищ и друг.

Об умерших плохо не говорят. Но я с доверием читал эти строки, потому что рисунок акварелью как бы удостоверял их искренность и правдивость.

— Ирина Васильевна, милая! — воскликнул я.— Нет ли у вас еще каких-нибудь записок вашего брата?

— Да как же, должны быть. Помнится, папа собирал его письма с фронта, нумеровал и складывал у себя.

— Где же они теперь?

— Должно быть, на чердаке. Там много всякой бумаги.

О, эти чердаки старых домов, хранилища отслуживших вещей — немые и красноречивые свидетели канувшей в прошлое жизни! В пыли, паутине и мраке лежит там хлам поры молодости наших бабушек и дедушек: истлевший зонтик с шелковым витым шнурком на ручке, облупившиеся ризы икон, силющенная соломенная шляпа, ржавые обручи кадок, потравленные мышами книги... С невольной грустью подумаешь о той прошедшей жизни, полной своих радостей и печалей.

Я в тот же день поднялся на чердак ладыгинского дома, но там, под крышей, стоял такой крутой, железный холод, так холодна была крышка сундука с бумагами, холодны сами связки бумаг и холодна пыль, поднявшаяся с них, что у меня моментально скрючились пальцы и ледяной обруч сдавил сердце.

Пришлось отложить чердачные раскопки до теплых дней.

Летом я ходил пешком по Владимирскому краю. Ходил как будто без цели — с посошком и котомкой,— но, конечно, была у меня цель, продуманная и выстраданная. Давно я собирался в это страничеческое путешествие, но есть один вопрос, опасный для всякого дела. Иногда он может привести к такому выводу, что все равно помрем и жизнь поэтому есть не что иное, как прах или дым.

Вопрос этот — зачем?

Вот и я спросил себя: идти-то — идти, а зачем? Кажется, так это просто — бросил котомку за плечи, вырезал посох и шагай. Но мне думается, что, не решив зачем, лучше и не ходить.

В своей стране нельзя быть просто туристом, я так полагаю.

Этот вопрос я решил для себя гораздо позже. Я говорю для себя, потому что решение это не для всех писателей, а для меня одного. Мне не жалко поделиться и своим, но есть ли в этом прок для других? Каждый должен находить такое решение сам, в силу своей нужды.

У меня была такая нужда, из-за нее страдало дело. Для дела я и пошел.

И вот, словно в море за борт парохода, я выбросился из кабины попутного грузовика в море лесов.

Лес!

Леса, по которым я шел, были прекрасно дики и могучи, словно леса русских сказок, куда злые мачехи заводили своих падчериц, где плутали Ваня и Маша и стояли избушки на курьих ножках. Мне казалось, что однажды я уже проходил по этому лесу, как будто века назад у меня была другая жизнь, и все, что сохранилось с тех времен, дано мне вновь на новую радость. На пути то и дело попадались глубокие ямы, поросшие по склонам темными елями, и жутко было заглядывать туда, в перевитый паутиной мрак, где таинственно поблескивала черно-зеленая вода. Жутко, но зачаровывающе и притягательно. Я долго сидел на берегу одного такого, особенно красивого, озерка, и вдруг мне пришла совсем прозаиче-

ская мысль о том, что большинство этих лесных озер — карстового происхождения, и котлованы их представляют собой провалы, которые образовались в известковых и мергелистых породах. Но как только я подумал об этом, так словно заноза засела у меня в мозгу: надо вспомнить что-то очень важное о карстовых явлениях, а вспомнить не могу. Я долго мучился, и вдруг, как это бывает, словно лампочка зажглась в темной комнате и осветила все, что скрывала темнота. Я вспомнил старый деревянный дом, рисунок акварелью, траченный временем журнал «Трудов любителей естествознания» и статью Евгения Васильевича Ладыгина о карстовых явлениях... Это были научно-исследовательские статьи, но любовь к природе овеяла их поэзией. Наука отложила в моей памяти сведения об известковых и мергелистых породах; поэзия запечатлела в сердце прекрасный образ леса. Как точно совпадал он с тем, что я воочию видел теперь!

ПРОВАЛЫ БЛИЗ ДЕРЕВНИ МИХАЙЛОВСКОЙ

Местность здесь напоминает поверхность гигантского наперстка. Воронки часто лежат не только рядом друг с другом, но и одна в другой, образуя вторичные провалы. Лес, частью сосновый, частью еловый, местами смешанный, сообщает дикую прелесть этому почти непроходимому уголку. Немногочисленные тропинки, пересекающие лес, то вьются по гребням меж провалами, то спускаются в них. Немного, вероятно, найдется охотников уйти в сторону от этих тропинок.

Я со спутником-студентом в продолжение нескольких часов бродил по этим своеобразным местам, то и дело теряя направление, то продираясь сквозь чащу по узкому гребню, то цепляясь за ветви елей, чтобы спуститься по почти отвесной стенке огромного провала. И надолго останутся у меня в памяти величественные очертания провалов, густая щетина елей, сползающая в глубину, и озерки темной воды, слабо мерцающие далеко внизу в полумраке.

Вода видна везде; она то журчит ручейками в глубине оврагов, то скопляется на дне провалов, причем нередко можно видеть — в мелком провале озерко, в соседнем, более глубоком — сухо, а рядом, еще глубже,— вода.

Вообще провалы происходят здесь довольно часто. Один из таких новых провалов, образовавшийся, по сло-

вам крестьян, года три назад, достигает довольно внушительных размеров и представляет собой очень эффектное зрелище.

Он расположен среди густого строевого леса, и потому огромная глубокая воронка сразу открывается глазам, привыкшим к полумраку леса, и ослепляет их красноватым цветом своих не заросших еще стен, освещенных горячим летним солнцем.

Провал образовался сразу. По рассказу одного крестьянина, здесь чуть не провалился охотник с собакой, шедший по тропинке, пролегавшей над местом теперешнего провала. Только что пройдя это место, он услышал сзади себя страшный грохот и, обернувшись, увидал, что деревья качаются и валятся вниз.

Старые сосны и ели окружают провал тесным кольцом. Некоторые из них склонились над провалом, другие уже упали в глубину и купаются вершинами в озерце мутной коричнево-желтой воды на дне воронки.

Я вспомнил, что не довел поиски на ладыгинском чердаке до конца, и в то же лето был опять в старом деревянном доме, где так сухо, горячо тянуло от стен сосновым зноем.

Пыльный пучок света струился из слухового окна на чердаке; я откинул крышку сундука, вынул из него старые учебники, подшивки «Родины», «Нивы», «Кормчего», какие-то разноцветные бланки железнодорожного ведомства и, наконец, пачку листков с ломкими побуревшими краями. Прелая лента разорвалась с легким треском.

Здесь были записи университетских лекций по физике и математике с рисунками и орнаментами на полях, начертанными в минуты задумчивости, несколько пейзажных рисунков синим карандашом, топографические карты и письма на папиросной, тетрадной и просто писчей бумаге. Они были пронумерованы, но первым по порядку шло лишь

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Дорогие мои!

Пишу вам уже с пути: так хотелось, чтобы вы подольше думали, что я еще в Москве, чтобы вы подольше были спокойны за меня.

Да и нам долго не сообщали точно, когда нас двинут.

Перед отправкой весь вечер в казармах творилось нечто невообразимое: пляски, звуки гармошки, крики «ура», но все это с каким-то угрюмым возбуждением.

Я сидел в роте, беседовал с ребятами, рассматривал их фотографии — почти все снялись перед отъездом. Мне кажется, что угрюмая приподнятость их настроения объясняется просто. Спроси у нас любого солдата:

— А что, братец, из-за чего воюем мы с немцами?

Иной ничего не ответит — так и не знает, за что он отдает свои силы и свою жизнь. Другой, который потолковей, скажет:

— Иэ-за того, что Австрия напала на Сербию, а мы не захотели сербов дать в обиду, пошли на Австрию войной. За австрийцев тут вступились немцы, а за нас — французы и англичане. Отсюда все и пошло.

Я стараюсь кое-что объяснить им:

— Выходит, значит, что все это истребление взаимное, которое сейчас чуть не целый мир захватило,— дело случайное? Не напади Австрия на Сербию или не вступись за сербов мы, ничего бы этого не было? Ну, мы еще туда-сюда: все-таки сербы народ нам родственный. А французы-то с англичанами с чего ввязались? Из-за дружбы с нами, что ли? Так ведь по нынешним временам — дружба вместе, а табачок врозь. Из-за дружбы теперь миллионами людей не жертвуют. Миллиарды денег на ветер не швыряют. Видно, что-то тут не так. Видно, была причина поважнее Сербии, коль одни народы Европы пошли на другие и дерутся вот уже второй год так, как до сих пор от сотворения мира не дрались. А коли так, из-за чего же, в самом деле, началась эта война и кто ее настоящие зачинщики?

И вижу, что ребята мои кое-что начинают понимать.

Когда я пошел из роты, за мной бросилась толпа солдат и обступила.

— Дозвольте вас поднять.

Меня моментально подхватили десятки рук, долго и усердно качали и кричали «ура».

Потом денщик мой говорил мне:

— Уж больно ребята рады, что вы едете с нами.

— А что?

— Да с вами нам не страшно.

Вот высшая для меня оценка моей нужности «там». Добавлю, что и мне с солдатами не страшно, ибо я знаю, что ребята меня любят и, что особенно ценно, уважают, и пойдут за мной куда угодно.

Итак, в ночь мы выехали из Москвы и едем уже третьи сутки. Ползем довольно тихо, и мимо окон медленно проплывают малороссийские пейзажи: беленькие хатки, пи-

рамидальные тополя, курганы... Легкий морозец, но снега нет.

Ну, до свидания, мои родные, до следующего письма.

Твое письмо, батя, всегда со мной и — не знаю, понравится ли тебе это,— но оно мне дороже данного тобою образка.

Ваш прапорщик Е. Ладыгин.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

г. Изяславль, дворец графа Потоцкого

Дорогие мои!

И вот я уже в «действующей армии». Хотя это еще тыл и до фронта отсюда еще верст восемьдесят. Последний этап от станции железной дороги мы сделали пешком и часов в семь вечера прибыли сюда. Шли по шоссе мимо пейзажей, так живо напоминающих окрестности... Владимира. Пологие холмы, овражки, рощицы. Из-под тонкого слоя снега выглядывают побуревшие озими. О том, что мы далеко от своих, напоминают только беленькие хатки, крытые черепицей, да украинские фигуры в расшитых жупанах, восседающие на нескладных возах с дышлом, запряженных парой крохотных лошаденок.

О близости войны говорит только усиленное движение по шоссе да бесчисленные эшелоны солдат на этапных пунктах.

Городишко, где мы находимся сейчас,— один из таких пунктов.

Городок старинный. Постройки беспорядочно раскиданы по холмам. На одном из них мрачно сереет древний замок. Несколько старых костелов и бесчисленные черепичные кровли. Летом здесь, по-видимому, отчаянная грязь; сейчас все сковано морозом.

Мы, как видите из заголовка моего письма, устроились по-аристократически: во дворце. Это один из бесчисленных здесь фольварков могущественного польского магната. Перед грозой войны исчезла его роскошная обстановка, и теперь это любопытное смешение дворца с казармой. В комнате, где я сижу, лепные потолки, барельефы по стенам и над дверями, мраморные стены и колонны, а на полу — окурки, клочки бумаги, солома. В беспорядке наставлены кровати с соломенными матами — кровати из казармы. Между ними втиснуто несколько походных офи-

церских, навалены офицерские вещи и солдатские мешки. Стол на козлах и две скамьи довершают обстановку.

Огромные окна затянуты морозом, а у нас — паровое отопление: пар от доброго десятка чайников и от нашего дыхания. Народу много: офицеры всех родов оружия встречаются здесь на два-три дня, знакомятся и разъезжаются, чтобы больше никогда не встретить друг друга.

Сейчас приехал еще один офицер, привел команду выздоравливающих и с ней отправляется па позиции. Всю прошлую зиму он был на Бзуре простым рядовым пулеметчиком. Я сейчас пил с ним чай и слушал его рассказы. В прошлом январе, при наступлении, они в мороз переходили Бзуру, а потом шесть суток, не выходя из боя, сидели в окопах.

— Как сушились? Да так: разуешься, ноги на морозе, а сам портянки как следует выжимаешь. А потом опять на себя наденешь; на тебе и досыхают.

От этого упрощенного способа просушки он получил суставной ревматизм. Летом подлечился, а теперь опять послан на позиции.

«Дух бодр, плоть же немощна».

Крепко надеюсь и я бодрость духа своего сохранить.

Ваш Женя.

ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Дорогие мои!

Право же, амплуа «героя — защитника родины» в таком виде, как у нас теперь,— роль нетрудная даже до конфуза. Конечно, я не буду уверять вас, что у нас здесь рай земной, но просто расскажу вам кое-что о наших маленьких горестях и о том, как мы боремся с ними,— а если нельзя бороться, то привыкаем,— и вы сами увидите, что «ужасы войны» издали, право же, куда страшнее.

Я уже писал вам [1], что, попав сюда, я устроился в землянке с одним ротным командиром. В его распоряжении была железная печь, но не было ни окна, ни двери. Дня через два он ушел на позиции и увез с собою печь. Тогда я как следует принялся за свой особняк.

Рече Галаеву (рекомендую — мой денщик): да будет окно, и печь, и дверь. И бысть так. И увидел я, что все сделанное — добро зело, и возрадовался...

[1] Вероятно, в письме восьмом, которое отсутствовало.

А подробности сего творения таковы:

— Галаев! Там для больших землянок привезли кирпич. Стяни-ка ты оттуда штук тридцать да скажи фельдфебелю, чтобы он нашел ребят-печников в роте...

И стала печь. Честь честью — со сводом, с трубой из дерна и даже с плитой (из жестянки, так называемого «цинка» — коробки из-под патронов). Была, правда, в этой печи одна неприятная особенность, а именно, вследствие некоторых технических несовершенств конструкции, а также недостаточной высоты трубы, в ветреную погоду она работала обратной тягой — не из землянки в трубу, а из трубы в землянку, но придираться к этому, конечно, было бы слишком мелочно.

Теперь окно:

— Я вижу, Галаев, что ты хочешь, чтобы твой ротный преждевременно разорился на свечках. Состряпай-ка ты, братец, раму да сходи туда, где бьют скот, и раздобудь пузырей...

И на другой день у меня уже было окно. Правда, рама вышла в буквальном смысле «топорной работы», ибо, кроме этого универсального орудия, у нас был только перочинный нож, но ведь здесь изящество не в моде, а пузыри напоминают хорошее матовое стекло с узорами и света дают столько, что даже дерн на стенах внутри землянки дал ростки и позеленел.

Подробности происхождения двери Галаев от меня скрывает — не иначе как стянул, пройдоха,— но я на это не слишком сердит, а дверь вполне хорошая.

Одним словом, устроился я было совсем комфортабельно и дней пять благодушествовал, но затем природа, очевидно, вспомнила, что она не терпит пустоты, и принялась наполнять мою землянку водой. «Один день лил дождь сорок дней, сорок ночей; другой день лил дождь сорок дней, сорок ночей», а на третий день у меня уже был всемирный потоп. Проснувшись утром, я увидел, что кровать моя торчит в воде, как Ноев ковчег среди океана, а рукав шинели, которой я покрываюсь, свесился вниз и всасывает воду не хуже патентованного насоса. Тогда я уже рассердился всерьез и переселился в офицерскую землянку, где и обретаюсь до настоящего времени.

Ну, что еще о наших невзгодах?

Завелся у нас, конечно, и «внутренний враг». У ребят он, как они говорят, величиной с воробья, у нас же не успевает достигнуть величины и черного таракана. Раньше мы боролись с ним кустарным способом — вручную,—

теперь же перешли к машинному способу обработки. Получил машину, которая обрабатывает его сухим паром с примесью формалина. И теперь перевес явно на нашей стороне. Занятно было смотреть на ребят и слушать их злорадные восклицания:

— Так его, хорошенько!

Ну, а что решительно отказывается повиноваться «победоносному русскому воинству», так это наша погода. Не погода, а слезливая старушонка какая-то. Даже странно немножко: у нас в Коврове, конечно, по расписанию последних лет полагается на первый день рождества двадцать градусов мороза с ветром, а у нас здесь сырость и грязь.

Ну вот уж, кажется, и все об наших бедствиях; больше ничего о них придумывать не могу, да и письмо кончать пора. Кончу его поздравлением с Новым годом. Все равно раньше не дойдет.

Ваш Женя.

ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Рождественская ночь. Мелкий дождик падает с низких облаков. Лунное сияние ракет на минуту озаряет трепетными отблесками лужи и болотную речушку. Посты постреливают изредка в лесу — так себе, впустую, как сторож постукивает в свою колотушку... У вас, пожалуй, уже скоро зазвонят к заутрене. «Заблаговестили» и у нас: в лесу за речкой начали рваться австрийские снаряды.

Нас, офицеров, в землянке трое. Двое мирно спят и, может быть, во сне видят себя дома в эту ночь. Я с вами наяву, пишу и думаю о вас и знаю, что вы также вспоминаете обо мне, мои дорогие.

На столе у меня праздничное освещение: две свечи. Я сижу на скамье, сбоку на моей кровати примостился Галаев; тоже трудится над письмом к своему другу — какому-то псаломщику, что-то шепчет про себя, чешет белобрысую голову, иногда ухмыляется — видно, вспоминает что-то веселое...

Две минуты первого.

— С рождеством тебя, Галаев!

Вскакивает с расплывшейся физиономией и орет:

— Покорно благодарю! И вас поздравляю с праздничком!

А теперь ложусь спать. Завтра постараюсь дописать письмо.

1 января. На позициях.

Одно могу сказать: человек предполагает, а бог располагает. Не удалось дописать этого письма ни завтра, ни послезавтра. А сейчас пишу его па позициях и напишу, наверное, немного. Тревожная ночь — можно ждать всякой выходки со стороны австрийцев. Мы все время начеку.

В моей землянке со мной сидит фельдфебель. Недавно только мы с ним проверили все посты и вернулись в землянку почти к двенадцати часам. Беру эти листки лишь для того, чтобы сказать вам: «С Новым годом!»

На флангах погромыхивает, но против нас орудийного обстрела нет: слишком близко австрийские окопы, до них всего каких-либо двести шагов, и можно попасть по своим. А поэтому мы с фельдфебелем блаженствуем, распивая присланную на мою долю из офицерского собрания для встречи Нового года полбутылки малиновой наливки.

Попробуйте представить себе синюю лунную ночь. Густой смешанный лес — дубовый и буковый, с редкими могучими соснами. Среди деревьев тянется неровная линия окопов, прикрытых козырьками. Сейчас же за окопами землянки, целиком ушедшие в землю, с плоскими крышами... Сверху они кажутся какими-то невысокими бесформенными кучами, и только искры, вырывающиеся кое-где из прорытых в земле труб, да загробные голоса, идущие откуда-то из недр земли, указывают, что здесь обитают люди. Ходы сообщения уходят в тыл причудливыми изворотами, точно кротовые норы, и все это — и деревья и окопы — прикрыто свеженьким пушистым снежком, окончательно обращающим в сказку этот городок гномов.

У нас в землянке ярко топится печь. На столе свеча. В углу у печки прикорнул телефонист с телефонной трубкой около уха.

Вдруг телефон загудел.

— Вторая слушает,— моментально отзывается телефонист.— Передаю трубку. Прапорщик Ладыгин, из команды охотников прапорщик Беланов просит вас к телефону.

Прапорщик Беланов — «дикий кавказец» — маленький добродушный бородатый грузин, всегда живой и веселый.

Докладываю в телефон:

— Командир второй роты слушает.

— Сию минуту. Третья рота слушает? — раздается голос Беланова.

— Слушает третья...

— Четвертая слушает?

— Слушает...

Наконец взбудоражены оба батальона, и Беланов торжественно возглашает:

— С Новым годом, господа.

В ответ несется нестройный гул поздравлений и приветствий из разных рот.

Затем Беланов продолжает:

— Сейчас в помещении команды охотников дан будет новогодний концерт. Прошу занимать места.

Раздается звук небольшого колокольчика, неведомыми путями попавшего в охотничью команду, и сейчас же вслед за ним врываются в ухо знакомые звуки двух гармошек и балалайки...

Ну вот, думал написать вам немного, а исписал вон сколько. Так и ночь прошла в письме к вам, родные мои, в разговорах и азартной игре в шашки с фельдфебелем. Скоро рассвет.

Ваш прап. Е. Ладыгин.

P.S. За бумагу не извиняюсь: курительная, высший сорт, лист — копейка.

ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ [1]

На твой вопрос, мама,— чего бы мне прислать,— ейбогу, затрудняюсь ответить. Шлите побольше писем — это, кажется, единственное, что мне нужно.

Да вот разве еще книг. Если вам удалось бы прислать мне, скажем, Полное собрание сочинений Чехова, был бы этим страшно обрадован, а то книги у нас здесь случайные и неважные.

Хотелось бы прочитать мне кое-что и по философии. Например, «Диалоги Платона». (Хотя, конечно, этого в Коврове не достать.)

Если тебе удастся, батя, где-нибудь добыть их (в ковровской библиотеке, я знаю, нет), то обязательно прочти. Уверен, что многое в них будет тебе близко и захватит.

[1] Письма 11, 12, 13, написанные на бланках денежных переводов, интереса не представляют и потому опускаются.

Мне часто вспоминается здесь один из этих диалогов, «Смерть Сократа». Как величаво-спокойно и как просто сумел он умереть! Как многие могли бы повторить теперь его прощальные слова: «Теперь прощайте, друзья мои. Пришло время идти — вам на жизнь, мне — на смерть. А кто из нас избрал лучшее, знает один только бог...»

Какая большая и красивая душа была в этом маленьком и некрасивом человеке! Но кончу о Сократе.

Боев на нашем участке не было. На первый и второй день нового года долетели до нас несколько снарядов, но теперь затишье, хотя, конечно, «затишье» наше — вещь относительная. Пульки посвистывают круглые сутки; днем пореже, ночью почаще. Выйдя из землянки куда-нибудь, обязательно услышишь около себя их мелодичное пение. Поют они очень разнообразно. Иная свистнет коротко и пронзительно; другая, на излете, долго и нежно поет; третья яростно взвизгнет после рикошета о какой-нибудь сучок и воет басовым тоном, вертясь в воздухе как попало. Но в общем от всей этой музыки опасности никакой нет. Очень мало вероятного в том, чтобы путь такой одинокой случайной пули совместился с кем-нибудь из нас. Но иногда все же не обходится без курьезов. Сегодня, например, двоим ребятам в моей роте одна пуля пробила сапоги, а одному из них даже портянку и кальсоны и совершенно не задела ногу. Ведь ножом не умудришься так аккуратно прорезать [1].

ПИСЬМО МЛАДШЕМУ БРАТУ

Колька!

Получил я все твои письма. В благодарность за них расскажу я тебе одну случившуюся у нас маленькую историю.

В тот день, когда у австрийцев было рождество, фельдфебель четвертой роты, идя по лесу с позиций в штаб полка, увидал вдруг в стороне от дороги, что в лесной чаще мелькают синие шинели австрийцев. Насчитал он их пять человек и разглядел, что один из них был австрийский офицер. Перепуганный фельдфебель, у которого и револьвера-то не было с собой, бросился бежать в штаб.

Но бедные австрияки, по-видимому, испугались еще больше него и думали только, как бы им спрятаться от нас. Это были австрийские разведчики. В ночь под рож-

[1] Конец письма отсутствует.

дество, когда у них, как и у нас, во всех домах зажигаются елки, их послали в разведку. Они проникли за нашу линию, а потом заблудились и с рассветом уже не могли вернуться обратно и должны были скрываться в лесах.

Когда в штабе узнали, что у нас бродят австрийцы, сейчас же была наряжена погоня. Наши разведчики и команда охотников облазили весь лес, но австрийцев так и не нашли.

Все мы уже начали думать, что фельдфебелю со страху показалось, но на другой день по телефону пришло известие, что один офицер соседнего с нами полка тоже встретил их в лесу, в нескольких верстах от нас. Но и там поймать их не удалось. А больше об них уже не слыхали; должно быть, они все-таки пробрались к своим, если только не замерзли и не лежат где-нибудь в лесу.

Как, ты думаешь, провели они двое суток, чем питались и как спали ночь? Ведь костра они, конечно, не посмели разложить, а в разведку с собой провизии ведь не берут.

Как чувствовали они себя, когда увидели, что за ними, голодными, усталыми и озябшими, охотятся, как за красным зверем?

Да, брат, я думаю, что если только кто-нибудь из них уцелеет до конца войны, так уж это рождество останется у него в памяти на всю жизнь.

Так вот какие штуки бывают на войне.

Рыбу я тут не ловлю и на лыжах не катаюсь, да и снег у нас бывает редко. А река у нас тут есть недалеко, называется Стырь. Осенью, до моего приезда, наши разведчики ловили в ней рыбу по-военному: глушили ее ручными гранатами. Вытаскивали щук фунтов по двенадцать, сомов, язей, лещей.

В наших болотах много диких коз, кабанов, а зайцев — так видимо-невидимо. Солдаты наши ходят охотиться на коз и частенько их убивают. А одну как раз поймали руками. У австрийцев поднялась стрельба, она с перепугу и махнула прямо через наши окопы. В них были солдаты, они и ухватили ее за ноги.

А недели две тому назад приходит ко мне мой фельдфебель и говорит:

— Ну-кося, какую я сейчас глупость сделал.

— А что?

— Да как же! Дикого кабана из-под носа упустил.

— Как это?

— А так. Слышу я, что пост наш часто застрелял, бросился туда. Гляжу — дело было на рассвете,— а вдоль

проволочного заграждения, сгорбившись, кто-то и бежит. Эко, думаю, счастье какое нам привалило,— ведь это австрияк. Сам себя не помня, к нему и покатил да через проволоку-то колючую — раз! Штаны изорвал, запутался — ну, думаю, уйдет австрияк. А он как захрючит. Подымаюсь, гляжу, а это кабан. Да здоровый, черт! А со мной ни винтовки, ни револьвера. Аж взвыл я от досады... Ну уж и напустил я дыму на часового!

Вот дьявол, молдаван, в тридцати шагах с пяти выстрелов в кабана не мог попасть. Так мой кабан и ушел, а ведь пудов на шесть был. Всей роте на два дня свинины хватило бы.

Прочитал я про твоего восьмифунтового налима. Думаю, беда вся в том, что он за тебя сконфузился. Был он, наверно, палимишка этак на полфунта, а как увидел, что ты его всерьез за большого считаешь, сконфузился да и убежал скорее до восьми фунтов дорастать. Ну, не горюй, вырастет, авось опять к тебе попадет.

Напиши мне, сколько сот налимов ты еще переловил и на сколько пудов.

А еще поклонись ты от меня Клавке Ширяевой и скажи, что скоро я ей что-нибудь напишу.

Ну, вот и все.

Брат твой Е. Ладыгин.

ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Дорогие мои!

На сей раз не собираюсь вам много писать, зато посылаю свою физиономию в нескольких видах. Скажу только — коли дойдут до вас карточки, всмотритесь в мою роту. Ведь это люди, с которыми я работаю, живу и с которыми вместе, может быть, мне суждено умереть. Посмотрите, какие славные ребята.

Ваш прапорщ. Ладыгин.

НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ В БУМАГАХ ПОКОЙНОГО И ПРИВЕЗЕННОЕ ДЕНЩИКОМ

Дорогие мои!

Зная, как трудно представить себе описываемое словами, и зная, что вам хочется, вероятно, яснее представить себе условия, в которых я живу, посылаю вам на-

бросок моей землянки. Набросок, правда, неважный, но все же он лучше, чем слова [1].

Великолепная вещь эти землянки! Большую хорошую землянку можно построить в два-три дня, и получится удобное, сухое и теплое жилье. Ребята у нас смеются:

— Нипочем теперь себе изб строить не будем, коли живы домой вернемся. Да мы теперь себе за двадцать пять-то целковых такую домину махнем — комнаты в четыре или пять.

Мы живем быстрее вашего: у нас уже апрель. «Стаял снежок, ожил лужок». Ожили лягушки и меланхолично прыгают по ходам сообщения, безнадежно пытаясь прорвать фронт и вылезть за окоп. В болотах крякают утки... Наши ребята пробовали охотиться за ними, но, увы, пулей убить уток гораздо трудней, чем людей.

Проснулись и сычи и, мужественно восседая между нашей и неприятельской линиями окопов, по ночам покрикивают предостерегающе на нас и на австрийцев:

— Эге-гей!

Весна идет, и уж «весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом...». Все чаще и чаще рокочет у нас и днем и ночью, то вправо, то влево, где-то далеко за горизонтом. Кончилась зима. Тяжелая страница истории перевернулась, и наша армия своею кровью начинает писать новую страницу.

О моих взглядах на совершающееся, пожалуй, не стоит говорить — с чего же им меняться! Ведь я пошел сюда, подумав, и знал, на что и почему иду. Меня потянуло сюда элементарнейшее чувство простого честного человека: в минуту крайнего напряжения народа быть там, где в данный момент ты всего нужнее и полезней. А мне казалось, что всего полезнее я здесь. Не потому, конечно, что могу убить несколько австрийцев, а потому, что полезен моим ребятам.

Как видите, мне далеко до героических римлян, говоривших: «Сладко и приятно умереть за отечество».

Да и бог с ними, с «героями». При мысли о них мне всегда вспоминается глупая рожа «героического» Козьмы Крючкова на обложке дешевых папирос. Не для дешевых подвигов и славы я сюда пришел. Но если надо будет, не задумываясь, отдам жизнь за отечество твое, батя, твое,

[1] Набросок простым карандашом, приложенный к письму, изображает землянку, похожую на большую муравьиную кучу. Вход завешен мешковиной. Кругом голый апрельский лесок. Серенькое небо.

мама, твое, Аверьян Галаев, ваше, мои ребята,— за отечество русского народа.

Мы здесь просто живем и еще проще умираем. У смерти здесь отняты обрядности, обращающие ее в торжественное и печальное таинство. Вот вам несколько штрихов.

Недели две тому назад мы с товарищем, офицером, прогуливаясь, забрели на братское кладбище. На песчаном бугорке, обнесенном легонькой оградой из колючей проволоки, недалеко от лесной опушки, протянулись ровные ряды могилок. Четырьмя линиями стоят простенькие деревянные кресты, прямо как солдаты на ученье.

— Да, месяца два тому назад я тут проходил — только семь могилок было, а теперь — на-ка, уж сдвоенными рядами выстроиться успели,— задумчиво замечает мой вестовой...

В конце последнего ряда желтеют две свежевырытые ямы.

— Смотри,— указывает мне на них товарищ,— вот черти! Про запас могил нарыли!

Вот в самом деле откровенно-простодушный цинизм войны! Эти «запасные» могилы напоминают меблированные комнаты: кто будет их хозяин — неизвестно; пока они пустуют, но — что за важность — дело верное, и постояльцы будут...

Другая картинка.

Третьего дня ко мне в землянку заходит начальник пулеметной команды с молоденьким доктором, только что приехавшим на фронт.

На нашем участке тихо. Доктору и жутко, и интересно, и как-то не верится, что это «самая первая» линия, а дальше — в трехстах шагах — уже австрийцы.

Проходим к пулемету, показываем доктору изящную машинку. Он поглядывает на нее опасливо.

— А что, взорваться он не может?

Переглядываемся и отвечаем сдержанно:

— Бывает...

Доктор «по стратегическим соображениям» отступает за козырек, мы же со спокойной гордостью отчаянно-храбрых людей устраиваемся близ пулемета.

Начальник команды указывает пулеметному унтер-офицеру точку наводки:

— Уж очень тихо что-то.

— Хотите, можно устроить маленький скандальчик,— говорит пулеметчик.— Давайте покажем доктору пристрелку пулемета.

— Ну, чудесно,— отвечаю я.

— По краю вон той поляны.

Потом проверяет и командует:

— Пол-ленты, с рассеиванием. Огонь!

Тишина прорезается четкой трескотней пулемета.

Мы выходим из-под блиндажа и любуемся, как летят, сшибаемые пулями, ветви, сучья, щепки от пней. Вот свалилось молоденькое деревце, вот другое наклонилось и падает все быстрее и быстрее...

Доктор потрясен.

— Черт знает, какая сила! Ну как против него идти?

Неожиданно пулемет умолкает — кончились пол-ленты.

— Ну, теперь рекомендую спрятаться. Сейчас австрийцы откроют ответную стрельбу,— советую я доктору.

Он исполняет мой совет весьма охотно — и вовремя. Австрийцы, по-видимому, сердятся, и через нас уже довольно густо летят их пули.

Наконец они отвели душу и постепенно умолкают. Мы выходим из-под козырька и идем по направлению к соседней роте. По дороге мне попадаются несколько солдат, бегущих с котелками из резерва.

— Ваше благородие,— смущенно говорит мне фельдфебель, бывший все время с нами,— а я совсем и забыл вам сказать — ведь люди-то за обедом в резерв пошли!

Я набрасываюсь на него:

— Как же ты, брат, такие вещи забываешь! Теперь, чего доброго, кого-нибудь там ранило!

Пули опаснее всего в так называемых батальонных резервах, потому что там они на излете и летят низко, да и люди там не прикрыты окопами.

И действительно, не прошли мы ста шагов, как нам попался санитар, бегущий с индивидуальным пакетом в руках.

— Ты куда?

— Да там в резерве, говорят, кого-то ранило.

— Хорошо, беги. А ты, фельдфебель, узнай, кто ранен, и пошли туда еще трех санитаров с носилками на всякий случай. Я пройду в первую роту

— Слушаюсь.

Проходим дальше, показываем доктору действие нашего бомбомета, затем они уходят, а я захожу в землянку командира первой роты. Сидим с ним, болтаем. Подходит телефонист.

— Вы будете командир второй роты?
— Я.
— Вас спрашивает командир резервной роты.
Беру трубку.
— У телефона прапорщик Ладыгин.
— Говорит прапорщик Шашин. Тут у вас убило рядового. Так вот, остались деньги — пять рублей сорок шесть копеек.
— Хорошо. Пришлите их, пожалуйста, ко мне. Куда ранило?
— В живот и там осталась. До свидания! Кланяйтесь командиру первой роты.
Побеседовали о разных разностях еще немного, направляюсь к себе. Фельдфебель встречает по дороге.
— Там в нашу роту восемь лопат прислали, так как с ними прикажете?
— Раздать повзводно.
— Слушаюсь. А еще у нас убило Сидоренку.
— Эх! Как на грех, хороших солдат выбивают.
— Так точно. Сапоги я приказал снять. Тут у нас у одного плохие, так я велю ему их отдать.
— Хорошо.
— А как прикажете с шинелью? Надо бы тоже снять, да уж очень кровью залита.
— Ну что ж, куда ни шло, похороним в шинели. Могилу рыть послал?
— Так точно.
— Ладно. А насчет священника я потолкую. Тут, кстати, сегодня утром в шестой роте пулеметчика убило. Вместе их и похоронят.
Вечером ко мне заходил полковой священник.
— Что, батюшка, хоронить приехали?
— Уже похоронили.
— Жаль, а мне из штаба полка обещали гроб прислать.
Батюшка машет рукой.
— Эх, полноте, не все ли ему равно!
Вот здравый взгляд — конечно, безразлично.
Ну, что же рассказать еще об этой смерти? Вот, собственно, и все. Через несколько дней появится в приказе: «Рядовой второй роты Порфирий Сидоренко, убитый на позиции у деревни... исключается с денежного, приварочного, чайного, мыльного и табачного довольствия».
Жизнь кончена, и подведен итог.

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Ира!

Отправляю тебе с моим вестовым Алексеевым (бывшим московским лихачом) то, что успел наскоро собрать.

Мы сейчас стоим в резерве. Если бы стояли на позиции, мог бы собрать гораздо больше, а здесь ничего нет особенного, да и собирать некогда — он поехал в отпуск неожиданно.

Можешь расспросить его о нашем житье-бытье. Вещи, присланные мною, переправь домой[1] — на память. Описание их я потом пришлю. Вкратце же вещи таковы:

1. Головка от шестидюймовой шрапнели.
2. Очки и маска противогазная. (Ими мне уже не раз приходилось пользоваться, когда на нас австрийцы бросали бомбы с удушливыми газами.)
3. Ручная грелка с углями.
4. Головка от австрийской ружейной гранаты.
5. Австрийская пуля, которой один солдат был ранен в плечо навылет. Пуля, пробив плечо, застряла в шинели.
6. Обойма с патронами. (Вынута мною из подсумка раненого солдата моей роты. Бомба из бомбомета разбила козырек над окопом, ранила солдата, и кусочек дубовой коры от козырька пробил толстый кожаный подсумок и продавил обойму.)
7. Шрапнель.

Прап. Ладыгин.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДЕНЩИКА

Ключи чемодана со мной в случий буду убит.

Милостивейший Государь Василий Лаврентич!

Кланяясь Вам и Вашему Семейству С почтением.

Покорнейше прошу Вас В. Ла. Сообщите мне Адрис Вашего сына Евгения В. прапорщика Ладыгина. Очень Нужна я его денщик как остался при вещах. Но вещи мне пришлось Сдать в обоз второго разряда, а я остался по приказанию начальства в строю второй Роты. Он Уменя Заболел Сперва Экземой а последнее время Унего Повысилась температура до сорок градусов.

Я Ходил Кнему в лазарет, но его Уже Не застал. Отправлен дальше, а куда пе мог достать Сведения. Вот я

[1] Ирина Васильевна училась тогда в Москве.

уже жду его месяц и не могу дождаться и письма нет. Думаю разве Сильна болен или нет живова, а если бы Умир было бы в приказе, Спаси Бох отсмерти такова Человека ему все желаем пожить и все Им довольны Он не гордился и Нижних Чинов не обижал Я и Рота Обним Скучаем и когда только дождемся.

Шоколаду шесть плиток я получил на его имя из московы брат прислал. Это я одну признаться Скушал а остальные в чемодане и семь писем на его имя все собрал в порядок до его приезда, но я вряд ли его увижу. Завтра говорят в наступление, в чем и беда мне без Евгения Василича подошла. Как знаете его Адрис Покорно прошу сообщите.

Желаю Вам На илучшего и перед Вами извиняюсь за беспокойствие.

Денщик пр. Ладыгина Аверьян Трафимович Галаев. 2й Роты 4 Звода.

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Дорогие мои!

Не сердитесь, что так долго молчал, и не беспокойтесь обо мне: был болен и писать не мог. Болезнь пустячная, но писать не давала да и сейчас еще плохо дает — больна правая рука.

Расскажу коротко, в чем дело.

В начале марта мы встали на позицию, а примерно в середине месяца на нашем фронте у австрийцев появилась новинка — бомбы с удушливыми газами, и угощать этой новинкой они стали как раз нашу роту.

Когда привыкнешь к ним, то бомбы эти — ерунда, но по первому разу был у нас большой переполох.

Как-то вечером я осматривал новые окопчики для передовых постов. Вдруг слышу — австрийцы открыли огонь из бомбомета по моей роте. Побежал туда, где слышны были разрывы бомб, и по дороге чувствую, что пахнет чем-то вроде чеснока и начинает есть глаза. Сразу смекнул, в чем дело, пробежал еще немного по окопам, распорядился, чтобы люди надели очки и маски, и понесся в свою землянку. Схватил там свою маску, налил в горсть гипосульфита из бутылочки, смочил маску, надел ее, очки и покатил опять в окоп, не успев вытереть руки.

В окопе уже здорово воняло газом. Некоторые солдаты, потерявшие маски, корчились на земле: их рвало и ело

глаза. Я их сейчас же отправил в тыл. (Все они благополучно поправились на другой день.) Остальные же, похожие в своих очках и масках на каких-то чудовищ из «Вия», стояли уже наготове с винтовками в бойницах. Пронесли одного раненого, другой — контуженный — охая, проплелся сам.

Газ все же забирался под очки и маску, ел глаза и затруднял дыхание, но не сильно. «Черт» оказался не таким страшным, как его малюют. После этого австрийцы пускали на нас бомбы с газом довольно часто.

Единственным последствием всей этой истории было лишь то, что от гипосульфита, которым я смочил себе правую руку и дал ему на ней засохнуть, у меня через несколько дней появилась какая-то сыпь, которая постепенно развилась в «нечто экземистое», как сказал потом доктор.

Все же я достоял на позициях, отойдя же в резерв, показался врачу. Он сказал, что у них нет лекарств в полковом околотке и что мне придется уехать в дивизионный лазарет. Но я ехать с этой ерундою отказался и попросил его выписать лекарства сюда. Так протянулось время, а тут у меня прибавилась инфлюэнца с высокой температурой, и врач настоял-таки на отправлении в лазарет, помещавшийся верстах в семи от нашего полка в маленьком еврейском местечке. Тут я провел с неделю. Инфлюэнца благополучно прошла, но на руке к экземе прибавилось воспаление лимфатических сосудов, и меня направили дальше — в Ровно, где я и нахожусь сейчас.

Валяюсь целые дни на кровати, отчаянно скучаю и брюзжу. Ровно, который шесть месяцев назад был для меня «фронтом», теперь уже в моих глазах, бессменного «окопного сидельца»,— глубокий тыл, и я им очень недоволен. Все не нравится мне здесь: и блестящие фигуры штабных, которых, по-видимому, меньше всего интересует война и которых здесь очень много, и «патриотические» разговоры и предположения лежащих со мною местных военных чиновников.

Теперь мечтаю только об одном: скорее бы поправиться — и в полк, к своим ребятам,— отдохнуть душой от впечатлений тыла...

Напишите мне, как встретили вы 1 Мая, был ли у вас какой-нибудь пикник. Я встретил май скучно — в госпитале. Одно хорошо: у нас уже давно цветет сирень, и ее большие букеты на наших окнах напоминают мне о мае.

Ваш Женя.

ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Дорогие мои!

Вчера, по выздоровлении, я вернулся в полк и попал, как Чацкий, с корабля на бал... Еще подъезжая к последней станции, я уже слышал отдаленные звуки артиллерийской подготовки, а потом ехал двадцать пять верст до полка все время при звуках артиллерийского боя.

Подъезжая к расположению полка (мы стояли в резерве), я увидел, что полк уже выстроился в полной готовности к выступлению.

Успел только наскоро явиться к полковнику, был опять зачислен во вторую роту, но уже младшим офицером, так как ротный командир был уже, конечно, назначен другой. Наскоро переоделся, заменил шашку более скромной лопатой и скатал шинель в скатку.

Через полчаса наш батальон был двинут на поддержку уже дерущемуся полку...

Теперь пишу при интересных условиях: наша рота стоит пока в резерве — в тех окопах, где наши стояли зимой. Наступающие части впереди, у австрийских проволочных заграждений. Со всех сторон гремит наша и австрийская артиллерия. Сплошной гул. Отдельных орудийных выстрелов почти не различишь. От этого грохота у всех нас болит голова. Мимо нас «оттуда» несут раненых; легко раненые и контуженные идут сами. К нам сюда залетают только редкие снаряды, потерь пока, слава богу, нет, но передним приходится туго. Часа полтора тому назад двинули вперед нашу первую роту, а теперь у нее около сорока человек потерь убитыми и ранеными. Через час-два, вероятно, наступит наша очередь. Настроение спокойное и сосредоточенное.

Родные мои! Чувствуете ли вы, что в этот день мы здесь деремся и умираем за вас и за общее дело?

Известия об этом, слава богу, до вас дойдут еще не скоро, и вы сейчас, наверное, спокойны. Знай вы, что творится здесь сейчас, сколько сердец сжималось бы теперь тревогой.

Не могу больше писать: артиллерийская стрельба замолкла, несколько времени было затишье, а теперь поднялась отчаянная ружейная и пулеметная трескотня. Должно быть, наши пошли в атаку. Сейчас узнаем по телефону.

Пока прощайте, мои дорогие. Если даже наше дело не завершится победой, не думайте о нас плохо: помните, что мы были честны и делали, что могли.

Ваш Женя.

Операция окончена, и вся наша рота уцелела. Ночь работали под огнем и — почти чудо — ни одного человека не потеряли.

Мы сейчас в резерве, а скоро, говорят, оттянут нас назад. Бой еще идет, но это уже только отголоски вчерашнего боя.

Рад вам сообщить, что теперь довольно долго можно быть спокойным за меня.

Ваш Женя.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО, ДОСТАВЛЕННОЕ ДЕНЩИКОМ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЛАДЫГИНА

Вечером третьего дня, вскоре после того, как я вам отправил предыдущее письмо, у нас начал обозначаться выход австрийцев. Замолкла их тяжелая артиллерия, постепенно начала замолкать легкая, а потом стихла совершенно, и только ружейные пули продолжали как-то высоко и неуверенно лететь над окопами.

В австрийском тылу послышались два сильных взрыва — они взорвали склады патронов; задымились в разных местах сжигаемые деревни, и вскоре в наших руках были первая, вторая и третья линии их окопов. Наш батальон переведен немного вправо, в резерв, и уже по дороге нам начали попадаться небольшие партии пленных австрийцев.

Вчера нас двинули опять на другой участок, а потом в погоню за австрийцами. Два наших батальона дерутся сейчас под Колками — идет борьба за Стырь. Вечером австрийцы, вероятно, опять отойдут.

Наш батальон после суток под огнем и двух дней похода сейчас отдыхает. Вот когда у нас настоящий май. Вчера немного смочило дождем, а сегодня отличная погода, и мы чувствуем себя как на пикнике. Валяемся под соснами, пьем чай и отъедаемся за прошлое и за будущее (вчера остались без обеда и без чая).

Сейчас пришло известие — Колки взяты, и мы уже за Стырью. Дело идет хорошо. До свидания, мои дорогие, кланяйтесь всем.

Ваш Женя.

ВТОРОЕ ПИСЬМО ДЕНЩИКА ВАСИЛИЮ ЛАВРЕНТИЧУ ЛАДЫГИНУ

Спешу Известить Родителям И семейству Ладыгину, 27 мая в 10 часов дня Убит в Бою Ваш Сын Евгений Василич Прапорщик Ладыгин 318-го Пехотного Черноярского Полка 2-й роты Командир.

Тело его вынесено 29-го мая из огня боя. Погребение им было Четверым Прапорщикам и Полковнику похоронная процессия с музыкой и орудийным боем.

Убит за местечком Колки На берегу реки стыра, вовремя Наступления Под деревней Копылы. Похоронен На Офицерском Кладбище За деревней тараш, При узко Колейной станции, в том извещаем О по Гребении Родителям и знакомым его.

Василий Лаврентич, Как Вы желаете тело его взять на родину Своих Кладбищ, тогда представьте цинковый Гроб, или сами привезите, вещи его Находятся при мне до особого распоряжения, я как был денщик Покойного Моего Командира. Он мне доверял все что есть, Царство ему Небесное. Человек был хороший. Жалко больно жалко мне его. Поплакал я обним как дитя, Еда четвертые сутки не идет, Плохая мне безнего будет жизнь. Эх, Евгений Василич, как Вы сомной простились видно Знал что болие не увидишь. Мне в последнее время наказывал Покойный, как будто знал, Убьют па Пиши родителям и помни меня, Собери мои вещи от правь Народину.

Навряд ли Нас отпустят с офицерскими вещами и так что Прошу Вас дайте телеграмму Командиру Полка насчет моей Просьбы я же желаю Повидаться с Вами и поделиться Горем. Денщиком я у него с самой москвы рядовой Аверьян Трофимович Галаев 2-й роты.

Пишите ответ, я пишу второе Вам Письмо.

Аверьян Галаев.

Вот и кончилась история прапорщика Евгения Васильевича Ладыгина.

Я читал его письма, вглядывался в лица «ребят» второй роты на пожелтевших фотографиях и думал — вот отошла та жизнь, пришла на смену ей иная, и в ней забыты многие люди, недостойные забвения.

И если ко мне подкрадывалось сомнение, когда я писал эту маленькую повесть, и я начинал спрашивать себя: «Да полно, нужна ли она, повесть давно отзвучавшей жизни?» — я опять перечитывал записки и письма Ладыгина,

смотрел на фотографии, на рисунок акварелью и думал: «Пусть не забудется каждый, кто любил родину, любил свой народ и отдал за них жизнь с искренней верой в нужность своей скромной жертвы».

В записках Ладыгина был мягкий, как тряпочка, полуистлевший листок, убористо исписанный химическим карандашом:

О тебе я думаю, моя родина. Не царственный лавр, не пальма жгучей пустыни, не пламенные розы — мой родимый край: стыдливый подснежник, синий василек, золотая кувшинка в тихой заводи рек. Когда Бог творил землю, другим он отдал странам свой гнев, свою радость, свои ласки, свою страсть. И отдал он им гранитные скалы, лазурное небо, и синее море, и жгучее солнце. И дал он им чудесные леса и странные плоды, цветы, похожие на бабочек, и птиц, похожих на цветы; на тебя же, моя родина, не хватило красок у Бога. И отдал он тебе свою душу, печальную душу всегда одинокого Бога.

Чтобы не забыт был в нашей жизни автор этих строк, я и рассказал о нем, сделав это словами документальной правды, потому что не значительней ли самого пышного вымысла крупица подлинной жизни.

1961

ПАДУЧАЯ ЗВЕЗДА

Уродился юноша
Под звездой безвестною,
Под звездой падучею,
Миг один блеснувшею
В тишине небес.

А. Пушкин

1

В наступательных боях тысяча девятьсот сорок четвертого года рядовым пехотных войск принимал участие некто Митя Ивлев.

Был июль, ночь. В сосновом лесу позади окопов стояла гулкая, как в пустом храме, тишина. Сняв каску, Митя положил голову на бруствер и смотрел на верхушки сосен, плоско и четко, словно аппликации, чернеющие на фоне неба. Случались у него в детстве минуты, когда, разглядывая голубые жилки на своих руках или слушая стук своего сердца, он вдруг волнующе и странно удивлялся тому, что все это именно он — несомненный, живой и, разумеется, вечный в будущем мальчик Митя. И сейчас, слушая эту смущающую своей необычностью тишину, глядя на небо, виновато и грустно помаргивающее редкими звездами, он так же был наполнен этим странным ощущением своего присутствия в поднебесном мире. Вот холодок тумана на лице, смолистый запах леса, покалывающе глубокий вдох... И, боже мой, неужели есть границы его, Митиного, «я», втиснутого в маленький индивидуальный окончик, неужели может без следа исчезнуть все, чем уже наполнено оно за восемнадцать лет?!

Он помнил себя с младенчества. Впрочем, это еще не воспоминание, а какое-то мучительное впечатление хаоса, который внезапно обрушивался на него раздирающим скрежетом, катастрофическим смещением окружающих предметов, потрясением всех клеточек мозга и позже долгие годы был самым ужасным кошмаром его детских снов. Возможно, это впечатление было оставлено у него трогающимся с места вагоном, потому что в то время Митю часто

перевозили из города в город его неустроенные родители, но кто же знает...

Потом была большая, наполненная зеленым полумраком штор комната, в которой по белому потолку разбегались какие-то веерообразные, переломленные на матице тени. Был рубиновый огонек лампады перед бабушкиной божницей; были дядины ружья, висевшие на лосиных рогах; была бутылочка с соской, и был холодящий ужас, когда из-за края стола поднялась седая, лохматая шкура (дядя в вывороченном полушубке), схватила бутылочку, и Мите сказали, что это медведица унесла ее своим медвежатам.

Все это — и комната, и божница, и ружья — было на втором этаже двухэтажного дома из серого камня. Эти полые шероховатые бруски цемента и гравия, похожие на плитки козинаков, своими руками формовал дед Мити — рабочий железнодорожных мастерских; он сам постепенно выкладывал и стены дома, мечтая со временем разместить в его вольготном просторе свою многочадную семью, но три войны начала века унесли почти всех его сыновей, сам он тоже умер вскоре после Октябрьской революции, и дом оказался слишком большим для траченной смертью семьи. Весь нижний этаж поэтому занимали квартиранты, а в трех верхних комнатах и на просторной террасе, увитой волчьим виноградом, с бабушкой, мамой и дядей жил Митя. Отец к тому времени надолго выпал из его жизни.

Летом на дворе Мите стелили два выстиранных и еще хранивших запах речной воды половика, он садился на них и часами мог оставаться один. Едва уловимо пахло нагретыми заборами, лопухами, крапивой. Роясь в пыли, мирно квохтали куры; важный селезень, тонкоголосо пошваркивая, вел к корыту с водой ленивых уток; рядом с Митей на половиках пойнтер Лай щелкал зубами на докучливых мух. Этот мослатый, ребрастый, неуклюжий пес был добродушен и конфузлив, часто задумывался со слезой в грустных глазах и вдруг прерывисто вздыхал, словно ребенок после продолжительного плача. Во сне его преследовали кошмары, он скулил, повизгивал, и тогда приходилось будить его толчком в бок. Он всегда вызывал в Мите щемящую жалость, приходя с разорванными ушами, кровоточащим глазом или прокушенной губой после драки с другой собакой, обитавшей во дворе,— угрюмой рыжей дворнягой Пиратом. Это был некрупный, но по-боецки ловкий, мускулистый и свирепый зверь. Его прозрачные глаза смотрели зло и презрительно.

О, как страстно желал Митя хоть одной минуты торжества Лая над этой рыжей тварью, источавшей смрадный запах помоек и псины!

Но странно — как ушел Лай, доживший до глубокой старости, он не помнил, а вот Пирата, из озорства убитого квартировавшими на первом этаже плотниками, он сам закопал под стеной сарая и часто потом плакал, вспоминая в лохмотья иссеченную топорами рыжую тушу с одним отверстым глазом, затянутым голубоватой мутью.

2

Первым его ощущением матери было, пожалуй, ощущение необыкновенно душистого тепла. Сделавшись постарше, он часто украдкой целовал ее одежду, чтобы почувствовать этот милый запах. Но лицо, лицо ее существовало для него только теперешнее: с грустными, много плакавшими глазами, которые всю жизнь будут ему самым мучительным упреком за то, что он часто бывал виновником их скорбных слез.

Один только день раннего детства, связанный с матерью, брезжил в его памяти. Они шли мимо торговых рядов по раскаленным булыжникам мостовой, он держал в руках коробку с оловянными солдатиками и, несмотря на обладание этой вожделенной коробочкой, капризничал, потому что устал и хотел пить. И, должно быть, какой счастливый день был у мамы, если, обычно раздражительная и усталая, она в ответ лишь весело подтрунивала над Митей, потом — о радость! — подошла к извозчичьей пролетке, посадила его на высокое, стеганное ромбами сиденье, и они покатили, покатили по солнечным улицам города мимо белых стен и сверкающих окон...

Мама, мама! Когда-то за величайшее счастье почитал Митя ласку и нежность ее, но с годами (и почему это только случается!) стал стыдиться открытого проявления своих чувств к ней и, уезжая на фронт, старался лишь об одном: в последнюю минуту расставания найти в себе силы не ответить на ее горькую любовь напускной холодностью. И то первое призрачное воспоминание хранил теперь как некий талисман, дающий надежду прожить честно и чисто.

Гораздо больше подробностей оставили в его памяти те ранние годы о бабушке. Она внушила ему почтительную боязнь перед богом, и поэтому первые воспоминания о ней связаны с таинственным блеском церковных иконостасов,

сладким обжорством рождественских и пасхальных праздников, прохладным шумом кладбищенских берез. Опустившись на колени перед божницей, полный искренней веры в чудо, шептал он, осеняя себя крестным знамением:

— Боженька, верни мне папу.

Высокая, красивая дородной румяно-белой красотой русской женщины, бабушка была заметна и почитаема в их маленьком городе. С достоинством домовитой хозяйки, в длинной синей юбке и белой свободной кофте, она плавно шествовала через толкучий воскресный базар, а из-за лотков и прилавков ей кланялись молочницы, мясники, зеленщики. Летний базар всегда волновал Митю своей пестротой, разноголосым гомоном, запахами лошадей, рогож, сена, солений, рыбы. Отстав от бабушки, он путался в толпе среди телег, зачарованно глазел на красноглазых кроликов, на чистых, как хлопья снега, голубей, на россыпи ярких безделушек, которыми торговали китайцы, невесть каким ветром занесенные в этот городок средней России. Китайцы были самые настоящие — с желтыми лицами, узкими глазами, длинными косами,— но торговали местным товаром. Чего только не было насыпано на их ковриках, расстеленных прямо на булыжниках базарной площади! Всевозможные пуговицы, пряжки, шпильки, иголки, глиняные свистульки, батарейки, мартышки, паяцы и черти на пружинках, литые пугачи, пробки... Вот один из китайцев, распаляясь все больше, торгуется с флегматичным человеком в пыльном пиджаке из-за батарейки для карманного фонаря.

— Это плохая? — возмущенно кричит он, вертя батарейкой перед носом снисходительно улыбающегося покупателя, и вдруг изо всех сил шмякает ее о камни мостовой.— Не держу плохого товара!

У Мити дух захватывает: и батарейку жалко, и китаец пугает чем-то нездешним, невиданным.

По пути с базара они всегда заходили в маленькую прикладбищенскую церковку Ивана-воина. Бабушка молилась божьей матери и Христу, а Мите нравился бородатый Никола, похожий на деревенского старика Василия Васильевича, который иногда заезжал к бабушке попить чаю. Он был весь какой-то свойский, обыденный, этот Никола, и у него не совестно было попросить все, что угодно, от папы до пугача с пробками, тогда как бабушкины иконы своими скорбными, мученическими ликами вызывали в Мите жалость и подозрение в неспособности одарить его чем-то вещественным.

Молились они недолго. И каноническим молитвам бабушки, и Митиной импровизации одинаково хватало трех — пяти минут, чтобы иссякнуть. Бабушка величественно выплывала из церкви, и они прямо с паперти вступали в яркие движущиеся тени кладбищенских берез, в щебетание птиц, в запущенную пестроту трав и цветов, пробираясь по узким тропинкам к могиле, где лежал Митин дедушка. Над ней густым зеленым клубом вздымался огромный куст сирени. Присев под ним на лавочку, бабушка вытирала платком глаза, а Митя... Он еще никогда не видел смерти, и в эту минуту ему тоже до горьких слез было жалко бабушку, но не того, над кем трепетал своими сочными листьями сиреневый куст.

8

Отец его вел странный образ жизни. Он был инженером-дорожником и потому (так было принято считать в семье), что вблизи их города не строили дорог, скитался по всей стране, присылая открытки то с Северного Кавказа, то из Средней Азии, то с Дальнего Востока. Иногда он неожиданно появлялся. Входил загорелый, худой, смеющийся и ни с кем не здоровался, точно вышел из дому всего час назад. А через несколько дней уже сидел у окна небритый, рассеянный, угрюмый, напевая песню, которая до сих пор вызывала у Мити раздражение своей нелепостью:

Лиловенький цветочек
Испанской красоты,
Ты меня не любишь,
А я — наоборот.

Любил ли он отца? Пожалуй, нет. Его любовь к мужской половине света безраздельно принадлежала дяде. С ним была связана страсть к таким волнующим вещам, как ружье, патронташ, пистоны, порох, собачий ошейник, плетка, крючки, лески, удилища, блесны...

Вернувшись с охоты, дядя клал возле его постели убитую дичь, а утром он с любопытством и трепетом перед какой-то загадкой рассматривал, поворачивая в руках, краснобровых тетеревов, щеголеватых весенних селезней, скромных пестреньких куропаток или тяжелого окоченевшего зайца. Чем-то странно пахло от них — пером? кровью? порохом? снегом? болотом?..

Мите уже семь лет. Он лежит с дядей под одним одеялом на застекленной с трех сторон террасе и, за всю ночь

так и не сомкнув глаз, смотрит на окно. Там, сквозь лозы волчьего винограда, виден неподвижный, как глыба, клен, тонкий серпик луны чуть сбоку от него и густая россыпь зеркально блестящих августовских звезд. Бесконечно тянется эта пытка бессонницей и ожиданием. Но вот серебристо-голубой серпик, поднявшись выше клена, начинает как будто истаивать, бледнеть, дядин яростный храп внезапно обрывается, и Митя сейчас же вскакивает, точно подброшенный тугой пружиной.

— Пора?

Все готово еще с вечера. Переговариваясь шепотом, они быстро одеваются, выпивают по стакану молока с хлебом и выходят за ворота.

Очарователен и странен город в предутренней тишине. Где-то звучно щелкают по мостовой каблуки одинокого прохожего; сама по себе, без ветра, вдруг прошелестит листва тополей; протрусит, опустив голову, не глядя по сторонам, собака, и оттого, что у нее есть какая-то своя, непонятная, незримая людям жизнь, леденящий холодок мистического страха на миг обожжет с головы до пят, точно это и не собака вовсе, а оборотень. Митя старается держаться поближе к дяде. Они спускаются по крутым окраинным улицам к реке, которая вся — с берегами, плотомойками, реденьким ивняком, лодочными причалами — укрыта, как мокрой ватой, густым туманом.

— Оп! — негромко кричит дядя в этот туман.

И через минуту из него неуклюже вылезает огромная фигура, неся с собой крепкий запах махорки, пропотевшей одежды, рыбы. Мите удается разглядеть заросшее щетиной лицо с крупным носом, глубоко ушедшие под лоб глаза и дальше, до самой земли, только широченный тулуп с длинными болтающимися рукавами.

— У-у-у,— радушно гудит фигура, приглядываясь к дяде.— Не отбило тебе, Егорыч, охотку впустую-то шляться? Я бросил. И фузею свою зятю продал... Нет той охоты, милок, а этой и не надо, напрасное дело.

Митя преисполнен важности оттого, что дядю знают все охотники, знает этот лодочный сторож, и ему хочется как-то особенно подчеркнуть свою близость к дяде и ко всему дядиному.

— Лай! — негромко, но строго зовет он и берет за ошейник Лая, который весь мелко дрожит от возбуждения.

Дядя и сторож исчезают в тумане; отчетливо слышны

на воде их голоса, гремит лодочная цепь, стучат уключины.

Наконец все готово. Митя садится на корму, привычно прыгает в лодку Лай, и дядя начинает легко, без толчков, отгребать от берега.

— Напрасное дело,— еще раз со вздохом напутствует их сторож.

На воде тихо. Но если прислушаться повнимательнее, тишина полна мелких шорохов, бормотания, бульканья, всплесков — невнятных звуков реки, звуков ее жизни и ее движения. Куда и долго ли плыть в этом розовом от восходящего солнца тумане? Но дядя уверенно направляет лодку по реке, по старицам и протокам, пока из тумана вдруг не выступают очертания изб, плетней и сараев. Это деревня, где живет тот самый Василий Васильевич, который похож на Николу-угодника. Должно быть, какое счастье — жить здесь, в этой заречной деревне! Пока дядя привязывает лодку к врытому в берег бревну, Митя вслушивается в далекое мычание коров, в щелканье пастушьего кнута и воображает себя взрослым, живущим в такой же точно деревне. Лодка, ружье, собака — больше ничего не нужно ему в жизни; он встает каждый день на рассвете, кладет в сумку хлеб, лук, соль и, свистнув собаку, уходит в болота и поймы бить дичь...

А туман между тем поднимается выше. Сквозь него неясно видно большое желтое солнце; блестят мокрые крыши в деревне, и весь изволок, сбегающий к ней от горизонта, словно золотом, залит поспевшей рожью.

— Слышишь? Это коростель,— говорит дядя.

— Коростель? — трепетно повторяет Митя, прислушиваясь к сухому скрипу в прибрежных кустах.

И, как на своих богов, с благоговейным восторгом смотрит на дядю, на Лая, на ружье...

4

Может быть, это особенность возраста или особенность его, Митиного, восприятия мира, но только, оглядываясь на свое раннее детство, он не видел там ни зим, ни осени, ни ночей, ни ненастья, точно все оно было залито необыкновенно ярким ласковым солнцем. А может быть, все дело в том, как сам оцениваешь в зрелом возрасте события давних дней? Разве не казался ему тогда пронзительный, жгучий укус пчелы целой трагедией и разве не со счастливой улыбкой вспоминает он теперь этот случай?

В ту же раннюю пору жизнь одарила его настоящим приключением.

Один конец улицы выходил прямо в небо, на закат; там, за рекой, дымчато синел лес, отчеркивая горизонт четкой прямой линией. Выходя за ворота, Митя всегда встречался с этой далью, поглощавшей по вечерам то багровое, то желто-туманное, то золотистое солнце, и, конечно, думал о том, что же скрыто там, за синей кромкой леса, куда ниспадал потухающий купол неба. Ни религиозным объяснением бабушки, ни научным — матери равно остался он неудовлетворен. Возчик Андрон, этот санитар города, вывозивший на свалку отбросы от помоек, маленький, несоразмерно широкоплечий, весь от ворота до сапог закрытый громыхающим брезентовым фартуком, долго смотрел из-под руки в конец улицы и сказал:

— А ничего там нет. Ветер.

Тогда Митя сбежал однажды вниз по улице, пересек капустные огороды на заливном лугу, намотал на голову трусишки и майку и ступил в быстрое течение реки. Он уже бывал в заречной пойме, где собирал с мальчишками орехи, переходя реку вброд, и все же панический страх охватил его, когда течение напористо ударило в бок, завиваясь маленькими быстрыми воронками, и он увидел, как далеко оба берега и как одинок он в этом сверкающем потоке. Он хотел засмеяться для бодрости, когда ноги все же зацепились за ребристый песок отмели, но лишь как-то судорожно заикал всем нутром, и долго потом, уже на берегу, крупная дрожь время от времени сотрясала его худенькое тело.

В зарослях ивняка и орешника, на том берегу он шел без дороги, натыкаясь на мелкие озерца, где среди зеленых водорослей плавали красноперые мальки окуня; видел скользнувшего в корни и палую листву ужа; ел щавель, орехи, черную смородину, ежевику, а когда вышел на огромный, выжженный солнцем пустырь, простиравшийся до того самого леса, за которым небо сходилось с землею, то замер в восторге и удивлении. Он увидел настоящую пушку. Неподалеку от нее под навесом стоял красноармеец с винтовкой.

— Валяй отсюда, пацан,— сказал он.— Нельзя.

И надолго потом осталось у Мити убеждение, что часовой с винтовкой и пушкой охраняет ту заповедную черту, за которой, по неправедным словам Андрона, будто бы нет ничего, а только ветер.

Еще в детстве жизнь связала его с природой, не обнеся этим драгоценным даром.

Городской двор был обширен и дик, весь в лопухах, крапиве, полыни, в кустах желтой акации и бузины, в непривитых яблонях и выродившемся вишеннике. В поддревесной сыри водились лягушки и ящерицы, мокрицы и черви. Под крышами всевозможных сарайчиков жили летучие мыши и птицы.

Двор обогатил его названиями деревьев и трав, всех ползучих и летающих тварей.

За лето он дичал на этом дворе — спал в обнимку с Лаем на половиках, ел стручки акации, яблоневую завязь, пил теплые куриные яйца, которые находил в лопухах и крапиве. Смазывая вазелином его цыпки, мама грустно вздыхала и уносила к себе на постель, чтобы хоть ночью овеять теплом своей ласки.

В одно из дошкольных лет, еще до того, как дядя первый раз взял его на охоту, Митя на целый месяц попал в деревню. Ему запомнились теплые сумерки, высокое бледное небо, розовенькие облачка по горизонту и две проселочные колеи во ржи, разделенные муравчатой бровкой. Он сидит с мамой в телеге; ему очень хорошо с ней, но он пока не ведает всей меры своего счастья, потому что то, что будет у него впереди, окажется еще прекраснее и запомнится на всю жизнь, как лучшее время близости к маме.

«Спать пора... спать пора...» — посвистывает во ржи перепел.

И Митя засыпает. Уже темно, когда он открывает глаза; кто-то большой, широкий, загородивший ему спиной полнеба, идет, держась за край телеги, и Митя в полусне слышит разговор:

— А ты, паря, откуда будешь-то? — спрашивает возница.

— Я-то? Дальний. Это тебе знать не обязательно.

— Ишь заноза! Ну хоть, как звать, скажи, а то идешь, и неизвестно, кто ты.

— Зовут нас, дядя, зовулькой, а величают свистулькой.

— Смотрю, строптив ты, паря.

— Это верно, я гордый.

И оба умолкают. Снова лишь скрип телеги да непрерывное, наполняющее весь ночной воздух свиристение кузнечиков.

Деревеньку — в один ряд домов, с часовней и кирпичными кладовыми — с трех сторон окружали ржи и выпасы, а с четвертой — подпирал редкий, но могучий, сухой и солнечный бор. Тихой музыкой слышался в ветреную погоду его шум; что-то непривычно возвышающее цыплячью Митину душонку было в прямизне высоченных сосен, в вековой невозмутимости тишины и покоя бора. Он никогда не кричал, не бегал там, стараясь держаться поближе к маме, и она спрашивала:

— Боишься?

— Н-нет,— смущенно отвечал он, не понимая, что такое творится с ним.

Он любил бывать в бору только с мамой, чувствуя какое-то счастливое единение с ней, точно весь вливался в ее душистую теплую грудь.

Никогда не забудет он, как схватила она его, когда он упал с воза сена, и отчаянно плакала, ощупывая его голову, руки, ноги, и он тоже плакал — не от боли и страха, а от жалости к ней, такой неутешно несчастной в эту минуту.

Но если в бору Митя бывал только с мамой, то сама деревня и вся ее округа были открыты ему деревенскими мальчишками. Из них он помнил приземистого, кривоногого Толянку, ловкого во всех играх и удачливого во всех мальчишеских промыслах. Помнил босоногую, рваную, немытую ораву ребят вдовы Натальи, но все они слились у него в одно курносое сопливое лицо, и только Игнаша — тоненький большеголовый мальчик, спокойный, добрый и справедливый,— выделялся как-то особо. Вот, пожалуй, и все.

Вставал Митя вместе с пастухом. Этот маленький корявый мужичок в лаптях и в каких-то словно нарочно рваных и трепаных лохмотьях удивительно хорошо играл на рожке. И навсегда в Митином представлении туманный деревенский рассвет соединился с этой чистой песней рожка, со сказкой о тростниковой дудочке, заговорившей человеческим голосом, хотя пастуший рожок тех мест — вовсе не тростниковая дудочка. То были места известных владимирских рожечников, и, боже мой, как же играл этот деревенский пастух, как он играл, если в неокрепшую детскую Митину память навсегда вошли не только сам пастух и бредущее в тумане стадо, но и сама от нотки до нотки мелодия рожка, необыкновенно напевная, отзывающаяся в душе чистым грустным чувством!

Росистое, ясное, расцветало утро. В бору куковала ку-

кушка. Мальчики загадывали, сколько лет им жить, и радовались, когда уже сбивались со счета, а она все еще продолжала щедро отсчитывать годы.

В кузнице ей вторил звонким перестуком своих молоточков кузнец Бабка, веселый кудрявый силач и красавец, ломавший березовые оглобли, как спички. Добродушно матеря мальчишек за их докучливость, он охотно отливал им тяжелые свинцовые биты на зависть всем окрестным деревням.

Предельно чисты были утренние звуки в деревне, не смешиваясь в сплошной, уже неслышный привычному уху шум, как это бывает в городе. Вот проголосил петух, заскрипели ворота, тяжело шлепнулось на влажную землю яблоко в саду.

С неосознанной остротой и жадностью впитывал Митя этот новый для него мир. Возле мелкого теплого пруда, который назывался здесь Барский двор, росли пышные таволги; весь косогор, поднимавшийся от деревни к бору, пестрел фиолетово-желтыми цветами иван-да-марьи, а заливные луга за прудом межевались то золотой полосой лютика, то белой — поповника, то розовой — клевера. Должно быть, избалованный в детстве этим цветочным изобилием, Митя так и не приобрел городской привычки тащить домой букеты луговых цветов.

Толянка водил Митю на луговые баклуши мутить щурят. Этому занятию мальчики с упоением предавались часами. Теплая грязь по колена, обожженная до костей спина, резкая вонь рыбьей чешуи от рук, живота, груди, трусишек — все сливалось в азартное наслаждение охотой, которая, как известно, пуще неволи.

Подошла молотьба. Вокруг машины с ржавыми зубчатыми колесами сновали пестрые рубахи, кофты, мелькали в пыльном воздухе золотые снопы.

Мите разрешили покрутить ручку машины, но сил его не хватило даже на то, чтобы сдвинуть ее с места, зато барабан веялки, ходивший легко и бесшумно, он крутил до устали, поднимаясь наутро со сладостной ломотой во всем теле.

И надо же было случиться такому, что именно в эту спелую пору лета — пору зрелости плодов, самую богатую пору природы и человека,— на деревню обрушилось бедствие.

Ночью Митю разбудил встревоженный голос хозяйки:

— Оно хоть и далече от нас занялось, а надо вынести.

Мама крепко обняла Митю. За окном бился багровый отсвет, звякал набат, но Митя еще никак не мог связать

этот тревожный свет, этот набат, дрожащий шепот хозяйки и оцепенение мамы в одно понятное слово — «пожар», пока мама не спросила:

— Кто горит?

— Наталья. Ох, лишенько! — вздохнула хозяйка.

И тогда Митя понял. Что-то слабенькой птичкой тоненько-тоненько затрепетало, забилось у него в груди, он выбежал вместе с мамой из избы, увидел огромный, разодранный на вершине столб черно-красного пламени и уж не помнил из этой страшной ночи ничего, кроме самой пустяковой подробности: кто-то остервенело мотал створку Толянкиного окна, стараясь оторвать ее от рамы.

Утром Наталья сидела на сундуке у россыпи курящихся серым дымом головешек и плакала. К Мите подошел Игнаша.

— Яблочки теперь у нас печеные,— сияя, сообщил он.— Айда в сад!

И они побежали в сад сшибать палками яблоки с высоченной корявой яблони, дочерна обожженной пожаром.

6

К счастью для Мити, его бабушка была грамотной. Он не помнил, чтобы у него были детские книги, и даже Пушкин открылся ему не «Сказкой о рыбаке и рыбке», не «Золотым петушком», не «Семью богатырями», а «Сном Татьяны» да еще, пожалуй, сценой сражения Руслана с Головой. Их он мог слушать бесконечно и сам отыскивал в толстом томе по каким-то едва заметным пятнышкам на страницах. Бабушка читала как будто бы монотонно, но ровный, без повышений и понижений голос ее, правильная русская речь, выговор на какой-то изумительно точной границе между владимирским «о» и московским «а» создавали особую прелесть ее чтений.

Обычно они происходили по вечерам у горящей печки. В доме было несколько печей, и топили их одну за другой, чтобы коротать весь долгий зимний вечер у огня. Митя приносил уже раскрытый том, бабушка надевала очки в тоненькой серебряной оправе и, по временам задремывая, тихо вязала словцо к словцу в длинную нить рассказа.

Пред ними лес: недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега, сквозь вершины

Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночных;
Дороги нет, кусты стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.

В печи с тихим звоном осыпалась груда березовых углей. Морозное окно вспыхивало голубыми искрами, и, когда Митю относили в постель, какие сны витали над ним, заставляя то счастливо улыбаться, то безудержно и горько рыдать?

Всемогущим чародеем этих снов был Гоголь.

«Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий. И все сонмище чудовищ кинулось поднимать ему веки».

Явь и небыль перемешались в податливом Митином воображении — блеск луны над заснеженными крышами с «Ночью перед рождеством», прозрачные весенние сумерки с «Майской ночью», летний базар с «Сорочинской ярмаркой», папоротниковые заросли в лесу с «Иваном Купалой».

И через много книг прошло впоследствии его детство, знал он, конечно, и Робинзона, и Гулливера, и Гаргантюа, и Мюнхгаузена, и каждый очаровывал его своей особой доблестью и славой, но никто из них не жил с ним в какой-то почти осязаемой близости, как гоголевские казаки, дивчины и парубки. Когда же спустя несколько лет счастливое провидение занесло в его городок оперную труппу и он увидел на утренних спектаклях «Майской ночи» и «Черевичек» знакомые образы, воплощенные в живых людей, в музыку, в детство, то окончательно уверовал в их реальное существование.

С этой, быть может, не такой уж наивной верой не расстался он и поныне.

7

Последнее Митино лето перед школой прошло среди плотников, конопатчиков, кровельщиков, маляров, отстраивавших во дворе маленький, в две комнаты, флигель. К тому времени бабушка продала двухэтажный дом, который ей не под силу стало обихаживать, и семья доживала в нем последние дни, дожидаясь завершения постройки флигеля.

Плотники были все из деревни. Они и ночевали прямо тут же, во дворе, кто на куче пакли, кто на стружках, и

только их старшой — низенький, юркий мужичок Михайла — заявил, что будет спать в доме, на русской печи.

— Я, милок, по теплу на всю жизнь еще с войны соскучился. Ежели разобраться, у меня в глубину и на полпальца-то не оттаяло. А уж ноги, ноги! Постучать друг о дружку — зазвенят, как плашки.

Он залезал на печь и, угнездившись там на полушубках, на всяком рунье, долго бормотал, слушали его или нет, о невзгодах гражданской войны, с избытком выпавших на его долю.

Митя не отходил от плотников целыми днями, привлеченный проснувшейся в нем страстью ко всякому инструменту, ко всем этим топорам, пилам, фуганкам, рубанкам, шерхебелям. Топор ему еще не доверяли, фуганок оказался слишком тяжел для него, в работе рубанком недоставало сноровки, зато забористым шерхебелем, который плотники называли шершелкой, он махал без устали, в листик истругивая всякие дощатые отходы.

Счастливыми были для него ночи, когда мама отпускала его спать к плотникам.

Сложно и крепко пахло в недостроенном флигельке, смешались тут запахи сосновой стружки, потных рубах, махорки; в зияющие проемы окон черпым-черна глядела усыпанная звездами ночь, а в кустах, в подзаборных бурьянах что-то копошилось, попискивало, шарахалось.

Плотников, не считая Михайлы, было четверо. Красивый, озорниковатый Валька Хлыстов, распевавший во все горло похабные песни, но до того не терпевший телесной нечистоты, что три раза в день бегал на речку, мылся там с мылом и стирал свою некогда синюю рубаху, ставшую от частых стирок совершенно белой; Яков Ворожеин — многодетный семьянин, говоривший только о своих митьках, зойках, тоньках, федюшках и заблаговременно накупивший им целый мешок гостинцев,— сядет на пол, обнимет мешок ногами, вынет платочек, рубашонку, ботиночки и гладит их, мнет, улыбаясь при этом светло и отрешенно; Глебушка — тихий и от бессловесной тихости своей казавшийся придурковатым подросток, который еще только обучался плотницкому ремеслу; и, наконец, Роман Тимофеевич. Этому — по мастерству своему, по уму, по бывалости, по честной и справедливой натуре — и быть бы старшим в артели, но он не любил рядиться, относясь вообще ко всему, что касалось денег, с несвойственной мужику брезгливостью. За расчетом пришла из деревни его жена — тугой румяно-смуглой красоты бабонька в шали с кистями

и хромовых сапожках,— а он стоял в стороне и криво, через цигарку, усмехался, глядя, как товарищи его муслили ветхие, слежавшиеся в бабушкином комоде бумажки.

Засыпали плотники быстро, но всегда перед тем, как заснуть, успевали переброситься несколькими словами, чаще всего с туманным для Мити смыслом.

— Нашлялся, кобель? — ворчливо, с укоризной спрашивал Ворожеин.— Ведь женился только на покровах, черт поганый.

Похохатывая и сплевывая сквозь зубы, Валька Хлыстов как бы нехотя, но с явным самодовольством отбивался:

— А ты мне, дядя Яков, не тесть, чтобы за... держать. Давай-ка лучше я тебя тоже к одной пристрою — кисель с молоком, за уши не оттащишь.

— Роман Тимофеи-ич! — плачущим голосом взывал Ворожеин.— Приструнь ты его, паршивца, он тебя послушает. Ведь тут мальчонка.

— Он спит. Нет, дядя Яков, право,— не унимался Валька.— В шелковом платье ходит. Поглядишь — электрические искры так и брызжут во все стороны. А сама — мешок с арбузами. Ась?

— Отстань, дурак! Роман Тимофеи-ич!

Но иногда начинал говорить сам Роман Тимофеевич, и тогда уже никто не спал, ловя каждое слово его спокойной, гладко обкатанной на многих и разных слушателях речи.

— Илья Муромец, сказано, сиднем сидел тридцать лет и три года. Вот и я до зрелых лет, почитай, не видел свету, окромя как в окошке. В армию меня не взяли по причине плоской стопы, потом привязала к себе бабья юбка, и замечаю я однова дня, что жить мне становится скушно и пресно. Разверну иногда газетку, вижу — Урал, Амур, море Каспий. Там-сям народ колготится, рушит-строит, я же на жену, хоть в раму ее вставляй, гляжу с утра до ночи. Баста, думаю. И уехал.

Он был на многих больших стройках страны, отовсюду унося в памяти не трудности, невзгоды и лишения, а в первую очередь красоту и своеобразие тех мест, примеры людской доброты, бескорыстия и отваги, о которых рассказывал просто, без тени удивления и желания поразить, как о чем-то органически неотъемлемом от жизни.

— Эта работа сейчас мне заместо отдыха, почищу перышки и опять улечу,— говорил он.— Век бы не закрывались мои глазоньки на такую жизнь.

В те дни мальчишеской вольницы школа была для Мити всего лишь серым каменным зданием с большими окнами, в которых он видел склоненные над партами ребячьи головы. Никто не постарался внушить ему о школе более того, что там его научат читать, писать, считать и что — боже сохрани от злого провидения! — нужно слушаться учителя.

Фотокарточка тех лет сохранила облик миловидного мальчика с прямой челкой, приоткрытым ртом и вишнеподобными глазами, полными наивного изумления перед шаманством фотографа. Таким Митя переступил порог школы. Выросший почти без сверстников, в одинокой свободе дикого двора, прививался он к школе трудно, не понимая на первых порах даже смысл тех стараний, которых от него требовали и учительница и мама. С недоумением вертел он в руках табель успеваемости за первую четверть года, с недоумением выслушал дома нагоняй за то, что в табеле по всем предметам, включая поведение, были «уды» — что это за бумажка? Чем «уд» хуже других отметок?

Учительница Наталья Георгиевна — немолодая, сухопарая женщина с растрепанным комлем на затылке — называла его рассеянным и в течение всего года гоняла с парты на парту, выбирая место, с которого он не мог бы глядеть в окно. Но хоть краешек из трех огромных окон класса всегда был в поле его зрения, и как только недисциплинированный умишко его хватался за какую-нибудь фразу учительницы, вступала в работу неудержимая, как пружина, фантазия, и он уставлялся взглядом в окно, пока Наталья Георгиевна, отчаявшись вернуть его к действительности окриком, не клала руку ему на плечо.

И все-таки школу он любил. Любил поздний зимний рассвет, когда в синих сумерках повсюду еще горели огни, скрипел снег под валенками прохожих и сам он брел среди них по заснеженному городскому бульвару с портфельчиком в руках. Любил кафельные полы школьных коридоров, по которым, разбежавшись, можно было катиться, как по льду. Любил высокий светлый класс, всегда пахнувший с утра вымытыми полами, и басовитый голос своей некрасивой, постоянно озабоченной какими-то внешкольными делами Натальи Георгиевны, и спортивный зал с турниками, брусьями, конями, кольцами, и суматоху перемен, и нарочито шумную, драчливую давку у буфета за «француз-

ской» булочкой... Какое ликование распирало его, когда он перешел в третий класс, казавшийся ему рубежом между презренной школьной мелкотой и маститыми старшеклассниками! Словно в цветном кино, видится Мите этот весенний день, полный пахучего шелеста тополей, солнца, голубого неба и синих теней на дорожке бульвара. Он в белой рубашке бежит по этим теням, и все в нем кричит миру о несравненном счастье быть третьеклассником.

9

В этом классе люди становились пионерами. Митя не запомнил, какими церемониями сопровождалось это событие, но один зимний день, день его первого пионерского поручения, крепко запал ему в память.

Для макета по некрасовскому «Морозу» звену нужны были елочки: утром он подвязал свои короткие лыжи и еще в сумерках выехал за город. Крупный сосновый лес начинался сразу за окраинными постройками — складами, базами, ледниками — и, занятый под новое кладбище, был как-то особенно холоден и нем в своем зимнем оцепенении. Митя много раз до той поры видел зимнее кладбище, пробегая по нему на лыжах то с товарищами, то с дядей, но теперь, один на один с его холодным безмолвием, замер на месте — маленький человечек в коротком пальто под прямыми, устремленными в стылое небо соснами. Ледяной озноб окатил его с головы до пят, голова наполнилась вибрирующим звоном, он тряхнул ею и, быстро-быстро работая лыжами и палками, заскользил прочь.

День простоял ясный, с желтым солнцем в морозном тумане, с искристым сиянием чистых снегов. Митя заехал далеко, к мелким ельникам, заполнившим склоны ям, из которых некогда брали глину для кирпичного завода. Летом здесь при каждом звуке, как упругий мячик от стенки к стенке, каталось и прыгало эхо, а сейчас стояла какая-то ватная тишина, и крик сразу же потухал в пушистых шапках снега. Присев на палках, Митя ел замерзший в кармане хлеб. В голом осиннике вертелись и трясли хвостами сороки; был только январь, зимние каникулы, а от осинника уже едва уловимо тянуло горьким запахом коры, и такой разлив солнца затоплял все вокруг, что Митя, памятуя дядины заповеди, думал о том, что пришла весна света. Какое обаяние таилось в одних только этих словах — весна света! И этот горький запах осинника, и темно-зеле-

ные елки в снегу, и туманная даль в игольчатом сверкании изморози — какой сладкой любовью и грустью входили они тогда в Митину душу!

Митя возвращался с елочками под вечер, когда на западе уже сгущалась рдяная мгла, а на востоке, где был город, мигали лучистые огни. Он думал о том, как пройдет через кладбище, не пронижет ли его опять тот железный холод, который и не страх вовсе, а что-то более могущественное и неотвратимое, но в то же время чувствовал, что у него есть какая-то защита — елочки, что ли? весна света? сороки в осиннике?

И ничего, прошел.

10

Весной он тяжело заболел. Жуткие видения и кошмары мучили его в начале болезни. Днем он еще бегал, забивая с мальчишками в лапту, а к вечеру почувствовал сонливость, истомное поламывание в ногах и плечах, прилег на сундук в чуланчике, где обычно спал в теплое время, и сейчас же какая-то громада песочного цвета ослепительно разорвалась над ним и колюче рассыпалась по всему телу. Вернулась со службы мама, потрогала его лоб и заплакала. Потом несколько дней и ночей подряд все сыпались и сыпались на него эти колючие песочные осколки или комната вдруг начинала наполняться жесткими, спутанными, как в матраце, волосами, которые шевелились, взбухали, лезли ему в рот, стараясь задушить.

Лечил его доктор Краснов, приезжавший на больничной лошади в высоком извозчичьем тарантасе. Когда болезнь пошла на спад и Мите было позволено сидеть в подушках, он видел через окно, как подкатывал этот тарантас, как доктор осторожно спускался с него, брал миниатюрный саквояжик и неторопливо, спокойно шел через двор в аккуратном черном костюме, черном галстуке и черной шляпе — ни дать ни взять старозаветный доктор, имеющий частную практику. Он был лыс, смугл и неулыбчив, а в деле своем добросовестен и педантичен. Прикрыв выпуклые глаза длинными темными веками, он изнурительно долго выстукивал, выслушивал, прощупывал Митю и, слава богу, назначал не более одного лекарства за все время болезни.

Благодаря этому доктору Митя увидел море.

Был уже август, знойный, сухой и ветреный. В Москве, на площади Курского вокзала, катки утюжили дымящийся

асфальт; оранжево-желтое небо низко висело над крышами домов; из улиц, как из труб, тянуло горячим пыльным воздухом. Митя впервые попал в Москву и, конечно, не мог не испытать того смятения, которое испытал бы всякий человек, выросший на затравевших улицах маленького городка, вблизи неторопливой речки и стоверстного леса во все четыре стороны. Именно там, в суете и громе большого города, он как-то особенно реально ощутил, что на свете кроме мальчика Мити Ивлева, его мамы, бабушки, дяди, учительницы Натальи Георгиевны живут еще миллионы таких же мальчиков, мам, бабушек, дядей и учительниц и что он никогда не узнает их всех, как они не узнают его. Это смутное ощущение не поддающейся воображению бесконечности было каким-то ранящим и гнетущим. Оно сопровождало Митю всю дорогу в поезде, когда через окно вагона он смотрел на далекие горизонты степей, на поля подсолнечника и кукурузы, на щетку пшеничной степи, на знойную спячку маленьких станций, и еще раз с новой силой охватило, как ледяная вода полыньи, все его существо, когда перед ним вдруг распахнулось море. Это было утром за Туапсе. Он с натугой отодвинул дверь купе, шагнул в коридор и вдруг словно наткнулся на зыбкую стену, сотканную из голубых, зеленых и синих бликов. Поезд стоял. Ветер, пахнущий чем-то незнакомым — резким, гнилостным, тревожным,— трепал почерневшие занавеси на окнах; вдыхая его, хотелось расширять ноздри, наполнять им грудь до отказа, до боли. А за окном слышались увесистые удары волн, шуршание гальки, и взгляду — боже мой! — открывался такой беспредельный простор, что в Мите зародилось, крепло и становилось невыносимо потребным желание полета в этом голубом и солнечном пространстве.

11

Когда кончится война... От этой отправной формулы исходили сейчас все мечты людей: от самой немудрой — о возможности поспать вволю, до самой сложной — о человеческом счастье. Среди них жила в Мите мечта когда-нибудь опять лечь на спину в беседке из лоз черного винограда, смотреть, как рубиново просвечивают на солнце его грозди, как пробиваются сквозь чуть шевелящуюся листву радужные лучи света и за ажурным проемом входа далеко-далеко дрожит и льется над морем воздух.

Благословенный совет доктора Краснова и остатки бабушкиных сбережений от продажи старого дома внесли в Митину жизнь дни, которые он и умирая, наверно, вспомнит. По утрам море едва поблескивало лишь у самой кромки берега, а дальше было как чистое выпуклое стекло, незаметно, в мутной дымке, сливаясь с небом. Потом, к полудню, оно закипало зелеными у берега и густо-синими вдаль волнами, кидалось на берег, шипело пеной, шуршало галькой, йодисто пахло водорослями, а вечером уже только лениво и плавно катило длинные волны, красновато вспыхивающие на гребнях и тлеющие во впадинах мрачным фиолетовым светом.

Жил Митя в белом домике на низких сваях, у плотненькой, круглолицей и даже чуть курносенькой грузинки Анечки, похожей на грузинку разве лишь черными, с блеском волосами и огромными, влажными и тоже черными глазами. Был это какой-то вихрь улыбки, звонкого смеха, маленьких ловких рук, развевающихся юбок. Она кормила Митю опаляющим харчо и давала запить его глотком кислого мутного вина.

— Э,— сказала она перепуганной маме,— виноград пьет солнце, мальчик пьет вино, значит, и он пьет солнце. Все будет хорошо. Смотри на моего сына. Разве вино повредило ему?

Ее сын, студент Вахтанг, рослый, боксерского сложения парень с массивным подбородком, молча, застенчиво улыбался. Потешен он был Мите, ну прямо смешон до колик, потому что не знал, что такое коньки. По лицу его блуждала снисходительная, но в то же время смущенная улыбка, когда Митя, дрыгая ногами, катался по топчану в виноградной беседке, и вдруг он сам захохотал, ощеряя частые белые зубы, а вслед за ним засмеялась Анечка, потом пришли ее девятилетняя дочь Этери и мама, узнали, почему они так неистово хохочут, и все долго смеялись среди этой сухо шелестящей листвы, солнца и ветра.

Под руководством Вахтанга Митя смастерил рыболовную снасть на бычков: длинную леску с грузом и несколькими крючками. Утром Этери влезла на алычу, тряхнула ее, и на Митю посыпался золотой дождь спелых ягод. Они собрали ягоды в его панаму и пошли к морю. На Этери было короткое желтое платьице; юркая, как маленький зверек, она все время забегала вперед, встряхивая тоненькими косичками и мелькая босыми пыльными пятками. Солнце выбросило из-за гор широкий веер лучей, но само еще не показалось, и на всей прибрежной долине,

змеисто прорезанной мутной и быстрой рекой, лежала сизая тень. Пыль на дороге, словно корочкой, была покрыта налетом матовой росы; холодный воздух струился по ногам, и Митя видел, как на тоненьких икрах Этери собирается гусиная кожа. Навстречу, позванивая колокольцами, брели в упряжках волы, тащившие на рынок арбы с персиками, грушами, помидорами, алычой, баклажанами, перцем. Сухолицые абхазки, до бровей закутанные в толстые темные платки, каменными изваяниями сидели на арбах; мужчины в рубахах под узенький поясок, в обтягивающих ногу сапогах шли, негромко перекликаясь друг с другом и покрикивая на волов.

На берегу Митя размотал, паживил кусочками соленой сельди и забросил в море свою снасть. Этери сразу притихла, села рядом, прижимаясь к нему острым плечиком, и так они сидели у меланхолично поплескивающего моря, пока маленькое в своем зените, зло палящее солнце не прогнало их домой, под тень виноградной беседки. И уж ни олеандры набережных Сухуми, ни пещеры Афона, ни продутые ветром палубы парохода «Чичерин», ни студеная голубизна Рицы не вспоминались ему потом с таким томительно счастливым чувством, как то свежее утро на пыльной дороге к морю и острое плечико Этери.

12

Этими днями, овеянными йодистыми ветрами моря, кончилось его детство. Когда он вернулся домой, друг его, Володя Минский, удивленно вскинул на него свои прекрасные зелено-серые глаза, и Митя сам вдруг заметил, как перерос он Володю за это лето, как окреп и налился какой-то упругой силой, которая так и струилась в каждом его мускуле.

— Ноги-то, ноги-то! — только и сказал Володя, ощупывая его икры.

Тогда они напропалую увлекались футболом, и крепкие ноги были достоинством и гордостью каждого игрока.

Дружба с Володей была, пожалуй, первым глубоким и прочным чувством Мити после любви к маме. В душе этого мальчика была туго натянута и чисто, нежно звенела поэтическая струнка, резонирующая и в Мите волнующее чувство прекрасного. Митя жил в природе как-то слишком органично для человеческого существа, без острого щемящего наслаждения ею, а Володя был способен заметить и

глубоко, с трепетным волнением пережить каждое, большое и малое, ее явление: немеркнущий свет июньской ночи, когда запад, север и восток сливаются по всему горизонту в сплошную лимонно-розовую полосу; черный омут августовского неба, пересеченного фосфорической туманностью Млечного Пути; буйство запахов над вечерним лугом; косой ход перяного поплавка в зеленую глубь реки... Под его влиянием постепенно и Митя, точно прозрев, вдруг осознал, сколькими радостями он повсеместно и повсечасно окружен, сколько чудесного может открыться вдруг в простом трепетании листа на какой-нибудь махонькой, прутиковой осинке. Даже город, который давно примелькался ему и был для него просто улицами, просто домами, стал видеться и восприниматься совсем по-иному. Они любили побродить по своему городу, особенно весной, когда вечерами под ногой жестко хрустит крупчатый снежок, а днем сверкают и звенят капели. Еще морозно, но по всему чувствуется, что март: уже небо иссиня-сине, уже почки на тополях золотятся, уже почернели за рекой проселки, а по ночам от зари до зари красным углем тлеет Марс. На базаре в это время крепко пахло морозным сеном. Тротуары ослепительно блестели мокрой наледью. Они любили остановиться на пешеходном мосту и смотреть на тяжко громыхающие товарные составы, на суету тонкоголосых маневровых паровозов, на приливы и отливы пассажиров пригородных поездов. Город, строивший тогда новые заводы, властно притягивал к себе людей из окрестных деревень и уже переставал быть тихим уездным городком с заросшими гусиной травой улицами, опоясывался кольцом рабочих поселков, оттеснял от своих окраин леса, и в мещанско-купеческое двухэтажное убожество центра вламывались кубические сооружения из камня и стекла.

Их мальчишеской мечтой было путешествие вниз по реке на плоту или в лодке; они тщательно выверяли по карте маршрут, копили на «французских» булочках деньги, составляли списки необходимых вещей, и какой упоительной музыкой звучали им тогда слова: топор, палатка, порох, котелок... Осуществлению этой мечты помешала война. Но и так им немало досталось от щедрот российских градов и весей. Пионервожатый Коля Ладушкин — щупленький, очкастый, сам похожий на подростка в своих походных сатиновых шароварчиках и тапочках,— возил их на экскурсии во Владимир, Суздаль, Ростов, Касимов, Муром, распевно читал им над Окой в Карачарове:

Из того ли то из города из Мурома,
Из того села да Карачарова
Выезжал удаленький дородный добрый молодец.
Он стоял заутреню во Муроме,
А й к обедне поспеть хотел в стольный Киев-град.
Да й подъехал он ко славному ко городу к Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнано-то силушки черным-черно,
А й черным-черно, как черна ворона.

Оглядываясь теперь назад, Митя видел, что детство его не прошло даром; оно дало ему ощущение России, укоренило на родине не этнографически, а морально и привязало к ней неистребимой любовью. Все, что есть Россия, будь то шагающая с песней рота красноармейцев, стихи Есенина, мелодия пастушьего рожка, стаи галок в осеннем небе, цветущая вишня или рдеющая кистями хваченных первым морозом ягод рябина, соборы Владимира, тополиный пух в небе его городка — все отзывается в нем волнением и каким-то высоким чистым чувством, которое он никак не может даже назвать. Гордость ли это? грусть? любовь? Все, пожалуй, вместе, и все это, пожалуй, можно назвать чувством родины.

13

Начало отрочества давало себя знать смутным душевным и телесным томлением. Приходило оно с ветреным, сырым апрелем, с витыми ручьями по косогорам, с надсадным криком грачей в старых липах. Уже по-другому Митя бывал рассеян на уроках в школе, замыкался в упрямом молчании или грубил на замечания учителей, сам того не желая и терзаясь потом запоздалым раскаянием. Особенно мучительны были приступы мизантропии, когда и мама и друзья точно ранили его каждым словом своим, каждым жестом. В такие дни он брал дядино ружье и вместо уроков шел в лес, шатаясь там по мокрому снегу, пока усталость не валила его где-нибудь на обтаявшем косогоре. Обхватив руками колени, уткнувшись в них подбородком, зло смотрел он перед собой на мокрое воронье над падалью, на грязный ноздреватый снег, на длинные лохмы серых облаков. Стараясь обмануть себя, он думал, что виною всему апрель, а сам со стыдом и нечистым томлением в каждой клеточке своего существа настойчиво возвращался мыслями к случаю на реке, когда попал в компанию выпускников, устроивших веселый пикник на лодках,

с абрикосовой наливкой и закусками. Его двоюродный брат Саша, редко снисходивший к нему с высот своего старшинства, небрежно бросил:

— Садись, козявка, в лодку. Будешь нам картошку печь.

На берегу, где горячо пахло ивовым сухостоем, луговыми болотцами, мятой, играли в мяч, купались, пили теплую тягучую наливку, Митя выкатывал из костра печеную картошку и кидал ее веселящимся выпускникам, сейчас же начинавшим из-за нее шумную свалку. Потом все пошли на озеро за кувшинками, а Митю оставили сторожить лодки. Осталась и высокая черноволосая девушка с широкими бровями, точно бросавшими тень на все ее смуглое, даже как будто янтарное лицо.

— Смотри, Калерия,— смеясь, сказал брат,— не испорти нам его.

И, погрозив пальцем, скрылся в кустах. Митю точно пришибли его слова, он весь сжался, боясь взглянуть на Калерию, а она подошла к нему сбоку, села рядом, касаясь плеча большой крепкой грудью под трикотажем купальника, сгребла его за волосы на затылке и, улыбаясь одним углом красиво изогнутых губ, бесстыдно спросила:

— Ну?

Митя был тогда уже рослым, тонким, загорелым в самом начале лета, как головешка, пареньком, с очень развитыми греблей плечами, с длинными, тренированными в ходьбе ногами, на которых мускулы свивались, точно канаты, легко переплывал без отдыха в оба конца широкую в тех местах Клязьму, прыгал на водной станции с третьей вышки и вообще ощущал во всем теле четкую слаженность, послушность и легкость. Чувствуя, что он старается высвободить волосы из ее цепких пальцев, Калерия уже нетерпеливо и капризно повторила:

— Да ну же, дурашка!

Он оттолкнул ее обеими руками, вскочил, бросился в воду и саженками поплыл на другую сторону реки.

В те дни апреля Володя Минский, сам того не подозревая, внес новое смятение в его и так уж растревоженную жизнь своим неожиданным вопросом:

— Послушай, ты влюблен в кого-нибудь?

И, не дожидаясь ответа, рассказал, что сам он уже давно, с тех пор как месяца три назад они всем классом были на катке, влюблен в Ниночку Печникову — эту херувимски красивую девочку с игривым прищуром близоруких глаз.

— Нет,— быстро сказал Митя,— я ни в кого не влюблен, ни в кого.

— Чудак! — усмехнулся Володя.— Все наши мальчишки в кого-нибудь влюблены.

Митя почувствовал себя уязвленным и стал судорожно перебирать в памяти девочек своего класса. Так же как воспоминания о Калерии, его волновали и бесовский прищур той же Ниночки Печниковой, и покатые полные плечи Киры Воструховой, и вывернутые губы Нельки Манизер, которыми она однажды на уроке географии так плотоядно хватала большие черные сливы, что Митю даже замутило от тягостного влечения к ней, но все эти чувства он не хотел назвать любовью. И вдруг вспомнил тот же вечер на катке, в меру морозный, тихий вечер, гирлянды разноцветных лампочек, белую шапочку с помпоном, курчавый парок у надутых в обиде губ, укоризненный взгляд из-под заиндевевших ресниц... «Митя, почему ты всегда убегаешь вперед, я не поспеваю за тобой, дай руку...»

Ну конечно же!

— Ладно,— как будто бы сдаваясь, сказал он Володе.— Лиза Нифонтова.

Этот разговор происходил вечером на улице. Непроглядная темь, густой туман, сырость. Разбухшие огни фонарей висели высоко над землей, не достигая ее своим светом. Митя быстро простился с другом и, оставшись один, вдруг остановился, вконец обессиленный этим смятением всех чувств и мыслей, поднял разгоряченное лицо к туманному небу и громко, с мукой в голосе спросил:

— Когда же это кончится?! Господи, боже мой...

Ночью он не спал. Переворачивая подушку холодной стороной, прижимался к ней щекой, видел фланелевое Лизино платьице, в котором она часто приходила в школу, видел полудетское круглое лицо ее с припухшими, словно после плача, губами, видел белую ниточку пробора на маленькой голове, и странным образом эта Лизина невзрачная обыденность оборачивалась для него чем-то трогательным и милым.

Наутро в классе он уже был скован перед Лизой той оболванивающей робостью, которая сопутствует первой влюбленности.

14

Жалкой была эта любовь, хотя и разделенной. Пугливая, застенчивая, таящаяся от глаз людских, она была не радостью, а разладом всех душевных сил. В школе они

боялись заговорить друг с другом. Митя незаметно совал Лизе записочки, назначая встречу где-нибудь на окраинной улице. Молча бродили они по городу, держась все тех же темных улиц, не решаясь показаться вместе даже в кино, разобщенные своей робостью и как будто даже враждебные друг другу. Выходили на загородные пустыри; из мглистой темноты полей и дальних перелесков валил тяжелый, пахнущий талым снегом ветер, в клочковатых, стремительно летящих тучах нырял новорожденный месяц, и как-то дико, запустело шуршала прошлогодняя полынь.

— Ох, как тяжело! — сказала однажды Лиза.— Может быть, нам не встречаться?

И этими словами вдруг выразила и Митину подспудную надежду на какой-то исход всей этой неразберихи чувств, в которой они барахтались, словно в трясине. Впервые тогда он поцеловал Лизу, исполненный благодарности и нежности к ней за то, что она несла с ним одну тяжесть и сумела сказать за них обоих хоть какие-то слова ободрения и надежды.

В мае начались экзамены. Митя стал приходить в маленький, уже заметно скособочившийся домишко, где Лиза жила с теткой — учительницей музыки, миловидной, рано состарившейся женщиной, которую он мысленно прозвал одуванчиком за мягкую, грустную и добрую улыбку, никогда не сходившую с ее запавших губ. Во дворике с густым запущенным вишенником вдоль забора, за столиком, врытым в землю, он растолковывал Лизе доказательства геометрических теорем, неприятно убеждаясь в ее непонятливости. Когда была сдана геометрия и Лиза перестала нуждаться в его помощи, он поймал себя на том, что был рад предлогу реже встречаться с ней, потом уехал с Володей и Колей Ладушкиным в Ростов и там, на сверкающих просторах озера Неро среди возвеличивающегося ансамбля кремлевских соборов, почувствовал себя раскрепощенным от всех томивших его недоразумений, с каким-то волнением первооткрывателя вдруг поняв, как бесценна и прекрасна молодость, как преисполнена она должна быть здоровьем, радостью и душевной ясностью. Нет, никогда больше не повернет он громко клацкавшее кольцо калитки и не войдет в тот игрушечный дворик, само существование которого показалось ему теперь неправдоподобным: «А был ли дворик-то? Может, дворика-то и не было?..»

Но эта безмятежная ясность владела им недолго. Вер-

нувшись домой, он через несколько дней встретил Лизу на улице.

— Ты приехал! — обрадовалась она.— А я одна... Понимаешь, тетя уехала в дом отдыха. Не отдыхать, а работать. На все лето. Она каждое лето уезжает. Понимаешь, там танцы, самодеятельность. Я тоже уеду, если у нее будет отдельная комната. А сейчас я совсем одна. Ты заходи, пожалуйста.

Митя был обескуражен. Он думал, что Лиза будет рада развязке их отношений, но ее счастливое смущение при встрече, торопливость слов, ласкающий и просящий взгляд — все говорило о том, что она вопреки всему любит глубоко и прочно. Не найдя в себе сил сказать правду, он пообещал прийти к ней и не пришел. Готовясь в те дни к путешествию по реке, он покупал в магазине рыболовные снасти, яростно торговался со знакомым бакенщиком из-за лодки, еще и еще раз составлял с Володей списки необходимых вещей, а в сердце среди этих милых забот то и дело тупой занозой входила жалость к Лизе.

И только большая беда тех дней постепенно отрешила его от всего, что считал он доселе важным и трагически неразрешимым в своей жизни.

15

С утра этот день был прохладным и тихим, с мелкой росой на капустной рассаде в огородах, через которые Митя бежал к реке. Огороды были матово-серебряные, с прочернью. Митя бежал, размахивая полотенцем, легко, упруго, и что-то ликующе пело в нем без слов, так, должно быть, поется по весне у поднебесного жаворонка. Песок на пляже по утрам бывал холоден, а вода в реке слишком тепла, чтобы освежить, и Митя предпочитал купаться на Ключах — полукруглой заводи, песчаное дно которой, видное на большой глубине, шевелилось и кипело маленькими фонтанчиками, словно жидкая каша. Как ожигала ледяная вода Ключей! Какой приятный холодок исходил после в течение всего дня из каждой поры, судорожной дрожью пробегая по спине! Когда Митя, выкупавшись, шел потом в ремесленное училище, где знакомые ребята выковали ему новые уключины для весел, то чувствовал именно эту игольчатую прохладу во всем теле и пошевеливал плечами, чтобы ощутить приятное прикосновение к ним свежей рубашки. А в училище, в длин-

пом, с серым бетонным полом коридоре уже толпились у радиорепродуктора преподаватели, ученики, мастера, повара из столовой, и физрук — широкогрудый парень в футболке,— махнув рукой, сказал:

— Ведь только на финской отвоевал — и снова!

Войну Митя и его товарищи восприняли с бодряческим легкомыслием, верили, что к осени все должно кончиться, что несокрушимая Красная Армия, о которой они знали столько хороших песен, в два счета расколотит каких-то там немцев. У них даже возникла тревога: успеют ли они приложить свои силенки к общему делу победы над врагом. Ходили слухи о каких-то спецшколах, куда принимают ребят с семилетним образованием и готовят из них летчиков. Они написали запрос в «Комсомольскую правду» и вскоре получили из редакции совет обратиться в местный военкомат. Там их принял военком с полководческой фамилией Суворов — громадный полный молодой капитан, осовело моргавший налитыми кровью глазами. Он, видимо, мало спал в эти дни. В кабинетах и коридорах военкомата, на широком дворе, где уже была вытоптана вся трава, ходили, сидели, лежали люди с вещевыми мешками в телогрейках, старых гимнастерках, мятых пиджаках. Сразу несколько гармоней пьяной дурью орали на дворе, и в жарком воздухе над ним колыхались серые полосы табачного дыма.

— Какие еще школы! — поморщился военком, сжимая лоб пальцами правой руки.— Куда торопитесь? С какого года? Ну вот! — нервно хохотнул он.— В конце сорок второго пройдете приписку, а в начале сорок третьего провожу вас на фронт.

Мальчики все разом загудели что-то ломкими голосами.

— Да идите вы к черту,— не крикнул, а как-то очень проникновенно попросил он.— Ведь там война, там стреляют, понимаете? Вот на эдакий манер.

Он встал — детина под матицу,— судорожно повел шеей в стороны, и левая рука его маятником закачалась, словно подвешенная за петлю на крючке. Он подхватил ее правой рукой и протянул вперед — грубый протез из черной кожи, уже вытертой до белизны на кончиках пальцев.

— Пока я здесь,— ворчливо сказал он, бросив эту страшную руку,— ни один доброволец из сопливых не просочится через меня туда. Каждому овощу свое время.

Сорок третий! Несомненно, военком знал, видел и по-

нимал больше них, и все-таки к его словам Митя отнесся недоверчиво. А между тем эти слова ежедневно находили подтверждение во всех больших и малых событиях тогдашней жизни. Немцы стремительно катились в глубь России, город падал за городом, школу заняли под госпиталь, в садах, огородах и дворах по приказу штаба МПВО жители городка, от которого в любую сторону скачи — ни до какой границы не доскачешь, рыли щели, спиливая для перекрытий двадцатилетние яблони. А потом первая — не учебная — тревога. Надсадный вой сирен, рев заводских и паровозных гудков. Хлопанье зениток, трескотня пулеметов, гороховая россыпь снарядных осколков по железным крышам. А в светлом небе июльской ночи — крестообразные силуэты медлительных, даже как-то пренебрежительно к этой наземной шумихе медлительных бомбовозов, идущих на бомбежку Горького.

16

В эти дни неожиданно появился отец. Митя нес два ведра воды и увидел, что возле калитки стоит и смотрит на него туго, щеголевато затянутый в ремни военный с каким-то странным, похожим на скрипичный футляр, предметом в руках. Только подойдя ближе, Митя понял, что это был жесткий чехол для охотничьего ружья.

— С полными ведрами меня встречаешь — хорошо! — сказал отец, по обыкновению своему не здороваясь.— Я на час. Кто дома? Мать? Теща? А ты вырос, малыш.

Он был все так же, как и раньше, по-южному загорел, ослепительно белозуб, но уже густо сед на висках и чуть полноват в талии. Мама работала тогда операционной сестрой в хирургическом отделении городской больницы, превращенной, по сути дела, в госпиталь, и редко бывала дома, ночуя в ординаторской комнате. Митя сказал об этом отцу. Тот подал ему ружье, цепко взял за плечо длинными пальцами и заглянул в глаза.

— Возьми на память. Штучное, бельгийское. Бил я из него косуль, фазанов, дроф, джейранов, кабаргу и даже снежных барсов... Ну, да не в этом дело. Я сейчас схожу попрощаться с матерью, а потом ты проводишь меня.

Его эшелон стоял далеко от вокзала, среди грязных, масляно поблескивающих цистерн, платформ с углем, ле-

сом, дощатыми ящиками, станками, прикрытыми брезентом, контейнерами и даже мостовыми фермами. Митя и отец сели наверху, на краю крутого песчаного откоса. Отец снял пилотку и натянул ее на согнутое колено. Митя чувствовал себя неловко с ним, не зная, о чем говорить, что делать. Ему казалось, что отец испытывает такую же неловкость и нетерпеливо ждет снизу сигнала к отправке, но он вдруг заговорил со спокойной прямотой и твердостью человека, свободного от всяких условностей.

— Ты, может быть, осуждаешь меня, хотя мне на это решительно наплевать, малыш,— усмехнулся он.— Я скажу тебе кое-что, но не в покаяние, а для того, чтобы ты воспринял, если сумеешь, некоторые полезные, на мой взгляд, истины. Одной из миссий Иисуса Христа на земле было разрушение семьи.— Он опять усмехнулся.— «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. И враги человека — домашние его». В этом есть своя изюминка. Мы с твоей матерью поженились очень молодыми, не зная как следует не только друг друга, но и самих себя. Я оказался человеком неоседлым и от одного вида фикуса в углу покрывался нервной экземой. Первое время мать моталась со мной, но, может быть, есть не более трех десятков женщин на весь мир, которые не мечтали бы о «своем гнезде», как они это называют. А мать как раз из дюжинных свивальниц гнезд. И я ушел от нее, ушел от тебя. Возможно, мои убеждения покажутся тебе крамольными и циничными, но я уверен, что семья аморальна, потому что в своем историческом развитии всецело подчиняется законам экономики, а чувство играет при этом второстепенную роль. К тому же оно стихийно, малыш, у него нет законов... Останься я в семье, и это было бы фальшивое сожительство людей, мелочно терзающих друг друга.

Он надел пилотку, поднялся — высокий и все еще стройный, несмотря на свою полноту, этот совсем не знакомый Мите подполковник, в щеголеватой форме, и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

— У меня нет к тебе отцовских чувств. И ты тоже, наверно, не будешь очень горевать, если меня убьют. Попрощаемся без мелодрам. Живи, малыш!

Он стиснул Митину руку повыше локтя и большими прыжками стал спускаться вниз по осыпающемуся откосу.

Встреча с отцом возбудила в Мите острое любопытство к людям. Не суть рассуждений отца, проникнуть в которую Митя еще не мог по своей незрелости, смутила его, а то обстоятельство, что отец оказался человеком с особым, неповторимым складом характера и образа мыслей. В минуту какого-то озарения Митя вдруг увидел, как разнообразны люди, живущие вокруг него,— мама, бабушка, дядя, классный руководитель Обаюдов, по прозвищу Фюзис,— как неповторим их внутренний мир, неисповедимы судьбы, непостижимы тайные мысли. До той минуты он жил в Природе, теперь же с трепетом перед новой загадкой жизни, с острой жаждой нового познания заглянул в Лицо Человеческое. Он прямо-таки заболел какой-то неотвязчивой наблюдательностью, и даже самые близкие люди с недоумением замечали на себе его пристальный и чуть удивленный взгляд, словно он видел их впервые. А он, во многом еще не разбираясь, многое не умея объяснить себе, накапливал в памяти встречи, случаи, фразы, лица...

Как-то вечером с мамой пришел хирург Радимов — очень худой, желтолицый, с отвисшим левым веком старик — и, пока мама готовила ужин, заснул в кресле, уткнувшись подбородком в грудь. Во сне он стонал и вздрагивал, а когда Митя подошел к нему, чтобы разбудить, то увидел, что со щеточки его прозеленевших от никотина усов капают на пиджак слезы. Митя не разбудил его, стоял и смотрел, пока старик не проснулся сам, вытер слезы вздрагивающими пальцами и очень просто, не конфузясь, сказал:

— Старею, близко слеза стала... Приснился узбек, что лежит у нас в коридоре, на моей «большой дороге». Каждый раз, как прохожу мимо, норовит схватить за полу халата и бормочет: «Спасибо, браток, хорошо работаешь! Зачем пешком ходишь — бегать надо! Правильно бегаешь, браток!» Браток... Смешно, право.

Запомнил Митя утро после случайной беспорядочной бомбежки города с самолетов, рассеянных под Горьким. Он прибежал в больницу сказать маме, что с ним, бабушкой и дядей ничего не случилось. На больничном дворе в рябинах содомно кипели дрозды, пахло липовым цветом, яркие скользящие тени пятнали белые стены корпусов. На деревянном крыльце хирургического отделения сидел парень лет шестнадцати в чалме из бинтов и, явно поль-

щенный вниманием столпившихся вокруг него больных, рассказывал, коверкая в зубах мундштук дорогой папиросы:

— С вечерней смены мы с отцом пришли голоднущие, и только по первой ложке хлебнули — загудело. Мать всполошилась, подалась в щель, а мы сидим, в мисках скребем. Отец говорит: «Это, знай, как всегда, учебная. Давай, Илюха, дверь на ключ, а то не ровен час уличком придет, загонит в щель». И вдруг шибануло где-то в отдалении эдак громовито, а потом ближе, да еще раз, да еще... Тут у нас стекла — вон, и меня по голове чем-то урвало. С непривычки я сознания лишился на короткий миг, а очнулся — не верю, что жив. Фасадная стена начисто снесена, и всю нашу жизнь в разрезе с улицы видно. Театр!

— Бывает же так! — восхищенно сказал невысокий вертлявый человек в очках. Поджав загипсованную ногу, он суетливо попрыгал на своих костылях и быстрым движением обеих рук подбрасывал очки, съезжавшие ему на кончик носа.

Парень выплюнул изжеванную папиросу. Смех так и распирал его.

— Бывает. Можете сходить на Вторую Заречную и посмотреть на этот театр. Декорации немного попорчены, зато бесплатно. Эх, Санька! — хлопнул он себя по коленям.— Чуть-чуть не пришлось зарывать тебя в земной шар! — И, уже не сдерживаясь, захохотал весело, раскатисто, сверкая золотым зубом.

Человек в очках, по-сорочьи вертясь и кланяясь, допрыгал до качалки, в которой глубоко сидела красивая женщина с удлиненными к вискам глазами.

— Вот ведь дождались! — возбужденно заговорил он.— Это непостижимо! В нашем захолустье — и вдруг такие события! Никогда не предполагал!

— Не понимаю, чему вы рады,— поморщилась женщина и, поправив на коленях разошедшиеся полы халата, откинула голову на спинку качалки.

— Я не радуюсь, помилуйте! — обиделся человек на костылях.— Я просто сказал, что с трудом могу представить наш город... ну-у, так сказать, в водовороте... и тому подобное. Если хотите, я даже горжусь... Правда, уж лучше бы все произошло не в такой драматической форме, но тем не менее.

— Все вы воспринимаете как-то навыворот,— рассердилась женщина.— Видели тяжелораненых? Хотя бы эту

женщину с раздавленной грудью? К ней сегодня приходили дети — два мальчика. Одному лет четырнадцать, другому не больше трех. Я видела, как эта кроха просила няню передать матери подарок — пачку станиолевых оберток от конфет... Ее уже перевели в изолятор.

Резким движением поднявшись на ноги, она быстро пошла по хрустящему гравию дорожки, держа стиснутые кулаки в карманах халата. Широко раскачивалась качалка. Человек на костылях придержал ее рукой, потом снял очки и, протирая их, негромко сказал вслед уходящей женщине:

— Да, да, конечно... Мария Николаевна.

Запомнились Мите ее глаза — удлиненные египетские глаза с маслянисто темными обводами. Была она уже немолода, но глаза так и переливались мокрыми смородинами и очень не вязались с покрывавшим ее голову серым пуховым платком, таким уместным над светлым взглядом северных женщин.

Каждое мимолетное впечатление волновало Митю тогда и этим волнением, этим движением души прочно укреплялось в памяти! Он ходил по улицам, приглядываясь к лицам, одежде, походке людей, ловил их слова, обрывки фраз. Вот кто-то, укрытый воротником, шарфом, шапкой, сказал на ходу другому, мелко семенящему рядом с ним: «Ведь я какое сознание тебе даю? Умственное. Чтобы ты отца слушал. А ты все поровишь поперечь делать». Прошли еще двое, приплясывая в легких ботиночках, громко хохоча: «Ни одной пластинки не осталось: все фокстроты в деревне на картошку обменяли». Вспыхнула в тумане, как глаз циклопа, фара автомобиля, окруженная радужным ореолом, и тут же погасла; от локонов по плечам, от пуховой шапочки набекрень наволокло тонким, неожиданным на морозе запахом гвоздики: с какой-то бесшабашной непоследовательностью вдруг вспомнилось, как мама сказала: «Когда кончится война, первым делом сдеру маскировку и вымою окна». И все это, каждая мелкая подробность мгновенно отзывалась в Мите вспышкой острого ощущения жизни, обтекающей его со всех сторон. Каждый день приносил с собой какую-нибудь памятную встречу. Запомнился ему ветхий старичок в переполненном вагоне рабочего поезда; помаргивая слезящимися глазами, он жаловался на свое деревенское одиночество, на пустой сенник, на худую крышу, на власть, забравшую всех сыновей в армию, и выходило, по его словам, так, что впереди у него одна отрада — погост. Сидел он ше-

стым на лавочке, плотно стиснутый замасленными плечами рабочих, в черной косовороточке, в нанковом полосатом пиджачке и, казалось, совсем не занимал места — такой сухонький и тихий.

— Не ной, дед! Повернется и твоя жизнь на светлую сторону,— сиплым басом сказала из угла мощная деваха, у которой на груди едва сходилась кофта, угрожающе натягивая петлями пуговицы.

— Да я разве отрекаюсь от хорошей жизни! — встрепенулся старичок.— Как набились в вагон — стояли, теперь вот сели, а потом и лечь можно будет. Так оно и в жизни двигается. Вот только бы войну избыть.

На всем лежала печать войны. Некогда такой яркий, шумный, веселый базар распух в огромную барахолку, где ни во что ставились деньги и приобретали значение валюты хлеб, соль, мыло, спички, спирт. В парке по темным аллеям угрюмо волочилось урезанное комендантским часом гулянье. Вокзал пропах карболкой, аммиаком, заношенной одеждой и прелой обувью. На городской бульвар в теплые осенние дни выходил Юрочка Дубов — юноша с нежным девичьим лицом, с глубокими, точно темные колодцы, глазами. На нем была ладно подогнанная по его фигуре молодого античного бога шинель, маленькая пилоточка и зеркально начищенный сапог на единственной ноге; костылики черт знает из какого совершенно невесомого дерева завораживали изяществом работы. Этот скромный, застенчивый, умный красавец был, однако, злом Митиного, да и не только его одного, детства. Матери всего города корили своих детей Юрочкиными достоинствами: «Посмотри, оболтус, на Юрочку Дубова, а ты?!» — и тем невольно восстанавливали их против Юрочкиной исключительности. На бульваре он выбирал лавочку поукромней, садился и, прикрыв мохнатыми ресницами глаза, подставлял лицо солнцу. Иногда к нему подсаживался кто-нибудь из знакомых. Однажды Митя слышал, как Юрочка, застенчиво улыбаясь, оттого, очевидно, что ему приходится рассказывать о себе, и с недоумением разглядывая длинные узкие кисти своих рук, говорил:

— Как-то на прогулке с няней я нечаянно убил камешком цыпленка и заплакал. Меня не могли утешить до вечера, пока я не заснул. Таким, в сущности, и на фронт попал. Ночью пошли в разведку, проникли в немецкий блиндаж и спокойно, без шума, вырезали восемь спящих солдат. Я сам заколол двоих. Но при выходе немножко

подшумели, попали под обстрел. Меня слегка задело, я упал, а немецкий офицер стрелял сверху из вальтера... Странно, когда он попадал в грудь, я почти не чувствовал боли и крутился, как вьюн на сковородке, а когда раздробил коленный сустав, боль прихлопнула меня, точно пресс. Раз! — и нет Юрия Дубова. И теперь я весь какой-то другой, точно заново родился, точно прежнее мое духовное наполнение вылилось вместе с кровью, и теперь постепенно накапливается иное — новое...

18

Да, война по-новому раскрывала людей. Классный руководитель Фюзис любил держать школярскую душу в трепете, на уроке был едок, саркастичен и часто говорил про себя: «Я жесткий мужичок». Ученики знали, что он пил, и если видели его в несвежей рубашке, небритым, в перекрученном, как веревка, галстуке, то ликовали: урок будет посвящен «байкам» из жизни великих ученых и всякой занимательной математике, не имеющей никакого отношения к учебной программе. Но когда Фюзис появлялся отутюженным, выбритым до сизой матовости на щеках, когда от самой двери ловко швырял на учительский стол свой тяжелый портфель и, перелистывая классный журнал, прокурорски смотрел на учеников поверх очков, сердца их начинали биться где-то в горле, а на лицах застывали натянутые улыбки пойманных с поличным мошенников. Его боялись и не любили.

Но однажды Митя видел его через классное окно на улице шагающим по весенней распутице в порыжевшем пальто, мешком свисавшем с его острых плеч, в разбухших от сырости ботинках; обхватив обеими руками, как ребенка, свой раздутый портфель, он нес ученикам пятидесятиграммовые булочки, которые им давали тогда на большой перемене, нес через весь город в окраинную школу, куда был заброшен их класс.

В другой раз он сидел перед классом, весь как-то опустившись на стуле, сощурясь и повернув голову, смотрел в окно и тихо говорил как бы сам с собой:

— Всегда у нас между учителем и учениками лежит некая полоса отчуждения. А это плохо, жесткий мужичок. Вчера провожали наших десятиклассников. И когда заиграли «Интернационал», мы все встали — и ученики, и учителя, и сопровождающие командиры. Вот так же и

перед жизнью, как перед гимном, мы все должны быть едины. Какой только к этому путь, жесткий мужичок?

Летом он вместе с учениками работал в колхозе. Когда они шли в деревню, поднимаясь к ней от светлой речушки на пологий изволок, несколько встречных женщин с молочными четвертями в корзинах остановились и умиленно, грустно смотрели на них, а одна сказала:

— Ребята-то какие хорошие! И как только их оставили?

— На семена, тетка, на семена! — ответил весь просиявший гордостью Фюзис.

В колхозе под жилье им отвели сарай, набитый сеном; на ночь дверь не закрывали, потому что комары все равно лезли в бесчисленные щели; полная луна выстилала пол голубым светом; в бурьянах у плетня сдавленно хихикали деревенские девчонки и кидали в открытую дверь камешки.

— Бесстыдницы, русалки, халды! — ворчал Фюзис, пряча голову под одеяло, потом выскакивал из сарая и кричал в шевелящийся бурьян: — Отставить безобразие! Понимать надо, что мальчики весь день работали и должны отдыхать. Я жаловаться буду!

Мальчики корчились на сене в приступе неудержимого хохота.

19

Солнечные морозы стояли в ту зиму первых подмосковных побед. Часто вспоминал Митя сухонького старичка в вагоне, замечая, как изменилась жизнь города: размашистей стала походка людей, повеселее их смех, пооживленнее разговоры в очередях за газетами. Митя и сам ходил, как-то подпрыгивая от радостного возбуждения и ожидания больших перемен на фронте, которые непременно, казалось ему, должны были произойти к будущему лету. Откуда появилась эта общая уверенность в скорой победе, когда Ростов, Харьков, Орел, Смоленск, Старая Русса и Новгород были немецким тылом, Митя и теперь не мог понять, а тогда, прощаясь по вечерам с Володей, они говорили друг другу: «До лета, старина!» Нетерпелив и легковерен человек в ожидании счастья.

Из школы Митя часто заходил в подшефный школь-

ной комсомольской организации госпиталь. Там у него завязалась дружба с майором Куликовым, которому он приносил из библиотеки книги, всегда удивляясь их странному подбору. Майор заказывал одновременно толстовских «Казаков», «Рубиновую брошь» Немировича-Данченко, стихи Блока, «О войне» Клаузевица и читал все это вперемежку, с любой страницы, а однажды попросил принести бабушкину библию. До войны он был секретарем райкома партии, осенью с отрядом парашютистов выбросился в немецком тылу на помощь развертывающемуся партизанскому движению, был тяжело ранен и переправлен на Большую землю. Он рассказывал об этом Мите как-то небрежно, мимоходом, словно речь шла о привычной прогулке за город, а не о прыжке с самолета в неизвестность, в ничто, а Митя, оглядывая его коротко остриженную голову, крепкую шею, толстые мускулистые руки, лицо с резкими складками от крыльев носа до подбородка, думал с чувством восхищенного удивления, что ведь именно он, вот этот живой человек, качался на стропах парашюта в кромешной тьме осенней ночи.

Однажды, подавая Мите халат, маленькая, горбатая, с угловатыми чертами лица, как у всех горбатых, нянечка сказала:

— А у нас концерт, артисты поют.

И наверху в этот же миг, точно обвал, загрохотали аплодисменты. По выбитым гранитным ступеням Митя взбежал на второй этаж, в палату, где лежал майор Куликов.

— Митя пришел! — радостно встретил его майор и высоко подбросил подушку.— А я тебя жду. Поедем скорей на концерт.

Митя помог ему перебраться в каталку и повез в зал, который все еще гремел и буйствовал: хлопали в ладоши, стучали об пол костылями, кричали, свистели. Круглоголовый парень с красным вспотевшим лицом повернулся к Мите и Куликову: «Ведь незатейливо поет, котенок, а так... ведь вот так, а!» — он ковырнул большим пальцем грудь и, весь опять устремившись к сцене, завопил:

— Еще! Браво! Спасибо!

На сцене стояла девушка с высокой соломенной прической, в синем бархате, открывавшем ее худенькие плечи, и, кланяясь, улыбаясь, целовала свои кулачки, горстями рассыпая в зал воздушные поцелуи, потом, обер-

нувшись к аккомпаниатору, поощрительным жестом руки заставила его встать и поклониться. Тот — худой, длинный, с белой клочковатой шевелюрой — переломился в пояснице, кланяясь роялю, и снова сел, обреченно положив на клавиши сухие кисти рук.

— Ее без пения, просто так можно со сцены показывать — хороша,— восхищенно сказал Куликов.— Однажды я вот так влюбился из двадцать шестого ряда партера в актрису...

Он тоже стал звучно и редко хлопать в ладоши, а Митя помимо своей воли вдруг надулся какой-то глупой, самодовольной гордостью, потому что знал эту девушку — выпускницу их школы, первую и единственную любовь брата Саши: «У Азки гипертрофированное желание нравиться,— говорил как-то Саша в минуту откровенности,— и ей дано сполна, чтобы повсечасно удовлетворять его. Но все-таки красоту не назовешь счастьем. Счастье, братишка,— область духовного». Саши уже не было в живых, и, может быть, теперь Аза Павлова — дитя человеческое редкой, ошеломляющей красоты — переживала большое горе, но Митя не думал об этом. Как-то довелось ему слышать разговорчик. «У вас в городе и тюрьмы-то, кажется, нет»,— пренебрежительно сказал один; другой обиделся за свой город и, надувшись, возразил: «Ну как же! Конечно, есть». Что-то сродни этой мелкопоместной гордыне чувствовал и Митя, стараясь обратить на себя внимание Азы, когда раненые окружили ее после концерта, не давая пройти к раздевалке.

— Митя! Митенька! — закричала она, наконец, вытягиваясь на носочках и махая ему рукой над головами обступивших ее.

И он с удовольствием накинул ей на плечи невесомую беличью шубку, взял сверток с туфлями и вывел под руку в морозный туман вечера.

Сквозь этот сиреневый в свете доцветающего заката туман неясно вырисовывались контуры затемненных зданий, фонарные столбы, заиндевевшие деревья. Визжал под ногами прохожих утоптанный на тротуарах снег.

— Ну как я выглядела из зала? — спросила Аза.

— Чудесно, Азик! Чудо! — с искренним восхищением воскликнул Митя.

— Ах, как хорошо, что ты оказался там! — сказала она.— Если бы не ты, за мной увязался бы комендант госпиталя, этот... с косыми бачками... Видел? В подъезде

полез бы целоваться. Ох, Митенька, нелегко быть красивой. Иногда, если на меня только смотрят сальными глазками, мне уже хочется принять ванну. Тебе этого не понять, это надо кожей почувствовать. А я, Митенька, уважаю свою красоту. Я вот часто разденусь донага и смотрю на себя в зеркало — любуюсь и удивляюсь, как это могло такое получиться. Ты говоришь — чудо. Право же, чудо какое-то... Самой не верится...

Митю смущали ее слова и волновали откровенностью, рассчитанной уже не на мальчика, а на мужчину, сознавать себя которым было приятно ему и лестно для его самолюбия.

Дома, сняв пальто, он долго стоял под вешалкой, растерянно улыбался и нюхал свою ладонь, сохранившую запах духов и холодного беличьего меха.

20

Теперь он просыпался по утрам с мыслью о том, что в его жизни, несмотря на войну, есть место огромному счастью, что вот это узорчатое окно, этот крутой морозный пар из открытой форточки, эти солнечные пятна на полу — все несказанное счастье и радость. Он вдруг стал легко, с уверенностью в своих силах учиться, много смеялся, часто наедине с собой начинал петь и с какой-то дотоле незнакомой самому себе нежностью относился к товарищам по школе, точно добрый взрослый человек к милым малышам.

Ему хотелось движения, постоянного ощущения упругости и силы своих мышц. Почти каждый день он уходил на лыжах в лес. Ему была приятна тяжесть ружья на плече, приятно прикосновение холодной рубчатой шейки приклада к ладони, приятен запах порохового дыма из стволов. Выстрел не гремел в заваленном снегом лесу — хлопал глухо и ватно,— и голубовато-бурая тушка белки медленно катилась по еловым лапам в облаке сухого, колюче вспыхивающего мелкими искрами снега. Под выходной день он иногда оставался ночевать в первой попавшейся деревне, в какой-нибудь Погорелке, Говядихе, Селянинке, одно название которой уже волновало его своей русской исконностью, свободно входил в незнакомую избу, зная наперед, что скажутся сами собой у него слова, отзовущиеся доверием и приветом. А сон в душном тепле полатей или русской печи после долгой ходьбы по

рыхлому снегу, после железного мороза, стягивающего кожу на лице! А вздох какого-нибудь деда в кромешной предутренней темноте: «Ох-хо-хо, да будет ли конец-то зиме этой треклятой...» Еще в сумерках Митя покидал гостеприимную избу, вставал на лыжи и, оглядываясь на вертикальные дымки деревни, предвещавшие сухую морозную ясность, опять уходил в леса. Днем там без конца можно было любоваться превращениями солнечного света, то густо синеющего на затененном елями снегу, то оранжево и желто вспыхивающего на открытых полянах, то фиолетово и серо сочащегося сквозь чистый березняк. И где бы он ни был, что бы ни делал — во всем и всюду ему хотелось присутствия и участия Азы, на все вокруг смотрел он глазами их двоих, и какой же счастливой тоской по ее лицу, голосу, улыбке томили его эти дни! Так навсегда и соединилась для него Аза со свежестью зимних лесов, их заколдованной тишиной и блистанием чистых снегов. Но тогда же памятью брата Саши поклялся он ни словом, ни намеком не выдать ей своего чувства. И странно, это подвижническое молчание не доставляло ему никаких мучений; напротив, он был радостно убежден в том, что делает для Азы что-то правильное и нужное.

В тот вечер после концерта в госпитале она просила заходить к ней.

— Ты всегда был славный мальчуган,— сказала она.— Помнишь, мы приходили с Сашей посидеть вечером у вас во дворе, и ты отпирал нам калитку, потом выносил мне пить в большом деревянном ковше и говорил, что он сделан в каком-то там веке...

Голос у нее не дрожал, был как-то отчетливо звонок, но Митя вдруг почувствовал, что она плачет. Уронив сверток с туфлями, он сжал ладонями ее горячие от слез щеки и с пронзительным чувством жалости и нежности к ней стал целовать в глаза, лепеча какие-то бессвязные слова утешения.

Он редко заходил к ней, в глубине души не веря, что может быть чем-то интересен этой красавице, живущей, как ему казалось, какой-то особенной, нездешней, недосягаемой для него жизнью. Эта иллюзорная жизнь представлялась ему полной света, музыки, радостного смеха, вихревых танцев и как-то заслоняла от него ее подлинную жизнь, в которой она ходила на работу, уставала, недосыпала, недоедала и вообще-то была, как и все другие девушки, которых он встречал по утрам бегущими с под-

нятыми воротничками давно подбившихся пальтишек к заводским воротам. Но как-то ее мать, Валентина Васильевна, сказала ему:

— Вы, Митя, почаще приходите к нам. Только вам Аза и рада, а без вас все одна и одна, даже подруг от дома отвадила.

И он вдруг увидел, что никакой этой выдуманной им жизни у Азы нет, что даже, наоборот, его, Митина, жизнь чем-то привлекает ее, и она с вниманием слушает рассказы о древних городах, в которых он побывал, об окрестных озерах и реках, об охоте и рыбалках. Обычно, вернувшись с завода, где теперь работали по двенадцать часов, она садилась на широкий, под ярким ковром, диван, подбирала под себя ноги и, придерживая у горла расходившийся ворот скользкого шелкового халата, приопустив свои длинные ресницы, от которых на полщеки падала тень, говорила:

— Ну, ты рассказывай что-нибудь. Только самое простое, что было на самом деле. Про плотников... Про собак...

И сидела не шевелясь, лишь по временам молниеносно взмахивала на него своими ресницами, но тут же опять прикрывала глаза, о чем-то думая так сосредоточенно, что две побелевшие от напряжения складки сбегались между ее бровями.

21

Выписавшись из госпиталя, к Мите пришел Куликов,— постучался нежданно-негаданно в дверь, зашумел, затискал его в борцовских объятиях, вывалил на стол из мешка сухой паек: галеты, консервы, сыр, сахар, копченых лещей, фляжку со спиртом.

— В школу я, конечно, не иду,— сияюще глядя на Куликова, сказал Митя.

Куликов заговорщицки подмигнул:

— Отпускаются грехи рабу божьему Дмитрию.

Они сели за стол, открыли банку с тушенкой, разодрали по жирному янтарному лещу. Чокаясь, Куликов высоко поднял стопку с помутневшим от воды дрянным спиртом и серьезно, торжественно сказал:

— Я пью, Митя, за нашу дружбу. Искренне говорю, я полюбил тебя. Есть в тебе что-то такое, что заставляет меня не чувствовать разницу в нашем возрасте. Не знаю пока — что. Буду дорожить этой дружбой как чем-то воз-

вышенным и чистым, без чего жизнь тускнеет и пресмыкается.

Митя не любил ни торжественных, ни сентиментальных слов, но в словах Куликова была искренность, и прямота, и то же самое чувство, что переживал сейчас и сам Митя, и он смущенно и счастливо смотрел в его глаза, спокойные, мужские, исполненные воли и честности глаза в редкой щеточке рыжеватых ресниц, в лучах тонких морщинок.

Потом Куликов, расхаживая по тесной комнате, внимательно разглядывал каждую вещь в ней — чучела птиц, книги, самодельную люстру из кривого дубового сука, полочку из чаги, аквариум с вьюнами и карасиками. На письменном столе лежала стопа толстых тетрадей в клеенчатых переплетах. Куликов взял верхнюю из них, не раскрывая, подержал и положил обратно.

— Дневники?

Митя вдруг захотел, чтобы Куликов попросил разрешения почитать их, но он уже отошел от стола. Тогда Митя поспешно сказал:

— Читайте, читайте, если хотите.

— Правда,—обрадовался Куликов, но, подумав, спросил: — А может быть, не надо? Тебе не будет потом неприятно взяться за них?

— Нет, что вы! — порывисто воскликнул Митя.

Но Куликов все-таки не взял тетради.

— Знаешь,— сказал он,— я подумаю. Боюсь, тебе все же будет неприятно потом.

Тот день Митя считал одним из самых счастливых дней своей жизни. С ревнивой страстностью старожила он показывал Куликову город: заснеженные тополя бульвара, вокзал, рынок... по преданиям старины, первым в этом лесном, озерном краю поселился зверолов Епифан, на месте Епифановки стал городок худых, не громких славой князишек, потом был рушен татарами, опять подымался из праха, строил дома, кабаки, фабричонки, мастерские. Широкая река делила город на две части. Туманен был расчет первого поселенца заречной стороны, который ставил свой дом на низком заливном берегу,— то ли был он упрям и своенравен, то ли имел какую-то дальнюю и пока еще не разгаданную цель — но, так или иначе, за рекой с его легкой руки осела деревня не деревня, село не село, поселок не поселок, так, не поймешь что, чему со временем определилось название — Заречная слобода. Сходясь на речном льду стенкой на стенку,

городские мещане, превосходящие слобожан числом, кроваво били их, били и на городском базаре, били в одиночку, поймав где-нибудь на улице, а поневоле битый, затравленный слобожанин становился осторожным, замкнутым и злым. Боясь появляться в городских церквах, он ютился по молельням и тайным скитам, сколачивал секты, выдумывал своих святых. И хотя давно уже был положен конец этим междоусобицам, давно уже город и слобода были связаны мостом, давно уже горожане и слобожане перероднились, передружились, работали на одних заводах и учили детей в одних школах, все еще както особо звероват и темен был взгляд слобожанина изпод сдвинутых бровей, а мальчишки и парни порой еще бились без причины то в клубе, то в парке, то просто на улице.

— Ну, знаешь! Послушал тебя — и как будто век здесь живу,— говорил Куликов, с любопытством приглядываясь ко всему, что показывал ему Митя.

Тоненькой рдяной полоской уже догорал за домом слободки закат.

— Вы помните ту девушку... ну, которая пела в госпитале? — спросил вдруг Митя. Он даже не подумал, что этот вопрос может быть неожиданным для Куликова, потому что, как и всюду, Аза была сейчас с ним в этой прогулке по городу.

— Ту, что так красива? Разве можно ее не помнить! — воскликнул Куликов.

— Хотите, зайдем к ней?

Куликов колебался, видимо все-таки обескураженный этим предложением, и Митя, боясь отказа, боясь, что хоть в какой-то малости прервется их дружеское мужское единение, и трепетно, ревниво дорожа им, продолжал настаивать:

— Пойдемте же! Мне почему-то хочется, чтобы вы пошли. Может быть, вы опять думаете, что мне будет неприятно потом от моей откровенности? А у меня нет от вас никаких секретов, поверьте мне...

Куликов обнял его одной рукой за плечи.

— Ну что ты, дурачок, разволновался! Пойдем, ведь я же не отказываюсь.

Когда они, натыкаясь на противопожарные ящики с песком, поднимались по темной лестнице на третий этаж дома, где жила Аза, Митя предупредил:

— Она ничего не знает.

— Понятно,— ответил Куликов.

Дверь им отворила Валентина Васильевна — женщина, должно быть, не менее красивая в молодости, чем дочь, и теперь еще сохранившая эдакую красоту пятидесятилетней дамы. Она непритворно обрадовалась гостям, помогала Куликову стаскивать тесноватую шинель и сразу настроила и его и Митю на непринужденный домашний лад.

— Да-а-а,— говорил Куликов, растирая озябшие руки и с улыбкой оглядываясь по сторонам,— отвык я от таких квартирок. «Свет хрустальных люстр отражался в черной крышке рояля. Белоусый генерал, облаченный в роскошный бухарский халат, сидел в старинном вольтеровском кресле, посасывая длинный чубук с крепким турецким табаком...» Хрустальных люстр нет, генерала нет, рояль, правда, есть, и вообще все тут чудесно располагает к стакану горячего чая.

— Могу предложить любой сорт,— в тон ему ответила Аза.— Есть морковный, есть на ржаных корках, есть на шиповнике, есть на липовом цвету.

Позвав сюда Куликова, Митя был озабочен тем, чтобы эти дорогие ему люди понравились друг другу, чтобы в мечтах о будущем он как-то мог соединить их обоих с собой, и теперь видел, что именно так и случилось.

Что за чудо был для него этот вечер! Впервые он видел Азу такой оживленной, такой открыто радостной, точно она очнулась от какого-то оцепенения и, как большая яркая бабочка, затрепетала крыльями в счастливом ощущении своих сил и красоты. Никогда раньше, несмотря на его просьбы, она не пела дома, а теперь сама села к роялю, начала было перебирать ноты, но вдруг оттолкнула их, тронула клавиши, отозвавшиеся на это легкое прикосновение неожиданно мощным, наполненным звуком, и запела.

Покуривая, постукивая папиросой о край пепельницы, задумчиво смотрел на нее Куликов. Валентина Васильевна почему-то плакала, застыв в напряженной позе на краешке стула.

Музыка всегда вызывала у Мити яркие зрительные впечатления; закрыв глаза, он и теперь видел кривой, как цыганская серьга, месяц над пустынной долиной — ни кустика, ни былинки — и через всю долину огромную тень путника со склоненной головой.

Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит...

А когда музыка смолкла и он открыл глаза, что-то со сладким смятением забилось и оборвалось в нем. Он встретил взгляд Азы. Она шла к нему через всю комнату и, точно не было здесь ни Куликова, ни матери, подойдя, приподнялась на носки, провела рукой по мягким упругим волосам на его верхней губе и поцеловала их.

Утром, переночевав у Мити, Куликов уехал. Через несколько дней, открыв дневник, Митя увидел под своей последней записью плотные, энергичные и прямо бегущие строчки: «Милый друг мой Митя! Я все же не удержался и прочитал твои тетради. Знаешь, дружок, я прочитал еще одну из прекрасных книг, которые рождает талант и правда. Мудрость разума приходит с возрастом, но есть еще одна мудрость, которую не наживешь ни за какие годы. Ты из тех, кто счастливо одарен ей. Она в твоей душе, чистой и открытой всему прекрасному. Помни, что ее легко растранжирить по мелким страстишкам жизни, а без нее даже люди большого таланта и закаленной мудрости разума часто становятся пошлыми себялюбцами, уходят в круг своих личных интересов, воображая, однако, что каждую минуту совершают полезное для народа деяние. Любишь ты Чехова? Помнишь, как он писал: «Все мы народ, а то лучшее, что мы делаем, есть дело народное». Храни в себе твое лучшее».

22

Прямота, с которой Аза определила их дальнейшие отношения, избавила Митю от всех казавшихся ему неразрешимыми сомнений. Она была старше его и уже успела изжить многие из тех предрассудков, которые превращают первую любовь в мучительный недуг робости, ложного стыда и неутоленной страсти. Нетрудно было заметить, что Митя любит ее, но с удивительной проницательностью поняла она, что он никогда не скажет ей об этом, и тогда она сама сказала ему о своей любви, сняв с него этим признанием добровольный обет молчания.

— Ты знаешь, Митенька, я заметила, что красота моя начала оборачиваться моим несчастьем,— говорила она.— Все было соткано в моей жизни из недоверия. Я чувствовала на себе столько похотливых взглядов, что недоверие стало моей самообороной от явных и мнимых налет-

чиков в любви. Я и Саше не поверила. И только потом, когда его уже не было, поняла, что он-то любил меня по-настоящему. Но я так и не успела его полюбить, и мучилась этим, и уже думала, что никого не смогу полюбить, зачумленная этим недоверием. Ты меня отогрел. Я сейчас думаю только о том, что бы мне сделать такое для тебя, что могло бы сравниться с тем, что сделал для меня ты. Ты заметил, что когда мы идем по улице, на нас оглядываются? Но ты не тщеславен, и я не могу думать, что тебе доставляет удовольствие считать мою красоту твоей. Что же я могу еще отдать тебе? Подскажи!

Шло лето, его последнее лето перед сроком, который определил им всем военком Суворов. Фюзис опять увел своих мальчиков на работу, теперь уже в лес, на заготовку дров для города, и это лето осталось в Митиной памяти полным шелеста берез, запаха их сока, сладкой рабочей усталости и неутолимого счастья редких встреч с Азой.

По военному времени при конторе лесоучастка во всех должностях сразу состоял лишь древний, но отменного здоровья дед Агафангел Савватиевич Преображенский, попович. Историю наречения его этим трудным именем он рассказывал так:

— Родитель мой был деревенским батюшкой, вот и нарекли меня, стало быть, по-духовному. Страшные они, царство им небесное, пьяницы были. Бывало, мужички придут к нам под окна и кричат: «Пожалуемся владыке — расстрижет!» А родитель громко плакали от своей слабости, угощали мужиков водкой и сами пили. В таком виде, конечно, и до беды недолго. Упали они пьяные с колокольни и ушиблись насмерть. С тех пор я к крестьянству прибился, хлебопашил, а имя чудное так и осталось за мной. Впрочем, зовут меня все Афоней.

Устойной прочностью веяло на Митю от этого старика Афони. Казалось, что всем — крепкой сосновой сторожкой своей, обычаями, привычками — он так утвердился на земле, что и татарское иго не искоренило его, да не искоренит, думал Митя, и никакое другое иноземное зло. Сам старик высказывал непоколебимую уверенность в этом.

— Нет,— заговорил он,— не заглушить нас немцу.

— Как это «не заглушить»?

— А так расшвыряй снег на поле, под ним все одно зелена озимь.

Никогда еще не ощущал и сам Митя такой, как в те дни, уверенности в исходе войны, основанной не на доводах разума, не на слепой вере, не на бездумной неистовости желания победы, а на глубоком и спокойном чувстве невозможности, нелепости, несовместимости со здравым смыслом всего иного, кроме нее.

Время в лесу летело быстро. Вставали с рассветом, но еще раньше успевал подняться старик Афоня и уже возился возле очажка, помешивая в большом черном котле какое-то замысловатое варево из пшена, картошки и лука, которое он называл «кондер».

— Варкое-то как будете готовить — артельно или единолично? — спросил он в первый день.

— Артельно! — ответили ему.

И весь скудный провиант с тех пор поступил в умелое распоряжение старика Афони, бог знает как умудрявшегося удовлетворять дюжий аппетит молодых здоровых парней.

— Больше чаю пейте,— советовал он.— Чай на чай — не палка на палку.

Пилы влажно ширкали в податливой древесине, выбрасывая фонтанчики рыхлых белых опилок. Обмахивая вершинами небо, падали прямые длинные березы, не переставая и на земле тихо лопотать под ветром чуткими к его последней ласке листьями. От нагретых солнцем поленниц кисловато пахло забродившим под корой соком.

Вечером, если усталость не сразу валила Митю, он шел в город, к Азе. Сначала идти было легко, и он размашисто шагал вместе со своей тенью через поляны, полные мягкого вечернего солнца и мглистых сумерек, уже заползавших под кусты и еловые лапы; потом, когда совсем смеркалось и дорога выходила на унылые подгородние пустыри, усталость брала свое, каждый шаг казался последним, а пустыри все тянулись и тянулись, однообразно залитые прозрачным полусветом летней ночи.

Аза приносила ему таз с теплой водой, он погружал в нее гудящие ноги и засыпал бы прямо на стуле, если бы Аза не тормошила его. Потом, умытый, освеженный, он ложился на диван, изо всех сил стараясь не уснуть, но через несколько минут пестрый ковер на стене начинал шевелиться и плыть у него в глазах и вдруг гас сразу всеми своими красками. Но даже в глубоком сне не переставала жить и неугасимо пульсировать счастливая

мысль, что вот сейчас он все-таки превозможет этот сон, откроет глаза и в упор встретит опаляющий взгляд Азы и ощутит на лице ее душистое дыхание.

23

Было последнее лето, была и последняя осень. Город вставил в окна зимние рамы, убрал огороды, приготовился бедовать еще одну военную зиму. Учеба как будто бы потеряла в те дни свой смысл, но чувство спаянности и одной судьбы каждый день тянуло десятиклассников в школу, заставляя, как никогда раньше, добросовестно отсиживать все уроки.

Из школы, иногда даже не заходя домой, Митя шел к Азе.

— Что ты делаешь? Где твой дом? — выговаривала ему мама, но можно ли и нужно ли было сдерживать в чувствах этого уже не мальчика, а солдата, которому бог весть какая судьба уготована на путях войны. Поэтому и не был решительно строг ее голос, а глаза в предчувствии скорой разлуки смотрели на него ласково и горько.

Как-то Аза сказала, что у нее есть два свободных дня. Утром Митя, подпоясанный патронташем, в стеганке, сапогах, встретил ее на вокзале. Нетопленый вагон пригородного поезда, скрежеща и дергаясь, долго тащил их через пустые поля и голые перелески неяркой, уже отгоревшей листопадом осени. В вагоне плавал густой махорочный дым, стучали костяшки домино. Аза была одета, как обычно, в шапочку легчайшего пуха, пальто с меховой оторочкой, блестящие резиновые боты, и Митя сначала боялся, что она будет как-то неловко выделяться среди рабочего люда ночной смены, едущего сейчас в деревни по домам. Но видя, как спокойно и просто вошла она в переполненный вагон, как охотно потеснились рабочие, уступая ей краешек скамьи, как узнал ее парень, весь замасленный, черный, словно помазок, он успокоился. Обмокивая короткими затяжками малюсенькую цигарку, парень отрывисто спрашивал:

— Отгул дали?

— У меня два дня заработанных,— отвечала Аза.

— Куда едешь?

— На охоту.

— С этим?
— С ним.
— Твой?
— Мой.
— Ты смотри,— сказал парень Мите и, бросив окурок на пол, крепко растер его подошвой.
— С кем балакаешь? Кто такая? — спросили из-за синей завесы дыма.
— Лаборантка наша,— громко ответил он.— На охоту едет со своим парнем.
— Знаем мы эту охоту.
— Много ты знаешь, таракан запечный.

Кого-то обругав, кого-то толкнув в плечо, парень завладел отполированным до черного блеска листом фанеры и зашарканными фишками домино. Сели играть — Митя с пожилым рабочим в аккуратной бобриковой тужурке против Азы и парня. Ему, видимо, льстило знакомство с такой красивой девушкой, на которую смотрели все соседи по вагону, и он всячески старался подчеркнуть это знакомство, разговаривая с Азой покровительственно и грубовато, как говорил бы со всякой заводской, свойской девчонкой. Выигрыш подогрел его самодовольное настроение; он хлопнул Митю по плечу и, ища одобрительные взгляды, громко сказал:

— Почаще надо с нами ездить, тогда научишься.

На маленькой станции с картофельным огородиком за пряслами и стожком сена под жердями, под рваными кусками толя Митя и Аза вышли из вагона. В огородике на комках земли, на плетях неприбранной ботвы серебрился тончайший зернистый иней. Под холодным ясным небом плоско лежали осенние поля — все эти четко отграненные друг от друга клетки пашен, озимей, жнивья,— рыжели дубовые кустарники, черной тучей громоздился по горизонту хвойный лес, дымчато сквозили голые березняки и осинники. И как сладко мучила грустью и нежной любовью к себе эта древняя земля, как трогательно и щемяще близка была каждой своей впадинкой, каждым увалом, беспредельно простирающимися в холодном блеске последнего солнца! Когда-то в этих местах бывал Некрасов, и от того, что он вот так же, наверно, проходил здесь, подпоясанный патронташем, в высоких сапогах, с ружьем за плечами, как-то особенно волнующе чувствовалась их неистребимая русскость. Пусть проходят годы, строятся новые города и разрушают их новые войны, но всегда будет греть человеческую душу

неизбывная печаль русских полей под стылым небом поздней осени.

Охота вышла совсем бедной. Раньше здесь, в камышах и осоке пересохших болотц, было много зайцев, но теперь они куда-то исчезли, и только одичавшие кошки, прижав уши и злобно сверкая желтыми глазами, шарахались из-под ног в кусты, в просяные ометы.

Под вечер пришли в деревню. Старик Василий Васильевич был еще жив и румяно свеж тугими щечками, чисто бел своею апостольской бородой.

— Бабушка, Варвара Павловна-то, жива ли? — спросил он Митю, вставляя в лампу стекло с отбитым верхом, а до этого сидел в темноте, берег керосинец.

Митя все рассказал ему: бабушка была жива, дядя денно и нощно пропадал на заводе, охоту, конечно, забросил, мама постарела, устала, он скоро уходит в армию.

— И мы со старухой скрипим помаленьку,— сказал Василий Васильевич.— В колхозе работаем, трудодни в книжечку пишем, после войны — расчет.

Митя привез ему в подарок кусок мыла — сухой легкий кусок ядрового мыла,— и старик, радуясь, щелкал по нему ногтем, рассматривал на свет, нюхал.

— Вот завтра баню истопим,— вожделенно крякал и стонал он.— С паром, с веничком, с полком. Ах, уважил, Митрий, ах, потрафил! Уж я тебя тоже за это отдарю, я завтра барана зарежу, я его, врага, не пощажу.

Потом он вышел в нетопленную горницу набрать свежих яблок и поманил за собой Митю.

— Это кто же такая с тобой будет? — зашептал он, вплотную присунувшись в темноте к его лицу.— Невеста? До жены-то вроде рано тебе, а?

— Как ни назови, Василич,— тоже шепотом ответил Митя.— Люблю я ее, одним словом. На всю жизнь.

— А она как?

— Тоже.

— Ну, Митрий, ну, голубь,— быстро забормотал старик, щекоча его шею бородой и обдавая горячим, с крепким запахом самосада дыханием,— ведь эдакую красаву в избу ввел — по углам засияло. Всяко будет тебе в уши дуть — дескать, красота приглядится, красота прах... Не смущайся! Слушай меня — радость это. Старый ворон мимо не каркнет...

Деревенская осенняя ночь длинна. Митя выспался, лежал в самый глубокий час ее на полу, на овчине, боясь шевельнуться, чтобы не потревожить Азу, спавшую на его

руке, и в неясных, несвязанных мыслях с резким томлением молодости переживал ее близость, и этот сладостно-грустный осенний день, и свое неведомое, загадочное, но непременно счастливое будущее.

Дробясь в кривых оконных стеклах, светила луна. Он опять забывался глубоким коротким сном, опять просыпался, и время казалось ему застывшим, как воздух этой ночи, сверкающими кристаллами осыпавшийся за окном.

В последний раз он проснулся от какого-то назойливого звука, который царапался, свистел и повизгивал над самым ухом. Это Василий Васильевич, придвинув поближе лампу, насадив на кончик носа очки, с какой-то лихой, разбойной веселостью точил на оселке длинный узкий нож, видимо, и впрямь собирался резать барана.

— А, проснулся, охотничек! — крикнул он, сверкая поверх очков задорным взглядом.— На зайцев твоих нет надежи, будем в хлевушке искать хлебушек. Зайцев нонче лисы подавили. Такая пропасть лис развелась — страшное дело. Должно, их война из смоленских лесов сюда подгрудила. Мне бы стрихнинчиком разжиться, я бы их вязанками добывал. Такие есть огневки — бежит, ну прямо как пожар по полю стелется.

И опять неярко цвел холодный день с прозрачными далями, с чистым сиянием голубого небесного купола, с острым блеском соломенных ометов в полях. Даже неопытному глазу было видно, как редки эти ометы, и Василий Васильевич, выйдя проводить Митю и Азу за гумно, сказал, всматриваясь в пустынную ширь полей:

— Остудили мы землю, изодрали, искалечили. Не удобрена, не ухожена. За три года, что воюем, сюда и птичка с... не летала.

Было это сказано с такой горькой жалостью к земле, какая может быть только у человека, живущего землею, и крепкое словцо в выражении этого чувства было так естественно, что совсем не резануло слух.

С гумна было видно далеко окрест. Сквозь толчею золотистой изморози в воздухе на горизонте проступали высокие песчаные обрывы берегов Оки, до которой отсюда было километров тридцать. Постояли, помолчали, вдыхая полной грудью колючую предзимнюю свежесть, и разошлись. Василий Васильевич оглядывался, махал рукавицей, потом крикнул что-то, прежде чем свернуть за сараи, но слов его уже нельзя было разобрать.

— Живи, Василич! — ответил ему Митя.

24

В цепи воспоминаний тот день как бы стоял на грани былого и настоящего. За ним начиналась череда дней и событий, приведших Митю на ту опушку соснового бора, где, зачарованный минутой тишины, лежал он в окопчике, глядя на скупую россыпь звезд июльской ночи.

Когда его уже призвали в армию, остригли наголо и он, дожидаясь отправки на фронт, все еще продолжал ходить в школу, чтобы продлить ставшую вдруг такой привычно-близкой школьную жизнь, в класс однажды вошел Фюзис, зелено-серый с воскресного похмелья, и, глядя через слезу на стриженые головы своих питомцев, держал длинную речь.

— Вы еще придете ко мне доучиваться после войны,— сказал он между прочим.

Его слушали с насмешливо-снисходительными улыбками. То ли по молодости, с которой смерть кажется такой несовместимой, то ли по легкомыслию, с которым так совместима молодость, никто не верил, что именно его могут убить в этой войне, уже перемоловшей столько жизней. Не верил и Митя. В последнюю ночь перед отъездом он не мог уснуть, поднял на окне рулон маскировочной бумаги и, глядя на освещенные луной заснеженные крыши, на темные провалы теней между ними, вдруг услышал, как в соседней комнате громким шепотом молилась бабушка. Она молилась за него. «Господи Иисусе Христе, боже наш, смиренно молю тебя, владыко пресвятой, рабу твоему Димитрию твоей благодатью спутышествуй и ангела-хранителя и наставника посли, сохраняюща и избавляюща его от всякого злого обстояния видимых и невидимых врагов, мирно же благополучно и здраво препровождающа и паки цело и безмятежно возвращающа...» В ангела-хранителя Митя, конечно, не верил, но со спокойной и осознанной верой чувствовал, что любовью близких людей и своей любовью к ним он прочно утвержден на земле. «Какой непростительной глупостью,— писала ему Аза,— каким ничтожным предрассудком кажется мне теперь стыд, удержавший меня тогда иметь твоего ребенка. Сейчас бы я глядела в его глаза, твои глаза, и видела бы в них любовь, выше и значительней которой нет ничего...»

Ночь была на исходе. В предрассветный час, как это всегда бывает, сгустилась темнота, и на небе проступили

новые звезды, терявшие до сей поры свой слабый свет в пути через Вселенную.

По окопам передали приказ: «Короткими перебежками вперед. Сигнал — хлопок в ладоши».

И когда взорвался в тишине этот едва различимый слухом хлопок, Митя вскочил на ноги и, остановив на глубоком вдохе дыхание, чувствуя в себе такой запас молодой, упругой, послушной силы, что бежал бы и бежал, охлестывая сапогами венчики ромашек, рванулся вперед.

Через несколько шагов он упадет, раскинув руки, на истерзанную грудь земли, чтобы не подняться с нее никогда.

1963—1964

ЖИВАЯ ВОДА

Родина. Что скажет о ней дитя ее, что откроет,— не откроет чужой, прохожий человек. И то, что увидит чужой, не знает рожденный на ней.

М. Пришвин

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В пизовьях реки Клязьмы до сей поры стоит на берегу избушка, в которой жил некогда бакенщик Алексей Ефимович Бударин, или попросту дядя Леня.

Был он уже в преклонных годах, когда сидели мы с ним однажды вечером на обрубке бревна возле избушки и смотрели на реку. В ногах у нас дотлевал маленький нежаркий костер. Тяжелая майская вода бежала широко и стремительно, пенно завиваясь у берегов. Мглистые болота, ольховые крепи и дубовые рощи левобережья медленно затягивали натрудившееся за день солнце.

— Посмотри-ка, чегой-то там плывет? — спросил дядя Леня, глядя из-под ладони на речной плес.

Я посмотрел и ахнул:

— Лось!

— Лось! Право, лось! Вот ведь беда — лось! — заволновался дядя Леня.

Выставив из воды горбоносую, увенчанную широкими, как чаша, рогами голову, лось преодолевал напористое стремление воды. Вот он уже ступил на дно, мощным рывком вынес из пенистой воды грудь, вышел на берег, отряхнулся и медленно зашагал в глубь поймы. Много величия, силы и даже как будто сознания своей красоты было в осанке этого заповедного зверя, и дядя Леня весь как-то потянулся к нему, упираясь руками в обрубок бревна. В это время за изгибом реки коротко и резво рванул тишину поймы пароходный гудок. Лось метнулся, вскинул голову и, все убыстряя бег, помчался к лесу, без усилия выбрасывая тонкие, с широкими копытами ноги в белых чулочках.

— Вот бы мне лосиные-то ноги!..— с каким-то томлением сказал дядя Леня.— Всю бы землю напоследок обежал. Так бы и стеганул по болотам, по гарям, по лесам...

Он сразу обмяк и маленьким комочком свернулся над костериком.

С тех пор часто бывало, что мы поглядим друг другу в глаза, и я спрошу:

— А что, дядя Леня, вот бы лосиные-то ноги?

Он так и встрепенется весь:

— Ударился бы по болотам — иэох!

В то время я давно уже собирался в пешее путешествие по древней владимирской земле, моей родине, но всегда какие-то дела и заботы житейской повседневности мешали мне.

«Время свистит над головой — только шапку держи, чтоб не сдуло,— подумал я.— Далеко ли те годы, когда мне придется мечтать о лосиных ногах...»

И в то же лето, кинув за плечи рюкзачок, уже шагал навстречу ветерку по пути, предопределенному всей моей предыдущей жизнью, а спустя еще десять лет повторил его на лодке.

Зачем я пошел и чего искал? Кому-нибудь этот вопрос, может быть, покажется ясным: ты, мол, писатель, вот и пошел «собирать материал», кропать вечным перышком в записной книжице всякие наблюдения. Но такой нужды у меня не было, и я ни в тот, ни в другой раз не искал никакого «материала», не делал никаких записей, а просто нуждался в непосредственном ощущении родины — ее людей, неба, солнца, ветра, рек, озер, болот, лесов, лугов, полей... И эта маленькая повесть есть не что иное, как отрывочные воспоминания о тех днях счастливой близости к ним.

КЛЯЗЬМА

Оба раза путь мой лежал вниз по Клязьме. Выбор его был для меня естествен. Кого, выросшего на любой реке, не манила она вниз к неизведанным своим излучинам, перекатам и плесам! Вспоминается мне наивное детство, когда надо было непременно иметь с друзьями общую тайну, чтобы эта тайна скрепляла дружеский союз. А жизнь была проста и не дарила мальчишек никакой, хоть самой завалящей, тайной. И тогда трое мальчишек выдумали ее сами. Каждый надрезал около большого пальца руку, выдавил каплю крови и расписался ею в клятве отправиться на будущее лето в путешествие по Клязьме.

Один из мальчишек переусердствовал: размахнул руку так, что пришлось перетянуть ее жгутом и бежать в больницу. Врач, накладывая швы, качал головой:

— Хлеб резал! Как же ты ножик-то держал, пострел? Отец есть? Мать есть? Вот и скажи им, чтобы сняли с тебя штанишки да чик-чик, чик-чик... В другой раз не станешь баловать.

Кровавая клятва была вложена в бумажный цветок и спрятана в вентиляционную отдушину, чтобы летом быть вынутой оттуда и приведенной в исполнение.

Но жизнь рассудила по-своему. Был ветреный летний день. По улицам, вихрясь, носилась пыль, в лицо хлестало колючим песком, и как-то остро, неприятно блестели стекляшки, всохшие в подметенную ветром землю. Мальчишки в тот день ходили по родительскому заданию то ли покупать электрический утюг, то ли отдавать в починку часы. На мосту через железную дорогу им попались идущие на обед рабочие, они были возбуждены, шли большими толпами и все повторяли слово, которое до сих пор означало для мальчишек игру, а теперь раскрывалось в истинном своем смысле: «В-о-й-н-а...»

Так еще детской клятвой был предопределен мне путь по Клязьме.

Я видел много российских рек и вовсе не по пристрастию туземца могу сказать, что Клязьма с ее притоками Киржачом, Пекшей, Воршей, Колокшей, Нерлью, Судогдой, Нерехтой, Уводью, Тезой, Лухом, Суворощью и другими, более мелкими,— один из самых красивых речных бассейнов средней России. Все эти реки и речушки не похожи друг на друга; одна бежит, прозрачная до дна, студеная летом и незамерзающая зимой; другая медленно, едва заметно влачит сквозь камыши и темные ямы свою зеленую воду; третья несется через смуглые пески, через лесные завалы изжелта-коричневым пенным, водоворотным потоком; четвертая серебристой чешуйчатой змейкой вьется в ромашковых и лютиковых лугах, ныряет под мосточки, тоненько звенит в прозеленевших сваях старых плотин и мельниц...

Я давно замечал, что река, вблизи которой вырос человек, откладывает своеобразный отпечаток на его характер. Даже глаза щурят по-разному волжане и дончаки, днепровцы и уральцы, клязьминцы и деснинцы. И если говорить о Клязьме, то я сказал бы, что она вплетает в

характер человека какую-то лирико-меланхолическую жилку, начинающую нежно вибрировать от соприкосновения с природой даже в каком-нибудь отчаянном ковровском ушкуйнике, кому, как известно, сам черт не брат. Что тому виною? Медленные рассветы в розовом тумане, ветреные полдни с грудами золотисто-синих облаков на горизонте, крик перепела во ржи бледным вечером июля или переливчатые звезды в черном провале августовского неба?..

Все эти чары есть, пожалуй, и у других рек, но есть, есть у каждой из них своя, одной ей свойственная сила, которую поди-ка разгадай и назови.

О Клязьме, пересекающей Владимирскую область с запада на восток, я мог бы рассказывать бесконечно, потому что она пересекла и всю мою жизнь, но только в обратном направлении — от мальчишеских рыбалок на неприхотливую уклейку до заповедных мыслей на ее берегу в седой теперь уже голове. Но впереди и без того о ней еще много, много скажется попутно.

МЕДУНИЦА

Весна в самой зрелой своей поре: цветет медуница. В плену у водяного царя тоскует по ней новгородский гость Садко:

Теперь, чай, и птица и всякая зверь
У нас на земле веселится;
Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
Синеет в лесу медуница.

И такое это время, что не только пленного гостя — нынешнего свободного человека точит червь. Ходит он взъерошенный, говорит невпопад и все норовит или дров на свежем воздухе поколоть, или с женой поругаться. Счастливей тот, у кого в душе живет охотник. Тот хватает ружье, и поминай как звали. Возвращается он успокоенный: бродяга в нем утолен, и опять в семье — мир, на душе — покой, на лице — улыбка.

Одним из таких дней и был тот день, когда сидели мы с дядей Леней на обрубке бревнышка возле костра. А вскоре, собрав вещевой мешок, купив фуражку с каким-то пошловатым клеймом на подкладке «Кепи-спорт», я двинулся в путь.

Пестрый летний базар встретил меня шумом, духотой, сенной и навозной пылью. Здесь вперемешку стояли лошади, грузовики, тележки; исступленно визжали поросята; поодаль от мясных, молочных и овощных рядов толкалась барахолка. Молодой человек, размахивая трикотажной рубашкой, кричал с кавказским акцентом:

— Бобочка! Бобочка! А вот персидская бобочка!

Кучка охотников, жарко дыша друг другу в затылки, разглядывала ружье. Пожилая колхозница долго старалась заглянуть через их головы, вытягивала шею, подпрыгивала и, наконец, потянула одного охотника за рукав.

— Милай, чегой-то тута продают?

Тот медленно повернулся, окинул ее ленивым взглядом и сказал:

— Аэроплан.

— А вот свежее! А вот, молодчик, утрешнее! — наперебой кричали молочницы, стоило только кинуть в их сторону обнадеживающий взгляд.

Я искал попутную машину, чтобы выехать за черту города. Наконец шоферы показали мне на грузовик, который уже подрагивал от конвульсивных усилий мотора.

— Подвези! — крикнул я издали шоферу.

Бывает так — знаешь человека с детства, а он идет мимо и отворачивается. Хочешь кивнуть, ищешь его глаза — нет!

Так и этот шофер, мой одноклассник, отворачивался, а когда, наконец, столкнулся со мной лицом к лицу и отвернуться было нельзя, сказал:

— Зазнался. В шляпе ходишь.

— Постой, Пашка! — оторопел я.— При чем тут шляпа?

— А при том, что ученый стал — зазнался.

Потом мы долго молчали, очень недовольные друг другом. Пашка, казалось, всецело сосредоточился на преодолении валких районных дорог.

— А у меня как не задалось в седьмом классе с немецким языком, так с тех пор и не учился,— сказал он наконец.

— Жалеешь?

— А чего? Вот сейчас ждет меня на дороге мужичок, дровишки ему надо перебросить. Полтораста возьму.

— Значит, сытно живешь?

— Хорошо. Жена пятьсот получает, я — сот девять. Да калым на машине всегда есть. Дом купил.

— Ну, Пашка, ты счастливый человек,— сказал я.— Один мой приятель по немецкому языку вот как лихо учился — в шляпе теперь, вроде меня, ходит, а нет у него ни дома, ни жены, ни калыма.

— Не везде калым бывает,— рассудительно заметил Пашка.— Что он делает-то?

— Адвокат.

— Неужели нет калыма?

— Нет.

— Ну и дурак твой приятель.

Машина встала, осаженная хваткими тормозами.

— Вот мой мужичок голосует,— сказал Пашка.— Шагай теперь сам. Я отсюда в лес поверну.

И я шагаю.

КЛЯЗЬМИНСКИЙ ГОРОДОК

На высоком берегу Клязьмы, взметнув к облакам колокольню старинной церкви, стоит Клязьминский городок — древний Стародуб, некогда удельный город князей Стародубских, Рюриковичей, от которых пошли Пожарские и прочие известные на Руси князья, а первым в Стародубе был посажен седьмой сын Всеволода Большое Гнездо — Иван.

Был Стародуб рушен и татарами, и поляками, и просто временем, но поднимался снова и стоит поныне под именем Клязьминского городка. Снизу, с берега, приходится задирать голову, чтобы высоко на круче увидеть его дома и колокольню, окруженную березами, липами и вязами. Наверху домам стало тесно, они сползли вниз крутыми улицами, а внизу их как бы остопоривают кирпичные корпуса текстильной фабрики.

Эта фабрика всегда оттягивала из колхоза рабочую силу, и до объединения здешний колхоз иронически называли «Семь Петров», потому что в нем было только семь мужчин и все Петры.

В сельском Совете я не застал председателя, моего давнишнего знакомого. Когда-то он руководил богатым соседним колхозом «Красное знамя», но вдруг выиграл по двум облигациям сразу восемьдесят тысяч рублей, купил в городке дом, перевез туда семью, а колхозные дела запустил. В городке все-таки выбрали его председателем Совета...

В большой прохладной комнате сидели за столом две ответственные девушки, был еще какой-то парень не у дел и молодая мамаша, санитарка больницы, пришедшая регистрировать рождение дочки Леночки.

— Хорошее имя,— сказал я.

— Редко сейчас называют Еленами,— заметила одна из ответственных девушек.

— На святую Елену родилась, вот и выбрали,— улыбнулась мамаша, приоткрыв смуглое личико девочки с пористым носиком.

— А кто отец?

— Газосварщик в МТС.

Я невольно улыбнулся. Святая Елена и сестра милосердия как-то еще вязались, а вот газовая сварка явно портила весь ансамбль.

Мне давно уже мозолил глаза большой стандартный плакат с жирной надписью: «Изучайте и охраняйте исторические памятники!» Под верхним плакатом от руки было написано чернильным карандашом: «Граждане села Клязьминский городок, бывшего удельного города Стародуба! Вы живете в историческом месте!»

— А какие у вас исторические памятники? — поинтересовался я, когда мамаша ушла.

— Какие? — равнодушно переспросила ответственная девушка.— Церковь... Бугры да ямы.

— Как же называется эта церковь?

— Не знаем.

— Ну, а охраняете вы ее?

— Как же! Сторожа охраняют. Там пекарня, склады.

Таков был дан мне урок краеведения в Клязьминском городке.

СЛАВА

Девушки, ходившие к Клязьме на ключ за водой, озорно сверкнули на меня из-под платков бедовыми глазами, и одна из них сказала:

— С полными ведрами вас встречаем. К счастью.

И это было действительно счастье, когда за меловыми обрывами глазу открылось все сразу — и подсиненная ветром Клязьма с серебристыми чайками над ней, и кипень дубовых рощ, и груды золотистых облаков, и глубокое, словно пьющее глаза твои, небо.

Когда у изгиба реки я подошел к лесу, невидимая в чаще птичка сказала мне:

— Добро пожаловать.

Я усмехнулся этой совсем детской догадке и остановился послушать: если пискнет еще раз — значит, пищит просто так, по птичьей надобности, а промолчит — значит, на самом деле приветствовала меня. Она промолчала, и я, осчастливленный еще больше, зашагал вперед. Дорога вела дубовым лесом, где еще сохранились крупные ландыши. Здесь стояла парная духота, вились тучи комаров, и хотелось поскорей выбраться к речному простору, чтобы опять с головы до ног окатил свежий ветер. Наконец он мягко пахнул в лицо.

У прорвы, как называлось это место Клязьмы с отходящей от нее заросшей старицей, сидели на берегу неводники. Когда я подошел к ним, они не спеша докуривали, собираясь дать новую тоню. Оглядели меня, похватывая дымок из коротеньких цигарок, и один спросил:

— А ты, случаем, не Никитин?

Я почувствовал, что улыбаюсь смущенно и самодовольно: вот ведь узнали меня читатели, эти заросшие недельной щетиной, пропахшие тиной и чешуей рыбаки!

— Точно, он,— признался я.

— Похож,— сказал рыбак.

И другой сказал.

— Похож.

И третий подтвердил, что да, похож, пояснив при этом:

— На братишку, говорим, своего похож, на Гошку. Он только-только тут с нами был, в Ивлево пошел. А знаешь, почему так называется — И-вле-во?

— Нет,— обескураженно ответил я.

— Жила тут раньше барыня. Вот в Москве она и звала к себе гостей: доедете, мол, до Коврова, потом до Репников — и влево. Так и получалось — Ивлево.

Я поднимался молоденьким березняком на высокий берег к этому самому Ивлеву и посмеивался над собой. Все относительно! И на этих берегах имя моего двоюродного брата Гошки, искуснейшего, удачливого и вездепролазного охотника и рыбака, куда громче любого литературного имени. А сам я, конечно же, всего лишь похож на него.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Деревни гостеприимней городов. В деревне можно постучать в любой дом, и это в порядке вещей, а в городе, потому что в нем есть тесная гостиница с запахом кар-

болки и дуста, это считается непринятым и даже предосудительным.

Усталость как-то свалила меня под ивовым кустом на песчаной косе. Сапоги мои были в пуху одуванчиков. Убранное цветами шиповника, ликовало первоначальное лето; медовый зной струился над лугами, и с широкого речного плеса доносился дремотный плеск, каким дышит в полдень всякая река и слушая который хорошо лежать без мыслей на смуглом прибрежном песке, смотреть в глубокое небо, следить, как тают в нем облака, уплывают куда-то и возникают вновь — чистые, белые, легкие...

Под вечер на песчаную косу пришел истерзанный комарами рыболов, расспросил, куда иду, и стал уговаривать, словно давнего знакомого:

— Зачем тебе куда-то тащиться? Живи у нас, рыбу станем ловить. Не хуже мы, наверно, других.

Вскоре я уже сидел в просторной кухне за выскобленным до янтарной желтизны столом и пил кисловатый грушевый чай.

Встретив корову, вернулась хозяйка.

— Вы на берегу нашим бабам бумагу показывали? — спросила она.

Я вспомнил, что просил колхозниц, расчищавших капустное поле, показать мне по карте дорогу.

— Вот дуры,— осторожно сказала хозяйка.— Гомонят по деревне, что у нас человек подозрительный: дорогу не знает и никуда не торопится.

— Да-а-а,— задумчиво протянул хозяин.— Был у нас случай, нашла моя собака в лесу парашют.

Помолчал и как бы невзначай рассказал еще случай.

— В войну объявился тут поп. Гадатель. Бабы, известно, к нему валом валят. Интересуются про мужей да сыновей узнать. Руку давал им целовать... А потом обнаружилось, что он в парике. Рыжий такой детина, молодой.

Потом привалило в избу сразу человек двадцать, и тут получилось совсем по Твардовскому:

...Ну что ж, понятно в целом,
Одно неясно мне,
Без никакого дела
Ты ездишь по стране.
Вот, брат! — И председатель
Потер в раздумье нос.—
Ну, был бы ты писатель,
Тогда другой вопрос.

И надо же было видеть, как обрадовался мой гостеприимный хозяин, когда оказалось, что гость по всем документам и есть писатель.

— Эх, бабы! — сказал он и покачал головой.— Все вы балаболки и трясогузки.

А потом нарочно уговорил меня выйти и до потемок просидел со мной на завалинке.

ЖАРКИЙ ДЕНЬ

В тот день я поднялся рано и сразу за деревней, как в коридор, вошел по узкой тропке в росистую рожь. Здесь кончалось прохладное поречье, и теперь меня долго будут сопровождать на пути ржаные поля, пыльные картофельники, будет палить солнце, и только изредка накроет своей тенью какая-нибудь умница тучка, овеяв легким ветерком.

Из-за синей кромки далекого леса уже вставало солнце. Оно, как фокус огромной линзы, наведенной на небесный свод, становилось все меньше, все горячей, и казалось, что небо вот-вот задымится и вспыхнет в этой ослепительной точке маленьким язычком пламени. Калено жаркий, тяжелый вставал день.

В нескончаемо длинной попутной деревне под плетнями истомно стонали в лопухах куры; мутноглазые собаки вяло тявкали из-под крылец.

Даже легкая «кепи-спорт» тяготила меня. Я снял ее и подумал в тоске: «Дождя бы...»

Два плотника, покуривающие на срубе, заметив меня, подмигнули и засмеялись:

— С праздника-то шапка всегда лишняя.

Я вспомнил, что вчера мимо меня, пыля и грохоча, прокатила телега с нарядными парнями и девчонками. Один из парней завалился на спину, задрыгал ногами и хмельно крикнул:

— Престол нынче! Гуляем!

Вот и меня плотники, должно быть, приняли теперь за похмельного гуляку, которому и шапка-то на голове тяжела.

ПРОБЛЕМА

В пути достала меня телеграмма из редакции одного журнала: «Просим написать острый проблемный очерк о современной деревне».

На выходе из Кочетихи, как повернуть к селу Троицко-Татарову, я попросил в крайней избе пить. Все признаки указывали на то, что хозяин был пришиблен той чугунной похмельной тоской, когда не только в каждой телесной жилочке человека, но и в бесплотной душе его до того погано, словно он предал, ограбил или убил кого-то. Сидел он на крыльце помятый, в распущенной рубахе, свесив босые ноги с корявыми коричневыми ногтями, а рядом жена, похожая на татарку, собирала щепки и точила мужа, как ржа железо. Поэтому, наверно, хозяин и обрадовался моему появлению. Он вынес кружку с квасом и сказал:

— Сейчас все квас дуют.

Я присел на крыльцо. Не торопясь выяснили, кто я, кто он, чей это громадный дом напротив и почему в такую снежную зиму все-таки померзли сады. Василий (так звали хозяина) говорил, а сам все посматривал, как у конюшни мужик закладывал в борону лошадь, неистово матюгая ее.

— Нет, не работники нонче,— подвел он итог своим наблюдениям.— Квас дуют.

Хозяйка вдруг бросила на землю уже собранные щепки и в сердцах плюнула себе под ноги.

— Как бревно посередь дороги у нас престол этот. Наедут — и стоп. Считай, два трудодня корова языком слизнула.

Она опять принялась подбирать щепки, а Василий опасливо покосился на нее и вздохнул:

— Я же сказал, квас дуют. Главная проблема сейчас — опохмелиться, а в сельпо ни четверки. Всю вчерась попили.

— Ну вот тебе и здорово живешь! — возразил я, вспомнив о «проблемном очерке».— Завтра все пройдет, и никакой проблемы не останется. Какая же это главная!

— Верно,— засмеялся Василий.— Главная — картошку пробороновать.

— А потом траву скосить, а потом хлеб обмолотить, а потом ту же картошку выбрать,— подхватил я.— Нет, это не главная.

— Э-э-э, куда ты загибаешь,— протянул Василий.— Погоди, дай подумать.

Он подумал немного, как-то очень своеобразно помогая себе мышцами лба, и сказал убежденно:

— На данном этапе — по десятке нам на трудодень

получить. Сейчас по четыре получаем, а надо до десятки достичь.

Однако «на данном этапе» мы не остановились, забрали дальше. И я подумал:

«Да, сколько бы проблем ни перечислили мы, все они будут разрешены Василием или уже разрешены им. И только он сам — главная и вечная проблема».

МСТЕРА

За каждой вещью лежит целый мир, о котором она может рассказать дотошному уму. Кто сделал ее, из чего, зачем, кому она принадлежала, как была добыта — не значит ли действительно открыть мир, загадочный и неповторимый, если узнать все это?

Так однажды рисунок акварелью, висевший у меня над столом в деревянном доме, открыл мне прекрасную душу русского человека, которого уже давно-давно нет в живых... Но о рисунке есть отдельный рассказ. А сейчас это рассуждение об истории вещей нужно лишь для того, чтобы объяснить, как большой разговор начался с маленькой статуэтки.

Это незатейливое изделие художественной керамики, изображавшее зобастого птенца, украшало в Мстере стол художника Игоря Кузьмича Балакина. Заметив, что я рассматриваю статуэтку, жена художника Нина сказала:

— Раньше я работала вот на таких изделиях, ведь я по профессии техник-керамик, а мстерский живописец из меня получился случайно.

— Как же так?

— Да вот вышла замуж во Мстеру за своего Игоря, а керамику тут делать нечего. Попробовала себя на росписи шкатулок в художественной артели, и неожиданно дело пошло. Теперь вот и малюю...

— Нет, ты заметил, как она это сказала! — встрепенулся Игорь Кузьмич.

— М-м-да,— только и нашелся ответить я.

— Вот именно. А знаешь почему?

— Нет.

— А вот пойдем завтра со мной в артель, станет ясно.

Утром мы пошли в артель. Цех живописи представлял собою несколько просторных голых комнат, невольно наводящих своим видом на мысль о том, что вкус и уют

должны присутствовать не только в домашней обстановке, но и на производстве, где человек проводит треть своего времени.

За столами самой грубой работы и, мне кажется, очень неудобной формы сидели художники. Во всех комнатах их было около ста. Я не пропустил ни одного, каждому глядел через плечо и со многими разговаривал. Работали они очень напряженно, не тратя много времени на разговоры. Некоторые расписывали сразу две, а то и три коробочки, шкатулки, пудреницы.

Я начинал кое-что понимать. Лишь вчера на витрине, хранящей лучшие образцы мстерской живописи, я видел работы изумительной тонкости, полные изящества, носящие печать несомненного таланта и нежной души. Рисунки были так легки, так хрустально-хрупки, что стекло и дерево витрины казались слишком грубым для них хранилищем, и они невольно сочетались в воображении с мягчайшим бархатным или замшевым футляром.

Другое я видел теперь из-за плеча художников. Что-то увяло в рисунке, хотя он по-прежнему был радужно ярок, что-то исчезло в нем, как будто погасла искра божья.

— Купили бы вы, скажем, такую морду? — грубовато, но с искренней горечью спросил меня вдруг художник Громов, показывая коробочку, расписанную на тему «Что ты жадно глядишь на дорогу?».

Я взглянул. Русская красавица с красной лентой в черных, как ночь, волосах действительно выглядела на рисунке препохабно.

— Мне не все еще понятно,— сказал я Игорю Кузьмичу.— Что же заставляет художников, простите за прямоту, так откровенно халтурить?

И тогда дружный хор голосов твердо ответил:

— Вал.

Расшифровывалось это так. Оказывается, в системе промкооперации художественные артели были поставлены в совершенно одинаковые условия со всеми прочими артелями. Таким образом, артель, делающая, например, скалки, и артель, выполняющая тончайшую творческую работу, получали план выпуска валовой продукции, просто выходя из механической мощности. Специфика творческого труда в расчет не бралась: может художник физически сделать три миниатюры в день, пусть делает. И получалось в конце концов так, что если двадцать лет назад художник делал три-пять миниатюр в месяц, то

теперь, чтобы обеспечить себя минимальным заработком, он должен плодить их по сорок штук.

— Докатились, что и говорить! — вставил свое слово бывший живописец старик Куликов Александр Николаевич.— Вон Павлушка Снятков сразу по четыре коробки пишет. Нам в прежнее время иконы-то не позволяли так писать.

Не нова мысль, что торговля и искусство сочетаются всегда в ущерб последнему. И грозный «вал», который вздымался над искусством Мстеры, еще раз с очевидностью подтверждал ее.

УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ

Александр Николаевич Куликов сам уже не писал: не тот уже был глаз, не та рука. Работал он в цехе черной лакировки, где я и познакомился с ним. Ссутулясь над шкатулкой, он повернул ко мне морщинистое лицо и, быстро метнув из-под очков, оправленных медью, живой взгляд, сказал:

— Заходите ко мне часиков в шесть. Ленинская улица, дом пятьдесят три. У дома — вяз.

И вот я сижу в этом просторном доме, который когда-то знавал более шумные дни. Тогда с Александром Николаевичем жили его сыновья: двое из них погибли на фронте, другие в свой срок разбрелись по белу свету.

Александр Николаевич был первым председателем артели «Пролетарское искусство», в которую сорок лет назад объединились бывшие мстерские богомазы. Свои воспоминания об этих давних годах Александр Николаевич записал в тетрадь под заголовком «Некоторые данные по истории развития мстерских артелей художественных ремесел».

Я приготовился пережить скучные часы, просматривая эти испещренные старческими каракулями страницы, но, едва углубившись в их содержание, уже не мог оторваться до конца. Беллетристическая живость записок прочно удерживала мое внимание.

«10 января 1923 года Владимирский артсоюз прислал на мое имя отношение с просьбой создать группу из бывших иконописцев-мастеров для росписи деревянных изделий, которые могут быть направлены на предполагаемую в 1923 году Всероссийскую сельскохозяйственную выставку...

В марте первые изделия, исполненные созданной груп-

ной были отвезены во Владимирский артсоюз. Правление разложило их на большом столе, рассматривая работу каждого мастера в отдельности. Вещи были приняты... За них учинили расчет и дали вторую партию деревянного белья, более изящного. Кроме того, артсоюз в виде поощрения дал авансом под вторую партию работ сливочного масла, крупы и пшеничной муки.

Я помню тот день, когда ехал на двух подводах со станции с этой мукой и маслом. По-праздничному грело теплое мартовское солнце. Очевидно, кто-то передал товарищам, что Куликов, мол, везет вам два воза муки, но товарищи не поверили. Еду я около перелесков из деревни Раменье, а мои товарищи идут меня встречать и, когда увидели, что я действительно везу муки, масла и крупы, пришли в восторг. Александр Федорович Костягин даже сказал:

— Ну, надо еще лучше нам работать. Видно, что нашу работу ценят».

Эта тетрадка оказалась не единственной. Александр Николаевич, видя, что я заинтересовался его записками, выложил передо мной еще несколько тетрадок. В рукописи «Кому принадлежали каменные строения до Октябрьской революции 1917 года в поселке Мстера» была дана яркая сжатая картина дореволюционного мстерского быта.

«Двухэтажное каменное здание по улице Нижней (ныне Ленина) принадлежало Занцеву Ивану Васильевичу с сыновьями. Занцевы имели фольго-уборочную мастерскую, но главным их занятием были поджоги складов на реке Тюмбе и в Затоне. В этих деревянных амбарах, стоявших до двадцати штук в ряд, хозяева фольго-уборочных мастерских хранили стекло, киоты и другие товары. Сыновья Ивана Васильевича — Митька, Петр (немой) и Ванька — воровали из этих складов, что поценнее. В ночное время амбар очистят и зажгут. За что сын Ванька пошел в тюрьму и там погиб».

Удивительно много — история, уклад целой семьи, судьба ее отпрысков — спрессовано в этой короткой справке. И так почти о двухстах домах с той же точностью, краткостью и выразительностью.

Надолго остановила мое внимание и тонкая синяя тетрадочка, на которой было написано: «Некоторые сведения о мстерских обрядах и обычаях в XIX—XX веках, до Октябрьской революции».

В наше время обряды почти начисто исчезли из народного быта, кроме, пожалуй, свадебных и похоронных,

Живы они лишь в воспоминаниях стариков, которые понемногу уходят, унося с собой сокровища своей памяти. От обряда не останется ничего; его невозможно восстановить во всей полноте по каким-нибудь черепкам, как, скажем, керамическое искусство прошлого. Поэтому обряды надо сохранить в записях — литературных и музыкальных, сохранить с любовью и заботой, как великую ценность, ибо они дают яркое, образное представление о быте народа, дают ключ к пониманию строя его души, образа его мыслей, его эстетических наклонностей, семейных и экономических отношений. Они одушевляют книжную историю народа.

И синяя тетрадочка Александра Николаевича Куликова как раз делает это великое скромное дело. Вот обычай, называемый капустником, как он записан Куликовым.

«Население Мстеры после праздника Воздвиженья, 14 сентября, начинало убирать на своих огородах капусту. До первого октября (по старому стилю) всю ее нужно было обязательно убрать, так как с покрова пастух выгонял на огороды скотину. Кто к этому дню не убрал капусту, тот уже пенял на себя.

Когда начиналась рубка капусты, по обычаю приглашались девушки, подруги. Они-то и рубили ее в больших корытах, становясь по четверо с каждого боку. Во время работы девушки пели, величая в песнях хозяина и хозяйку дома. Тут же проказили и шутили. Если к ним подходил парень, девушки тайком брали из корыта белой капусты, подкрадывались к парню сзади и натирали ему капустой лицо. Парень бежал за девушкой и проделывал то же самое. Никто не обижался. Это почиталось за шутку».

Разве не видишь сквозь эти бесхитростные строки картину хрустально-чистого, подмороженного первыми утренниками дня, не слышишь стук тяпок, песни девушек, их смех, безобидную перебранку с парнями?..

Время близилось к ночи, а Александр Николаевич все подкладывал мне рукописи. Среди них были записки по истории Мстеры, над которыми он работал уже двадцать лет; история прилегающего к Мстере села Барско-Татарова и других селений мстерской округи; труд, посвященный возделыванию мстерского лука, и, наконец, дневник текущих мстерских событий...

Когда я вышел от Александра Николаевича и шагал потом притихшей ночной Мстерой, все эти дома, калитки, заборы, деревья как-то ожили в моем воображении. Вот

дом воров и поджигателей Занцевых, обративших эти темные дела в доходное ремесло. А вот дом владельца иконописной мастерской Василия Сосина, который предпочитал держать у себя спившихся мастеров, платя им втридешево. Эти липы и вязы посажены любителем садов и парков фабрикантом Крестьяниновым. А тут жила «художница цветными шелками» Мария Морозова, чьи изумительные вышивки я видел вчера в местном музее...

Я шел и думал о том, сколько интересного и нужного пропадает в забвении из-за того, что редки такие самородные краеведы, как Александр Николаевич Куликов. Ведь краеведение зачастую считается у нас делом, не стоящим серьезного внимания. Это видно хотя бы из того, что в школах оно целиком передано кружкам, которые, как правило, занимаются от случая к случаю и охватывают далеко не всех школьников.

А между тем краеведение нужно не столько как самоцель, но как мощное средство воспитания. Ведь любовь к Родине начинается не с абстрактных понятий, чуждых детскому уму и сердцу, а с привязанности к тому, что повсечасно окружает нас: к вязу под окном родительского дома, к светлой речке, куда бегал в детстве удить пескарей, к сосновому бору, чей шум слушал в ветреный день, ко всем близким и милым людям, кому отдана наша любовь. Поэтому знать природу своего края, его историю, быт, экономику — это значит укоренять в себе любовь к Родине.

КАПЛИ ДОЖДЯ

Однажды, рассказывая Михаилу Михайловичу Пришвину о газетной работе, я обмолвился о том, что в редакции поступает огромное количество стихов непрофессиональных рифмачей, но, как правило, стихи эти малограмотны и бесталанны. Он длинным сравнением по-своему объяснил это явление:

— В лесу, в трудных условиях борьбы за существование, дерево тянется кверху, к свету и вырастает исполином. А на поляне, где хорошие световые условия, лес растет вширь, но мелкий.

И добавил весьма двусмысленно:

— Вот я в лесу вырос.

По дороге через поле спелой ржи лихо катил красный автобус. Из окон его высовывались пионеры в белых ру-

башках, махали руками, что-то кричали. И таким юным праздником веяло от всего этого, что и сам потом весь день чувствовал себя счастливым мальчишкой.

Зимой я прилетел из Сибири, и когда уже ехал на электричке из аэропорта в Москву, то постарался вспомнить все, что видел за эти несколько часов пути. Вспомнил, что ел жареного омуля в Свердловске, видел в розовой морозной дымке сизые хребты Урала, потом полюбовался красивой россыпью огней Казани — и все. Правда, кругом были люди, но, отгороженные друг от друга высокими спинками кресел, они так и остались для меня просто пассажирами — без имени, без биографии, без судьбы.

И мне, под стук колес подмосковной электрички, пришла на память мысль неутомимого землепроходца Короленко о том, что поезда, пароходы и прочие виды транспорта, которые подарила нам цивилизация, отрывают писателя от страны, от ее природы, от ее народа.

Быть может, чтобы сократить этот разрыв, я и шагаю теперь по проселочным дорогам...

Я люблю говорить с деревенскими стариками. Кроме того, что большинство из них — чистейшие родники русской речи, свободной от всякой словесной дряни, вроде «ассортимента», «метиза», «оргвыводов», они еще много знают. Богаты они, конечно, не теми книжными знаниями, которые даются образованием, а теми, что исподволь накапливаются в течение всей жизни. Они знают, где и как поймать рыбу, как замесить хлеб, как отделить пчелиный рой, вспахать землю и посеять зерно.

Мы часто даже не считаем это знаниями, а между тем они не менее важны, чем алгебра, биология, история или физика.

Парень сидел на крыльце, бил прутиком по широкой штанине и рассказывал, что его друг Васька, перебравшийся недавно в город, влюбился там в актрису.

— Васька в актрису влюбился? — переспросил большой, спокойный кузнец Ватулин с обидой в голосе.— Фу, какое свинство! Ведь она его мизинца не стоит. Хорошая, говоришь, актриса? Все равно не стоит. Ведь Васька в прошлом году на празднике самого меня перепил и на гармони играет так, что душа рвется.

Узнать и понять себя как человека в природе и в обществе — это уже так много, что хватит рассказывать на всю жизнь. Нельзя, однако, смотреть только в себя. Надо переносить свое на окружающих, а от них на себя.

ПОЧЛЕГ В ЗАБОРОЧЬЕ

В полную силу полыхало над пыльными дорогами солнце. На многие километры вокруг дремали в полуднevном оцепенении поля, и казалось, что все живое, всякая былинка молитвенно просит: «Дождя!»

О, эти косые солнечные дожди первоначального лета! В ясном небе сгустится вдруг сине-серая дымка, и до самой земли падет от нее сотканная из золотистых нитей завеса. Добродушно проурчит гром, скатится куда-то за горизонт, словно телега по бревенчатому мосту; зазвенят под ударами капель лужи, и начнется бойкий, веселый разговор воды с травою, с крышами, с деревьями, пшеницей и овсами...

Такой дождь пережидал я в деревне Золотая Грива.

Светлое название — Золотая Грива и темное — Дегтярка. И просто поразительно, как пристали они двум соседним деревням. Золотая Грива стоит на песчаном бугре, открытая со всех сторон, тянет к небу белую колокольню и смотрит окнами на светлые стороны — восток и запад. Дегтярка же прикрыта дубами, ветлами, и, подойдя к ней, упрешься в глухие стены сараев. Лицом она повернулась к темному бочагу с илистыми берегами и глядит на север.

Здесь я остановил красивого парня в серой рубахе распояской и спросил дорогу.

— Факт тот, что вам надо идти вот здесь,— показал он вдоль бочага.— Но все равно вы собьетесь, поедемте лучше с нами.

Появились еще парни с корзинами, набитыми свежим, еще дымящимся мясом; мы сели в утлый ботник, тотчас же наполнившийся до половины водой, и переплыли на другую сторону бочага, где стоял в дубовой роще грузовик.

Он быстро домчал нас до большой деревни Заборочья. Здесь у колхозного правления, ожидая чего-то, толпился народ, и все принялись бестолково рассказывать мне дорогу, упоминая кустики, вешки, сухие сосенки, возле которых надо было повернуть налево, или направо, или чуть-чуть.

— Куда же идти об эту пору, ночь па носу,— вмешался председатель, рослый мужчина с густой, совершенно седой шевелюрой.— Полинка, проводи его к Генке, пусть ночует. Где Генка?

Пока искали Генку, мы сидели с председателем на пороге правления, отгоняя веточками комаров. Подошел Генка — в майке, босой, с вожжами в руке — и к нашему разговору о хозяйстве прибавил:

— Скотина в прошлом году была изо всех. Нынешний год тоже сена хорошие, прозимуем.

— Погоди,— сказал председатель.— Сперва скосить надо.

— Скосим. В сенокос дашь по три рубля авансу на день, и скосим.

— Погоди,— опять сказал председатель.— Пожалуй, но три-то не выйдет.

— Ну, а для колхозников прошлый год как был — «изо всех»? — спросил я.

— Изо всех,— сказал Генка.— Четыре года подряд за так работали, а в прошлом получили по два рубля, по полкилу хлеба, сколько хошь картошки да сена.

Парни сгрузили с машины мясо, и шофер — тот, что первым встретился мне в Дегтярке,— спросил председателя:

— Кому нести? Студень кто будет делать?

— У нас завтра праздник,— объяснил мне председатель.— Приедут делегаты из «Маяка», будем подводить итоги соревнования. Только тут дело ясное: у них шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно. Мы вчерась проверяли. Оставайтесь посмотреть, наши речи послушать.

Когда, поужинав душистым ржаным хлебом с холодным молоком, я укладывался в чистой Генкиной горнице, он зашел погасить лампу и сказал:

— У маяковцев шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно. Слабы они выйдут против нас.

Утром тяжелая синяя туча принесла дождь. Приезд делегатов из колхоза «Маяк» совпал с ним, но они, даже не зайдя в правление, отправились смотреть хозяйство. Председатель, волнуясь, несколько раз подходил к окну и твердил:

— Пусть смотрят, ничего. У них шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно.

Туча вскоре иссякла, и собрание разместилось на лавках в тени огромной березы, еще ронявшей на кумач стола крупные капли. Председатель вынул записную кни-

жечку и, особенно упирая на достижения, зачитал длинный ряд цифр. Его не перебивали. Только один раз к столу подошли гуси, и председатель, махнув на них книжечкой, сказал:

— Полинка, прогони эту тварь.

В речах бесконечное число раз вспоминались шестьдесят гектаров кукурузы, сделавшие-таки свое дело: маяковцев признали побежденными. И обед для них потом был такой прочный, что маяковский председатель, отодвигая от себя тарелку с почками в масле, признался:

— И тут одолели. Мы для вас намедни жиже постарались.

А вдоль деревни уже ходила гармонь. Был веселый, в меру хмельной праздник. Только под самый вечер шофер сел в свой грузовик и сказал, что поедет жениться. Его с хохотом вытащили из кабины и заставили плясать. Да еще какой-то мохнатый дедушка, сидевший на завалинке, вдруг спросил меня:

— Хочешь, я тебе про пчел все расскажу?

— Все?

— Все,— подтвердил дедушка.

И упал носом в песок.

А когда пришла поздняя летняя ночь, на чьи-то ворота, за которыми мычала корова, повесили экран, и кинопередвижка показала фильм про кубанских колхозников, которые только и делали, что пели, влюблялись и лихо катались на комбайнах.

ЛЕС

Когда в раннем детстве я ходил за грибами, то лес, помню, был у самого города. А недавно там, где рос мой первый гриб, я у знакомого судьи мылся в ванне и после баловался пивом под воблу.

Я вовсе не в осуждение людям говорю, что они потеснили лес: пусть живут шире и удобней! Но можно было сделать так, чтобы лес остался, как прежде, у самого города. Можно было занять то место, где рос мой первый гриб, а ту чащу, куда я боялся заглянуть и где сейчас загородный пустырь, свалка, тощий картофельник, ту чащу оставить под первый гриб моего сына.

Конечно, зрелый лес надо рубить — не давать же ему стариться и гибнуть, но это уже промышленность, и не об этом я говорю...

Теперь люди все больше понимают свою оплошку, и вот недавно я прочитал в газете, что мой город победил в соревновании по озеленению улиц. Да и сам я, не по газете, а по жизни, вижу, как лес входит в город и как долговязые лесные липы постепенно кряжистеют стволами и круглеют кронами на вольном свету наших широких улиц.

Мне при этом всегда вспоминается безвестный волжский Ставрополь, прославившийся потом как центр строительства Куйбышевской ГЭС. Был это одноэтажный деревянный городок с немощеными улицами и с таким обилием серого, грязного городского песка, что вполне оправдывал свое ироническое название, данное ему строителями,— Ставропыль. Однако здешние старожилы помнили другие времена, когда улицы города сплошь зарастали мягкой гусиной травой, а в палисадниках перед окнами домов цвели кусты сирени и жимолости. Тогда вокруг города гудели на ветру могучие сосновые боры. Их корни цепко держали песок. Но чья-то лихая рука свела вокруг Ставрополя лес; оголенные пески, подхваченные заволжскими суховеями, ринулись на город, затопив его улицы.

Люди поняли свою оплошку и там. Ставрополю все равно было стать дном морским, но в новом городе на высоких сосновых холмах уже ревностно берегли каждую ветку. И куда бы я ни заходил — в клуб, школу, столовую, в квартиры и даже в автоколонну,— всюду смолисто пахло хвоей и лежали светлые зыбкие тени соснового бора.

У меня лично жизнь связана с лесом, как и с рекой. Я часто думаю, что им я обязан и своим творчеством. В минуты восторга, которым так щедро может дарить природа, человеку хочется, чтобы все люди глядели одними с ним глазами, чувствовали одним с ним сердцем; он сам щедр. Не потому ли так часто берется за перо именно тот, кто по роду своей профессии или по рыболовно-охотничьей страсти стоит близко к природе? Я не помню, когда мне впервые открылось, что я писатель. Но первый сознательный позыв к слову родился именно из этой потребности делиться с кем-то счастливыми минутами близости к природе. Так было нацарапано обычное детское: «Один раз мы ходили за грибами». И теперь, когда родственники мои удивляются: «В кого ты? Никто в роду у нас не писал, откуда ж это у тебя-то?» — я, смеясь, говорю:

— Из леса, вестимо!

Был нежаркий, туманный час рассвета. Дорога шла сырыми кустарниками; сквозь них просвечивала темная вода болот; бревенчатые гати колыхались и пружинили под ногами. Я миновал окруженную ржаными полями деревеньку Симбирку, и передо мной, величественный и строгий, встал сосновый бор. По обочинам песчаных дорог еще проглядывали кое-где неяркие цветы, но вскоре и они исчезли, уступив место седым мхам, ржавой хвое и жестокому, точно жестяному, черничнику.

Лес поглотил меня. Я замотался в нем, потерял дорогу, ел сухари, чернику, лесную малину, пил из ручьев, а утомившись, ложился в сухой глубокий мох и смотрел, как ветер комкает облака и как падают, падают и не могут упасть бронзово-красные стволы сосен.

Уже вечерело, когда я сидел под засохшей сосной. Желтые лучи закатного солнца косо прошивали лес, полный того невыразимого покоя, который помогает ощутить его без себя, то есть таким, какой он стоит сам по себе, не воспринятый ничьим глазом и ухом. И сам я так окаменел в этом покое и слился с лесом, что тетеревиный выводок вышел на дорогу, как он выходит, когда здесь никого нет. Птенцы — желто-коричневые пуховые комочки — принялись бегать взад и вперед, ныряя на бегу маленькими головками. За ними следила тетерка, вытягивая длинную шею и мирно квохча.

Наконец я шевельнулся. У тетерки вышло совсем особенное «квох», и птенцы стремительно брызнули в траву, в мелколесье, а сама тетерка перелетела у меня на глазах раз, другой, приглашая поверить ее наивной хитрости и броситься в погоню.

Мертвое дерево надо мной роняло с веток сухую шелуху.

«Дерево падает, а лес стоит»,— вспомнил я поговорку знакомого лесного объездчика Феди.

Федя любил лес беззаветно. «Безлесье неугоже поместье»,— говорил он и в сухую пору лета, когда в краснолесье стояла горячая смолистая духота, а в болотняках трещал пересохший мох, с неподдельным хозяйским беспокойством принюхивался к ветру: не наносит ли гарью. Он так прочно соединился душой своей с лесом, что решал через него самые сложные вопросы человеческого бытия. Эти откровения, по-видимому, являлись ему без усилия мысли, в результате мгновенного и непроизволь-

ного обобщения опыта и выражались в пословицах, как издревле выражалась всякая народная мудрость. Наверно, десятки раз он легким прикосновением валил трухлявый ствол березы, видел ржавую крону засыхающей сосны и, наконец, заключал: дерево падает, а лес стоит.

Но, как всегда, в пословице смысл слов перерастал их буквальное значение, и в этом случае она по-Фединому выражала мысль о том, что в одиночку человек смертен, а в массе вечен. Какими бы то ни было путями, но надо дойти до нее, потому что, не будь человек защищен подспудным сознанием бытия, он не мог бы пережить даже мысли о смерти — об ужасной трагедии, о миллионах лет, стремительно скользящих во Вселенной.

КЩАРА

Одно из чудес Лухского полесья — озеро Кщара. Если верить карте, к нему ведет единственная дорога. На самом же деле весь лес был изрезан машинными дорогами, проторенными тяжелыми лесовозами, дороги эти разной свежести пересекались, кружили, разветвлялись, и, хотя еще раньше знатоки уверяли меня, что «там кругом указки», никаких указок я не встретил и вскоре обнаружил, что сбился. Следы человека встречались повсюду: отпечатки шин кое-где были совсем свежими: вчерашний дождь не смыл следы босых ног на песке; то справа, то слева слышался далекий гул автомобильного мотора; стояли целые леса сосен со стрелообразными надрезами, из которых в железные стаканчики капала тягучая живица,— но самого человека не было, и я не мог ни у кого спросить дорогу.

Лишь под вечер совсем неожиданно сквозь сосны блеснуло мне отраженным светом зари лесное озеро. Чистое, без единой травинки, оно, как в чаше, лежало в сухих песчаных берегах и было наискось перечеркнуто резкой границей света и тени. Светлая полоса быстро сужалась, за ней, бороздя багряно-лимонную воду, спешили две уточки, но тень догнала их и накрыла, как ястреб крылом. Озеро померкло. Надо мной предвестницей ночи метнулась летучая мышь. На дальнем берегу верхушки сосен еще золотились в лучах солнца, но вокруг меня весь берег с его старыми кострищами, рогатками, остовом шалаша и полусгнившей землянкой уже погрузился в настороженную полутьму и походил сейчас на древнее становище, покинутое в предчувствии беды племенем,

услыхавшим недобрый гул под землей. Меня предупреждали, что в этих местах недавно провалились три гектара векового леса. Теперь это предостережение довершило иллюзию покинутого становища, и все вместе было так прекрасно, значительно и жутко, словно я стоял, подобно героям фантастической «Плутонии», на пороге детства человечества.

Заночевать я решил в развалинах землянки, где хранилась бочка с живицей. Песок на полу был мягок, но не прогрет солнцем, и, проснувшись среди ночи от холода, я вышел из землянки.

Глубокая, мертвая, затягивающая, как омут, стояла тишина. Одиночество, которым я так наслаждался весь день, точно мохнатая лапа, вдруг стиснуло мне сердце и неодолимо повлекло к жилью, к огню, к людям.

«Да полно, есть ли тут жив человек!» — пробовал я разумным доводом унять бессознательный порыв к бегству.

И не выдержал, пошел наугад вокруг озера, боясь, что круг замкнется, а я не встречу ни ночующих рыбаков, ни лесорубов, ни сборщиков живицы.

Но вот впереди забилась, захрипела на цепи собака. Немного погодя на тусклом фоне озера обозначилась остроконечная стреха избы, и, постучавшись у ее дверей, я, как в середину книги, вступил в незнакомую людскую жизнь.

Это было жилье лесного объездчика Феди.

ЛЕСНОЙ ПОСЕЛОК

...Шагаю седыми хрусткими мхами, солнечными просеками, смолистыми борами. День ли, ночь ли — я все равно иду, если есть желание, а нет — живу там, где нахожу воду, чтобы размочить сухарь.

Однажды ночью, прикинув по карте расстояние до лесного поселка, я затоптал небольшой костерок и зашагал, чувствуя дорогу ногой, как лошадь. Впереди меня бесшумно носились ночные птицы; лес тихо перешептывался; в его темных глубинах то трещала ветка, то падала шишка, то булькала вода.

Уже за полночь я вошел в поселок. На ярко освещенной танцевальной площадке толпилась молодежь, у магазина разгружалась машина с продуктами, и бегали неведомо почему бодрствующие мальчишки. Они отконвопро-

вали меня к коменданту. На стук вышел седобородый дед в гимнастерке и подштанниках, зевнул и, отказавшись смотреть мои документы, сказал:

— Ступай, сударь, в общежитие и ночуй. Там свободных коек полно.

В общежитии, длинном деревянном здании барачного типа, действительно нашлась койка. Но сон не давался мне. Я ворочался на скрипучей койке, считал до пятисот — все было напрасно. Кто-то долго кашлял в углу и, наконец, сипловато спросил:

— Не спится, товарищ?

— Да...

— Пойдем со мной на озеро удить, хочешь?

Я согласился. В углу зашевелилась белая фигура, облачилась в черное и на минуту пропала, как невидимка, пока не прорезалась снова на сером фоне окна. По осанке, по голосу, по шарканью ног угадывался человек немолодой, кряжистый. Он взял удочки, лежавшие вдоль плинтуса, котелок, и мы вышли.

Мой спутник хмуро глядел из-под косматых бровей, и пепельные жесткие усы топорщились у него как-то очень нелюдимо.

Огромное озеро, похожее на все местные лесные озера, чистое, обрамленное соснами, плескалось у самого поселка. Дул утренний ветер, наволакивая серые ненастные облака. Мы закинули удочки. Ловить было неинтересно, поплавок прыгал на волнах, с воды наносило холодный туман, липнувший к лицу, как мокрая паутина.

— Мне тоже не спится, — сказал лесоруб после долгого молчания.— Все думаю, какой у меня зять будет.

— Ну, что тебе о зяте думать? Дочь найдет,— сказал я.

— Оттого и думаю, что уже нашла. Сегодня в деревню пойду на свадьбу. Бабы там одни; наверно, окрутил их зять.

— Может, и не окрутил. Не торопись обижать человека.

— И то правда,— засмеялся лесоруб.— Давно дома не был, вот и кажется, что там поруха да разор. А ты почему не спишь?

— Тоже давно дома не был.

— Да... Вот так и живем,— задумчиво сказал лесоруб.— Пойдем-ка завтракать. У меня вчерашняя уха есть.

И объединенные в душе общей тоской по дому, мы пошли прочь от серого ветреного озера.

Днем попутная машина увезла меня дальше, в глубь лесов.

В кузове набралось еще человек десять коммунистов, ехавших на общее партийное собрание лесокомбината. Никогда я не переносил такой жестокой тряски под мелкий дождичек, как на дорогах лухских лесов. Машина виляла между соснами, прыгала на ухабах; по головам нас хлестали мокрые ветви, и мы, держась друг за друга, всей массой валились на борт, на кабину, на дно кузова.

Наконец парторг постучал по крышке кабины. Машина, взвизгнув тормозами, встала как вкопанная, нас кинуло на кабину, а на подножке во весь рост выпрямился шофер, стройный, тонколицый, в берете набекрень, гроза поселковых девчат, и невинно спросил:

— В чем дело?

— За третьим рейсом, что ли, спешишь, Никита?

Никита чуть улыбнулся, оглядел нас и сказал:

— За фиалками.

ЛИСТОПАД

С рекой, лесом, полем нужно быть один на один. Тогда это творческий союз, а не пикник или прогулка.

На фоне темного ельника стояла одна-единственная березка — вся желтая и сквозная, и ветер уже рвал с нее первые листья, кидал на суровые ели, точно награждая их золотыми медалями за стойкость перед будущими холодами.

Слышал, как в августе пел соловей. Может быть, и какая-нибудь черемуха цвела для него во второй раз? Бывает ведь и так.

Ветхие старцы из окрестных деревень говорили, что они не упомнят, когда еще стояла в июне такая гнусная погода, а в августе, у самого сентября, было так благодатно.

Особенно горячился по этому поводу дед Севастьян Подкорытин. Он был старик научный и очень напирал на циклоны и атомные взрывы. Радио играло в его жизни огромную роль. Он был неграмотен, глух, и только мощные радионаушники, которые он всегда волочил за собой на длиннющем проводе, связывали его с большими событиями мира.

На озере и всю дорогу в машине Ваня страшно матерился, а если ему выговаривали за это, отвечал самодовольно:

— Что? Не нравится крепкое слово?

Когда же проезжали по бревенчатому мосточку, вдруг сказал:

— Как на ксилофоне проиграли.

Вот это-то, пожалуй, и было единственное крепкое слово за весь день.

Егерь Фигуровский посадил у себя яблоневый сад. Созидательная миссия собственника на этом и кончилась бы, хотя никто не молвил бы о нем худого слова — ведь как-никак, а и он украсил крохотную часть земли. Но Фигуровский привез саженцев еще и соседу. Да так с тех пор и возит из совхоза ежегодно по тысяче саженцев. И маленький поселок над Клязьмой шумит яблоневыми садами истинного украшателя земли.

Любуюсь августовским небом и думаю: для метеора, быть может, тысячи лет мчавшегося холодной глыбой через мрак Вселенной, встреча с Землей губительна. Но как ярко вспыхнет он напоследок в ее атмосфере, и не стоит ли этот миг возгорания тысяч лет скитаний во мраке!

Я пишу — это значит, я роняю свои листья. Но пока я корнями в земле, бояться нечего: мой сад опять зазеленеет.

НЕРЛЬ

С нежным, как бы чуть бурлящим именем этой реки связано у меня одно из самых высоких наслаждений прекрасным, какое мне когда-либо доводилось испытывать. Недалеко от ее слияния с Клязьмой возле села Боголюбова стоит древний храм Покрова — чудо русского архитектурного мастерства. Мне всегда кажется, что создан он без помощи рук, одним лишь вдохновением, равным чародейской силе сказочных волшебников. Есть в нем что-то непостижимое, действующее не на глаз, а на душу, начинающую как-то торжественно, возвышенно и грустно томиться при виде этой белокаменной поэмы древних времен. Увидевший этот храм хоть раз уже не может сказать, что в жизни его не было счастливых минут.

Недавно я получил из Ясной Поляны письмо от В. Ф. Булгакова, где есть такие слова:

«...Не завидуете ли вы мне, что я живу в Ясной Поляне?

Я, в свою очередь, завидую Вам, что Вы живете в древнем Владимире, поблизости от прекрасных Успенского и Дмитриевского соборов, поблизости от храма — мечты и белого лебедя — церкви Покрова на Нерли.

Сорок лет тому назад я посетил Владимир, пешком сходил в Суздаль, ночевал на каменных плитах в сторожке Спасо-Евфимиевского монастыря, посетил тюрьму для сектантов, в которую Победоносцев собирался засадить Льва Толстого, и испытал чувство необыкновенного обаяния, любуясь на заброшенный в русские поля архитектурный шедевр: церковь на Нерли.

Много, много раз потом в течение долгой жизни, в разных условиях, во дворцах и тюрьмах, восставал в моем воображении и памяти чудесный храм, и всегда это видение сопровождалось высоким, отрешенным от всего житейского и блаженным чувством.

Так могут действовать только самые высокие произведения искусства.

Приветствую Вас и старый Владимир! Если будет случай, приветствуйте, пожалуйста, от меня храм на Нерли!»

Я всегда с вниманием и уважением отношусь к таким просьбам, которых немало, и, бывая на Нерли, не забываю поклониться стенам прославленного храма от имени тех, кто просит об этом. А самого меня всегда возвысит над житейскими невзгодами поющая гармония его очертаний.

Благословенна русская река, несущая на своих водах этого дивного «белого лебедя».

СЧАСТЛИВАЯ

Есть в летнем полдне среднерусской полосы с его неровными ветерками, со стрекотом кузнечиков в траве, с каленым зноем, с воздвигнутыми из голубого и золотистого света кучевыми облаками по горизонту что-то отрешающее от повседневных забот и мирской суеты.

Я лежал с теневой стороны у стога сена. Их было много на длинном узком лугу, зажатом между двумя дубовыми гривами, а дальше по дрожанию воздуха угадывалась Клязьма, и мглисто-синей грядой чуть ниже облаков высился ее правый берег. По гребню его и в широких распадинах пестрели разноцветные крыши изб, желто-белесо сверкали на солнце ржаные поля и темными кущами застыли в безветрии деревенские вязы, тополя и липы.

В пойме, давно уже отшумевшей покосом, было прямо-таки пустынное безлюдье. Те, кто натоптал и наездил в лугах эти едва уже заметные тропинки и колеи, зарастающие мягкой отавой, занялись па том берегу делами другой страды; в луговых болотцах тоже давно отгремели выстрелы первых дней охотничьего сезона; рыболовы держались вольных плесов клязьминского низовья. Кто еще мог появиться здесь? Грибы и орехи не уродились в этом году, смородина отошла, клюква еще не поспела... Я чувствовал, что был один, может быть, на много километров вокруг, и оттого не сразу понял, что слышу человеческий голос, а не какой-то иной звук лугов и леса. Всегда присутствует в дремлющем воздухе полдня этот тонкий вибрирующий звук, слитый воедино из шороха листвы, посвиста птиц, возни мелкого зверя, плеска вод и, кто знает, какого еще трепетания невидимой нами жизни. Но то, что я услышал, вскоре стало выделяться из него, приближалось и, наконец, отчетливо оформилось в мелодию колыбельной песни, слов которой я еще не мог разобрать.

Множество раз сравнивался женский голос с журчанием ручья, пением жаворонка, звоном колокольчика, и я уже не знаю, с чем бы сравнить мне этот немудрящий тоненький голосок, вся прелесть которого была в какой-то прозрачной девической, даже детской чистоте. Он пел за гривой, где пролегала горная тележная дорога, выходящая на луг, и я отполз чуть в сторону, чтобы не спугнуть его своим присутствием. Скоро можно было разобрать и слова песни. Не слышал я их раньше и, увы, не запомнил. Да и вряд ли это была какая-нибудь записанная собирателями песня, а не импровизация, вылившая в первых навернувшихся и полусвязанных между собой словах ласковый лепет матери над младенцем.

— Устали мы с тобой,— послышался ее голос совсем близко.— Вот и носик у тебя весь в капельках. Гуля ты, мой гуля!..

Как и я, женщина была уверена, что она одна здесь, и разговаривала громко, не таясь. Она, видимо, присела у соседнего стога или на краю гривы в тени дубов, сопровождая каждое свое действие смехом и ласковым воркованием.

— Подожди-ка, мы пелепочки-то раскинем. Посучи ножками, посучи. Жарко гуленьке, жарко малому... Ох,— сказала она вдруг совсем будничным, даже чуть с хрипотцой голосом,— сколько стогов-то паметали! Возить не пе-

ревозить.— И опять певуче зажурчала: — Ну, что гуленька куксится? Что милый куксится? Дать гуле молока?

Некоторое время ее не было слышно, но потом, теперь уже совсем тихо и опять с какой-то детской прозрачностью в звучании голоса, она запела:

— С гулей к папке пойдем, папка скажет: дура, малого взяла, по лугам в жару пошла. А нам дома тошно, а нам дома скушно. Печь мы истопили, на крыльце сидели. Под крыльцом-то куры квохчут, тихо стонут. Курам тоже жарко... Гулин папка глупый, с нами распростился, в пойму закатился. Там болота пашет, пни, кусты корчует. Комары его грызут, покоюшка не дают...

Так ли точно слово в слово пела она — не ручаюсь, но мне ясно представились и томительный жаркий деревенский полдень с этим стонущим квохтанием разморенных кур под крыльцом, и молодая женщина с первенцем на руках, влекомая какой-то счастливой тоской через эти залитые солнцем луга к мужу, который, по-видимому, работал сейчас на осушке заречных болот, и даже их предстоящая встреча с ворчливой перебранкой, скрывающей глубокую радость и горделивое любование друг другом...

Размеры ее счастья, видимо, смутили ее самое, и женщина попробовала испугать себя.

— А если нас молния убьет? — вдруг спросила она, внезапно оборвав пение, и я представил, как округлились при этом ее глаза.

С минуту она молчала. Но потом послышался ее счастливый, даже какой-то пьяный от счастья смех.

— Выдумает же, глупая! Молния! Небо ясное, тучек нет, листочки не шелохнутся. Пойдем потихоньку, гуленька.

Я выждал некоторое время и выглянул из-за стога. По дороге между стогами удалялась высокая тоненькая женщина в белом, мелкими цветочками сарафане и такой же косынке, неся на руках что-то такое крохотное, что почти не было видно даже за ее узкой спиной.

Если бы в эту минуту тучные стога стали бы расступаться перед ней, а сквозящие солнцем дубы склонили свои вершины, я, пожалуй, не увидел бы в этом чуда.

ДЯДЯ ЛЕНЯ

Случалось мне встречать бывалых людей, и смотришь — и свету он повидал и жил чуть не до ста лет, а знает всего лишь, что раньше «карасин» был копейка, а

теперь рубль. У другого — любая история, даже про тот же «карасин», непременно с искоркой. Не просто, значит, что дороже стал, а надо при этом собеседника поддеть, чтобы не очень нос задирал.

Была такая история и у бакенщика дяди Лени, только не про керосин, а про пиво. Разопреет после ухи какой-нибудь начальственный гость из тех, кто в изобилии набегает на бакен к свежей рыбе, и скажет: хорошо бы холодного пива потянуть и почему это, дескать, даже в городе его не стало вдоволь? А дядя Леня серьезно ответит:

— Солод перестали сеять.

Тот думает, и впрямь не слыхать, чтобы сеяли где-нибудь. И смотрит без улыбки дураком.

Была история и про Удалого — востроухую подвижную собачонку с хвостом кренделем. Сначала и истории-то не было, а просто каждый день за обедом начинался разговор с детьми:

— Дурак твой Удалой, папа. Опять в деревню убежал.

— Молод еще, учить надо.

На другой день опять:

— А все-таки, папа, твой Удалой дурак.

— Молод. Учить надо.

И давно уже минула скороспелая собачья молодость, а дядя Леня все выгораживает пса:

— Молод еще, учить надо.

Но при этом глаза его смеются: вот, мол, в чем секрет вечной молодости.

Эти смеющиеся глаза, эту искорку в поведении сохранил дядя Леня до конца дней своих.

Шел я налитыми овсами в погожий августовский день. И когда достиг деревни Калиты, увидел в тени на лавочке дядю Леню. Сидел он сгорбившись, с усами, повисшими по углам рта, под соломенной шляпой, как маленький грибок. Узнал и он меня. И глаза его засмеялись.

— Деревня-то Калиты, что ли? — спросил я.

— Калиты.

— Бударин Алексей Ефимович тут живет?

— Тут.

— Дома он?

— Да вон к девкам побег.

...Через полгода я хоронил его на деревенском кладбище среди сверкающих снегов и белых заиндевевших берез...

Есть что-то в первобытной охотничье-рыболовной страсти украшающее человеческую натуру, и потому люблю я встречать на берегах и в поймах человека с ружьем или удочкой.

О поречных тропах можно написать целое лирическое исследование. Они как бы отражают неугомонный, дотошный характер русского рыболова и охотника. Нашу рыбалку и охоту у меня никак не поворачивается язык назвать спортом. Это где-то там, у Хемингуэев, спорт, а у нас что-то такое «пуще неволи» — иначе не назовешь. Встретишь в пойме мужичка, заросшего трехдневной щетиной, в рваной робе, со стареньким ружьишком или самодельной березовой удочкой — ну какой тут спорт! Спортсмен рисуется мне непременно в шортах, кедах и с пластикатовым козырьком на лбу. И удочка у него — чудо химической промышленности — гнется в кольцо. Ловит он форель по лицензиям.

Начало охоты застало меня в Бельковской пойме, под Ковровом. Надо ли говорить, сколь трепетно ждали этот день охотники всего клязьминского побережья. Но как и следовало ожидать, он горько разочаровал их. Пойма точно вымерла; лишь изредка пролетит какой-нибудь шальной дрозд, в которого тут же посыплются килограммы дроби истомившихся по выстрелу охотников.

А помню я эту Бельковскую пойму полную утья, бекасов, дупелей. И видно, что это уж горькое знамение нашего века — оскудение пойм и загрязнение рек. Так и стонет в ушах грустная чеховская «Свирель»:

«Летошный год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не станется... И рыба... Мне не веришь, спроси стариков; каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше...»

Поет, поет свирель, и охотники, чтобы как-то разрядить ружья и душевное напряжение, накопившееся за дни ожиданий и приготовлений, палят по картузам, консервным банкам и бутылкам.

Один хвастается:

— Ударил по картузу в подкидку, три минуты потом сверху черные хлопья падали.

Возле лужи, заросшей осокой и ольшаником, сидят

трое, приканчивают четвертую поллитровку. Рассказывают:

— Утром выплыл из елха чирок, а ружья у нас в руках ходят. Стреляли все трое, не попали. Теперь ждем вечерней зорьки. Может быть, выплывет. Да только, кажись, опять не попадем.

У стога новая встреча, новый рассказ.

— Ночевали мы на гривке. Выпили. Мой товарищ пошел до ветру, ввалился по пояс в воду, стоит с закрытыми глазами, спит. Я его растолкал, он озирается, спрашивает: «Где мы ночуем-то?» — «Да вон,— говорю,— дым от костра, иди на него». А дым-то ветром относит, товарищ и пошел по нему. Метров на двести ушел. Слышу — вопит. Привел его за рукав к костру, он ругается. Не туда, дескать, привел, не наш костер.

Так и развлекаются кто чем вместо охоты.

СТАРАЯ ПЛОТИНА

Было, говорят, и быльем поросло. Я стал мерить прошлое уже не годами, а десятилетиями и при случае имею право сказать, что такое-то-де было с десяток лет назад.

Была за Клязьмой на Уводе-речке деревенька, вся из серых бревен, под жидкой тенью ветел, со старой колоколенкой над косогором, и приезжал я туда как-то летом по одному торжественному случаю. Там строилась на Уводи колхозная гидростанция. Уже высился среди цветущего буйства лугов ее сруб, весь, как янтарем, пронятый смолью; уже свивалась в тугие бурлящие струи вода в узком горле перемычки; уже мотался вокруг какой-то дед в подшитых валенках и вдохновенно пророчествовал, что рыбы теперь тут нагрудит, как в котле; и председатель колхоза то и дело перезванивался по телефону с учреждением, название которого произносилось с грациозным итальянским полнозвучием: «Сельэлектро».

В этот день должны были закрыть перемычку. Из города на воскресник приехали комсомольцы. Сверкая золотом труб, бухал марши сводный оркестр всех городских заводов. Некошеная пестрая пойма еще ярче расцветала кофточками, косынками, майками. Пирамиды известкового камня на зеленой траве слепили глаза своей белизной.

Соразмерна ли торжественность решительного момента значению события? Мне кажется, нет. И перекрывается ли петлистая камышовая Уводь или мощный многоводный

Енисей, в одинаковой радости вздрагивают сердца тех, кто причастен к этому делу. Когда в горловину перемычки, грохоча и всплескивая, посыпались камни с первых носилок и оркестр с новой силой грянул что-то бравурное, даже у меня, стороннего наблюдателя, предательски перехватило горло крутой спазмой. Не то ли самое испытывал я и па Куйбышевской гидростанции, когда увидел, как после многих бесплодных попыток в землю, словно горячая игла в масло, полез под нажимом вибромолота стальной шпунт...

Ах, что за чудесный это был день! Встревоженные чибисы с писком носились над поймой. Ветер трепал прибрежный ивняк и комкал все звуки — удары копра, голоса людей, рев труб, плеск воды и грохот камней — в какой-то монолитный гул труда и ликования. Нельзя было удержаться от соблазна схватить неровный, словно кусок колотого сахара, камень, взвалить его на плечо и, пробежав по шатким мосткам, сбросить во вспененную воду. И странно, совсем забыв тогда о главной цели своего приезда сюда, то есть о сборе так называемого литературного материала, я вскоре как-то очень легко, со светлым чувством уверенности и радости написал свой первый напечатанный рассказ «Однажды летом».

Мог ли я спустя десять лет не воспользоваться случаем и не побывать на маленькой гидростанции, где лежал в перемычке и мой посильный камень? Я вспомнил о ее близости как-то вдруг, и наш лагерь па Клязьме, отладив все минимальные удобства походного быта, уже готовился к вечерней заре, когда знакомая колоколенка без креста, выступавшая из пойменных зарослей на противоположном берегу, словно позвала меня.

Днем в самую жару прошел неожиданно холодный, даже какой-то обжигающий дождь и оставил в воздухе резкую свежесть осени, как бы напоминая о том, что август уже перевалил за свою середину. Я переехал через Клязьму и долами, полными студеной сырости, напрямик зашагал к Уводи. Но в пойме не ходят напрямик. Мокрый по плечи, весь в паутине, выбрался я, наконец, из ольховой крепи па дорогу, не одолев и половины пути, а солнце уже вызолотило небосклон, погружаясь в холодный туман заречных болот. Пришлось прибавить шагу. По совести говоря, мне не хотелось прийти на гидростанцию, которую я помнил празднично залитой щедрым солнцем июля, в такой неприветливый вечер, но, кто знает, когда бы еще выпал случай побывать там?

Заросли уже расступились перед дорогой. Впереди открылся холмистый простор, синеющий вершинами увалов, по которым кое-где еще спадали несжатые поля ржи. Колокольня встала передо мной во весь рост на открытом холме, и по ней струился вниз подвижный от тумана, оранжево-желтый отблеск заката. Там под холмом стояла гидростанция.

...Но ее там не было. Полусгнившие бревна с вывороченными скобами торчали из суглинистого берега, вода стремительно бежала по размытому ослизлому каменнику между позеленевшими сваями, омывая, как туши каких-то погибших животных, два крутобоких ржавых сопла турбины. Луг, который остался в моей памяти таким распестренным и гомонливым, был теперь пустынен и дик. Застойную воду в заводях и баклушах сплошь покрывала сочная ряска чуть не с копейку величиной, стебли осоки сухо терлись друг о друга, а одинокая фигура рыболова — парнишки лет пятнадцати с озябшим носом — только еще выразительней подчеркивала запустение и одичание окрестных мест. Он закидывал леску на кривом березовом удилище прямо в водоворот у разрушенной плотины, где медленно вертело и вспучивало густую кашицу из ряски, и часто выхватывал то крупного ельца, то плотицу, выскакивавших из воды с каким-то влажным пробочным чмоком.

— А что, станцию-то давно сломали? — спросил я.

Он переложил удилище из руки в руку и повернулся ко мне.

— Давно. Уж и забыли.

— Чем же она вам мешала?

— Морока с ней,— усмехнулся он.— Больше чинили, чем пользовались. А свет на одну избу-читальню давала.

— Ну, а теперь как же?

— Теперь у нас будка.

— Чего? — не понял я.

— Будка,— нетерпеливо ответил он, опять выхватывая из-под ряски толстоспинную плотву, и в то же время указывал мне свободной рукой в сторону села, куда, по-видимому, к трансформаторной будке, перевернутыми ижицами сбегались длинноногие деревянные столбы с подпорками.

Мне все стало ясным. Стареем и разрушаемся мы, а жизнь, разрушая старое, набирает свежие силы и молодеет. Сожалеть ли и грустить по этому поводу? Конечно же, нет. Но когда я шел по сумеречным долам и уже совсем темным гривам обратно к берегу Клязьмы, именно с чув-

ством грусти и сознанием невозвратимости вспоминался мне тот счастливый мой день, ярко и празднично закатившийся в прошлое. Ведь не всегда доводы разума властны над нашими чувствами.

ВКУС ЖЕЛТОЙ ВОДЫ

До сих пор сохранилась у меня потертая на сгибах, мягкая, как тряпочка, карта. Она была новой, когда те трое мальчишек принесли свою кровавую клятву. Диковатой прелестью нехоженых мест веяло на них от зеленого пятна на карте по левобережью Клязьмы. Бескрайний, уходящий за обрез карты разлив лесов с голубыми кляксами озер, с синей жилкой реки Лух, с одинокой ниточкой проселка, на которой редко-редко где был подвешен кружочек населенного пункта, дохнул на них своим смолистым запахом. «Лухское полесье», «Карстовые леса», «Нерльско-Клязьминская низменность» — все эти названия звучали для мальчишек, как загадочный шум лесов, как баюкающий плеск озерной волны, как задумчивый шорох ржаного поля. А Лух! Про эту речку мальчишки узнали, что протекает она среди торфяных болот, что русло ее поросло травой и тростником и что цвет воды в ней желтоватый.

Этот желтоватый цвет окончательно сразил мальчишек. В глазах у них заблестела какая-то сумасшедшинка, говорившая, что теперь они не остановятся ни перед чем, чтобы отправиться в свое путешествие.

Но жизнь, как уже было сказано, рассудила посвоему...

На Лух я вышел в среднем его течении у поселка Фролищева Пустынь. Там стараниями секретаря партийной организации лесокомбината я поселился в пустующей квартире из трех комнат с кухней, чулачами и хозяйственными пристройками.

Из стен здесь во множестве торчали гвозди, дававшие возможность заключить, что мой предшественник был страстным любителем картинок, фотографий и всего, что можно повесить на стенку. Теперь эти гвозди продолжали отлично служить мне, в роскошном просторе располагая на ночь по стенам вещи — от «кеди-спорт» до штанов.

Жил я в этой квартире в свое удовольствие. Как в сказке, выходила ко мне из-под печки мышка, а я за неимением каши давал ей сахару, а она за это награждала

меня, как Машу, тем, что всякая работа у меня спорилась.

Дни мои проходили в скитаниях по берегам Луха. Вода в нем оказалась действительно желтой, даже с коричневым торфяным оттенком, а язи отливали, подобно липям, темной бронзой.

Свои желтые воды Лух нес среди дубовых рощ и сосновых лесов, между светлыми песчаными берегами, через болота и непролазные крепи.

Путь к устью, куда мне хотелось попасть, был один — водой. Он манил меня, когда я, стоя на мосту, глядел, как вода, омывая песчаный остров, уносится за изгиб реки, в зеленое царство лесов.

«Ну, что ж,— думал я тогда.— Быть может, этот бег воды был первой силой, которую использовал человек в своем движении к культуре и техническому прогрессу. Почему бы не вернуться и мне к простейшему способу ее подчинения и не построить себе плот?»

С этой целью я обошел берег, собрав кучу древесного хлама. И чего тут только не было: бревна, кусок забора, намокшие доски, поленья!

Совершенно невозможно было голыми руками создать из этого материала водоплавающий снаряд.

В магазине хозяйственных товаров из инструмента нашелся топорик без топорища, а из связывающих материалов — электрический шнур. Безнадежно обстояло дело с гвоздями. И тогда я вспомнил про свою квартиру и сколько там торчит из каждой стены гвоздей.

Целый день я, ссаживая руки, раскачивал их и вытаскивал, пока, наконец, не осталось ни одного.

Велик, наверное, был ужас первого человека, когда вода подхватила и понесла его. Но это падение человека с берега в стихию было той причиной, которая вызвала к жизни современное пароходство. Теперь того первобытного ужаса перед стихией нет: от него человек защищен всем накопленным за века опытом, поэтому я только посмеялся, когда вода подхватила и понесла меня. За свой опыт я заплатил дешевле, и он не станет причиной пароходства, но теперь-то я сам буду строить плоты по-иному.

То сооружение, которое от толчка колом вынесло меня на середину реки, стало медленно оседать подо мной в глубину. Погрузившись сантиметров на тридцать, оно спокойно поплыло по течению и я теперь представляю, как был изумлен спросонок тот рыболов, что увидел меня идущим по воде, как посуху.

Моему мешку, картам, сапогам грозило потопление. Размахнувшись, я выбросил на берег все это, а сам...

Было очень раннее утро, первая птица только-только звенькнула в дубовой роще, когда я возвращался в свою квартиру. И это хорошо, что никто не видел меня, потому что не очень-то приятно встретить насмешливый взгляд и, может быть, услышать ядовитое соболезнование.

Когда я снял с себя одежду, чтобы просушить ее, то сам не выдержал и громко расхохотался: ни одного гвоздя в квартире не было...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В доме, где была вентиляционная отдушина, давно уже поселились незнакомые люди. Если они пошарят в отдушине, то непременно найдут там бумажный цветок, и в нем кровавую клятву трех мальчишек. Теперь к ней можно прибавить, что одного из них унесла война, другой нелепо и обидно погиб, разбившись при аварии мотоцикла, а третий через много лет вспомнил свою клятву и отведал воды из многих рек и озер своей Родины.

Если брать в расчет весь его путь, то не была ли это живая вода?

1956—1964

Рассказы



ДАША

Рассвет застал меня на перевозе.

Плотный, тяжелый туман бродил над рекой; вода тихо плескалась о бревенчатые сваи причала. Кругом стояли грузовики и подводы; выпряженные лошади с хрустом жевали сено, а поодаль у костров, в ожидании парома, расположились шоферы, возницы и пеший люд.

— Перево-о-о-оз! — закричал я, сложив ладони рупором.

Звук моего голоса затерялся в тумане и упал где-то совсем близко, не повторенный эхом.

Ответа не последовало. Я закричал опять.

— Чего орешь? — окликнул меня от ближайшего костра окающий голос.— Нет перевозу.

Я подошел к костру. Сгребая палочкой раскатившиеся головни, возле него сидел старик с крупным рябоватым носом и косматыми бровями; из-под шапки-ушанки, сдвинутой на затылок, выбивались у него тугие кольца седых волос. Рядом кто-то спал, укрывшись узорчатой клеенкой.

— Нет перевозу,— повторил старик.

— Почему нет?

— Паром сорвало.

Он помолчал, оглядывая меня, и очень охотно стал объяснять.

— Лопнул канат и — понесло. Сказывают, километров за десять поймали, лошадьми теперь тянут. Мы тут с вечера ждем.

Я собрал сено, разбросанное вокруг, и присел на него у костра.

— Сам-то кто будешь? — спросил старик, осторожно кашлянув для приличия.

— Корреспондент, из областной газеты,— ответил я.

— Куда пробираешься-то? Не к нам ли в «Красный пахарь»?

— Да.

— Ну, знамо дело...— усмехнулся старик.— Колхоз на видном месте... Мимо не проедешь.— В голосе его звучало почти детское самодовольство.— А о чем писать собираетесь? Про махорку нашу или про свиноферму?

Думая, что из-за парома мне в этот раз не придется писать вовсе, я ответил, что собирался и про то и про другое, а в первую очередь хотел заехать к Дарье Прониной, чтобы написать о ней очерк.

— Господи! — всполошился вдруг старик.— Да ведь Дарья-то здесь... Вот тут она и спит...— Он потянул за край клеенки.— Даша! Слышишь, что ли! Из газеты человек тебя спрашивает. Вот чудеса!

Женщина, спавшая под клеенкой, легко вскочила на ноги, сдержанно поздоровалась со мной и сказала, обращаясь к старику:

— Поспал бы, дед, всю ведь ночь не спишь...

Спокойная ласковость была в этих словах, и в самом звучании голоса тоже чувствовалась эта спокойная ласковость.

Высокая, статная, почти величественная, она быстро и ловко, но без суеты, убрала клеенку, причесала длинные русые волосы и завязала под подбородком платок. Было что-то значительное и располагающее к уважению во всей ее фигуре, голосе, во взгляде ее больших серых глаз. Старик, и тот в ее присутствии присмирел и даже имел несколько виноватый вид, что, впрочем, тут же разъяснилось. Даша спросила:

— Лошадей поил, дед?

— Того я...— засуетился старик,— сейчас. Заговорился вот с человеком.

— Сиди уж, я сама,— остановила его Даша и подошла к подводам.

Дул сырой ветер. Три голых осокоря у самой воды трепетали тонкими почерневшими от дождя ветвями. Над рекой кричали стаи грачей, готовясь к отлету. И только ярко-зеленое поле озимых хлебов на противоположном берегу дышало свежестью и силой непреходящей жизни.

Старик вынул кисет и закурил махорку. Было слышно, как Даша громыхает пустым ведром, отвязывая его от телеги.

— Даша внучкой вам приходится? — спросил я.

— Внучкой. Только вот неудача у меня с ней,— отозвался старик, очевидно обрадовавшись случаю поговорить.— Жизнь у нее кувырком вышла.

Он оглянулся на Дашу и, понизив голос, продолжал:

— С войны всё началось. У нас в деревне бывал? Знаешь, вторая изба от сельмага? Это наша. А рядом жил Илюшка Пронин с отцом и двумя сестренками-двойняшками. Отец-то у них был того... плохой мужик, хворал все.

А Илюшка — известное дело, на работе. В дому, конечно, печь не топлена, двойняшки не кормлены, корова не доека — ходит по двору, мычит, томится... Только стал я замечать — что-то у соседа вдруг все иначе пошло. Словно домовой какой добрый завелся... Чисто, бело, тепло, из печи дух сытый... Ребятишки веселенькие, чистые. И что ж ты думаешь? Всё Даша! В общем, слюбились они с Илюшей. «Когда же свадьба? — спрашиваю.— Подождем до мясоеда что ли?» Говорят, сев закончим и — сыграем. Да... Сыграли... Да не так, как нужно... Все было хорошо — председатель машину дал, девчата цветами ее убрали, скамейки в кузов поставили, собрались, значит, молодые в город ехать, расписываться. А тут по радио сообщение — война началась... Ну, понятно, ушли все из избы, машина стоит, в цветах вся — кому они нужны? Даша спрашивает Илью: «Пешком пойдем? Не до нарядности теперь»... А я говорю: «Чего, мол, выдумала! Вдовой хочешь остаться?» А она словно не слышит меня, смотрит на Илью. Тот глаза опустил. «Смотри,— говорит,— Дашенька, как бы в самом деле плохо не вышло. Вдруг убьют меня». «Ну, видно, оставаться мне тогда вдовой»,— отвечает. Упрямая, ее не переспоришь. И любила его крепко. Проводил я их вот до этого перевоза, пошли, смотрю, рядом. Идут, идут, оглянутся, помашут мне, опять идут...

Растроганный воспоминаниями, старик вынул из кармана платок, стряхнул с него махорочную пыль и вытер глаза.

— Уехал Илюшка на фронт,— продолжал он,— на Даше два двора остались висеть. Два старика, две девчонки да две коровы... Намаялась моя Дашá. В колхозе с утра до ночи. В обед прибежит, всех накормит, все сделает и опять в поле. Но — ничего... Только петь перестала. До войны петь любила, а в войну перестала. Зато как работает! Вот сейчас в колхозе она звеньевой на махорке. Сам знаешь, трудов в нее, в махорку-матушку, вложить надо много. А Дарья тридцать пять центнеров с гектара сняла. К медали представили, слыхал, наверно? Теперь, говорит, пятьдесят центнеров сниму... Да...

Старик вдруг замолчал — к костру подходила Даша. Пошел мелкий дождь. Тучи спустились ниже. Неподалеку от нас на картофельных полях зажглось еще несколько костров: колхозники вышли в поле выбирать картошку.

— Загодились,— сказал старик.— Давно б пора управиться. Вот-вот заморозки ударят, а из мерзлой земли — уж не картошка.

— Да,— подтвердила Даша.— Пропадет у них картошка.

— Сходить бы, что ли, с ведерочком к колхозникам, картошечки взять да испечь...— неуверенно сказал старик.

— Ровно дитя малое ты, дед,— улыбнулась Даша и, взяв ведро, ушла.

— Ну, а дальше? — спросил я старика.

Старик помрачнел.

— Что дальше? Вспоминать не хочется,— махнул он рукой, но все-таки продолжал свой рассказ: — Прожили мы войну, вышел ей конец. Всем радость, а у нас самая беда и случилась. Пришло письмо из госпиталя от Илюши. Лежу, мол, третий месяц раненный в грудь. Где тот госпиталь — неизвестно. Номер полевой почты есть и все тут. А Дарья одно заладила: поеду да поеду. Поехала. Из Москвы прислала мне письмо: разыскала госпиталь. В Молдавии находится. Посмотрел я в клубе на карту. Далеко, на самой границе. Ну, приходит она в тот госпиталь. Находит своего Илью. Врачи да профессора его там лечат. Уход и все такое. А она им говорит: «Не будет тут такого ухода, как от жены». И что ты думаешь — привезла его к нам в колхоз. Уж как она его выхаживала, как берегла! Ночей, бывало, не спит. Да уж, видно, не жилец он был на этом свете. Легкие, сказывают, в нем сгорели. Помер прошлой весной.

Даша вскоре вернулась с пустым ведром.

— Аль поскупились? — удивленно спросил старик.

Она деловито сказала:

— Надо взять лошадей да помочь колхозникам этот клин выпахать.

— Как так помочь? — сердито возразил старик.— Какая нам надобность лошадей на чужом поле мучить?

— Ничего, а то застоялись,— спокойно сказала Даша и стала раскидывать костер.

Старик продолжал ворчать, но все-таки встал и пошел к лошадям.

— Старосветский у меня дед,— усмехнулась Даша,— но это только так... На самом деле он добрый. Пахать умеете?

Пахать я не умел, но пошел на поле вместе с Дашей. Мне дали большое ведро, чтобы я подбирал за плугом картошку. Размокший, поднятый лемехом чернозем звучно чмокал под сапогами. Согнутые колени и спина наливались приятной усталостью. Изредка я останавливался и

смотрел на Дашу. Она быстро шла за плугом, легко встряхивая его на поворотах. И мне казалось, что я сам стал лучше и богаче оттого, что узнал эту женщину и сердцем ощутил то обилие любви к людям, которое живет в ней.

Паром пригнали только к вечеру. Картофельное поле было уже убрано. Мы переправились через реку и медленно поехали по размытой дороге. После долгого молчания Даша сказала:

— Если будете писать про наш колхоз, не забудьте насчет яслей упомянуть. Никак у нас яслей не откроют.

Погода переменилась. Ветер упал. На ясном небе остро и холодно вспыхивали первые звезды. А в лощине уже показались другие огоньки — теплые, веселые — огни колхоза «Красный пахарь».

1948

ОСЕННИЙ ДЕНЬ НА МШАРАХ

Мшары — это глубокое озеро с холодной прозрачной водой, синее в ясные дни и свинцово-серое в ненастье. Осенью оно бывает сплошь завалено сухими листьями дубов, рябин, черемухи, липы, орешника. Лодка скользит по его поверхности с тихим шуршанием, мокрые листья липнут к ее бортам, виснут на веслах.

Могучий дубовый лес стоит по берегам озера, закрывая его от ветров, и оно всегда спокойно, точно наполнено не водой, а тяжелой ртутью.

В густом подлеске особенно много рябины. Ветви ее, отягченные гроздьями ягод, гнутся к самой воде, в которой оранжевыми пятнами дрожит расплывчатое отражение.

В озере водятся юркие крепыши-окуни с белой на брюшке чешуей, темнеющей к спине до черноты, и нежная серебристая плотва. Эта рыба охотно идет на удочку, так что рыболов, пришедший на Мшары, никогда не бывает обречен на тоскливое созерцание неподвижного, словно вмерзшего в гладь воды, поплавка.

В местном краеведческом музее красуется чучело щуки длиной в сто двадцать сантиметров и весом около сорока килограммов. Она была поймана бакенщиком дядей Васей в Мшарах, и он, ошеломленный и даже напуганный, тотчас же повез ее в город.

Вскоре мне пришлось убедиться, что такая крупная щука не единственная в Мшарах. Однажды вечером я сидел с удочкой возле коряги, протянувшейся над водой, как узловатая уродливая рука. Большой черный жук с лету стукнулся о корягу и упал в озеро, беспомощно барахтаясь на спине. Вдруг со дна медленно поднялась громадная щука, спокойно проглотила жука и уставилась на меня круглым желтым глазом. Она была видна мне вся, от плоской вытянутой головы до чуть шевелящегося хвоста. Постояв немного, она плеснула по воде сильным хвостом и скрылась...

Из года в год я бываю на Мшарах, но знакомые, вдоль и поперек исхоженные берега озера не надоели, не прискучили мне. Напротив, я очень люблю выйти на то место, где был год, два, три назад, неожиданно найти там следы своего прошлого пребывания — заросшее травой кострище с посеревшими и мокрыми от росы углями, рогатки, воткнутые в землю, ржавую консервную банку, окурок — и, присев, подумать, вспомнить...

Обычно в такие минуты ощутимее становится бег времени. Приходит мысль о том, что трава у тебя под ногами уже не трава, что не те листья шелестят над тобой, не те облака плывут в небе, не та роса блестит на листьях, и сам ты уже не тот, нет и нет!

В этой мысли всегда есть капля грусти, потому что нам жаль каждой минуты, сброшенной со счета нашей жизни — горькая ли та минута, светлая ли, все равно! Но кто, будь это возможным, согласился бы остановить время? Лишь нищие духом себялюбцы, промышляющие мелкой охотой за личным благополучием, страшатся будущего, потому что видят там одну только смерть, а не вечное торжество жизни над ней.

Когда я впервые случайно вышел на Мшары, не нанесенные ни на одну карту этого края, я думал, что открыл новый мир, где еще не ступала нога человека,— такой первозданностью веяло от могучих дубов, от зеленовато-сумрачных глубин озера, от нетронутого обилия рябины, черемухи, ореха. Но вскоре я наткнулся на следы человека. На стволе одинокой прямой сосны, верхушка которой поднялась еще выше старых дубов, было вырезано имя: «Оля». Буквы располагались сверху вниз, первая и вторая довольно высоко над землей: должно быть, кому-то стоило немалых трудов вырубить их там. Со временем они заплыли смолой и теперь казались золотым тиснением по коричнево-медному фону.

Впоследствии я встречал на Мшарах и людей.

Так было и в тот осенний день, ничем, может быть, не примечательные события которого я хочу описать.

На заре, почти одновременно со мной, к озеру пришел рыболов в плащ-палатке с капюшоном, откинутым на спину. Вел он себя несколько странно для обычного рыболова: весь утренний клев, ради которого рыболовы не спят ночь, мокнут в холодной росе, отдают себя на съедение комарам, он прокурил, сидя под сосной с именем «Оля», и даже не размотал удочки. Потом, когда мутная пленка тумана растаяла над озером и в нем отразилось холодное чистое небо, он наконец закинул одну удочку, сильно шлепнув по воде поплавком и грузилом.

По узкому стоку, выходящему в реку, поднялся на лодке бакенщик дядя Вася. Он причалил лодку к берегу и скрылся в лесу с корзинкой через плечо — пошел за белыми грибами-дубовиками.

Вскоре он появился рядом со мной, сел и стал чистить грибы. Ему, видимо, очень хотелось поговорить. С минуту посмотрев на мои поплавки, он спросил:

— Окуней ловите?

— Угу.

— А я вот тут лета два назад с дорожкой ездил, так щуку поймал без малого на три пуда. Теперь она в музее содержится. Не приходилось видеть?

— Ага.

— Я выехал ранним утром. На воде все лежал туман...

Рассказ дяди Васи о щуке давно уже утратил всю непосредственность. Виной этому была небольшая заметка в местной газете под рубрикой «Уголок натуралиста», бесталанно написанная сотрудником редакции от лица дяди Васи. С тех пор старик, повествуя о щуке, слово в слово повторял заметку.

Мне пришлось бы выслушать этот убогий рассказ, если бы не школьники, пришедшие на Мшары за желудями.

Они шумливой толпой вышли на берег, но увидя, что я ловлю рыбу, притихли, пошептались и сели у меня за спиной, затаив дыхание.

Несмотря на присутствие ребят и болтовню дяди Васи, клев был хороший. Однако, смущенный вниманием столь многочисленных наблюдателей, которые при каждой поклевке неистово шипели «тащи», я волновался, торопился или медлил, дергая как попало, и неизменно вытаскивал голый крючок.

Между тем дядя Вася тихо спрашивал ребят:

— Зачем это вы желуди собираете? Свиньям?

— Что вы! — слышался в ответ ему сдавленный шепот.— Каким свиньям? Мы собираем для лесозащитных станций. Неужели не знаете?

— Ка-а-к не знать...— протянул дядя Вася.— Что ж, за это плата какая-нибудь есть, за желуди-то?

— Нам не надо,— стыдливо ответило шепотом сразу несколько голосов.

Вскоре ребята ушли.

— Попадутся грибы — несите сюда! — крикнул им вслед дядя Вася. Ко всему прочему, он был еще и ленив, подтверждая этим известный анекдот о бакенщиках:

«— Бакенщик, лещ плывет!

— Жареный?..»

В полдень, когда я стал варить уху, а дядя Вася уснул на куче палого листа, пришли художники с заляпанными краской этюдниками.

Один художник был седой красивый старик, проницательно смотревший из-под нависших бровей спокойными насмешливыми глазами, другой — молодой, с длинными прямыми волосами и сухим лицом, одетый с нарочитой небрежностью в широкую блузу и выцвевший берет.

Они расположились неподалеку от моего костра, вынув из этюдников палитры и натянутые на рамки холсты.

Я знал, что художники не любят, когда за их работой следит посторонний глаз, и поэтому старался не смотреть в ту сторону, где они сидели.

Уха была готова. Мне пришла мысль позвать к обеду художников, дядю Васю и рыболова, который все еще сидел на берегу, похожий в своей плащ-палатке на огромную уснувшую птицу. Подойдя к нему, я начал обычный разговор о клеве, о погоде, о рыбных местах. Он, казалось, очень обрадовался моему появлению, заговорил оживленно и доброжелательно; выбритое морщинистое лицо его приветливо заулыбалось. На предложение отведать ухи он согласился просто, без церемоний.

— У вас, я видел, хорошо клевало, а я вот ничего не наловил. Так сидел, думал... Да и рыболов-то я от случая к случаю,— виновато сказал он, медленно наматывая леску на бамбуковую удочку.

Когда я появился за спинами художников, они даже не оглянулись на меня, явно демонстрируя свое презрение к непрошеному зеваке.

Я свободно рассматривал их этюды.

У молодого был мелкий неуверенный мазок, чувствовалась в руке скованность, робость. Наоборот, старый художник твердо клал широкие сочные мазки, ничего не вырисовывая, а как будто свободно и непринужденно кидая на полотно куски живой природы.

— Не хотите ли ухи? — сказал я по возможности дружелюбнее.

Молодой художник нетерпеливо дернул плечом, словно говоря: «Вот еще! Ходят тут всякие досужие рыболовы и мешают работать!»

— Ухи? — переспросил старый, продолжая изучать пейзаж перед собой.

— Ухи,— подтвердил я не без иронии.

— Как ты думаешь, Александр? — спросил старый художник.

— Я не пойду.

— А я... я, пожалуй, пойду,— с паузой, по твердо сказал старый художник, бросая кисть в этюдник.

Впрочем, и молодой скоро пришел к костру, но к ухе не притронулся, решив, очевидно, до конца быть принципиальным.

Шумя кустами, мимо нас прошли деревенские девушки с корзинками, полными рябины. Одна из девушек отстала от подруг, внимательно оглядела нас и строго спросила:

— Ты сейчас пойдешь, папа, или обождешь?

Рыболов в плащ-палатке махнул ей рукой.

— Иди, Настя, я посижу вот с людьми, потом еще к Оле зайду. А ты была?

— Только сейчас.

Я заметил, с каким откровенным любопытством смотрел на девушку старый художник. Она была высокая и смуглая. В черных, гладко зачесанных волосах ее горела приколотая гроздь рябины; синие немигающие глаза оглядывали нас холодно и бесстрастно. Вся она была как бы олицетворением молодой осени и, наверно, поэтому привлекла к себе внимание старого художника.

— Это ваша дочь? — спросил он рыболова, когда девушка ушла.

— Моя,— тихо ответил рыболов.

— Вы в какой деревне живете?

— В Выборках. Я фельдшер, там в больнице работаю.

Он помолчал, моргая красными веками без ресниц, потом вдруг так же тихо и просто рассказал нам:

— У меня еще была одна дочь — Оля. Но когда в сорок первом году здесь проходили гитлеровцы, она утопилась

в Мшарах. Они надругались над ней. И Оля не перенесла... Простите, может быть, я некстати...

Последние слова он произнес совсем тихо и стал очень пристально смотреть в чащу кустов, а рука его, точно ища что-то, судорожно шарила по сухим палым листьям.

Над нами в ветвях рябины возились жирные скворцы, лениво ощипывая сладкую, прихваченную первыми утренниками ягоду. На землю и на воду падали листья, наполняя лес едва внятным шелестом. Ветер, гулявший высоко над дубами, раскачивал одинокую сосну, на весь век ее отмеченную золотыми письменами. Она жалобно поскрипывала у корневища. Где-то за кустами смеялись и кричали дети, собирающие желуди. Этот веселый ребячий гомон быстро приближался к нам, и уже можно было слышать, как, откалываясь от него, звенел требовательный мальчишеский голос:

— Ольга, Ольга! Не бери, тебе говорят, гнилые!

Я невольно оглянулся на озеро, на лес, на яркое осеннее небо, на кусты и деревья, отягченные плодами, на весь этот тихий мирок, который только что казался таким недоступным для людских скорбей и в котором я, быть может, не в меру бывал занят думами о себе и жизни своей. Он остался как будто прежним, но вызывал теперь совсем иные чувства и мысли.

1952

ЧУДЕСНЫЙ РОЖОК

Осенью я охотился по берегам Клязьмы, на Владимирщине.

Пойма уже оголилась, вода в реке стала прозрачной и холодной; студеные росы падали по вечерам.

В один из таких росных вечеров, обойдя всю пойму, мы возвращались в деревню Мишнево на ночлег.

Свежие сумерки выстудили небо, и в нем — чистом, бледном, пустынном — уже теплилась, мерцая, крупная синяя звезда, первая предвестница ночи. В той стороне, где по отдаленному лаю собак угадывалась деревня, заиграл пастуший рожок. Тоскливая, протяжная песня без слов, полная скорби о чем-то несбывшемся или навсегда потерянном, становилась все слышнее и явственней по

мере нашего приближения. Это был напев знакомой русской песни о человеке, не нашедшем своей доли.

— Матвей жалуется,— сказал мой спутник, местный колхозник Федор Тряпкин, и продолжительно вздохнул.

— Как жалуется? — не понял я.

— Слепой он, Матвей-то, вот и жалуется на рожке,— пояснил Федор, почему-то ускоряя шаг.

Я прислушался.

Доля, моя доля, где ж ты...—

выпевал рожок, и это действительно было очень похоже на жалобу обездоленного человека.

Мы уже подходили к деревне, когда песня тихо замерла, но через минуту вдруг снова потекла нам навстречу.

— Пойдем ближе, послушаем,— сказал я Федору.

— Ну его! Не слыхал бы,— энергично отмахнулся Федор.

Некоторое время он шагал молча, хмуря пучковатые брови, потом убежденно, строго и серьезно добавил:

— Ты иди, если хочешь, а мне— нельзя. У меня того... пережиток, запой то есть,— понял? И от Матвеевых погудок я враз напьюсь. Так что не неволь, иди сам.

Задами, меж амбаров и сараев, я пошел на звук рожка. Было уже совсем темно, и я едва разглядел за садовым плетнем, обросшим полынью, татарником и чертополохом, Матвея, сидевшего на лавочке спиной к врытому в землю столбу.

Рожок надрывался, плакал, повторял все ту же жалобу, все тот же вопрос или упрек кому-то:

Доля, моя доля, где ж ты?

Быть может, эта тоскливая песня была в слишком резком контрасте с умиротворением и тихой грустью, навеянными осенней охотой, но только мне показалось, что ее поет убогий духом, озлобленный человек, не сумевший превозмочь свое, пусть огромное, горе, понять доступную всем радость бытия и теперь в эгоистическом порыве мстящий людям, не зная сам за что.

Я отступил от плетня, чтобы уйти, но слепой, вдруг оборвав игру, спросил спокойно и внятно:

— Кто тут?

— Охотник из города,— ответил я.

— Ночлега ищешь, что ли?

— Нет, я у Тряпкина ночую.

— У которого Тряпкина, у Федора?

— Да.

— А тут пошто ходишь?

Я не ответил, он тоже молчал. Было слышно, как, шурша и постукивая о сучья, падали с яблонь сухие листья.

Матвей, одетый в белое, виделся мне бесформенно-мутной тенью. Меня поразил его голос, спокойный, доброжелательный. Ни тоски, звучавшей в песне рожка, ни озлобленности, о которой я только что мельком подумал, не послышалось мне в нем. Молчание прервал Матвей.

— Иди сюда, я тебе веселую сыграю,— сказал он.

— А вы и веселую играете? — спросил я.

Теперь не ответил он. Я перелез через шаткий плетень и сел на лавочку рядом с ним.

— Играете, значит, и веселую? — опять спросил я.

— А это как душа скажет,— усмехнулся он.— Я против души не играю.

— Жалуются люди, что от ваших песен тоскливо им,— сказал я.

— Кто это?

— А вот хотя бы Тряпкин.

И я рассказал ему о том, какое впечатление производит его игра на запойного Федора Тряпкина. Я думал, это заставит его задуматься, может быть, даже обидит, но он только тихо засмеялся, говоря:

— Вольно ему напиваться, а только я не напятый его веселить. Федькиным словам, если хочешь знать, грош цена. В колхозе хлеб еще не весь обмолочен, а он, чай, с тобой на охоту шляется.

Эта мерка в оценке человека была неожиданной для меня. «Что это — наносное, чужое, случайное, как слово «пережиток» в речи Федора, или продуманное, искреннее и свое?» — подумал я, а он в это время неторопливо продолжал:

— Душа, говорю. Против нее не сыграешь. Нет такого человека, чтобы всю жизнь веселый, а уж я и подавно. Сидишь, сидишь в темке, да и обнимет тоска. Кабы не видать мне свету, может быть, легче жилось. А то помню ведь! У меня это тоже вроде запоя. Налетит вот эдак на душу, она и стонет, жалуется. Говорят: береги пуще глаза, оно и верно. Хуже нет слепоты!

— А отчего слепота? — поинтересовался я.

— Трахома,— коротко ответил он.

Я нарочно стал раскуривать папиросу, чтобы лучше разглядеть Матвея. Оранжевый свет спички, отражаясь в неподвижных, стеклянных глазах слепого, ненадолго

выхватил из темноты его лицо, в крупных чертах которого залегли глубокие тени, но я все же успел рассмотреть его. Это было корявое от старости лицо, вырубленное грубо и небрежно, как заготовка, с выражением настороженности и какого-то напряженного выжидания.

— Вот ты пришел,— продолжал Матвей,— вижу, человек интересуется, мне как-то сразу полегчало. Душа отогрелась. Теперь и веселую сыграю.

Он поднял с колен рожок. Я со страхом ждал, что в веселой песне у него прорвется тот же мотив тоскливой жалобы, но — нет! Он играл долго, упоенно, словно рассказывая близкую сердцу, удалую разбойную быль, и не было в ней ни слова печали и уныния...

— Всяко, всяко играли,— сказал Матвей, кончив песню.

— Нами свету-то повидано — ох, много... Тех уже и нет давно, я один остался...

Слова его перешли в невнятное бормотанье: он опустил голову и, казалось, опять погрузился в свою печаль, забыв обо мне, но через минуту очнулся:

— На рожки у нас шло дерево разное — и береза, и липа, а покойный Кондратьев, Николай Василич, умел работать их из можжевела... Дерево зто прочное, тугое — звук в нем не вязнет, исходит чистым, неизмятым... Сам-то Николай Василич ох как ловко играл. Другой покраснеет, надуется, а зтот свободно, легко выводит, точно своим голосом поет. Да и голос у него редкостный... Теперь везде — гармонь, а раньше-то на свадьбах, и на гулянках, и на похоронах — все мы... Да. Умелыми-то рожечниками одна деревня перед другой хвасталась. Не всякий тебе сыграет. Тут, кроме умения полагается силу в груди иметь, а на губе нужно мужур набить, мозоль здакую, а то губа к рожку прикипает — с кровью рвешь... Про старину-то вы разве знаете!.. Под носом у вас взошло, а в голове-то и не посеяно... Вот я расскажу тебе, расскажу...

Я долго еще слышал зто невнятное бормотанье, но постепенно речь его прояснилась, и он заговорил словами вескими, запоминающимися, точно брал каждое из них в щепоть и споро вкладывал его слушателю в ухо.

Чувствуя себя бессильным передать живой колорит зтой речи, через которую впервые столь осязательно удалось мне прикоснуться к прошлому, я расскажу о нем так, как оно представлялось мне в рассказе Матвея.

В прежние времена по берегам Клязьмы шумели вековые дубовые рощи, сосновые боры. Но крестьяне

и пришлые барышники валили лес без разбору, оттеснили его от деревень, и легла тут пашня, в клочья изодранная чересполосицей, истощенная и высосанная трехполкой.

От тех далеких времен осталось лишь несколько корявых сосен, которые не шумели под ветром, а как-то особенно звенели, словно между ними были натянуты невидимые струны.

Были эти сосны еще молодой порослью, когда вернулся в Мишнево мужик Фоня Тряпкин по прозвищу Бездомный. По слухам, обошел он всю Россию, батрачил «в хохлах», ватажил на Оке, на Волге, добывал соль на Каспии и денег привез — невпроворот.

Щедростью своей крепя в мужиках веру в эти слухи, обильно поил их Фоня водкой.

— На хозяйство будешь вставать? — спрашивали мужики, искательно заглядывая ему в глаза.

— Непременно,— отвечал Фоня.

Смотрел на Фонино лицо, овеянное иноземными ветрами, припаленное южным солнцем, молодожен Матвей Козлов, и в хмельном тумане сказкой вставал перед ним счастливый, сытый край, легкая — не в тягость, а в удовольствие — работа.

Жена его Мария пошла за него против воли родителей, приданого за ней не дали и даже отказали молодоженам от стола и крова. Отец Матвея, конокрад и пьяница, взял их к себе, но у него, кроме дырявой избы да ловких на воровство рук, ничего не было. Матвей сначала рядился у лесных барышников вытаскивать из реки мореный дуб и пилить его, а потом мир нанял его пастухом.

Он взял кнут и рожок и пошел в луга.

В те времена по воскресеньям бывали в Суздале большие базары. Оставив стадо на подпаска, Матвей любил толкаться там среди разного люда, прицениялся к товарам, но уходил налегке, как и приходил.

Однажды на выходе из города догнал он односельчанина Николая Васильевича Кондратьева. Пошли вместе. На западе догорала спокойная, бледно-розовая заря, в болотистом кочкарнике мирно трещали лягушки, и вечер поздней весны был тепел, ласков и нежен.

— Вольно, хорошо,— сказал Матвей, вдыхая запах пробудившейся земли.— Ты как думаешь, Николай Василич, насчет Фониных слов? Запали мне его побасенки в душу, дразнят. Хочется и мне удачи кусок.

— Фонина удача легкая, а может, и нечистая,— отве-

тил Кондратьев, меряя дорогу спорыми, неторопливыми шагами.

— Жизнь тяжеленька,— вздохнул Матвей.— Баба вот не несет от скудости харча. Приработок надо искать.

— Одному трудно,— сказал Кондратьев.

— Оно так.

— Артелью надо действовать. Я вот по ярмаркам, по базарам, по кабакам пошатался, вижу — люди музыку хорошо слушают. Заведут там в кабаке машину или какой-нибудь искусник из пропойных артистов на скрипке потянет, сейчас народ на песню, как пчела на мед, собирается. И плачут, и смеются, и ругаются... Стало быть, глубоко задеты. Отсюда догадка у меня появилась: собрать из рожечников хор и играть в людных местах. Давать будут, особенно купец. Он на грустную песню падкий.

— Сомнительное дело,— подумав, сказал Матвей.

— Как хочешь, я не неволю,— ответил Кондратьев.

Долго шли молча. На фоне темного, островерхого леса ярко-оранжевой точкой мелькнул костер. Тихая, переливчатая песня рожка донеслась оттуда, и Матвей заметил, как по красивому, опушенному мягкой подстриженной бородкой лицу Кондратьева прошла улыбка.

Эх, да и пойду я в степи...—

печально выговорил рожок, и вдруг Кондратьев подхватил сильным тенором:

Поищу там доли-и...

Рожок смолк, но через мгновение ответил тоскливой просьбой:

Матушка пустынная, приюти сиротку...

— Ну вот и спелись,— сказал Кондратьев, подходя к костру.— Здорово живете.

У костра сидел мужик с рожком в руках, другой — лежал на спине, закинув за голову руки, и смотрел в небо.

— Здравствуйте, прохожие люди,— ответил рожечник на приветствие Кондратьева.

— Чьи будете?

— Коверинские. Лошадей вот пасем, а вы?

— Мишневские.

— Не Кондратьев ли?

— Он.

— То-то мы слышим, будто он.

— Много у вас в Коверине, кто умеет играть? — спросил Кондратьев, присаживаясь у огня.

— Почитай, каждый мальчишка дует, да только зря все это...

— С голодного брюха больно-то не заиграешь,— вставил мужик, лежавший на спине.

— Приятель у тебя, знать, сытый,— усмехнулся ему в ответ Кондратьев.— Хорошо играл.

Рожечник встрепенулся и оживленно заговорил:

— Это мне очень приятно от тебя слышать, Николай Васильевич, потому слава о тебе идет по деревням большая. Говорят, великий ты искусник на рожке... А сытость наша известна.

— По ярмаркам с рожком надо идти,— убежденно сказал Кондратьев.

— А землю пахать кто будет? — спросил мужик, все так же пристально глядя в небо.

— Окупится.

— Ой ли?

— Я бы пошел,— вмешался в разговор рожечник,— да один как пойдешь? Боязно.

— Зачем один? Хор собьем. Ты приходи в Мишнево, зови еще мужиков, которые играют. Из Суслова придут, из Горок, из Машкова... Сыгровку устроим и пойдем с богом.

— У нас это дело обдумано,— сказал Матвей, вдруг поверивший в затею Кондратьева.— Вы не сомневайтесь...

Так было положено начало первому хору владимирских рожечников. Долго они скитались по российским дорогам, по которым в те времена проходило много разного люда — кто в поисках куска хлеба, кто — истины, кто — приключений. Но на самом деле все искали одно и то же — просто человеческое счастье.

Однажды в избе Кондратьева появился человек громадного роста и необъятной толщины, назвавший себя по имени Антоном Картавовым, а по роду занятий антрепренером. С ним приехала жена Мотя — красивая брюнетка, маленькая и стройная, как девушка. Все дела вершила она; Картавов только отдувался и громко хохотал над своими же шутками.

Эта чета пригласила рожечников на гастроли в Москву, в Петербург и другие города, суля хорошие барыши.

Рожечники подумали и согласились.

Летом 1883 года они выступали в ресторанах и летних садах Петербурга.

Под жилье им отвели большой дощатый балаган в глубине парка, где их неожиданно посетил молодой офицер, окруженный сиянием блестящих пуговиц, эполет и аксельбантов. Он объявил рожечникам желание государя императора Александра III послушать их игру.

Рожечников везла в Петергоф карета, обитая внутри красным бархатом, и это было очень похоже на какое-то волшебное превращение. Рожечники торжественно молчали, гордо переглядываясь.

Император Александр слушал их на свежем воздухе, под липами Петергофского парка со всей своей семьей.

Матвей от робости и напряженного старания не сбиться видел лишь белую пену кружев на платьях великих княжон да мужичью, лопатой, бороду императора.

Играли недолго.

— Кто же у вас le chef d'orchestre? — весело сверкая глазами и подходя к рожечникам, спросил император Александр.— Ты, Кондратьев?

Кондратьев выступил вперед и молча поклонился. Император, взяв у него из рук рожок, отошел к княжнам. Те тоже улыбались, постукивая ногтями по отполированному рожку. Потом император поднес рожок к губам и неуверенно подул. Получился громкий шип. Княжны дружно засмеялись.

— А где же тут пищик? — удивленно спросил император, и глаза его опять засверкали.

Царь был веселый. Рожечники натянуто улыбнулись.

— Пищика в этом инструменте не полагается,— объяснил Кондратьев.

— Вот как? — сказал император.

Потом он похвалил их и отпустил.

Обратно тоже ехали в карете. У себя в балагане трепетно открыли конверт, который им сунул все тот же блестящий офицер, шепнув заговорщицки: «От государя».

В конверте оказалось 150 рублей ассигнациями.

— Иной купец в ресторации больше отвалит,— усмехнувшись, сказал Кондратьев.

В следующем году Картавов решил везти рожечников за границу. Нашел переводчика, вертлявого, маленького и черного, как жучок, человека, который бойко болтал на французском, немецком, английском и еврейском языках.

В Париже переводчик водворил рожечников в лучшую гостиницу и пропал с Картавовым на несколько дней.

Картавов вернулся злой, мрачный, осунувшийся. Тщательно оглядев себя в зеркало, он неопределенно хмыкнул

и залег спать, а проснувшись, долго сидел, обхватив руками болевшую с похмелья голову, и причитал:

— Обобрал меня, сукин сып! Все дотла я спустил, братцы! Господи, Матреша-то теперь что скажет...

Он послал жене телеграмму, прося выслать денег, и, пока ждал их, все горевал и бранил переводчика. Но когда деньги прибыли в Париж, Картавов опять пропил их и тайно от рожечников уехал в Россию.

На улицах парижане преследовали докучливым вниманием россиян, обутых в лапти, одетых в желтые озямы и высокие поярковые шляпы с пряжкой. Столичные французские газеты печатали групповые портреты рожечников в «национальных костюмах».

Между тем Кондратьев настойчиво искал возможности дать несколько концертов, чтобы расплатиться за гостиницу и уехать в Россию. Наконец это удалось ему с помощью какого-то русского графа, приехавшего в Париж. Рожечники собрались уезжать.

Неожиданно к ним зашел чернявый переводчик. Он набивался в антрепренеры, звал в Лондон, но россиян неодолимо тянуло на родину.

— Нет,— сказал Кондратьев,— будем уж домой пробираться. У меня от заграничной жизни двое с ума сошли.

Это было правдой. Два рожечника вдруг захандрили. Они молчали, уставившись пустыми глазами в стену, вздыхали, отворачиваясь, когда с ними заговаривали, или отвечали вяло, невпопад.

Матвей вспомнил, что он где-то слышал о болезни под названием «черная малахолия», которая бывает у людей от тоски по родине, сказал об этом Кондратьеву, и тот заторопился ехать.

В России, возле самого вагона их встретила чета Картавовых. Антон Картавов, под пристальным взглядом жены, клялся рожечникам, смущенно бормоча о том, что повинную голову меч не сечет, и снова приглашал их на гастроли.

Хищные зеленоватые глаза Матреши сверкали плутовской улыбкой...

В 1896 году рожечники выступали на знаменитой Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Усталые, отупевшие от духоты, пыли и многолюдия, они сидели в тени эстрады, когда к ним подошел высокий тощий парень, которого очень старили усы и длинные волосы.

«Поп-расстрига»,— сразу определил Матвей и отвернулся.

— Давно вы этим делом занимаетесь? — спросил парень окающим басом.

Интересующихся было много. Обычно с ними говорил Кондратьев, но сейчас он куда-то отлучился, поэтому все молчали, ожидая, когда заговорит старший по возрасту — Силан Вавилов из Машкова. Силан нехотя рассказывал, что играют давно, упомянул про покойного государя, про Париж и как-то ненароком свел на деревню, на землю.

— Стало быть, игра-то от нужды? — спросил парень и повел понятный и близкий рожечникам разговор о крестьянской нужде.

— Повидано ее,— согласно вздыхали рожечники.— Мы сорок шесть губерний объехали, всего нагляделись. Что и баять!

Потом без просьбы решили сыграть парню «Долю», влезли на эстраду и взялись за рожки. А он один стоял внизу и слушал эту песню-жалобу, унылую и грустную.

Вернувшийся в это время Кондратьев подозрительно оглядел парня, спросил:

— Кто будете?

— Пешков,— сказал парень.— Мастеровой малярного цеха.

Вскоре Матвей отстал от рожечников. У него начали болеть глаза, слипались воспаленные, распухшие веки, красноватая мгла дрожала, переливалась перед глазами. С каждым днем она становилась все непроницаемей, мутней.

Земский врач Лутошкин осмотрел Матвеевы глаза, вздохнул и сказал:

— Большой ты, дядя, а глупый. Сгубил глаза-то.

— Чего же теперь? — спросил Матвей.

— Чего же! — передразнил Лутошкин.— Лечить будем. А уж если не вылечим — не обессудь. Но надо было раньше приходить.

Недели две он держал Матвея в больнице, потом, сняв с его глаз повязку, сказал:

— Ну вот, дядя, веки у тебя подсохли. Чешутся?

— Чешутся.

— Хорошо. Ну, а видеть не будешь. Я не колдун, ничего поделать больше не могу. Мертвые не воскресают. Гуляй-ка домой. Митька тебя проводит.

Митька — ленивый и грубый парень, служивший при больнице, довез Матвея до ближайшей к Мишневу стан-

ции, вывел на дорогу и, отбежав на безопасное расстояние, крикнул:

— Ступай прямо. Она доведет, дорога-то!

Матвей, вытягивая перед собой руки, высоко поднимая колени и шлепая по дороге всей ступней, двинулся к деревне. По холодку, по особенной тишине, нарушаемой лишь невнятными шорохами леса, он чувствовал, что наступает ночь. И хотя в его положении это было совершенно безразлично, он испугался, представив, как плотная темень августовской ночи обступает его со всех сторон.

Руки внезапно встретили шершавый ствол сосны. Где-то в лесной чаще ухнул и захохотал филин.

— Господи, господи,— сказал Матвей, подняв лицо к небу.

Обняв ствол сосны, он съехал по нему на землю, ткнулся в холодный, росистый мох и заплакал.

Утром его нашли и проводили в Мишнево соседние истоминские мужики.

С той ночи Матвей впал в какое-то оцепенение.

Он жил теперь в избе умершего тестя; поутру уходил на зады, к сараям, садился там на солнцепеке, млел от жары и думал. К вечеру, когда отчетливее и острей становились все запахи, его охватывало беспокойство. Он брал рожок и начинал играть — уныло, тягуче.

Мария подходила к нему и в сердцах кричала:

— Да будет тебе! Вон аж Шельма воет от твоих погудок.

И, действительно, старая облезлая собака Шельма, заслышав унылую песню рожка, начинала тихонько скулить и жалась в сенях к двери, просясь в избу.

Когда стало холодно, Матвей перестал ходить на зады, и никто уже не слышал его рожка.

Весной вдруг рожок ожил и неожиданно запел веселую, озорную песню.

Случилось это так.

В мае Мария родила сына. Ослабевшая после трудных родов, она сидела в тени кустов бузины и держала ребенка у груди, покачиваясь из стороны в сторону и напевая вполголоса бессмысленную колыбельную песню.

Пришел состарившийся Фоня, сильно разбогатевший за последнее время. Он принес во спасение своей души подарки новорожденному и спросил, как звать ребенка.

— Ильей,— ответила Мария.

— Гм,— сказал Фоня,— пророческое имя.

Из негнущихся узловатых пальцев он состроил «рога», боднул ком пеленок и задумчиво произнес:

— Нонче день постный, а ты, мерзавец, молоко лопаешь... Не резон.

Ребенок громко заплакал. В это время на крыльцо вышел Матвей с рожком за поясом.

— Плачет? — спросил он, подходя к жене. Вынул рожок, нагнулся к ребенку и, смешно приплясывая, заиграл веселую песенку...

Занимался неяркий осенний рассвет, когда я уходил от Матвея. Все та же крупная синяя звезда, тускнея, мерцала в небе, и, глядя на нее, я думал о том, что стал неизмеримо богаче, чем был вчера, когда она возвещала о приближении ночи. Может быть, встреча с Матвеем прибавила несколько живых, сообщающих аромат достоверности, подробностей к моим энциклопедическим сведениям о кондратьевском хоре владимирских рожечников; или дала материал для рассказа, который в ту пору я пытался писать; а может быть, заставила испытать чувство гордости за свой неиссякаемо талантливый народ? Бесспорно, все это так и было. Но позднее я понял, что она обогатила меня чем-то еще...

В моей городской жизни бывают периоды, когда неодолимо, властно, до тоски меня начинает тянуть к реке, к запаху луга, к дыму костра, к случайным встречам с такими же охотниками — бескорыстными и немногословными любителями природы,— с колхозными пастухами, бакенщиками, лесниками... С тех пор как я узнал Матвея, эта тяга усложнилась потребностью пожить иногда у старика день-два и вдохнуть тот «русский дух», который исходил от его рассказов, от песен его рожка, от всего его облика, какой, должно быть, принимали былинные богатыри в дни своей старости. Всегда он был за работой — в страдную пору даже косил, а зимой кустарничал — строгал ложки, гнул дуги, плел корзины, мастерил ульи. Чистоплотный, трудолюбивый и непоколебимо спокойный, он заставлял простить ему редкие приступы болезненной тоски, когда стонал и жаловался неразлучный с ним рожок, а он заводил излюбленный разговор страждущего русского человека о «душе».

У него была внучка, названная в память умершей бабушки Марией — худенькая белокурая девочка с печальными и добрыми глазами.

Матвей часто брал ее сильными руками, сажал на свое широкое плечо и нес куда-нибудь, заставляя рассказывать о том, что она видит. Девчонка пугалась, но старик гладил шершавой ладонью ее босые ножки, ласково уговаривая:

— Не робей, тихоня, не робей.

Она рассказывала ему о плотниках, кладущих сруб фермы; о бабах, везущих с поля снопы на ток; о стадах, идущих с лугов, а он согласно кивал головой, и лицо его в этот момент теряло обычное выражение настороженности и ожидания.

Однажды я видел Матвея на полевой дороге, идущего с Марией навстречу ветру, огромного, седого, с высоко поднятой головой. Он был одет в длинную белую рубаху, перехваченную в поясе витым шнурком, и под ветром она облепила его грудь, ходуном ходившую от глубоких вздохов. Не шевелясь, затаив дыхание, я стоял у обочины дороги и, глядя вслед ему, думал о том, какую могучую жажду жизни и участия в ней сохранил этот старик. И еще мне вспомнились его слова, прозвучавшие теперь, как заповедь:

— Я против души не играю.

1952

НА РОДИНЕ

1

Накануне отпуска Вера Петровна получила от тетки письмо и очень удивилась, потому что не переписывалась с ней, да и вообще редко вспоминала о том, что у нее есть тетка. Но прочитав нестройные старческие каракули, начертанные на листке бумаги в клеточку, она растрогалась и даже всплакнула.

Тетка писала, что годы ее уходят — «намедни вязала снопы и всю-то ночь маялась спиной»,— что колхоз их недавно объединили с двумя соседними, что племянница, наверно, совсем забыла ее, старуху, что в городке у них сейчас привольно, зелено, хорошо и она зовет племянницу погостить... Между прочим посылала она спелый ржаной колос с колхозного поля: пусть сама поймет — «ведь она

крестьянская дочь»,— какой урожай они собрали, если и другие колосья не хуже этого — «были бы за такой урожай многим медали, но колхоз отстал по животноводству, и медалей, наверно, не будет...».

В грустном раздумье «крестьянская дочь» пересыпала с ладони на ладонь вымолоченное ударом почтового штемпеля зерно. Было оно налито соками родной земли, обогрето теплом родного солнца, орошено косыми дождями родины. От сухого, шуршащего вымолотка, цепко хватавшего за пальцы колючими усиками, шел смутный запах чего-то знакомого, и Вере Петровне вдруг отчетливо вспомнился маленький городок над ленивой речкой, где орали на зорях петухи, вертелись над крышами самодельные флюгера с трещоткой, и мама — тогда еще живая — кричала с крыльца озорной девчонке, бегущей босиком по горячей пыли:

— Верка, вражененок! Принеси с погребицы сметану!

Потом она вспомнила, как уезжала в Москву, как стояла растерянная на Курском вокзале с тяжелым чемоданом в руке, и с этой минуты началась новая, удивительная жизнь, стершая из памяти и городок, и тетю, и прежнюю диковатую Веру.

Теперь, когда Вера Петровна играла в одном из столичных театров и немножко устала от частых спектаклей и от сумбурной жизни в семье мужа, состоявшей из старых, вечно спорящих между собой и с гостями актеров, перед ней каким-то райским уголком вновь возник родной городок. Она представила, как, одинокая и грустная от нахлынувших воспоминаний, она будет гулять по берегу, в лесу, в поле, и это показалось ей таким заманчивым, что она немедленно села к столу и написала тетке, чтобы та в скором времени ждала ее к себе.

2

В городке почти в каждой горнице висела на стене открытка, изображавшая Веру Петровну в старинном декольтированном платье, с веером в руке и с прищуренными смеющимися глазами. Толстую пачку таких открыток привезла из районного города взволнованная, растрепанная и счастливая Марья, раздавала их всем, кто хотел получить, и с тех пор стала не просто Марьей, а теткой Марьей, потому что приходилась теткой известной на всю страну актрисе.

Про письмо Веры Петровны узнали все. Спустя

несколько дней ткачиха Нюшка Уварова разыскала на фабричном дворе заведующего складом Степана Шныряева и, смущенно потупясь, спросила его:

— Вы, Степан Ильич, нарисуете нам декорации для «Свадьбы с приданым»?

Степан сидел на ступеньках склада, крашенного мумией и похожего на огромный товарный вагон, и занимался тем, что счищал щепочкой грязь с сапога. Только что прошел дождь, звенела капель, и пахло так, как обычно пахнет после хорошего дождя. Нюшка — в мокром ситцевом платье, в косынке, завязанной на подбородке,— стояла чуть поодаль, держала в руке новые тапочки, а босые ноги прятала за разбитый ящик. На ее круглом румяном лице и в огромных влажных глазах мгновенно отражалось все, о чем она думала. О декорациях она спросила небрежно, даже как будто нехотя, но по лицу ее скользнул испуг перед возможным отказом и тотчас сменился выражением мольбы и заискивающего почтения. Подождав немного, она вздохнула и подвинулась ближе.

— Знаете, мне дали роль Гали,— сказала она, а на лице ее можно было прочесть: «Мне так хочется сыграть эту роль! Неужели вы не нарисуете декорации?!»

Степан молчал, продолжая скоблить щепкой сапоги. Он думал о том, что Нюшка, если он предложит ей выйти за него замуж, непременно согласится и будет относиться к нему так же почтительно и подобострастно и признавать его непререкаемый авторитет во всех случаях жизни. И ему хотелось быть с Нюшкой строгим и наставительным, как подобает старшему по годам — ей было семнадцать, ему двадцать девять — и по положению в семье.

— Опять, наверно, в Митьку Птахина будешь влюбляться по ходу пьесы,— сказал он, стараясь придать строгое выражение своему молодому лицу, на котором пышные усы казались приклеенными.

— Так это же только по ходу пьесы! — простодушно воскликнула Нюшка и опять потупилась.

— Некогда мне пустяками заниматься,— проворчал Степан, бросил щепку и ушел в склад, но про себя решил, что декорации он, так уж и быть, нарисует.

Вечером, когда он пришел в клуб и узнал, что кружковцы готовят спектакль для Веры Петровны, ему вдруг сделалось как-то не по себе. Он помнил ее на редкость озорной девчонкой с расцарапанными коленками, помнил то-

щим диковатым подростком, потом — девушкой, немного восторженной, красивой и непонятной. Он и тогда рисовал декорации для спектаклей драмкружка, в которых она играла всегда главные роли, а сам мечтал стать художником, и учителя говорили, что у него есть талант. Еще он рисовал на клеенке картины — замки со сводчатыми окнами, лебедей на озере и длинноволосых русалок,— а мать успешно сбывала их на рынке в районном городе. Он помнил, как однажды Вера пришла в клуб посмотреть на новые декорации. В клубе не было никого. Степан стоял у нее за спиной и во все глаза смотрел на ее тонкую шею с золотистыми завитками волос и вдруг неуклюже ткнулся в них губами. Она не отпрянула, не сказала ничего, а только поежилась, как от прикосновения чего-то холодного, и медленно ушла, не оборачиваясь и опустив голову. С тех пор она старалась избегать его, а он мрачнел и думал о том, что уедет учиться, станет художником, потом вернется в городок знаменитым, и тогда она пожалеет о своем поведении. Вскоре началась война. Парни, призванные в армию, ходили по городку с гармошкой хмельные, возбужденные и старались изо всех сил казаться веселыми. Девчата дарили им платочки, плакали, и Вера плакала вместе с ними.

— А вы по ком убиваетесь? — насмешливо и даже зло спросил Степан, ухарем стоя перед ней в распахнутой стеганке, в сапогах с набором.

Она не ответила, продолжая плакать, а он махнул рукой, запел и, притопывая, пошел прочь... Вернувшись с фронта, он не застал Веру в городке — она уехала в Москву учиться. Подумал о том же и Степан, но мать уговорила его повременить, отдохнуть, и он легко убедил себя в том, что отдых действительно необходим ему после тяжелой военной жизни, и опять рисовал замки со сводчатыми окнами, лебедей и русалок. А когда привык к домашней жизни — спокойной, сытой и устроенной,— то ехать уже просто не хотелось. Тогда же он подумал, что надо ему жениться на хорошей, старательной в хозяйстве девушке, и стал, не торопясь, подбирать невесту.

И вот теперь, когда он пришел в клуб и вдохнул знакомый запах пыли, клея и красок, исходящий от декораций, не воспоминание, а скорее, ощущение прошлого охватило его; ему на минуту стало «в точности как тогда», а затем неприятно укололо чувство не то обиды, не то зависти.

3

Встречать Веру Петровну тетка Марья поехала на одной из фабричных машин, отвозивших на станцию марлю для погрузки в вагоны. Накануне она выскоблила всю избу, постелила новые половики, а на подушки натянула ядовито-синие наволочки с красными цветами. Сама же нарядилась в хромовые сапожки, шевиотовую юбку и старинную ярмарочно-пеструю шаль с кистями, которую в семье называли почему-то турецкой, и этот праздничный вид никак не соответствовал выражению испуга и смятения, застывшему на ее лице.

— Оробела я, Степа,— вздыхала она,— поедем со мной.

— Вот еще! — усмехнулся Степан.— Дел у меня нет?

Но поехать ему хотелось, он сел в кабину головной машины и сказал шоферу:

— Трогай.

...Вера Петровна долго думала, какое платье надеть перед выходом из вагона. Сначала она остановила свой выбор на новом серо-голубом костюме, но потом решила, что ее ранняя полнота слишком заметна в нем, и вынула из чемодана легкое платье с короткими рукавами, в котором она выглядела тоньше, стройней и моложавее.

Поезд уже бежал по знакомым местам. С высокой насыпи было видно, как где-то далеко из маленькой тучки брызгал, блестя на солнце, редкий дождь; березовый перелесок казался синим от густых теней; в белесом, выцветшем от жары небе, не отставая от поезда, парил ястреб, а когда промчались через сосновый лес, то ветер закинул в окно его горячий смолистый запах. Вера Петровна вдруг решила, что никаких приготовлений не нужно, и сунула платье обратно в чемодан. Она осталась в дорожном платье из сурового полотна, накинула на голову и завязала на затылке косынку, чтобы не растрепались волосы, взяла чемодан и вышла из вагона до того взволнованная, что даже не чувствовала радости, и ей хотелось плакать. Она стояла, держалась одной рукой за поручни вагона, оглядывалась вокруг и не узнавала ни женщину в пестрой шали, ни молодого человека с бутафорскими усами, и только когда женщина бросилась к ней, обдав запахом нафталина, она узнала, обняла тетку и целовала ее в жесткое, обветренное лицо, мокрое от слез.

Усатый молодой человек взял ее чемодан. Вера Петровна машинально поблагодарила и пошла рядом с теткой, пожимая ей руки, заглядывая в лицо и смеясь.

— Нет! Нет! Пустите меня наверх,— сказала она, когда шофер распахнул перед ней дверку.— Я поеду наверху. Я хочу все видеть. Тетя Маша, садись в кабину.

Но и тетка решительно заявила, что поедет в кузове. В кабину сел усатый. Откинули борт, шофер подсаживал тетку Марью, Вера Петровна тянула ее за руку, и все громко смеялись.

Всю дорогу Вере Петровне казалось, что они едут слишком быстро. Ей хотелось бы до бесконечности длить наслаждение встречей с родными местами, и, жадно оглядываясь по сторонам, она говорила:

— Пусть он едет потише... Пусть потише!

А когда вынырнули из леса на полевую дорогу и стала видна фабричная труба, а потом — дома городка, показавшиеся Вере Петровне такими маленькими и трогательно милыми, то она поплотней прижалась к тетке и только твердила:

— Тетя, как я рада! Как я рада!

4

Через несколько дней в переполненном клубе Вера Петровна выступала перед рабочими фабрики. С удивлением и радостью она видела, что здесь ее не забыли, гордятся ею и следят за ее жизнью в Москве. И ей было стыдно за то, что она так редко вспоминала о городке, что многих уже не знала по именам, не интересовалась ничьей судьбой. Потом показали спектакль, поставленный специально для нее. Она вспомнила, как сама играла на этой маленькой, тесной сцене, дождалась конца, поблагодарила, вышла и украдкой расплакалась. Домой ей не хотелось. Промочив ноги в холодной росе, она спустилась к реке и медленно пошла вдоль берега, сохраняя в душе все то же смешанное чувство радости, грусти и стыда.

«А этот... с усами — Степан,— вспомнила она.— Как я сразу не узнала его? Был такой долговязый, с длинной шеей, рисовал декорации. Как давно все это было...»

Издалека, точно невнятное бормотание, доносились раскаты грома, полыхали красноватые зарницы, и в кустах вдруг начинал ворочаться ветер. В клубе было жарко, и

теперь от этой жары и недавних слез у Веры Петровны горело лицо. Она подставляла его под порывы ветра, прижимала к щекам прохладные листья прибрежного ивняка, но это не освежило ее, и тогда, сняв туфли и подобрав юбку, она вошла в воду, зачерпнула ладонью и напилась. В камышах ударила крупная рыба, коротко вскрикнула потревоженная ею утка, и опять тихо, только где-то очень далеко, должно быть, в соседней деревне, с тоскливым подвывом лаяла собака. Чувствуя, как река перекатывает через ее ноги мелкие камешки, Вера Петровна улыбнулась и хотела бежать наверх, но в это время раздались чьи-то быстрые тяжелые шаги, и высокая тень остановилась на берегу, почти сливаясь с кустами.

— Кто это? — испуганно спросила Вера Петровна.

Никто не ответил, только снова простучали те же тяжелые шаги.

«Прохожий»,— успокоенно подумала Вера Петровна, надела туфли и пошла назад, в городок.

На улицах было темно, лишь фабричный корпус сиял голубоватым пламенем ламп дневного света, бросая поперек реки дрожащие блики. Ветер уже дул с постоянной силой — очевидно, приближалась гроза, и раскаты грома, вначале далекие, слышались ближе.

У дома на лавочке кто-то сидел. Всмотревшись, Вера Петровна узнала Нюшку и села рядом с ней.

— А мы танцевали и только сейчас кончили,— сказала Нюшка.— Куда же вы пропали?

В день приезда Веры Петровны она на правах соседки заскочила к тетке Марье будто бы за солью и, прислонясь к косяку, стала смотреть на гостью во все глаза, и в них легко можно было прочесть: «Ах, как мне хочется познакомиться с вами! Как мне хочется, чтобы вы заговорили со мной!..»

Вера Петровна заговорила и с тех пор уже постоянно чувствовала на себе пристальное внимание Нюшки.

Они долго сидели молча. Вдруг яркая голубая молния расколола тьму и вслед за ней ударил трескучий, без раскатов гром, словно вверху переломили сразу тысячу тугих палок.

— Ой, ой! — закричала Нюшка, но в голосе ее послышался не испуг, а какой-то восторг.

И Вера Петровна вспомнила, как в детстве она не боялась грозы, и в то время, когда все живое искало укрытия, она, охваченная какой-то бесноватой радостью, бегала и отплясывала под дождем.

— Я где-то читала,— заговорила она,— что на земном шаре происходит шестнадцать миллионов гроз в год и падает полторы тысячи молний в каждую секунду. Если иметь в виду, что мы видим не так уж много гроз, то представь, Нюшка, какая огромная эта земля!

«Огромная земля! Огромная земля!» — пело что-то в груди у Нюшки.

Она чувствовала, как ветер дышал ей в лицо свежим запахом дождя, видела, как там, куда еще не пришли тучи, по черному августовскому небу, перечеркивая его наискось, стремительно, но удивительно долго катилась зеленая звезда, и чувство невыразимого, ей самой непонятного счастья охватило ее, и она засмеялась.

А в это время Степан шагал без цели по окрестным дорогам. Вернувшись из клуба, он, мрачный, долго сидел в горнице, барабаня пальцами по крышке стола. Со стены на него смотрели пустыми глазами жирные русалки, и были до тошноты противны ему, и все в родном доме — пёстрые половики, лежанка, вылезшая на середину горницы, бревенчатые стены с проконопаченными пазами — все тоже почему-то было противно и ненавистно.

Он никогда бы не сознался себе в том, что завидует Вере. Завидует той любви, почтению и вниманию, которыми ее окружают все, вплоть до Нюшки, почитавшей, казалось, только его одного. Случилось так, что всего, о чем он мечтал — быть знаменитым и приехать в городок, вызывая почтительное удивление односельчан,— всего этого добился другой человек, росший вместе с ним, а он вот смалодушничал, струсил и теперь малюет русалок. Но и в этом он не хотел признаться себе и старался найти того, по чьей вине жизнь его сложилась так, а не иначе. И когда к нему подошла мать и спросила, не хочет ли он есть, он вдруг решил:

«Вот кто виноват во всем! Это она жадничала и возила дрянные картины на базар, это она уговаривала его не уезжать!»

Он вскочил, наговорил матери много несправедливого, грубого, оскорбительного, хлопнул дверью и зашагал прочь от городка, сам не зная куда и зачем. У реки он наткнулся в потемках на Веру и, когда она окликнула его, не ответив, пошел дальше. И там, где ей было так хорошо, ему в тот вечер все казалось постылым и ненавистным.

1953

ЛИДОЧКА

1

Когда Лидочка Остапова уезжала на практику в колхоз или бывала во время каникул в Москве, то вдали от дома, от мамы она чувствовала себя очень одинокой, и ей хотелось поскорей вернуться в свою уютную комнату, оклеенную голубыми «детскими» обоями. И теперь, перед отъездом на работу в районный центр Зеленодольск, она уже заранее предвкушала это одиночество, а сам Зеленодольск, несмотря на свое жизнерадостное название, почему-то представлялся ей городом, где все дома сделаны из серого камня и нет ни травы, ни деревьев, а вместо них торчат голые обугленные палки.

Втайне она завидовала другим выпускникам, которые ехали с каким-то непонятным ей настроением бодрости и спокойной готовности к невзгодам самостоятельной жизни, или «с комсомольским задором», как выразился корреспондент молодежной газеты, написавший про них заметку. Имя Лидочки тоже было упомянуто в ней, и, значит, выходило так, что и она едет «с комсомольским задором». Лидочка всегда испытывала священный трепет перед печатным словом, оно казалось ей незыблемо правильным и не допускающим недоверия к себе. И, может быть, впервые эта заметка поколебала в ней веру в печатное слово, потому что уезжать ей было все-таки очень грустно.

Вечером, когда к отъезду все уже было готово, она вышла в сад. Сквозь темную листву светила необыкновенно большая оранжевая луна; от яблонь на траву, на стену дома, на забор падала тень — вся в зыбких промежинах бледного света, и казалось, что сад колышется, струится, словно он нарисован па легкой полупрозрачной ткани. Издалека, со станции доносились в тишине вечера гудки паровозов. Лидочка шла, стараясь задевать лицом прохладные листья деревьев, потом остановилась, протянула руки, и на них тоже упала зыбкая тень.

«До свидания, милый сад»,— хотела сказать Лидочка, желая пококетничать своей грустью, но вдруг искреннее чувство жалости к себе, разбуженное далекими паровозными гудками — этими отголосками неведомой жизни, укололо ее, и, чтобы не заплакать, она быстро побежала к дому.

На вокзал ее провожали мама и папа. Когда ударили

звонки, Лидочка встала у вагонного окна и видела, как папа что-то говорил ей, беззвучно шевеля губами, потом поводил пальцами по ладони,— она поняла: «пиши», и закивала головой. Поезд плавно тронулся, за окном все сдвинулось в сторону, и в это время Лидочка увидела, как мама стала судорожно выпутывать руку из кистей шелкового платка, чтобы помахать вслед поезду. Что-то тяжелое, неудобное повернулось у Лидочки в груди, и она тихо позвала:

— Мама...

В пути была одна пересадка, и к Зеленодольску поезд подходил вечером. Из окна вагона город, расположенный на взгорье, казался остроконечной грудой разноцветных домов, поставленных друг на друга. На самой вершине стоял древний собор, который подобно облаку плыл в небе, и, глядя на багровый свет зари, отраженный в золоте его куполов, почему-то казалось, что вечер очень студеный.

Лидочка переночевала в огромной, сплошь заставленной узкими железными кроватями комнате Дома колхозника и наутро пошла к заведующему районным отделом сельского хозяйства. Ее порадовал внешний вид здания райисполкома: белое, с большими окнами, высоким крыльцом, обнесенное живой изгородью из кустов сирени и акации, оно по архитектуре и росписи было похоже на теремок. Но внутри вид был совершенно иной. Отделы отмежевались друг от друга дощатыми перегородками, оклеенными несвежими обоями, а по всему зданию слышались стук пишущих машинок и рокот голосов.

В кабинете, имевшем благодаря голым стенам и полевому телефону на фанерном столе какой-то походно-штабной вид, Лидочка выложила свои документы перед сухолицым рыжеусым человеком со светлыми неподвижными глазами. Он долго читал вкладку с отметками, где красовалась тройка по английскому языку. Лидочке почему-то казалось, что заведующий смотрит только на злополучную тройку, и от этого было мучительно неловко.

— Вот и познакомились, товарищ Остапова,— без обычной в этих случаях улыбки сказал заведующий, откладывая диплом.— Рады вас видеть. Специалисты нам вот как нужны!

И он чиркнул сухим пальцем по острому кадыку своему.

«Домой хочу»,— подумала Лидочка, чувствуя, что глаза ее наливаются слезами, и стараясь не поднимать взгля-

да от фанерной крышки стола, закапанной клеем и чернилами.

— Председатель колхоза «Авангард» давно просит агронома,— слышала она голос заведующего, доносившийся до нее как будто издалека.— Мы решили вас направить именно туда, в самую, так сказать, гущу. Это и для вас интереснее, чем составлять сводки в отделе.

Он долго объяснял, как лучше добраться до колхоза. Лидочка кивала головой, а сама думала о том, что жить ей придется не в городе, а в деревне, и вообще кто знает, что еще ждет ее в этой жизни. Поезд до ближнего от колхоза полустанка уходил рано утром. Не зная, как скоротать время, она вернулась в неуютную комнату Дома колхозника, села на подоконник и стала глядеть в окно. На дворе у бревенчатой коновязи стояли лошади; копошились в мусоре раскормленные домашние утки, лениво дрались из-за лакомого куска. Среди них Лидочка заметила маленькую стройную динарку; быстренькая, суетливая, она всюду поспевала первой, и ее не любили, норовя клюнуть и щипнуть при каждом удобном случае. Шел дождь, на стекло налипла мелкая чешуя капель, сквозь нее все казалось рябым, серым и неясным. Лидочка вдруг вспомнила мамину руку, запутавшуюся в платке, прижалась лбом к раме и заплакала.

2

...Когда железный грохот поезда замер вдали, на полустанке воцарилась глубокая тишина. Мирные звуки летнего полдня — гудение проводов, писк стрижей, чертивших каленый воздух, шелест деревьев — лишь еще более углубляли и подчеркивали ее.

Дождь, начавшийся вчера, прошел. Старая береза, волнуясь на ветру, еще роняла прозрачные капли, но уже вся была пронизана необыкновенно ясными лучами послегрозового солнца. Четкие тени лежали на земле, воздух был свеж, дышалось легко, глубоко, и в мире точно совершался большой всеобщий праздник.

«А здесь хорошо»,— подумала Лидочка. Она стояла на перроне, ожидая, что к ней подойдут, но, вопреки обещаниям заведующего, ее никто не встречал. Она взглянула на свою затекшую ладонь с багровым рубцом от чемоданной ручки и снова почувствовала себя одинокой и очень несчастной.

Человек в фуражке с красным верхом прошел мимо, приглядываясь к ней. Лидочка успела заметить, что его молодое лицо с тонкими поджатыми губами имело такое выражение, словно он готовился сообщить что-то очень смешное и только выжидал подходящий момент. Он прошелся по перрону, вернулся и спросил бодрым, почти мальчишеским голосом:

— Не вы будете агроном Остапова?

— Я.

— Очень рад! — словно рапортуя, отчеканил он.— Начальник станции Вязовка, Петр Анисимович Цветков. Звонили из колхоза «Авангард» и просили подождать, если произойдет задержка машины по случаю плохого состояния дорог после грозы. Прошу пройти в помещение вокзала.

Было видно, что он изо всех сил старался выглядеть серьезным и солидным, но улыбка так и растягивала его широкое полнокровное лицо. Глядя на него, и Лидочка улыбнулась легко и отрадно.

— Спасибо,— сказала она.— Там, наверное, душно. Я здесь подожду.

— Точно, душно,— согласился Петр Анисимович и, отступив на два шага, стал строго оглядывать свои владения, видимо осуществляя таким образом надзор за порядком.

Лидочка присела в тени березы на чемодан. Вскоре на проселке показалась серая лошадь, тянувшая скрипевшую и визжавшую на все лады телегу. Лошадью правил старик, одетый в мятый пиджачок поверх выгоревшей до неопределенного цвета рубахи и в допотопный картуз с лакированным козырьком. Подвода въехала прямо на перрон, и, прежде чем остановилась, с нее соскочила босая девушка в косынке, завязанной на подбородке.

— Здорово, Петька! Где агрономша? Почта была сегодня? — забросала она вопросами Петра Анисимовича.

Считая, очевидно, такое фамильярное обращение подрывом своего авторитета, начальник станции нахмурился и молча кивнул в сторону Лидочки.

— Здравствуйте,— сказала девушка, крепко, по-мужски встряхивая ее руку.— Петька, чего стоишь? Помоги агрономше чемодан на телегу положить.

И пока вконец смущенный Петр Анисимович укладывал чемодан, она успела сообщить Лидочке, что зовут ее Анкой, что машина по нынешним дорогам не пробилась, что председатель колхоза сам хотел ехать встречать но-

вую агрономшу, но стали звонить из райкома, и он задержался. И, глядя на смуглое энергичное лицо Анки, на ее решительные жесты, ощущая какую-то притягательную силу, исходящую от нее, Лидочка подумала: «Вот такая не заплачет, хоть на Камчатку ее посылай! Поедет, если нужно, и все». И ей стало как-то покойней от присутствия этой надежно-сильной девушки.

— Опоздал, что ли, поезд-то? — спросил Лидочку старик, когда она садилась в телегу.

Лидочка сказала, что не знает.

— Наверно, опоздал,— уверенно сказал старик, погоняя лошадь,— у них без этого не бывает.

Они долго ехали по глинистым размытым проселкам, то въезжая в лес, то вновь выезжая на поля и пойменные луга. Вскоре впереди показалось село. Старик оживился и сказал, что здесь они остановятся покормить лошадь.

— Вот тут и встать можно,— сказал он возле двухэтажного здания, отмеченного всеми внешними признаками пивной.

Здесь вокруг своих машин бродило много скучающих шоферов, застигнутых в дороге внезапной распутицей. Они тотчас же сгрудились возле телеги, и, глядя на этих крепких смеющихся парней, отпускающих «скользкие» шуточки, Лидочка струсила и приуныла.

— Между прочим, можно бы чаю попить,— сказал старик,— да у них нет его никогда.

— А вы водочки выпейте,— посоветовал один из шоферов.— Или тяжеловато будет для женского организма?

— Дайте-ка дорогу,— сказала Анка, бесцеремонно расталкивая парней.— Идемте, Лидия Павловна. Вы не обращайте на них внимания.

Чай все-таки нашелся — хороший, крепкий и горячий чай. Лидочка вдруг почувствовала, что проголодалась, и с удовольствием грызла окаменелые пряники, от которых пахло крупой.

Выехали уже за полдень. Старик подозрительно раскраснелся, лошадь уже не погонял и, повернувшись к ней спиной, говорил Лидочке:

— А нынешней зимой в соседнем колхозе девяносто гектаров озимых вымерзло. Кто виноват? Опять же агроном! Кому нагоняй? Опять агроному! Нет, должность вашу я очень отлично понимаю. Одни сплошные неприятности.

— И все ты врешь, Огурцов,— вмешалась Анка.— Вымерзло у них всего-то навсего две плешинки, а ты уж —

девяносто гектаров! И нагоняя агроному никакого не было. Ворчишь только да Лидию Павловну пугаешь. Молчал бы уж! И вы не слушайте его, давайте со мной про новые фильмы разговаривать.

Переехали через мост над мелкой речкой, до дна пронизанной солнечным светом.

— Искупаемся,— предложила Анка. — Сворачивай, Огурцов, да отъезжай подальше и жди нас.

Разморенные жарой, девушки долго лежали на горячем песке; в тягучем полусне растворялись мысли, оставалось лишь приятное ощущение здорового чистого тела. С берега было видно далеко кругом. Сквозь солнечную пыль, вьющуюся над полями, виднелись избы деревень.

— Видите, во-о-он наша Сосновка,— сказала Анка, лениво протягивая руку.

— Будем говорить на «ты»,— попросила Лидочка.

— Будем,— согласилась Анка.

«Нет, нет, все-таки здесь очень хорошо»,— еще раз подумала Лидочка, подошла к воде, окунулась до подбородка, чтобы не замочить волосы, и поплыла, фыркая и громко смеясь...

— Тебе комната у тети Любы приготовлена,— сказала Анка на въезде в Сосновку.— Я тебя прямо к ней доставлю, отдыхай.

На крыльце новой избы-пятистенки Лидочку встретила немолодая дюжая женщина с широким добродушным лицом.

— Молодая-то какая! — певуче говорила она, ведя Лидочку в избу.— Устала небось? Холодного молока хочешь? Или кваску?

— Да, очень пить хочу,— сказала Лидочка просто, как сказала бы матери, и ей показалось, что она уже давным-давно знает и тетю Любу, и ее чистую горницу, увешанную фотографиями, и даже некрасивого кота с длинной мордой, восседавшего на лежанке.

Тетя Люба ушла в погреб, а Лидочка стала рассматривать фотографии. Между окнами, как видно, на почетном месте висела цветная фотография парня с васильковыми глазами и крупными пшеничными кудрями, упавшими на лоб. Этот же парень был снят в гимнастерке с петлицами рядового бойца, в кителе с погонами лейтенанта, в полушубке с полевыми капитанскими погонами.

— Можно войти?

Лидочка вздрогнула и обернулась. На пороге стоял

невысокий паренек в белой рубашке и смотрел на Лидочку внимательными умными глазами.

— Можно,— тихо сказала она, почему-то смущаясь от этого взгляда.

Он шагнул через порог, подал ей руку.

— Секретарь комсомольской организации Нестеров. Пришел познакомиться.

Оба неловко помолчали, выбирая, какой тон взять в разговоре — дружеский или официальный. Наконец Нестеров, очевидно, решив, что для первого знакомства больше подходит официальный, спросил:

— Вы комсомолка? Да? Вот и хорошо! Будете, значит, нам помогать. Я давно хотел организовать для нашей молодежи цикл лекций по агротехнике. Вот вы и...

— Успел уже! — перебила его тетя Люба, появляясь в горнице с кринкой в руке.— Ступай, ступай! Дайте человеку отдохнуть с дороги. Секретарь, а сознательности нет. Приходи завтра.

— Я не устала,— попробовала заступиться за Нестерова Лидочка, но тетя Люба энергично вытеснила его из горницы, и он, держась за косяки и улыбаясь, успел только крикнуть:

— Подумайте о лекциях!

Лидочка пила холодное молоко, заедая душистым ржаным хлебом. Тетя Люба, сложив руки под грудью, ласково смотрела на нее и лучисто улыбалась, словно, наконец, дождалась какого-то своего счастья.

— Это кто? — спросила Лидочка, кивнув на цветной портрет.

— Погибший сын Павлуша,— спокойно ответила тетя Люба, но даже в этом спокойствии можно было уловить горечь большой утраты — обжитую, притупившуюся, но незабываемую.— Тоже в свое время на агронома учился. У него, скажу тебе, талант был к нашему крестьянскому делу. Бывало...

И тетя Люба принялась рассказывать, как ее Павлуша занимался какими-то непонятными ей опытами с почвой, как выращивал рассаду, как плакал по ночам от неудач.

«Может быть, у меня нет такого таланта,— думала Лидочка, слушая ее,— но, милая тетя Люба, я буду работать очень много... и за себя и за Павлушу... Я буду стараться, вы верите мне?»

Она хотела бы сказать все это вслух, но понимала, что для тети Любы, для Анки, для Нестерова, для Петра

Анисимовича Цветкова, для всех хороших знакомых и незнакомых людей важней всех слов и заверений ее дела, и поэтому промолчала.

А вечером она уже сидела в правлении и говорила с председателем. Кабинет у него был обставлен богато, в шкафу за стеклом виднелись корешки книг с золотым тиснением, и сам председатель выглядел вполне городским человеком — в добротном костюме, в галстуке, с аккуратно подстриженными усами,— и только большие обветренные руки, привыкшие к земле, выдавали его крестьянское происхождение. Вся эта обстановка говорила Лидочке, что приехала она сюда не для шуточных дел. И она догадывалась, что должен был думать председатель, глядя на ее хрупкую фигурку, затянутую в какое-то легкомысленное платьице с бантиком на груди.

И потом, когда они вышли и бок о бок шагали в потемках по лужам, Лидочка думала о том, что жизнь, несмотря на то, что прожито почти двадцать два года, только начинается, и еще надо завоевать право быть в ней не последним человеком.

1953

СЕМЬ СЛОНОВ

На пристани в З. я встретил своего недавнего знакомого — инженера Андрея Ильича Пеплова.

— Опять на стройку? — спросил он, когда мы пожимали друг другу руки.— А я из отпуска возвращаюсь, едемте вместе.

Предстояла длинная ночная дорога, я же выспался накануне в вагоне и теперь был рад этому приятному попутчику.

В сущности, я очень мало знал Пеплова. Впервые мы встретились на одном из совещаний, где он выступал по какому-то малопонятному мне техническому вопросу, но говорил так логично, стройно, чеканно, что я невольно заслушался. Впервые я подошел к нему, и мы разговорились, а потом лишь мельком встречались на строительной площадке, на совещаниях, в столовой. Неизменно он оставлял впечатление человека веселого, общительного и вместе с тем уравновешенного и трезвого. У него было

умное, по-мужски красивое лицо — энергичное, сухое, с твердым взглядом и плотно сомкнутыми неяркими губами. Одевался он опрятно и всегда в новое — даже там, где грозила опасность быть измазанным в известке, глине или машинном масле. Я слышал, как на совет одеваться в таких случаях попроще он ответил:

— Люблю хорошую одежду, да и другим приятно смотреть на человека, когда он красиво одет.

Еще я знал, что раньше Пеплов работал на восстановлении Днепрогэса и был награжден орденом Ленина.

Мы купили билеты в каюту первого класса и заняли места.

— В этот раз я отказался от всех путевок и навестил своих стариков, пожил на родине,— сказал Пеплов, и в его голосе мне почему-то послышалась ирония.

Он с откровенным наслаждением потянулся на мягком диване, зевнул и прикрыл глаза темными маслянистыми веками, какие бывают обычно у людей очень усталых. И лицо у него тоже было усталое, небритое.

Он, очевидно, почувствовал на себе мой взгляд, встрепенулся и, проведя ладонью по щекам и подбородку, смущенно сказал:

— Замшел я в дороге. Спал мало... Мыслишки, знаете, замучили, лезут в голову. Вот приеду — наведу лак... Вы с тех пор не были на стройке? Хо! Не узнаете теперь! У нас все меняется не по дням, а по часам. Был однажды случай, когда я уходил на работу по песку, а вечером возвращался домой уже по асфальту... Однако будем спать.

Спать не хотелось, но, чтобы не мешать ему, я погасил свет и добросовестно залез под одеяло. В каюте было жарко, простыня сбилась, и тело прилипало к кожаной обивке дивана. В умывальнике что-то сосуще чмокало, хрипело, хлопало; пароход вздрагивал от ударов машины.

Пеплов курил, шумно выдувая дым и дугообразно чертя в темноте огоньком папиросы. Через полчаса он спросил:

— Спите? Жарко, черт возьми. Хотите, выйдем на палубу?

Я согласился. Мы оделись, вышли в холодную ветреную тьму и долго стояли, подняв воротники и глядя на огни города, все еще видневшиеся далеко-далеко за кормой парохода. Моросил колючий дождик и замерзал, покрывая тонкой ледяной коркой перила, спасательные круги, пол.

— А там уже снег, и я катался в санях,— сказал Пеплов, и опять в его голосе скользнула ироническая усмешка.

Часто за этой усмешкой люди прячут сильные чувства, укрывают ею свой интимный мир от постороннего глаза. Мне показалось, что ирония Пеплова именно такого свойства.

— Вы чем-то расстроены,— сказал я, имея в виду то, что ему лучше пойти в каюту и попытаться уснуть, но он понял мои слова по-своему и махнул рукой:

— Э, длинная история...

Пароход подходил к какой-то маленькой пристани, и, когда исчезло ощущение движения, нам стало скучно, и мы вернулись в каюту. Пеплов лег, закурил. Опять было жарко и хлюпало в умывальнике.

— Хотите, расскажу? — спросил вдруг Пеплов и посмотрел на меня прищуренным, словно оценивающим, взглядом.

Я уже взялся за книгу, мне не хотелось прерывать чтение, но подумалось, что человеку, вероятно, необходимо высказаться, и я попросил рассказать.

— Все началось еще в те времена, когда я был студентом,— сказал Пеплов, закуривая новую папиросу.— Я был из тех, кому война помешала доучиться в свое время, и мы, как говорится, понюхав пороху, сели на студенческую скамью рядом с гонористыми безусыми десятиклассниками. На каникулы я приезжал в родной город. Это небольшой районный городок, где за последние пятнадцать — двадцать лет произошло типичное для наших старых городов смещение понятий «центр» и «окраина». Представлению о центре как об асфальтированных улицах, многоэтажных домах, театре, парках в них больше соответствуют окраинные поселки, выросшие вместе с заводами. А центр так и сохранил внешний вид уездного городка. Жители здесь до сих пор отличаются домовитостью, любят возделывать свой огород, держат скотину и по привычке старых лет называют магазины лавками Кулева, Опарина, Люлина...

В каждом районном городе найдется несколько десятков столичных студентов, приезжающих на каникулы. Все они знают друг друга, ходят по улицам и в парке группочками, в ясные дни с утра до вечера жарятся на пляже, где играют в «дурака» и фотографируются, а в ненастье собираются у кого-нибудь на квартире и танцуют под патефон. Вот в такой-то ненастный день и познакомился я с Тасей

Барышниковой. Она не была студенткой и не приезжала в город на каникулы. Она окончила педагогическое училище и преподавала в младших классах, а танцевать под патефон пришла с подругой...

До сих пор не могу толком разобраться, что привлекло меня в ней. Она точно встала после долгой болезни — тихая, бледная, исхудавшая и с таким кротким выражением миленького личика, что никак невозможно было ее обидеть, даже если бы захотелось. Не только по внешнему виду, но и по характеру она казалась хрупкой, ненадежной, и было очевидно, что в обращении с ней, как с последней спичкой, нужна чрезвычайная осторожность. И еще казалось мне, что Тася очень нежна, ласкова, а это немало значит для человека, который протопал по войне несколько лет...

В тот вечер я провожал ее домой. Помню, накрапывал дождь, блестели под фонарями лужи, и пахло тополями. Потом через подруг я стал передавать ей записки, свернутые наподобие аптечных порошков, мы встречались, я провожал ее домой и часами простаивал с ней у ворот... Впрочем, об этом я не буду рассказывать. В жизни каждого есть такие ворота или лестничная площадка и такие аптечные порошки.

Пеплов засмеялся, но тотчас спросил, заглянув мне в лицо:

— Может быть, я грубо сказал? Извините. Я немного злюсь... Да, вот так. Тася всегда выглядела эдакой Несмеяной. Обычно задумчивая, грустная, она лишь изредка становилась веселой, хохотала и даже кокетничала, словно вспомнив, что молода и привлекательна. Обычная ее молчаливость казалась мне серьезностью, она много читала, но о прочитанном всегда отзывалась только так: «нравится» или «не нравится». Причем последовательности в этих оценках не было совершенно. Она не любила спорить и легко соглашалась со всеми, только бы ее не тревожили. Все подруги любили Тасю, и я никогда не слышал о ней плохого отзыва.

Со мной она действительно была нежна, ласкова, заботлива, часто писала мне в Москву письма. Теперь я понимаю, что это была все-таки очень пассивная любовь, я же всю жизнь хотел чего-то сильного. Но я ждал, что оно придет, и это вечное ожидание какого-то необыкновенного будущего удерживало меня возле Таси, и я очень любил ее, очень... Помню, я потерял нарукавные запонки, подаренные ею; этот пустяк показался мне неслыханным ко-

щунством, и я несколько дней ходил сам не свой. Когда долго (а неделя считалась уже долгим сроком) от нее не было писем, я начинал беспокоиться, истолковывал ее молчание непременно в трагическом свете и забрасывал ее тревожными телеграммами.

Я чаще стал приезжать из Москвы, постоянно бывал у Барышниковых в доме. Это просторный серый бревенчатый дом в центре города, с большим двором, огородом, со всевозможными пристройками: курятником, сараем для дров и еще сараем, который звали омшаником, где откармливались два поросенка.

Глава семьи, Тасин отец, Петр Федорович Барышников, работал кладовщиком в промышленной артели, вырабатывающей, кажется, трикотаж, и приносил домой так называемые «концы» — отходы. Ими мать, Евдокия Тимофеевна, набивала множество подушек, подушечек, тюфяков и тюфячков — зачем, не знаю. Наверно, для продажи. Этими «концами» были завалены сени, чуланы, кухня, и пахло от них тряпьем и машинным маслом.

Петр Федорович был крепкий, сухой мужчина с сизыми прожилками на скулах и на носу, с рыжеватыми усиками, короткими и, вероятно, очень жесткими. Мне он частенько говаривал:

«Мы, товарищ студент, люди простые и живем по-простому».

А сквозь его цепкие, острые глаза так и глядел хитрый кулачок. И когда он ходил по двору или скалывал у дома лед точно от угла до угла, чтобы не задеть сторону соседа, то во всех его жестах, взгляде, осанке выражалось приятное его сердцу сознание: «Это мое».

Любил он поговорить со мной о коммунизме. И говорил всегда как бы с потребительской точки зрения.

«Вот ты — человек ученый. Растолкуй мне, пожалуйста, как все будет доставаться людям по потребности? — вопрошал он с недоверчивой усмешкой в глазах.— Они же тогда все растащат. Я вот, например, дворец захочу, а другой еще чего-нибудь похлеще. Как же?»

Разъяснять мне не хотелось, я вяло говорил что-то о высоком уровне сознания, усмешка в его глазах становилась еще более недоверчивой, а мне начинало казаться, что ему хотелось бы попасть в коммунизм именно с его теперешним сознанием — уж он бы тогда не растерялся!

Евдокия Тимофеевна выглядела довольно старой, дочь у нее родилась поздно, и рядом с Тасей она больше походила на бабушку, чем на мать. В сущности, это была про-

стодушная и добрая женщина, но такая примитивная, что любой разговор непременно сводила к одной и той же теме:

«Раньше-то как! Фунт мяса — пятачок, фунт сахару — три копейки, французская булка — копейка».

«Вы лучше расскажите, как раньше жили»,— попросишь ее, бывало.

И опять:

«А как жили! Фунт мяса-то стоил пятачок...»

«Ну, как, например, развлекались?»

«А как развлекались... Дадут тебе пятиалтынный, а раньше-то — фунт орехов...»

И так далее. Большего мне от нее не удавалось добиться...

Я тогда уже считался у них, как бы сказать, женихом.

Однажды Евдокия Тимофеевна встретила мою мать на рынке, зазвала к себе и показала все Тасины платья, сорочки, пальто, а под конец вынула тяжелую лисью шубу и сказала, что предназначает ее мне в свадебный подарок.

В студентах, помню, жилось туго. Пока я и отец были на фронте, матери пришлось в крутые военные годы порастрясти все «именьишко», и на мне были только шинель, брюки с пузырями на коленках да жалобно скрипящие сапоги, кончавшие свое существование. Не могу вам выразить, как противно было мне слышать про эту шубу.

Петр Федорович смотрел на меня оценивающим взглядом, словно старался определить, смогу ли я быть достойным продолжателем той жизни, которую создал он в своем доме, а мне хотелось только одного — поскорее преодолеть нерешительность Таси и увезти ее подальше от этой жизни. Но приходилось ждать, пока я кончу институт,— это было непременным условием ее родителей, переступить которое она не находила в себе сил.

Неожиданно Петр Федорович появился в Москве, у меня в общежитии. Приехал он купить кое-что, но мне показалось, он опять примеривается ко мне, ощупывает взглядом, прикидывает что-то в уме.

В общежитии он напустил на себя какую-то смиренность и, когда я предлагал ему чаю, говорил со вздохом:

«Коль будет любезность, угощайте...»

А мне было противно это ломанье, я нарочно задерживался в институте до полуночи, но он терпеливо ждал меня и заводил разговоры, которых я стыдился перед товарищами. И еще было видно, что он глубоко презирает нашу жизнь, непонятную и чуждую ему.

Меньше чем через месяц после его отъезда я получил письмо от матери. Она писала, что Тася вышла замуж за военного врача, которого едва знала, и уехала из города.

Непонятно, правда? И я тогда ничего не понял. Было тяжело — вот и все. Я не приезжал домой целый год и только в конце августа, перед началом занятий, приехал на несколько дней.

И тут, как говорится, потянуло меня на пепелище. Случилось то, чего я не ожидал. Я стал внимательно прислушиваться к рассказам о Тасе, о ее новой жизни где-то далеко на востоке, проходил, будто невзначай, мимо ее дома, бросал взгляды на окна, заслоненные геранями, и, наконец, встретил Евдокию Тимофеевну. Она, казалось, обрадовалась мне, просила заходить; я сказал, что, может быть, зайду, и знал, что зайду.

О Тасе она мне сказала:

«Живет хорошо, муж не пьет, не гуляет».

И это, очевидно, в ее понятии было основным содержанием семейного счастья.

Отправился я туда под вечер накануне отъезда в Москву. Помню, весь этот день в небе, точно приклеенная, стояла синяя туча с фиолетовыми подпалинами по краям и только к вечеру стронулась с места и ушла, не уронив ни капли и оставив в воздухе напряжение неразразившейся грозы. Оно сообщилось и мне. Я шел, ни о чем не думая, и только чувствовал, что сегодня мне особенно тяжко и нехорошо.

Во дворе Барышниковых ничего не изменилось: тот же крепкий забор, та же бочка под капелью, те же кусты бузины, тот же престарелый дворовый пес, который встретил меня, как своего, и лизнул руку. Я приласкал его, сказал:

«Ну-ну, старина, неужели узнал?»

И с этого момента впал в настроение, испытать которое вовсе не намеревался. Я вспомнил, как сидел на лавочке под бузиной и ждал Тасю. Было чистое, холодное и розоватое от заката небо. Тася пришла с купанья, свежая, пахнущая речной водой; полотенце, повязанное вокруг головы, поддерживало тяжелый узел мокрых волос. Я целовал ее в холодные губы, а она говорила:

«Какой ты теплый... хороший. Я озябла. Ну, поцелуй меня еще...»

Пеплов прервал рассказ и спросил:

— Может быть, вам неприятно слушать об этом? Знаете, иногда бывает как-то неловко от излишней и неумест-

ной откровенности другого человека. Ничего? Ну, я буду продолжать...

Я так и не вошел в дом, посидел на лавочке и, не замеченный никем, ушел. Побрел к реке, долго стоял на мосту, смотрел на воду, ходил по улицам и чувствовал, как во мне зреет тяжелая обида. Я старался убедить себя в том, что глупо обижаться, если тебя не любят, но не мог.

Светало, когда я возвращался домой по главной улице. Фонари еще горели и были похожи на прозрачные пузыри. На широком подоконнике магазина сидел сторож с берданкой, он попросил у меня огня. Я закурил вместе с ним, сел на подоконник, и мы молчали, пока не докурили; потом он вынул хлеб, соль в круглой баночке из-под вазелина, предложил мне, и мы так же молча ели. Я видел, как старик споро посыпает солью рваные куски хлеба, сует их куда-то в бороду, жует. И он казался мне каким-то очень своим, бесхитростным и добрым, а сам я почему-то чувствовал облегчение...

На этом кончается, так сказать, первая часть истории.

Никогда не думал, что будет ее продолжение, но вот случилось же! Приехав в отпуск, я узнал, что Тася уже два месяца живет в городе. Признаться, я испытал при этом известии только любопытство. Я люблю встретить человека, которого знал когда-то, говорить с ним и замечать перемены, происшедшие в нем.

Тасю я не застал дома. Не постаревший, а только как будто больше засохший и ставший крепче, Петр Федорович сразу узнал меня, усадил за стол, стал потчевать водкой и мочеными яблоками, приговаривая:

«Мы, товарищ инженер, люди простые, и живем попростому».

В доме ничего не изменилось. В кухне валялись «концы», от которых пахло тряпьем и машинным маслом, на окнах стояли герани, скрипела половица, скрипевшая и пять лет назад, и семь... И даже Тасин сын — сонный пухленький мальчик, которого с гордостью показывала мне Евдокия Тимофеевна, подкидывая его на руке и приговаривая: «Вот мы какие!» — не казался мне новым. Даже не верилось, что он Тасин; просто кто-то из соседей ушел в магазин и попросил приглядеть за малышом. Подумалось на минуту, что ничего не было, что только вчера мы расстались с Тасей, и, улыбнувшись, я сказал:

«А у вас все по-старому...»

Сказал как будто одобряюще и даже улыбкой поста-

рался выразить это одобрение, но тотчас же с неприятным чувством стыда за свою неискренность подумал, что жить и не меняться, в сущности, очень скучно и глупо.

Вскоре пришла Тася. Она очень пополнела, была красиво одета и вся как-то блестела — блестели глаза, зубы, серьги, волосы. Наблюдая за ней в этот день и потом, я заметил, что у нее появилась округлая медлительность в движениях и привычка удобно усаживаться с ногами на диван или в кресло; говорила она плавно, грудным теплым голосом, какой бывает, если заметили, только у зрелых женщин, счастливых прочным, долголетним счастьем. И держалась она не застенчиво и в уголке, как прежде, а свободно и даже вызывающе; отца звала папашкой, а мать — мамаем. Очевидно, ей было приятно сознавать свое новое положение независимого человека и щеголять им передо мной и родителями.

О себе она рассказывала очень скупо. Сказала, что давно уже не работает, очень скучала по дому, что мужа перевели в новое место и, пока там не устроено, она поживет здесь месяца четыре, а может быть, полгода.

Мы сидели в ее комнате, где всегда сиживали раньше. Тася навезла в нее массу безделушек — кружевных салфеток, флаконов, статуэток, картинок, а на подзеркальнике стояли полукругом семь слонов — традиционный символ счастья, причем самые маленькие из них походили больше не на слонов, а на свинок.

Я не удержался и спросил Тасю, почему она так скоропостижно вышла тогда замуж. Она улыбнулась, пожала плечами и нехотя сказала:

«Так уж получилось...»

Я подумал, что ей попросту захотелось вырваться из дому, ждать меня было долго, а тут подвернулась возможность уехать далеко с надежным, спокойным и солидным человеком, и она уехала. Да и родители, наверное, уговаривали ее, тоже полагая, что меня ждать долго, и неизвестно к тому же, что из меня получится.

Думать об этом было неприятно, но я каждый день приходил к Тасе, сидел, придумывая для разговора всякую ерунду, а мне, откровенно говоря, хотелось просто положить голову к ней на колени и ни о чем не говорить, не думать.

Бывала и она у нас. Однажды — уже вечерело — пришел мой отец и сказал, что едет по своим делам в колхоз.

«На лошади? — спросила Тася.— Возьмите нас!»

Она и раньше любила ездить с ним в санках по морозу, озябнуть, а потом греться у печки. Поехали. Отец обычно не брал конюха, правил сам и на плохих дорогах неизменно пророчествовал:

«Вот посмотрите, следующая пятилетка обязательно будет пятилеткой дорог. Тогда мы станем королями!»

Он давно — уже лет двадцать — работал заведующим дорожным отделом райисполкома и ждал такую пятилетку с нетерпением.

Мороз был не крепкий, но мы озябли и пили в деревне водку. Тася тоже выпила немного и стала еще ярче, блестящей. Отец отдал нам свой тулуп и пошел к председателю, а мы, согревшись, отправились кататься по полевым дорогам. От бодрящего морозного воздуха и водки стало вдруг очень весело и как-то бездумно. Пахло сеном, овчиной пополам с Тасиными духами, и все казалось немножко необыкновенным. У Таси в темноте, очень-очень близко от меня, глаза блестели зеленоватым звездным светом, и вдруг она обняла меня и, жарко дыша в лицо, сказала, что не хочет сегодня домой и останется со мной в деревне... Прошлое, знаете, довольно-таки ревниво отстаивает свою власть над человеком. И мне представилось, что к нему еще можно вернуться.

«Хочешь ко мне... совсем?» — спросил я.

«Ну что ты! — почти испуганно воскликнула она.— Нельзя...»

«Тогда зачем же все это?»

Она ударила меня пальцем в перчатке по носу и сказала:

«У-у, какой праведник! Для детей, чтобы они не лазили в сахарницу, придумали, что от сахара портятся зубы, а они верят и упускают подходящий момент».

Она тихо засмеялась, глядя на меня, а мне вдруг в этих словах, в этом смехе открылось очень многое. Я понял, что она никогда и ни за что не вернется ко мне, потому что все у нее есть в жизни, и она счастлива — счастлива тем, что сыта, красиво одета, тем, что имеет мужа, и тем, что легко может изменить ему. Я понял, что в школе она была не воспитателем и педагогом, а просто отбывала тяжкую повинность, детей не знала и поэтому ухватилась за первую возможность бросить работу. И еще многое я понял. Мне стали жалки и смешны и она сама, и все, что связано с ней,— ее дом, ее родители, ее картинки, салфетки и семь слонов, похожие на свинок....

Когда мы вернулись в деревню, я накрыл лошадь попо-

ной и пошел разыскивать отца, а она так и осталась сидеть в санях...

— Вот и вся история,— закончил Пеплов.— Наболтался так, что в горле пересохло... Пива бы сейчас... Который час? Давайте разбудим буфетчицу, извинимся. Или — неудобно.

Я сказал, что, пожалуй, неудобно.

— Жаль! — сказал Пеплов, но все-таки встал и вышел.

Вскоре он вернулся, неся несколько бутылок пива и сушеную тарань.

— Вот! К счастью, не спит, считает что-то.

Мы уснули только утром. Во сне минул недолгий день, а в сумерках пароход уже подходил к стройке. У сходен толпились пассажиры, и те, кто ехал сюда впервые, вытягивали шеи, вглядываясь в берег, усеянный крупными, точно разбухшими в сыром воздухе, огнями.

Пеплов, посвежевший, возбужденный и веселый, тоже глядел на этот берег и, не замечая, что толкает других, пробирался ближе к сходням.

При выходе отбирали билеты. Человек в потертом кожаном пальто умоляюще доказывал, что билет ему нужен для отчета по командировке.

— На морских пароходах и то не отбирают,— приводил он неубедительный для матросов довод.

Пеплов, громко смеясь, сказал:

— Вот сделаем море, и здесь заведут морские порядки.

И протянул матросу свой билет.

1953

ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ

На дубовой гриве, в землянке, выстроенной некогда колхозными пастухами, выгонявшими на все лето скот в пойменные луга, ночевали охотники.

Днем было холодно и несколько раз принимался моросить дождь, но к вечеру облака растянуло; заря, предвещая хорошую погоду, раскрасила небо и остекленевшую поверхность полых вод в розовые и золотые тона, а когда совсем стемнело, неярко заблестели редкие весенние звезды. Стало очень тихо, лишь в затопленных кустах журчала и булькала вода да на гриве перекликались совы. По-

том пролетели гуси. Их тихий говор, постепенно удаляясь и замирая, долго был слышен над плесами и перекатами...

Охотников было трое: колхозник Васька Лоскутов и два инженера из города — Алексей Иванович Потапов и Валентин Вахрушев. Они разложили возле землянки костер и готовились ужинать.

Вахрушев, стоя, помахивая над огнем мокрыми носками, морщился от дыма, кашлял и изредка бранился. Он был среднего роста, плотный, широкоплечий; лыжный костюм делал его подтянутым и стройным, но полное бледное лицо, вялый, без блеска взгляд, жидкая улыбка на пухлых губах ясно говорили о том, что он уже начал толстеть, мягок и медлителен. Недавний дождь нагнал на него уныние, и ему почему-то вспомнилось, как совсем еще недавно он шел по ночной Москве в компании веселых, подвыпивших студентов, как они спросили постового милиционера, где в его районе находится созвездие Кассиопея, и потом дружно смеялись, и милиционер смеялся вместе с ними...

Ах, как легко и беззаботно жилось тогда. Потом он окончил институт и был направлен на завод в город В. Мать вспомнила, что там у нее есть двоюродный брат Алексей Иванович Потапов; ему было написано письмо, и он встретил Вахрушева и его жену Наташу на вокзале. Потапов неподдельно обрадовался племяннику, которого никогда не видел, теребил его, хлопая по плечу и с гордым изумлением говорил:

— Вот, черт возьми, какая молодежь растет! Значит, к нам на завод? Гоже!

Дома он достал из буфета бутылку с водкой и, открывая ее, покрякивал, причмокивал, приговаривал:

— Сейчас мы перцу в нее, перцу... Аня, где у нас перец? Наташа, достань в левом ящике... Привыкай хозяйничать, жить-то пока вместе будем.

— Зачем перцу? — осторожно спросил Вахрушев.

— Не пробовал?! — изумился Алексей Иванович.— Это для огня. Попробуй — душу выжигает. Гоже!

— Чародей! — сказал Вахрушев и выпил.

Ему хотелось понравиться дяде, потому что он знал по опыту, что если людям понравишься, то от них меньше беспокойства.

Выпив, Алексей Иванович стал еще разговорчивее. Опершись локтем на стол, он близко придвинул лицо свое к лицу Вахрушева и заговорил о себе, часто повторяя:

— Жизнь, брат, мудреная штука...

Был он уже немолод, лет пятидесяти трех, и самой заурядной внешности: высок, худощав, жилист и плохо побрит. Вахрушев уже знал, что у него четверо детей и больная жена, что он много работает на заводе, а потом бежит еще в вечерний техникум читать лекции, и вся его жизнь казалась Вахрушеву штукой вовсе не мудреной, а серой, будничной и неинтересной. Заметив на стене ружья, он спросил:

— Охотой занимаетесь?

— А как же! — сказал Алексей Иванович с оттенком удивления в голосе, словно считал охоту чем-то жизненно необходимым, о чем даже спрашивать не принято.

Вахрушеву опять захотелось понравиться дяде, и он сказал, что тоже любит охоту. На самом же деле он был на охоте всего один раз, и с тех пор, вспоминая о ней, неизменно ощущал скуку, утомление и нечистоту, которые он испытывал тогда.

Алексей Иванович сейчас же стал показывать ружья, позвал гончую собаку и хвастался:

— Профессор на охоте, доктор! Высшее образование! Ты только послушай голос каков — симфония! Заливай, голос!

«Гав, гав!» — ответила собака и ударила Вахрушева хвостом по ноге.

С тех пор часто и много говорили об охоте, но поехать удалось не скоро, потому что Алексей Иванович был очень занят. А когда наконец собрались, между ними не было и тени прежних добрых отношений. Алексей Иванович уже не хлопал племянника по плечу. Вахрушев больше не старался понравиться дяде, но ни тот, ни другой из вежливости не высказывали своей неприязни и продолжали жить вместе, потому что Вахрушев все еще не получил квартиру.

На охоте Алексей Иванович как-то сразу и неожиданно преобразился. Его внешность уже не казалась такой заурядной; напротив, обутый в крепкие, с раструбом сапоги, одетый в стеганку и шапку, из которых клочьями торчала вата, он выглядел очень эффектно и был похож на древнего звероловa, жителя лесных избушек, шалашей и землянок — сильного, ловкого и мудрого.

Когда пролетали гуси, он нес к костру котелок с водой, остановился и долго, как зачарованный, стоял, прислушиваясь, потом вздохнул глубоко, радостно и сказал:

— На север полетели...

Все звуки были предельно чисты. И то же ощущение чистоты вызывали и колко-свежий воздух, и лучистый свет звезд, и тонкий, едва уловимый запах вербной пыльцы.

По всей повадке Алексея Ивановича — по тому, как он чутко вслушивался и даже вздрагивал при каждом звуке, как улыбался без видимой причины, как втягивал ноздрями воздух, как благоговейно и трепетно рубил дрова, разжигал костер, доставал из мешка кружку, ложку, соль,— по всему было видно, что ему не часто удается выбраться на охоту, что сейчас он наслаждается и до томления счастлив. Приладив котелок над костром, он хлопнул в ладоши, крепко потер их одну о другую и, видимо, опять обрадованный чем-то, весело сказал:

— Гоже!

К восторгам Алексея Ивановича Вахрушев относился недоверчиво, не находя ничего красивого в скопище черных, точно мертвых деревьев и в оловянном блеске воды.

— Право, завидую я Ваське,— сказал Алексей Иванович, обращаясь к Вахрушеву.— Неделями тут живет. Ты только посмотри на него! Скиф! Дитя природы!

Васька сидел тут же и чистил, положив на весло, крупную щуку. Его лицо, обожженное солнцем, обветренное, закопченное, обросшее щетиной, казалось совсем черным, и только зубы да белки глаз красновато блестели в живом, беспокойном свете костра.

Ваську знали все охотники, бывавшие в этой пойме. Он жил неподалеку в деревне, которая днем была видна на противоположном высоком берегу реки, и каждую весну приезжал сюда охотиться и ловить крылепами и сетями рыбу. Он хорошо знал пойму, и все ее обитатели были для него словно добрые знакомые, с которыми он поддерживал свои короткие, интимные отношения.

— Сова кричит,— говорил он.— Надоела она мне, чертовка!

Или, заслышав в ночной тишине какой-то шорох по сухому прошлогоднему листу, кивал в ту сторону и объяснял:

— Барсучишка. Старик. Нора у него здесь недалеко. Осторожный, каналья!

Был Васька молод, красив, удачлив в охоте, всегда спокоен, и казалось, что в жизни для него все ясно, просто, понятно, устроено как нельзя лучше и что в ней он так же удачлив, как и в охоте.

— Рассказал бы что-нибудь, Василий,— попросил Алексей Иванович.

— Чего же рассказывать-то? — усмехнулся Васька.— Соловья баснями не кормят. Вот сейчас уха будет, а потом уж и рассказывать можно.

Пока они ели, Алексей Иванович не переставал любоваться Василием, толкал Вахрушева под локоть и говорил:

— Нет, ты посмотри, как он ест! Ты посмотри!

А ел Васька шумно, смачно, с хрустом и опять же, по мнению Вахрушева, вовсе некрасиво.

Опьянев от еды и усталости, охотники легли у костра. Пора было устраиваться на ночлег, но по всему телу растекалась необоримая лень, никому не хотелось подняться, чтобы затопить в землянке печь, и все трое продолжали лежать, глядя на игру огня сонными глазами.

Алексей Иванович старался думать о предстоящей охоте, о том, где еще нужно поставить шалаши, где сесть самому, где посадить Вахрушева, но мысли не слушались его, и думалось совсем о другом — о том, что в природе, порождая обманчиво близкие звуки, совершается своя жизнь, богатая и прекрасная, и ему неожиданно пришли на память стихи:

Теперь, чай, и птица и всякая зверь
У нас на земле веселится;
Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
Синеет в лесу медуница!

И невыразимое чувство умиротворения, любви и нежности вдруг охватило его: ему захотелось быть добрым другом всех людей, ласкать их, жалеть и любить, любить, любить бесконечно, и, уверенный, что Вахрушев поймет его, он взял и молча стиснул его руку.

— Постой! — сказал вдруг Васька.— Кажется, кричит кто-то...

Охотники насторожились. До их слуха явственно донеслись сначала удары весел о воду, скрип уключин, а потом долгий протяжный крик.

— Оп! Оп! — коротко отозвался Алексей Иванович.

— Плутает кто-то,— сказал Васька.— Ничего удивительного. Я всю пойму вдоль и поперек знаю, а тоже вот один раз закрутился ночью: куда ни ткнусь — всюду кусты. Напугался. Небо чернущее, вода бурлит... Большая в тот год была вода... Привязал лодку к кусту, так и сидел до рассвета.. Продрог — аж все тело свело! А другой раз нанесло в потемках на корягу. Ботничек легонький — ку-

вырк, конечно. Купался, ружье утопил... Потом, когда вода маленько сошла, достал.

— Оп! Оп! — снова отозвался Алексей Иванович.

Казалось, что весла скрипели и плескались очень близко, но на самом деле лодка была далеко, и еще долго над поймой носились многократно повторяемые эхом крики — один протяжный, зовущий, и другой короткий, ответный: «Оп! Оп!»

Наконец совсем рядом, из-за кустов, женский голос позвал:

— Василь!

— Никак, моя баба! — удивленно сказал Васька, поднимаясь.— Любка! — крикнул он.— Ты, что ли?

— Я...

— Кой черт тебя носит!

С лодки не ответили. Васька подошел к самой воде. Его острые глаза, очевидно, различали что-то в темноте, и он со спокойной насмешкой в голосе говорил:

— Куда ты через кусты-то ломишься? Вон чистое место. Правым! Правым гребани... Ну, завертелась, как на карусели. Давай двумя сразу!

Лодка ткнулась в берег, и, выходя из нее, женщина спросила:

— Не один ты здесь?

К костру она подошла несмело, поздоровалась и протянула над огнем руки, но было видно, что она и без того разгорячена и сделала это просто от смущения. Она была маленькая, круглая, все на ней казалось слишком узким, и даже голенища хромовых сапожек обтягивали ее ноги туго, как чулки. Она запыхалась, дышала часто и жадно.

«Ноздрями шевелит! Жизни в ней на три века!» — подумал Алексей Иванович.

Она вызывала в нем то же чувство восхищения, что и Васька, и он думал о том, что оба они — здоровые, молодые, свежие — взбудоражены сейчас весной, ее буйной силой возрождения, ее пьяным воздухом, и что это тоже прекрасно и необходимо, как сама весна, как жизнь.

— Пойдем-ка, брат, спать,— сказал он Вахрушеву.

В землянке они затопили дырявую печку и, оставив дверь открытой, чтобы вытягивало дым, легли в мягкое сено, собранное с прошлогодних стоговищ.

Алексей Иванович засыпал медленно. Словно издалека доносились до него голоса Васьки и его жены, споривших о чем-то, но смысл их слов не доходил до сознания, и с

чувством недоумения Потапов думал сквозь сон: «Зачем они спорят? Ведь все так хорошо».

Но вдруг он услышал плач — по-детски громкий, всхлипывающий — и, поднявшись на локте, тряхнул головой, сбрасывая дремоту.

— Тише, не реви,— говорил Васька.— Люди услышат...

— Перед людьми тебе совестно! — говорила Люба.— А мне не совестно? Обо мне ты подумал? Я людям-то в глаза смотреть не могу...

Она замолчала и после короткой паузы заговорила, словно причитая:

— Ах, Васька, Васька! Такой молодой, красивый такой, посмешищем себя сделал! Я на свадьбе с тобой рядом сидела, так меня радость под облаками несла... Люди «горько» кричали... Вот когда горько-то мне! Ох, горько...

— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше,— пробормотал Васька.

— Лучше ли так-то, Вася? Если уж порыбачить да селезней пострелять тебе охота, ну сходи на зорьку, никому не заказано. А ты ведь наловишь, настреляешь, продашь и начинаешь проклятую водку трескать, а потом — опять в пойму... По утрам бригадир проверяет выход на работу и непременно спрашивает: «Васьки Лоскутова нет?» Нет, мол. «Ну, ни пуха ему, ни пера...» Смеются все, Вас-ся! Сегодня в нашу бригаду председатель приезжал. Я как увидела его машину, так у меня сердце захолонуло. Сам знаешь, строгий он... Разве я о том думала-мечтала, когда за тебя шла, чтоб бояться да стыдиться? За что ты меня обижаешь? За что?

— Спать пора,— устало сказал Васька,— скоро уже светать начнет....

— Да ты не слушаешь меня! — изумленно и с болью в голосе сказала Люба.— Каменный ты, что ли?

Алексей Иванович сел и толкнул Вахрушева:

— Слышишь?

— Давно уже слушаю...

— Вот подлец!

— Скиф! — насмешливо сказал Вахрушев.— Дитя природы!

В чуть светлеющем проеме двери показалась плечистая Васькина фигура. Он с натугой втиснулся в землянку и сказал шепотом:

— Приляг тут. Будет светать — поедешь.

Люба все еще не могла успокоиться, всхлипывала и

вздыхала, а потом Алексей Иванович почувствовал, как нары стали мелко и часто подрагивать: она снова плакала, стараясь сдержать рыдания.

— Послушай-ка, Васька,— сказал вдруг Алексей Иванович.— Я, конечно, не имею никакого права вмешиваться в твои дела, но, надо тебе сказать, ты поступаешь нехорошо.

«Не так я ему говорю,— подумал он.— Не так и не то!»

— Еще чего? — усмехнулся Васька.

— Вы не плачьте,— сказал Алексей Иванович Любе.— Тут слезами не поможешь, нужно с ним построже...

— Пристыдите его хорошенько,— сказала Люба, доверчиво подвигаясь к нему.— Поверите ли, извелась я через него. Он и в поле придет или на ток, так все равно немного от него радости: все шуточки-прибауточки, а работы на грош не найдешь. На правление его вызывали, наставляли на путь — ну поработал в полную силу недолго, а потом снова...

— Не плачьте,— повторил Алексей Иванович и, протянув наугад руку, погладил Любу по плечу.

— Ох, горько мне! — вздохнула она.

— Развели тут мокроту,— буркнул Васька из темноты.

— Не сметь! — крикнул Алексей Иванович.— Ты у меня... Уходи прочь отсюда! Сейчас же!

— Оставь ты его,— вмешался Вахрушев.— К чему затевать скандал?

Чтобы высказать человеку горькую и суровую правду о нем, нужно мужество, которого у Вахрушева не было. Он выработал свой кодекс поведения, который гласил, что надо быть деликатным, то есть избегать бурных столкновений и не говорить людям обидных для них истин. Поэтому он, сдерживая Алексея Ивановича, настойчиво повторял:

— Да оставь ты его, оставь... Не станет он лучше от твоих внушений.

— Что же — молчать? — не унимался Алексей Иванович.— Прочь! Говорю тебе, прочь сейчас же отсюда!

— И то правда, уйду. Ну вас к черту! Все равно спать не дадите,— сказал Васька и, волоча за собой полушубок, вышел из землянки.

Некоторое время все молчали, и было слышно, как с потолка осыпался песок.

— Ну зачем этот скандал? — снова сказал Вахрушев.— Какое тебе дело?

— Ах, отстань, пожалуйста! — резко ответил Алексей Иванович.— Я знаю, что ты сам равнодушен ко всему, кроме своего брюха.

На минуту Потапов вспомнил недавнее пожатие руки и свое чувство умиротворения, но оно уже покинуло его и осталось только в памяти.

— Ты, милый мой, по ровной дорожке в жизни шагал,— с дразнящим презрением сказал он.— От няньки — в детский сад, из сада — в школу, из школы — в институт. И жил ты в Москве за батькиной спиной. Я вот в Москву-то пешком пришел по булыжной мостовой. А как учился! Днем — элементы высшей математики, а ночью — капусту грузишь и получаешь за это сырыми кочанами... Оттого ты и полагаешь, что жизнь, как эскалатор: встал на ступеньку — и поднимает до высот. Как бы не так!.. А,— махнул рукой Алексей Иванович,— да тебе никаких высот и не надо. Сытно, тепло, спокойно — вот и на высоте. Скажешь, не так?

Вахрушев молчал. Все было именно так. Возвращаясь после работы, он еще с порога капризно кричал жене:

— Наташка, давай жрать!

А пообедав, обмякнув еще больше и подобрев, говорил:

— Давай-ка, Наташка, спать...

Жена его очень любила, он знал это и научился извлекать из этого мелкие выгоды. Она тоже работала и, кроме того, занималась всеми домашними делами, но считалось, что работает только он и для него должны быть созданы все удобства. А когда их не было, когда его тревожили, он думал, что к нему относятся несправедливо, и обижался...

Он и теперь обиделся, не желая признаться себе в том, что Алексей Иванович прав, и считая его слова несправедливыми и оскорбительными.

— Ты сам понимаешь, что после этого нам неудобно оставаться в одной квартире,— с достоинством сказал он.

— Э, полно! Не уйдешь ведь: беспокойств много,— отмахнулся Алексей Иванович.— А впрочем, как знаешь.

Снова наступило длительное молчание.

— Вот как все получилось...— тихо сказала Люба.— Поеду я.

— Подождали бы до рассвета, опять плутать будете.

— Выберусь как-нибудь.

— Ладно, я провожу вас.

Они вышли.

Костер уже догорел; возле него, завернувшись в полу-

шубок, спал Васька. Было светло, потому что взошла луна, и на фоне посветлевшего неба удивительно четко вырисовывалась каждая веточка огромных черных дубов.

Алексей Иванович прыгнул в свою лодку и поплыл вперед Любы, выбирая путь покороче. На широком плесе, с которого было видно, как блестят при лунном свете крыши деревенских изб, он сказал:

— Ну, до свидания. Теперь уж не собьетесь.

— Всего вам доброго,— отозвалась она.— Хороший вы человек.

Ее лодка скользнула мимо. Алексей Иванович посмотрел ей вслед и повернул обратно.

1953

ПРОПАСТЬ

Поезд пришел на станцию Чигры в сумерках. Участковый финансовый инспектор Лабутин, зная по опыту, что подводу легче всего найти возле закусочной, не мешкая, направился туда.

К вечеру стало подмораживать: грязь на дорогах загустела, лужи подернулись морщинистым ледком, а на карнизах кое-где даже выгнало хилую сосульку. Но тем не менее здесь, за городом, весна была особенно ощутима. И даже облупленный вокзальчик с деревянной платформой и деревянным пакгаузом был тоже как-то особо, повесеннему, грязен, замусорен и темен от сырости.

В вагоне у Лабутина озябли ноги. Ему хотелось разуться в сухом теплом месте, и, думая теперь о предстоящем пути по бездорожью, он невесело пробормотал:

— Жизнь...

Ему шел тридцать седьмой год. Девять лет назад, вернувшись с войны, он начал работать участковым инспектором в райфинотделе и с тех пор все ездил по колхозам. Там уже привыкли к нему и, завидев издали долговязую фигуру в короткой зеленой шинели, говорили:

— Вон Иван Василич идет.

Сам он сначала думал, что останется на этой работе недолго. Но потом, когда вызнал, кто в деревнях портняжничает, валяет валенки, режет ложки, набивает кадки, и научился мало-помалу извлекать из своей должности кое-

какие выгоды, то решил, что лучше работы и не найти. И если роптал теперь на свою кочевую жизнь, то это всегда было вызвано каким-нибудь преходящим поводом — дождем, распутицей, морозом или просто дурным настроением.

В закусочной он, как и предполагал, нашел себе попутчика.

— К нам теперь только одна дорога — через Черкутино,— затягивая подпругу, говорил ему колхозник из села Яры.— Беда, как воды много! Овраги — те сплошь залило, и в лесу под снегом вода. Кабы не распутица, тебе, Иван Василич, до Черкутина-то рукой подать, а теперь дадим крюку километров восемь.

— А ты как знаешь? — спросил Лабутин.

— Эко! — удивился колхозник.— Да кто же тебя не знает!

— Это верно,— не без тайного удовольствия согласился Лабутин.

— А я, значит, Федор Мешков из Яров. Был на базаре, сметаной от колхоза торговал... Известное дело, выпил...

— Мешков? — вспомнил Лабутин.— Это ты валенки валяешь?

— Нет, это брат мой, Евсей. Тоже в Ярах живет. А я — Федор.

Когда они выехали, было уже темно. Высоко над головой, на фоне неба, мелькали зубчатые верхушки елей. Лес, который начинался прямо за станцией, был полон звуками текущей и падающей воды, и вскоре ее плеск послышался под ногами лошади.

— Хоть бы луна скорей вышла. Того гляди, угодишь в какую-нибудь чертову яму...— болтал словоохотливый Мешков.— И что за нужда тебе, Иван Василич, таскаться по деревням об эту пору?

— Нельзя дома-то сидеть — работа...— нехотя отозвался Лабутин.

— Это так. Волка ноги кормят,— согласился Мешков.

Лабутин насторожился, но, приняв во внимание дружелюбный тон, каким была сказана эта обидная пословица, решил, что Мешков присовокупил ее просто так, к слову.

Лес все тянулся и тянулся. Он был пронизан запахом талого снега и мокрой коры — тем волнующим весенним запахом, который будоражит кровь, путает мысли и заставляет невольно вздрогнуть от каких-то смутных, неясных желаний. Но все это было в жизни Лабутина множество раз, он разучился ценить такие мгновенья и думал

теперь лишь о том, как бы поскорей приехать на место, чтобы перестала подпрыгивать под ним эта телега и не толкали его со всех сторон какие-то тюки, бидоны и ящики.

Лес неожиданно кончился. Круто повернули влево и поехали по высокому берегу реки. Пойму уже всю залило, в спокойной воде отражались звезды, и, глядя вдаль, где все, кроме звезд, тонуло во мгле, нельзя было разобрать, где небо, а где вода.

— Не нынче-завтра перекроет тут дорогу,— сказал Мешков.— Большая вода идет. Помню, в двадцать шестом году было...

Но в это время копыта лошади стукнули обо что-то твердое, под телегой треснуло, и она глубоко осела передними колесами. Лабутин, чтобы не скатиться, прыгнул наугад в темноту, поскользнулся на каких-то бревнах и почувствовал, что в сапоги ему наливается ледяная вода.

— А, черт! — выругался он.— Едешь без разбору... Болтаешь только попусту!

— Мост подмыло,— растерянно бормотал Мешков.— Новый мост... Доротдел строил... Строители!.. Измок ты, что ли, Иван Василич?

— «Измок»! — передразнил его Лабутин плачущим голосом.— Измокнешь с тобой!

— Да ты не серчай. Тут недалечко бакенщик Ермилин живет, ступай к нему, обсушись. Метров триста пройдешь, и будет эдак на взгорочке его домушка. Ступай. Я заеду за тобой.

Чувствуя с каждым шагом неприятную мокроту в сапогах, Лабутин пошел, не разбирая дороги. Ему пришлось пройти значительно больше трехсот метров, прежде чем он увидел слабый рыжеватый огонь керосиновой лампы и услышал лай собаки. Избушка бакенщика бесформенным сгустком тени темнела у самой воды. На стук вышел Ермилин, прикрикнул на собаку и, подняв над головой фонарь, сказал:

— Эка темень! Не вижу, кто тут...

Лабутин, уверенный, что его узнают по зеленой шинели, шагнул в полосу света.

— Пусти, старина, обсушиться. Ухнул по колено.

— Ну входи. Тесно только у меня,— предупредил Ермилин.

Нагнувшись под низкой притолокой, Лабутин полез в избушку.

Оказалось, что Ермилин был не единственным ее

обитателем. У дальней стены, положив на стол полные руки, сидела женщина, и Лабутин в упор встретился с ее большими темными глазами. На вид ей было лет тридцать пять, и по этим полным рукам, по круглым плечам, по тому, как под серой шелковой кофтой ровно поднималась и опускалась ее грудь, в ней угадывалась крупная, сильная и спокойная женщина.

— Здравствуйте,— сказала она густым певучим голосом.

И у Лабутина мгновенно сжалось сердце,— так бывает всегда, когда вдруг увидишь наяву то, о чем долгое время лишь мечтал. С тех пор как у него умерла мать, он неотступно думал о женитьбе. В мыслях он видел своей женой зрелую, но сохранившую в себе неистраченную силу любви женщину с мощной фигурой неутомимой работницы, ясную в мыслях, простую в желаниях, и теперь ему казалось, что перед ним именно такая женщина, и он смятенно топтался у порога, забыв даже поздороваться.

— На-ка вот, надень,— сказал маленький сутуловатый Ермилин, кидая к ногам Лабутина разношенные валенки.— Где это тебя угораздило так ухнуть?

— А Николая все нет,— вздохнула женщина, у которой вид мокрого, озябшего Лабутина, очевидно, вызвал беспокойство о ком-то другом, кто блуждал сейчас в этой темной сырой ночи.

Она поднялась и, окутав голову пуховым платком, пошла к выходу. Одета она была красиво, со вкусом, и когда проходила в дверь, то до Лабутина донесся тонкий запах духов. Очевидно, даже Ермилин почувствовал, что ее присутствие в тесной избушке бакенщика требует объяснений. Едва она вышла, он кивнул на дверь и сказал:

— Дочь. Сегодня приехала.

— Навестить?

— Да как тебе сказать...— замялся Ермилин.— Вроде бы по нужде. Разошлась с мужем и сразу отца вспомнила. Бывало, в полгода раз открытки дождешься, а теперь, значит, нужен стал... Ты смотри, виду не подай, что знаешь.

«Вот бы...» — мелькнула у Лабутина мысль.

«А что,— думал он минуту спустя, подсев к огню и вытягивая ноги, изнывающие в сладкой истоме,— женщина в горе, ей бы сейчас только приблудиться к тихой пристани. А у меня — дом. Работенка — ничего себе...»

Он не был ни в чем уверен, но женитьба на ней показалась ему хоть и далеким, но вполне вероятным делом.

— Нет ли у тебя, старина, водки? Я бы заплатил,— весело сказал он.

— Не в плате дело,— неуверенно ответил бакенщик.— Есть у меня, да сын должен вот-вот с охоты вернуться, ему берегу.

Вошла Зинаида. Она зябко передернула плечами и прижалась к печке.

— Вода такая жуткая, темная... Беспокоюсь я о Николае.

— Бабьи страхи,— проворчал Ермилин.— Заночевал где-нибудь на гриве, хочет еще одну зорю отсидеть. Вырвется разъединственный раз из города, так уж рад-радешенек. Пускай тешится на доброе здоровье. А ты лучше собирай-ка ужинать, чем без дела-то томиться.

На дворе вдруг неистово залаяла собака, и голос Мешкова позвал:

— Иван Василич!

Лабутин вышел на крыльцо.

— Ну как ты там, пообсох? Поедешь? — спросил невидимый в темноте Мешков, предварительно обругав за что-то лошадь.

— Нет, ну тебя к лешему! Утром пешком доберусь,— отозвался Лабутин.

— Счастливо, значит, оставаться! Будешь в Ярах — захаживай. Ко мне или к брату — все одно. Брат у меня...

Не слушая его, Лабутин хлопнул дверью. Зинаида накрывала на стол. Ермилин вдруг махнул рукой и, вытащив из-под кровати бутылку водки, решительно бухнул ее на стол. Сели ужинать. Выпив, Ермилин сразу захмелел, глаза у него сузились, заблестели, и в них появилась хитроватая стариковская усмешка.

— Вот так, значит, и ходишь? — спросил он Лабутина.

— Так и хожу,— сказал Лабутин.

Он тоже размяк в жаре, откровенно смотрел во все глаза на Зинаиду, и ему хотелось привлечь чем-нибудь к себе ее внимание.

— Так и хожу, старина,— повторил он.— Каждому свое. Ты вот тут сидишь, у своего дела, а я за своим хожу. Главное в любом деле — выгоду найти. Так я говорю?

Это, казалось, вызвало одобрение Зинаиды, она более внимательно посмотрела на него, и ему показалось, что между ним и ею возникают, наконец, нити взаимной заинтересованности.

— Я человек одинокий,— многозначительно продолжал он,— мне много не нужно. Сыт, одет, обут. На черный

день имею. На моей работе плохо-бедно можно зарплату сохранять в полной неприкосновенности...

— Туманно что-то выражаешься. Это как же? — поинтересовался Ермилин.

— А так, что пока кустарь не перевелся, нам жить можно,— засмеялся Лабутин.— Вот и смекай, если голова на плечах.

Он говорил «нам», потому что, имея сделки с кустарями при обложении их налогом, он не мог даже представить себе, что эту возможность упускают другие. По его мнению, поскольку такая возможность существовала, ее нужно было, не рассуждая, использовать.

— Не похвалят за это в случае чего,— сказал Ермилин, очевидно, догадавшись о чем-то.

— Кто дознается? Тут вроде игры в третий лишний.

— Ловко! — покачал головой Ермилин.— Выгодная, стало быть, должность?

Лабутин небрежно пожал плечом:

— Кормит.

Он заметил в углу вороха сетей, и перед ним блеснула новая возможность расположить к себе Зинаиду.

— До тебя вот я никак не доберусь, старина,— серьезно сказал он.— Сети, наверно, на продажу плетешь, лодки долбишь. Так, что ли?

— Не-е-е, меня не укусишь,— усмехнулся Ермилин.— Мне это ни к чему. Было прошлым летом дело, продал старый ботничишко студентам за полсотни. Пристали — им, вишь ли, вздумалось по реке путешествовать. А сети — нет, ни к чему мне это.

— Все вы так поете. Только ты, старина, не бойся. Я пройду — глаза закрою. Не думай, что я прижимала какой-нибудь,— сказал Лабутин, метнув взгляд в сторону Зинаиды.

— Чего мне бояться? — нахмурился Ермилин.— Не тот разговор ты, парень, затеял, ну тебя совсем!

Ужин кончился. Ермилина клонило ко сну, он едва держал голову и один раз даже громко всхрапнул. Зинаида, закутавшись в платок, опять вышла. Лабутин подумал и тоже вышел.

Вокруг все чудесно изменилось. Над поймой висел прозрачный, точно подтаявший серпик луны; вода металлически блестела; голые кусты просвечивали, и в них была видна каждая веточка.

Женщина неподвижно стояла спиной к Лабутину и смотрела в сторону поймы.

— Все брата ждете? — спросил Лабутин.

— Да,— сказала она и быстро пошла вдоль берега.

«У, дикая»,— подумал Лабутин.

Он шагнул с крыльца за ней, но вспомнил, что на ногах у него валенки, и вернулся.

Ермилин дремал, сидя за столом.

— Ты уж разреши мне до рассвета у тебя погостить,— попросил Лабутин.

— Там, за печкой, топчанок есть — ложись,— пробормотал Ермилин.

Поджав ноги, Лабутин лег на короткий топчанок и укрылся своей шипелью. Он даже не знал, спал или нет,— зыбкая дремота колыхала его, как на волнах; он то проваливался в беспамятный сон, то вновь просыпался. Он слышал, как Зинаида хлопнула дверью, накинула крючок, видел, как по избушке от переставленной лампы метнулась изломанная на углах тень, а потом вдруг очнулся оттого, что вся избушка сотрясалась от чьих-то тяжелых шагов и веселый сочный голос громко говорил:

— Если бы не луна, пришлось бы мне ночевать в лодке. В такие дебри заехал, что черт ногу сломит. Зато — смотри!

Не поворачивая головы, Лабутин видел, что посреди избушки стоял высокий грузный человек, очень похожий своей монументальностью и открытым лицом на Зинаиду, и торжественно держал в поднятой руке связку нарядных весенних селезней, краснобровых тетеревов, и от них по всей избушке пахло пером, порохом и еще чем-то непередаваемым — чем-то ветреным, солнечным, снежным...

«Это же Ермилин, директор радиозавода! — вспомнил Лабутин.— Как это раньше не догадался? Известная личность...»

— Люто есть хочу, Зинка. Дай чего-нибудь. Отца не буди, не надо,— говорил между тем Ермилин-младший.— Вот не ожидал видеть тебя здесь! Из твоего письма я ничего не понял, думал, приедешь прямо ко мне... Почему не приехала?

— Я твоей жены стесняюсь,— сказала Зинаида.— Она не любит меня.

— Ерунда. Она всех любит. Расскажи-ка толком, как у тебя получилось... получилась эта катавасия.

— Что рассказывать! Просто все эти три года он обманывал меня. У него была другая семья, и теперь его потянуло, как говорится, на пепелище. Там дети... Вот и все.

— Мерзавец! Морду ему набить!

— Ты все такой же взбалмошный,— с ласковым укором сказала Зинаида.— Садись ешь.

Он хотел сказать еще что-то, но, очевидно, уже сунул в рот кусок и только невнятно замычал.

— Я хочу снова вернуться на наш завод,— сказала Зинаида.— Ты знаешь, когда я оправилась после этой, как ты говоришь, катавасии, то почувствовала неодолимое желание работать. Мне показалось невероятным, что три года прошли у меня без работы. Промелькнули они как-то незаметно, и теперь даже не за что зацепиться, чтобы вспомнить о них. Я никогда не подозревала, что может охватить такая тоска по работе... Как у тебя сейчас с квартирами? Строите много?

— У меня жить не хочешь?

— Не хочу.

— Ладно, устрою тебе комнату.

— Нет, без всяких «устрою»,— сказала Зинаида.— Оставь мне, пожалуйста, дорогое для меня право быть со всеми равной.

У Лабутина затекли ноги, и он шевельнулся.

— Кто это? — тихо спросил Ермилин.

— Не обращай внимания,— тоже тихо ответила Зинаида.— Так... дрянь какая-то. Все своими махинациями тут хвастался. Противно слушать...

Они еще долго говорили о своих делах, потом Ермилин велел Зинаиде вынести дичь на холод, кинул через всю избушку сапоги к двери и погасил свет.

Лабутин пролежал остаток ночи без сна. Он знал, что на этом обрывается его мечта о Зинаиде, что не было да и быть не могло никаких нитей, будто бы связывающих их,— все это он выдумал,— что между ним и этими людьми лежит непроходимая пропасть; и когда в потемках избушки, наконец, прорезалось маленькое оконце и бросило на пол крестообразную тень рамы, он встал, тихо откинул крючок и вышел.

За ночь погода успела перемениться. Ветер натащил сырых облаков, тонко свистел в прибрежных осокорях, и через реку, словно черные хлопья, летели стаи грачей.

«Фу, как нехорошо...» — думал Лабутин, шагая по грязной дороге и глядя, как полая бутылочно-зеленая вода катится через затопленные вербы.

Он пробовал думать о другом, говорил себе, что все пустяки, что нет большой беды в том, что его обругала баба, но нехорошее чувство не проходило, и ему было одновременно и досадно и скверно.

Вдали показались избы Черкутина, над ними вились серые, растрепанные ветром дымки. Лабутин перешел по скользкому бревну через канаву, обогнул раскисшее озимое поле, стал подниматься на гору и все нес в себе неприятное чувство, от которого никак не мог отделаться.

1954

БУБЕНЧИК

1

За дощатым одноэтажным домом, в глубине двора, густо заросшего кустами волчьих ягод, стоял флигель, оштукатуренный снаружи и похожий на украинскую мазанку. В одной из двух его комнат жила хозяйка — крепкая, бойкая и громогласная старуха Талантова, а другую снимал у нее аспирант сельскохозяйственного института Рязанов. Был это парень лет двадцати шести, крупный, широкоплечий, лобастый. В комнатах и даже по двору двигался он боком, с явным опасением задеть что-нибудь, опрокинуть, сокрушить, а садясь на стул или лавочку, недоверчиво ощупывал их рукой.

Когда он впервые пришел к Талантовой, она спросила его своим отрывистым басом:

— Как звать?

— Георгием.

— Егором, значит,— утвердительно сказала она.— Так-то лучше будет, проще.

И вскоре все, даже в институте, стали звать его Егором.

Во флигеле он занял маленькую комнатку с окном во двор. В ней было тепло, тихо, и казалось, будто она со всех сторон обложена ватой. Сначала Егору, привыкшему к суматохе общежития, было тоскливо и одиноко в этой тишине, но вскоре он познакомился с обитателями деревянного дома, и жизнь во флигеле перестала тяготить его.

Знакомство это началось довольно курьезно. Однажды Егор шел из института домой с группой знакомых студентов. Один за другим они прощались и сворачивали в переулки, и только Галя Орлова, маленькая красивая девушка, весело болтая, все шла и шла вместе с ним.

«Уж не из тех ли Орловых, которые впереди живут?» — подумал Егор, приближаясь к дому.

Однако спросить постеснялся, и только когда они попрощались, а потом все-таки опять двинулись к одним и тем же воротам, то оба поняли и расхохотались.

Вечером Егор много работал и нечаянно уснул прямо за столом. Его разбудил яркий свет солнца, бьющий ему в глаза; он поднялся и, потирая затекшую щеку, распахнул окно. Через двор к флигелю шла Галя в ярком пестром платье, вся осыпанная солнечными бликами, молодая, красивая, и Егор, думая, что все еще продолжается сон, пробормотал:

— Здравствуйте, утренняя царевна...

Она засмеялась и, подойдя ближе, спросила:

— Можно посмотреть, как вы живете?

Егор смутился, начал лепетать о том, что у него не прибрано, но она уже сидела на подоконнике и бесцеремонно оглядывала комнату.

— Вы какой-то бука, молчаливый,— сказала она, словно пожаловалась, и даже надула губки.

— Я у деда на лесном кордоне вырос, там много не разговаривали, вот и привык,— сказал Егор.

— Страшно, наверно, в лесу жить? — спросила она.

— Ну! Кого же там бояться? — улыбнулся Егор.

— Талантова-то дома? — спросила вдруг Галя.— А то прогонит. Не любит она меня.

— Не любит! — с искренним удивлением воскликнул Егор, недоумевая, как можно не любить это милое наивное существо...

Впоследствии он вспоминал об этом лете как о самой красивой поре своей жизни. Во дворе распустилось много цветов, заботливо взращенных Талантовой, и она иногда разрешала ему рвать их. Этим разрешением Егор пользовался в дни Галиных экзаменов. Утром он терпеливо стерег ее у окна, чтобы подсмотреть, в каком платье она уйдет, а потом составлял букет в тон платью и дарил ей. А когда, сдав экзамены, Галя уехала на курорт, ему вдруг захотелось работать, и никогда, кажется, он не работал так спокойно и плодотворно.

Однажды он вошел во двор, и у него от радостного волнения застучало сердце. Загорелый, посвежевший после курорта, по двору расхаживал Дмитрий Сергеевич Орлов, в пижаме и сандалиях на босу ногу.

— «Нынче у нас передышка...» — пропел он, увидав Егора.— А посему давайте-ка, молодой человек, выпьем.

Полдня уже томлюсь. Один, знаете ли, не привык, а бабы,— кивнул он в сторону дома,— как известно, не материал для компании.

— Папа, нельзя тебе пить! — донесся из окна знакомый Егору голос, заставивший его вздрогнуть и улыбнуться.

Егору всегда очень нравилась эта его манера держать себя балагуром, простачком, рубахой-парнем. Основанная на сознании своего равенства со всеми большими и малыми людьми, она, очевидно, была усвоена им еще во времена первых комсомольских ячеек в деревне, когда его, секретаря ячейки, вызывали в город по серьезным делам, говорили ему «ты», хлопали по плечу, и он тоже говорил всем «ты» и тоже хлопал по плечу.

— Не понимаю, как можно пить в такую жару,— сказала жена Дмитрия Сергеевича, Анна Николаевна, вынося водку и закуску и ставя это на стол, врытый в землю.

Она очень любила принимать гостей. Муж и дочь относились к ее домашним хлопотам как к должному, и только гости могли в полной мере оценить искусство хозяйки и удовлетворить ее тщеславие. Следя за ее широкими округлыми движениями, Егор невольно залюбовался ею. Волосы у нее были маслянисто-черные, полные щеки огненно пылали, выпуклые глаза смотрели спокойно, с достоинством, и вся она — массивная, широкая, литая — была из тех, кому имя «царь-баба».

Вскоре вышла Галя. Она была в новом золотисто-оранжевом халате — яркая, улыбающаяся, освеженная южным солнцем. И рядом с ней Егор вдруг особенно ясно почувствовал, какой он большой, угловатый и неловкий. С досады он стал пить рюмку за рюмкой, голова его вскоре наполнилась тяжелым гулом, мысли перепутались, и слова не шли с языка.

— Вы что такой мрачный, молодой человек? — спросил Дмитрий Сергеевич.— Ну-ка, Галчонок, принеси нам еще живительного нектара.

Галя взяла графин и пошла к дому. Полный угрюмой решимости, Егор шагнул за ней.

— Ха-ха-ха! — засмеялась она убегая.— Ха-ха-ха!..

Егор догнал девушку в кухне, хотел обнять, но пошатнулся, а она, воспользовавшись моментом, выскользнула у него из рук, и где-то в комнатах рассыпался ее смех:

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Не зная расположения комнат, Егор долго бродил по

дому, а когда вышел во двор, Галя уже шла впереди него и, смеясь, говорила:

— Егор напился, ему больше не давать. Он гонялся за мной по всем комнатам.

— Э-э-э, слаб, молодой человек! — балагурил Дмитрий Сергеевич.— Смотрите на меня! Вот что значит старая закалка — ни в одном глазе!

— Пойду,— хриплым от волнения голосом сказал Егор.

Он ушел к себе во флигель и, будучи не в силах отделить от вихрящегося клубка мыслей какую-нибудь одну, определенную и ясную, долго лежал на кровати, мрачно глядя в потолок.

2

В старом деревянном доме все располагало ко сну и лени: его четыре окна по фасаду выходили на тихую немощеную улицу, на заросшем дворе мирно клохтали куры и дремал в конуре черный пес Жук. Всякий раз, как кто-нибудь хлопал калиткой, он вылезал, начинал чесаться, гремя цепью, и было видно, что цепь давно уже не нужна ему: так стар, что никуда не уйдет, ни на кого не бросится. И когда Галя просыпалась утром в своей комнате, смотрела на солнечные лучи, просеянные сквозь кисею занавесок, слушала, как в кухне уютно журчал электрический счетчик, как лопались от жары пересохшие обои, то чувствовала, что — нет, она никогда не сможет, ну, просто не в силах уехать отсюда и, отказавшись от милых привычек и привязанностей детства, сменить свою теперешнюю жизнь на другую — неизвестную, которая казалась ей суровой, грубой и полной всяких неудобств.

Незадолго до государственных экзаменов в институте происходило распределение на работу. Дмитрий Сергеевич обещал похлопотать, чтобы Галю оставили в городе, но однажды вечером он приехал возбужденный, рассерженный, кинул через всю комнату портфель на диван и пнул подвернувшуюся под ноги кошку.

— Вот, дьявол, принципиальный, председатель этой вашей комиссии,— сказал он.— Уперся на Алтайском крае, и крышка. Битый час его уламывал, сошлись на Рязанской области. Все-таки поближе. А там, глядишь, придумаем что-нибудь.

С тех пор как Галя помнила себя, ее повсюду окружала любовь и всеобщее внимание. Маленькой девочкой, с

большим бантом в светлых волосах, в пестром и ярком платье она походила на легкую красивую бабочку, и все наперебой любовались ею и говорили, что она очень милый ребенок. В юности она сохранила ту же мотыльковую легкость и яркость, и опять все любовались ею, называя ласковыми именами: галчонок, птичка, бубенчик...

В начале войны, когда весь город готовился к эвакуации, она бросила школу. Дмитрий Сергеевич (он работал тогда коммерческим директором завода) говаривал ей:

— Учись! Рожей в жизни не возьмешь.

Но она, очевидно, твердо верила, что возьмет, любила фотографироваться и мечтала стать актрисой.

Войну она воспринимала как нечто отдаленное. Завод остался в городе, удерживая около себя людей, и редкие из них уходили на фронт. Появились продовольственные карточки и комендантский час, город был затемнен, здания выкрашены грязно-зеленой маскировочной краской, но прямой опасности не чувствовалось, и жители рыли во дворах и огородах щели со скептической уверенностью в напрасности этой работы. Иногда на завод приезжали военпреды из действующих частей. Они привозили трофейный коньяк, сухие галеты, концентрат пшенной каши с маслом — одна пачка на стакан кипятку — и, останавливаясь у Орловых, ухаживали за Галей. Потом на улицах города появились эвакуированные ленинградские студентки в лыжных штанах, и Галя, подчиняясь этой «моде», тоже надела лыжные штаны.

— Учись! — твердил ей Дмитрий Сергеевич.

Уступая его требованиям, она поступила в школу рабочей молодежи и, кое-как окончив ее, поехала в Москву держать экзамены в театральное училище. На экзамене все девушки, точно сговорившись, читали письмо Татьяны к Онегину, и когда Галя бойким голосом объявила, что будет читать то же самое, в приемной комиссии кто-то тихо застонал. Галя начала читать и даже сама чувствовала, что читает плохо, с однообразной ученической интонацией, и поэтому не удивилась, когда секретарь комиссии объявил, что она не допущена к экзаменам по второму кругу.

Вернувшись домой, Галя, недолго раздумывая, поступила в сельскохозяйственный институт, где был большой недобор и куда принимали всякого, кто хоть как-нибудь выдерживал экзамены.

Впоследствии она ни разу не пожалела о том, что карьера актрисы ей не удалась,— жить дома было куда вольготней.

И вот теперь приходилось покидать родное гнездо, заботливо свитое для нее Анной Николаевной. В это трудно было даже поверить. Сначала Галя плакала, но когда успокоилась, здравый смысл подсказал ей вполне естественный и простой выход — надо найти мужа, уж во всяком случае от мужа-то не пошлют в какую-то там Рязанскую область.

Однажды Егор пригласил ее на весеннее открытие парка. Играл плохонький оркестр, клумбы сильно, по-вечернему, пахли душистым табаком, воздух казался жирным, и хорошо было только возле фонтанов. У Егора болело горло, и он с откровенной завистью, словно мальчишка, смотрел, как Галя ела мороженое. Она сбоку взглянула на него и рассмеялась, а он очень смутился, и это почему-то заставило Галю подумать, что он, несмотря на свою мрачноватую внешность, очень мягок, уступчив, непрактичен в житейских делах, и ей стало жалко его.

«А что, он был бы очень удобным мужем»,— подумала Галя.

Несколько раз она возвращалась к этой мысли, и вскоре для нее уже стало потребностью подойти утром к его окну, поздороваться, подтрунить над его застенчивостью, пожаловаться, что одолела зубрежка. И так как в ее жизни было много частых и коротких увлечений, то, видно, пришла очередь и Егора. Теперь даже она сама верила, что поступает искренне, без всякого расчета.

На выпускном вечере Галя находилась в каком-то приподнято-возбужденном состоянии. Она танцевала, смеялась, пила в буфете кислое вино, пахнувшее бочкой, а когда начался концерт, взяла Егора за рукав и сказала:

— Пойдем на последний ряд. Там можно сесть поудобнее и закрыть глаза. Я люблю слушать музыку, закрыв глаза.

И когда они сели там и заиграла музыка, Галя оглянулась, увидала, что они одни, и быстро поцеловала его в плечо.

Было три часа, когда вечер кончился. Кто-то придумал идти к реке, и шумная толпа студентов, смущая постовых милиционеров, двинулась по городу.

Ночью был дождь,— повсюду в неверном свете утра свинцово поблескивали лужи, на афишах оплыла краска, а над крышами ветер носил мокрых взъерошенных грачей, ворон, галок, и только сейчас, утром, было заметно, как их много, и казалось, что люди ушли из города и эти нахальные птицы вьют гнезда в их квартирах. Усиливая ощуще-

ние пустоты, шаги гулко отдавались в пустынных улицах, и в воздухе после дождя пахло не жильем, а словно в поле — свежо и остро.

До реки так и не дошли; все уже устали, и едва пересекли площадь, начали прощаться.

Полупьяный от вина и неожиданного счастья, Егор вел Галю домой, бережно поддерживая под руку.

На стук калитки, как и обычно, вылез Жук и стал чесаться, гремя цепью. Уже проснулась Анна Николаевна; она была в курятнике, и оттуда слышался ее воркующий голос. Егор в замешательстве остановился посреди двора, очевидно, не зная, как теперь вести себя, но Галя уверенно подтолкнула его к флигелю и шепнула:

— Приходи днем.

В комнате было душно и пахло чем-то очень хорошим, «Земляникой»,— догадалась Галя, увидев па столе хлеб, молоко и тарелку с ягодами.

Она положила в рот несколько ягод, зажмурилась от наслаждения и, смеясь, закружилась по комнате.

— Цып-цып-цып...— ворковал за окном нежный мамин голос.— Цып-цып-цып...

3

На исходе летнего дня в запущенном деревенском саду сидел на траве Егор Рязанов и оглядывался вокруг с таким отрадным удивлением, точно неожиданно для себя попал с грешной земли прямо в рай. До сумерек было далеко, но по оцепенелому безветрию, по блеклой желтизне солнечных лучей было заметно, что день уже угасал. В небе стояли облака, розовые с одного бока и густо-синие с другого; в саду одуряюще пахло яблоками, поздними цветами, сеном, и была слышна издалека не то песня, не то игра на каком-то инструменте... А может быть, просто — слились в один звук зудение кузнечиков, крик перепела, говор людей, и он, этот звук, был похож на далекую песню без слов.

Приехать летом в деревню и жить в какой-нибудь полуразвалившейся замшелой баньке было давнишней мечтой Егора. Сколько раз представлялось ему, как идет он полевой дорогой с ружьем за плечами, и ветер — мягкий, пахучий — овевает его непокрытую голову, а где-нибудь далеко-далеко из синей тучки, блестя на солнце, брызжет косой дождь; на душе легко, и ни тебе забот, ни раздумий!..

Уже давно была облюбована и банька, но поехать все как-то не удавалось, и только теперь он, наконец, выбрался вместе с женой.

— Чудные люди, ей-богу! Жили бы у меня в горнице: и светло и чисто, а то выдумали — в бане! — сказала хозяйка, бабка Ариша, и повела их в сад через крытый занавоженный двор.

Банька, в которой было сумрачно, пахло мылом, вениками и застарелой сыростью, привела Егора в восторг.

— Отлично,— говорил он, потирая руки.— Не правда ли, Галя, отлично? Немного помыть, проветрить, и прямо апартаменты.

Галина Дмитриевна принюхалась к спертому воздуху, тянувшему из баньки, и поморщилась. Она была по-прежнему очень красивая, маленькая, кругленькая и с такой грациозной ленцой в движениях, что походила на сытую изящную кошечку, и всем невольно хотелось приласкать ее, погладить, сказать ей нежное слово. И бабка Ариша тоже ласково сказала ей:

— Ты, милая, не сумлевайся, у нас не обидят. Идем-ка в горницу, отдохни, а я приберу здесь. Идем.

И погладила Галину Дмитриевну по плечу.

Егор шагнул было за ними, но вдруг остановился, махнул рукой и сел на траву. И по тому, как грузно он садился, как медленно прикрыл глаза потемневшими веками, было видно, что он очень устал. Он был уже доцентом, часто работал дома по ночам, а утром шел в институт, там опять много работал, обедал не вовремя — часов в одиннадцать вечера — и теперь был рад, что, наконец, для него наступили безмятежные дни отдыха и упорядоченной жизни. И он долго сидел так в саду, прислушиваясь к этой, невесть откуда исходящей песне ликования и чувствуя, как ощущение глубокого, невозмутимого покоя постепенно овладевает им.

Вскоре в сад вышла бабка Ариша с ведром воды.

— Спит твоя-то,— сказала она Егору.— Накушалась молока и спит.

— А что, кроме тебя, помыть-то некому? — спросил Егор.

Бабка поставила ведро, сложила на животе большие морщинистые руки и охотно сказала:

— Некому, голубчик, как есть некому. Младший-то у меня в армии, на действительной. Две дочери — те замужем, в городе живут. За хороших людей вышли, ничего

не могу сказать. Живу теперь одна, в прошлом году вот квартирантку пустила, агрономшу из МТС...

— Она и сейчас у тебя живет? — перебил ее Егор.

— Живет, голубчик, живет.

— А мы не помешаем ей?

— Не сумлевайся! Женщина — ничего себе, смирная, совестливая. Да ее, почитай, и дома-то никогда не бывает. Она у нас на три колхоза.

Егор помог ей убрать баньку, натаскал туда сена, и когда кончил, то было почти совсем темно. Небо на западе еще розовело, но между деревьями уже легли густые тени, воздух похолодел, стало тихо, и когда падало яблоко, было слышно, как оно стукалось о землю.

Егор пошел в избу. Галина Дмитриевна спала в горнице, сжавшись в комочек на высокой несуразной кровати, похожей на катафалк. Бабка Ариша зажгла керосиновую лампу, и блестящие шары по углам кровати, увеличивая ее сходство с катафалком, засветились, словно свечи.

— Фу! — сказала Галина Дмитриевна просыпаясь.— Хорошо, что разбудили. Снилась какая-то гадость...

В это время в горницу вошла квартирантка бабки Ариши. Она устало протянула Егору руку и сказала:

— Здравствуйте, Воркуева.

Была она лет тридцати, узкоплечая, с некрасивым бледным лицом и прямыми жесткими волосами. От ее тяжелой походки звенела в шкафу посуда, словно она нарочно с силой ударяла каблуками в пол, и, глядя на нее, Егор думал:

«Воркуева... Какая нежная фамилия у этой некрасивой женщины!»

Галина Дмитриевна, свесив ноги с кровати, старалась попасть ими в туфли.

— Половина десятого,— сказала она зевая,— а делать уже нечего, и поневоле приходится спать. В городе в это время муж только с работы приходит.

Ужинали все вместе. Потом бабка Ариша взяла лампу и пошла доить корову. Галина Дмитриевна опять уснула, а Егор еще долго сидел на пороге баньки, курил и слушал, как на дворе тяжело вздыхала корова, журчало в подойнике молоко, и где-то очень далеко всхлипывала гармонь.

И все тем же покоем веяло на него от этих звуков, от синего звездного света ночи, от легкой, кружащей голову дремоты, которая уже охватывала его...

Жизнь в баньке пошла своим чередом. Егор вставал на заре, умывался колодезной водой, пил молоко и, захватив ружье или удочки, уходил на весь день. Галина Дмитриевна обычно еще спала. Она, как и в городе, просыпалась поздно, потом полуодетая лежала в саду на траве, грызла кислые яблоки и громко зевала,— ей было скучно и хотелось в город.

Иногда по вечерам в сад приходила Александра Сергеевна Воркуева. Егора очень заинтересовали ее опыты с люпином, и однажды он вместе с ней ходил на отдаленный песчаный участок, где она их проводила.

По дороге они разговорились, и, как это часто бывает между двумя малознакомыми людьми, у одного из них вдруг прорвалось самое сокровенное, и в какие-то несколько минут была рассказана вся жизнь. С мельчайшими подробностями, которые в это время кажутся чрезвычайно важными, Александра Сергеевна рассказывала Егору о себе.

В институт она поступила в предвоенный год. Теперь вспоминала она, как стояла в заскорузлом ватнике под скользким скатом противотанкового рва и ковыряла лопатой упругую, тяжелую глину. Усталые, иззябшие студенты распевали сложенные тут же песни, и она пела вместе со всеми, а когда над ними пролетали к Москве вражеские самолеты, она тоже со всеми, припав к мокрой глине, с ненавистью смотрела в небо на серые крестообразные силуэты. Потом она заболела воспалением легких, и ей помогли уехать домой, а институт, как она вскоре узнала, эвакуировался в Среднюю Азию.

В родном доме о войне напоминало только то, что не было брата Володи, и мама все время ждала от него писем.

Потом ушел на фронт отец. От него пришло только одно письмо. Он писал, что сочинил стихи, посвященные дочери, но прислать их постеснялся. И было странно и трогательно читать такое письмо, написанное немолодым уже, серьезным человеком, бухгалтером промышленной артели.

Однажды — это было уже в мае — Александра Сергеевна увидела из окна почтальона, идущего к их дому. Почему-то она заранее испугалась, и у нее сильно застучало сердце. Она выбежала навстречу почтальону, и когда минуту спустя читала извещение о Володиной гибели, ее прежде всего поразило полное написание его имени —

Владимир Сергеевич Воркуев. Она знала его просто Володей, юным, шумным, драчливым Володей, и теперь казалось, что погиб не он, а кто-то другой, возмужалый и суровый.

Два года она скрывала от мамы весть о его гибели, уверенная, что мама не перенесет этой утраты. Александре Сергеевне казалось, что если сделать что-либо исключительно трудное, правильное, полезное, то брат окажется жив. И она стала вставать очень рано, делала — теперь смешно вспомнить, но тогда это казалось важным,— гимнастику, взяла за рекой два огородных участка и обрабатывала их, выполняла работу по дому и, кроме того, работала в папиной артели на вязальной машине. Но среди этих забот властно врывалась в сознание неумолимо жестокая мысль: ведь он все-таки мертв, он не существует, его нет, нет... Приходила мама, и надо было смеяться, казаться веселой, и никто не подозревал, какая огромная внутренняя работа совершается в ней.

Институт она кончила уже после войны. Работала сначала в районном отделе сельского хозяйства и жила в Доме колхозника. Длинная неуютная комната очень напоминала такую же комнату в студенческом общежитии, и даже неудобства были те же самые: тот же чай из жестяной кружки, та же узкая койка со скрипучей сеткой, те же платья, смятые в чемодане, и тот же бутерброд, наскоро сжеванный в буфете.

Потом Александру Сергеевну назначили участковым агрономом в МТС. Колхозы ей попались неодинаковые: два были слабые, а третий, «Достижение», считался одним из самых сильных в области, и там она отдыхала душой от всего, с чем зачастую приходилось ей сталкиваться в двух других колхозах,— от долгих ненужных разговоров на заседаниях правлений, от бестолковых пререканий с бригадирами, от их упрямого нежелания понять то, что ей казалось бесспорным и очевидным, и от вечного беспокойства о том, что где-то опоздали, что-то не успели, в чем-то промахнулись, сделали не так, как нужно, или не сделали совсем. Работать, конечно, трудно, но тем не менее интересно. МТС скоро даст ей квартиру, и она возьмет к себе маму, которая уже состарилась и пишет ей письма, кончающиеся словами: «Береги себя, милая детка...»

Когда Егор и Александра Сергеевна возвращались, было уже темно. С вечера пал туман, а потом вдруг потянуло ветром, и за рекой, где тумана было особенно много, все пришло в движение. Ветер взвивал белые смерчи, и

они, точно сказочные духи в прозрачных одеждах, то возникая, то исчезая, стремительно и беззвучно неслись на лунный свет.

— Ну разве можно не любить все это? — сказала вдруг Александра Сергеевна, останавливаясь и широким жестом показывая за реку.

Голос у нее дрогнул, она запрокинула голову, закрыла глаза, и Егор видел, как на ее ресницах блеснули слезы. Теплое чувство к ней вдруг охватило Егора, и он уже не замечал ни ее некрасивого лица, ни жестких волос, ни узких прямых плеч, а видел перед собой только умную, простую, трудолюбивую женщину с нежной и чуткой душой.

В эту ночь в саду шелестел дождь, и потом несколько дней держалось ненастье. Ветер трепал мокрую листву яблонь, проносил взъерошенных галок, дребезжал стеклом в окне баньки, и казалось, что уже наступила осень и больше не будет теплых солнечных дней. Набросив на плечи одеяло, Галина Дмитриевна шла через потемневший сад в избу завтракать, обедать или ужинать и всегда говорила одно и то же:

— Нет, это мученье! Это тоска. Когда мы только уедем отсюда?!

И Егору тоже было скучно. Надев дождевик, он шел бродить по окрестным дорогам, но и там все было серо и уныло: сыпал мелкий, как пыль, дождь; ветер гнал по реке темные волны с убором из грязно-белых кружев пены; в лесу пахло грибной осенней сыростью.

Александра Сергеевна мелькала рано утром и потом исчезала на целый день, успев только пожаловаться, что где-то оказались непокрытыми тока, где-то не подготовлены амбары или не отремонтированы зерносушилки. Однажды Егор встретил ее на дороге из Акулова; она шла усталая, измокшая, и когда остановилась поговорить с ним, то по лицу ее текла дождевая вода, и она не вытирала ее.

Вернувшись домой, Егор застал жену сидящей на пороге баньки. Она — в желтом халате, сколотом на груди огромной зеленой брошью,— уныло смотрела на мокрые деревья, жевала травинку и морщилась: травинка была горькая.

— Боже, какая скука! — пожаловалась Галина Дмитриевна.

Егор молча прошел в баньку, но не удержался и сказал оттуда:

— Черт тебя знает! Неужели ты можешь так жить? Неужели тебе решительно нечем заняться?

— Например? — с искренним удивлением спросила Галина Дмитриевна.

— Я уже не говорю о чем-то большом, на всю жизнь,— продолжал Егор, раздражаясь с каждым словом.— Займись хоть на время чем-нибудь, чтобы не скучать. Почитай. Подумай наконец! Деятельному и умному человеку никогда не бывает скучно.

— Да, я дура,— тотчас же обиделась Галина Дмитриевна.— И, наверное, поэтому не понимаю, зачем мы сюда приехали.

Когда ее беспокоили, осуждали, требовали от нее чего-нибудь, она думала, что ее обижают, не понимают, ей становилось жалко себя, и она начинала плакать. Так и теперь: на глазах у нее появились слезы, губы задрожали.

— Ты сам расхваливал мне эту деревенскую идиллию, а тут не с кем слова сказать,— продолжала она.— Ты или болтаешь с этой уродкой о люпине, или торчишь на речке со своими идиотскими удочками...

— Могла бы и ты найти себе занятие, познакомиться с кем-нибудь,— перебил ее Егор.

— Например?

— Что у тебя за словечко появилось?!

— Я спрашиваю, с кем бы мне познакомиться?

— Я знаю, что тебе нигде и ни с кем неинтересно. А между тем здесь много интересных людей.

— А мне неинтересно с ними.

— Вот как! — усмехнулся Егор.

Он чувствовал, что сильно раздражен, и если будет продолжать говорить с женой, то в конце концов начнет кричать, а она — плакать.

— Впрочем, ты можешь уехать,— сказал он, стараясь быть спокойным.— Тебя никто не держит.

Он лег на сено и, решив не говорить больше ни слова, прислушивался к шуму дождя и с сожалением чувствовал, что ощущение покоя, которым он недавно наслаждался, исчезло, отлетело, уступив место чему-то тяжелому и нерешенному.

5

В колхозе спешно строили риги, в них гулял продувной ветер и пахло мокрой соломой. Но дождь неожиданно кончился; ночью сквозь жидкие текучие облака замелькали

лучистые звезды, а утром из тумана заречных болот поднялось большое, точно разбухшее в теплой сырости, солнце. И все обрадовалось этому погожему дню: река заблестела, отражая голубой небесный свет; побежали к ней гуси, вытягивая шеи и размахивая крыльями в бесплодном порыве взлететь; с конного двора, провожаемый сочной руганью зазевавшихся конюхов, выскочил трехлеток и ударил вдоль улицы, ошалелый от счастья неожиданной свободы...

Егор вышел в сад, потянулся всем телом, вздрогнул от утренней свежести и улыбнулся: навстречу ему шла, сбивая с веток капли, Александра Сергеевна.

— Егор Савельевич, кончилось ненастье. Теперь мы повысим сдачу хлеба,— сказала она самые обыкновенные слова и засмеялась.

И Егор обрадовался вместе с нею и тоже засмеялся.

Вёдро стояло недолго. Уже на следующий день появились признаки дождя. Было томяще знойно, душно; дым из труб стелился понизу, и всюду — в улицах, садах, огородах — плавали его тонкие синеватые пласты.

Егор, взяв ружье, ушел в лес и там нечаянно заснул под едва внятный шелест берез. Было далеко за полдень, и от деревьев уже протянулись длинные тени, когда он, тихо вскрикнув, точно от испуга, очнулся и сел. Голова кружилась, тело налилось тяжестью.

«Растомило меня... Гроза будет... Черт бы ее побрал!» — думал Егор, выходя из леса и глядя, как туча — лилово-синяя, драная, с багровыми подпалинами по краям — неумолимо ползет по небу, грозя проливным дождем. И уже ветер, пахнущий дождевой влагой, ерошил, мял кусты, обрывая с них засохшие листья.

Дома Егор застал за обедом жену, Александру Сергеевну и бабку Аришу.

— Нет, скажите мне,— говорила Галина Дмитриевна, очевидно, продолжая начатый разговор,— неужели вас удовлетворяет ваша жизнь? Скажите по совести, хочется вам обедать на чистой скатерти, из красивой посуды, в приятной компании,— хочется?

— Не знаю, не думала я об этом,— сказала Александра Сергеевна, и по рассеянному выражению ее лица было видно, что она действительно не придавала этому значения.

И ела она торопливо, обжигаясь, желая, очевидно, наскоро покончить с обедом и снова идти куда-то, что-то делать.

— Все-таки скажите,— не унималась Галина Дмитриевна,— вы счастливы?

— Вот уж наивнейший вопрос! — нехотя сказала Александра Сергеевна.

— Нет, скажите! — упрямо повторила Галина Дмитриевна.

— Извольте,— пожала она плечом.— Думаю, что счастлива.

— Почему вы так думаете?

— Ну-у... я... Мне интересно жить, я вообще люблю жизнь, и она доставляет мне счастье.— Она отставила пустую тарелку, поморщилась и прибавила: — Простите, Галина Дмитриевна, я не умею говорить на такие темы.

Егору было совестно за жену и казалось, что Воркуева вместе с ней глубоко презирает и его за то, что он женат на этой праздной, эгоистичной, избалованной излишним вниманием женщине.

— Вы любите вашу жизнь! — с усмешкой продолжала Галина Дмитриевна.— Вы живете в глухой деревушке, летом, в самую прекрасную пору, работаете от зари до зари, мотаетесь с мокрыми ногами по бригадам, обедаете наскоро, выслушиваете брань мужчин — и эту жизнь вы любите! Неправда это. Не верю я вам!

Александра Сергеевна махнула рукой:

— Думайте, как хотите, но я своей жизнью довольна и своей работой тоже довольна.

Она поднялась из-за стола и стала надевать дождевик.

Егор ушел в баньку, опять лег там на сено и долго, с мучительным недоумением соображал, как могло случиться, что он — талантливый, трудолюбивый и на самом деле всю жизнь трудившийся человек — мог увлечься этой праздной, ограниченной женщиной и даже жениться на ней? Он работал изо всех сил — и для чего? Чтобы эта мещанка, пожиравшая его силу, ум, энергию, могла не работать, спать до полудня, наряжаться в разноцветные тряпки, и все это с сознанием своего полного права на это! Как мог он проглядеть, что она эгоистична, пошла и некультурна? И почему другие тоже не видят этого, считают ее миленькой, называют ласковыми именами — галчонок, птичка, бубенчик — и говорят, что ему повезло? Неужели только потому, что она красива? И если так, то неужели настолько сильно обаяние красоты, этого случайно данного природой преимущества над такими скромными и действительно достойными любви людьми, как, например, Воркуева?

Как никогда, ясно видел он, что его красивая, миленькая жена просто бездельница, что она — чужой и ненужный в его жизни человек, и он с ненавистью пробормотал:

— Птичка! Бубенчик!

6

Росы по утрам падали холодные и держались долго, иногда до полудня. Яровые поля побурели; над ними, собираясь в стаи, вились грачи и галки.

Галина Дмитриевна давно уже уехала, а теперь собирался уезжать и Егор. На станцию его провожала Александра Сергеевна.

Когда они вышли к утреннему поезду, было еще темно. Сзади, стараясь не отставать от них, шли женщины, едущие в город торговать молоком и яблоками, и жаловались друг другу, что все стало дешевле.

— Честное слово, мне жалко уезжать отсюда,— тихо говорил Егор.— Вы стали моим близким другом... Будете в городе, непременно заходите в институт, потолкуем, покажу вам кое-что интересное. Зайдете?

— Обязательно,— сказала Воркуева.

Когда подходили к станции, то сбоку, из-за леса, брызнули веером первые лучи солнца.

— Журавли! — сказала вдруг Александра Сергеевна и показала в небо.

Там в холодной утренней сини кружились большие ширококрылые птицы. Старый журавль обучал молодых строю. Они то рассыпались в беспорядке, то вытягивались в ленту, то выстраивались углом и жалобно, протяжно кричали, словно оплакивали уходящее лето...

И такая притягательная сила есть в этом последнем полете журавлей, что и Егор, и Александра Сергеевна, и женщины, шедшие сзади, остановились и долго следили за ними взглядом.

Дома все было по-прежнему, и когда Егор вошел во двор, из конуры вылез совсем уже дряхлый Жук и стал чесаться, гремя цепью. Галина Дмитриевна спала, уютно свернувшись в столовой на диване, и улыбалась во сне.

Приехал Дмитрий Сергеевич, привез вина и, балагуря, все время повторял кстати и некстати одну и ту же фразу:

— «И дым отечества нам сладок и приятен...»

Величественная, полная собственного достоинства Анна Николаевна угощала Егора обедом. Но он уже не мог, как прежде, любоваться ею и думал лишь о том, что она, в сущности, очень ограниченный и отсталый человек. С тех пор как Дмитрий Сергеевич начал занимать в городе ответственные должности и стал теперь заместителем председателя горисполкома, она, проведшая молодость в нелегком крестьянском труде, словно оцепенела от счастья. С каким-то жадным рвением занялась она домашним хозяйством и даже решительно восстала против того, чтобы переехать из своего старого дома в новую коммунальную квартиру.

— Смотри, мать, омещанишься! — говорил Дмитрий Сергеевич.— Погрязнешь в своих грибках, огурчиках да брусничной воде...

А сам аппетитно закусывал водку соленым грибком, крякал от удовольствия и, балагуря, восклицал:

— Нектар! Амброзия! Пища богов!

И Егор с чувством глубокого сожаления вспомнил теперь свою жизнь у Талантовой, когда было такое красивое лето с цветами, вспомнил свою комнату и то, что на столе у него, завернутая в серую промокшую бумагу, лежала селедка, и как однажды он угорел от дырявой печки, выбрался еле живой на улицу и долго стоял там, держась за фонарный столб... И теперь, в воспоминаниях, эти неприятные мелочи почему-то волновали его, и становилось жалко и грустно оттого, что их уже нет.

Он вышел и стал без цели бродить по вечернему городу, как любил делать раньше. Невзначай очутился он возле института, подергал запертую дверь, потрогал ладонью прохладную колонну, вообразил запах институтских коридоров, и ему было приятно, что скоро уже сентябрь и он опять окунется в любимую работу.

Потом ему захотелось выпить. Было уже поздно, и достать вина можно было только на вокзале. Там как раз пришел московский поезд. Егор с удовольствием толкался возле буфета среди возбужденных, деловитых пассажиров, и ему хотелось самому куда-то ехать, выскакивать на станциях с чайником, пить в купе чай с незнакомыми людьми.

Ночевал он у приятеля, а утром был в институте, шутил там с завхозом, с малярами, красившими стены, и домой ему не хотелось.

1954

ГРОЗА

В сенном сарае вдовы Матрены поселились охотники. Двое из них уже не раз ночевали в окрестных деревнях и были людьми известными. Про одного — Антона Кашеедова — знали, что он работает директором мелкой фабричонки, делающей не то веревки, не то рогожи, любит выпить, а выпив, поет одну и ту же песню: «Средь высоких хлебов затерялося небогатое наше село...»

Был это мужчина крупный, сильный, с энергичными жестами, громким голосом, и когда шел по деревне в чавкающих сапогах, обвешанный битыми утками, и глядел из-под нависших бровей выпуклыми глазами, то чувствовалось в нем что-то непобедимо-здоровое, земное, первобытное.

Другой охотник — Павел Кузьмич — принадлежал к тем незаметным людям, которые в присутствии человека с такой внушительной осанкой, как у Кашеедова, вовсе расплываются и исчезают. Трудно было определить, сколько ему лет. Когда он зарастал на охоте рыжеватой кустистой щетиной, то выглядел весьма уже потрепанным жизнью, но стоило ему побриться, причесаться, скинуть намокшее рванье, приспособленное для лазания по болотам, и одеться в сухой костюм, как он начинал казаться совсем молодым и полным сил. И фамилия у него была какая-то неуловимая для памяти — Замков, Зевков, Зетков...

Кашеедов явно помыкал им.

— Вот что, Кузьмич,— говорил он голосом, в котором звучала уверенность, что к нему прислушаются,— надоело сухоедением заниматься. Щипли дичь, будем варить.

И пока он, оглашая местность мощным храпом, спал где-нибудь под стогом или под кустом, Павел Кузьмич щипал дичь, варил суп, кипятил чай.

В этот раз с ними был еще какой-то человек лет тридцати пяти, высокий, стройный, с красивым матовым лицом, который приехал, очевидно, не ради охоты, потому что и одет был не по-охотничьи и ружья не привез с собой, а вместо него носил на ремне через плечо плоский фанерный ящик неизвестного назначения.

Юркая, с хитренькой улыбочкой на тонких губах старуха Матрена, у которой они сняли сарай, хотя и знала двоих из них, но все же, имея предубеждение к чужим людям, спросила:

— А справка есть?
— Ха! Какая тебе еще справка? — удивился Кашеедов.
— А какая ни на есть: из сельсовета или от председателя колхоза.
— На вот, смотри,— протянул ей Кашеедов свой охотничий билет.
Старуха долго читала его, шевеля тонкими бесцветными губами, потом вздохнула и сказала:
— Годится.
Через четверть часа охотники уже возились в сарае, благоустраивая свое временное жилище, а Иван Аркадьевич Лопухов — так звали третьего — сидел перед дверью на обрубке бревна и, склонив набок свою красивую лохматую голову, смотрел вдаль. С бугра, на котором располагалась деревня, была видна вся заречная пойма с гривами, лугами, синими впадинами озер и темной полосой елового леса на горизонте, а ближе сверкал широкий речной плёс, и даже издали был слышен тихий, баюкающий плеск полуденной воды.
— Даже не верится, что может быть так хорошо,— громко сказал Лопухов.— Ты знаешь, Паша, когда я вижу что-нибудь подобное, мне становится стыдно за искусство, за его бессилие изобразить жизнь во всей ее полноте — с ее звуками, запахами, цветами, формами... А человек? У него есть такие неуловимые настроения, перед которыми искусство пасует уже совершенно. Их не выразишь ни словом, ни красками, ни в музыке. Впрочем, мне кажется, что музыка не выражает настроение, а сама создает его.
Он помолчал, очевидно готовясь выслушать мнение Павла Кузьмича или Кашеедова на этот счет, но те не ответили.
— Вам помочь, друзья? — спросил Лопухов немного погодя.
— Тесно здесь, сиди,— сказал Павел Кузьмич, выглядывая из сарая.
— Хотя, может быть, не нужны даже и попытки уловить неуловимое,— продолжал Лопухов.— Ведь эти настроения преходящи, и не они составляют основу человеческого характера, а для искусства важно изобразить именно характер. Что скажешь, Паша?
— Болтай, болтай! — проворчал Кашеедов так, чтобы Лопухов не слышал его.— Эх, Кузьмич, дернул тебя черт притащить его сюда...

Павел Кузьмич был по натуре человеком мягким и застенчивым. Поэтому, когда он случайно встретил друга детства, художника Лопухова, и стал по простоте душевной нахваливать ему места, в которых он ежегодно охотился, то потом уже не мог отказать старому другу в просьбе взять его с собой, хотя знал, что Кашеедов не терпит на охоте посторонних. Кашеедов действительно сразу же отнесся к Лопухову враждебно.

— Не понимаю я таких людей,— решительно, как всегда, говорил он.— Вот нам с тобой привозят пеньку, мы вьем из нее веревку. Это ясно и просто. А что делает он — неизвестно.

— Картины рисует,— робко говорил Павел Кузьмич.

— Не видал,— рубил Кашеедов.

И теперь Павел Кузьмич чувствовал себя подавленным и виноватым, не зная, как разрядить напряженную обстановку.

Закончив уборку, охотники присели покурить. В это время из-за сарая вышла немолодая дюжая женщина и, добродушно улыбаясь охотникам, спросила без предисловий:

— Молоко-то у меня будете брать?

— Это почему же у тебя? — нахмурился Кашеедов.

— А все, которые приезжают, у меня берут. У меня самолучшее молоко,— ответила женщина, продолжая улыбаться.

Эта улыбка и вполне искреннее желание услужить, очевидно, понравились Лопухову.

— Вы где живете? — мягко спросил он.

— А через улицу. Вот если встать, то видно отсюда.

Лопухов поднялся.

— Видите дом, обшитый тесом? — указала она рукой.— Тут мы и живем.

В этот момент на лице ее было написано безграничное довольство и сознание полного, законченного счастья.

— Да вы не беспокойтесь, я сама вам буду приносить,— сказала она.

— Ну, носи,— согласился Кашеедов.

Охотники стали собираться в пойму, а женщина все не уходила, разговаривая с Лопуховым.

— А не знаете ли, рыба в этих местах хорошо ловится? — слышали Павел Кузьмич и Кашеедов его голос.

— Все лето хорошие уловы были. У меня муж в колхозе этим делом занимается: бригадир в рыболовецкой бригаде.

— Неужели? — обрадованно сказал Лопухов.— Чем же он ловит?

— А неводом.

— Ну, это не ловля! Это... это, как бы сказать, добыча. Я люблю на удочку.

— Тоже сказали! — засмеялась женщина.— Мы таких, которые на удочку ловят, ушибленными зовем. Вот уж, право,— на одном конце червяк мокнет, на другом — дурак сохнет.

Лопухов захохотал.

— Ты слышишь, Паша? Ушибленный! Нет, это восхитительно, это надо запомнить!

Женщина тоже громко смеялась.

— Можно познакомиться с вашим мужем? — спросил Лопухов.

— А отчего нельзя? Кстати, и обедать сейчас будем. Пойдемте со мной, мы гостей привечаем.

— Пойдемте, друзья? — крикнул Лопухов.

— Куда, к черту, идти! — буркнул Кашеедов.

— Так не пойдете? — снова спросил Лопухов.— А я схожу.

И охотники слышали их удаляющиеся голоса и смех.

— Вас как зовут? — спрашивал Лопухов.

— Натальей.

— А мужа?

— Афанасием Ильичом.

— И дети есть у вас?

— Нет. Всего год, как поженились.

— Значит, молодожены!

— Выходит, так...

Кашеедов, дав волю своему раздражению, выругался.

— Видал, Кузьмич! Говорит, что работать приехал, а у самого уже дачное настроение — рыбка, бабенки... Вот посмотришь, отличится он здесь по этой части.

Лопухов пришел, когда охотники, возвратясь из поймы, уже спали. Освещая себе дорогу спичкой, он вошел в сарай и повалился на сено.

— Как хорошо вы устроились, просто великолепно! Сеном пахнет... Паша, ты спишь?

— Спал.

— Да? Извини, пожалуйста... Мне хочется рассказать тебе... Всего несколько слов! Ты зря не пошел — чудесная семья эти Наталья и Афанасий Синицыны. Знаешь, она старше его, но какая у них любовь! Без нежностей, без слюней, но все проникнуто взаимным почтением, они го-

ворят друг другу «вы»... И оба — здоровые, сильные, прямодушные. Ее ты видел, а он — эдакий детинушка с черной бородой и голубыми глазами. От него рекой пахнет, ветром... В доме все прочно, чисто, и он сидит в чистой вышитой рубашке, мед ест. Бороду выпачкал — смеется! Я любовался, честное слово... Потом зашла девушка, агроном. Юная такая, с наивными кудряшками, а уже институт кончила. Наталья в колхозе кладовщицей работает, так вот эта Зиночка, агроном, какие-то скучные слова про дезинфекцию амбаров говорит, а сама, бестия, так глазами и стреляет...

Лопухов тихо засмеялся, помолчал немного и уже сонным голосом сказал:

— Я, наверно, с нее портрет писать буду... Завтра она придет смотреть мою мазню.

Кашеедов тихонько подтолкнул Павла Кузьмича: «Что, мол, я говорил!» А вслух сказал сердито:

— Довольно болтать, товарищи. Надо же когда-нибудь спать.

Охотники вставали чуть свет, возвращались в полдень, а на вечернюю зорю снова уходили в пойму. Лопухов обычно тоже шел куда-нибудь, и они часто наталкивались на него то у речки, то в лугах, сидящего перед своим этюдником.

По вечерам к сараю приходила Зиночка — миловидная девушка с льняными кудряшками на лбу и за ушами. Приоткрыв пухлые губы, она благоговейно и трепетно. точно заглядывала в иной — незнакомый, но заманчивый — мир, рассматривала этюды Лопухова и спрашивала:

— Из жизни берете или больше выдумываете?

Он начал писать ее портрет, но дело подвигалось медленно, потому что Зиночка была очень занята и могла позировать только вечером, когда «освещение было не то». Да и позировала она плохо: от напряжения ее живое лицо, осветленное большими зелеными глазами, гасло, каменело, так что Лопухов вскоре сказал:

— Кажется, зря время трачу. Попробую писать по памяти.

Он забросил портрет и теперь, когда приходила Зиночка, только шутил с ней.

— Сейчас художник Лопухов покажет свою новую картину «Закат солнца»,— торжественно возглашал он и вел Зиночку в такое место, откуда обыкновенный закат, по ее уверениям, казался ей небывало прекрасным.

— Охмурит девку,— уверенно предвещал Кашеедов.— Морду ему побью, если что-нибудь такое...

— И стоит,— угодливо соглашался Павел Кузьмич.

Неожиданно испортилась погода. Серая масса облаков неподвижно повисла в небе и изливалась на землю скупым упрямым дождем. Было холодно, хотелось сидеть в теплом сухом доме, читать или работать. Кашеедов помрачнел, его раздражало каждое слово, каждое движение Лопухова, и Павел Кузьмич, подавленный и жалкий, со страхом ждал взрыва директорского гнева. Наконец на четвертую ночь шуршание и плеск дождя смолкли, это разбудило Павла Кузьмича, и, выглянув из сарая, он увидел, что в облаках ныряет тонкий серпик луны.

А утро встало уже совсем чистое, яркое, сверкающее множеством капель, еще не просохших в траве, на кустах и деревьях.

Потеряв Кашеедова где-то в пойме, Павел Кузьмич шел берегом реки. Впереди, на желтом полукруге песчаной косы, омытом густо-синей водой, он увидел колхозников, разбирающих невод, а когда подошел ближе, то в человеке, сидевшем на песке чуть поодаль, узнал Лопухова. Он тоже заметил Павла Кузьмича и замахал ему руками.

— Наблюдаешь? — спросил Павел Кузьмич, подходя и присаживаясь рядом.

— Ты только посмотри, как выразителен Афанасий,— восхищенно сказал Лопухов.— Его легко будет писать.

Колхозники уже заводили невод. Он легко сбегал с кормы лодки, поплавки полукругом ложились на спокойную, подернутую туманцем воду, было слышно, как повизгивали уключины. Афанасий, рослый, в синей залатанной на спине рубахе, в высоких резиновых сапогах, молча разводил руками, показывая что-то сидящим в лодке. Наконец она ткнулась в берег, рыбаки сбросили веревки, и Афанасий, обернувшись к Лопухову, сверкнул белыми зубами в черной бороде:

— Взяли!

Чайки, почуяв поживу, уже вились над неводом. С огромной высоты они кидались к воде и, казалось, вот-вот разобьются об нее. Но нет! Легкие и стройные, они снова взмывали к небу, упоенно кружились в нем, и серые крылья птиц казались серебряными под косыми лучами солнца — серебряными в голубом... Сверкающее многоцветное утро, люди на берегу, богатырски красивый Афанасий с расстегнутым воротом, с ярко выраженными мускулами груди, шеи, рук — все это действительно было на-

ходкой для художника. И даже Павел Кузьмич — человек, не искушенный в искусстве, а только простой охотник, носящий в душе святую любовь к природе,— почувствовал это.

«И что Кашеедов ополчился против него? — подумал он.— Хороший человек, простой, жизнерадостный, интересный...»

Еще не успели колхозники выбрать невод, как приехала Наталья на машине, предназначенной для рыбы.

— Ловись, рыбка, большая и маленькая,— сказала Наталья с улыбкой.— Мы, Афанасий Ильич, решили прямо на базар отправлять, на лед не будем класть.

— Наше дело — поймать,— ответил Афанасий.

— Сварить вам свеженькой? — спросила Наталья.— Вот и Иван Аркадьевич с приятелем покушали бы...

— Да мы уже решили тут, на свежем воздухе,— виновато сказал Афанасий, словно это было невесть каким огорчением для жены.— Может, останетесь с нами?

— Надо рыбу взвесить, заприходовать...— уныло ответила Наталья.— Вы недолго задерживайтесь.

— Они не могут друг без друга,— сказал Лопухов.

«Право же, хороший он»,— подумал Павел Кузьмич и, чтобы как-нибудь выразить Лопухову свое расположение, сказал:

— Пожалуй, и я останусь с тобой, похлебаю ушицы.

Днем сильно парило, сизая мгла затянула горизонт — к ночи надо было ждать грозы. И действительно, как только стемнело, заполыхали широкие, в полнеба, зарницы. Грома пока не было, но ветер уже доносил явственный запах дождя, и, точно смывая обильные августовские звезды, накатывалась туча.

Павел Кузьмич ненадолго забылся в чутком изнурительном полусне, а когда проснулся, гроза уже бушевала во всю силу.

Он пошарил вокруг себя руками — место Лопухова было свободно, а Кашеедову он попал в лицо, и тот, по обыкновению, выругался спросонок.

Голубой свет, такой яркий, что на мгновение стали видны трещины в стенах, кружка, тюбики с красками, кисти на столе, вдруг осветил сарай, и тотчас же ударил трескучий, без раскатов гром, словно над крышей переломили сразу тысячу сухих палок.

«Ого! — подумал Павел Кузьмич.— Это надо посмотреть».

Он любил грозу, особенно ночную, когда в темном не-

бе, извиваясь, мечутся длинные молнии и листва деревьев бушует под напором ветра. И теперь он встал и вышел, прикрыв за собой дверь.

От земли до неба была только густая, непроницаемая чернота. Павлу Кузьмичу почему-то вспомнилось, как много лет назад его с матерью застала в поле гроза, как они бежали, не разбирая дороги, потом спрятались под высоким берегом реки в какой-то пещерке, вымытой водою, и мать крестилась при каждом ударе грома. А когда гроза кончилась, они пошли дальше, подставляя мокрые спины солнцу. Куда они шли и зачем — теперь уже забылось...

Упали первые капли, одна попала Павлу Кузьмичу на рукав, другая — на верхнюю губу, он слизнул ее языком и, собираясь вернуться в сарай, подумал:

«Где же Иван пропадает? Давно уже нет его».

Впоследствии Павел Кузьмич не мог бы в точности сказать, слышал он удар грома или нет,— он был оглушен, почувствовал характерный запах электрического разряда и увидел, как узкий красно-голубой жгут опоясал высокий дом Синицыных. Он даже заметил, как от одного угла отлетели щепки, но, не поняв еще, что случилось, сказал:

— Ого!

Сразу из трех видимых углов дома вымахнуло пламя, ветер рванул его, и казалось, что сейчас оторвет от дома и унесет, как легкие яркие платки. Лопнуло, посыпалось, звеня, стекло. Это вывело Павла Кузьмича из оцепенения, он кинулся к двери, но в замешательстве не открыл ее, а быстро-быстро застучал обоими кулаками и закричал, как ему показалось, очень слабо:

— Пожар! Пожар!

— О черт! — сказал за дверью Кашеедов.

Он выскочил босой, полуодетый, но тотчас вернулся и стал отыскивать в сарае сапоги.

В деревне торопливо, испуганно зазвякал набат.

— Вот как нелепо, Кузьмич, получается,— сказал Кашеедов, выходя из сарая.

Через сад вдовы Матрены они побежали на улицу.

Тьма, разбавленная светом пожара, стала дрожащей красноватой мглой; ветер трепал огонь в разные стороны, уже занялась стена соседней избы, сухие плетни сгорали с каким-то веселым треском. Лил дождь, все было мокрым, и казалась неестественной такая бойкая игра огня, азартно пожиравшего строения.

— Не надо строиться так тесно,— сказал Кашеедов.

Вялая струя воды, которую пожарная дружина направляла на дом Синицыных, была явно бессильна против огня. Павел Кузьмич видел, как Лопухов подбежал к растрепанному парню, державшему брандспойт, сказал ему что-то, и тот плеснул струей на стену соседней избы. Другие пожарные, вцепившись баграми в железную крышу, стали растаскивать ее.

— Что не успеет сгореть, доломают пожарные,— с усмешкой сказал Кашеедов.

Продолжали сбегаться люди, мелькая вокруг, как бесплотные красно-черные тени,— начиналась обычная пожарная суматоха, и, очевидно, чтоб не увеличивать ее, Кашеедов зашагал на другую сторону улицы.

Павел Кузьмич хотел было последовать за ним, но вдруг опять увидел Лопухова. Вместе с Афанасием Синицыным он выбегал из дома, волоча что-то тяжелое, и как раз в это время из-под крыши стало медленно вываливаться горящее бревно, рассыпая крупные искры. Павел Кузьмич, кажется, закричал, а бревно все валилось и валилось и, наконец, ткнуло Афанасия в спину. Павлу Кузьмичу показалось, что удар был очень слабым,— один конец бревна так и остался висеть в воздухе, потому что другой защемило,— но Афанасий упал. На его спине задралась рубаха, задымилась и вспыхнула. Павел Кузьмич рванулся вперед. Горячий воздух обжег ему грудь, кто-то плеснул на него водой — тоже горячей,— он помогал Лопухову тащить тяжелого, обмякшего Афанасия и кашлял. А потом, когда исступленно закричала Наталья, он, кажется, тоже заплакал...

Уступая усилиям людей, огонь, наконец, стих, и тогда стало заметно, что уже светает. По небу бежали серые обвислые облака, но дождь кончился, от пожарища растекались черные ручьи, и черной же грязью были выпачканы руки и лица людей.

Мимо Павла Кузьмича прошел Лопухов, сгорбившись, опустив вдоль туловища грязные руки. Потом сел на траву, обнял колени и спрятал в них лицо. Павел Кузьмич подошел к нему и тронул за плечо.

— Иван, у тебя ожоги на руках...

Лопухов поднял голову, по щекам у него текли слезы.

— Да, да, надо завязать, пойдем... Или ожоги не завязывают, кажется.

Он суетливо встал, нетвердо, но торопливо зашагал рядом с Павлом Кузьмичом.

По дороге им попался Кашеедов.

— Ну что, как вы тут? — спросил он.

— Вы видели? — тоже спросил Лопухов.— Наталью жалко, ей жить, вспоминать...

— Да, нехорошо,— сказал Кашеедов.— Весь отпуск у нас, Кузьмич, полетел вверх тормашками. Теперь тут остаться — тоска зеленая загрызет.

Какое-то протестующее чувство шевельнулось вдруг в робком, угодливом Павле Кузьмиче. Ему было ясно, что Кашеедову нет никакого дела до случившегося, что думает он только о себе: о том, что отпуск его нарушен, что отдыхать и развлекаться вблизи людского горя ему неприятно и надо поскорей уезжать. И, повинуясь этому чувству, с замирающим от собственной смелости сердцем Павел Кузьмич отчетливо произнес:

— Ну и убирайтесь отсюда!

— Ты что, Кузьмич, белены объелся? — хохотнул Кашеедов.

— Кузьмич! Меня зовут Павел Кузьмич, если хотите знать! — вспылил он.

— А ну тебя! — махнул рукой Кашеедов.— Все сегодня с ума посходили.

К ним подошла их хозяйка. Она как-то потускнела, должно быть, потому, что всегдашние насмешливые улыбочки сползли с ее лица.

— Что Наталья? — быстро спросил Лопухов.

— Увели, затихла, не тревожь ее, голубчик,— сказала старуха.

Подошла Зиночка и тоже спросила про Наталью.

— Да, Наталью жалко, ей жить, вспоминать,— натужно повторил Кашеедов слова Лопухова.

— Вы руки обожгли,— сказала Зиночка Лопухову.— Пойдемте я сведу вас к врачу.

— Пустяки,— рассеянно ответил Лопухов, но все-таки покорно пошел за ней.

Кашеедов посмотрел на его сгорбленную спину, потом на потускневшее лицо старухи, почувствовал, очевидно, потребность сказать какие-то утешительные слова и сказал со вздохом:

— Н-да, ночка...

В тот же день он уехал. Лопухова не отпустили из больницы, и Павел Кузьмич всю ночь лежал один без сна на сене в сарае. Он все еще чувствовал себя протестующим и непримиримым и думал о том, что если бы это чувство родилось в нем раньше, то он, глядишь, был бы со-

всем другим человеком, независимым и прямодушным, и не попал под гнет кашеедовской дружбы, в которой он, как и на работе, занимал положение подчиненного. Ведь только считалось, что они дружат, а на самом деле Кашеедов, привыкший импонировать своей внешностью, грубоватыми манерами уверенного в себе человека, кажущейся широтой натуры, подавлял его, а он угодничал, льстил, и все это лишь для того, чтобы быть окруженным славой директорского друга...

Через неделю уезжал из деревни и он с Лопуховым. Была ветреная, но теплая ночь, на месяц набегали прозрачные облачка, от них поперек дороги скользили быстрые тени. Вскрикнул далекий паровоз, и, придавленное шумом леса, коротко отозвалось ему эхо. Павел Кузьмич вспомнил, что в городе его ждет встреча с Кашеедовым, что ему снова придется жить и работать в маленьком мирке их фабрики, случайно попавшем под власть этого спесивого и честолюбивого человека, и протестующее чувство вновь настойчиво и живуще всколыхнулось в нем, и он обрадовался ему, как чему-то новому и хорошему в себе.

Когда они вышли к полотну железной дороги, уже всходило солнце. Отливая холодным красноватым блеском, убегали вдаль прямые рельсы.

1954

ВЕСЕННИМ УТРОМ

Желтой дымкой тальника окутан май. Еще не цвели сады, не гремела первая гроза, не посеяны яровые, и кумачовый флаг над правлением колхоза, обновленный к Первомаю, еще не побледнел от солнца и дождей...

С утра на крыльце правления сидели двое — молодой парень из соседнего села Венька, по прозвищу Дикарь, и местный колхозник Евсей Данилыч Тяпкин. Оба они по своим делам дожидались председателя, который еще вчера уехал в дальнюю бригаду.

О деле Евсея Данилыча легко можно было догадаться, взглянув на его спутанную бороду, мутные глаза и водянисто-синие оплывы под ними. Конечно, сам он прямо ни за что не выдаст своего затаенного желания и будет уверять, что деньги нужны ему на «карасин», на мыло, на

олифу, но всякому, кто хоть немного знал Евсея Данилыча, было без слов ясно, что мужик находится, по его собственному выражению, «на струе» и пришел просить двадцать пять рублей из колхозной кассы, чтобы опохмелиться.

Куря Венькины папиросы, Евсей Данилыч часто поглядывал на свою избу. Делал он это неспроста, а потому, что, во-первых, опасался появления жены, а во-вторых, уж очень ветха была эта изба и, очевидно, говорила что-то неприятное остаткам его хозяйского самолюбия. Печально глядя на мир из-под осевшей крыши двумя мутными окошками, она словно собиралась вздохнуть и тихо пожаловаться неведомому сострадателю: «Тяжело мне, братец...»

И хотя ее ржавая крыша была увенчана высоченной радиоантенной, это отнюдь не свидетельствовало о благополучии в семье Евсея Данилыча, потому что самого приемника давно уже не было.

Однако по антенне можно было судить о том, что Евсей Данилыч знавал и лучшие дни. Теперь она всегда напоминала ему о том времени, когда он считался первым плотником в колхозе, играл топориком, как перышком, и не знал себе равных в искусстве выпиливать узорчатые наличники, которые каждому дому точно открывали широкие, ясные глаза. Тогда работа сама просилась в руки, и дом был — полная чаша. А потом (когда это началось, Евсей Данилыч и сам не углядел) работы стало меньше, получать за нее вовсе ничего не приходилось, и маленькое хозяйство Евсея Данилыча, как и большое — колхозное, быстро пришло в упадок. Другие мужики подались в город, на текстильную фабрику, на чугунолитейный завод, на песчаный карьер, а Евсей Данилыч, мужик застенчивый и неходовой, остался в колхозе и захирел совсем.

Вскоре после войны он было воспрянул, но не надолго. Тогда председателем выбрали бывшего фронтовика Степку Вавилова. Тот, казалось, повел дело с умом, а потом вдруг в чем-то не потрафил районной власти и, едва не попав под суд, тоже подался в город.

Сейчас о новом председателе, приехавшем недавно по своей воле из города, на селе опять упорно говорили, что-де больно хорош, что даже вот Степку Вавилова уговорил вернуться в колхоз, но лично Евсей Данилыч пока не видал от него ничего доброго и судить не торопился, желая еще посмотреть, даст он ему сегодня двадцать пять рублей или не даст.

— Вот какие, брат Венька, пироги,— вслух завершил он круг своих мыслей.

Венька ничего не ответил. Он сидел и, кося жгуче-черным глазом на дорогу, думал о своем. От успеха его переговоров с председателем зависело — останется он на все лето здесь, в Овсяницах, или ему придется искать работу в другом месте. Последнее было нежелательным для Веньки по двум причинам: во-первых, Овсяницы были близко от дома, а во-вторых, и это было главным, здесь жила Варька, которая за одну только прошлую зиму из долговязого конопатого подростка неожиданно для всех вымахала в ладную девку с темно-рыжей косой и зелеными русалочьими глазами.

Теперь Венька соображал, как ему лучше подойти к председателю. По слухам он уже знал, что новый овсяницынский председатель — мужик дошлый, копейки из рук не выпустит, а таких выжиг, как он, Венька, насквозь видит. Но с другой стороны, если человек всерьез задумал строиться — без Веньки и его «дикой бригады» ему не обойтись. Вот уже три года в ближних и дальних колхозах эта бригада рядилась строить коровники, телятники, хранилища, рвала за это жирные куши наличными, но работала, надо признаться, на совесть. Так зачем же, думал Венька, отказываться от дела, коли оно кругом, и нашим и вашим, выгодно? Нет, уломает он председателя, как пить дать!

— Вот, Данилыч,— подвел и он итог своим размышлениям.

Так они и сидели, не сознавая, что их уже разморило напористое весеннее солнце и что обоим не хочется ни говорить, ни думать, а только бы смотреть, как теплый ветер волнует новозданную зелень берез, да слушать, как пересвистываются в ней, словно разбойнички, работяги-скворцы.

Это блаженное состояние расслабленности и созерцания было нарушено появлением Варьки. Заметив Евсея Данилыча, она потопталась на месте и уже была готова повернуть вспять, но Венька окликнул ее:

— Ну, чего застеснялась? Иди, иди, не съедим.

Он бесцеремонно подвинул локтем Евсея Данилыча и, потянув за руку упиравшуюся Варьку, посадил ее рядом с собой.

— Куда ходила?

— На поле была, обмеряла. Сеют наши,— прерывисто

дыша, сказала Варька и затеребила конец зажатого в кулачке платка.

В семнадцать лет ей все было внове — и Венькина рука, лежавшая на ее плече, и почему-то ставший теперь таким волнующим запах обыкновенного табака, исходящий от него, и сознание его власти над всем ее существом, и то, что бешеный весенний воздух, стоит только поглубже втянуть его ноздрями, так и пронимает ее всю, до тонюсенькой жилочки...

— Не говорил еще? — тихо спросила она Веньку.

— Не приезжал, ждем.

— На поле был. Я думала, сюда поехал. Знать, завернул куда-нибудь.

Она тихонько повела плечом, стараясь освободиться от ставшей слишком вольной Венькиной руки.

— Ну-ну, чего? — снисходительно проворчал он.— Чего ты меня до сих пор дичишься, не съем.

— Едет! — подскочила вдруг Варька.— Ой, побегу... Едет!

Поправляя сбившийся платок и оскользаясь на весенней грязи, она пересекла улицу и ударилась прогоном в поле, разогнав по пути гомонливое стадо гусей.

— Ну и бес! — с восхищением сказал Евсей Данилыч, но сейчас же постарался принять озабоченно-почтительное выражение лица.

К правлению на белоногом жеребце, запряженном в какой-то нелепый извозчичий тарантас, подъехал председатель Коркин. В полувоенной фуражке, какие давно уже не продают, а шьют только по заказу, круглый, плотный и быстрый в движениях, Коркин соскочил с тарантаса, бросил в него кнут и привязал жеребца к балясине. Пока он это делал, Венька с независимым видом стоял на крыльце, а Евсей Данилыч топтался вокруг коня и нахваливал его на все лады. Он охлопывал его круп, трепал по шее, процеживал сквозь пальцы давно не стриженную гриву и, наконец, дал прихватить губами свое ухо.

— Ко мне? — спросил Коркин, ступая на крыльцо.

— Ну, председатель, давай рядиться,— развязно говорил Венька, идя вслед за ним по темному коридору.— Слышал, телятник тебе надо строить. Коль сойдемся в цене — вот он, я.

Коркин открыл ключом дверь, и все трое вошли в маленький, загроможденный конторского вида мебелью и сплошь заваленный початками кукурузы кабинет. Не пучки пшеницы, ржи или ячменя, а именно эти восковато-

желтые початки, как знамение времени, лежали на столах, подоконниках и в углах председательского кабинета.

«Не даст»,— подумал Евсей Данилыч, смущенный столь деловой обстановкой, и сел в сторонке, решив подождать, когда уйдет Венька.

— Слушаю,— сказал Коркин.

— Так будем рядиться, Григорий Иваныч? — спросил Венька.— А то перебьют у тебя мою бригаду устюжские, будешь тогда локти кусать. По рукам, что ли?

Венька, как в конном ряду, выставил из-под полы пиджака руку и задорно сверкнул на председателя своими угольными глазами.

— Двадцать тысяч дашь?

Евсей Данилыч восхищенно крякнул. Умеет же этот дикарь обстряпать дела... Эх, ему бы, Евсею Данилычу, такую хватку!

— Копейки не дам,— негромко отрезал Коркин.

— И правда! Ишь чего захотел... Двадцать тысяч! — сказал из своего угла Евсей Данилыч.— Да за двадцать-то тысяч, знаешь.

— Молчи ты,— огрызнулся на него Венька.— Смотри, председатель, промажешь. Восемнадцать — последнее слово.

Коркин засмеялся и пожал плечами.

— Не сойдемся. Ступай, мне некогда.

— Черт с тобой, двенадцать,— круто съехал Венька.— Пиши договор. Три — вперед. Да ты, видно, строить не хочешь! — усмехнулся он, увидев, что Коркин только махнул рукой.— Так бы и сказал сразу, нечего тогда тут лясы точить.

— Почему? Строить будем,— спокойно сказал Коркин.— Только нынче решили без дикарей обойтись. Довольно им колхозных денежек в карманы посовали. У нас свои плотники не хуже, и карманы у них не у́же. Так, что ли, Данилыч?

— Известно! — встрепенулся тот и про себя радостно подумал: «Даст».

— Станут они тебе за трудодни ломить,— снова усмехнулся Венька.— Нынче дураки-то повывелись. Вон спроси его,— кивнул он на Евсея Данилыча,— станет он за трудодни строить? А коли и станет, так через пень колоду. Глядишь, года через три поспеет твой телятник... Ну, скажи, старик!

Евсей Данилыч приник и, не найдя, что ответить, забормотал невнятное.

— А что ему не работать? — загорелся вдруг Коркин. Он выдернул ящик стола, схватил какую-то книжку и, чуть не отрывая страницы, стал листать ее.— Вот. По установленным нормам на трудодни он получает? За качество получает? За досрочное выполнение получает? Если утвердим его бригадиром — премию получает? Чего же ему еще?

Он дернул к себе счеты и быстро застучал костяшками.

«Все дело, подлец, испортил, рассердил человека,— с укором подумал Евсей Данилыч.— Теперь не даст».

А Венька не унимался.

— На счетах-то у тебя ловко получается. Чего только дашь-то под эти костяшки?

— Дадим,— уверенно сказал Коркин.— Вот решили дать аванс на трудодни по два с полтиной. И каждый месяц давать будем. У тебя, Данилыч, сколько трудодней?

— Чего там! — махнул Евсей Данилыч рукой.— Семьдесят, не знаю, наберется ли.

— Ну, твоя вина, что мало. Получишь всего сто семьдесят пять целковых.

— Когда? — спросил Евсей Данилыч.

— Да хоть сейчас. Если у бухгалтера готовы списки, иди да получай.

— Ну да? — изумленно и недоверчиво спросил Евсей Данилыч.— Сейчас можно получить?

Коркин внимательно посмотрел на него.

— Да ты, я вижу, проспался только сегодня. Еще позавчера решили на правлении авансировать по два с полтиной. Весь колхоз знает.

Не сказав в ответ ни слова, Евсей Данилыч поднялся и направился к двери. Весь предыдущий разговор, и особенно упоминание Коркина о том, что его, Евсея Данилыча, могут утвердить бригадиром, требовал немедленного реального подтверждения.

Когда через несколько минут он вышел на крыльцо, там уже стоял Венька и зло расправлял исковерканную во время разговора с председателем шапку.

— Ну и жмот! — ища сочувствия, сказал он Евсею Данилычу.— Тугой человек, одно слово.

— Да уж точно! — охотно согласился Евсей Данилыч, но в голосе его слышалось скорей восхищение, чем сочувствие.

Проводив взглядом Веньку, напропалую топавшего по загустевшей грязи, он выпул полученные сто шестьдесят

семь рублей, из них семнадцать тщательно упрятал за подкладку шапки, а остальные положил в карман.

К дому он подходил с лицом торжественным и лукавым. Сейчас он доставит себе маленькое удовольствие — покуражится, прикажет вздуть самовар, заставит чисто прибрать стол, откажется пить из надтреснутой чашки, а потом, когда жена будет доведена до предельного градуса и приготовится запустить в него какой-нибудь твердостью, вдруг объявит, что его хотят поставить бригадиром строительной бригады, и как бы в подтверждение этого бухнет на стол полторы сотенных... Знай, мол, наших!

А Венька между тем уже вышел за село и шагал по полевой дороге. Жаворонки трепетали в струящемся над полями воздухе, через дорожные колеи неуклюже перелезали еще сонные лягушата, рыженькая крапивница совершала свой первый полет, и Венька мало-помалу обмяк, захваченный и покоренный всеобщим праздником весны. Когда он нашел Варьку, то на лице его не было и тени прежней озабоченности и досады.

— Подрядился? — сияя своими русалочьими глазами, встретила его Варька.

— Куда там! — засмеялся он.— Такой тугой человек — не подступись. Придется в Устюжье ехать. Туда сами звали.

— В Устю-южье,— протянула Варька.— Да туда же сто километров...

— Сто десять,— поправил Венька.— Надо сегодня же подаваться, а то можно и упустить.

Он бросил на сухой закраек поля пиджак и предложил:

— Посидим.

Но Варька не двинулась. Опершись на свою рогатую мерку, она смотрела в землю, и по ее нахлестанным весенним ветром щекам блестящими струйками бежали слезы — слезы первого девичьего горя.

1955

РАССКАЗ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Когда мой брат, работавший по нашей семейной традиции плотником, ушел на фронт, я остался один-одинешенек не только в большом городе, кишевшем потесненным войною людом, но и во всем белом свете.

Перед отъездом брат, угрюмый, немногословный человек, сказал:

— У хороших людей тебя поселю. Баловать они тебе не дадут.

Он привел меня на окраину города, в дом с палисадником, за которым цвели мальвы, и сдал с рук на руки сморщенной, как печеное яблоко, старухе, бойко сыпавшей словами, точно подсолнуховой шелухой.

— Тебе у нас будет хорошо,— сказала она, провожая меня в комнату, а я смутно почувствовал, что будет наоборот. Привыкший к вольнице неоседлых плотницких бригад, я инстинктивно не доверял домам, где угарно пахло печами, по половикам ходили сонные кошки, на кроватях возвышались горы разнокалиберных подушек, а по углам, точно восковые, стояли фикусы.

Прощаясь, брат, как равному, пожал мне руку.

— Денег тебе не оставлю. Все передам хозяйке. По праздникам будешь получать от нее красненькую. Ну, учись.

И, не оборачиваясь, ушел по широкой, как площадь, окраинной улице, ушел навсегда из моей жизни.

В первые же дни оказалось, что в доме за палисадником самые простые и естественные поступки считались предосудительными. Нельзя было долго жечь электрическую лампочку, громко разговаривать, смеяться, а тем более приводить к себе приятелей.

Я был рад, когда нашу школу заняли под госпиталь. Теперь, сокращая пребывание в неприятном доме, мне приходилось идти через весь город на заводской поселок, где мы учились в недостроенном здании техникума. После занятий не спеша мы возвращались окольными путями домой. По дороге играли в расшибалку с незнакомыми мальчишками или заходили с дружком Сенькой Брагиным к реке, на рынок, в парк, на вокзал...

Кочуя по стройкам сначала с отцом, а потом с братом, я видел много городов, но ни один из них не полюбил так, как этот. Обилием зелени, многолюдностью, темпераментом жителей он напоминал приморские города юга, а вечером, когда над низкой поймой безбрежно разливался туман, эта иллюзия становилась полной. Мне было таинственно-интересно, незнакомому среди незнакомых, бродить по улицам, задевая плечами прохожих, заглядывать в окна домов, зачарованно устремляться вслед шагающим с песней солдатам, а по вечерам стоять на железнодорожном мосту и, вдыхая едкий запах угольного газа, наблюдать, как вни-

зу, словно в тесной яме, ворочаются, шипят, кричат на разные голоса темные махины паровозов.

В этом городе с какой-то обескураживающей внезапностью оборвалось мое детство, и под напором событий я шагнул в скороспелую юность военной поры.

Помню погожий день бабьего лета, с прозрачной, студено-хрупкой высью, с летящей по улицам паутиной, с шорохом палого листа на асфальте,— день, когда нас, восьмиклассников и девятиклассников, вызвали в городской комитет комсомола.

Оттуда я вышел повзрослевшим на несколько лет. Отныне нам вменялось в обязанность следить за состоянием светомаскировки во всем городе, и это была не игра, не мелкое общественное поручение, а облеченная полномочиями должность сотрудника штаба местной противовоздушной обороны. От начальника штаба мы получили именное удостоверение, ночной пропуск и право карать нарушителей штрафом, что особенно поддерживало в нас сознание ответственности и серьезности доверенного нам дела.

Пряча свои новые документы, я сунул руку в карман и нащупал там... рогатку. Я вынул ее, пропитанную желтым лаком, с тугой красной резиной, с узорной рубчатой рукоятью, и, как бы выполняя обряд прощания с детством, незаметно выбросил в мусорную урну.

Ночные бдения еще крепче сдружили меня с Сенькой Брагиным. Теперь у нас была вторая, незримая для других жизнь, которая, как общая тайна, скрепляла нашу дружбу.

Кто видел затемненный город после комендантского часа лишь случайно — засидевшись в гостях и потом украдкой пробираясь домой,— тому он мог показаться пустым, враждебным и зловеще мрачным. Но мы ощущали его иным. Шагая по гулким улицам, мы замечали то коротко вспыхнувший фонарик патруля, то в какой-то момент тишины и безветрия вдруг улавливали обрывок разговора зенитчиков на крыше дома, то останавливались, испуганные нечеловеческим звуком, каким заканчивается судорожно-сладкий зевок дежурного дворника, и в это время мы, двое мальчишек в кургузых поношенных пальтишках, наравне со всеми бодрствующими людьми, несущими охранную службу, были тоже в стане хранителей города, с полным сознанием своего долга барабаня озябшими пальцами в окна домов, аптек и магазинов: граждане, будьте бдительны!

У вокзала, возле мрачных пакгаузов и зерновых складов, на высоком фундаменте из белого камня стоял длин-

ный одноэтажный дом. Дважды мы заставали одно из его окон зиявшим, как светлая брешь в непроглядной ночи, и тут же принимали соответствующие меры: Сенька становился мне на плечи, дубасил кулаком в раму; за окном происходило движение каких-то теней и падал, разворачиваясь, рулон маскировочной бумаги. Но в третий раз мы решили составить акт о нарушении правил светомаскировки. Вошли в сени, нащупали клеенчатую дверь и постучали. Наверно, у нас был очень зловещий вид, потому что девушка, открывшая дверь, отпрянула в глубь комнаты и срывающимся голосом позвала:

— Папа!..

А у меня вдруг гулко застучала в висках кровь, надолго окутав сознание какой-то вязкой, отупляющей пеленой. Все дальнейшие события я воспринимал сквозь нее, став послушным исполнителем Сенькиной воли, которая неожиданно оказалась столь непреклонной, что потом я невольно проникся еще большей симпатией к своему другу.

Когда из соседней комнаты вышел плечистый мужчина в расстегнутом железнодорожном кителе, Сенька показал ему свой документ и объяснил, зачем мы пришли.

— Очень устаю, ребята, и забываю опустить у себя в кабинете маскировку,— сказал мужчина.

Он не оправдывался, ни единой ноткой своего голоса не просил о снисхождении, и это особенно располагало к нему, но Сенька с ледяной неподкупностью потребовал:

— Дайте, пожалуйста, чернила и бумагу, товарищ хозяин.

Он составил акт по форме, данной нам начальником штаба противовоздушной обороны, подписал его, предложил подписать мне, потом хозяину, и мы вышли.

Только на улице я очнулся от своего оцепенения и с уважением посмотрел на маленького, съежившегося от холода Сеньку, который не в пример мне проявил такое спокойно-деловитое мужество.

— А девчонка-то — заметил? — из нашей школы,— небрежно бросил Сенька.

Чудак! Ну кто же мог не заметить Алю Реутову!

Все мы — и я, и Сенька, и еще добрая половина мальчишек нашего класса — были тогда тайно влюблены в девятиклассницу Алю Реутову. В каждой школе есть такая властительница мальчишеских дум, даже не подозревающая, каким дружным поклонением она окружена. В присутствии этой девушки с прищуренными лукавыми глазами мы переставали быть самими собой: одни становились

робкими, тихими, другие, наоборот, неестественно возбужденными и дурашливо-шумными. На переменках, проходя мимо девятого класса, мы во все глаза смотрели на нее. Но случись кому-нибудь перехватить взгляд этих прищуренных глаз, как счастливец моментально вспыхивал и отворачивался. Эта игра была томительной и сладкой, и те дни, когда Аля почему-либо не приходила в школу, были для нас днями тоски, непонятной лени и рассеянности.

«Теперь мы оба сожгли свои корабли»,— подумал я, и против ожидания эта мысль вызвала во мне чувство облегчения и какой-то обновленности, точно жизнь моя круто повернулась к лучшему.

Наутро я шагал в школу, полный гордого сознания своей независимости, неся на губах презрительную усмешку для тех, кто еще не понял радости быть свободным от властного притяжения прищуренных глаз Али Реутовой и кто в своей ослепленности еще находил их лукавыми, тогда как для меня они были просто близорукими. Юнец! Я и не подозревал, что это заземление ее образа откроет мне в нем новые стороны, осветит новым очарованием, даст ему еще более неодолимую силу притяжения и что теперь Аля Реутова не пройдет в моей жизни бесследно, как прошла бы, оставаясь недосягаемо-прекрасной, неземной Алей, окруженной ореолом вымышленных нами достоинств.

В этот же день на большой перемене Аля подошла ко мне и категорически заявила:

— Я записываю вас в драмкружок.

Я мог ожидать, что она заговорит со мной о нашем ночном визите, но уж никак не о драмкружке, и приготовился к замаскированному подвоху с дальним прицелом.

— Но я не умею играть,— осторожно сказал я, чувствуя, однако, что щеки мои сжигает жар.

— Научитесь,— уверенно сказала Аля.— Надо только уметь перевоплощаться. Я записываю вас.

Я знал, что сама Аля готовится стать актрисой и, полагая, будто нет выше призвания служить искусству сцены, не примет никаких возражений даже от нескладного, долговязого парня с бровастым лбом и большими рабочими руками. И я сдался.

Друг Сенька по поводу моего вступления на сценическое поприще высказался так:

— Штаны у тебя драные и валенки проволокой подшиты. Ар-р-р-тист!

Кружковцы дали мне роль Лопахина в «Вишневом саду».

— Музыка, играй! Пускай все, как я желаю! Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За все могу заплатить! — ревел я и буйно размахивал руками, точь-в-точь как это делал, бывало, мой подвыпивший отец.

Раневскую играла Аля, и я должен был пожимать ей руку. Пальцы у нее были такие нежные, что я мог бы раздавить их, словно гроздь винограда. Нетвердыми шагами (Лопахин был пьян) я подходил к столу, на который она беспомощно облокотилась, брал эти пальцы в свою большую горсть и тихим от нежности голосом говорил.

— Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь.

Тихого от нежности голоса, по мнению режиссера, не получалось...

Постепенно я привык к Але и уже не цепенел в ее присутствии от смущения. Застенчивость пропала, и тогда появилось необоримое желание быть всегда около нее, слышать ее голос, видеть ее плавные, немного наигранные движения: вот она подняла руку, вот поправила тяжелые волосы, вот села, вот встала, пошла...

Однажды у нас в школе появился маленький раскосый парнишка, сдернул у входа ушастую шапку, спросил, где найти директора, и быстро побежал на второй этаж, обметая лестницу полами длинного тулупа. А после уроков директор объявил, что комсомольцы пригородного совхоза просят наших кружковцев выступить у них.

В совхоз нас везли мохнатые рыжие кони, бежавшие упрямо-однообразной трусцой и круто фыркающие на подъемах. Стоял март, но оттепелей еще не было, и даже днем, когда в стылой мартовской сини плавало туманное солнце, все равно дул, свистел, рвал жесткий ветер, переметая сухой, колючий снег.

В совхозном клубе царил застоявшийся промозглый холод; Аля, утонув подбородком в пушистый воротник волчьей дошки, стояла посреди пыльной сцены, презрительно морщилась и капризничала. Уступая причудам своей «примы», драмкружковцы решили вместо «Вишневого сада» показать какую-то маленькую пьеску, а потом что-нибудь спеть и потанцевать.

Ни Аля, ни я не были заняты в этой пьеске и остались за кулисами. Кутаясь в дошку, подобрав под себя ноги, она сидела на провалившемся диване, задумчивая, отчужденная, и, не мигая, смотрела на коптящий огонек кероси-

новой лампы. Вероятно, ей было просто холодно и хотелось домой, но мне (особенно после того, как она задала кружковцам такого трезвону) казалось, что ее тонкую артистическую натуру глубоко оскорбляют и эта пыльная сцена с раскрашенными лоскутьями вместо декораций, и этот продавленный диван, и керосиновая вонь, и сам я со своими подносившимися штанами и подшитыми проволокой валенками. И я был уверен, что никогда не решусь подойти, взять ее руку и не на сцене, а в жизни сказать нежные, проникновенные слова, из которых она поняла бы, что я люблю ее.

Экзамены в то время мы сдавали коротко и просто: сочинение, контрольная работа по математике, и вот перед нами длинное каникулярное лето с июня до октября. Не знаю, что я стал бы делать с такой массой свободного времени, если бы нас снова не послали в тот же совхоз, но уже в качестве подсобных рабочих. Кажется, именно с тех пор я возненавидел пшенную кашу и полюбил тихие деревенские вечера с кваканьем лягушек, писком стрижей под крышей, с росной прохладой, плывущей из поймы. Я часто сиживал один на пороге сенного сарая при конном дворе, где мы ночевали, вслушивался в мирные звуки уходящего дня, и никак мне не верилось, что где-то на этой земле грохочет бой, рвутся снаряды, пляшут красные отблески пожаров и стелется понизу черный дым.

Но война, как всегда, жестоко и грубо заставила нас всех поверить в это. Она вошла в наш город в своем обычном трагическом обличье — с кирпичной пылью развалин, стонами раненых, слезами по убитым... Мы не слышали приглушенных расстоянием сигналов воздушной тревоги и проснулись только тогда, когда увесистые разрывы, непохожие на хлопушечные выстрелы зениток, вдруг потрясли стены нашего сарая. Столпившись у дверей, мы молча смотрели в сторону города, а заметив на облачном небе дрожащий отсвет, не сговариваясь, побежали на него по истерзанной дождевыми потоками дороге.

Я плохо помню эту ночь, вероятно потому, что был одержим одной мыслью: скорей увидеть живую Алю. Когда на мой истерический стук вышла заспанная женщина в длинном халате, очевидно ее мать, я мог произнести только одно слово:

— Аля...

Женщина удивленно посмотрела на меня и сказала:

— А она в деревне, у бабушки.

Быть может, виною тому был спокойно-удивленный тон

этих слов, а может быть, мне до обидного напрасными показались мои ночные треволнения, но только я вдруг почувствовал, что меня нагло, несправедливо и насмешливо обманули в чем-то очень большом и важном для всей моей жизни.

Уже светало, когда я шел по улицам, неузнаваемо изменившимся за эту ночь. И перемена была не в том, что кое-где дымились еще теплые развалины, хрустело под ногами битое стекло, что, воя сиренами, проносились машины «Скорой помощи», и не милиционеры, а регулировщики в серых армейских шинелях давали им «зеленую улицу»,— нет! Изменился сам дух города, запечатленный, как в зеркале, в посуровевших лицах встречных людей.

Если бы тогда я был более силен в знании жизни и самого себя, то, несомненно, понял бы, что так больно уязвило меня в то утро. Ведь никогда Аля, самый любимый мною на земле человек, не была там, где нам всем приходилось трудно и горько. Быть может, это выходило случайно? Не знаю...

У развалин кинотеатра я встретил Сеньку.

— Сенька,— сказал я ему,— идем добровольцами на фронт.

— Идем,— ответил он.

И мы скрепили это решение клятвенным рукопожатием.

В горвоенкомате мягко, увещевательно отказали в нашей неистовой просьбе, и первого октября для нас начался обыкновенный учебный год с тетрадками, уравнениями, четверками за поведение, а для меня еще и с прежней влюбленностью в Алю Реутову.

Ради того, чтобы чаще видеть ее, я продолжал ревностно исполнять свои актерские обязанности. Однажды случилось так, что после затянувшейся репетиции мы вышли из школы вместе. Я сразу же постарался соблюсти благопристойный интервал в полшага, но Аля с грубоватой усмешкой в голосе сказала:

— Ты бы хоть под руку меня взял. Так скользко, что и шлепнуться можно.

Это, конечно, была не более чем обыкновенная товарищеская просьба, с которой бы она обратилась ко всякому из нас, кто шел с ней после репетиции в одном направлении, но я воспринял эту просьбу как великое счастье.

Была оттепель; тяжелый ветер, пахнущий мокрым снегом, дул из темных провалов улиц, и в голове у меня на-

чинался какой-то еralаш. Благо Аля сама всю дорогу говорила без умолку, так что мне предоставлялась возможность молчать или отделываться разнообразными интонационными вариантами «м-да», значение которых она могла истолковывать, как хотела.

Возле дома Аля остановилась и сказала:

— Можно было бы поговорить еще, но меня сейчас, наверно, позовут.

И действительно, хлопнула дверь, кто-то вышел на крыльцо и окликнул ее.

— Это мама,— заговорщицки шепнула она. Глаза ее зеленовато сверкнули в темноте.— Ты любишь читать?

— Люблю.

— Я тоже люблю. Ты знаешь: конец в книге я сама придумываю, если он мне не нравится.

— Альбина! — еще раз позвали с крыльца.

— Иду! — капризно крикнула она и добавила тихо, для меня: — Мы еще поговорим, потом... Хорошо?

А на другой день, стараясь скрыть смущение, я с нарочитым усердием обивал голиком валенки в сенях у Реутовых. Вопреки моим надеждам, отец сразу же узнал меня и, коротко блеснув усталыми глазами, сказал:

— А тогда по вашей милости мне сто рублей штрафу припаяли.

В комнате, куда я попал из кухни, уютно горела лампочка под большим голубым абажуром с бахромой, которая качалась при каждом ударе дверью, разгоняя по стенам мягкие тени. Здесь мы пили чай, а потом перешли в Алину комнату, сплошь увешанную географическими картами, ковриками, фотографиями и картинками. Все мне нравилось в этом просторном теплом доме (особенно если принять во внимание, что последнее качество было в то время редкостью и ценилось очень высоко), и я старался незаметно притрагиваться ко всем вещам, окружавшим Алю, словно надеялся унести с собой частицу их тепла, чистоты и, может быть, ее самой.

Как-то Аля сказала мне, что летом уедет в Москву учиться. С тех пор меня не покидало тягостное предощущение разлуки, и как бы вне связи с этим я заводил разговоры о том, что учиться можно и здесь, в нашем городе, вспоминал все нелестные для Москвы пословицы: «Москва слезам не верит», «Москва денежки любит», и ясно видел, что моя хитро сплетенная дипломатия ни к чему не приведет.

В десятом классе еще шли экзамены, а мы уже опять работали в совхозе. Рассчитав примерно, когда должна уезжать Аля, я отпросился в город и успел как раз вовремя.

Когда я вошел в знакомый дом и увидел, что все вещи в нем сдвинуты, на полу стоят открытые чемоданы, а у Алиной мамы заплаканные глаза, то понял, что надвинулось то непоправимое и страшное, чего я тайно боялся все это время.

Аля снимала со стены свои картинки. Я не сказал ни слова, а только смотрел на Алю и видел, что у нее тоже заплаканные глаза и красный кончик носа.

— Вот и уезжаю,— сказала она.— Сейчас здесь хаос и все злющие... Ты иди. Мы с тобой увидимся на вокзале. Придешь?

Сзади раздались чьи-то шаги.

— Ну иди же! — требовательно сказала Аля.

Я вышел. Кто-то встретился мне в другой комнате, кто-то поздоровался со мной, но я не ответил. Я направился прямо на вокзал и сел там на лавочку.

По хрустящим шлаковым дорожкам ходили железнодорожники, удивленно и подозрительно посматривая на рослого парнишку в сапогах и в потрепанном пиджаке, сидевшего неподвижно до тех пор, пока не стемнело. Тогда к нему подошла девушка, тоже высокая, но очень тоненькая, одетая просто и тепло, как одеваются в дорогу, и повелительно сказала:

— Пойдем.

Мы отошли в тень вокзальных лип, при каждом дуновении ветра роняющих дождь прелого цвета.

— Я тебе напишу из Москвы. Ты мне тоже напишешь... Что же ты молчишь? — спросила Аля.

— Не уезжай,— глухо сказал я, впервые высказав прямо то, что скрывал до сих пор за полунамеками.

Аля грустно улыбнулась,— так она улыбалась, когда играла Раневскую.

— Ну как же я не поеду?

— Не знаю. Не уезжай...

У вокзала, в полосе приглушенного маскировочным колпаком света, показалась Алина мама. Она нетерпеливо оглянулась по сторонам, потом крикнула:

— Альбина!

— Там при наших неудобно будет прощаться,— сказала Аля.

Мы стояли друг против друга, не решаясь сделать раз-

деляющий нас шаг; она первая потянулась ко мне, взяла за плечи и поцеловала в губы...

Потом я шел за ее поездом прямо по шпалам, а потеряв из виду зыбкий красный огонек последнего вагона, сел на откос в пыльную полынь и заплакал.

«Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь...»

Когда я вспоминаю свою жизнь, наступившую после отъезда Али, она представляется мне плотным сгустком событий, спрессованных в несоразмерно малом объеме времени. За какие-то три месяца я успел проделать внешне простой и прямолинейный, а внутренне трудный и сложный путь от школьной скамьи и полудетских взглядов на мир до стрелковой роты с ее суровым писаным и неписаным уставом жизни.

Первым шагом на этом пути было решение немедленно, как только получу от Али письмо, ехать вслед за ней в Москву. К тому времени у меня назрел окончательный разрыв с хозяевами дома, в котором я жил. Им не нравились мои ночные отлучки, поздний стук в дверь, а мне была противна вся их копеечная жизнь с вечным нытьем над куском хлеба и та, свойственная ограниченным людям нетерпимость к самостоятельности постороннего человека, какую они проявляли по отношению ко мне. Надо было искать работу и переходить в школу рабочей молодежи. «А если так,— рассуждал я,— то не все ли равно, где начинать новую жизнь: здесь ли, в Москве ли...»

Сборы мои были короткими. Очевидно, по наследственности легкий на подъем, я не страшился дальних дорог и незнакомых городов.

Сенька пришел на вокзал провожать меня и принес свое самое драгоценное имущество — гитару и огромную, как противень, готовальню.

— Вот,— хмурясь, сказал он,— загонишь по дороге, если будет туго.

Мимо нас поплыли вагоны. Я вскочил на подножку и через плечо кондуктора смотрел, как уходят назад и в прошлое пакгаузы, зерновые склады, длинный дом на высоком каменном фундаменте и маленькая, сгорбленная фигурка Сеньки, стоявшего на сквозном дорожном ветру...

Путь до Москвы я вспоминал с неохотой. Билет у меня был только до ближайшей станции, а пропуска, который требовался тогда для въезда в столицу, и вовсе не было. Большую часть этого пути я проделал, хоронясь от пат-

рулей и контролеров, под лавочкой, на подножке или за чужими чемоданами на верхней полке.

Алю я нашел легко. Она жила в одном из кривых арбатских переулков, снимая угол у крохотной аккуратной старушки, которая по утрам пила кофе, процеживая его через серебряное ситечко, а потом целый день читала «Поваренную книгу, подарок молодым хозяйкам» или «Войну и мир».

Когда в день приезда я появился у Али, она очень обрадовалась мне.

— Это мой земляк... Смотрите же, это мой земляк... Он из нашего города, земляк,— без конца повторяла она старушке, а потом вдруг спросила, не привез ли я от ее родителей продуктов или денег.

Я сказал, что мне и в голову не пришло зайти перед отъездом к ее родителям.

— Ах, какой ты!..— с досадой сказала Аля.— Ехать в Москву и не захватить от наших продуктов!

Вечером мы вышли погулять. Вовеки не забуду радостного изумления, охватившего меня, когда под грохот пушек над городом вдруг расцвели снопы ракет и, отражаясь в иззелена-черной воде Москвы-реки, медленно сгорели в вышине. Мы стояли на Крымском мосту, вокруг нас никого не было, и в наступившей после новой вспышки темноте я, смелый от восторга, поцеловал Алю в глаз.

— Теперь салюты каждый день. Иногда даже по два и по три,— сказала она, расправляя пальцем помятые ресницы.

А мне вдруг почему-то вспомнился промерзший совхозный клуб и холодная, отчужденная Аля, пристально смотревшая на коптящий огонь керосиновой лампы. Почему? Но слишком много было в тот вечер отвлекающих обстоятельств, чтобы заниматься этим вопросом.

Утром моросил гнусный ледяной дождичек, какой по странным метеорологическим особенностям климата бывает только в Москве. Переночевав на вокзале, я с тяжелой головой, резью в глазах и противным дезинфекционным привкусом во рту ходил по улицам, читая в витринах «Мосгорсправки» объявления о приеме на работу. Наконец я нашел то, что мне было нужно. Строительная контора (дальше следовало длинное нечленораздельное слово) принимала рабочих разных специальностей, в том числе плотников. Внизу мелкими буквами значилось: «Одиноким предоставляется общежитие». С какой мрачной иронией глянуло это слово на меня, действительно начинавшего ощу-

щать себя одиноким и потерянным в этом огромном городе, окутанном игольчатой пылью дождя!

Мне пришлось ехать на электричке до маленькой дачной станции, где я и нашел строительную контору за сплошным забором из свежего горбушинника, а вечером, претерпев мытарства санобработки, уже старательно оскабливал сапоги на пороге дощатого здания барачного типа, ставшего отныне моим домом.

С Алей я виделся почти каждый вечер. Все время она находилась в каком-то подавленно-раздраженном состоянии и даже радостные известия сообщала мне с нехорошей кривой усмешкой в углу рта.

— Сегодня...— она называла имя знаменитой артистки,— сказала, что у меня очень своеобразное дарование, к которому трудно подобрать педагогический ключ. И это хорошо, но только мне никогда не надо сниматься в кино. Чушь какая-то...

Оживлялась Аля только в те дни, когда получала из дому деньги. Она шла в коммерческий магазин, покупала там сладости и разные деликатесы, ела их с утра до вечера, а спустя неделю спрашивала меня:

— У тебя есть деньги? Дай мне, пожалуйста... Или лучше — вот тебе карточка, иди выкупи хлеб.

Безрассудный от счастья самопожертвования, я отдавал ей все, что у меня было, а потом с тоской и болью понимал, что скоро опять потеряю ее.

И вот я снова стою на вокзале — незадачливый герой очередной перронной драмы. Как странно, что самые тяжелые минуты моей жизни непременно оказываются связанными с вокзальной сутолокой, с нетерпеливыми вздохами паровоза, с конвульсивно прыгающей стрелкой электрических часов и с тем особенным ароматом перрона, в котором смешались запахи карболки, угольного газа, мазута и металла...

На исходе ноябрь; падает редкий снег, видимый только под колпаками фонарей; мы стоим у поручней вагона, и я в последней надежде лепечу тусклые слова о временных трудностях, о силе воли, о том, что я буду работать изо всех сил, но по счастливому лицу Али вижу, что она уже не моя, что вся она там, за сотни километров отсюда, в спокойной, теплой и уютной жизни родительского дома.

Аля, прощай!

Через несколько дней я проходил приписку в райвоенкомате. Там же мои более осведомленные сверстники на-

учили меня не ждать мобилизации, а идти добровольцем: мобилизованных отправляли в училище, а добровольцев — сразу на фронт. И мы написали одно общее заявление, поставив под ним длинный ряд подписей...

На этом можно было бы закончить мой рассказ, если бы совсем недавно сама жизнь не продолжила его.

Окончив военную академию, я был направлен в Н-скую пехотную часть, путь в которую лежал через город, где началась моя юность. Как преобразился он, скинувший грязно-зеленую маскировочную краску, эту вынужденную одежду войны, и ставший от этого шире, светлей и еще похожей на темпераментный южный город!

До отхода поезда было четыре часа. Купив цветов, я поехал на кладбище. Плакучие кладбищенские березы, шумя, наклонились все в одну сторону — по ветру, и их тонкие ветви трепались, как неприбранные волосы. Яркие летние тени бегали по траве, по холмикам могил, по старым крестам, по серым каменным плитам. Глухонемой сторож, поняв наконец, что мне нужно, проводил меня в глубь кладбища, к чугунной ограде, за которой хоронили воинов, умерших в городских госпиталях, и там я нашел маленький обелиск с пожелтевшей фотографией в траурной рамке и с надписью: «Гвардии рядовой Семен Александрович Брагин, 1925—1944».

Да, по странной прихоти судьбы раненый Сенька был эвакуирован в родной город и скончался в занятой под госпиталь школе, где когда-то впервые открыл букварь.

Конечно, я вспомнил и об Але. Вернее, воспоминание об этой первой робкой любви неистребимо жило во мне всегда, потому что не самое ли это счастливое, трогательное и очаровательное воспоминание юности?

Возвращаясь на вокзал, я прошел мимо ее дома. На крыльце стояла высокая полногрудая женщина и выколачивала ковер, перекинув его через перильца. Прежнюю тоненькую стройную девочку Алю она напоминала разве характерным прищуром близоруких глаз, и я прошел мимо, слегка лишь замедлив шаг. Мне показалось, что если заговорю с ней, то это будет посягательством на прекрасное воспоминание моей юности, чистое, как тот памятный запах цветущих лип, и грустное, как те чужие слова, которые мое воображение наполняло иным, своеобразным содержанием: «Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь...»

1955

В БЕССОННУЮ НОЧЬ

1

Как и обычно, с половины зимы у Никона начали стыть ноги. В предчувствии изнурительной бессонницы потолкался он, тоскуя, дня два из угла в угол, потом залез на печь и стал смирно дожидаться «своего часу». Ждал Никон весны, солнечного тепла, сухого ветра и уже задолго до первой капели все ловил привычным ухом ее ободряющий звон. Он всерьез беспокоился о том, что или весна опоздает, заплутавшись в текучих буранных снегах казахских степей, или болезнь, поспешив, прихлопнет его, как тугая мышеловка.

Хорошо еще, что не в одиночестве коротал Никон эти зимние дни. Тогда дома были и сын, и сноха, и внучка Марька; забегала проведать его скотница Мотя Фомина, а потом еще поселились два комсомольца из соседнего целинного совхоза. На этих двух Никон постоянно сердился, и особенно на длинного, рыжего, с кошачьими глазами Кольку, которого звал не иначе, как Колгата. Тот всегда суетился, шумел, ко всем приставал и дразнил Никона всякой ересью, вроде той, что верблюдов можно кормить кнопками, булавками, патефонными иголками и бритвенными ножичками. Или врывался с морозной улицы, скидывал, приплясывая, куцую телогрейку и начинал кричать:

— Разве это местность! Во все стороны ни одного деревца, а! Избы из глины, а топят их — смех один! — коровьим дерьмом! И тоже непонятно, на какой точке земли мы находимся. Слева — Россия, а подался чуть вправо, за овражек — глядишь — там уже Казахстан.

У Никона, потомка тульских переселенцев, мужиков голубоглазых, отупело упорных в поисках своей доли, начисто выветрилась тоска по лесным краям, которую они принесли с собой на эти неоглядные земли. Ничего не было для него милей степи, кисловатого запаха кизячного дыма и лазурного купола неба, неохватно раскинувшегося над головой. Степь не казалась ему, как иному пришлому человеку, ни однообразной, ни скучной. Она была какая-то завлекающая, рождающая сложное, но легкое чувство свободы, окрыленности, умиротворения, грусти и прочей, трудно объяснимой словами чертовщины. Стоило Никону выйти в степь и вдохнуть ее простор, как его уже подмывало закинуть сапожки через плечо и пуститься встречь

ветра по мягкой пыли суглинных дорог, не помыслив даже о «подъемных», которыми так хвастался Колька.

Но объяснить все это Кольке у Никона не хватало слов. Он только сердился, взмахивал сухими руками и кричал в ответ на его дерзкие речи:

— Эва! Был я годов двадцать назад в лесе-то. Подумаешь, диво! И небо-то совсем не видать. Как только люди там живут, мне удивительно! А здесь-то... Боже ты мой! Шагнул за порог — и смотри во все стороны... Вот и выходит, что Колгата ты после этого, и больше ничего. Колгатишь, колгатишь — все попусту, все кобелю под хвост.

— Брось, дед,— не унимался Колька.— Куда смотреть-то?

— Как это — куда? В степь.

— Да на что? Она ж пустая.

— Пустая?! — ахал Никон.— В душе у тебя, знать, пусто, милок, как в том барабане! Ступай от меня к чертовой матери! Пошел, пошел в горницу!

На Колькиного приятеля Генку Залихватова он сердился по другой, особой причине, но обходился с ним молчком, так что самому Генке, пожалуй, было и невдомек, почему это старый хрыч Никон надулся на него, как мышь на крупу.

Не догадалась и Марька, зачем однажды в ту редкую минуту, когда дед покидал свою печную обитель, он присел к ней на кровать и, потрогав за плечо, сказал:

— Нут-ка, хватит спать-то. Ты поговори со мной... Вот не сплю я, ноги у меня стынут, маятно это — не спать-то... Ты поговори со мной.

— Ну, чего ты, дед? — спросила Марька, с неохотой размыкая сонные веки.

А он смотрел на ее грудь, мерно приподнимавшую тяжелое одеяло, на сильную шею, на широкие строгие черные брови, на смуглый и упрямый рот и думал о том, что она давно уже не та козлоногая, любопытная ко всему Марька, которой был нужен родительский укорот, а сама себе хозяйка и что совсем ей теперь ни к чему докучливые дедовы наставления.

— Да так я,— виноватым голосом сказал он,— не спится чего-то...

И опять ушел на печку.

Иногда Колька Колгата заводил патефон, который привез с собой. Перед каждой пластинкой он на весь дом орал:

— Шульженко!..

— Бернес!..

— «На крылечке»!..
— «Сильва»!..

Колькины песни не нравились Никону, лишь «Каховку» он слушал с удовольствием и почему-то в том месте, где говорилось о стоящем на запасном пути бронепоезде, ему становилось грустно. А потом Колька, видно по нечаянности, поставил пластинку, которую раньше никогда не заводил, и вдруг тихий хор мужских голосов задумчиво, скорбно и сурово запел:

Товарищ, болит у меня голова...
Тревога промчалась над нами —
От крови друзей почернела трава.
Склони свое красное знамя.

Перед глазами Никона, ослепив его, вдруг полыхнуло, словно сгусток живого огня, красное, освещенное солнцем полотнище, и старика, как боль о невозвратном, как счастливое, но безнадежно краткое ощущение молодости, пронзило ясное, почти осязаемое воспоминание. На миг увидел он себя под этим знаменем красногвардейского отряда конником с выцветшими на степном солнце глазами, с однобокой от контузии улыбкой, и у него вдруг мелко-мелко задрожали руки, которыми он свертывал себе покурить.

— Ну-ка, сызнова эту! — приказал он.

— Тягуча больно, дед,— попробовал возразить Колька.

— Ну, ты! — строго прикрикнул Никон.— Поспорь у меня!

И было в его голосе что-то такое, отчего Кольке первый раз не захотелось подразнить деда. Он поставил снятую было пластинку и спросил:

— Что, понравилась?

— Хорошая песня,— просто сказал Никон.

Пластинка пошуршала, и снова хор голосов внятно проговорил:

Товарищ, болит у меня голова...

Никон слушал, закрыв глаза, покачиваясь из стороны в сторону. Он вспомнил, что в отряде молодые бойцы прозвали его «Стариком», и сейчас усмехнулся этому, как сущей нелепице: ему тогда было едва за сорок.

— Я ведь тоже в гражданскую воевал,— сказал он, когда песня кончилась.

— Дык ведь это не про гражданскую,— сейчас же встрял Колька.

— Ну, там не сказано про какую,— уклончиво ответил

Никон, не расположенный спорить.— Она, значит, ко всякой правильной войне приспособлена. Не в этом суть. Я про что говорю? Прятался я однова в яме от банды Викулина. Лихой был атаман. Речи умел говорить — что твой дипломат. Я его разов десять, наверно, слушал, когда он еще за совецку власть говорил. А после она ему что-то разлюбилась. Уманил он смутными речами за собой всякий неустойчивый элемент и пошел шастать по селам, большевиков постреливать. Гоняли мы его по степи, наверно, с полгода. А потом сами промашку дали. Пощипал он нас в одном селе — ну, прямо скажу, как коршун клушку. Вот и влетел я тогда в яму-то, откуда глину на саман брали, там и хоронился семь ден. Водицы — той на дне чуть прикапливалось после дождя, а вот ел-то уж всякую нечисть — мокриц там, червяков...

— Ври! — не выдержал Колька.— Разве можно мокрицу от какого хошь голода слопать? Это уж ты загнул, дед.

— А банда? — нетерпеливо спросил Генка.

— Что ж банда? Извели, конечно. Куда ей деться? И Викулина извели. Всех, до последнего корня.

— Не знает Ворошилов про твои заслуги, он бы тебя орденом наградил,— гмыкнул Колька.

Никон с укоризной покачал головой. Он был так умягчен своими воспоминаниями, так растерян от неожиданности их беспорядочного набега, что потерял на время всю запальчивость в спорах с Колькой.

— Я, милок, еще помню, как деревянными плугами пахали,— сказал он без всякой связи со своим предыдущим рассказом.— А уж после, когда лобогрейку в село привезли, мужики-то, как на диво, на нее глазели. Иные колгатят вроде тебя — на кой она, дескать, нам сдалась? Разбить ее к чертовой матери! Потому — боялись, работу она у них отобьет. А старики тут же: га-га-га, га-га-га. Ровно гуси. То ли, мол, будет, мужики. Всю землю проволокой опутают, а по небу железные птицы полетят, станут вас по башкам клювами долбанить. Вот оно как, милок...

2

Когда, наконец, тронулись степные овраги и ветер дохнул запахом снеговой воды, когда мутная, глинистая река до краев налила оросительные лиманы и закричали над ни-

ми стаи пролетных гусей, Никона охватила нетерпеливая тревога.

Дом опустел. Колька и Генка уехали в совхозные палатки, домочадцы теперь с утра до вечера работали в колхозе. Лишь, как и прежде, забегала проведать Никона скотница Мотя Фомина. Великая это была женщина в смысле обилия материнской любви ко всякому живому существу. И даже в ее внешнем облике природа постаралась отразить это свойство, наградив такой грудью, что ею, казалось, можно было выкормить роту полновесных младенцев. Она была уже немолода, лет сорока, но так и не вышла замуж. Как-то Никон глядел на нее — коротконогую, нескладную, с волосатыми бородавками на мягком лице — и сказал с сожалением:

— Тебе, Мотя, ребеночка нужно.

А она вдруг закрылась большими жилистыми руками и заплакала.

С тех пор Никон, забывая, что слишком часто повторяет одно и то же, спрашивал:

— Ну что, Мотя, нет еще ребеночка?

И она со спокойной, обжитой грустью отвечала:

— Нет, Никон Саввич. Где уж мне!..

По-прежнему Никону не спалось по ночам. Проснувшись, он слышал, как на дворе терлась о стену скотина, ухал невдалеке железной крышей школы ветер и кричали, кричали на лиманах гуси.

Сдерживая дрожь в ослабевших коленях, он слезал с печи и выходил за порог. Степные апрельские ночи давили на землю сплошным слоем тьмы; ни щелочки света не было в нем, куда ни глянь, лишь побеленные прутики яблоневых саженцев, как хилое племя каких-то духов, толпились у порога.

Холодный ветер стегал по лицу колючей крупой. Был бискунак — дни, когда казахи чтят память пятерых гостей, замерзших во время бурана в степи. И с аккуратностью, всегда удивлявшей Никона, каждый год в эту пору апреля, когда давно уже пылят дороги, когда на буграх проклюнутся золотистые одуванчики и по селу вовсю пересвистываются скворцы, откуда-то приносился, словно напоминание о давнишнем несчастье, этот недобрый ветер.

— Ох, напасти!.. Ну их совсем, ей-богу!..— ворчал Никон.

В эти дни вдруг появился Генка. Он заскочил в дом, сорвал с головы шапку и в растерянности застыл у порога, очевидно пораженный непривычной тишиной.

— Ну, чего заробел? Входи,— сказал Никон с печи.

Он уже забыл, что постоянно сердился на ребят, без которых ему стало скучно, и теперь очень обрадовался Генкиному приходу. Давно привыкнув к полутьме кухни, он свободно разглядывал Генку, стоявшего внизу, и с удовольствием отметил, что тот — парень ничего: из себя видный, и лицо у него широкое, доброе, даром что фамилию он носит бедовую — Залихватов.

— Наверно, на стану живете? — спросил Никон.

— Пашем уж, дедушка, давно,— охотно отозвался Генка.

— Не сеяли?

— Нет.

— И то рано, погодите. Ну, а Колгата как там?

— Ничего. На пахоте по двести сорок процентов выжимал.

— Колька-то?! Колгата-то?! — изумился Никон и тут же, точно оспаривая чье-то мнение, прибавил: — Он парень проворный. Ты не гляди, что он рыжий да колгатистый, он, брат, хваткий.

Генка решительно нахлобучил шапку.

— Марьки-то нет, дедушка?

— Ты зачем в село-то пришел? — спросил Никон, словно не замечая его вопроса.

— За папиросами.

— А у вас-то неуж там нет?

— У нас не той фабрики, мне «Яву» нужно.

Генка ушел, а Никон весь день чувствовал себя очень хитрым и все тихонько посмеивался и качал головой.

Утром на потолке против окна, точно фонарь, зажглось крупное солнечное пятно, перерезанное крестообразной тенью рамы. Оно медленно поползло по стене вниз, осветило ходики, календарь, сморщилось на складках ситцевой занавески и, наконец, овальным блюдом легло на кухонный стол. Ветер чуть слышно позванивал оконным стеклом. Даже в комнате чувствовалось, что он уже потерял прежнюю силу и резкость и что к вечеру на улице основательно разогреет.

Одевшись потеплей, Никон вышел и сел на лавочку перед домом. Выметенная ветром дорога сверкала осколками стекла, всохшими в суглинок. По ней два лохматых, еще не вылинявших верблюда тащили бочку с водой. Это были Бархан и Симка, которые давно уже возили воду в школу, в больницу, в родильный дом и детский сад. Бархана Никон узнавал по надменному, презрительному взгляду; Сим-

ка же глядел печально, в глазах у него была какая-то долгая степная дума. Узнал Никон и водовоза — казаха Сакена, шагавшего рядом в такой же лохматой зелено-рыжей, как верблюжьи бока, шапке и брезентовом плаще, звучно шлепавшем мокрыми полами по голенищам резиновых сапог.

— Ты как везешь? Половину бочки расплескал, человек ты несуразный! — крикнул Никон и сам удивился тому, какой у него слабый дребезжащий голос.

Но он тотчас забыл об этом — его радовало, что он знает здесь всех и может, как свой, необидно ко всем придираться.

— Не моя везет, верблюд везет,— весело ответил Сакен, и маленькие глаза его совсем потонули в лучах морщин.

Никон сидел так до вечера, пока пламенная горбушка солнца не погрузилась медленно и нехотя в жирную воду лиманов. В полном, теплом безветрии погас степной вечер, постепенно сменив свои оттенки от прозрачно-нежной синевы до тусклого стального свечения.

3

Впервые Никон, прогревшись на солнце, хорошо и крепко уснул. Ему ничего не снилось и только один раз почудилось, что Сакен поливает его ноги холодной водой. Но это уже была почти явь. Он застонал и, как всегда, проснулся от ломотного холода в ногах. Окошко еще не просвечивало па темной стене, но Никон слез с печи, оделся и, взяв шапку, вышел за дверь.

Ночь была теплая; несколько звезд сияли, точно крупные капли влаги, нещедро брызнутой на темный свод неба. «Теплынь»,— подумал Никон.

Не потерявший к старости ни слуха, ни зрения, он смело пошел во тьму, к лавочке и, повернув за угол дома, увидел Марьку и Генку.

— Систематический ты человек, Генка,— с укоризной сказал Никон.— Охота же тебе за десять километров сюда со стана шастать.

— Спал бы себе, дед,— недовольным голосом сказала Марька.

И Никон представил, как сошлись при этом ее широкие строгие брови.

— Нынче сеять начнут, и нечего тут прохлаждаться,— проворчал он.

— Ну, не твоя забота!

Марька увела Генку за угол, а Никон посидел на лавочке и, почувствовав, что ноги продолжают стынуть, тоже поднялся и пошел на скотный двор к Моте Фоминой. Но там дежурила другая скотница. Он ждал Мотю целый час, а когда она пришла, только и спросил:

— Ну что, Мотя, нет еще у тебя ребеночка?

И она, как всегда, ответила:

— Нет, Никон Саввич. Где уж мне!..

Выйдя от Моти, он бесцельно побрел по улице мимо саманных домов, слепо поблескивающих на него оконными стеклами. Весна пришла, а ему все так же беспокойно, и запах ветра, вобравшего в себя ароматы пашни, зацветающих холмов, теплой воды лиманов, только усиливал это беспокойство.

Отдохнув на крыльце правления колхоза, Никон пошел дальше. На востоке уже не так влажно мерцали звезды, небо засветилось изнутри зеленоватым светом.

На Никона вдруг наплыл теплый масляный запах еще не остывшей машины. Рядом был гараж, возле него белел горбатый силуэт председательской «Победы», недавно пришедшей из района или из дальней бригады, и Никон вспомнил, как оконфузился в прошлом году, когда напросился поехать на ней с председателем в степь. Тот, ездивший всегда без шофера, убежал к стоявшему посреди поля комбайну, сказав, что скоро вернется, а Никон остался в машине один и, когда ему захотелось до ветру, не мог открыть дверцу. Председатель замешкался, Никон дергал за все ручки, но они не поддавались его слабым усилиям, и вот тогда-то с ним случился стариковский грех. Председатель никому не рассказал, только добродушно посмеялся сам, посмеялся и Никон, но теперь, при воспоминании об этом случае, ему сделалось очень нехорошо. Он стоял возле машины, широко расставив согнутые в коленях ноги, опершись обеими руками на палку, и плакал беззвучными стариковскими слезами, первый раз по-настоящему, с такой нетерпимой болью поняв, как стар он и слаб и как мало осталось жить ему на этой земле.

От гаража Никон пошел на конный двор. Потревоженный в сладком утреннем сне сторож обругал его нехорошим словом, но Никон не обиделся и проникновенно сказал:

— Послушай, милок, дай мне коня.

Сторож выпучил на него круглые, рачьи глаза.

— Да ты что, старик, фью-фью? Сбрендил, что ли?

— Дай,— повторил Никон.— Мне только в степь съездить, недалечко. Уважь!

— Блажишь, Никон,— нахмурясь, сказал сторож, такой же старик, но покрепче, с окладистой из тугих колец бородой.— Зачем тебе в степь? Ты и на коня-то не взлезешь. Нам с тобой осталось только на печке верхом скакать.

— Взлезу. Уважь, милок! — просил Никон.— Мне бы в степь, недалечко... Уважь!

— Не уважу,— крутил сторож головой.— Ну как я выдам тебе коня без конюха, без бригадира, без председателя? Подумал ты, какое я имею законное право? Ну вот. И ступай с миром, а не то, не дай бог, осерчаю. Ступай.

Никон пошел. В прогоне между конюшнями зияла синяя рассветная пустота; из нее ровно, без порывов истекал ветер, и против течения этой воздушной реки, опираясь на палку, легонький, как сухой тростничок, Никон зашагал в степь. Откуда-то из-за спины его по пашням и травам солнце скользнуло ранним лучом. Стал виден пар над ними — легкое розовое дыхание земли, в небо взмыл коршун, высматривая сусликов, и под ногами у Никона забегали маленькие серые ящерицы. Зорким взглядом прирожденного степняка Никон наметил впереди себя бугор и упрямо шел к нему, не разбирая дороги, задыхаясь и чуть не падая. Он все-таки не выдержал и, когда бугор был уже близко, остановился передохнуть. Щурясь, обвел он взглядом всю степь: сзади, совсем, оказывается, недалеко, она упиралась в саманные стены сельских построек, зато слева, впереди размахнулась так широко, что у Никона вдруг закружилась голова. Он поспешно зашагал дальше, стараясь смотреть только под ноги, и забрался на бугор уже из последних сил.

«Ах, саранча! Нашли же место, бестии эдакие!» — засмеялся Никон, глянув вниз.

Там, под самым бугром, виднелся белый платок и рядом — круглая кепочка. Запрокинув девке голову, парень целовал ее в губы. Никон хотел озорно улюлюкнуть, но в это время девка легонько толкнула парня в грудь, выпрямилась и, ловя петлей пуговицу на кофточке, посмотрела вверх. На лбу у нее сошлись широкие брови.

— Ну чего ты, дед, как привидение, по степи ходишь? — строго спросила Марька.

Никон вдруг оробел, присел на траву в зацветавшие степные тюльпаны.

— Сеять нынче будут...— пробормотал он.

— Поспеем и сеять,— солидно отозвался снизу Генка.— Чего вы, дедушка, волнуетесь?

— Да мне что... Устал я. Эвон откуда пехом иду,— сказал Никон.— Я сяду, а вы — как знаете.

Он не видел, ушли Марька и Генка или нет,— он грелся на солнечной стороне бугра, пестро убранной разноцветными чашечками тюльпанов, щурясь, смотрел в степь, а потом вдруг уронил на теплую грудь земли свою голову, откатилась прочь шапка, и долго, до самого заката, степной ветер шевелил остатки его белых сухих волос.

1956

ПО ЯГОДЫ

На просеках поспела земляника. Утром, еще в окна горницы сочился сквозь герани бледный свет месяца, Нюшка выскользнула из-под лоскутного одеяла и побежала в сени будить Илью.

— Эй, ты, трутень,— зашептала она, вздрагивая от утреннего холода.— Вставай, по ягоды пойдем. Слышь, что ли? Сейчас мать проспется, она нам задаст.

Илья, спавший на деревянной кровати, закрытой от комаров марлевым пологом, заворочался и сонным голосом сказал:

— Щас...

Нюшка вернулась в горницу, оделась и, взяв припасенную с вечера корзинку, опять вышла в сени. Илья, сидя на полу возле кровати, дремал.

— У, горе ты мое,— проворчала Нюшка.— Шевелись! Артемовские бабы всю ягоду оберут... Они ведь хитрущие.

Она потянула из рук Ильи его штаны, но тот сердито дернул их к себе.

— Отстань, сам не маленький.

Сопя, он оделся, повесил через плечо берестяной бурачок и вслед за сестрой пошел через крытый двор в огород.

Рассвет только начинался. На левом склоне неба зыбились синие звезды, висел подтаявший серпик луны, а правый от зенита до горизонта был раскрашен в зеленый, желтый и розовый цвета.

Задевая босыми ногами за капустные листья, облитые жгуче-холодной росой, дети пошли между грядками к перелазу. Отсюда начиналась утоптанная до каменной твердости тропинка. Прямая, словно проложенная ударом кнута, она рубила надвое заполненный золотистым лютиком луг и бежала дальше, петляя между редкими корявыми соснами, которые, словно сторожевые башни, охраняли вход в лес.

— Я об крапиву обстрекался,— плаксиво сказал Илья по ту сторону плетня.

— Вот мы ужо ее серпом срежем,— пообещала Нюшка.— Ты помочи слюнями, и все пройдет.

Илья поплевал на палец и потер им белые волдыри на ногах.

— Зудит,— пожаловался он через несколько шагов.

— Горе ты мое,— вздохнула Нюшка.— Смотри, какая пичуга порхает.

Впереди со стебля на стебель перелетала рыженькая, с кривым клювом птичка. Смелая и любопытная, она косилась на детей выпуклым, как бусинка, глазом и тоненько попискивала: «Чуть свет, чуть свет, чуть свет...»

— Щас я ее словлю,— сказал Илья.

Он побежал, растопыривая локти, как цыпленок свои куцые крылья, Нюшка бросилась за ним и, хлопая в ладоши, закричала:

— А я тебя словлю! А я тебя словлю!

С визгом, хохотом, криком ворвались они в лес и разом присмирели. Есть величавая торжественность в спокойном пробуждении леса. Между медно-розовыми стволами сосен, покачиваясь, лежат толстые пласты тумана, прошитые косыми лучами солнца. Еще непроницаемо-густа тень еловых лап, которая, кажется, хранит от человеческого глаза какую-то тайну; к лицу и рукам липнет гнилой холодок нехоженых лесных недр; и трепет осин заставляет испуганно вздрогнуть, как внезапное хлопанье крыльев большой птицы, вылетевшей из-под ноги...

Дети быстро шли, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг. Приземистый, коротконогий и головастый Илья из последних сил поспевал за легонькой Нюшкой, но не решался ни отстать, ни попросить передышки.

— Уф,— сказала Нюшка, когда они выбежали на светлую просеку.— Ни за что бы не пошла этим лесом ночью. Беда, какой страшенный...

— А я бы за настоящий моторет пошел,— сказал Илья.

— Какой моторет?

— Ну, какой у нашего бригадира.

— Мотоцикл! — догадалась Нюшка.— Да тебе с ним и не сладить.

— Уж и не сладить! — обиделся Илья.— Я бедовый. Хочешь, на березу залезу?

— Аууу!.. ууу!..— послышалось вдруг за кустами орешника, и в его зелени замелькали разноцветные платки.

Это перекликались бабы из соседнего колхоза имени Артема. Нюшка тотчас присела у пня и быстро-быстро обеими руками стала обирать твердую, еще чуть зеленоватую ягоду. На дно корзинки просыпалась первая горсть. Боясь, что сестра обгонит его, Илья подбежал к другому пню и тоже стал собирать землянику, кидая ее в свой бурачок вместе с листьями, хвоинками, сучками и всяким мусором.

Увлеченные этим соревнованием, они трудились долго, молча, сосредоточенно. Лишь иногда Илья, стараясь заглянуть в корзинку сестры, спрашивал:

— У тебя много?

На что Нюшка, отводя корзинку, неизменно отвечала:

— Все мое, все мое.

Солнце уже поднялось над просекой, и по лесу покатились волны горячего хвойного воздуха, когда они сели отдохнуть в тени орехового молодняка. Нюшка осторожно достала из корзинки присыпанный ягодами сверток. Газету она бережно свернула и убрала, а мокрый от растаявшего сахара хлеб поделила поровну.

Было жарко. Илья, наевшись, посоловел. Глаза у него стали мутные, нижняя губа отвисла; он повалился в прохладную траву, поджал ноги и пробормотал:

— Давай, Нюшенька, уснем...

— Нельзя, нельзя! Как раз к поезду опоздаем,— встрепенулась Нюшка, которую тоже морил сон.

Чтобы уйти от соблазна, она быстро встала, сломала ореховую ветку и, прикрыв ею ягоды, затормошила Илью:

— Вставай, трутень, вставай! Все бы он спал да дремал. Скоро в школу пойдет — со стыда за малого изведешься, какой, право, сонной!

Недалеко от того места, где они собирали ягоды, через просеку проходила изрезанная рубчатыми шинами дорога, ведущая к перевозу и дальше — к станции. Не защищенная от прямого солнца, дорожная пыль была горяча и суха. Она фонтанчиками пыхала между пальцами, и это развлекало детей до самого перевоза.

Река встретила их игривым полуденным плеском.

С крутояра она казалась густо-синей, с зеркальными блестками по гребешкам мелких волн.

Перевозчик Зосима Павлович сидел у своей землянки и наваривал веревочку, захлестнув ее за шило, воткнутое в край стола. Тут же, на столе, лежал дырявый валенок, который Зосима Павлович, очевидно, собирался чинить. Он и зимой и летом ходил в валенках, потому что у него болели ноги.

— А, ягодники пришли,— сказал он, увидев детей.— Рупь-то есть ли за перевоз?

— Нету, Зосима Палыч,— бойко ответила Нюшка.— Мы тебе на обратном пути заплатим, не сомневайся.

— То-то, что нету! Ждите оказии. Не стану я попусту паром гонять.

Он опять принялся мусолить куском вара свою веревочку, а дети сели чуть поодаль на траву и следили за его занятием.

— А ежели я сам речку переплыву, с меня тоже рубль? — поинтересовался Илья.

— Сам сколько хошь плавай — не заказано,— отозвался перевозчик.

— А ежели охотник с собакой поедет, за собаку тоже рубль? — не унимался Илья.

— Экой ты, малый, репей! Отцепись! И посылают же таких сморчков торговать!

— Нас не посылают, мы сами,— сказала Нюшка.

— Сами? — недоверчиво усмехнулся перевозчик.— Стал быть, для интересу?

Нюшка, по-своему истолковав его слова, вдруг обиделась и насмешливо фыркнула:

— Для интересу! Это артемовские для интересу ягодой торгуют, они слабосильные. А мы крепачки, нам в колхозе хватает.

— Зосима Палыч! — позвал вдруг Илья.— Смотри-ка, чевой-то плывет? Вон, вон плывет!

— Чего там еще? — добродушно заворчал перевозчик, пристально вглядываясь из-под ладони в рябившую поверхность реки.

Из-за поворота вышел на перекат белый с черной трубой пароход.

— «Ро-бес-пьер»,— прочитала зоркая Нюшка.

— Что такое Робеспьер? — спросил Илья.

— Пароход так называется.

— А почему он так называется?

— Не знаю...

— Зосима Палыч,— позвал перевозчика Илья.— Почему пароход так называется?

Зосима Павлович рассеянно взглянул в сторону реки и вздохнул.

— Генерал такой был... Французский. Наполеону служил,— неохотно сказал он.

«Робеспьер» подходил все ближе; от винта его бежали к берегам широкие волны.

— Скупнемся в волнах,— предложила Нюшка.

— Скупнемся! — обрадовался Илья.

Они стремглав бросились под крутояр, и вскоре красная Нюшкина кофта и синяя рубашонка Ильи замелькали внизу, на песчаной косе. Нюшка первая добежала до кромки воды, резко отчеркнутой на желтом песке: кофта затрепетала у нее в руках, зацепившись за гребенку, она с силой дернула ее, потом сбросила с себя юбку, рубашку и — гибкая, тоненькая, как змейка,— скользнула под набежавшую волну. Вслед за сестрой, растеряв на бегу свою нехитрую одежку, увесистым пудовичком бултыхнулся Илья.

Потом они лежали на горячем песке, подгребая его себе под грудь, пока не увидели, что к парому с крутояра спускается грузовик, в кузове которого полощутся на ветру разноцветные платки. Хитрущие артемовские бабы и тут спроворили, перехватив попутную машину.

— Бежим! — заторопилась Нюшка.

Стерев с себя присохший песок, они оделись и побежали к перевозу.

Шофер попался знакомый, колхозный. Нюшка внимательно пригляделась к нему и вдруг запрыгала, хлопая в ладоши.

— Митечка! Митечка! Тебе в чуб девки смолы запустили!

Митечка — нескладный подросток лет семнадцати, недавний обладатель роскошного пшеничного чуба,— презрительно глянул на нее сверху и процедил:

— Дура! Я на приписке был, осенью в армию пойду.

— Хорошее дело,— отозвался Зосима Павлович, тянувший канат.— Может, армия из тебя человека сделает. Отучит мои переметы проверять.

— Один раз попользовался по мальчишеству, а уж вы, Зосима Павлович, помните всю жизнь,— укоризненно сказал Митечка и, чтобы прекратить неприятный разговор, закричал на детей: — А ну, пшено, полезай в кабину!

На станции по платформе мимо деревянного вокзальчика ходил милиционер в белой гимнастерке, перекрещенной пропотевшими ремнями. Это нисколько не обеспокоило Нюшку. Она встала как раз под табличкой, запрещавшей рыночную торговлю на платформе, и открыла свою корзинку. Милиционер скользнул по ней вялым, полным тоски по прохладе взглядом и отвернулся. Очевидно, многолетний опыт убедил его в тщетности борьбы с этими нарушителями порядка.

К приходу поезда возле Нюшки и Ильи собрались женщины с первыми огурцами, редисом, земляникой, пирогами, творогом и даже с дымящейся отварной картошкой.

В те три минуты, пока стоял поезд, тихая, окруженная старыми березами станция с лихвой награждала себя за долгие часы тишины и покоя. Вокзалы больших городов с их вечной, но равномерной оживленностью не знают такой стремительной, как ураган, суеты.

Поезд еще не остановился, а пассажиры, как известно, съедающие в пути неизмеримо больше, чем они едят обычно, уже высматривали с площадки через головы проводников свою добычу.

— А вот свежие ягоды! Свежие ягоды! — пронзительно закричала Нюшка.

Хитрущие артемовские бабы на этот раз промахнулись. Они ринулись к мягкому вагону, а Нюшка побежала, держась за поручни общего. Здесь, она знала, всегда ездят отпускные моряки, солдаты, какие-то парни в клетчатых ковбойках, девчата в спортивных костюмах — все сплошь люди, отлично знающие цену трем минутам и не знающие цену деньгам.

— А вот ягоды! Свежие ягоды!

Об Илье Нюшка вспомнила, когда поезд ушел и на станции опять водворилась знойная июньская тишина. Расходились торговки, приводя в порядок свое разоренное набегом пассажиров хозяйство. Илья сидел все под той же запретительной табличкой. Он не двинулся с места, но бурачок его был наполовину пуст, а в кулаке он сжимал мокрый комок рублей и трешниц.

— Хорошо покупали! — сказала Нюшка, еще полная пережитого возбуждения.— Через три часа опять будет поезд. Останемся?

Илья, хмурясь, подумал, заглянул в Нюшкину корзинку и сказал:

— Хлеб-то весь съели... Купишь мне бутерброд с селедкой?

— Вот горе-то! — тяжело вздохнула Нюшка.— Ладно уж, идем.

В станционном буфете они подошли к застекленной витрине, хранившей следы мокрой тряпки. Илья прочно остановил свой выбор на бутерброде с селедкой, а Нюшка предпочла сухую, сморщенную сосиску.

С приходом следующего поезда все на маленькой станции повторилось в точности. Бурный прилив оживления быстро сменился мертвой тишиной. По платформе, подбирая крошки, разбрелись куры, зашагал сонный милиционер, и стало слышно, как у начальника вокзала нежно журчит телефон.

Нюшка завязала деньги в платок, повесила его под кофтой на шею, и дети, миновав скучные пакгаузы, пошли по дороге к дому.

Речку они переехали уже на закате. Теперь она была спокойна, тускла, словно бутылочное стекло, и пахла тиной. Внизу, у воды, было холодно. Из сырых пойменных логов поднимался туман.

— Пойдем, Нюшенька, большой дорогой. Страшно на тропе-то,— попросил Илья.

Нюшка и сама боялась сумрачной лесной тропы, но, когда они поднялись на крутояр и в лицо им пахнуло теплым воздухом сосновых холмов, страхи исчезли, и она решительно свернула на тропу.

— Нюшенька, я боюсь,— захныкал Илья, как только лес закрыл от них бледное вечернее небо.

Нюшка тоже вздрогнула. Не сговариваясь, они побежали вперед, боясь увидеть или услышать что-нибудь страшное.

— Мамынька! — взревел вдруг Илья, которому показалось, что кто-то вот-вот схватит его сзади.

Нюшка обернулась, поймала его за руку и помчалась еще быстрее, приговаривая:

— Бежи, Илюшка, бежи! Тут близко...

Не остановились они и на лугу, а прямо через огород и двор ворвались в избу, перепугав мать, доившую во дворе корову.

Нюшка, отдышавшись, развязала платок и положила деньги на стол, чтобы мать, как только войдет, увидела их: «Все, глядишь, не так станет браниться...» Потом она взяла ложку и присоединилась к брату, который, стоя у печного шестка, хлебал из чугуна холодные щи.

— Завтра пойдем? — спросила она с полным ртом.

— Угу,— ответил Илья.

Облизав в последний раз ложку, он пошел в сени и залез там под свой полог. Перед глазами у него сейчас же задрожали красные ягоды, прикрытые зелеными листочками, по ним поплыл белый пароход с черной трубой, и Илья уже не слышал, как отец, вернувшийся из лугов, говорил ему:

— Ну-ка, парень! Широко больно спишь, всю кровать один занял. Сдвинься чуток...

1956

СПУТНИКИ

Заведующий сельским клубом в Акулове Юра Молотков и врач Акуловской больницы Никольский, случайно повстречавшись на выходе из деревни Удол, шли по лесной дороге.

Была та пора осени, когда в сырых осинниках начинает горьковато припахивать корой, красится лист и по утрам на стебли еще зеленой травы мелкими зернами ложится морозная матовая роса. Ни птичьей возни, ни стрекота кузнечиков, ни озорных набегов ветра на говорливое мелколесье. Все точно замерло в предчувствии недалекой зимы...

— Отличная пора, очей очарованье,— бессовестно перевирая пушкинские стихи, сказал Юра, настроенный на восторженно-грустный лад.— Который раз, Николай Николаевич, иду я этой дорогой, а между тем она все равно кажется мне красивой. Я думаю, лучше наших лесов нет на свете. Вы, конечно, всему тут чужой, все вам тут не нравится, а я — здешний. Я — без предубеждения.

Юра покосился на Никольского и, не дождавшись ответа, вздохнул. Ему хотелось поговорить.

Молодой доктор, с тех пор как появился в Акулове, вообще привлекал внимание любопытного и общительного Юры. Стройный, с эластичными движениями гимнаста, одетый в тяжелое пальто, шляпу, яркий шарф и ботинки на толстой подошве, он выделялся среди коренастых и немудро одетых акуловских хлебопашцев. К тому же в отличие от них — людей неторопливых, рассудительных— Никольский был резок, скор в решениях и порой ядовито-насмешлив.

Фельдшер Никодим Федорович с обидой рассказывал Юре, что, осмотрев больницу, Никольский презрительно усмехнулся и сказал:

— Стационар на три койки. Будем, значит, жить по Чехову: фельдшер — пьяница, у медперсонала — низкий уровень знаний...

И обратившись уже прямо к Никодиму Федоровичу, добавил:

— На работу, пожалуйста, являйтесь бритым. Больной должен уходить от нас со светлой надеждой в душе, а ваш вид не способен внушить ее.

Когда же доктору показали его квартиру — две комнаты при больнице с окнами в яблоневый сад — он очень удивил всех, сказав:

— Вымойте здесь и поставьте пять коек. Ну, что непонятного! Пять больничных коек. Не собираюсь же я выписать сюда родственников со всего света.

Поселился он в избе для приезжих.

По-новому загадочным и оттого еще более притягательным Никольский стал для Юры с тех пор, как поссорился с председателем колхоза, запретив своим работникам выходить в поле выбирать картошку.

— Вы что же, Николай Николаевич, не хотите колхозу помочь? — с укоризной выговаривал ему председатель.— Учителя работают, завклубом работает, библиотекарь работает, а ваши больничные отстают от всей интеллигенции — стыдно!

— В больнице много работы,— отрезал Никольский.— И колхозу мы помогаем именно этой работой. Не будем впредь тратить время на такие разговоры. До свидания.

Впервые Юра заговорил с доктором в библиотеке. Никольский пришел туда вечером и, едва переступив порог, сказал:

— У вас тут пылью пахнет. Надо чаще вытирать книги. Все до одной вытирать.

Юра заметил, как изменилось лицо библиотекарши Ниночки Стрешневой. Оно сразу приобрело какое-то смятенно-глуповатое выражение, словно у перепуганной курицы, когда та, растопырив крылья, с разинутым клювом, спасается бегством от озорного щенка. Заполняя карточку, Ниночка задержалась на графе «пол» и долго дожидалась ответа.

— Ну что же, посмотрим, что у вас есть,— сухо сказал Никольский.

Он пошел за перегородку и стал перебирать книги на

полках. Ниночка услужливо подставляла ему табуретку, показывала расположение книг.

— Вот видите? — опять сказал Никольский, протягивая ей свои руки, серые от пыли.— А подбор литературы у вас бестолковый. В следующий раз, когда будете составлять заявку в библиотечный коллектор, позовите меня. Я вам подскажу.

— Вы бы, Николай Николаевич, в клуб зашли. Может, и мне подсказали бы что-нибудь дельное,— с нарочитым смирением сказал Юра.

— Зайду,— согласился Никольский.— Закончу свои реформы в больнице и зайду.

Теперь, встретив Никольского в Удоле, Юра обрадовался случаю свести с ним знакомство покороче. Они давно уже шагали бок о бок по узкой лесной дороге, но на все попытки Юры завязать разговор Никольский неохотно поддакивал или вовсе не отвечал, глядя на легонькую, в короткой бобриковой тужурке фигурку спутника, как на пустое место.

— Оба мы, Николай Николаевич, принадлежим к сельской интеллигенции,— не унимался Юра,— а между тем вы сторонитесь меня и упорно не хотите вступать в дружеские отношения. Этого я не понимаю. Может, вы кичитесь своим высшим образованием, так это, скажу вам, отсталый взгляд на вещи. Не одни вы сейчас в деревне с высшим образованием, а между тем другие не проявляют к окружающим такого пренебрежения. Скажите, например, зачем вы обидели Никодима Федоровича?

— Разве я его обидел? — спросил Никольский.

— Еще бы! Ведь вы сказали, что он пьяница...

— А-а, так я сказал правду.

Юра обрадовался — хоть вяло, неохотно, но все же Никольский отвечал ему.

— Пьяница — это еще не доказано,— воодушевленно заговорил он,— а между тем Никодим Федорович — старый, опытный и знающий фельдшер, который на протяжении многих лет с успехом заменял здесь врача. Его у нас любят, верят ему. Он наш земляк...

— Перестаньте, Юра, хвалить свое только потому, что оно ваше,— с раздражением перебил его Никольский.— Ни черта ваш Никодим Федорович не знает. Умеет йодом да ихтиолкой мазать — и все тут. Я свой персонал за книги засадил, так фельдшер и читать-то новую медицинскую литературу не может. А на моих лекциях спит с похмелья... И авторитет ему создали такие же пьяницы. Он

угадывает, исходя из своего опыта, их похмельное состояние, а они удивляются его проницательности и думают, что он руководствуется новейшими открытиями медицинской науки.

— Ну уж вы перегибаете! — возмутился Юра.— Какие же пьяницы? У нас народ хороший, работящий.

— А кому я частенько зашиваю раны на голове, как не участникам рукопашных инцидентов в сельской чайной? — усмехнулся Никольский.— Зашел я как-то в клуб... Вы, кажется, просили меня об этом, но я и без просьбы зашел бы, будьте уверены... Там же у вас, Юра, мухи дохнут! Толпятся парни и девушки в пальто, какой-то завсегдатай свадеб с кудрявым чубом дергает гармошку, стены увешаны мобилизующими плакатами... Да глядя на эти плакаты только и остается запить со скуки.

— И до меня добрались! — усмехнулся Юра.— Наш клуб лучший в районе, я грамоту имею.

— Это еще досадней, если во всем районе не нашлось лучше клуба, чем ваш,— сказал Никольский.

Привыкший ладить с людьми, Юра чувствовал себя неловко и уже раскаивался, что заговорил с доктором, но Никольского этот разговор, очевидно, задел за живое.

— Осматривал я на днях школьников в Акулове,— продолжал он,— попалась мне девочка со старыми ожогами на руках. Спросил, что с ней случилось. Оказывается, помогала тушить горящий стог сена. Тушили, говорит, водой, а надо было молоком от черной коровы, потому что стог загорелся от молнии. По этому поводу я имел с учителями неприятный разговор. Может быть, по-вашему, я их тоже обидел?.. Народ-то, Юра, хороший, работящий, да культуры ему недостает. Все мы — и я, и вы, и учителя — должны прививать эту культуру. А что сделал, например, Никодим Федорович, за которого вы только что заступались? У него под носом, в Удоле живет старуха-знахарка, которая рисует мелом вокруг больного круг и ворожит, закатив глаза... Дифтерийную девочку эта старуха пользовала какими-то припарками, а родители догадались позвать меня только сегодня...

Голос его вдруг сорвался на какой-то судорожный стон или вздох, и Никольский замолчал.

— Все вам тут нехороши,— проворчал Юра.

Никольский поднял воротник и спрятал в него свое лицо, желая, очевидно, показать, что разговор надоел ему. Снизу Юре был виден лишь висок Никольского с бьющейся синей жилкой да кончик хрящеватого уха, разделивший

надвое упавшую из-под шляпы прядь волос. Юра готовился возразить. Имея привычку заглядывать собеседнику в лицо, он незаметно для себя ускорял шаг, но никак не мог опередить Никольского. Они все еще шли лесом, по дороге, скупо припорошенной палым листом. Порой над ней выгибался ствол березы; под этой аркой листа было больше, и тишина коротко нарушалась шуршанием быстрых шагов.

— Послушайте, Юра,— сказал вдруг Никольский, резко останавливаясь.— Идите один. Впереди или сзади — все равно. Только оставьте меня, пожалуйста.

Юра не уловил в голосе доктора просительной или жалкой нотки, и все его существо, никогда не умевшее злиться, обижать, ненавидеть, вдруг с необычайной силой восстало против этого человека.

— Кого вы из себя корчите? — с расчетливой издевкой сказал он, тоже останавливаясь и в упор глядя на Никольского прищуренными глазами.— Не нравится вам здесь — и уезжайте. Я знаю, вам хочется уехать. Сознайтесь! Ведь хочется?

Никольский, очевидно, хотел улыбнуться, но не мог справиться со своим обычно твердым лицом, и оно коротко дернулось в какой-то непроизвольной гримасе.

— Уйдите вы! — крикнул он.— У меня в Удоле девочка от дифтерии умерла, а вы пристаете... Глупый вы человек!

Некоторое время они еще стояли на месте, готовые наносить друг другу новые незаслуженные обиды; наконец Никольский круто повернулся и напролом пошел в чащу леса. Но прежде чем она успела скрыть его, Юра заметил по круто выгнувшейся спине доктора, что тот плакал.

— Подождите, Николай Николаич...— растерянно пробормотал он.

Только теперь до его сознания дошел смысл последних слов Никольского.

— Николай Николаич! — закричал он, срываясь с места и разбрасывая перед собой ветки берез и осин.— Николай Николаич, подождите!

Он остановился, наткнувшись на непролазную крепь, и прислушался.

Щедро золоченный осенью и солнцем лес ответил ему из своих глубин шумом потревоженных кем-то веток.

1956

ЗАПАХ СЕНА

Каждая пора отмечена своим запахом. Душно пахнет амбарной пылью во время жатвы; пряным духом смородинного листа и укропа тянет по селу, когда хозяйки солят огурцы; тонкий аромат осени — аромат антоновки — стоит в садах в пору их спелости; и точно так же свой неповторимый запах имеет сенокос. Сухой ромашкой, поповником, мятой, мышиным горошком, клевером — всем букетом разнотравья пахнут тогда волосы и кофточки девушек, ладони косцов, телеги, вилы, грабли, и кажется, что сам воздух от земли до облаков полон лекарственно-дурманными испарениями скошенных трав.

Бедовые мысли рождает в голове этот запах...

1

Под утро черный козел лег рядом с Андреем Фомичом. Андрей Фомич испугался. Отпихнув вонючую животину, выскочил на четвереньках из шалаша, ткнулся в траву и долго лежал, оттягивая на груди против сердца взмокшую пбтом рубаху.

Отдышавшись, сел.

Утро занималось тяжелое, пеклое. На востоке зловеще, облитые по рваному гребню оранжево-дымным светом, громоздились тучи; из кустов душно тянуло ивовым сухостоем. Старая стреноженная кобыла, опустив голову, стояла над Андреем Фомичом и странно косилась на него лиловым глазом, полным какой-то тревожной печали.

«Приснится же такая погань трезвому человеку...— подумал Андрей Фомич.— Просто — тьфу!»

В стороне, у костра, уже хлопотала стряпуха. Андрей Фомич подошел к ней и рассказал про сон.

— Батюшка ты мой! Не иначе как дома у тебя нехорошо,— ахнула стряпуха.

— Брось! — нахмурился Андрей Фомич.— На все у вас приметы да поверья, б-бабы...

Он посидел у костра, повздыхал, а когда стряпуха обмолвилась о том, что на стане подходят харчи, обрадовался случаю, распутал кобылу и поехал в село.

Конец был не близкий. Погонять Андрей Фомич боялся — ехал без седла, подложив драный ватник,— и пуза-

тая, с провалившейся спиной кобылка едва переставляла мослатые ноги, озабоченная тягучей лошадиной думой о жаре, слепнях, об усталости и корме.

Наконец впереди приметными издали вехами — колокольней без креста, силосной башней и кривой скворечней над избой придурковатого пастуха Феди-черта — обозначилось село. По обе стороны дороги распахнулось широкое ржаное поле. Ветер слегка волнил рожь, взвивал над полем солнечную пыль, и в ней, трепеща сетчатыми крылышками, упоенно купались головастые стрекозы, покамест беззаботный жизненный путь их не пересекался со стремительным ломаным полетом стрижа.

Выпрямившись, Андрей Фомич с удовольствием подставил ветру потное лицо и вдруг, усмехнувшись, придержал лошадь. Сверху ему хорошо было видно, как, сидя на закрайке поля, под березовым пряслом, целовались парень и девка.

«Совсем заломал сердешную,— любуясь, подумал Андрей Фомич.— Интересно знать, кто такие?»

Побагровев до самых плеч, он вытянул шею и вдруг изо всей силы дернул уздечку. От неожиданности кобыла нашла в себе достаточно прыти, чтобы пуститься вдоль прясла рысью, но когда донесла Андрея Фомича до места, где только что целовалась дочь его Верка, там никого не было.

— Др-р-рянь! — заревел Андрей Фомич.

Не помня себя, он сунулся с лошадью прямо на прясла и замахал сложенным вдвое куском веревки.

— Вылазь сей минут! Все равно вижу, где ты есть, окаянная!

Но ветер уже заровнял след, и только далеко-далеко во ржи мелькнул белый платок.

— Ужо ж тебе! — погрозил Андрей Фомич в сторону поля.

Он стал выворачивать на дорогу, но в это время из колосьев высунулся парень в круглой блинообразной кепочке и, стоя по плечи во ржи, насмешливо сказал:

— Здорово живешь, Андрей Фомич!

— Здравствуй, светел месяц.

Андрей Фомич прищурился, вглядываясь в цыганисто-темное лицо парня, и на всякий случай крутанул через кулак конец веревки.

— Ты чей же будешь?

— Здешний.— Резко разбрасывая перед собой колосья, парень подошел к пряслу, легко перемахнул через него

и глянул на Андрея Фомича снизу желтыми ястребиными глазами.— Не признаешь?

«Вот он, черный козлище-то...» — мелькнуло у Андрея Фомича. Он растерялся и совсем неподходящим тоном ухмылки сказал:

— Ну, а где ж твоя краля бубновая?

Парень неопределенно махнул рукой.

— В рожь брызнула. Сам теперь не найду, как ты пуганул ее.

— А ты, значит, вернулся...— Андрей Фомич кашлянул.— Вот что,— овладев, наконец, собой, твердо сказал он,— девку мою больше не касайся. Понял?

— Как не понять!

— Ну то-то.

— Только, знаешь, Андрей Фомич, пошел ты... У нее своя голова.

— Своя, да зелена еще! Тебе на этом играть не след.

— Об этом ты за меня, Андрей Фомич, не старайся,— усмехнулся парень.

— Нужен ты мне! — Андрей Фомич даже плюнул.— Только насчет дочери наперед упреждаю — не касайся. Не нашего ты поля ягода.

Разговаривая так, они двигались по дороге. Парень — впереди, помахивая сорванным колоском и с усмешкой кидая слова через плечо; Андрей Фомич — сзади, тиская в потной руке веревку и с вожделением глядя на его смуглую шею с черной косичкой отрастающих волос. Он было попробовал обогнать парня, но кобыла, израсходовав весь запас сил, уже не слушалась ни узды, ни веревки. И тогда Андрей Фомич пошел на унижение.

— Послушай! Ты! — крикнул он, страдальчески морщась.— Сделай милость, ступай сзади, а то не ровен час, ожгу я тебя по шее.

— Охота мне твоей кобыле под хвост глядеть! — небрежно отозвался парень.

И Андрею Фомичу до конца пришлось вытерпеть муку бессильной ненависти, пока у сельских сараев не разминулись их дороги.

2

Освободившись по амнистии из заключения, Сашка решил не возвращаться в Токовец. Но в Кирове первый раз после долгого перерыва выпил на вокзале, купил зачем-то в ларьке деревянную матрешку, вспомнил, что на его ро-

дине тоже точили такие, и загрустил. А через два дня уже стучал в резной наличник бабушки Лопаты.

Наутро, поднявшись выше корявых ветел, побитых грозами, солнце ударило через широкую щель сеновала плоским лучом в глаза Сашке, и, просыпаясь, он услышал звон отбиваемой косы.

И луч солнца, и этот звон сразу наполнили Сашку ощущением праздника. Он скатился с сеновала, глубоко хватнул росистого воздуха и зажмурился. Утро было такое светлое, такое лучистое, что, не зажмурившись, нельзя было смотреть на белесоватое от поднявшегося тумана небо, и на рябившую реку, и на голубые впадины заречных озер, и даже на лебеду и полынь у плетня, обметанную мелкой серебристой росой.

Сладко пахло с заречных лугов медоносными травами.

Чтобы во всем отличить этот день, Сашка старательно умылся в огороде у колодца с гнилым срубом, обросшим твердыми древесными грибами, надел чистую рубаху и по совету бабушки Лопаты отправился на кладбище поклониться родительским могилам.

Там, среди зарослей сирени, бузины и жимолости, он с трудом нашел два гнилых креста. Под одним из них лежал его отец, под другим — мать. Отец был искусный столяр и при жизни делал всем покойникам отличные кресты. Он любил повторять, что, почуяв смерть, сколотит и себе такой же, чтоб быть не хуже людей, но смерть застигла его врасплох. Напарившись в бане, он в один дых выпил стакан водки и вдруг, как тряпичный, поехал с лавки на пол.

Мать тоже умерла внезапно. В первую военную осень она поехала на городской базар продавать капусту, припозднилась и заночевала в Доме колхозника. Ночью началась тревога, единственная напрасная тревога за всю войну. Мать выбежала во двор к коню, и там воздушной волной ее хлобыстнуло о бревенчатую коновязь.

Потоптавшись у могил и не зная, что нужно делать, Сашка достал ножик, вырезал на кресте: «Не забуду мать родную»,— точь-в-точь как было выколото у него на руке, и пошел прочь.

В то утро целый поток, целое половодье солнечного света затопляло землю. Выбравшись из кладбищенских зарослей, весь в росе, в паутине, Сашка увидел перед собою синюю ветреную речку с белыми, как гуси, бакенами, сочно-зеленые рощи левобережья, небо без единого облачка, золотые, в буйной поросли лютика луга и вдруг запел. За-

пел без слов, издавая какие-то нелепые, но полные ликования звуки, потом бросился в траву, перевернулся и, смеясь, побежал к селу.

В прогоне ему попалась девушка, которая осторожно, точно кошечка-чистюля, пробиралась по тропке через круто замешанную скотиной грязь.

Сашка загородил ей дорогу и спросил:

— Чья?

— Лаптева...

— Верка! — изумился он.— Девкой стала... Меня признаешь?

— Никого я не знаю.

Она попробовала обойти его и одной ногой сорвалась с тропинки в грязь.

— Ага! — торжествующе крикнул Сашка.

Пока она вытирала о подзаборный лопух испачканную тапочку, он вдруг вспомнил далекий летний день, когда гнал стадо вдоль реки и увидел на прибрежном песке Верку. Она подпрыгнула, точно пружинка, закрыла рубашонкой грудь — два остреньких бугорка со смуглыми сосками — и стремглав убежала в кусты.

«Вот ведь дела»,— неопределенно подумал теперь Сашка и, вздохнув, спросил:

— Значит, не признаешь? Помнишь, я с Федей-чертом скотину пас?

Круглые, в мохнатых ресницах глаза с испугом остановились на нем.

— Вроде помню...— сказала Верка, ступая босой ногой на грязную тропу.— Это тебя в тюрьму посадили?

— Меня! — обрадовался Сашка.— Ну, чего вылупилась? Я по амнистии вышел. Законно. И паспорт есть.

— Чего ж ты тут?

— А ничего! Вот ночевал у бабушки Лопаты, а теперь по селу хожу. Может, насовсем останусь. Эх, Верка!

Он крепко прижал ее к себе, повернул, чтобы разминуться на узкой тропе, и пошел своей дорогой, заорав во все горло:

— По-ми-рать нам ра-но-ва-то...

А Верка так и обмерла на месте от страха: «Ну, ежели видел кто, как он озорничал тут!..»

Через два дня ей случилось ехать на попутной машине с базара; сидела в кузове одна, придерживая коробицу с молочными четвертями, и вдруг на выезде из города через борт перевалился Сашка.

— Ага! — сказал он.

Сел рядом, прикрыл ее от ветра полой пиджака и стал целовать сначала в щеку, потом в губы, в глаза, в нос... Такой момент угадал, что и бежать некуда.

...Трудно, в приступе какого-то телесного и душевного гнета, пережив ералашную пору весны, когда с тихим шуршанием рушились подтаявшие сугробы, когда растревоженно кричало сносимое ветром мокрое воронье и воздух горько, отравно припахивал корой осин, тополей и черемух, Верка в то лето было особенно счастлива и без причины весела. Новой радостью стала для нее первая стыдливая любовь к Сашке. С каким-то удивленным вниманием, точно не понимая, что происходит с ней, останавливалась Верка перед зеркалом, заглядывала в свои мохнатые глаза и все запрокидывала голову, чтобы почувствовать на затылке приятную тяжесть густых волос. Часто она тихо смеялась наедине с собой. Ее радовало, когда по всему дому, хлопая занавесками, гуляли солнечные сквозняки, радовало прикосновение к плечам и груди теплой от утюга кофточки, радовали запахи сада, реки, лугов — радовало все, что помогало ей ощутить в каждой клеточке своего существа неиссякаемый запас молодости, чистоты и энергии.

3

Вечером, возвращаясь с огородов, бабы отдыхали на свежих копнах сена и рассказывали такое, что молодые девчонки дружно ахали и закрывались рукавицами.

Верка, зарыв в теплое сено захолодавшие на вечерней росе ноги, думала о своем. Давеча, ощипывая ромашку, загадала: если выйдет «чет» — значит, отец не стал дожидаться ее и уехал в луга, если же — «нечет», то сидит дома и ждет. Выпал «чет». Верка успокоилась, но теперь, по дороге к дому, попробовала испугать себя: «Ждет!» — и ей вдруг на самом деле стало и тревожно, и стыдно, и страшно.

К избе она подошла не сразу, а петляя и часто останавливаясь. Окна горницы ярко светились электрическим огнем, по занавескам метались широкие тени.

«Так и есть! Ждет!» — подумала Верка.

Она тихо подобралась к окну, заглянула в щель между занавесками и обомлела. Мать, разбирая постель, сердито месила кулаками подушки, а отец... Отец сидел за столом, курил и, хмуря пучковатые брови, с силой выдувал дым так, что он клубящимся пятном растекался по крышке стола. Верка с детства привыкла видеть отца таким лишь

в самые трудные для семьи минуты и теперь поняла, что ей несдобровать. Тогда она села на завалинку и заплакала. Инстинкт самозащиты подсказал ей испытанное бабье средство, и она плакала долго, добросовестно, пока опасение, что эти невидимые миру слезы пропадут напрасно, не придало ей решимости и не заставило подняться. Не вытирая слез, чтобы явиться перед отцом во всем своем обезоруживающем ничтожестве, она направилась к крыльцу.

— Явилась,— встретила ее мать.— Наревела бесстыжие-то глаза!

— Мы не просто так, мы пожениться хотим,— выпалила Верка.

— Обрадовала! — Мать привалилась к стене.— Слышишь, отец? Эдакого кота да в дом! И на порог-то не пущу.

В кухню шагнул Андрей Фомич.

— Ступай спать! Завтра со мной в луга поедешь. С глаз не спущу, окаянную!

Верка опять хотела пустить подобающую случаю слезу, но вместо вызывающей жалости к себе вдруг почувствовала возмущение.

«Помыкают, как маленькой!»

Вскинув голову, она прошла мимо отца в горницу и, сошвырнув с кровати кошку, сердито сказала:

— Лазай тут! Я-азва...

И стала раздеваться.

4

Бригада Андрея Фомича Лаптева только что управилась с обедом. Стряпухи мыли в ржавом, луговом водоемчике посуду, косцы, спасаясь от комаров, лежали в тени кустов ольшаника, на ветерке.

Что-то спугнуло чуткий Веркин сон. Она села, поскребла искусанные комарами ноги и, прикрыв их подолом, хотела опять уснуть. В это время грязный комок дерна ударил ее по руке. Тихо вскрикнув, она оглянулась.

Из кустов махал своей кепочкой Сашка.

Сердце Верки запрыгало где-то в горле, но поднялась она спокойно, даже зевнула, потягиваясь, и, только когда кусты скрыли ее от глаз Андрея Фомича, со всех ног бросилась к Сашке.

В парном безветрии ольховой крепи стоял мощный комариный гуд, пахло листом, подопревшей корой, тухлым болотом. Размазывая по лицу и шее кровавое комариное

месиво, Сашка и Верка сидели на осклизлых корнях ольшаника.

— Не задалось,— зло сказал Сашка.— По-хорошему хотел, а они как от чужого... Выходит, я и девку посватать не могу, сволочи!..

Верка прижалась к нему и почувствовала, как напряглось, словно перед прыжком, его сухое, мускулистое тело.

— Сашок, Сашок,— забормотала она,— остынь. Ты посиди со мной, остынь, люба...

— Уйдем отсюда,— сказал Сашка.— Через брод — и айда. Уедем на целину, там народ нужен, не пропадем.

— Да как же, люба? Нельзя...

— Уйдем!

— Нельзя, люба...

Сашка с трудом оторвал от себя ее руки.

— Ну, а мне тут нельзя. Думал, вместе бедовать... Не задалось!

Верка опустилась на листвяной тлен, на сочившуюся гнилой водой землю и прижалась щекой к его коленям.

В кустах на болоте заплакал кулик.

5

Сашка тосковал.

Проснувшись поутру, садился он на крыльцо, выдергивал из плетня прут потолще и начинал строгать его ножичком. Из-под лезвия, сворачиваясь в кольца, бежала тонкая, как бумага, стружка. Вокруг крыльца было белымбело от мусора. По нескольку раз в день из избы выходила бабушка Лопата, сухая, широкая и чем-то действительно похожая на деревянную лопату. Она не говорила Сашке ни слова, а только смотрела сверху вниз на его затылок с косичками отрастающих волос и вытирала сухие красные глаза концом головного платка.

— Строгает? — встретив ее где-нибудь в селе, спрашивал маленький кривоногий участковый милиционер Анчуткин, как бы пристегнутый к большой желтой кобуре.

— Строгает, батюшка. Как есть целый день строгает, весь плетень раздергал,— жаловалась бабушка Лопата.

— Ты смотри, старая, предупреждал участковый.— Знаю я этих строгальщиков! Сейчас он прутик строгает, а завтра уголовный дебош учинит.

— Типун тебе на язык, Николашка! — в страхе махала руками бабушка Лопата.

— Верно говорю,— мрачно вещал Анчуткин.— Ведь он у тебя шальной. Забыла разве, за что сидел? Пуще всего от вина его отстраняй. Деньги-то он имеет?

— Должно, имеет. Шаль мне привез. Козьего пуху.

— Деньги изыми у него, припрячь. Поняла?

— Поняла, батюшка.

— То-то, старая.

Что и говорить — любил Коля Анчуткин нагнать страху на слабый пол.

На людях же был он застенчив, и поэтому, когда Сашка — мрачный, с тяжелым взглядом исподлобья, в кепочке на затылке и пиджаке на одном плече — появился вечером на «пятачке», как называли это утоптанное до каменной твердости место, где молодежь «дробила елецкого», Анчуткин нерешительно попросил его уйти домой.

— Шалишь, гражданин начальник,— вызывающе громко сказал Сашка, грозя ему пальцем.— Не имеешь права. Вот раскокаю я стекло или в лоб кому-нибудь закатаю, тогда можешь. Тогда бери меня, строчи протокол, клей мне статью. А пока я стою спокойно — извини. Правильно, граждане?

— Ну, что ты прилип к человеку, оставь его,— загудели граждане, по опыту своему считавшие за благо не задевать Сашку, и Анчуткин отступил.

Бесцеремонно потеснив девушек, Сашка сел на скамью, подпер голову кулаками и, когда гармонист вывел «Дунайские волны», вдруг грустно попросил Анчуткина:

— Послушай, Коля, посиди, друг, со мной, я тебе расскажу.

— Не могу, Саша. Я при исполнении,— тронутый его тоном, сказал Анчуткин.

— Ляд с ним, с исполнением. Посиди! Помнишь, как ты меня прошлый раз брал? Я тебе воротник порвал и за ухо укусил, помнишь? За сопротивление мне тогда лишнюю статью вклепали, но ты меня все равно прости и посиди, я тебе расскажу...

— Просит человек, уважь! — пристыдили Анчуткина граждане.

И Анчуткин, сконфузившись, сел на кончик скамьи.

— Кто я? — в упор спросил Сашка.

Тяжелый взгляд его выжидательно остановился на участковом, и, когда тот в замешательстве забегал пальцами по своей портупее, Сашка вздохнул:

— Эх, Коля! Даже девок от меня прячут. Верку Лаптеву отец в луга увез... Я тебе сейчас расскажу.

Со стороны за ними наблюдали любопытные. Словоохотливый, бойкий мужичопка, какие всегда не знамо зачем трутся около молодежи, доверительным полушепотом рассказал:

— Озорник этот Сашка. Беда, какой озорной! За озорство свое и под судом был. На что уж Федя-черт смирный человек, увертливый, так Сашка и его чуть вовсе не извел. На кнуте грозил повесить, утопить хотел. Ну, прямо озорник! — с неожиданным восхищением закончил он.

— Врешь! — крикнул Сашка.— Раз амнистия, значит, все. И никаких. Не гляди, Коля, я ему в морду дам.

Он привстал, сжимая кулаки, и это послужило сигналом к единодушному возмущению присутствующих поведением Анчуткина.

— Упять хулигана надо, а он рассиживает с ними, как побратим. Милиция называется!

Сашка махнул рукой, как-то расслабленно ссутулился и пошел прочь. Так он ничего и не рассказал Анчуткину.

6

Сашка помнил то далекое утро первой военной осени, когда он насмерть был перепуган стуком в дверь, от которого задрожала вся изба и в сенях покатилось пустое ведро. Он выскочил на крыльцо и увидел там секретаря сельсовета, или попросту «сельсоветовскую Глашку», со сбитым на затылок платком и круглыми от страха глазами.

— Парень! — крикнула она, словно он был очень далеко от нее.— Мать-то убило!

— Как убило? — растерянно спросил Сашка.

— Ох, не знаю... Звонили из города, говорят — Пелагею Раздольнову бомбой убило. Беги скореичка на конный, там лошадь запрягают.

Вместе с бабушкой Лопатой Сашка погромыхал на подводе в город.

Мать они нашли в хирургическом отделении городской больницы. На тихом и чистом больничном дворе повсюду лежали паутинчатые тени голых деревьев, няни в белых халатах тащили куда-то ослепительно начищенные баки, дворник сметал в пирамидки пестрые листья, и Сашка, пока шел через двор, успокоился — казалось, если уж человек попал сюда, то ему ни в коем случае не дадут умереть.

В палате мать была одна.

— Что же это, Пелагеюшка? — с плаксивой укоризной спросила бабушка Лопата, словно мать сама была виновата в случившемся несчастье.

— Сашку! — прохрипела она в ответ.

Услышав из-под маски бинтов этот до неузнаваемости изменившийся, но все же материн голос, Сашка вздрогнул. Ему вдруг вспомнилось, как летом посреди села грохнулась оземь лошадь, на которой везли в клуб киноленту, и, судорожно вздрагивая, начала биться. Ее голова на длинной шее хлестала по земле, как свинчатка на конце кнута: надкушенный лилово-синий язык вывалился из оскаленного рта, но, видно, какая-то внутренняя боль была еще сильней, и лошадь не чувствовала ничего, кроме нее.

— Голову ей держите! Голову!.. Не подходи, убьет!.. Жеребенка прогоните!.. — кричали вокруг.

Стройного, легкого молочника, кружившего возле матки, загнали в телятник.

Лошадь в последний раз вытянулась каждым мускулом и замерла.

Это мгновенное, словно вспышка, воспоминание как-то смяло Сашку. Он шагнул к матери и едва слышно повторил укоризненные слова бабушки Лопаты:

— Что же это, маманя?

— Слышь, сынок! — позвала она.— Помру, как жить-то будешь?

— Как все...— ответил он.

Мать усмехнулась горько и ласково.

— А ты знаешь, как все-то живут, сморчок?

По неписаному закону деревни осиротевшего Сашку взял на свое попечение «мир». На трудодни в колхозе выпадало тогда негусто, и его определили в пастухи, которые имели гарантированный заработок и харчевались в каждой избе поочередно.

С Федей-чертом Сашка не ужился. Для старух Федя был божьим человеком. Для ребятишек — забавным дураком, но Сашка-то уж знал, что это просто хитрый и жадный лентяй. Его не могло обмануть ни то, что Федя пил из дождевой лужи, ни то, что раны на своем теле врачевал, привязывая к ним жабу, ни то, что не умывался ни зимой, ни летом. Сашка говорил ему:

— Я жрать при тебе брезгую.

Федя, сбрасывая личину юродивого, скалился и отвечал:

— Дурачком-то легче. Меня вот и на войну не взяли.

Сашку, у которого война унесла мать, оскорбляли эти

слова, и он, когда подрос настолько, что мог не бояться Фединых кулаков, отплатил ему. Проходя высоким берегом реки к водопою, он легонько поддал плечом, и Федя скатился в воду, сразу попав на крутящуюся под яром быстрину. Плавать он не умел. Сашка дал ему уцепиться за конец кнута, приподнял немного и снова пустил. Так полоскал он его, пока Федя не начал икать и синеть.

— Наконец-то я тебя отмыл, черта,— сказал Сашка, выволакивая его на берег.— Смотри помалкивай, а то в другой раз совсем утоплю или удавлю кнутом на осине.

Завизжав пронзительно, дико, как заяц, Федя бросился в село, ударился там оземь и задрыгал ногами. Сбежались люди, ахали, грозили Сашке расправой.

В глазах мира, когда-то опекавшего Сашку, он был уже не жалкий сирота, а здоровый парень, который сам мог постоять за себя, и мир решительно принял сторону Феди: «Не тронь убогого!»

«Хоть бы в армию скорей взяли...» — тоскливо думал Сашка.

В селе ему было скучно. Осенними вечерами темнота рано опускалась на ощетинившиеся бурой стерней поля; в скирдах соломы шуршал бесприютный ветер; на едва светлевшую полоску заката летели черные стаи галок. Парни, укрывшись от ветра в срубе, резались в очко или ходили цепочкой за гармонью. Навстречу им такой же цепочкой шли с песней девушки. Обе стороны делали сначала вид, что не замечают друг друга, потом, будто невзначай, соединялись и вместе опять шли за гармонью. Это так и называлось «ходить за гармонью» и повторялось ежевечерне который уж год! Сашка тоже ходил и думал: «В армию бы скорей...»

В престольный праздник рождества богородицы он первый раз в жизни напился. Почувствовав прилив какой-то тупой и дикой силы, он сокрушил в избе у Феди-черта все стекла вместе с переплетами рам, потом сцепился с парнями в жестокой престольной драке — и ясным, вызванивающим первым морозцем днем октября, когда все его одногодки собрались с неизменной гармонью у райвоенкомата, он глядел через решетчатое окно вагона и, горьковато посмеиваясь над собой, думал: «Вот те и армия! Тю-тю...»

Все это, право же, очень трудно было рассказать Анчуткину.

«Подамся на целину,— думал Сашка, уходя с «пятачка», и тут же вспомнил о Верке.— Эх, люба моя!»

Мгновенно все его существо, как еж, свернулось в колючий клубок, готовый развернуться лишь с гадкой целью уколоть, задеть, оцарапать, и он недобро усмехнулся:

«Уйду... Только сперва Андрею Фомичу костыши повыдергаю. На целине народу много, затеряюсь — не найдут...»

7

За рекой косили уже по краю соснового бора, где кончались колхозные луга.

Вечерело, когда косари присели отдохнуть, перед тем как сметать в стог поспевшие копны.

Неподвижно, словно бронзовые колонны, высились сосны, между ними косо струились длинные желтые лучи, и лес был полон того предзакатного покоя, который охватывает не только природу, но и человека, и он как будто сливается с древесными комлями, пнями и мхами.

Все словно окаменели. На дорогу вышел тетеревиный выводок, как выходит он, когда здесь никого нет. Мирно квохча, тетерка тянула из травы длинную шею, а вокруг, точно пуховые шарики, катились птенцы, смешно и трогательно ныряя на бегу головками.

«Все ли видят?» — подумал Андрей Фомич и осторожно повернулся к Верке.

В это время у тетерки вышло совсем особенное «квох», и птенцы стремглав брызнули в траву, в мелколесье, а сама тетерка перелетела раз, другой, приглашая поверить ее наивной хитрости и броситься за ней в погоню.

Услышав хлопанье крыльев, Верка встрепенулась. Но еще раньше Андрей Фомич заметил, что, лежа на спине, она смотрела в нежное вечернее небо, а из уголка глаза у нее катилась по виску блестящая слеза.

Не зря рыдал кулик на болоте, оплакивая Веркину радость...

— Ты что это, дочка? — тихо, чтобы не слышали посторонние, спросил Андрей Фомич.— Ты скажи, не молчи. Чего ж молчком-то томиться!

— Так...— сказала Верка.— Я сама не знаю.

Никого бы она сейчас не допустила к своим думам...

В ту ночь над поймой, рогат и тонок, висел месяц, сгустив на земле все тени до того, что они казались темными провалами.

Выбравшись из шалаша и юркнув в кусты, Верка в нерешительности остановилась.

Какая это была темная, дикая ночь!

Верка стояла словно на дне огромной ямы, а в ушах у нее — «уинь... уинь...» — звенела тишина и вдруг разорвалась каким-то оглушительным звуком. Наверно, это был не более чем звук падения сухой веточки или крик ночной птицы над болотом, но бывают такие враждебные человеку заговоры леса и ночи, когда каждый шорох, каждый сгусток тени оборачиваются страхами.

Вскрикнув, Верка бросилась напролом через кусты к реке и, только когда живым серебром блеснул впереди широкий плес, перевела дух.

В сухое лето брод переходили ребятишки, собиравшие в пойме орехи. Верка сняла сарафанишко, обвязала его вокруг головы и без опаски вошла в воду, не замечая, что несчаные острова, намытые рекой посредине плеса, были скрыты водой и выставляли из нее лишь дрожащую щетинку ивняка. Отгребая руками напористую воду, Верка шла все дальше и опомнилась только тогда, когда волна окатила ее плечи. По-бабьи бестолково бултыхая ногами, Верка поплыла. Конец сарафана падал ей на глаза, намокал, тянул по течению. В лицо хлестнуло резвым пенистым барашком, забило рот, нос, уши. Верка закашлялась, сдавленно крикнула: «Сюда!» — и, задирая подбородок, из последних сил заколотила по воде руками и ногами.

По длинной прибрежной отмели шла и падала в теплую тину, плавающую в застругах. Дрожали колени, голова, руки. Хотела напиться и не донесла в ладошке до губ воду — расплескала. Отплевываясь тягучей слюной, долго лежала на холодном песке, потом на мокрое, с прилипшим песком тело натянула сарафанишко и упрямо пошла к селу, с каждым шагом чувствуя давящую боль в висках.

На стук ее, отрывистый, нервный, выскочил из сеней Сашка.

— Ушел, бессовестный, и нет,— плача, лепетала Верка.— Утопла было... Ох, ноженьки, Сашок, не держат... К тебе я, люба... Так всем и скажу — у него ночь была.

— Да ты иди в избу,— пугаясь ее горячечного шепота, сказал Сашка.

Старые часы в горнице у бабушки Лопаты просипели в это время три.

8

Для деревни, живущей в страдную пору сенокоса по правилу «коси, коса, пока роса», это был не такой уж ранний час. Председатель колхоза Репкин успел подняться и, круто фыркая, тер под глиняным рукомойником свою круглую и лысую, как костяной шар, голову. В недавнем прошлом городской житель, Репкин делал все нарочито «подеревенски» — ходил в сапогах и косоворотке, ел деревянной ложкой, любя папиросы «Север», курил вонючий самосад и умывался под глиняным рукомойником, хотя привез из города мраморный умывальник.

К счастью, этими безобидными чудачествами показная сторона его натуры и ограничивалась, не принося ущерба никому, кроме разве сельской торговой точки, где залеживались папиросы «Север».

Утро радовало председателя. Предвещая вёдро, оно занималось медленно, неярко, в спокойных золотисто-розовых тонах, и на небе долго истаивал круторогий месяц, а уж если рога у него круты, то хорошей погоде быть наверняка.

Перед уходом из дому Репкин, следуя своему обычаю, заглянул в записную книжку, куда заносил по пунктам неотложные дела на грядущий день. Их было двенадцать. Пункты третий и двенадцатый почему-то соединялись через поле жирной дугой, и Репкин обратил внимание прежде всего на них: «Жеребят за реку»; «Поговорить с А. Раздольновым».

«Ага!» — вспомнил Репкин и острым выдвижным карандашиком поставил у вершины дуги восклицательный знак.

За окном придурковатый пастух Федя-черт затрубил в пионерский горн.

День начался.

9

И дуга и двенадцатый пункт появились в записной книжке председателя накануне, после разговора с участковым милиционером Анчуткиным.

Вечером Репкин уже снял косоворотку и с удовольствием облачился в городскую пижаму, когда участковый застенчиво поскребся к нему в окно.

— Выдь на минутку, Григорий Иваныч.

— Да ты заходи сам,— пригласил Репкин.

— А кто у тебя?
— Никого. Свои только.
— Нет, ты лучше выдь. Покурим на завалинке,— подумав, ответил Анчуткин.

Репкин вышел. Они уселись, свернули по толстой цигарке крепчайшего самосада и задымили.

Анчуткин молчал.

Свет месяца лег на крыши изб, протянулся стальной полоской по колодезному журавлю, качнулся в пруду, потревоженному всплеском рыбы, и где-то на дальнем конце села стал, должно быть, виною припевки, отчетливо прозвучавшей в тишине вечера:

Эх, миленок, черны очи,
Погоди меня ласкать!
Очень светлы стали ночи —
Могут люди увидать.

— Ну? — спросил Репкин, когда докурили.

Анчуткин кашлянул. Потом опять долго молчал, растирая в пальцах скользкий листок подорожника, понюхал ѐго, бросил и сказал:

— Ты уж, Григорий Иваныч, через свое самолюбие перешагни. Сходи сам к Сашке Раздольнову.

— Постой! — удивился Репкин.— Ничего не понимаю. Это кто ж такой?

— Сашка-то?

И Анчуткин — не великий мастак говорить — рассказал, как умел, про Сашку.

— Сходи уж, Григорий Иваныч,— закончил он.— Это, знаешь, как-то того... когда сам председатель придет и на работу попросит. Сашка, он сразу на вершок вырастет. Я его знаю.

— Что ж, работы в колхозе нет, что ли? — согласился Репкин.— Будет твой Сашка жеребят пасти?

— Можно и жеребят, все одно. Только уж ты сам к нему. С подходцем, знаешь... Так я в надежде, Григорий Иваныч?

— Будь,— заверил его Репкин.

Они попрощались. Дома Репкин достал свою записную книжку, занес в нее двенадцатый пункт и жирной дугой соединил его с третьим. Новый день должен был начаться через три часа.

А Коля Анчуткин между тем шагал, сворачивая из прогона в прогон, по улицам села, а кругом в садах и огородах, надсаждаясь, пилили, звенели, трещали, свиристели,

цокали кузнечики. Почти у каждого крыльца при Колином приближении чуть отстрапялись друг от друга две расплывчатые тени и снова соединялись, едва он проходил мимо.

Но вот и незанятое крыльцо. Коля огляпулся по сторонам. Все было покрыто зернистым налетом росы и сказочно блестело под месяцем. Блестела дорога, уходящая в поле, блестели березовые прясла, блестело старое, выброшенное за ненадобностью ведро, и куча свежей щепы, и куст бузины, и кривая скворечня Феди-черта — все лучилось тонкими иглами синего света... Бедовый запах сена ударил Коле в голову. Он тихо кашлянул, и этот знак вызвал из тьмы сеней бесшумную тень, которой принадлежало незанятое крыльцо.

— Где же ты пропадал? — разгневанно шепнула она.

— Дела,— вздохнув, ответил Коля.

10

Верка откинула прутиком щеколду и через скрипучие сени вошла в жаркую, загудевшую потревоженными мухами кухню.

Мать, проводив корову, видно, опять прилегла и уснула. Долго стояла Верка у двери, прислонясь щекой к косяку и зажмурив глаза, потом решилась — вошла и, быстро раздевшись, юркнула к матери под одеяло.

— Мама, ты не пужайся,— зашептала она.— Проснись-ка, мама...

Дарья Кирилловна спросонок испугалась, оттолкнула Верку, но тут же опомнилась и добродушно заворчала на дочь:

— Ну, чего подвалилась? Вставать уж пора... Отец-то там как? Комара, чай, в пойме гибель?

— Мама, я к Раздольновым уйду,— тихо сказала Верка.

— Опять ты за свое! — сердито прикрикнула Дарья Кирилловна.

— Хошь привязывайте! И сейчас от него...

Мать ахнула.

— Уйду, мама,— упрямо повторила Верка и, уткнувшись ей в грудь, пахнущую сенным тюфяком, горячо зашептала: — Давайте по-хорошему, чтоб свадьба, чтоб как у людей, чтоб согласно все... Мне же стыдно так-то, м-мама!

...Во дворе поросенок уже давно орал с голодухи дурным голосом, колотясь о стенки клетуха, а они все спорили, плакали, утешали друг друга и опять спорили, хотя и та и другая уже знали, что быть по-Веркиному.

Наконец Верка уснула, всхлипнув напоследок, как дитя. Дарья Кирилловна встала, одеваясь, смотрела на ее слипшиеся от слез ресницы, на распухшие губы, и жалко ей было не уступить Верке и жалко уступить.

Накормив поросенка, она вернулась в избу, разбудила дочь, и они стали собираться на стан к Андрею Фомичу, чтобы объявить ему свое решение. Дарья Кирилловна достала из комода чистый платок и, покрыв им голову, завязала на затылке. И Верка вдруг увидела, что мать на самом деле не так уж стара и только лицо ее поблекло от ранних вставаний, от печного жара, от дождей и зимнего ветра. Как и многие в ее возрасте, Верка стыдилась открыто проявлять свою нежность к родителям, но тут не сдержалась, погладила мать по черным блестящим волосам, не закрытым на лбу платком, и шепнула:

— Мама...

Вышли они непривычно размягченные каким-то тихим грустным чувством.

На конце села, там, где стояли длинные бревенчатые конюшни, сбившись в кучу и стараясь положить голову на круп друг дружке, живым клубком вились жеребята-двухлетки. На нетерпеливом жеребце вертелся вокруг Репкина Сашка, не по-летнему тепло одетый в длинную кудлатую робу.

— Здорово, тетка Дарья! — сказал он, пытливо присматриваясь к ней желтым ястребиным глазом.

— Здравствуй, Александр Митрич,— спокойно ответила мать, проходя мимо.

И с тем же величавым достоинством, не поднимая на Сашку глаз, проследовала за ней Верка. Удаляясь, слышали они, как Репкин говорил:

— Из водохранилища воду вчера сбросили. Смотри, держи жеребят где повыше.

— Не зайцы твои жеребята, не перетонут,— с усмешкой ответил Сашка.

И, видно, добротно хлестнул жеребца, потому что тот сразу взял галопом.

Дарья Кирилловна и Верка шли по мягкой пыли вдоль ржаного поля. Они сняли туфли, несли их за ремешки в руках и были сейчас очень похожи друг на друга, только

Верка чуть-чуть прямее держала голову, отгибая ее назад, чтобы почувствовать на затылке тяжесть волос.

Становилось жарко.

Повсюду еще пахло сеном, пахла им даже дорожная пыль, но рожь уже налила тяжелый восковатый колос, готовя хлеборобам новую страду.

Блестя слюдяными крыльями, реяли над ней луноглазые стрекозы.

1958

КРАХ

1

Начинаясь в приклязьминском фабричном городке, дорога на лесной кордон идет через луга, через ржаные поля, через пыльные картофельники и, минуя последнюю заречную деревню, пересекает границу лесов. За этим рубежом уже не встретишь ни одного колоса. Сначала по заболоченным кустарникам потянутся бревенчатые гати, потом начнется сосновое мелколесье, а за ним встанут горячо пахнущие смолой, обросшие ломким голубым мохом боры, где за целый день не только живая душа — робкий цветок не заглянет тебе с улыбкой в глаза.

Мир. Тишина. Покой...

Давным-давно, в пору коллективизации и раскулачивания, молодой мужик Аверкий Лыков бросил крестьянствовать и поступил на службу в лесное хозяйство.

Отцу своему перед отъездом на новое место сказал:

— Мудруют над нами товарищи, вертят и так и эдак нашу жизнь, а выйдет толк ай нет — неизвестно. Может, в трубу вылетим с этими колхозами. Да и несправедливое это дело — все в общую кучу валить. Я, скажем, вполне справное хозяйство вложу, а другой, голодранец, с одной ложкой прилепится. Нет уж! Я на кордоне буду оклад получать и хозяйством без препятствия заниматься.

— Спробуй,— коротко напутствовал его отец.

К исходу лета в бездорожной глуши еще не освоенных массивов, на берегу лесной речушки, неторопливо струившей густую на вид и коричневую, как чай, воду, Аверкий срубил из сосновых комлей сторожку.

— Вот изба-то! Дворец янтарный! — хвастался он,

вводя на резное крылечко жену Настю.— Ничего, что глушь, был бы хлеб да муж. Так, что ли?

— Куда иголка, туда и нитка,— тихо сказала тогда Настя.

Она считала свою жизнь погубленной, и ей было все равно, где жить, хоть с чертями в болоте. Денис, отец ее, по ремеслу был плотник, по виду — цыган, а по характеру — человек веселый и легкий. Крестьянский труд он не любил. Бывало, чуть обтают на апрельском ветру горбатые холмы, отходил он в Москву, в Нижний, в Казань и плотничал там до поздней осени. Когда же износилась и увяла, ворочая в одиночку бедняцкое хозяйство, его жена, он, еще статный, чернобородый молодец, загулял и сгинул из села на веки вечные.

Шестнадцатилетнюю Настю из благочестивых побуждений (много ли проку в хозяйстве от бабы!) взял в работницы вдовый старик Лыков. Весной, когда она помогала Лыковым пахать дальний прикупной клин, Аверкий замотал ей голову юбкой, изнасиловал и, припугнув расправой, велел молчать.

— Ты что, касатка, глаза-то наревела? — подозрительно спросил старик, когда она вернулась с поля.

Настя бухнулась на лавку, разлилась рекой и покаялась. В тот же день старик позвал Аверкия в лес за жердями и там, в глушинке, больно отхлестал кнутом.

— Для себя берег, папаня? — ядовито усмехнулся Аверкий, вытирая с лица кровь.

— Женю! — рассвирепел старик.— На батрачке женю, на нищей! Жеребчина стоялый...

Аверкий опять усмехнулся. Молодая, пригожая, сильная Настя нравилась ему, а жениться на батрачке, по его дальновидным соображениям, было даже лучше — очень уж косо стали поглядывать в селе на богатых Лыковых.

— Не испугал, папаня!

— Ну, добро ж!

Старик был крут и неотходчив. Свадьбу сыграли, и вскоре после нее Аверкий отошел от семьи на кордон.

Так возник здесь этот маленький островок человечьей жизни, вкрапленный в бескрайный разлив лесов.

Долго, не щадя сил, ворочали вокруг него лес Аверкий и Настасья — выдирали из земли разлапистые пни, вырубались к поречному лужку сквозь ольховую, вербяную, черемуховую крепь — и оттого еще в молодости оба стали кряжистыми, большерукими и по-медвежьи сутулыми. Зато вокруг кордона, как непреложенное свидетельство их

нелегкой победы над лесом, легли клинышки посевов, огородов, покосцев, и завозилась в хозяйственных пристройках сытая скотина.

Как-то зимой Аверкий увидел чужие, настойчиво петляющие близ кордона следы, а через день наткнулся в лесу на двоих, в полушубках, с наганами на боку.

— Лесник? — коротко спросил один.

— А вы кто?

Те не ответили и быстро ушли в лес, но утром Аверкий опять нашел их свежие следы у самого кордона.

«Нюхают чего-то, ищейки»,— подумал он.

Вечером, когда по крыше белыми крыльями шуршала метель, когда под окном дымился на ветру гребень сугроба и одичавший в лесу, трусливый и вероломный пес по кличке Шельма протяжно выл у соломенного омета, кто-то тихо поскреб в окно сторожки. Аверкий дохнул на стекло, потер его рукавом и отшатнулся. Из перепутанных волос, из свалявшейся щетины глянули на него зеленые, с желтым крапом лыковские глаза.

Аверкий вышел на крыльцо.

— Братуха, Христа ради...— кинулся к нему брат Тихон.— Кору жрал...

— Чего нашкодил? — угрюмо спросил Аверкий, вспомнив тех двоих с наганами.

— Хлеба дай!..

Сидя на полу у печки и давясь черствым хлебом, Тихон рассказал, что Лыковых раскулачили.

— И все? — помолчав, спросил Аверкий.

— Данилку Фомина, председателя, мы с папаней укокали... вилами... ночью.

— А папаня где ж?

— Данилка, пес... Из нагана пальнуть успел... Остался папаня.

Аверкий долго гладил ладонью крышку стола, словно пробовал ее на оструг, потом решительно встал и снял со стены сыромятные вожжи.

На всю жизнь запомнил он, как вился у него под коленкой Тихон, как ругался, плакал, стукался головой об пол, а потом, уже связанный, напрягся весь и плюнул ему под ноги.

— Не балуй, браток, не балуй,— почти ласково говорил ему Аверкий.— Все одно ты против меня, что комар. Ослаб, оголодал. Куда уж тут баловать!

И, взвалив его в сани, чтобы везти в село и сдать там милиции, прибавил:

— Я, Тиша, из-за вас свою долю в жизни терять не желаю. Потому и сюда отошел, что наперед видел — завяжут Лыковым хвост восьмеркой, доберутся.

— Шкура козлиная,— прохрипел Тихон.— Все одно тебе наше родство не простят.

— Авось теперь простят,— вздохнул Аверкий и широко перекрестился на шумевшие во тьме сосны.

С тех пор он еще прочней затаился в своем лесном логове и почти не появлялся на людях, чтобы лишний раз не напоминать о себе. Его не тревожили. Теперь только одна постоянная забота не давала ему покоя: Настасья долго не рожала, а первенца, должно быть от тяжелой работы, родила мертвеньким.

Аверкию хотелось наследника.

Долго он сердился на жену и, видя, как ловко она ворочает в печке ведерные чугуны, корил ее:

— Здорова Федора, да дура. Простого бабьего дела исделать не можешь — ребенка родить... тьфу!

Прошло два года, и как-то зимой, подпирая колом увязший в снегу возок дров, Настасья бросила кол, прилегла на снег и тихо сказала сквозь зубы:

— Худо мне, Ильич... Знать, опять не уберегли ребеночка...

Аверкий дрожащими руками раскидал дрова, положил жену в сани и, не жалея лошадь, погнал в город. Там к исходу дня Настасья родила слабую синенькую девочку. Аверкий вместо качки сделал для нее из ивовых прутьев корзину и, пока плел, все приговаривал:

— Не потрафила, мать, не потрафила. Нам с тобой парнишку надо, работягу, наследника. Есть байка одна. Спросили, слышь, мужика, куда он деньги деёт. А тот и говорит — одну, мол, часть в долг даю, другой частью долг плачу, а третью — на ветер кидаю. Как, мол, так? А так. Сына, значит, ращу — в долг даю. Родителя соблюдаю — долг возвращаю. А дочь кормлю-питаю — на ветер кидаю.

И все же по этой суетливой болтовне, по смущенно-радостной улыбке было заметно, что Аверкий очень взволнован и счастлив.

Дочь назвали Устей.

Когда в сорок первом году Аверкия взяли на фронт, ей было семь лет.

Без хозяина кордон осиротел. Все настойчивее маяла Настасью лесная тоска по людному месту, по соседу и даже просто по вспаханному полю, откуда видны огни дере-

вень и слышен запах печного дымка. Часто просыпалась она по ночам и, обняв худенькое тельце дочери, принималась плакать.

— Мам,— окликала ее спросонок Устя.— Ружье-то у тебя заряжено?

— Чего?

— Ружье-то, мол, заряжено?

— Экая ты! Как же не заряжено-то? Спи! — отвечала Настасья, скрывая от дочери слезы.

А когда наступила осень и ноябрьский ветер насквозь просвистал голые осинники, когда из серого облачного мутива на лес, на свинцовую речку посыпалась колючая крупа, ей стало совсем невмоготу. По первопутку, забрав весь скарб и скотину, она уехала к матери в село Токовец.

2

Пока Настасья жила на кордоне вдали от людей, она как-то не ощущала размеров и трагической сущности бедствия, свалившегося на их головы. Аверкия она проводила на войну легко. По дороге в город Устя — веселая, звонкая — забегала все время вперед, возвращалась то с цветком, то с кузнечиком, то с бледной поганкой; Аверкий, смеясь, ерошил своей огромной пятерней ее волосы, и — в который уж раз! — давал Настасье последние наставления по хозяйству.

— Телку ты, пожалуй, мясом продай,— говорил он, и Настасья согласно кивала, держась обеими руками за рукав его нанкового пиджака.— А корову пуще глаза береги,— продолжал Аверкий.— Такую корову — не дай бог прогрудеет или еще что — не скоро наживешь. Магазин, а не корова. Овец не нарушай. Утки... этих нарушь, бестолковая птица, прожорливая. А курей оставь. На зиму их в избу возьми, ежели морозы жать начнут — поняла?

— Неуж к зиме-то не придешь, Ильич? — спросила Настасья.

— Кто его знает...

У первой деревни Аверкий остановился, подозвал дочь и долго тискал ее своими ручищами, крепко терся выбритой щекой о лицо, волосы, плечико. Потом обнял Настасью. Она повисла на нем, заголосила, повалилась наземь, в придорожные овсы, но, едва он скрылся за деревенскими вишенниками, замолкла, встала и начала поправлять

платок, считая обычный бабий ритуал проводов окопченным.

От Аверкия часто приходили письма. Он попал на подмосковный испытательный полигон, и в его письмах, содержавших преимущественно наказы «соблюдать хозяйство» и описания дневного довольственного рациона в армии, совсем не чувствовалась настоящая война, война-бедствие, война-горе, война-смерть.

В Токовце тоже не рвались снаряды, не стелился понизу горький чад пожаров, но все — от разговоров до молчаливых слез — было отмечено знаком войны. Она каким-то недетским, прочным страданием залегла даже в глазах тринадцатилетнего белобрысого почтаря Кирьки. Он уверял, что распознает «похоронные» в конверте «по хрусту», и, принося в дом эту роковую бумажку, глядел на хозяйку с такой мукой, что иная бабенка послабее нервами заранее рушилась на пол, как сноп. Стосковавшаяся по людям Настасья сразу же приняла к сердцу их беды. Как все, впивалась она тревожно спрашивающим взглядом в лицо Кирьки; как все, с утра до вечера ковырялась в мокрой, холодной земле, выбирая картошку; как все, шила для солдат теплые рукавицы, валяла валенки, стегала ватные телогрейки.

Однажды женщины работали на картофельном поле. Ветер косо нес седую дождевую пыль, шипели и дымили костры, над которыми женщины отогревали сведенные стужей пальцы. Никто не помнил потом, откуда вдруг налетел слух, что в город привезли раненых. Все бросили работу, сбились в кучу и, тяжело дыша, оскользаясь на жидкой осенней грязи, побежали по дороге в город. Напрасно бригадир — старый Илья Нефедов по прозвищу Веселый Глаз — махал им вслед руками и кричал:

— Бабы! Остынь, окаянные! Кто сказал, что там ваши? Кто брехню пущал? Слыханное ли дело, чтобы со всей войны ваших непременно сюды собирали! Вернись сей момент!

Женщины даже не оглянулись. Их тесной молчаливой толпой, словно спаянной нерушимой порукой, двигала одна воля, одна мысль, одна надежда, и вскоре, не обращая внимания на крики бригадира, они скрылись в серой дождевой мгле. Настасья бежала вместе со всеми. У нее не было опасения за жизнь Аверкия — лишь накануне она получила от него письмо, у нее не было надежды увидеть его среди раненых — он находился в безопасном месте,— но, захваченная общим порывом, она все-таки бежала

через грязь, лужи, раскисшие луговины туда, где по какой-то почти невероятной возможности мог оказаться чей-нибудь муж, сын, отец или брат.

Вернулись они, конечно, ни с чем. Из школьного здания, занятого под госпиталь, к ним вышел прихрамывающий комендант. Долго слушал их бестолковый галдеж и, наконец, смекнув, в чем дело, гаркнул:

— Тише! Как фамилия?.. Твоего нет. И твоего нет. Что? Гуськов? И Гуськова нет. Тихонов? Звать как? Петром? Нет Петра, Филимон есть.

Так перебрал он всех, и женщины, притихшие, погрустневшие, но успокоенные, медленно поплелись назад в село.

В годы войны Настасье очень пригодилась ее привычка к тяжелому ручному труду. МТС тогда не работала, в плуги и сеялки запрягали коров, жали серпами, и выносливая, прилежная Настасья как-то сразу встала у всех на виду. Когда район выбирал своих делегатов для сопровождения на фронт эшелона с подарками, то от Токовецкого колхоза выбрали ее. Бригадир Илья Веселый Глаз произнес по этому поводу речь. Еще в гражданскую войну он, молодой взводный, заслужил орден и, хотя ему давно уже перевалило за пятьдесят, был убежден, что новая война без него не обойдется, его обязательно вспомнят и позовут.

— Героические товарищи женщины! — сказал он, взгромоздясь на табуретку.— Бабоньки! Все вы дружно тянули руку за Настенку Лыкову. Правильно! А я еще скажу. Война, по всей видимости, затеялась немалая, и еще спонадобятся старые краснознаменные командиры. Сегодня я здеся, а завтра на боевом коне. Так что будет вам Настенка первый пример в труде для фронта и для победы. Тянитесь за ней, чтоб в самую, значит, пяту.

Настасья растерялась. Всю жизнь, с тех пор как помнила себя, она пахала землю, косила траву, жала рожь, копала картошку, ухаживала за скотиной, но ей даже в голову не приходило, что этот обычный крестьянский труд, который на ее глазах справляли многие женщины, способен приносить не только сытость, а уважение людей и почет.

— Ой, бабы... да что вы! Да я дальше города и не бывала. Куда мне ехать...— бормотала она, жгуче краснея и отмахиваясь руками.

А дома после собрания долго с удивлением глядела на себя в мутное зеркало и думала: «Настенька... Милая ты

моя... Да что же это делается с тобой? Любят тебя, уважают. Чего же ты плачешь-то, глупая!»

Земля смутила Настасью своей обширностью, обилием на ней городов, сел, деревень, людей. Стояла глубокая осень. По утрам на бурую траву, на сбитую морозом землю ложился сверкающий иней, в воздухе, блестя на солнце, вилась игольчатая изморозь, и мир под этим холодным солнцем казался Настасье до жути незнакомым и странным.

Но вот потянулись места, откуда лишь недавно отступила война. Настасья, не отрываясь, смотрела из дверей теплушки на искореженную землю, на измочаленные в щепы леса, на разбитые станции, на пепелища с развалившимися печами и всем своим крестьянским сердцем, непримиримым с разрухой, запустением, принимала эту общую беду, ставшую ее личной болью.

Войну, как и море, не представить, пока не увидишь ее. Ночью эшелон долго стоял в лесу; вдоль вагонов ходили люди с автоматами и карманными фонарями, переговаривались вполголоса, смеялись. В небе над лесом играло белое мерцающее сияние, шатались столбы голубоватого света прожекторов, и вдали погромыхивало, словно перед грозой.

— Смотри, к дождю,— шутили делегаты, не подозревая, что они уже находятся на той самой войне, которая всегда одинаково рисуется только в тылу, а на самом деле принимает тысячи самых разных обличий.

Утром их доставили на машине в расположение артдивизии. Там, в блиндаже, был накрыт стол; веселый розовощекий полковник с вдавленным шрамом на лбу благодарил делегатов, жал всем руки, целовал со щеки на щеку. Потом им показали пятнистые, как ящерицы, врытые в землю пушки, тягачи, бронетранспортеры, походные кухни и сказали, что вон за тем леском, в пяти километрах отсюда, находится *он*.

Настасья во все глаза смотрела на этот голый, окутанный фиолетовой дымкой лесок. Был он точь-в-точь такой же, как под Токовцом — молоденький, частый, ровненький,— и эта похожесть снова тронула сердце Настасьи уже знакомой болью за родную землю.

Вернувшись в Токовец, она, как с ней ни бились, не смогла ничего рассказать односельчанам про войну.

— Все видела,— твердила она.— И пушки видела, и танки, и бомбы эти самые... Ну прямо, как поросята, гладкие. И *его* видела. Привели до коменданта пленного —

мальчонка мальчонкой. Кононатенький, белый... Того гляди, зеленые сопли распустит... А городов, сел наших побитых — ужасть! Я вся слезами изошла... Не надо вам, бабы, этого слышать, не приставайте.

Последняя военная весна долго выстаивалась в нестерпимом сиянии морозного солнца. Давно уже минул март; зазолотели каждой своей веточкой тополя, навострившие липкую почку; очистились крыши, запахло у скотных дворов оттаявшим на солнечном припоре навозом, а в поле снега все еще лежали чистые, неподточенные и голубовато искрились, словно сахар на изломе.

«Часом кончится»,— говорят обычно про такую весну.

И верно. Ночью ветлы над прудом стучали ветвями, ухало па крышах железо, и тому, кто полусонный, босиком выскакивал в потемки сеней, чудилась снаружи какая-то возня, какое-то чмоканье и плескание, словно там хлестали по стене мокрой тряпкой. Затем в дни, наступившие вслед за этой ералашной ночью, все ненадолго смешалось в Токовце. На улицах, разбрасывая клочья свалявшейся шерсти, грызлись собаки; у парней и девчонок ошалело мутнели глаза, раздувались ноздри, а ребятишки, забывая родительские наказы, приходили домой затемно, в мокрых шубенках, и пахло от них псиной. Именно в эти дни видели, как почтарь Кирька обнял почерневший ствол ветлы, крепко поцеловал его и рывками пошел дальше, наваливаясь плечом на упругий ветер.

Над селом растревоженно орали грачи. Женщины, поехавшие в заречные луга за сеном, вернулись порожняком и рассказывали, как у них на глазах с тихим шелестом и звоном сдвинулся кусок занавоженной дороги и в темной щели заиграла на ветру бойкая волна.

А там и пошло!

Смывая в городах намерзшие помои и золу, рванулись снеговые ручьи, и уже не тихий шелест и звон доносились с реки, а тяжелая, трудная возня льдин, заставлявшая токовчан изумленно качать головами:

— Ну и сила!

Потом все постепенно вошло в свою колею. Улеглись порывистые ветры апреля, напористое майское солнце уже рождало первую тоску о дожде, и вдруг опять вся жизнь была взбудоражена новой радостью, сильнейшей, чем весна.

Под утро село было разбужено набатным звоном. Люди выскакивали на улицу полураздетыми, хватали на бегу топоры, багры, ведра. Старухи крестились в темные

углы. Но это была не тревога. Кирька, поймав по своему детекторному приемничку весть о победе, не утерпел — ударил железным болтом в вагонный буфер...

К приезду Аверкия Настасья готовилась, как к празднику. Были забыты безрадостные дни на кордоне, жизнь стала для Настасьи шире, светлей, как в доме, где после долгой зимы вымыли и растворили все окна, наполнив его солнцем, сквозняком, запахом молодой листвы,— и она с радостью и нетерпением готовилась принять в эту жизнь мужа.

3

Вернувшись с войны, Аверкий как ни скучал по семье, а со станции завернул сначала на кордон. Сторожкой он остался доволен: бревна в срубе лежали одно к одному — звонкие, гладкие — и на солнечной стороне все еще плакали тягучими каплями янтарной смолы; хозяйственные пристройки тоже были как новенькие, но пашня, огороды, лужки заросли ежами сосновых побегов, кустарником, травой и были так удручающе грустны в своем запустении, что Аверкий не чувствовал ни малейшей радости от встречи с домом. На время он даже забыл, что теща его умерла, что изба в Токовце теперь тоже принадлежит ему и Настасье и что он сам давно уже одобрил поступок жены. Он ходил вокруг заброшенного кордона и никак не мог взять в толк, почему Настасья, которая пятнадцать лет бок о бок с ним рвалась на работе, чтобы всему здесь они имели право сказать «мое»,— почему она бросила все это и ушла к чужому двору. Скорей с недоумением, чем с укором, спрашивал он ее позже об этом. Она равнодушно поводила плечом.

— По ночам боязно было.

— Только и всего?

— Ай мало? Страсть ведь, как боязно-то было. Сплю ночью — и вдруг словно кто в бок толкнет. Проснусь и слушаю, как на дворе корова вздыхает. И Устя проснется, спросит: «Ружье-то у тебя мама, заряжено?» — «Как же, мол, не заряжено-то, спи!» А сама прижмусь к ней и плачу... Так и ушли в село.

Аверкий опять ничего не понял. Что-то новое появилось не только в характере, но и во внешнем облике жены. Он привык видеть ее всегда раздраженную от усталости, с жилистой шеей, с большим животом под ломким от печной грязи фартуком, со строгим и темным, как ста-

рая икона, лицом, а теперь перед ним была спокойная опрятная женщина, которая и платок-то завязала не на подбородке, а, как молодая, на затылке, в обтяжечку.

— Изба-то совсем твоя? Смотри, прочно ли дело? — допытывался он.

— Мамашина воля. Она завещание оставила.

— А ты в колхоз, значит, вошла...

— А то нет? Бросить бы нам, Ильич, лесную берлогу-то.

— Ну-ну! — хмурился Аверкий.— Не больно барышно в вашем колхозе-то. Ты покуда оставайся, а я кордона не брошу. Лишний грош карман не тянет.

И, только поверив, наконец, что изба действительно перешла к Настасье, он успокоился и по-своему объяснил перемену в жене:

«Хо-зяй-ка!»

На третий день он уговорил Настасью поехать с ним на кордон, чтобы подновить к зиме на сторожке крышу. Стояло погожее утро бабьего лета. Ехали мимо изумрудных озимей, мимо буро-красной гречи, мимо жухлых картофельников, и Настасья вся отдалась печали, которой всегда полны такие дни с летящей в ясном небе паутиной, с грачиными стаями на горизонте, с мягким и ласковым теплом последнего солнца.

— А я летось лосей видела,— сказала она, задумчиво щурясь на прозрачную синь неба.— Ехала в Демидовку за обратом, а они с Валежной кручи спустились, матка и два теленочка. Теленочки рыженькие, как у коровы. Я думала, они серые, ан рыженькие. Такие славные теленочки! Перешли мне дорогу и в чащу потрусили... Вспомнила я, как свалил ты тогда лосиху-то да и топором ее...

— Лося свалить дело нехитрое,— заметил Аверкий.— Концы спрятать мудрено.

— Слыш-ко, Ильич,— повернулась к нему Настасья.— Бросил бы ты, ей-богу, этот кордон. Не впрок он тебе. Жадный ты, хватачий. Доишь лес, как корову. И все больше да больше тебе надо. А ведь все-то не ухватишь — рук не достанет. Так и изойдешь завистью.

— Что-то не пойму я тебя, баба,— сурово и подозрительно сказал Аверкий, косясь на нее.

— Ну, ин ладно,— вздохнула Настасья.

— Баба — баба и есть,— усмехался и качал головой Аверкий.— Не можешь ты своим куриным умом сообразить, что на кордоне — оклад, потом — земля, покос, дро-

ва. А в колхозе много ли ты заработаешь? Ну, скажи, ежели уж учить взялась, много?

Настасья молчала. Война подточила колхоз, и вот уже третий год подряд на трудодень выпадало лишь немного картошки да горсточка проса. Нечем ей было крыть веские доводы Аверкия.

И в тот же день, спрятавшись ото всех на погребице, припав лбом к холодному косяку, Настасья плакала, почуяв, что надеждам ее не сбыться никогда.

По чернотропу Аверкий уже переехал на кордон и лишь изредка стал наведываться в село за какой-нибудь надобностью.

Так и раскололась их жизнь — словно полевая торная дорожка разбежалась на две.

4

Усте шел восемнадцатый год. В непутевого деда Дениса была она смугла лицом, черна волосом и как-то по-цыгански загадочна нравом.

— Ты почему молчком живешь? — приставал к ней Аверкий.— О чем думаешь-то? Ну и дитятко уродилось! Слова у нее не дощупаешься.

Устя в ответ только чуть приподымала густые широкие брови, но зеленовато-серые глаза ее всегда смотрели одинаково: задумчиво, горячо и потаенно.

— Ну, чего ты пристал к ней! Девка как девка. Не хуже других,— вступалась за дочь Настасья.

И Аверкий, утративший с годами властную твердость хозяина дома и главы семьи, только ворчал на этот непочтительный окрик:

— Замуж ее пора, гладкую...

К дочери он относился с тем презрением, которое всегда порождается в корыстных душах к женщине, занимающей в хозяйстве второстепенное место. В детях он считал себя неудачником. Устю он любил, как любил все принадлежавшее ему, но с самого ее рождения усвоил, что это не добытчица, вертопрах, журавль в небе, и продолжал жалеть о мальчике. Уж этот был бы настоящим наследником. А дочь... Что дочь! Надев длинную юбку, кривляется на сцене, ловит каких-то козявок, прикалывает эту гадость булавками на картон и вообще занимается черт знает чем.

Замечая на себе недружелюбные, насмешливо-презрительные взгляды отца, Устя бессознательно сторонилась

его, оберегая свой интимный мир от грубого и неуважительного вторжения. Эта усмешка, как липкая грязь, поганила все, что было для нее святым. Она собиралась с комсомольцами на воскресник в колхозный сад, и Аверкий, кривя под сивыми усами губы, обязательно говорил: «Выезжает на вас, дураках, председатель-то. Трудодня небось не запишет...»

Устя возвращалась из клуба после репетиции возвышенная, полная неясного, но сладкого предвкушения артистического успеха и неизменно слышала от отца: «Ты бы лучше на базар с молоком съездила, чем пыль-то в клубе подолом сметать...» Она выбегала поутру на крыльцо, босая, счастливая, с туманом смутных снов в голове, охлестывала ладонями седую полынь у плетня, умывалась жгуче-студеной росой, и снова ее радость, как на преграду, натыкалась на отцовскую усмешку: «Росой да через серебро умываться — бела будешь. Мойся, мойся, а то черна, как головешка. Отмоешься — замуж скорей возьмут...»

Тягостны и как-то мучительно-стыдны были для Усти дни, когда отец приезжал в село.

А тот по целым неделям жил теперь дома, не наведываясь на кордон. Хозяйством он там уже не занимался — землю вокруг кордона запустил, потому что уже не в силах был поднять ее и потому что на сельской усадьбе земля была лучше; скотину держал тоже в селе, где Настасья на правах колхозницы пользовалась выпасом, и только в страдную пору покоса увозил с собой Устю, чтобы та помогла ему выкосить лесные полянки, окрайки и просеки.

— Стари-и-ик, уйми-и-ись! — увещевала его Настасья.— Ну почто тебе это сено с палками? Я в колхозе лугового получу — чистый мед. Под крышу сеновал забьем.

— Ишь, забогатела! И это сгодится,— ворчал Аверкий.

Не в его природе было проходить мимо того, что само давалось в руки...

Зимой зачастил к Аверкию новый объездчик Ванька Жаринов. Был он парень пустой, хвастливый, ломал перед лесниками большого начальника и нагло вымогал у них на водку. Кроме того, у него была еще одна особенность, доставляющая окружающим большие неудобства. Начав рассказывать что-нибудь, он тут же сбивался на другое, с этого на третье, и вместо человеческого разгово-

ра получалась какая-то чудовищная по своему изнурительному воздействию на собеседника болтовня без конца и смысла. Да и собой был Ванька непригож: пустоглазый, с вдавленным переносьем, поросячьей щетинкой на белом подбородке и бледными, точно неживыми, губами.

Вместе с Аверкием он приезжал в Токовец, садился за стол и сразу же заводил свой бестолковый разговор:

— Присмотрел я, значит, собаку, купил, поехал к Демину пробовать. Стой, говорю! Я тебя, милака, захомутаю, ежели догляжу. Дрова сейчас на базаре почем? По сто куб, да? Туда-сюда съездишь, там-сям выпьешь, домой тоже надо. Отец ругается, а я ему — брось. Маленький я, что ли?

Первой его болтовню обычно не выдерживала Настасья. Хлопнув дверью так, что сломанные ходики, точно испугавшись, начинали исступленно тикать, она уходила в горницу и, сердито расшвыривая там по кровати подушки, кричала нарочно громким голосом:

— Устинья, спать! Смотри, завтра рано подыму.

За столом перед ополовиненной поллитровкой оставались Ванька и Аверкий.

— Я ему прямо сказал — ты, Кузьма, держи хвост дудкой. За собаку я тебя с потрохами съем,— болтал Ванька, хрустя соленым огурцом.— Мне какая от этого выгода? Смотрю — новую бескурковку купил. Я его прижму, субчика, ежели замечу.

У Аверкия давно уже смыкались глаза, но Ванька после каждой фразы делал короткую паузу, ожидая от Аверкия согласного кивка, и тот кивал, поддакивал, ничего не понимая, пока не засыпал прямо за столом.

В тот год Аверкий рано увез Устю на кордон. Косить еще не начинали, но он сослался на то, что в сторожке грязь, клопы, тараканы и всю ее нужно прошпарить кипятком.

Настасья отпустила Устю неохотно.

— Ты, старик, вижу, не дело затеял,— напутствовала она Аверкия.— Зачем Устинью с Ванькой сводишь? Думаешь, я слепая. Муж с женой, что вода с мукой — сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь. В этом деле ошибиться нельзя.

— Эх, мать, мать,— укоризненно качал головой Аверкий.— Хоть и поставили тебя бригадиром, а ума ты за свой век не нажила. Ведь задушит он меня, как мышь какую-нибудь, ежели Устя за него не пойдет.

— Что-то ты загибаешь, старик...

— Ничего не загибаю. Кто я без объездчика? Ноль без палочки. Поленом гнилым не могу попользоваться. Тут какая механика... Не успели, скажем, фабрика или гортоп вывезти в срок дрова, сейчас лесхоз тут как тут. Эти дрова по закону уже государственные. А сколько их не вывезено — лесник да объездчик ведают. И захочет объездчик леснику потрафить — потрафит, а не захочет — свищи в кулак.

— Уж точно — механика! — усмехнулась Настасья.

— Про то и говорю. Будет Ванька зятем, мы с ним такие дела завертим — тысячные!

— Ну и попадетесь вместе.

— Небось. Так тонко иcделаем — комар носу не подточит.

— Я тебе, Аверкий Ильич, вот что скажу,— нахмурилась Настасья.— Брось ты свои темные дела. Не в струю они нашей с Устей жизни. А не хочешь по-людски жить, честно да прямо, вот бог, а вот порог.

— Настасья! — рассвирепел Аверкий.

— Ну что Настасья? Была Настасья без счастья, да пашла в одночасье.

После этого разговора Аверкий, обычно заискивающе почтительный с объездчиком, стал встречать его сухо и неприветливо. «Одна болтовня с тебя, милый,— думал он, слушая Ваньку.— Эдак я только водку зря травлю».

Надо было показать, что он недоволен объездчиком, и, как только грязно-белая Ванькина лошадь появлялась из-за сосен, Аверкий делал вид, будто занят работой и ему страсть как не хочется отрываться. Он с маху тыкал на стол посуду, хлеб, закуску и грубо говорил:

— Садитесь, что ли! Нечего там топтаться.

Они молча выпивали по первой. Устя сидела в сторонке, остамело прислонясь к печке прямой спиной.

— Видел я сегодня в овраге синюю глину,— заводил Ванька.— Эт-то был, значит, у меня дед, гончар. Так вот, знаешь, сколько мог выпить? У бабы одной, Краюхой ее звали, самогонный аппарат был. Ух, смешная баба! Както идем мы с ребятами по-над речкой, глядим — ейная корова стоит в воде чуть ли не по самый хребет...

Аверкий громко, протяжно зевал и, направляясь к двери, бросал на ходу:

— Пойти собаку привязать, надсаду эту. Лошадь вашу не напужала бы.

Выйдя, он тихонько подкрадывался к окну и заглядывал в сторожку. Ванька все так же сидел за столом, чуть

повернувшись к Усте, наливал стопку за стопкой и говорил, говорил, говорил... Назад Аверкий уже не возвращался — заваливался в сенной сарай спать.

— А ты, парень, рохля,— сказал он однажды Ваньке, решив, наконец, действовать в открытую.— Вот уберемся с сеном, уедет Устя к матери — забудь тогда девку. Хочешь, чтоб твоя была — не зевай. Ведь каждый вечер с глазу на глаз в сторожке-то остаетесь. После этого она уж никуда от тебя не денется, собачкой будет бегать. Учи вас, несмышленышей...

В тот вечер Аверкий уснул рано и, как всегда на закате солнца, спал тяжело, неспокойно. Когда он проснулся, из дверного проема, перечеркивая наискось густые потемки сарая, падал лунный свет. В его полосу попадали большие корявые ступни Аверкия, и он даже вздрогнул от испуга, увидев, какие они белые, точно неживые.

Чтобы не заронить огня, он сел на порожек и закурил.

Над лесом висела чуть подтаявшая с одного бока луна. Ее свет зажег на поверхности всех предметов холодное зеленоватое сияние, и оно мерцало и на коньке тесовой крыши, и на стволах сосен, и даже на спине Ванькиной лошади, оцепеневшей с опущенной долу мордой.

Что-то тупо стукнулось изнутри в стену сторожки.

— Папаня! — раздался оттуда приглушенный крик, и во дворе на него заливисто откликнулась собака.

Дверь в сторожку распахнулась, но ее опять с силой захлопнули. Аверкий бросился на крыльцо, накинул дверной пробой на петлю и сунул в нее железный костыль, висевший тут же на веревочке.

В дверь тяжело, должно быть всем телом, колотилась Устя.

— Папаня! Что же вы делаете! Папаня!..

Потом на секунду все стихло, и Аверкий, прижавшись ухом к двери, услышал, как Устя, прерывисто дыша, сказала:

— Не подходи, гадина!

— Ишь ты, сдурела! — испуганной скороговоркой забормотал Ванька.— Брось... Брось, говорю! Не тычь в человека... Выстрелит невзначай. Нашла, дура, игрушку... Брось!

Аверкий выдернул костыль и распахнул дверь. Едва не сбив его с ног, Устя метнулась на крыльцо, белой тенью пробежала через залитый светом луны двор и скрылась за серебристыми стволами сосен.

Аверкий поднял с земли брошенное ею ружье.

Ванька, хоронясь за лошадью, дрожащими руками рвал от балясины узду.

— Ну и теля же ты, парень,— презрительно сказал Аверкий.— Дурак. Недотепа. Суслик.

Чтобы как-нибудь избыть душившую его злобу, он вскинул к плечу ружье, прицелился в ущербный диск луны и резко рванул спуск.

5

По звонкой пленке молодого льда на пруду ветер мел сухие листья. Пруд, как чаша, собиравшая в себя дары осени, постепенно пополнялся золотым лиственным тленом, и вскоре ветер начал выхлестывать его через край, мотовски разбрасывая по опаленной первыми заморозками траве.

Утром к пруду подошла лиса. Она была из породы огневок, и, когда солнце холодным лучом скользнуло по ее спине, эту рыжевато-красную вспышку заметили с голой березы сороки, тревожной трескотней предупреждавшие об опасности всех, кому она могла угрожать.

Лиса хотела пить. Из-под ее лапы короткой судорогой пробежал от берега к берегу поющий звон, лед прогнулся, но не лопнул. И тогда она начала лизать его. Сороки не мешали ей. Они не имели памяти и, забыв про опасность, о которой сами предупреждали, слетели с березы на землю клевать бруснику.

И все-таки они не дали лисе насытиться скупой влагой пруда. Их трескотня предупредила мир о новой опасности. Лиса вымахнула на крутой взлобок берега и расстелилась в беге по ржавой стерне полей, похожая на пламя костра, сорвавшееся с места и всем на удивление несущееся к застывшей синеве осеннего горизонта.

Из леса на крупной сильной кобыле выехал верховой. С хрустом руша копытами лед на лужах, лошадь прошла мимо пруда, мимо вертевшихся на березе сорок и, не обратив на них внимания, длинным размеренным шагом продолжала свой путь к селу, которое красновато поблескивало своими окнами сквозь голый березняк.

Верховой этот был Аверкий. Он заметно постарел — усы, поредевшие, истончившиеся, оставленные только по многолетней привычке, уже не украшали его сухое лицо; на горле сбежались складки дряблой кожи, виски запали, но все еще твердо и остро смотрели зеленые с желтым

крапом лыковские глаза и уверенно-тяжела была рука, державшая поводья.

Когда Аверкий выехал на широкую улицу села, у прозеленевшего колодезного сруба стояла Устя и, чуть согнувшись набок, старалась поддеть коромыслом дужку ведра. Аверкий подъезжал к ней сзади, но под копытами лошади хрустела примороженная трава, и Устя, вздрогнув, оглянулась на этот звук.

— Мать дома? — угрюмо спросил Аверкий.

Устя не ответила. Она уже справилась с ведрами и быстро пошла к избе, чуть приседая на тонких ногах, которые свободно болтались в разношенных и загнувшихся зубчатыми раструбами валенках. Лишь на крыльце, став к Аверкию вполоборота, она тихо сказала:

— Не тревожили бы вы нас понапрасну. Чего же теперь ходить?.. А мамы нет. В город на совещание уехала.

Дверь захлопнулась, и в сенях загремел деревянный засов.

Не слезая с лошади, Аверкий ждал, ему почему-то казалось, что Устя стоит за тонкой наружной дверью.

— Дочка,— глухо сказал он.— Неуж у тебя об родном отце душа не болит? Ведь один я на кордоне, как сыч. Помру, глаза прикрыть некому будет.

— А вы водки поменьше пейте. Оно, глядишь, и проживете еще лет до ста,— ответила из-за двери Устя.

В сенях послышались ее удаляющиеся шаги, и, точно обрезав их, тупо стукнула другая дверь.

Аверкий рванул поводья. Лошадь рысцой вынесла его за околицу и снова перешла на свой длинный размеренный шаг.

Уже отпотела трава, на ней засверкала морозная роска; солнце до самой подошвы позолотило соломенные ометы; сытые зобастые вяхири летели от колхозных токов к лесу, а он все ехал по горбылистой дороге, не спеша возвращался на опостылевший кордон. Над лесом, грозя закрыть солнце и распространяя в воздухе запах снега, громоздилась туча.

Аверкий, щурясь, глядел на нее из-под ладони. Близка уже и его зима, а он остался один, совсем один, как старый беззубый волк в глухом логове. После той ночи, когда Устя убежала с кордона, он долго не появлялся в селе, потом решил сделать вид, что ничего не произошло, выкопал из ледника кусок мороженой лосятины и поехал домой. Там он бросил мясо в кухне на стол, сел на лавку и спокойно, как только мог, сказал жене:

— Гостинец привез. Кинь-ка на сковородку.

Настасья подошла и наотмашь хлестнула отмякшим мясом Аверкия по лицу. И он даже не пошевельнулся, даже не вытер с лица мясной сок...

С тех пор прошло почти полгода. Тоска по людям, которой маялась когда-то на кордоне Настасья, подстерегла и Аверкия. Он стал боязлив, суеверен. Вот и теперь он вздрогнул, когда под ноги лошади кинулся уже побелевший к зиме заяц, потянул поводья в сторону и долго плутал по объездным дорогам, прежде чем попасть на кордон.

Там его встретил полудикий пес, дальний потомок той Шельмы, которую он впервые привез сюда много лет назад.

Аверкий расседлал лошадь, затопил печь и пристальным тяжелым взглядом уставился на огонь, теребя мягкие уши пса, пробравшегося к человеческому теплу.

За окном уже кружились белые мухи.

1958

ОГУРЕЧНЫЙ АГРОНОМ

1

Года два назад фельдшер-акушер Сорокин вошел к врачу, Климу Абрамовичу, которого в селе звали Килограммычем, и тот, по своей близорукости не заметив смятенного вида гостя, встретил его радушными словами:

— А-а-а, милости просим. У меня, голубчик, такие рыжички есть — с пуговицу. Ну прямо — подлецы, а не рыжички.

— Какие тут рыжички, Килограммыч,— страдальчески морщась, сказал Сорокин.— Жена у меня помирает. Сам ничего не могу, ничего не понимаю, совсем потерялся.

Пользуясь добротой и застенчивостью Килограммыча, его часто вызывали на дом по всякому пустяшному поводу, но он каждый раз, спеша к больному, волновался до дрожи в руках, и на лице его было выражение ужаса, сомнения, негодования, словно он не мог примириться с мыслью о том, что у представителя рода человеческого смеет что-нибудь болеть. И на этот раз он выронил из дрогнувших рук очки, схватил чемоданишко и без шапки побежал за

Сорокиным. Лишь перед дверью больной ему, как обычно, удалось справиться со своим волнением, и к ее кровати он подошел с таким видом, который как бы говорил: «Э, да тут нет ничего серьезного. Я тебя, голубушка, быстро на ноги поставлю!»

Но ободрительный прием Килограммыча пропал впустую. Жена Сорокина была совсем плоха, и даже в том, что ее немедленно отправили на машине в областную больницу, где она умерла, не было, по сути дела, никакого смысла.

Отчего она занемогла? Сорокин думал об этом по пути из города в скрипучем промерзшем автобусе, а через несколько дней, обсуждая тот же вопрос с Килограммычем, сказал:

— От жадности.

И потом, не желая никак объяснить свои странные слова, долго глядел в окно на толстую мартовскую сосульку, истекавшую прозрачными слезами.

2

Вместе с женой избу фельдшера покинул привычный запах парного молока, печеного хлеба, анисовых яблок, и сразу появилось много лишних вещей, которым фельдшер не мог найти применения, и дел, которые при жене, казалось, делались сами собой. Да и вся его жизнь, на взгляд односельчан, пошла как-то набекрень. Он почти безвозмездно, за литр молока в день, отдал свою корову на колхозную ферму, перерезал всех кур, продал овец и на вырученные деньги купил радиоприемник, и в пыльной, запахшей мышами избе его стала играть тихая, красивая музыка.

— Напрасно ты, Матвей Ильич, хозяйство рушишь,— пенял ему в дружеской беседе Килограммыч.— А надо тебе, голубчик, погодя приличное время, опять жениться, потому что без женщины любой дом — сарай, да и сам запсеешь.

— А я и женюсь, не спеши,— спокойно возразил ему на это фельдшер.— Ведь я не парень с гармонью. В пятьдесят-то не скоро женишься. Ну, а хозяйство — им я сейчас заниматься не могу. Я двадцать семь лет с женой каждый день только о хозяйстве и говорил, облызло оно сверх всякой меры.

С тех пор прошло два года; Сорокин не «запсел», как предрекал ему Килограммыч, а, наоборот — помолодцевел:

подстриг усы, купил соломенную шляпу и стал ходить на вызовы пешком, говоря, что это полезно для здоровья.

Как-то шел он из дальней деревни от роженицы, прилег под стогом и нечаянно заснул, сморенный жарой и усталостью. Когда солнце, обойдя вокруг стога, осветило и припекло спящего фельдшера, он заметался, тихо вскрикнул и сел, озираясь по сторонам.

Звенящая сушь стояла над лугами. Воздух плавился, плыл, и казалось, что земля источает какое-то мглистое испарение, поволакивая дальний горизонт сиреневой дымкой.

«Жара, жара...— думал фельдшер, нащупывая рукой шляпу.— А что же мне снилось такое? Ах, боже ты мой, хорошее что-то и странное, а припомнить не могу».

Он отыскал наконец в сене шляпу и поднялся на ноги. «Что же мне все-таки снилось?» — напрягал он свою память, шагая по дороге и рассеянно следя за полетом ястреба в белесом небе.

Сон, оставивший по себе какое-то странное, томящее ощущение не до конца испитого блаженства, словно таял, растворялся в текущем по горизонту воздухе, но, чем туманней и расплывчивей становился, тем сильней хотелось фельдшеру вспомнить его.

Когда дорога ушла в сыроватую погребную прохладу оврага, фельдшер почувствовал, что хочет пить. Он свернул на пружинистую овражную тропу, прошел, распугивая желтеньких лягушек, к ручью и, увидев воду, вспомнил, что пить ему хотелось еще во сне.

«Да, да, хотелось пить...» — соображал он, морща лоб, и вдруг облегченно, радостно вздохнул, сразу припомнив весь сон.

3

Снилось Сорокину, что шел он какими-то деревнями с серыми избами, с ивовыми плетнями, от которых тянуло жаркой, сухой горечью, шел по растрескавшейся земле без травы и все искал, где бы утолить мучительную, до боли иссушившую рот жажду. Потом он очутился в просторных сенях какого-то дома, и высокая девушка, в длинной, по самые икры юбке вынесла ему арбуз. «Постой, не ешь,— сказала появившаяся откуда-то старуха.— Ведь мы староверы». И тогда девушка стала сыпать ему на голову из большой деревянной плошки пшеницу. «А теперь сядь за стол, скрести ноги и ешь»,— опять сказала старуха. И он

жадно ел холодный арбуз кусок за куском, пока девушка вдруг не обвила его шею руками и не стала долго-долго целовать в губы прохладными твердыми губами. И была это уже не просто девушка, а агроном Людмила Петровна... Та самая Людмила Петровна, которую звали огуречным агрономом, потому что в колхозе был еще один агроном — полевод.

«Ерунда, ерунда,— думал теперь фельдшер.— Какие-то староверы, пшеница... И все это от проклятой жары, оттого, что надышался сеном...»

Он давно уже решил жениться на Людмиле Петровне, но полагал, что эта женитьба произойдет без всяких душевных смут, по доброму и разумному согласию, и теперь был немножко обескуражен тем, что ему могло причудиться такое — ведь давным-давно минуло время, когда, по его собственному выражению, он «ржал весной на сирень и хныкал осенью над опавшими листочками».

«А в стога, должно быть, того... понагребли багульника из болота, неряхи. Надышался. Ишь, какие туманы-то плавают в голове»,— думал фельдшер.

И, словно пытаясь смыть глупую, смущенную улыбку, усердно мочил лицо и голову ручейной водой.

4

Он и дальше шел все с теми же туманами в голове.

Полуденное оцепенение разливалось над лугами; с далекого гречишного поля вялый ветерок доносил запах меда; ястреб, кося крылом, еще кружил в вышине; звенели в траве кузнечики; и фельдшер, непонятным образом взволнованный всем этим — в сущности таким обыденным для него и привычным,— продолжал смущенно улыбаться.

Вскоре он дошел до закрайка поля. Здесь росла кучка высоких тонких берез, гнувшихся под тяжестью своей листвы; в тени их, поближе к грече, стояли ульи колхозной пасеки. Навстречу Сорокину из шалаша вышел сторож — длинный, худой старик по прозвищу Тулуп Берданкин,— закивал, заулыбался, попросил закурить.

— Скучаешь, Тулупушка? — ласково сказал фельдшер, сворачивая с дороги.— Ведь ты не куришь.

— Ну ин так посиди, Матвей Ильич, поговорим с тобой, как два хороших человека.

После такого вступления сторож обычно замолкал и уже прочно молчал до ухода собеседника.

Фельдшер пожевал сотового меда, запил теплой водой из бутылки и растянулся на траве. Верхушки берез медленно кружились у него в глазах.

— Тулупушка! — позвал он.

— Ай!

— Женюсь я. Понимаешь, какое дело...

— И то пора, Матвей Ильич. Кого сватаешь-то? Не потай.

— Людмилу Петровну, агронома. Знаешь?

— Как не знать! На что ж тебе хромая баба-то? — простодушно изумился сторож.

— А что мне — призы на ней брать, что ли,— усмехнулся Сорокин.

Он закрыл глаза и вспомнил, как лет десять назад впервые увидел Людмилу Петровну на станции. Ничто не может нагнать на человека тоску с большим успехом, чем вид наших маленьких вокзалов, выкрашенных в какой-то глиняный цвет, с их оцинкованными баками для питья, старыми плакатами ко Дню железнодорожника, с окошечком кассы, заделанным решеткой тюремной надежности. И лицо Людмилы Петровны — большеглазое, бледное лицо — выражало именно эту тоску, сиротскую заброшенность, когда она сидела посреди грязного зальчика на своем чемодане. Потом, в машине, куда набились председатель, фельдшер, его жена, корреспондент из районной газеты, Сорокин все глядел на нее и думал:

«Ну в чем будет здесь твое счастье? Хиленькая ты, некрасивая, одинокая...»

А его жена, со свойственной этой бабище нетактичностью, спросила:

— Ногу-то тебе где покалечило?

И Людмила Петровна, заставив фельдшера еще больше пожалеть ее, тихо ответила:

— При бомбежке, в детстве.

Но к концу пути она освоилась, стала смело зыркать на всех своими глазищами и все расспрашивала председателя о колхозе, о парниках, о библиотеке и даже спросила, есть ли в клубе рояль.

«На черта ей рояль?» — думал фельдшер, с любопытством вглядываясь в ее прозрачное, маленькое, как у белки, лицо.

Потом он узнал, что она отлично играет на этом инструменте. Рояля в клубе не было, но он был в школе, и Людмила Петровна часто играла там по вечерам, когда кончались занятия. Ее слушали и дети, и учителя, и убор-

щицы. Приходил слушать и фельдшер. А потом долго не мог уснуть, слонялся в лунную ночь туда-сюда под окнами своей избы и скрипел на морозе валенками.

Людмила Петровна легко и быстро прижилась в селе; председатель выделил ей с конного двора лошадь, которую она назвала Сиренью, и целыми днями тряслась в легкой плетушке по огуречным полям, протяжно покрикивая:

— О-о-о! О-о-о, Сирень!

И казалось, что она живет здесь давным-давно, всех знает, и ее тоже знают все от мала до велика.

Как-то в серенький, влажный денек нынешнего лета Людмила Петровна догнала Сорокина на дороге и посадила к себе в плетушку. Она была в косынке, завязанной на затылке, в клетчатой мужской рубашке с засученными рукавами, загорелая, веселая и особенно задорно кричала:

— О-о-о, Сирень!

Когда проезжали мимо сквозного лесочка, Сорокин заметил в мокрой траве шляпку белого гриба. Они выскочили из плетушки и вдруг увидели у себя под ногами десятков семь-восемь ядреных крутобоких грибов. А Сирень тем временем, взяв сразу с места легкой трусцой, пустилась по дороге.

— В конюшню отправилась,— спокойно сказала Людмила Петровна, очевидно привыкшая к таким вероломным выходкам своей кобылки.

Собрав грибы в плащ Сорокина, они двинулись к селу пешим ходом. Шли мимо нежно голубеющего льняного поля, и Людмила Петровна задумчиво говорила:

— Случилось, Сирень бросила меня вот так же километров за десять от села. И шла я пешком целый день, злая, усталая. Думаю, уеду отсюда, уеду... Потом села на копну клевера поплакать и уснула. А проснулась уже вечером. Знаете, бывает такое короткое-короткое время летних сумерек, когда солнце уже зашло, но небо без единой звезды еще прозрачно и светло. Гляжу вокруг и сама не знаю, почему в душе у меня словно белые цветы распускаются. Думаю, ничего радостного в тот день не было — моталась по бригадам, ругалась с председателем. Сирень меня бросила,— так почему же меня радость-то словно на крыльях несет? Нет, думаю, не уеду я никуда. На минуту подумала: отнями у меня эти поля, луга, отними дело мое. И даже сердце защемило, так я напугала себя этой мыслью. Как же все это останется без меня? Как я-то буду без этого?

Людмила Петровна остановилась и широким жестом

руки обвела голубое поле льна под сереньким мохнатым небом.

Вернувшись тогда домой, Сорокин включил свой приемник, сел у окна и, слушая музыку, думал о Людмиле Петровне:

«Вот на ней и надо мне жениться. За красотой где уж тянуться, а она будет рада, ей ведь тоже, поди, хочется прислониться куда-нибудь...»

Его воспоминания прервал Тулуп Берданкин. Показывая на мглистый горизонт, где рокотал гром, он говорил:

— Я не гоню, Матвей Ильич, а только надо тебе поспешать. Как бы дождя не напарило.

Фельдшер тряхнул головой и ловко вскочил на ноги.

5

Туча прошла, уронив редкий крупный дождь, покрывший дорогу темной рябью. В широком проеме сельской улицы, за густыми вязами, медленно сгорала ясная заря; над лугами повис туман, и с выгона, сыто, протяжно ревя, потянулось стадо. Сидя у окна, фельдшер глядел на улицу. Там, у своих ворот, хозяйки поджидали коров и громко судачили о всяких пустяках.

«Вот разойдутся, я и пойду»,— думал фельдшер.

Уже совсем стемнело, когда он пересек улицу и постучал в дверь избы, где квартировала Людмила Петровна. Ему открыла хозяйка.

— Ну-ка, тетя Мотря, ступай проведай скотину,— сказал фельдшер, шагнув через порог и снимая шляпу.— Мне с Людмилой Петровной поговорить надо.

— Да я все одно недослышу, хоть кричите,— махнула рукой хозяйка, но все-таки взяла ведро и вышла.

Людмила Петровна, сидя за кухонным столом, спокойно смотрела на фельдшера своими огромными глазищами. Он не смутился. Все для него было решено и наперед известно.

— Я, Людмила Петровна, к вам по личному делу,— обстоятельно начал он.— Как видите, я не молодой человек, ухаживать мне вроде уж поздно, поэтому я к вам попросту, с открытой душой. Выходите за меня замуж. Вы одна на свете, я тоже один. Два сапога — пара. Ну? Смеяться надо мной не будете?

Людмила Петровна поднялась. Она еще молчала, но фельдшер вдруг почувствовал, что она ответит отказом. Он

и сам не мог сказать, откуда взялась у него такая уверенность, но уже наверняка знал, что будет именно так. Почему с первой же встречи вообразил он, что она нуждается в жалости, что обездолена чем-то и несчастна? Почему? Перед ним стояла совсем не та Людмила Петровна, какою он привык считать ее. Тонкая, с высокой грудью, с тугой глянцевитой косой, она прямо смотрела ему в глаза, и по особому взмаху ресниц — медленному и сдержанно страстному — в ней угадывалась женщина в лучшей своей поре.

— Ох, Матвей Ильич,— грустно и ласково сказала она,— не по сделке семья строится. А вы мне сделку предлагаете. Мы ведь не сапоги, а люди. Люди!

— Вот и надо по-людски рассуждать,— сердясь на себя, сказал фельдшер.— Время-то старит и меня и вас. Чего ждать?

— Я знаю чего. И буду ждать, сколько придется, хоть несчастной, хоть безответной, хоть короткой любви... А вы-то мне милостыню подать хотели.

«Стыдно, стыдно»,— подумал фельдшер.

— Я уважаю вас, Людмила Петровна,— глухо сказал он.

И вышел, задев плечом за косяк.

6

В эти ночи полоска зари не гасла на горизонте, сообщая небу тусклое зеленоватое сияние, в котором звезды казались какими-то жидкими, точно льющимися.

Фельдшер медленно шел к своей избе. Он уже не чувствовал прежнего стыда и думал не о Людмиле Петровне. Тяжелое, как глиняный ком, сознание, что он обокрал себя, вытравил из своей жизни радость, придавило, ссутулило его, и думал он сейчас о себе, о том, чего уже не вернуть никакой ценой и никаким чудом. Людмила Петровна ждала любви и смело пошла бы навстречу ей, а он свою любовь обежал стороной, как лесной тать людское жилье.

Было это давным-давно, когда на сельской колокольне висели колокола, когда крестьяне объединялись в коммуну и единственный трактор марки «фордзон» был у кулака Проньки Лысого. В те времена скончалась в одночасье вдова Ульяна. Муж ее погиб на гражданской войне, а сама она умерла, подпирая колом увязший в грязи воз сена.

До той поры красивая и своевольная дочь ее Наталья слыла у сельских парней недотрогой, но в горе легко ответила на ласку одного, потом, обманутая им, доверчиво

метнулась ко второму, а там, обозленная, подавленная и еще более одинокая, пропала из села. Говорили, что она работает «торфушкой» на болоте, но к зиме Наталья опять вдруг объявилась в селе и не одна, а с маленьким сыном, завернутым в какое-то больничное, проштампованное черными печатями одеяло.

Жила она нелюдимо. И когда выходила к обледенелому колодцу, то смотрела на встречных таким тяжелым, несгибаемым взглядом, что все спешили отвернуться или опустить глаза.

Продышав в замерзшем окне дырочку, фельдшер украдкой следил за ней.

Потом набрался смелости, постучался как-то у ее дверей, но получил отпор.

— Что, цветик! — крикнула ему в лицо Наталья.— Весной нахнуло? Бесишься?

Снега рухнули тогда сразу. Всего одну ночь трудолюбиво, без грозовой шумихи постарался весенний дождь-работяга и погнал из-под сугробов мутные снеговые ручьи, повесил над полями теплый туман, опушил краснотал желтыми барашками.

Фельдшер опять зашел к Наталье. Стоя посреди раскрытого двора и глядя, как она дергает из крыши последние пучки соломы на истопливо, он участливо спросил:

— Как жить-то будешь? Все уж добришко-то проела, что ли?

— А брошу ребеночка в колодец и уйду на все четыре стороны,— насмешливо ответила Наталья.

— Что ты! Этого нельзя! — испугался Сорокин.

— Всему веришь, как маленький...

Чем тронули ее слова фельдшера? Или не было уж сил у нее крепиться более, но только, сев вдруг на ворох надерганной из-под стрехи соломы, она заплакала.

Впервые фельдшер отважился прикоснуться к ней. Он подошел и легонько погладил ее по волосам.

— Ну! Тоже жалельщик нашелся,— мотнула головой Наталья.— Чай, плетут по селу-то, что ты за мной вяжешься, а?

— Пусть плетут. Я ведь не просто так...

— Полно, дурачок миленький,— усмехнулась Наталья.— Иди уж сюда, ладно... Ласковый ты, видно...

И завертела с тех пор фельдшера какая-то бешеная струя. Желанной и непонятной была для него Наталья. Жила то озорно, весело, то плакала о чем-то и целовала его неистово, словно расставалась на веки вечные. Просы-

паясь по ночам на теплом плече своей подруги, фельдшер встречал ее лихорадочно горевший взгляд и слышал шепот:

— Женись на мне, цветик. Любить буду — никакая девка тебя так не полюбит. Только прошлым не кори и сына не обижай...

А он, наголодавшийся в крутые годы учебы,назябшийся за зиму в пустой нетопленой больнице, где жил тогда, думал:

«Сам гол как сокол. Куда ж мне еще такую обузу!..»

И тяжело, угрюмо отмалчивался.

Женился он на дочери мельника, домовитой и жадноватой девке, которая умерла-то, как он утверждал перед Килограммычем, от жадности: поехала зимой торговать на городском базаре в истертом пальтишке, пожалев новую шубу, и, простудившись, занемогла...

А жизнь прожита уже!

Фельдшер опустился на свое крыльцо и долго смотрел на зеленое небо, на льющиеся, зыбкие звезды.

Где-то в этом мире развеена его любовь, и осталось лишь жалеть о скользнувших в вечность годах, не озаренных ею...

1959

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ...

Ветер уже обрывал последние листья с яблонь, и, хотя дни сияют нестерпимым блеском холодного солнца, в саду сиротливо, грустно и даже как-то жутковато, словно на много километров окрест нет живого человека. Сторож Емельян заколотил свой дощатый домик. Девушки из колхоза сгребли в кучи и сожгли палую листву.

Емельян долго смотрел, как они работали, ворошил палочкой костер, грел, протягивая над ним, руки, потом сказал:

— Тучки мелкие, густые: зима будет суровая, морозная.

И оттого, что в деревне совсем по-весеннему горланили петухи, особенно остро чувствовалось, как далека на самом деле весна, как далека...

Разрумяненные ветром девушки, возвращаясь в деревню, пели про любовь-ромашку, а Емельян плелся сзади,

путался ногами в своем тулупе и думал, что вот опять настают для него тоскливые, одинокие вечера, когда, натопив жарко печь, он будет читать книгу из библиотеки, или плести никому не нужные лапти, или писать в толстую тетрадь все одно и то же: «Декабря 12. Был мороз. Мело и дуло. Емельян Стуков».

В его деревенской избе было чисто. Он терпеть не мог всякой дряни — клопов, тараканов, даже сверчков — и перед зимой мыл избу кипятком, развешивал по стенам пучки душистой мяты. Всю зиму изба точно ждала светлого праздника. От этого Емельяну было еще тоскливей, но тосковал он не о жене, своей старухе, которая лежала на деревенском кладбище и была вроде бы пристроена, а о дочери, ткачихе Глаше, жившей за пятнадцать километров — в городе. Всегда в эти длинные вечера почему-то начинало казаться ему, что она не призрета там, обижена кем-то, а внучонок Васька бегает в школу по морозу без валенок.

Зато какими желанными, какими отрадно хлопотливыми были для Емельяна дни лета, когда внук приезжал в деревню! Васька дичал на воле, объедался зеленой падалицей, жарил в костре на палочке пескарей, рубил бурьян саблей из старого обруча, и каждая его ребячья затея вырастала для деда в событие, которое можно было переживать, как что-то большое и серьезное, вроде молотьбы или сенокоса. Непастье они коротали в дощатом сторожевом домике. За рекой катались тяжелые громы, шуршал дождь по толевой крыше, и в домике было особенно уютно, тепло, оттого что на полу сидел Васька и строгал для каких-то своих надобностей палки.

Одного боялся Емельян — вдруг Глафира возьмет и расскажет Ваське про свою старую обиду на деда. Ведь когда-то он выгнал ее из дома и вслед бросил рваный ватник, который она не подняла. Была тогда Глафира уже немолода и некрасива, потеряла надежду выйти замуж, но очень хотела ребенка, так хотела, что ловила на улице чужих ребят и, пугая их, тискала своими большими сильными руками. А потом, проработав как-то зиму на лесозаготовке, пришла к отцу с вестью, от которой тот долго не мог опомниться. Ему казалось, что Глафира опозорила и его, и себя, и весь их род до пятого колена... С тех пор обида точно окаменела в ней. Она отпускала к деду на лето Ваську, принимала отца у себя в городе, но сама с того рокового дня ни разу не переступила порог родительского дома.

— Мать-то, что она там? — исподволь выпытывал Емельян у внука.

— А что?

— Говорит, чай, не езди к деду-то, к старому шуту?

— Нет. Говорит, тут воздух, речка...

— Ну, а про деда?

— Чего?

— Ах, несмышленый какой, прости господи! Про деда, про меня то есть, чего говорит?

— А ничего не говорит. Поезжай, говорит, в деревню, там воздух, речка...

— А ну тебя с твоим воздухом!

Затем наступало время, когда Емельян, вздыхая, закладывал выпрошенную у председателя лошадь и отвозил Ваську в город. Возвращаться в сад ему не хотелось. Туда в скором времени приходили девушки с граблями, жгли палую листву; ветер начинал тонко посвистывать в голых ветвях; и Емельян перебирался в деревню, поближе к людям.

Нынешняя осень затянулась. Стояла какая-то нелепая погода: снег лег и растаял, речка встала и опять сломалась, и то солнце висело желтым морозным диском в небе, то падал сырой туман, и кругом была грязь, скука.

Емельян пошел в правление, вцепился там в рукав председателя и долго доказывал, какая может произойти для колхоза выгода, если ему, Емельяну, дать капроновой нити и он сплетет к весне невод.

— Поимей, дед, разум,— сказал председатель.— Видел ты в нашей речке путную рыбу, кроме пескаря и уклейки?

— А окунь? — возразил Емельян.— Такой в омута́ каждую зиму скатывается окунь, что страшно на него глядеть: тигр.

Но председатель не стал его слушать, велел идти домой, не мешать.

А зима уже подбиралась к маленькой деревне, завалившейся за голые перелески и пустые поля. Ею дышали ледяные ветры, ею дышали радиопрогнозы погоды, ею дышали подернутые серебристым инеем изумрудные озими. И что-то рано на этот раз заскучал Емельян Стуков. Он купил самую большую лампочку, до отказа повертывал в приемнике регулятор громкости, но ни пятисотваттный свет, ни звук, от которого дрожали стены, не могли вытеснить из избы тягостное присутствие тоски и одиночества.

Как-то утром он появился у валяльщика Семена Аки-

мова и, протягивая ему лучинку четверти в полторы, сказал:

— Вот. Можешь сработать по этой мерке сапоги? Да гляди, чтоб без купороса, а то я тебя знаю: тяп-ляп, а через неделю и поехали твои сапоги, как кисель.

Семен не спеша доел щи, взял лучинку и, снисходя к невежеству Емельяна, усмехнулся:

— Все вы так. Обязательно им без купороса, а того не понимают, что без купороса никакие сапоги не валяются. Без купороса, ежели хочешь знать, в сапоге стати не будет и получится не сапог, а размазня или еще чего похуже, чего и выговорить совестно.

И он долго распространялся про купорос, пока Емельяна не затошнило от кислого запаха овечьей шерсти, и он поскорей выкатился на свежий воздух.

Через неделю валенки были готовы. Еще с вечера Емельян заручился у председателя разрешением на лошадь и утром, чуть развиднелось, поехал в город. Грязь на дороге смерзлась в крепкие комья, телега ужасно тарахтела, и когда Емельян попробовал говорить с конем, то у него ничего не получилось: слова прыгали в груди, как горох.

Широкая река под городом уже встала. Смельчаки из заречного села бегали по неверному торосистому льду, но Емельян поостерегся, свернул к мосту и проехал мимо затона, где вмерзшие в лед стояли на зимовке пароходы, катера, дебаркадеры и баржи.

Начал падать снег.

«А валенки-то кстати придутся»,— подумал Емельян.

Глафира и Васька были дома. Они сидели друг против друга и с азартом резались в шашки. Васька проигрывал и плакал.

— Батюшки! — ахнула Глафира.— Ведь он ее сгрыз! Васька, ведь ты, пострел, шашку сгрыз, у тебя весь рот в чернилах!

Она закатилась басистым смехом, а Васька, увидев, что грызет шашку, вылепленную взамен потерянной из хлеба и выкрашенную чернилами, ударился от обиды в голос.

— И-и-и, дурында,— с укоризной сказал Емельян.— Ведь оно дите, ласки требует, а ты потешаешься.

Он повел Ваську через длинный коридор фабричного общежития, в уборную, держал порошок и мыло, пока тот отмывался и чистил рот, потом они вернулись, и все втроем пили чай в маленькой чистой комнате Глафиры. Разламывая над чашкой толстенные бублики, Емельян долго

рассматривал их на изломе, словно не веря, что они настоящие, и хмурился: ему не нравилось, что на Ваське были новые валенки и, стало быть, дедов подарок пришелся некстати.

А за окном уже мутнели ранние сумерки, отсвечивая нежным сиянием первого снега. Глафира стала собираться на фабрику.

— Покорно благодарим за чай-сахар,— поднимаясь, сказал Емельян и церемонно поклонился.

Ему тоже было пора пускаться в обратный путь.

Васька провожал деда до водонапорной вышки. Здесь город, отступая от полых вод, выгибался глубокой излучиной, и сейчас она была четко обозначена полосой огней, завершенной огромным кубом голубоватого света. Это сиял дневными лампами фабричный корпус, построенный почти без простенков из одного стекла. За вышкой улица, как в черную яму, уходила в метельную мглу, к реке.

И опять Емельян ехал мимо затона, мимо замерзших дебаркадеров, катеров, пароходов. В их мачтах свистел ветер, через палубы тащилась серая поземка, и единственный фонарь, освещавший затон, только еще резче подчеркивал его холодное оцепенение.

Емельян торопил коня. Всегда есть что-то печальное в заколоченном доме, в остывшем локомотиве, в скованном льдом пароходе, и лучше, если мимо них проедешь поскорей.

1959

ГОСТИ

В пять часов утра директорская дача вдруг наполнилась стуком дверей, собачьим лаем, шарканьем ног, и негодующий бас домработницы Нюты возвестил:

— Андрей Поликарпович, вставайте! К вам гости приехали.

«Какие-нибудь подгулявшие друзья-рыболовы... Черта бы им поперек дороги»,— подумал хозяин, натягивая пижаму, и вышел из кабинета.

Было одно мгновенье непроизвольной радости, когда Андрей Поликарпович едва не бросился навстречу гостю, стоявшему в дверях столовой, но вдруг на столь же мимо-

летный срок ему показалось, что он совсем не знает этого человека. Незнакомыми были и впалый рот, и нос, слегка припухший и покрасневший, и жирная грудь, обтянутая узким пиджачком,— словом, все, чем каждого с безжалостной щедростью награждает время. И все-таки это был, несомненно, он, генерал Пухов, старый боевой друг.

Растерявшись от столь быстрой смены противоположных чувств, Андрей Поликарпович кисло улыбнулся и шагнул вперед. Они троекратно поцеловались со щеки на щеку.

— У тебя три собаки? — спросил генерал, обнаруживая этим вопросом, явно неуместным в первую минуту встречи, свое волнение.— В вашем городе чертовски трудно найти такси... Я ведь к тебе всем семейством... Порыбачим с тобой... Познакомься, пожалуйста. Этот вот — старший, а эта — младшая.

Дети Пухова — Максим и Лариса — пожали хозяину руку. У самого Андрея Поликарповича, который женился поздно, была только трехлетняя дочь, и он с доброй завистью смотрел на детей генерала, казавшихся ему, в обаянии своей молодости, такими безыскусственно красивыми, чистыми и полными какой-то грациозно-упругой силы.

— А вы роскошно живете,— сказал Максим, молодой человек с длинным красивым лицом и крупными прядями темных волос, падавшими ему на лоб и уши.— Батьке, когда он выходил в отставку, дали полгектара земли, а он, черт, даже сарая до сих пор на ней не поставил.

— Не понимаю,— развел генерал руками.— Государство, сам, Андрюша, знаешь, не обижает нас, старых боевых коней, пенсию я получаю порядочную, а денег все время нет. Иногда даже боржом мне не на что купить. Жить, что ли, не умеем...

— Это давно известно,— усмехнулась Лариса.

Максим, стоявший у открытого окна, вдруг лег животом на подоконник, перегнулся и сломил большую ветку цветущей липы.

У Андрея Поликарповича перехватило дыхание. Эти деревья он сам посадил вокруг дачи, пятый год заботливо ухаживал за ними — подрезал, опрыскивал,— и теперь, при виде сломанной ветки, ему хотелось крикнуть: «Что же вы делаете!», но он сдержался.

— Восторг, как пахнет! — сказал Максим, пряча лицо в липовый цвет, обрызганный росой.— Лорка, понюхай.

Лариса с усмешкой отодвинула ветку.

— Ты, я знаю, и в письма не брезгуешь класть засушенные цветочки, слюнтяй.

— Ты дура,— без обиды сказал Максим.

— А где же Людмила Ивановна? — всполошился вдруг генерал.— Люда, где же ты?

— Нет-нет, я не покажусь, пока не приведу себя в порядок,— послышался из кухни голос, принадлежавший, очевидно, женщине молодой, здоровой и крупной.

Андрей Поликарпович понимающе усмехнулся.

— Ну, нам здесь делать нечего, старина. Пойдем-ка в сад,— сказал он, обнимая генерала за плечи.

Когда в прихожей они проходили мимо зеркала, Андрей Поликарпович невольно задержался и сравнил свою тяжеловатую, но еще стройную и осанистую фигуру с вислоплечей фигурой генерала.

«А все-таки я еще молодцом»,— с удовольствием подумал он.

Друзья вышли в сад и сели там у врытого в землю стола.

— Вот так-то, Андрюшенька...— сказал генерал.

— Да-а-а,— вздохнул Андрей Поликарпович.

Разговор у них явно не клеился. Выручила английский сеттер Люстра. В то время как гончие Угадай и Заливай, не отличавшиеся деликатностью и вообще утонченностью натур, совершенно игнорировали гостя, она, с присущей ее породе нежностью, тронула руку Пухова холодным носом и, ожидая ответной ласки, положила голову к нему на колено. Заговорили о собаках.

— А ты помнишь, как баловались охотой, когда стояли под Оршей? — спросил генерал.— Помнишь мою Сильву? Говорят, у каждого охотника бывает единственная собака, которая всеми статьями ему по душе. У меня вот Сильва была такой.

— Ну и врешь! — возмутился Андрей Поликарпович, непримиримо щепетильный во всем, что касалось собак и охоты.— Твоя Сильва была вислогуза и к тому же ленива, глупа и прожорлива.

— Верно, дрянь была собака,— серьезно сказал генерал.— Все на расстоянии-то кажется лучше, Андрюша... Помнишь, как отсиживались по болотам в окружении? Темень, мокрота, стужа. Уткнемся мы с тобой лбами над котелком и хлебаем сухарное месиво на ржавой водичке. А вот теперь вроде уж и жалко тех дней.

— Нашел о чем жалеть! Помнишь моего ординарца Аверьяна Галаева? Ну, матерый такой русачище, с усами?

Тот, бывало, говорил: «Приду с войны и все, что похоже в избе на ружье, поломаю. Пусть ухват — и тот поломаю».

— Я не о том. Кто станет жалеть о войне! — сказал генерал.— Не понял ты меня...

— Эй, друзья-ветераны, завтракать! Где вы там? — послышался за деревьями голос с какой-то звонкой, молодой задоринкой. Из плотной зелени сада вынырнула маленькая стройная женщина в спортивных тапочках на босу ногу и сразу же протянула генералу руку.

— Здрасте! Нина.

— Жена,— подсказал Андрей Поликарпович.

— Извините, а по отчеству? — спросил Пухов.

— Да не надо,— засмеялась она.— Меня по отчеству только мужчины подхалимы зовут.

Генерал тоже рассмеялся и, вдруг как-то очень по-молодому щелкнув каблуками, предложил Нине согнутую в локте руку.

За столом уже все были в сборе. Людмила Ивановна — молодая, красивая сочной и грузной красотой тридцатипятилетней женщины — монументально возвышалась над столом, помогая Нюре перетирать чашки.

— Муж так много мне рассказывал о вас, что однажды вы даже приснились мне,— улыбнулась она Андрею Поликарповичу.

— Это к деньгам,— насмешливо сказала Лариса.

— А ты, я вижу, без предрассудков,— пошутил генерал, постучав ногтем по графину с водкой.

Андрей Поликарпович покачал головой.

— Это Нина по случаю твоего приезда расстаралась. А мне нельзя,— он многозначительно показал на сердце.

— Ну, Смаковников! — возмутилась Нина.— В честь генерала. За вас, товарищ генерал!

Андрей Поликарпович смутился и подвинул жене свою рюмку, чтобы она налила ему виноградного вина.

— Ну, а мы, отец, конечно, этой выпьем,— сказал Максим, из предосторожности завладевая графином.

Завтрак еще не кончился, когда за окном пропела сирена автомобиля.

— «Победа»,— безошибочно определил Максим.

— Ну, оставляю вас на попечении Нины,— поднялся Андрей Поликарпович.— Располагайтесь как дома...

В этот день он постарался вернуться пораньше, и, как только появился на пороге дачи, Нина радостно закричала:

— Вот и хорошо! А мы придумали ехать рыбачить на

остров. Это же преступление — сидеть в такую погоду дома. Ночи комариные, спать не придется,— и наплевать.

— Я согласен! — встрепенулся генерал.

Людмила Ивановна, Лариса и Максим отказались.

Эти теплые июньские ночи и впрямь было жалко проводить во сне. Река словно остекленела, лишь на середине мелкой протоки, отделявшей остров от берега, где торчала замытая песком коряга, вода была взрыта рядами мелких волн. Справа на высоком берегу сквозь прозрачный туман зыбились огни города, но шум его не доходил сюда, и незримая жизнь острова наполняла тишину своими таинственными звуками. Их было много, этих шорохов, вздохов, криков, слитых в один неясный вибрирующий гомон, и в нем различались только надтреснутый скрип коростеля да необыкновенно чистый голос какой-то птички, настойчиво твердившей свой полный трагического сомнения вопрос: «Как жить? Как жить? Как жить?»

Андрей Поликарпович лежал у тлеющего дымного костра, лениво отгоняя веточкой комаров. Нина сказала, что знает место, где ночью под корягами стоят налимы, и теперь за кустами слышалось фырканье Пухова, плеск воды, чавканье топкого берега, а голос Нины повелительно звал:

— Вылезайте сейчас же, простудитесь. Вы неуклюжий и ничего так не поймаете.

«Ребячится старик»,— благосклонно думал Андрей Поликарпович.

Вскоре Нина показалась на голом бугре, который тянулся вдоль всего острова, словно его хребет, и быстро пошла к костру. На зеленоватом небе плоско вырезывалась ее тоненькая фигурка; отчетливо мелькали руки и ноги, и вся она, с короткими волосами, в лыжном костюме, была похожа на девочку-подростка. Вот она задержалась на секунду вверху, над самой головой Андрея Поликарповича, и тут же исчезла — сбежала вниз, слившись с темным фоном бугра, с тенью кустов.

— Из-за этих налимов я ноги промочила,— сказала она, появляясь у костра и протягивая над огнем маленькую ступню в белой прорезиненной тапочке.

Андрей Поликарпович, чувствуя, как трогательная хрупкость этой ступни вызывает в нем невыразимо нежный отзвук, хотел сжать ее в своей руке, но в это время к костру прибежал озябший, искусанный комарами Пухов.

— Ни черта не поймал,— весело сообщил он.— Будем печеную картошку трескать... А знаешь, Андрюша, завтра

сюда надо прийти за лещами. Сердце говорит мне: они тут есть.

— С печной заслон,— поддержал его Андрей Поликарпович.— Нужно их на выползка брать.

Но прошло несколько дней, а они так и не собрались за лещами. Уже утром, делая гимнастические упражнения и принимая холодный душ, Андрей Поликарпович почувствовал, что в общей системе милого его сердцу порядка образовалась какая-то брешь. Потом он стал чувствовать неудобства на каждом шагу. Людмила Ивановна захламила комнаты каким-то пестрым тряпьем, Лариса, смущая Андрея Поликарповича, гуляла в саду полуодетая, Максим несколько раз на день подходил к буфету за водкой, шлепал флегматичную Нюшу, и та своим басом орала на весь дом:

— Чай не по дереву бьешь, придурошный!

По вечерам, напившись за ужином водки, генерал и Максим долго, бестолково и неинтересно спорили о достоинствах автомашин заграничных марок. Людмила Ивановна терзала Нину рассказами о своих связях в московских магазинах. Лариса, скучая, бросала иногда короткую насмешливую фразу. Людмила Ивановна была второй женой генерала, и дети не уважали ее, называя Людкой, а Лариса открыто дерзила ей.

Присматриваясь к этой девушке, Андрей Поликарпович вспоминал свои юные годы. Когда он получил комсомольский билет, начальник отделения милиции тут же вручил ему наган и заставил расписаться в том, что за ним закрепляются винтовка с шестизначным номером, который следует знать на память, и конь по кличке Вихрь. А эта девятнадцатилетняя нигилистка, лежа в гамаке и окидывая сад скучающим взглядом, говорила с усмешкой:

— Здесь словно в пустыне — жара и ни одного человека... Вы все надоели, а наш гостеприимный хозяин скучен, как длинный забор... Вот увидишь, Макс, чтобы до конца быть полезным обществу, он завещает свой труп в анатомичку.

И вдруг спросила с нехорошей усмешкой:

— Хочешь, я скажу отцу, что ты пристаешь к Людке?

— Ты — дура,— беззлобно сказал Максим.

«Ну и семейка!» — удивлялся Андрей Поликарпович, нечаянно слышавший этот разговор.

Да и сам генерал очень скоро стал для него не более как неприятным гостем, который не знает срока, когда ему нужно уезжать. Стояли теплые ночи, такие тихие, что

было слышно, как дышат на станции паровозы. В синем воздухе за окном иногда мелькали какие-то быстрые тени — не то летучие мыши, не то ночные птицы,— жизнь сада казалась от этого таинственной и немного жуткой. Засиживаясь, бывало, почти до рассвета над своей диссертацией, Андрей Поликарпович любил постоять у окна. Этот редкий час свободного одиночества был нужен ему, чтобы, избавясь от инерции повседневности, заглянуть в себя, как нужно, наконец, осмотреться путнику, который долго шел и которому долго еще идти. Теперь он был лишен и этого. В первый же день генерал спросил:

— Ты, Андрюшевич, где спишь? В кабинете? Я с тобой лягу, поболтаем.

С тех пор каждую ночь, сидя в трусах на диване, поглаживая жирную грудь, он много говорил о прошлой войне, о полузабытых людях, о речках, высотах, населенных пунктах. Его речь, состоявшая из вялых восклицаний: «А под Ельней!», «А под Смоленском!», «А под Брестом!», была невыносимо однообразной — менялись только географические названия, и, с тоской вслушиваясь в нее, Андрей Поликарпович думал: «Боже, неужели эта пытка продлится еще хоть одну ночь?»

Его раздражала и книга, дочитанная Пуховым в несколько приемов до шестой страницы, и то, что гость надевал его домашние туфли, сорил табачным пеплом на письменном столе, пил много водки, но больше всего ему была ненавистна своя подлая, отравленная унизительным притворством жизнь, которая началась с приездом генерала...

Однажды Андрей Поликарпович вошел в комнату жены и увидел, что Нина плачет, спрятав лицо в оконную портьеру. Он встревожился, сжал ладонями ее горячие щеки.

— Я не могу больше,— говорила Нина, глядя на него снизу страдающим взглядом.— Она изводит меня... В том, что я молода, а ты значительно старше меня, она видит расчет и говорит со мной тоном единомышленницы. Это так оскорбительно! Ведь я люблю тебя... Люблю эти седые виски, эти сухие руки, эти умные, усталые глаза...

Она поднялась и, плача, стала целовать его руки, глаза, виски, словно боясь, что и он вдруг не поверит ей.

— Черт знает что,— пробормотал Андрей Поликарпович.— Успокойся... Не вечно же они будут здесь. А я, поверь, ничего не поделаю с собой. Презирай меня, назови размазней, тряпкой, но не могу я сказать Пухову, чтобы он уехал, не могу!

— А зачем ему уезжать? — Нина отстранила голову мужа и пристально посмотрела в его глаза блестящим от слез взглядом.— Какой же ты, Смаковников...— медленно с расстановкой проговорила она.— Ему не надо уезжать, не надо, не надо! Слышишь?

Андрей Поликарпович поднял плечи.

— Ну, не понимаю я тебя тогда. И вообще... какая-то блажь...

Он вышел, хлопнув дверью, а когда Пухов, попавшийся ему на пути, спросил, пойдет ли он за лещами, Андрей Поликарпович резко и раздраженно ответил, что ему нужно работать, а не бездельничать и что он никуда не пойдет.

Выходной день выдался пасмурным, скучным. От безделья гости принимались несколько раз есть, и Андрей Поликарпович был рад, что может побыть в кабинете один.

Вечером шел редкий теплый дождь. Андрей Поликарпович нечаянно заснул в кабинете на диване. Было далеко за полночь, когда он проснулся и подошел к окну, чтобы освежить тяжелую от неурочного сна голову. Дождь кончился. Между деревьями передвигалось дрожащее бледно-желтое пятно света, в нем коротко вспыхивали то склянка, то маленькая дождевая лужица: кто-то ходил по саду с фонарем. Когда глаза привыкли к темноте, Андрей Поликарпович узнал генерала. Он собирал выползней, готовясь утром идти за лещами на остров.

Было что-то невероятно трогательное в том, как, приседая, ставил он в пятно света баночку, как старался взять червя непослушными пальцами, и в том, что по пятам за ним ходила Люстра и, когда он приседал, она тоже садилась и начинала смотреть ему в лицо, а он что-то тихо, с ласковой укоризной говорил ей.

И Андрей Поликарпович с внезапным состраданием к этому человеку вдруг ощутил то, быть может, неосознанное самим Пуховым одиночество, в котором тот жил. Ведь только поэтому он и приехал сюда, к своему другу, и спал у него в кабинете, только поэтому навязчиво оживлял в памяти далекие годы, озаренные подвигами мужества, труда и терпения, годы, когда он шел рука об руку с тысячами людей на святое общее дело. Сильный, волевой, умный человек, он теперь тупел и опускался в кругу этих любимых им паразитов... И не надо, не надо ему уезжать отсюда!.. Милая, чуткая Нина! Она сразу угадала и поняла это, а вот он и не угадал и не понял. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было понять и признать еще что-то постыдное и тяжелое для себя.

Генерал снова нагнулся и поставил свою баночку в пятно света. Почему-то особенно непростительным показалось Андрею Поликарповичу то, что он отказал Пухову в просьбе пойти с ним утром за лещами. В глубине души он сознавал, что это мелочь, не главное, но, движимый первым неодолимым желанием искупить эту свою вину, он схватил из ящика письменного стола фонарь и бросился к двери.

1959

КАНИКУЛЫ

Никита Антонович Батраков — учитель русского языка и литературы в селе Лужки — ждал на каникулы сына-студента.

Уже два года Роман не был дома. Отцу он редко, но обстоятельно писал о Третьяковской галерее, об исторических, литературных, технических музеях, о театрах, концертных залах, публичных библиотеках, и у Никиты Антоновича сложилось убеждение, что сын на верном и прямом пути. Впрочем, зная Рому, зная его твердый, целеустремленный характер, иначе и нельзя было думать. Еще в школьные годы с разумной сдержанностью относился он ко всему, что могло отвлечь его от намеченной цели, а этой целью, этой путеводной звездой его жизни были глубокие, всеобъемлющие знания.

Вся семья Батраковых, затаив дыхание, ожидала своего любимца. Учителю виделось, как он и сын сочно ширкают в лугах косами или, возвращаясь с охоты, ночуют в чужой деревне, а на рассвете резвый летний дождь барабанит по крыше сарая — они просыпаются, садятся на пороге, курят и говорят о новых веяниях в педагогике, о Тургеневе, о Москве, о международной политике.

Дед Антон стал в эти дни чаще слезать с печи, садился у окна и дрожащими пальцами вил волосяные лески. Мать — Анна Васильевна — была вся в заботах о простокваше, студне, цыплятах. И даже квартирантка, молодая учительница Елена Петровна Яхонтова, недавно поселившаяся у Батраковых с трехлетним сыном Аликом, разде-

ляла это общее возбуждение, безотчетно питая, быть может, какие-то свои, вдовьи надежды.

И вот Роман появился в Лужках.

Был мертвый деревенский полдень, когда в лопухах под плетнями сонно стонут разморенные жарой куры да мутноглазые собаки вяло тявкают вслед редкому прохожему.

Алик — тоненький, гибкий мальчик,— играя на крыльце учительского дома, первый встретил долгожданного гостя.

В сером костюме, с чемоданом в одной руке, с пыльником, перекинутым через другую,— он стоял на нижней ступеньке крыльца, улыбаясь смотрел на Алика, и тот, обычно застенчивый и дичковатый с незнакомыми людьми, вдруг тоже улыбнулся и доверчиво спросил:

— Вас как звать?

— Не знаю,— вздохнул гость.

— Так не бывает,— подумав, сказал Алик.

— А вот бывает. Потерял я свое имя. Обронил где-то тут в траве и не нашел... А тебя как звать?

— Алик... Какое же оно у вас было?

— Да вот такое,— показал гость из-под пыльника раздвинутые на четверть пальцы,— длинненькое, зеленое...

Чувствуя, что начинается какая-то интересная, неведомая ему игра, Алик соскользнул с крыльца и обвел жестом прозрачной руки лужайку перед домом.

— Здесь потеряли?

— Здесь.

— Ну, я вам найду его,— пообещал он, и гордый тем, что оказывает покровительство этому большому и, наверно, очень сильному человеку, взял его за рукав и повел в дом.

Утром, чуть стало светать, Романа разбудил дед Антон.

— Ну-тко, хватит спать-то,— сказал он, присаживаясь у кровати и кладя ему на грудь сухую кривопалую руку.

— Что, дед, рыбу пойдем ловить? — сонно пробормотал Роман.

— Сходим, сходим, я лесок наплел. Отец-то косить тебя ждал. А мы сходим...

Роман тряхнул головой и сел на кровати.

— Пойдем, дед, сейчас.

— Куда это вы собираетесь? — спросил учитель, входя в горницу.

Человек несокрушимого здоровья, он выглядел значительно моложе своих шестидесяти лет, а блестящая бри-

тая голова, пышные несвалявшиеся усы и сурового полотна рубашка, вышитая по вороту и подолу ярким крестиком, сообщали всему его облику ощущение чистоты и свежести.

— Ты, дед, не сманивай Ромку, мы с ним косить пойдем,— сказал он.— Пойдешь, студент?

— Я чувствую, что умру, если сейчас же не закину удочку,— засмеялся Роман.— Ты подожди денек-другой.

До сих пор Никита Антонович временил с покосом, зная, что лишит сына особого, не всем понятного удовольствия отмахать косой, глотая соленый пот, от зари до зари, а вечером дотащиться петляющими шагами до вороха свежего сена и нырнуть, как в темный омут, в глухой, мгновенный сон. Но больше он не мог ждать. Сенокосная пора отходила, колхозники давно уже выметали стога, а на его участке все еще колыхалась высокая густая трава, увядая от губительной ласки горячих ветров. В Никите Антоновиче заговорила неистребимая крестьянская природа, ревнивая к порядку в хозяйстве.

— Ну, ждать да годить — без порток ходить,— ворчнул он, имея пристрастие к слову крепкому и весокому.

Из боковушки вышла квартирантка Елена Петровна, маленькая крепконогая женщина.

— Анна Васильевна ушла корову выгонять,— сказала она.— Приказала не пускать вас никуда без завтрака... Я сейчас самовар поставлю.

— Не надо самовар,— улыбнулся Роман.

Он шагнул за Еленой Петровной в кухню; не присаживаясь к столу, выпил два стакана молока.

— Пойдемте с нами ловить рыбу,— вдруг предложил он.

— Я?..

— Ну да, вы. Утро на реке — это... это... Видите, я даже захлебываюсь от восторга, до чего это прекрасно. Пойдемте?

С тех пор, как ее бросил муж и пронзительно жгучее горе постепенно перешло в обжитую, привычную боль, Елена Петровна стала ждать, что в ее жизнь войдет сильный, ласковый и добрый человек, любовь к которому уже никогда больше не принесет ей страданий. Теперь она подумала, что, может быть, перед ней именно такой человек, и, стыдясь своей податливости, тихо прошептала:

— Пойду...

К реке вела утоптанная до каменной твердости и влажная от росы дорожка. Дед Антон, одетый в солдатские

штаны, обвисшие сзади, и огромные валенки с самодельными калошами из красных автомобильных камер, шел впереди, и даже по его спине было видно, что старик чем-то недоволен.

— Полезай, что ли,— недружелюбно сказал он Елене Петровне, подтягивая за цепь неуклюжую плоскодонку, сбитую из просмоленных досок.— Какая уж ловля с бабой...

Из-за синей полоски леса солнце уже выбросило плоский пучок лучей, позолотивших тонкие волокна облаков, а на западной стороне неба еще таял серпик луны, подрагивая в потревоженной ударом весла воде. В этот час, когда еще не жарко, когда все кругом так свежо, не утомлено и чисто, особенно ясно ощущаешь в себе жизнь и даже замечаешь, что ты дышишь — так глубоко и могуче пронимает тебя колкая струя воздуха.

Но всем этим наслаждался, казалось, один Роман. Дед Антон потускнел, обмяк и маленьким комочком свернулся в носу лодки, а Елена Петровна мучительно соображала, чем могла обидеть старика.

Вскоре она забеспокоилась, что без нее может проснуться Алик, и они вернулись.

Мальчик, действительно, уже проснулся и плакал, сидя без штанишек на лавке. Елена Петровна порывисто прижала его к себе. Ну как она могла оставить это маленькое хрупкое существо незащищенным от таинственных детских страхов, возникающих из каждой тени в углу, из каждого шороха за печкой! Она покаянно целовала его худенькие плечи, шею, лицо, но он уже успокоился и с улыбкой тянулся к Роману.

— Покажите мне рыбок. Они еще живые, покажите!

Скользнув на пол, он присел у связки рыбы, потрогал пальцем остекленевшие глаза тощей плотвички.

— Эта мертвая. Можно, я отдам ее кошке? А эта шевелится. Я пущу ее в бочку с водой, хорошо?

Роман разрешил, и Елена Петровна благодарно посмотрела на него.

За полдень вернулась с колхозного поля Анна Васильевна. Всю жизнь знавшая только самый простой, ясный в своей непосредственной полезности труд хлебороба, она не понимала сына, его интересов, разговоров, книг, и поэтому относилась к нему с робостью и благоговением, как относятся к существу высшему, непостижимому.

Желая напомнить ему о том, что надо помочь отцу, она долго набиралась решимости.

— Конечно! — с готовностью сказал Роман, отбрасывая книгу.— Идемте сейчас же!

В Десятины (так по давней привычке называли луг, где колхозникам отводились покосы для своего хозяйства) собрались все вместе, оставив домовничать деда Антона, который чувствовал себя нездорово и тихо стонал на печи.

Впереди бежал Алик, веселый, открытый для всех радостей этого залитого солнцем мира. Он то и дело возвращался к Роману то с одуванчиком, то с гладким камешком, то с пером птицы, надеясь, что опять завяжется какая-нибудь интересная игра.

В Десятинах учитель, отважно подставляя солнцу крутые, густо обметанные крупными веснушками плечи, ширкал косой по траве. Увидев домочадцев, он хрипло выдавил из пересохшего горла:

— Пить принесли?

— Пей, отец, пей,— подавая ему кувшин, обернутый берестой, сказала Анна Васильевна с дружелюбной насмешкой, установившейся у нее в общении с мужем.

«Пей, отец, пей»,— повторила про себя Елена Петровна, и на короткий миг ей стало грустно от зависти к этому спокойному деловитому счастью.

Было жарко, сухо; от ржавого лугового водоемчика поднимался пар — казалось, накаленный воздух лениво и густо струится над землей. Косы быстро сбивались; вянущее сено, которое ворошили женщины, припахивало теплой прелью, и этот дурманный запах слегка кружил голову, путал мысли.

— Хватит. С отвычки у меня, отец, руки плетьми виснут,— сказал Роман.

Отойдя в тень чахлых кустов ольшаника, он лег и сразу заснул.

— Ты уж не неволь его, отец,— сказала Анна Васильевна.— Ни свет, ни заря дед на рыбалку увел его, а теперь ты мучаешь.

— Вечно вы с жалостью,— проворчал Никита Антонович.

Когда упала жара, Роман ходил к реке купаться, а вернувшись, сам предложил, к радости Никиты Антоновича, ночевать в Десятинах.

— Сейчас мы дымничок против комаров устроим,— суетился учитель, забыв про все обиды.— Вы, бабы, помогите нам дровец набрать и ступайте домой, ступайте...

Все разошлись, собирая по кустам сухие корневища, ветки, кизяк, а Никита Антонович и Алик запалили маленький костерок.

Набрав охапку корявых сучьев и неловко прихватив ее, Елена Петровна шла лугом на мерцающую точку костра, как вдруг высокая тень заслонила от нее этот далекий свет.

— Ох, как вы напугали меня,— переводя дыхание, сказала Елена Петровна.— Где же ваши дрова?

Роман молча стоял перед ней, и в глазах его, блестевших в тусклом свете надвигающейся ночи, ей вдруг почудился призрак какой-то беды.

— Пустите же меня,— без надежды сказала она.

Он чуть отступил, пропуская ее, и вдруг обнял сзади за плечи. На секунду Елена Петровна почувствовала теплоту его рук, особенно манящую и волнующую в этом воздухе, пронизанном холодными иголочками росы, но тут же опомнилась, рванулась и, рассыпав хворост, побежала к спасительному кругу света.

Помедлив, Роман вернулся к костру, захватив несколько сучков и кизячков.

— Ты тоже был там? — встретил его Никита Антонович.

— Где? — быстро спросил Роман.

— Да вон, взбалмошная-то,— кивнул он на Елену Петровну, жавшуюся к огню.— Примчалась, как ошпаренная, говорит — волка видела. Ты не видел?

— Нет... какие же тут волки! — засмеялся Роман.

— Вот и я толкую им, что никаких волков тут нет, а они боятся домой идти. Эх, бабы, бабы! — вздохнул Никита Антонович и с сожалением стал расшвыривать костер.— Придется, Ромка, сопровождать их. Не удалось нам с тобой в лугах заночевать...

Утром Роман снова собрался на рыбалку и пропадал на реке весь день.

Уложив Алика, Елена Петровна сидела на крыльце. Был душный предгрозовой вечер, когда в траве умолкают кузнечики, и если тишину долго не тревожит какой-нибудь нечаянный звук, то кажется, что жизнь проходит перед глазами, как в немом кино.

Дом учителя стоял возле школы; широкая улица села тянулась отсюда к обрывистому берегу реки, и Елена Петровна видела, как из-под него показалась высокая, увенчанная широкополой шляпой фигура Романа. Он подходил все ближе, ближе, наконец вырос перед ней

безликой тенью, прислонил к стене дома удочки и сел на крыльцо рядом с Еленой Петровной.

Она старалась уклониться от его руки, ищущей ее плечи, а какой-то подстрекающий голос шептал ей: «Полно же! Вот тот сильный, добрый человек, которого ты ждала так долго. Вот его ласковая рука. Вот счастье, простое, спокойное, которому ты завидовала. Иди навстречу ему, не рассуждай...»

Во дворе Анна Васильевна звякнула подойником.

— Уйдем отсюда,— провеяло над ухом Елены Петровны горячее дыхание Романа.

Увлекаемая его рукой, она покорно поднялась и пошла вокруг дома, за каменистые бурьянные холмы, туда, где умирала багрово-дымная заря.

Через несколько дней Роман неожиданно засобирался в Москву. Никиту Антоновича это как-то ошеломило, и, растерянно заглядывая в открытый чемодан сына, словно надеясь найти там ответ, он только пожимал своими крутыми плечами:

— А мы с матерью думали, ты к нам на все лето... В августе на охоту... Это, знаешь ли, того... Не очень складно у тебя получается...

Потом недоумение первых минут сменилось у него угрюмой обидой. Вечером, лежа с Романом на сеновале, он спросил его:

— Значит, решил ехать?

— Нельзя, отец,— заговорил Роман голосом, в котором чувствовалась его обычная мягкая улыбка.— Мне необходимо работать. К аспирантуре надо подойти победоносно, чтобы сразу встать на виду.

Он продолжительно и сладко зевнул.

В сарае душно пахло свежим сеном, тонко гудел невидимый в темноте комар, потом послышалось ровное дыхание уснувшего Романа. И Никита Антонович вдруг с каким-то оглушающим страхом почувствовал, как мало знает он этого человека.

Он поднялся, тихо приоткрыл дверь и в свете луны посмотрел на лицо сына. Оно было мертвенно-бледно, но хранило в своих крупных чертах все то же покоряющее мягкое обаяние и было спокойно, как в детском безмятежном сне.

Никите Антоновичу вспомнилось, как Рома, решив выучиться музыке, просил его купить пианино, но он отказал, потому что берег деньги на корову. Тогда Рома извлек из старого игрушечного хлама картонный клавесин

и часами разыгрывал на нем несложные мелодии, вызывая таким подвижничеством восхищение и сочувствие окружающих, уговоривших в конце концов Никиту Антоновича купить пианино.

Быть может, и Ромины знания — такой же крючочек, ловко выставленный обществу, за который оно потянуло бы его ко всяким благам? И неужели сам Рома всего лишь расчетливо-обаятельный эгоист?

Никита Антонович спустился с сеновала, взял косу, и хотя в Десятинах уже все было скошено, ушел туда, чтобы наедине с собой принять или откинуть эту страшную догадку.

Утром Роман, готовый в дорогу, напрасно дожидался отца, который накануне хотел проводить его на станцию. Когда далеко-далеко раздался гудок поезда и ждать уже было нельзя, Роман попрощался со всеми и ушел один.

У крыльца долго стояли Алик и дед Антон, глядя ему вслед. Он только что шутливо простился с ними и ушел, помахивая легким чемоданчиком, а они так и остались под накрапывающим дождем — худенький мальчик в выгоревшей майке и дряхлый старик в обвисших солдатских штанах.

1959

ДОМ ПОД ЛИПАМИ

1

Письмо со штампом нотариальной конторы в городе К. уведомляло Николая Николаевича о том, что бабушка его скончалась, завещав ему дом и все свое имущество.

«Роман! — подумал Николай Николаевич.— Нежданно-негаданно герой получает богатое наследство. Ну что ж! Все это можно обратить в деньги, махнуть к морю, пожить там широко, без оглядки на кошелек, или, поддавшись общему психозу, купить, например, «москвич». Интересно, какое имущество могла оставить бабка? Несколько пронафталиненных салопов, швейную машинку «зингер», подвесной умывальник, изъеденную древесным вредителем (как она, черт, называется?) горку?.. Славная была старуха. По кротости — прямо божья коровка».

И мысли Николая Николаевича унеслись далеко в прошлое. Вспомнилось ему, как не хотел он ехать к бабке, потому что безотчетно боялся всех старух, отождествляя их с бабой-ягой детских сказок, как впервые закутанный до глаз в пуховый платок, вошел в ее кухоньку, с русской печью, которую никогда не видел доселе, как бабка кинулась раскутывать его, а он попятился и заревел блажью от страха, от вида ее коричневых, с синими жилами рук. Привезли его к бабке в К.— глубинный город России — потому, что началась война. Его родители тогда из простых врачей вдруг стали военными, и он расстался с ними больше чем на четыре года.

Была осень. Бабкин дом стоял среди лип, с них по ветру летели желтые листья, падали, вертясь на тонкой веточке с крылышками, вкусные семечки. Однажды бабка взяла широкую деревянную лопату и полезла через слуховое окно на крышу сбрасывать палую листву. Полез и он. «Не подходи близко к краю, убьешься»,— сказала бабка. А он как увидел не заслоненное стенами, заборами и деревьями студено-синее небо со стаями ворон и галок, так и замер, вцепившись в косяк окна, так и взорвалась в нем печальным звуком какая-то струна, дрожа потом долго и затихающе. «Ты чегой-то такой тихий?» — спрашивала несколько раз на дню бабка, присматриваясь к нему и лаская. И наконец, по-своему истолковав непонятную ему самому грусть, сказала: «Ничего, Коленька. Давай я научу тебя богу молиться. Вот ты и будешь молиться ему за отца-матушку».

Летом бабка как-то примчалась, подхватывая юбки, с рынка и сказала, что на станцию привезли зверей. «Все бегут смотреть»,— задыхаясь, сказала она. Побежали и они. На станции дяди в синих брезентовых фартуках ставили на грузовую машину клетки со львами. Видимо, эвакуировали какой-то цирк. Гривастые, толстоносые львы были преисполнены величайшего равнодушия к толпе, как и подобает царственным особам. Всецело занятые своими думами, которые невозможно было прочесть в их тропически-дремотном взгляде, они неподвижно лежали в клетках и лишь изредка зевали или стряхивали лапами зеленых мух, жаливших им веки.

Густой, душный запах зверя в неволе ударил Николаю в ноздри... И с тех пор, когда случалось ему бывать в зоопарке или цирке, их запах неизменно вызывал в его памяти маленький городок К., бабкин дом, засыпанный золо-

тыми листьями лип, и бабку, бегущую в развевающихся юбках на станцию.

«Славная была старуха»,— подумал еще раз Николай Николаевич.

2

Ясным, чуть остуженным утром начала августа приехал он в К.

Вокзальчик, который остался в его памяти средоточием суматошной голодной и грязной эвакуационной жизни, был теперь вызывающе чист и декоративен: на привокзальной площади пышно вздымались клумбы с веселенькими бордюрчиками из анютиных глазок, стояли изящные киоски — газетный, табачный и кондитерский,— бегала маленькая мусороуборочная машинка огненно-красного цвета, да и вообще прежний избяной городок, как отметил, поднявшись в центр, Николай Николаевич, начал заметно отступать под натиском бело-розовых коробок заводских поселков. Николай Николаевич вздохнул. Житель столицы, невольник каменных степ, асфальтированных площадей, пробензиненного воздуха, он питал слабость к зеленым русским городкам над речкой и, поскольку сам не испытывал неудобств захолустной жизни, осуждал всякие современные преобразования в них. Поэтому он обрадовался, когда увидел, что бабкина улица ничуть не изменилась. Разве лишь приземистей казались дома, пониже заборы, повытоптанней мурава вдоль них. Разросшиеся липы вздымали к небу мощные клубы сочной темной зелени. Они недавно отцвели и еще сладко пахли цветочной прелью.

Николай Николаевич повернул кольцо на калитке, клацнувшее до того знакомо, что он вздрогнул. Как и в далекие времена его детства, неухоженный двор был заполнен лопухами, крапивой, лебедой, узкая дорожка в их зарослях усыпана мелкой падалицей выродившихся яблонь. И запах здесь был тот же самый — грибной запах древесного гниения, винный запах брожения палых плодов, эстрагонный запах сочных бурьянов... Ничто не воскрешает ощущение далеких дней с такой достоверностью и силой, как запахи, и Николай Николаевич, растроганный чуть не до слез, обнял дуплистый ствол старой китайки и крепко поцеловал его.

Это было высшей точкой его умиленности. Повернувшись, чтобы ступить на крыльцо, он вдруг увидел переки-

нутый через перильца женский купальник, и эта, обычная в ином месте, но несовместимая с обстановкой бабкиного сада вещь мгновенно перепутала в нем все прежние мысли и чувства. В самом деле, как могла она появиться здесь? Чья жизнь пересеклась сейчас с его? И что, хорошо это или плохо, если рядом с ним несколько дней будет жить молодая, красивая женщина? Он почему-то не сомневался, что она молода и красива. Да и какому одинокому двадцативосьмилетнему мужчине не блеснет в подобной ситуации такая надежда, несомненная, как уверенность!

«Ну что ж,— решил Николай Николаевич,— пожалуй, это неплохо...»

И в следующий момент уже думал о заманчивой возможности эдакого мимолетного туристского романа, который по молчаливому обоюдному согласию ни к чему не обязывает и благодаря этому оставляет воспоминания, не связанные ни с раскаянием, ни с угрызениями совести, ни с интеллигентским самобичеванием.

Дверь в дом оказалась незапертой. Ради приличия Николай Николаевич постучал в нее согнутым пальцем, вошел в темные сени, потом в маленькую прихожую, повесил там на гвоздик плащ и заглянул в комнату.

— Кто тут есть? — негромко спросил он.

Ему не ответили. Тогда он переступил порог и открыл еще одну дверь в комнатку, которую бабка всегда называла маминой. Здесь было прохладно и сумеречно; единственное окно заслоняла ветка, усыпанная мелкими желтыми яблоками, а на кровати лицом к стене спала женщина. Николай Николаевич отскочил, поспешно захлопнул дверь и долго тер в смущении переносицу. Короткие, вьющиеся на затылке волосы, голая спина с врезавшимися в нее бретелями рубашки, крутые бедра под простыней. Наваждение какое-то! Он сильно тряхнул головой и вышел в сад. Кто-то всхрапнул и невнятно забормотал в сарайчике, где у бабки валялся разный хозяйственный хлам.

«Черт знает, что тут делается!» — подумал Николай Николаевич.

Он решительно распахнул дверь и в ярком прямоугольнике солнечного света, упавшего во тьму сарая, увидел двух мужчин, спавших на ворохе сена.

— Это кто там лезет? — спросил один, загораживаясь согнутой рукой.

— Я, собственно, внук...— пробормотал окончательно сбитый с толку Николай Николаевич.

— Дурак ты,— ворчливо сказал тот.— Мы всю ночь работали, только-только уснули, а ты лезешь нахрапом.— И прибавил, видимо, для своего приятеля: — Спи, Ванька, наследник приехал.

Он вышел в сад, судорожно зевал, лязгал зубами, потягивался, делал руками гимнастические движения и наконец спросил:

— Узнаешь меня! Я Володька. Если не помнишь, скажи прямо, не таращься.

Он был великолепно, сеттерно рыж волосом, орехово смугл кожей, голубоглазый, и Николай Николаевич, конечно, сразу же узнал его. Плохо разбираясь в иерархии родства, он помнил, что Володька был внучатым племянником покойной бабки, но кем приходился ему, так и не мог уразуметь.

— Вот, видишь, приехал,— вздохнув, сказал он.

Володька молча продолжал размахивать руками, приседать и подпрыгивать.

— Думаю, продать надо все это,— сказал Николай Николаевич.— Ты, может быть, тоже наследник?

— Ну нет! — фыркнул Володька.— Все тут твое. Хочешь — продай, хочешь — сожги. Мое только сено. Мы с Ванькой купили воз специально, чтобы дрыхнуть на сене.

— Кто же здесь живет? Никак не пойму...

— Я живу. Квартирантка живет. Между прочим, я могу отсудить у тебя половину наследства. Что, испугался?

Володька изо всей силы хватил Николая Николаевича по спине, захохотал и забегал по дорожке, высоко вскидывая колени.

Николай Николаевич опять тер переносицу, дивился: спят на сене, работают по ночам, в доме молодая женщина — черт знает что за люди!..

3

В семь часов на крыльцо вышла квартирантка.

— Нинон, наследник приехал! — закричал Володька.— Познакомься.

У Николая Николаевича порозовели скулы. Он издали кивнул квартирантке и, чувствуя себя здесь лишним, негодным, незваным-непрошеным, в смущении топтался на месте. Квартирантка высоко держала маленькую, стриженную под мальчика голову, глаза надменно прикрыла полуопущенными веками, пухлые губы едва разомкнула.

— Я снимала у вашей бабушки комнату,— сказала она.— В октябре мне дадут квартиру в новом доме. За эти месяцы я, естественно, расплачусь с вами.

— Ерунда,— отмахнулся Николай Николаевич.— Я хочу развязаться с этим наследством, продать все...

— Это уж ваше дело.

«Сказала, точно стенкой отгородилась»,— подумал Николай Николаевич.

Подавленный откровенной неприязнью этих людей, боясь показаться навязчивым, он несмело спросил, как умерла бабка, где ее похоронили и кто может проводить его к могиле.

— Нинон все знает,— сказал Володька.— Эй, Нинон, своди его вечером на кладбище слезу пролить над ранней урной, я занят сегодня.

— В пять,— сказала квартирантка, не глядя на Николая Николаевича, и ушла в дом.

Вскоре Володька, одетый с небрежностью битника в мятые вельветовые брюки и пеструю рубашку навыпуск, и безукоризненно аккуратная квартирантка в накрахмаленном ситцевом платье, оживленно разговаривая между собой, прошли мимо Николая Николаевича и скрылись за воротами.

«Что надо делать-то?» — с тоской подумал Николай Николаевич.

Ему надоело слоняться по саду, хотелось помыться с дороги, поспать где-нибудь в холодке, но он не решался войти в дом. Он был хозяином этого дома и в то же время чувствовал себя очень неловко, словно совершил бестактность, вломившись в чужую интимную жизнь.

«Бросить все, уехать...— подумал Николай Николаевич, но уважение к памяти бабки, к последней воле ее както не допускало такого выхода.— Продам и закачу бабке мраморный памятник с бронзовым ангелом!»

Он вдруг почувствовал то сердитое состояние духа, в котором становился очень решительным и деятельным, пошел в кухню, выплеснул из ведер степлившуюся воду, принес с фонтанки свежей и, раздевшись до трусов, стал поливать на себя в саду из ковша, громко рыча, смеясь и ухая от удовольствия. Из сарая высунулась всклокоченная голова, ошалело моргая заспанными глазами. «Еще один экземпляр! — с ироническим восторгом подумал Николай Николаевич.— Этому я тоже чем-нибудь не угодил?»

— Привет,— хмуро сказала голова.— Мне снился пожар в джунглях.

— Я наследник. Ура! — ответил Николай Николаевич.

Из сарая вышел высокий, с широченными плечами парень и протянул ему руку.

— Иван Водогонов.

По своеобразному запаху пота и машинного масла, по черным трещинкам на руке Николай Николаевич определил в нем человека, имеющего дело с металлом и машинами. Рука царапалась, как рашпиль.

— Время-то много ли? — спросил Водогонов.— Никак не пойму спросонок, утро или вечер.

— Утро,— сказал Николай Николаевич.— Я разбудил вас?

— Похоже на то. А ну-ка, плесни и мне ковшичек.

Водогонов нагнулся, подставляя вместительную, как лохань, пригоршню, но Николай Николаевич опрокинул полный ковш воды на его белую, лоснящуюся спину. Водогонов ахнул.

— По желобку, по желобку,— издевательски приговаривал Николай Николаевич.

— Давай еще,— попросил Водогонов.

Они плескались, пока не кончилась вода в ведрах, потом растерлись полотенцем и, чувствуя подъем сил, телесную свежесть и то безмятежно-радостное состояние духа, которое всегда сопутствует ей, дружелюбно глянули друг другу в глаза.

— Послушай,— сказал Николай Николаевич,— отчего твои друзья смотрят на меня, как на зачумленного? Володька наследником называет, да так, словно я не наследство получил, а наследил где-то, а?

Водогонов с минуту смотрел на него в полной растерянности, потом запрокинул голову и раскатисто захохотал.

— Ты не обижайся, ей-богу,— сказал он наконец.— Так уж повелось у нас считать тебя куркулем и собственником. С ерунды началось, с шутки. Володька Самоваров стал подтрунивать над Ниной: дескать, приедет наследник, разведет здесь кур, будет яйцами на базаре торговать. Он, дескать, такой замухрышистый тип в сатиновых нарукавничках, копеечная душа, ведет дома тетрадь прихода и расхода. У нас даже что-то вроде игры затеялось. Володька проснется первым, запустит в меня подушкой и спрашивает: «Что бы ты сделал, если бы такое позволил себе наследник?» «Я бы,— говорю,— заставил его собирать при лунном свете патефонные иголки на мохнатом ковре». Одеваемся, и Володька спрашивает: «А что бы ты

сделал, если бы наследник поднялся раньше нас и слопал весь завтрак?» И я должен тут же придумывать для тебя какое-нибудь унизительное возмездие.

— Благодарю,— поклонился Николай Николаевич.— Ловко проезжались на мой счет.

— Да ты не обижайся!

Широкое, лобастое лицо Водогонова стало смущенным и виноватым; он с жалкой улыбкой смотрел на Николая Николаевича и весь сразу же просиял, когда тот сказал, что понимает шутки и не думает обижаться. Шутка есть шутка.

Однако Николай Николаевич долго тер в раздумье переносицу.

— Иван,— сказал он наконец серьезно и доверительно.— Только по совести. Володька... не того, насчет дома? Не обижен бабкиным завещанием?

— Оставь! — возмущенно воскликнул Водогонов.— Ты, я вижу, все-таки с душком, парень. Успокойся, никому твой дом не нужен.

— Да он и мне не нужен,— спокойно возразил Николай Николаевич.— И я, Иван, без душка. Но ведь меня тут так встретили, как не встречают людей без достаточных к тому оснований. Можно черт знает что заподозрить.

— А ты не подозревай. Я сказал: шутка.

— Принята,— решительно кивнул Николай Николаевич.

Он хотел было спросить Водогонова о том, как и зачем они все трое собрались в бабкином доме, но спохватился, что это, пожалуй, не его дело, и поинтересовался только, не квартирант ли здесь и он, Водогонов. Оказалось, что нет.

— У меня, брат, комната в общей квартире,— удрученно сказал Иван.— Но там соседка. Розалия Павловна. Агрессор в любви.

4

Они вместе позавтракали в столовой, которая называлась еще по моде тридцатых годов фабрикой-кухней. За завтраком Водогонов сам, без расспросов, рассказал то, что вызывало любопытство Николая Николаевича.

Володька, не доучившись из-за какой-то скандальной истории на факультете журналистики, помыкался по белу свету, был на целине, на ангарской стройке, в геологической разведке, на рыбных промыслах Каспия и в прошлом

году вернулся в К., где его приютила добрая душа, двоюродная бабка. Теперь он пишет роман и работает литсотрудником в городской газете. По мнению Водогонова, умный, талантливый Володька жил безалаберно, с легкомысленной щедростью растрачивая свои незаурядные способности на поденную работу в газете, где писал все — от передовиц до театральных рецензий — и где его, конечно, очень ценили, относясь снисходительно даже к тому, что он частенько исчезал за дверями здания, отмеченного всеми внешними признаками пивной.

Нина квартировала у бабки уже два года, с тех пор как окончила институт и приехала работать на завод в отдел главного технолога. Она пережила шаблонную драму наших дней: ее любимый парень не поехал в периферийный городок и вскоре женился на ленинградке с постоянной пропиской.

Ну, а он, Водогонов, токарь. Впрочем, можно сказать, без году инженер, так как учится на последнем курсе заочного машиностроительного института.

Свела их всех вместе работа над книгой для областного издательства. О чем книга? О его и Нинином новаторском методе резания металлов. Володька же осуществляет литературную обработку.

Николай Николаевич катал по столу хлебный шарик, слушал. Рассказ Водогонова заставил его вспомнить и о своих делах, о том, что недельный отпуск без содержания, взятый им для поездки в К., был сейчас очень некстати, потому что в институтской лаборатории, которой он руководил, как раз подошли к решающим опытам, а без него... Впрочем, когда бы и куда бы он ни уезжал, ему всегда казалось, что без него в лаборатории все будет сделано не лучшим образом, и он насильно удерживал себя в командировках или на отдыхе, боясь обидеть товарищей по работе своим безосновательным недоверием.

— Послушай, Иван, ты не знаешь, как продаются дома? — невпопад спросил он.

— Не приходилось заниматься этим делом,— засмеялся Водогонов,— но думаю, что надо расклеивать на столбах и заборах объявления.

— Самому?

— Мальчишек с улицы найми за порцию мороженого, горсправки здесь нет.

— Ты серьезно это говоришь?

— Вполне. Пойдем, я составлю тебе у них протекцию.

Они вернулись домой, и Николай Николаевич, конфузясь, написал десяток объявлений о продаже дома.

— Пиши «срочно продается», подумают, что дешево,— похохатывая, советовал Водогонов.— Домовладелец!

Он окликнул через забор соседского мальчишку в шикарной футболке с номером на спине, вручил ему рубль, пачку объявлений и подмигнул Николаю Николаевичу.

— Не печалься, спать ложись, добрый молодец. Утро вечера мудренее.

Они вместе растянулись в сарае на сене. Под деревянной крышей было прохладно; золотистая пыль толклась в лучах света, струившегося из многочисленных щелей; сено тонко пахло мятой.

«Это они неплохо... с сеном-то...» — подумал Николай Николаевич и хотел было вслух высказать Водогонову свое одобрение, но всхрапнул на полуслове и уже не слышал, как Водогонов сказал:

— Спи. Мне тоже перед сменой нужно добрать.

Проснулся Николай Николаевич незадолго до пяти часов. Водогонова уже не было. Вскоре пришла Нина, побледневшая от жары и усталости, с фиолетовыми тенями под глазами.

— Устали? Может быть, не пойдем на кладбище? - участливо спросил Николай Николаевич.

Но она строптиво дернула плечиком.

— Откуда вы взяли, что я устала! Если не хотите идти, то так и скажите.

«Ну и представил же меня тут Володька!» — подумал Николай Николаевич.

— Запирать будете? — спросила Нина, когда они выходили.— Мы не запираем.

— Напрасно,— сказал Николай Николаевич.— Город наводнен ворами.

Она быстро взглянула на него и, встретив ответный взгляд, полный искренней тревоги, презрительно усмехнулась.

— Возьмите вон там над дверью висячий замок. Другого нет.

Николай Николаевич с добросовестной медлительностью запер дверь, подергал замок, положил ключ в карман, и они вышли. Нина явно старалась идти чуть впереди. Она была своеобразно красивой девушкой — с узкими покатыми плечами, широкими бедрами, сильными ногами,

с курносым, губастеньким профилем куклы-негритянки,— и Николай Николаевич подумал, что кто-нибудь из двух друзей непременно влюблен в нее. Пожалуй, Водогонов. Уж слишком деланное равнодушие звучало в его голосе, когда он говорил о парне, который не поехал в периферийный городок.

«Забудь ты о нем скорей,— мысленно сказал ей Николай Николаевич.— За такой на край света можно ехать. Держись королевой».

Они вышли за город, не проронив по дороге ни слова. Здесь стоял реденький бор без подлеска, горячо и сухо пахло палой хвоей.

«Под руку взять? — подумал Николай Николаевич, сбоку глядя на Нину.— Пожалуй, царапаться станет. Вон глаз-то как горит».

— Что вы меня все время разглядываете, словно редкое насекомое? — раздраженно сказала Нина.

— Вот те раз! — Николай Николаевич даже остановился.

— Не разыгрывайте удивления. Я же чувствую ваш взгляд.

— Во гневе вы прекрасны! — шутовски сказал Николай Николаевич.

— Ах, как остроумно!

— Ну вот что.— Николай Николаевич опять, уже второй раз за день, рассердился. Для него, человека в общем-то спокойного, добродушного, не лишенного чувства юмора, это было почти годовой нормой.— Мне от вас ничего не нужно, кроме простой любезности показать бабкину могилу. Если вы почему-либо считаете такое усилие обременительным для себя, то идите... гм... идите домой. Я как-нибудь обойдусь помощью кладбищенского сторожа.

— Вы тоже великолепны, когда сердитесь,— отпарировала Нина.

Вскинув голову, она пошла вперед.

На кладбище Николай Николаевич попросил у сторожа лопату, оправил уже начавший прорастать бледно-зелеными иглами травы холмик, дал сторожу денег, чтобы тот поставил вокруг могилы ограду. Опухший с похмелья сторож равнодушно сказал:

— И так бы не убежала.

— Но! Но! — прикрикнула на него Нина.— Я проверю. Чтоб была ограда.

— Будет,— обиделся сторож.— У нас на честность.

Красить ограду-то? Придется, значит, и на красочку в таком случае добавить.

Николай Николаевич дал и на краску. Он постоял над могилой, чувствуя себя неловко оттого, что уже так мало может сделать для бабки, что только смерть, по сути дела, напомнила ему о ней, и, прибегая к испытанному средству оправдания большинства людей своей совести, попытался переложить собственную вину на другого.

— Как же вы не сообщили мне о ее смерти! — с упреком сказал он Нине.

Та, видимо, разгадала его психологическую уловку, жестко взглянула в глаза.

— Никто не знал вашего адреса. Пока его нашли, было уже поздно.

Николай Николаевич потер переносицу, невнятно пробормотал, отворачиваясь:

— Да, да, конечно... Извините...

И пошел к сторожу относить лопату.

5

Володька бушевал в саду.

— У-у-у, холодная кровь! — рычал он.— Формулы, чертежи, расчеты... Неужели вы думаете, что ваши личности менее интересны и значительны, чем резцы, которые вы придумали? Я, конечно, понимаю, это — особенность поколения, выросшего у электромоторов, вагранок и конвейеров, но надо же иметь не только логарифмическую линейку в кармане, но и примесь солнца в крови. Трудно поверить, что Иван стихи пишет.

Водогонов предостерегающе крякнул и завозился.

— Ей-богу,— не унимался Володька.— Приходит к нам в редакцию эдакий верзила, мнется и тянет из кармана ученическую тетрадочку. Я сразу определил: еще один дикорастущий гений. Так и познакомились.

— Я тогда о Кубе стихи написал,— смущенно сказал Водогонов.— Какие уже тут рифмы. Заботился только, чтобы голосу больше было.

Спор, как понял Николай Николаевич, шел из-за второй главы, в которой излагается биография Нины и Водогонова и которую, по их мнению, надо было убрать. Володька возражал. Накануне он, возбужденный, счастливый, слегка хмельной, принес отпечатанную на машинке рукопись, хлопал по ней ладонью, твердил: «Окончен труд

дневных забот...» — и засадил на всю ночь своих соавторов читать. Наутро непроспавшиеся, раздражительные и злые, они спорили, не слушая и не понимая друг друга. Наконец Володька, изо всей силы стукнув калиткой, ушел.

— Ясно,— сказала Нина.— Выходной испорчен. А ведь хотели на лодке покататься.

Она тоже стукнула калиткой, и Николай Николаевич расхохотался:

— Ворота мне сломаете, друзья!

Водогонов крепко тер ладонями лицо, тряс головой.

— Фу,— сказал он.— Истерзал совсем Володька этой рукописью. Одержимый какой-то. Ни отдыха, ни срока.

— Разреши мне посмотреть,— попросил Николай Николаевич.

Водогонов с отвращением оттолкнул от себя по столу рукопись, ушел в сарай и бросился там на сено. Николай Николаевич принялся читать. Вскоре он оторопело хмыкнул, заерзал на лавочке и весь подался вперед, как сеттер, почуявший дичь. Впервые на его глазах совершалось чудо превращения жизненного материала в литературу. Он даже перевернул листы рукописи обратной, чистой стороной, словно надеялся там найти разгадку этого превращения, и с чувством радостного открытия подумал о Володьке: «А ведь молодец! Ах, какой молодец!»

Дочитав рукопись до конца, он в волнении заходил по саду. Он понимал, что великолепно написанная вторая глава была для Володьки как бы отдушиной, куда его душа, душа художника, устремлялась в милый ей мир житейских наблюдений и бытовых подробностей, без которых всякое повествование теряет аромат достоверности, и в то же время ясно видел, что эту главу все-таки надо убрать, потому что на фоне делового пропагандистского текста она выглядела нелепо и даже нескромно.

Нежность к Володьке эдакой теплой мягкой волной так и заливала Николая Николаевича. Он растормошил Водогонова, спросил, куда мог уйти Володька, и, не получив вразумительного ответа, опять зашагал от сарая до ворот, думая нетерпеливо: «Скорей бы уж он пришел, что ли! Надо ему сказать...»

Володька пришел под вечер. Николай Николаевич, не заметив от волнения, что тот крепко пьян, раскатился к нему, схватил за руку и, встряхивая ее, горячо зашептал:

— Володька, дорогой, это же здорово! Я читал... Но из книги ты убери эту беллетристику. Она там ни к чему. Ты из этой главы...

— Не желаю! — крикнул Володька и, вырвав руку, стукнул кулаком по крышке врытого в землю стола.— Кто позволил читать?

— Я позволил,— мрачно сказал из сарая Водогонов.

— Не желаю! — опять крикнул Володька.— Где рукопись? Уничтожу к чертовой матери. Если я живу в твоих стенах, это не значит, что ты имеешь право лезть мне в душу, накладывать лапу...

Обида до слезной спазмы в горле охватила Николая Николаевича; ему было жаль своего недавнего и теперь улетучившегося чувства нежности к Володьке, и, не сдержавшись, он тоже крикнул:

— Замолчи, дурак!

— Я дурак? — взревел Володька.

Он бросился, пригнув голову, на Николая Николаевича, но тот ловко схватил его вокруг туловища, приподнял и прижал к себе. Володькино лицо до синевы налилось кровью.

— Иван, бей его! — прохрипел он и закатил глаза.

— Брось! — сказал Водогонов, выходя из сарая.

Николай Николаевич бережно посадил Володьку на лавочку.

— Приемчики,— еле выговорил Володька.— А силы нет. Попробуй Ивана положить. Не положишь.

— Положу,— сказал Николай Николаевич.

— Давай, Иван.

— Да ну вас,— отмахнулся Водогонов.— Цирк, что ли.

— Иван! — взмолился Володька.— Положи его.

Водогонов усмехнулся, закатал правый рукав, обнажив не руку, а черт знает что, какой-то рычаг, свитый из длинных мускулов, и захватил в горсть всю узкую кисть Николая Николаевича.

— Локти на одну линию! — командовал Володька.— Не упирайся левой! Пошел!

И вдруг рука Водогонова, белея и мелко дрожа, стала быстро-быстро, даже как-то слишком быстро для такой мощной руки опрокидываться, легла тыльной стороной ладони на стол и расслабилась.

— Поддаешься! — закричал Володька.— Нечестно.

— Да нет же,— удивленно сказал Водогонов и опять поставил руку на локоть.

И опять Николай Николаевич легко, точно лозинку, пригнул ее к столу.

— Вы же безграмотные в спортивном смысле люди, хоть и сильные, а я все-таки мастер в трех видах,— кон-

фузясь своего триумфа и стараясь как-то приуменьшить его, сказал Николай Николаевич.

В это время загремела кольцом калитка, и в сад вошла Нина.

— Ах, Нинон, Нинон! — с отчаянием сказал Володька.— Как хорошо, что ты не видела!

6

Неделя была на исходе, а покупатели не появлялись. Николай Николаевич уже заказал билет на поезд, сходил к нотариусу и вечером ждал Володьку, чтобы переговорить с ним о доме.

После той схватки в саду Володька стал относиться к нему дружелюбнее, сменив откровенно презрительный тон на ворчливо добродушный. Уже наутро он подошел к Николаю Николаевичу, морщась от похмельной дурноты, и сказал:

— Ты извини за вчерашнее. Буен я стал во хмелю. Нервы.

Николай Николаевич растрогался, понимая, как нелегко Володьке приносить ему извинения, забормотал, что сам, дескать, виноват, прочитав без разрешения чужую рукопись, но Володька оборвал его:

— Ладно, ерунда все это. Да и прав ты: вторую главу надо выкинуть. Ты ведь, кажется, физик? Ну вот и считай, что в данном случае физики восторжествовали над лириком. Виват!

И ушел, сверкая белесым задом вельветовых штанов.

Остальные дни недели прошли в доме тихо и буднично. Нина собиралась переезжать в общежитие: уложила в чемодан свои платья, Водогонов заколотил в большой фанерный ящик ее книги. На Николая Николаевича никто не обращал внимания; он целыми днями валялся в саду на траве, ждал покупателей, скучал. Со скуки зрели в его голове планы.

Володька пришел из редакции поздно и хотел было сразу завалиться в сарай на сено, но Николай Николаевич отозвал его в сторонку, на лавочку. Вечер был тих, тепел и располагал говорить вполголоса. Николай Николаевич вздохнул и сказал:

— Послезавтра уезжаю.

— Ну?

— Дом не успел продать.

— Заколоти. Пусть гниет.

— Жалко.

— Еще бы! — фыркнул Володька.

Вложив в голос как можно больше униженно-просительных интонаций, Николай Николаевич сказал:

— Послушай, Володька, будь другом, продай тут его без меня. Сделай такую родственную услугу. Я, ей-богу, должен ехать. Работа, понимаешь... срочная, ответственная...

— Физик. Черт бы тебя взял,— сказал Володька.

— Ну, согласен?

— Мне что. Найдется покупатель — загоню. Но учти: торговаться не стану. За первую цену отдам.

— Конечно! — обрадовался Николай Николаевич.— Отдавай, не торгуйся.

— Ну, все, что ли? Спать пойдем? — спросил Володька, зевая и потягиваясь.

— Все. Завтра только нам вместе нужно к нотариусу зайти.

— Это еще зачем?

— Формалисты. Крючкотворы,— презрительно усмехнулся Николай Николаевич.— Говорят, надо дом тебе по дарственной передать, иначе потом куплю-продажу не оформят. Словеса-то каковы, а? В жизни таких не знавал.

— Вот! — Володька приставил ладонь ребром к горлу.— Вот как ты облыз мне со своим домом. Ради бабки, царство ей небесное, а то бы...

И завязал так, что Николай Николаевич даже выдохнул сильно, словно перцу хватил.

Провожать Николая Николаевича на вокзал пришли все — и Водогонов, и Володька, и Нина. Он просил их об этом столь настойчиво, что отказ выглядел бы слишком большой невежливостью по отношению к гостю, и они все собрались в маленьком вокзальном ресторанчике, чтобы выпить, как сказал Володька, «посошок на дорожку». Нина исподтишка старалась остановить его в этом усердии, но Володька, наливая себе третью, громко и весело отшучивался:

— Брось, Нинон! Выпивши, я, как река в половодье, широк и раздолен, а трезвый начинаю мелеть. Виват!

Сотрясая вокзальное здание, примчался поезд. Он был из дальних и маленькому мимоезжему городку отдавал на всю перронную сутолоку лишь три минуты своего электротягового времени. Николай Николаевич, поднявшись в

тамбур, стоял за плечом проводницы и думал: «Теперь навсегда, наверно...»

И вот уже мягко качнуло его в сторону, прижало плечом к стене. Он поднял руку, улыбнулся стоявшему внизу Володьке и сказал:

— Эй, собственник! Домовладелец! Виват!

Володька рванулся к вагону.

— Околпачил, мерзавец!..

Николай Николаевич озорно подмигнул оторопевшей Нине и, стоя в тамбуре, махал через голову проводницы рукой, смотрел, как бился в объятиях хохочущего Водогонова Володька, порываясь к пробегающим мимо подножкам.

1959

КОСТЕР НА ВЕТРУ

1

Говорят, что теперь этот город на Днепре живет в тени садов, дышит запахом роз и тамариска, слушает шум новозданного моря, но я застал его еще в те времена, когда он только зачинался и представлял собой хаотическое сочетание асфальта и вязкого песка, изящных колоннад и безобразных времянок, первоклассных машин и выгребных уборных, молодых парков и захламленных пустырей.

Удивительная осень стояла тогда. В одну ночь вдруг растаял крупитчатый снег, запахло как от разломленного арбуза, и влажный ветер с юга принес бархатистое осеннее тепло.

В один из таких дней, полных тепла и ветра, я зашел на строительство Дворца культуры. Там, у дощатого сарайчика, куда рабочие складывали инструмент, полыхал костер. Ярко-белое бездымное пламя металось из стороны в сторону, припадало к земле и опять взвивалось кверху, хлопнув на ветру, словно длинное полотнище. Эти сходки у костра, сложенного из щепного мусора и смоченной в мазуте пакли, происходили регулярно на стыке двух смен. Многие жили на стройке бессемейно и, приходя на работу раньше времени или не спеша возвращаться на железные койки своих общежитий, травили здесь под

разговоры махру и табак. Когда я подошел, разговор имел оттенок легкой перебранки.

— Опп робят па всепародпой стройке, а що це таке — пе разумеют,— бранил кого-то каменщик Микола Федчук.

— Брось, надоело. Это мы па каждом столбе читаем,— с ленцой и пренебрежением в голосе отозвался однорукий штукатур Ананий Волков.

И сейчас же штукатур Гриша Астахов гвозданул кулаком воздух:

— Правильно, Микола Василич! А ты, Волков, молчал бы, если за длинным рублем сюда приехал.

— Верно, головастик,— усмехнулся Ананий.— В точку попал. А ты тут зачем?

— Я?

— Ты.

Кто-то предусмотрительно потянул Гришу за стеганку, и он ограничился одним лишь словом: «ш-штык!» — выражавшим, судя по интонации, высшую степень презрения.

— А что? Я правду говорю, как умею,— сказал Федчук.— Я в Канаде из-под палки за шестерых робил, а они на всенародной стройке за себя сробить не могут.

— В Канаде? — удивился я.

Из местной газеты мне было известно, что Федчук работал сначала на гашении извести, потом в свои пятьдесят восемь лет пошел в ученики, стал каменщиком, усовершенствовал шаблоны для кладки кирпича, и «теперь его портрет не сходит с Доски почета». Так писала газета. О Канаде там не говорилось.

— Ты заведи его, заведи! Он такие эллипсы начнет выгибать — только держись,— посоветовал мне Ананий Волков.

— Эге ж! — Улыбнулся Федчук.— Мной судьба забавлялась, как ветер листом. Из края в край кидала, и такое от нее я терпел, что рассказать — не поверите. Пришлось и тяжко, и горько, и солодко. Даже капиталистом был.

— Ты уж лишнего на себя не наговаривай,— с испугом сказал Гриша.

— А ей же богу!

— Вот и загнул бы чего-нибудь, чем зря собачиться,— посоветовал Ананий.

— Зачем загибать? Без брехни,— сказал Федчук.— Родом я с Буковины, гуцул, а нас в то время богато тикало в Америку.

— Вы не подумайте, что во мне бес какой-нибудь зудливый сидел,— нет! Смолоду я хозяйствовать любил, по колена в земле стоял, руки в нее по локоть завязил, и, если бы не нужда, никогда бы меня оттуда не выколупнуть.

Первый раз стронулся я с места в двенадцатом году. Раньше до ветру ходил — на хату оглядывался, а тут вдруг попал сразу в тридевятое царство. Засевчик у нас был махонький, ртов в семье богато, вот батька и записал меня у вербовщика в Бразилию. Робил я там два года на маисовых плантациях, скопил кое-как на дорогу и подался до дому. И куда меня только потом не кидало! В австрийской армии был, в русском плену был, в Канаде был, в Соединенных Штатах был...

— Да ты не скачи, как заяц! Валяй от печки,— перебил его Ананий.

— Ну, добре. Вернулся я из плена, женился, народил двух дочек, оглянулся на свое житье и даже зажурился. Хата, гляжу, завалилась, кусать нечего, дочки мои брынзы просят, а у меня одни буряки. Тут опять агент навернулся — вербует в Канаду лес валить. Думаю, бес с ним. Спытаю еще раз судьбу. Жинка по слабости пола, конечно, плачет, не пускает... У нее в Канаде батька и два брата сгинули. Но я хозяин: постановил и поехал. Было это в двадцать шестом уже...

— Какая же у вас тогда власть стояла? — полюбопытствовал Ананий.

— Румынская.

— Что же ты у нас-то не остался, когда в плену был? — с изумлением в голосе спросил Гриша.

— А мать? А батька? А хата? — не сразу ответил Федчук.— Во сне Буковину видел...

— Да не сбивай человека! Дай рассказать,— вступился за Федчука Ананий.

— Ну, как из Гавра до Квебека ехали — про это и рассказывать нечего. Всю дорогу в трюме сидели,— продолжал Федчук.— В Квебеке выстроили нас на палубе, врач каждому веки завернул, потом сторожа в цивильном платье загнали всех по вагонам и повезли. Куда — никто не знает. Я уж тертый калач был. Думаю — не-ет, ученые мы по вербовке робить. И решился тикать. Был у меня лист — письмо от соседа Мокавчука до его брата в город Виннипег. Поезд как раз в том Виннипеге остановку сде-

лал, я и тикал через окошко. Вышел на площадь, а т-а-ам!.. Автомобили гудят, трамы грохочут, люди, как муравьи, палкой помешанные, бегают... Никак не разумею, куда мне идти. Словил какого-то дядю за рукав, сунул ему письмо: укажи, мол, добрый человек, где Маковчук живет. Он и указал — понял. Иду до Маковчука: так, мол, и так — имею от вашего брата лист.

«Какого брата? Нема у меня братов! И листа я не хочу».

«Как,— говорю,— пема братов! По твоей же роже видно, что ты самый что ни на есть Маковчук с-под Черновиц!»

Засмеялся.

«Ладно, говорит, иди до хаты, я шутил».

Переспал я у Маковчука, утром дал он мпе пятнадцать центов, научил, как найти в городе офис — контору, как спросить там работу, а напоследок сказал:

«До меня назад не ходи. Нема у меня никакого брата».

— Вот штык! — вставил Гриша.

Федчук раскурил от щепотки мятую папироску, глубоко затянулся и вздохнул.

— И тут я оказался форменно битый... Нашел в городе тот самый офис. Стоит дом с колоннами вроде театра, перед ним площадка, а на площадке наро-о-ду — как лесу. Вижу, какой-то человек на деревяшке манит меня пальчиком. Эге ж, думаю, работу дать хочет. Отошли мы с ним в закоулочек, вдруг он как секанет меня палкой по башке, да еще раз, да еще... Я и упал. Жинка моя! Дочки мои родные!.. Блукаю по городу, плачу, а назад в офис боюсь идти. Под вечер зашел в кафе покушать на свои пятнадцать центов. Гляжу, двое дядей по зеленому столу шары палками гоняют. Один посмотрел на меня и говорит:

«Бить будут».

Обрадовался я русской мове.

«Так я,— говорю,— уже битый!»

«Еще будут».

«Да за что, добрый человек? Скажи!»

«Дура! — говорит.— Ремень у тебя на штанах с австрийской бляхой, а тут этого духа после войны дюже не любят. Брось».

Ремень я, конечно, пожалел, повернул его бляхой внутрь, а человеку спасибо сказал. Стал он меня пытать, кто я, откуда, зачем приехал. Я ему все, как попу, рассказал.

«Дурень ты,— говорит,— Миколай. Не знаю, что с тобой и делать. Ладно, идем со мной».

Привел он меня в какой-то дом. Сидят там круг стола люди, пьют горилку, едят руками биб [1]. У меня даже трясца в коленях сделалась от радости. Подошел к нам хозяин — сивый старичина, как голубь.

«Кто такой при тебе?»

«Возьми к себе краянца [2]»,— говорит Головатый (моего вожака Головатым звали).

Хозяин только рукой махнул.

«Не надо! Их тут до черта шляется».

«Все же...— просит Головатый.— Хоть на почь».

«Ты кто?» — пытает у меня хозяин.

«Федчук».

«Федчуков много. По прозвищу как?»

«Криводышлый».

Как сказал я это, хозяин даже подскакнул.

«Да я ж,— говорит,— из-за твоего батьки в Канаду тикал, язви его в душу! Помнишь, побил я твоего батька, а меня за это судить хотели?»

«Никак,— говорю,— не помню».

«Ну добре! Садись кушать биб. Он у меня дармовой. Горилка за гроши, а биб дармовой. Но сегодня для тебя и горилка дармовая. Пей!»

Посадил он меня за стол, поит, кормит, а сам все про ридно село пытает. Даже заплакал, как сказал я, что вербу и криницы грозой побило... Потом повел меня спать. Наверху у него вроде нашего общежития было, только спали по двое в одной койке. Лег и я с кем-то, утром вскинулся — тьфу! Лежит со мной кто-то серый, ледащий, изо рта дух нехороший прет. Хотел я потихоньку встать, а он тоже проснулся, взял с тумбочки пачку газеток, сует мне:

«Купи».

«Эх,— говорю,— добрый человек! Откуда ж у меня гроши на твою газету?»

«А ты кто,— пытает,— такой, что у тебя грошей нема?»

«За ними,— говорю,— и приехал с Буковины».

Сосед мой только посмеялся.

«Я,— говорит,— здесь уж двадцать лет пропадаю, ничего доброго не бачил. Вот сейчас газетами кое-как перебиваюсь. А сам я, между прочим, тоже с Буковины, с села Лашкивки».

---

[1] Биб — гуцульское кушанье.

[2] Краянец — земляк *(укр.)*.

«Да ты,— говорю,— мой краянец. У меня жинка с Лашкивки».

«А как ее звать?»

«Сандра Тодоровна».

«Сорохан?»

«Она».

Как кинется на меня тот человек и ну целовать и ну плакать... Я думал, порченный какой, толкнул его, а он и говорит:

«Неужели, сынку, твое сердце не чует? Ведь я Тодор Сорохан, твоей жинки батька».

Тут и я заплакал.

«Что же мы, батька, будем делать?»

«А что,— говорит.— Утро, пора и снидать».

Шесть недель кормил он меня на свои гроши, а потом нанялся я за сходную цену к фермарю Мандрику на два года. Просил у него грошей вперед.

«У меня,— говорю,— батька грыжей мается, надо доктору платить».

Башкой только покрутил.

«Подождет батькина грыжа. Другие с ней до ста лет живут».

Так и не пришлось поправить батьку. Сожгли его и даже праху не дали. Дюже плакал я, что не осталось батькиной могилы. Страшно это. Был человек и вдруг — фук! — нет ничегошеньки...

Федчук умолк.

Было слышно, как бьются мелкие торопливые волны, стучат голые ветви платанов, и эти звуки ясно давали почувствовать, какая глубокая тишина стояла несколько секунд у костра.

— Когда же ты капиталистом-то был? — подозрительно спросил Гриша.

3

— Это особая история,— вяло откликнулся Федчук.

— Насмотрелся я там на их вольготную жизнь,— продолжал он, постепенно воодушевляясь,— и захотелось мне самому стать капиталистом.

— А, б-бодай тебя! — выругался Ананий.

— От Мандрика ушел я с грошами. Невеликие, конечно, гроши, но все же капитал! Задумал скупать на озерах у рыбаков рыбу, возить ее в городе по домам и иметь от этого барыш. Знакомый украинец Гнатюк предложил

мне компанию сделать. И такой он широкий хлопец был — не захотел скупать рыбу, а будем, говорит, ее сами ловить. Заверили мы у нотаря договор, купили сеть, лодку, провиант, а когда гроши уже подошли, вспомнили, что рыбу-то возить нам в город не на чем. Стали шукать третьего компаньона с лошадью и повозкой. Нашли одного фермаря. Дюже бедный в землянке живет. Пошли опять до нотаря, перевели договор на троих и подались на озеро Нордбей. Глядим — а оно уже льдом встало. Ну, делать нечего. Срубили мы кемп [1], потом начали лед долбить и пускать под него сети. Ох, и тяжка ж эта работа! Сеть мерзнет, руки на ветру пухнут, со спины инеей иголками сыплется. Но рыба идет! За неделю нашвыряли мы больше тонны белой рыбы, щуки, фермарь свез ее в город и продал не по три цента за фунт, как мы гадали, а по пяти. Капитал растет — и настроение у нас растет. Вот, думаю, какой я умный!

Поехал фермарь опять в город. Ждем его неделю, ждем другую... Рыба идет, а фермаря нема! Кончился у нас провиант, потом керосин. Гнатюк бранится.

«Слухай,— говорит,— Микола. Ну его к бису, вшивого фермаря. Ты стереги сеть, а я пойду до городу, куплю кобыленок и зараз назад буду».

Ушел. Я один на озере остался. А зима люту-у-ет, ветер сечет, вошва одолевает! Кушаю одну рыбу без соли, огонь кое-как держу, а Гнатюка будто черти поховали. Эх, думаю, не пропадать же мне тут! Испек на углях три рыбы, взял топор и пошел на солнце... В лесу мороз гукает, на деревьях каждая веточка инеем опушилась, поползни — птахи малые — по сосновой коре шур-шур, шур-шур. Тихо, хорошо. Только ведь зимний день какой? Сверкнул — и нет его. Зашло солнце — кругом снег, лес, тьма... Засек я дерево — опять к нему точнехонько вышел: кружу, значит, на одном месте, как привязанный. Достал из кармана печеную рыбку, а она будто кость. Отогрел за пазухой, покушал и стал топором яму копать, чтоб согреться. Выкопал по пояс, залез в нее, кричу, плачу, пою, молюсь, жинку зову... Чую — кончаюсь...

Федчук запрокинул голову и некоторое время смотрел в небо, где, быстро меняя свои очертания, бежали облака, то тут, то там открывая широкие голубые проплешины.

— Эх, нема таких ночей в Радянском Союзе. Как до-

[1] К е м п — лагерь *(англ.)*.

ждался я солнца — не помню. Пошел опять на него. Вдруг вижу — следы! Одни — огромные, с метр, другие — маленькие, зверячьи. Они, может быть, и от лихого зверя, но я уже совсем ошалел: пру прямо по ним, из последних сил выбиваюсь. Слышу — впереди собаки загавкали. Посвистал я — выскочила из леса стая собачищ, а за ними — человек с винтовкой, на снегоходах. Бросился я к нему и не добежал, в снег башкой зарылся.

Оказался он охотник, индеец. Привел меня до своей землянки, зайца облупил, зажарил, дал мне заднюю ногу, а я и укусить ее не могу. Тогда он лепешку испек. Потом накрыл меня кровавыми шкурами, обнял и грел до самого утра... Добрый был человек, ох, добрый! Утром никак одного не пустил — до другого охотника, а тот — до третьего, а уж тот — прямехонько до города.

Ну, в городе я, конечно, стал своих компаньонов шукать. Дознал, что фермаря в тюрьму упекли за то, что индейцам водку продавал, а Гнатюка со всеми грошами и след простыл... И стал я опять пролетарием.

Гриша вдруг засмеялся. Он был явно рад, что репутация Федчука осталась незапятнанной принадлежностью к эксплуататорскому классу.

— Ну, а после этого домой подался? — спросил один из рабочих.

— Не-е-е! После я еще пять лет блукал по свету,— отозвался Федчук.— На товарнике под вагоном в Штаты махнул, потом опять в Канаду вернулся — лес рубил, дорогу строил, могилы копал, коров доил... К этому делу я, между прочим, через тюрьму прислонился. Остался зимой без работы, а зима, ох, тяжка в Канаде. Ребята и надоумили в тюрьме зимовать. Хотел я полисмену в лицо плюнуть — раздумал. Обязательно бить будет, а там в полисмены не берут человека меньше ста пяти кило весом. Взял тогда кусок льда и вдарил по витрине. Осудили меня на шесть месяцев, держали в тюрьме недолго, а потом послали на ферму коров доить. Там хорошо было. Хлеба давали килограмм, кормили три раза в день, молоко я крал — и вышел к весне с толстой рожей. Потом по объявлению нанялся в город Ванкувер на строительство гидростанции...

— Ну, как там? — заинтересовались все сразу.

— Противу нашего? — Федчук помолчал.— Я тут такой счастливый.

Он оглянулся и, выбрав изо всех меня, одетого не порабочему, сказал:

— Я имею такой же костюм, как у вас, и мы можем ходить рядом.

— Костюм... Это совершенно неважно...— смущенно пробормотал я.

— О, вы не разумеете! Там у меня не было костюма. А здесь, когда я поехал в отпуск до дому, я всем купил дарпики. Матери — хустку [1], жинке — чеботы, дочерям — велосипеды, а батьке — горилки. Себе я купил костюм за семь карбованцев и думал, что буду первый па селе. Ну, и что же? Думаете, был я первый? Нет! Я был последний. Теперь куплю костюм за две тысячи. А Ванкувер? Что Ванкувер! Я там жил в яме, робил заступом и был бедный. Мои рабочие руки тянутся к Радянскому Союзу. Недавно корреспондент привел под микрофон, и я стал говорить. «Слышишь, Мандрик! — говорил я.— Это я, Федчук, который робил у тебя на ферме. Теперь я в Радянском Союзе, па всенародной стройке и уже получил премию, потому что стал изобретателем...»

Я и там был изобретателем. Робил па бумажной фабрике в Эмис-Каминке, стоял во дворе у транспортера, подвешивал к нему деревянные кубари. Как-то лопнула водяная труба — кубари сами и поплыли в дверь па фабрику. Я тогда пошутил инженеру: вот, мол, как вода за нас робит. А утром гляжу — канал роют. Транспортер сломали, стали цепкой кубари по каналу гнать. Восемнадцать рабочих — долой, только трех оставили. Пошли мы в унион — союз — жалиться. Фабрикант и указал на меня: вот, мол, кто во всем виноват. Хотели меня ребята бить, но я в ту же ночь тикал из Эмис-Каминки — небитый... После этого и до дому подался... В тридцать пятом. Без грошей...

— В тридцать пятом я родился,— задумчиво сказал Гриша.

— Вот я и говорю, что ты головастик, а тужишься квакать,— вскипел вдруг Ананий Волков.— «За длинным рублем!» Мне, может, этот рубль во как нужен!.. Скажи, плохой я штукатур?

— Штукатур ты хороший,— признался Гриша.

— Ага! А как я этого достиг, знаешь? Я могу рассказать. Тоже с рыбой было дело, как у Федчука, хотя в капиталисты я не лез.

— Расскажи, Ананий,— попросил один рабочий.

— Не буду.

[1] Хустка — платок *(укр.)*.

— Ну вот! Растравил, а сам в кусты. Почему не будешь?

— Не буду — и точка. Все одно Гришка меня своими подначками собьет.

— Не дадим! Молчи, Гришук.

— Я молчу...

— Ну то-то! Смотри, ни гугу,— предупредил Ананий. Маленькое сухое лицо его собралось мелкими морщинками, так что на месте глаз остались только узкие, слюдянисто блеснувшие в свете костра щелочки, и он рассмеялся.

4

— Я потому смеюсь, что очень забавный случай впереди будет,— пояснил Ананий.— С чего уж и начать, не знаю... Короче, пришел я с фронту без левой клешни и сразу упал духом. Детишков у меня теперь счетом восемь, а тогда шесть было. Но это, я скажу, все одно много. Чтобы прокормить такую саранчу, особо при моей штукатурной профессии, позарез две руки нужны. Вот и задумался. А от задумчивости — что? Пьянство. Не знаю, как там в Канаде, а у русского человека это так... Стал я, значит, пенсию свою дотла пропивать, а потом и барахлишко из дому потаскивать. Дотаскался — смотрю, ничего уже не осталось, и надо дальше чем-то промышлять.

До войны любил я рыбачить. Наш край Владимирский — озерный, весь речками, как паутиной, повит: есть где рыбу взять, коль рыбак с головой. А у меня к этому делу сызмала талант был. Ну, и начал я той рыбой промышлять. Летом на червя ловлю, на букару, на ручейника; по перволедью — на блесну; зимой — на мормышку с мотылем. И так ловко насобачился одной рукой насадку делать, что рукатый за мной не угонится. К штанам на коленке у меня клеепочка была пришита. Сейчас я на нее червя или мотыля вытряхну — цоп его крючком, и — готово. Одно неспособное было: со льда на глубоких местах ловить. Никак одноручь леску не выберешь. Пихаешь ее в рот и... гм... И вокруг шеи до пяти раз обверпешь, а конец все в лунке. Одно слово — неспособно.

Ловил я, однако, во всякое время достаточно. После выйду на базар, разложу рыбу на кучки — эта десять целковых, эта — пятнадцать, эта — два червонца, а эта для кошки — и за рубль... Поначалу стыдился, глаза прятал,

а потом покрикивать стал: «А вот, гражданки, свеженькая! Подходи, налетай, не зевай!..»

Блеснил я как-то по перволедью на озере Мшары. Озеро это провальное, глубины непомерной, чистое, как слеза, и все сосновым бором обросло. Напал я на приглубное местечко — окунь берет редко, но такой черт: ото дна не оторвешь. Никак я с ним одной рукой не совладаю. Потом вижу — на льду еще рыбак появился. Ходит с пешней и все ближе да ближе ко мне подрубается. Подошел вплотную. Глядь — а он тоже без руки. Здорово, мол, приятель! Слово за слово — разговорились. Того Андрюхой зовут. Встали рядом. Я говорю:

«Давай, Андрюха, сообща ловить. Как у меня окунь возьмет, я с леской отбегу, а ты ее у самой лунки поддерни, чтобы за край не задела».

Так и приноровились. Если бы кто со стороны видел, живот надорвал. То я, то Андрюха сорвемся вдруг с места и бежим сломя голову от проруби — умора!

Спаялись мы с дружком — водой не разольешь. На всех озерах и реках вместе. А после рыбалки — в чайной. Еще пуще стал я запивать. Раньше хоть часть улова домой приносил, а теперь перестал — все начисто пропиваем.

Сидим как-то в буфете на станции, ждем поезда в город, пьем. Все спустили, только я одну щучонку фунта на полтора ребятишкам оставил. Андрюха совсем уже на сносях, да и я порядком окосел. Вот в таком кураже сели мы в вагон, дружок и говорит мне:

«Дураки мы с тобой, Нанька (он меня Нанькой звал). Корежимся всю зиму на морозе, а можем жить как у Христа за пазухой. Только нахальства набраться».

«Как это?» — спрашиваю.

«Проще репы. Вот сейчас увидишь».

Выпростал он свою культю, шапку долой и — бойким голосом:

«Добрые, сознательные граждане! Братья, сестры, папаши и мамаши! Подайте калекам на пропитание... Пой!» — шепчет мне.

Спьяну это смешно вроде казалось, я и гаркнул:

«Раскинулось море широко-о-о...»

Одежонка у нас была самая для случая подходящая: рвань рыбацкая. Стали граждане Андрюхе в шапку деньги сыпать. Прошли мы весь вагон. В тамбуре Андрюха деньги в карман начал пихать. А меня, не совру, вдруг затошнило даже:

«Андрюха,— говорю,— брось эти деньги сейчас же, а не то я в морду тебе дам».

«Дурак ты,— говорит.— Мы на них в городе сейчас выпьем. Пошли дальше, привыкнешь».

Чувствую — и сам я виноват, что поддался, и оттого еще пуще осерчал. На боку у меня в противогазной сумке щука болталась. Схватил я ее за голову да хрясь дружка по морде.

Конечно, будь у меня две руки, я бы его не тронул. Ну, а как мы в равном состоянии, то не зазорно было и по рылу ему разок съездить: не втравливай! У меня все-таки два ордена и четыре медали...

Домой я приехал сам не свой, аж дрожу весь. Две недели на озеро не ходил. Вот тут-то и встретился я со своей совестью. Глажу мальчонку по голове, а сам голову-то ему вниз давлю, чтобы, значит, в глаза не смотрел.

Помаялся так, потерзался и поехал в Москву. Пришел там на протезную фабрику, показал мастеру кельму, сокол, терку — штукатурный свой инструмент — и говорю:

«Должен ты, трудовой человек, меня понимать. Погибаю через свою нетрудоспособность. Можешь сделать такой протез, чтобы я эти штуки держал?»

«А какую из них,— спрашивает,— тебе в левой руке нужно держать?»

«Вот эту»,— показываю па сокол.

«Обожди,— говорит,— померяю».

Мерял он меня всячески, как портной, а напоследок обнадежил:

«Сделаем»,— говорит.

Ну, сделали. Вернулся я домой, стал опять на озерах рыбачить, а по вечерам учился сокол держать. Наконец решил испытать себя.

«Давай,— говорю жене,— халупу свою штукатурить».

«Да что ты! — кричит.— Зачем ее штукатурить?»

«Молчи, дура! От клопов».

Набросал я на стену штукатурку, стал соколом подбирать и уронил, конечно. Если б бабы рядом не было, заплакал бы, как дите. Однако сдержался и снова. Месяца полтора, наверно, с одной стенкой бился. А не прошло и году — весь дом снутри и снаружи в лучший вид произвел... Потом в стройконтору поступил. Так-то вот...

А сюда я — точно, за длинным рублем приехал, потому что он моей саранче нужен. И дело, головастик, не в том, длинный он или куцый, а в том, что я при своей инвалидности могу его честно заработать.

Ананий повернулся к Грише и с грозной ноткой в голосе спросил:

— Понял?

Гриша сконфуженно потупился.

— А как я его щукой по морде — разве не смешно? — удивился Ананий.

— Н-не очень...

— Случай-то забавный обещал,— напомнил кто-то.

— Ну и ладно. Вон смена кончилась. Пошли, ребята!

5

Вместе с ними я поднялся на строительные леса. Приближался вечер. Меловые обрывы за Днепром долго хранили фиолетовый отблеск заката, потом мертвенно позеленели в свете осенних сумерек и, наконец, как будто впитали в себя густую синь ночи. На берегу и на темной воде Днепра заблестели огни. Прямыми линиями они тянулись вдоль городских улиц, кольцами опоясывали котлованы, змеевидной гирляндой висели над эстакадой пульпопровода. кучей грудились на земснаряде — все сообща кидали на бегущие облака мутно-оранжевое зарево. Ветер словно мягкой лапой гладил по лицу.

Костер внизу все еще горел, и вокруг него сидели сменившиеся рабочие. Их фигуры — темные с одной стороны и красноватые с другой — напоминали плакат давних революционных дней, который я видел в какой-то книге по полиграфии.

— Огнями любуетесь? — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся. Кто-то стоял в ярко освещенном проеме окна, и мне с наружных лесов не было видно его лица.

— Кто это? — спросил я.

Он шагнул словно из рамы портрета и остановился рядом со мной. Это был Гриша Астахов.

Несколько минут мы продолжали молча смотреть на огни. Их было великое множество. И все — яркие и тусклые, ровные и беспокойно бьющиеся под рукой электросварщика, далекие и близкие, желтые и голубоватые,— дробясь и переливаясь, повторялись в мелких волнах Днепра.

— Когда-нибудь,— тихо сказал Гриша,— мы будем рассказывать нашим детям, как работали здесь их отцы.

Я улыбнулся. Было забавно услышать такие слова от семнадцатилетнего паренька, занимавшего в общежитии

узкую железную койку, не имевшего ни дома, ни жены, ни детей, но так уж он, недавний выпускник ремесленного училища, штукатур, понимал значение и смысл своего труда, что заранее гордился им перед потомством.

1959

СТАРИКИ

1

День разгулялся, было солнечно и жарко. На веранде, куда после обеда вынесли Игната, душно пахло прогретым деревом, пылью, мышами, и он попросил перенести его в сад.

Вскоре приехал доктор. Это был старенький доктор из заводской поликлиники, который вот уже тридцать лет ездил по городу к больным, и за все тридцать лет не было случая, чтобы он кроме всех лекарств не прописал еще морковный сок.

За всю свою долгую жизнь Игнат ни разу не лечился, если не считать ранения, полученного им в гражданскую войну. И теперь он с недоверчивой усмешкой наблюдал, как доктор каждый день проделывает над ним одни и те же манипуляции — ищет пульс, выслушивает сердце, щупает ноги,— наблюдал и думал:

«Слушай, слушай, брат, щупай! А я вот возьму да помру, и останешься ты с носом».

Но сегодня Игнату было не до шуток. Ночью ему приснился сон, будто сидел он на закрайке большого сжатого поля, а по стерне к нему шел другой Игнат — молодой, в длиннополой солдатской шинели, с котомкой за плечами. Неяркие лучи осеннего солнца согревали все вокруг мягким необжигающим теплом, и в душе у обоих Игнатов разгоралось тихое, примиряющее со всеми тяготами жизни ликование. Не доходя несколько шагов, молодой Игнат сел на землю и стал выкладывать из котомки на плоский белый камень хлеб, печеные яблоки и все улыбался, кивал, звал к себе.

Все утро Игнат был под впечатлением этого сна. Ему грезился кисловато-винный запах печеных яблок, он силился вызвать в себе то ни с чем не сравнимое ликование, но не мог и тосковал.

— А что, Иван Евдокимович, скажи, помру я? — спросил он доктора.

Доктор ничего не ответил, проделал все обычные манипуляции, велел греть ноги, пить морковный сок и, удалившись в дом, долго разговаривал там с женой Игната Василисой Марковной.

Игнат лежал, смотрел, как в вишневых кустах дерутся воробьи, и от нечего делать вспоминал разные случаи из своей жизни. Вспоминалось почему-то одно только хорошее, и поэтому вся жизнь казалась очень правильной и красивой. Был Игнат крестьянским сыном — пахал землю, а потом подался в город на заработки, и теперь в памяти живо воскресло, как уходил он из деревни, как увязалась за ним чья-то лохматая собака и шла, не отставая, до самого города. Он кидал в нее сучьями, шишками, а она все шла и доверчиво засматривала ему в глаза. Настала ночь, в траве по обочинам дороги засветились голубоватые огоньки «ивановых червячков», а когда Игнат вышел на поляну, к озеру, то увидел в тумане ночевавшее стадо. Большая луна низко висела над озером; на пне сидел пастух и играл на рожке.

— Прими собаку, милый человек. Не напужала бы она мне стадо,— сказал он и снова заиграл, а Игнат пошел дальше.

В городе он поступил слесарем на железную дорогу в ремонтные мастерские и, как только завелись у него деньжонки, купил себе охотничье ружье с витыми стволами дамасской стали. Однажды тропил он зайцев и забрел в незнакомые места. Стало задувать, ветер шуршал соломой в одинокой скирде, и, кроме нее, ничего не было видно сквозь белую кружащуюся мглу. Игнат измучился, лазая по глубокому снегу, и ему уже то чудился собачий лай, то вдруг вставала впереди темная изба, а был это свистящий на ветру куст, и приходилось идти дальше, проваливаясь выше колен в сугробы. Наконец уткнулся он в какие-то сараи, нашел прогон и, пошатываясь, добрался до первой попавшейся избы. А через несколько минут уже сидел в кухне на лавке, разморенный теплом и усталостью, и видел сквозь туман, как возле печки, вздувая самовар, суетилась девка — с непокрытыми темно-рыжими волосами, красивая, зеленоглазая, бойкая, словно огонь. В избе она была одна. Игнат догадывался, что по случаю воскресного дня все уехали в город или ушли на посиделки, но от усталости не мог даже заговорить с девкой и уснул, прикорнув на лавке, раньше, чем поспел самовар. Долго ли он

спал, не знает, а проснувшись, почувствовал, что девка присела рядом и гладит, перебирает его волосы. Было это похоже на чудесный сон, и, затаившись, Игнат долго лежал, не открывая глаз... Уходя, узнал он, что звали девку Василисой.

Когда началась война 1914 года, у Игната уже было двое детей — Аким и Ольга. Воевал он без малого восемь лет, а вернулся — дети уже большие, Аким кончил школу, а Василиса — такая истомленная, заработавшаяся, что сердце зашлось жалостью у лихого, бывалого взводного и стало стыдно за грешки походной жизни.

Новая жизнь в железнодорожных мастерских началась с возни двух тисков, с выделывания зажигалок, замков и горелок для примусов. Но уже в первой пятилетке на месте тесных закопченных мастерских выросли корпуса нового завода. По выходным дням рабочие часто устраивали загородные прогулки. На них ели винегрет, крутые яйца, пили дешевое красное вино, а потом запевали «Ермака», «Коробушку» и «На муромской дорожке».

Выпив как следует, Игнат говорил:

— Я посплю, мать.

Он клал свою красивую вихрастую голову Василисе на колени и притворялся спящим. А она, охмелевшая от вина, от его близости, от лесного воздуха, перебирала его волосы и нежно шептала:

— Горе ты мое, мученье мое, радость моя полынная...

В дни пуска второй очереди завода Игнат, читая газету, увидел свое имя в списке награжденных орденом Трудового Красного Знамени. Тогда на торжество съехались все дети — их было уже пятеро,— а младшая, Зоя, привела из школы своих подруг. Игнат смотрел, как молодые тоненькие девушки, забыв о виновнике торжества, кружились под музыку, и почему-то слезы потекли у него по щекам, по бороде, и он поскорей вышел в сад... Да, много хорошего было в жизни, всего и не вспомнишь!

В то, что он умрет, Игнату до сих пор не верилось. Но сегодня, то ли от ночного сна пахнуло на него чем-то невозвратимым, то ли почувствовал он себя хуже, но только в голову назойливо лезли мысли о смерти. Он опять посмотрел на содомных воробьев, которые так и кипели в густой листве сада, и подумал, что все это в любую минуту может навсегда кончиться для него. Лежать ему стало невмоготу, и он сделал недозволенное — спустил ноги с кровати и сел. Сердце тотчас же отозвалось на это усилие буйными толчками, но скоро затихло, забилось ровнее.

Ах, какой день разворачивался после затяжного ненастья! Где-то в синей вышине свободно гулял ветер, комкал тугие белые облака, а здесь, на земле, было тихо и деревья стояли, точно восковые. Серебристая паутинка и та отвесно свисала к земле, лишь маленький паучок слегка колыхал ее, спеша куда-то по своим делам. А свет! Сколько света лилось в этот полуденный час на землю, и, право же, был он не белый, а чуть-чуть фиолетовый, особенно если разглядеть хорошенько тоненький луч, пробившийся сквозь листья и, точно спица, вонзившийся в землю.

Игнат обвел взглядом сад и через щели в заборе увидел соседа Якова Стручкова, который поправлял в своем огороде гряды, размытые дождем. Игнат и он были ровесниками, но Яков вот ходит, работает, крепок на вид и даже играет в заводском клубе на трубе и, наверно, еще сыграет на похоронах Игната. Заметив, что Яков тоже смотрит на него, Игнат с усмешкой сказал:

— Ну, лезь сюда, потолкуем.

Яков воткнул лопату, отодвинул в заборе какую-то дощечку и пролез в сад. Жили они недружно, встречаясь, не кланялись друг другу, и теперь сосед двигался по чужой земле неуверенно, точно по иной планете. Был он небольшого роста, длиннорукий, с тяжелым, неподвижным взглядом из-под низкого лба. И когда подошел и присел на край кровати, то Игнат отвернулся от него.

— Вот, смотри, Яков, помираю,— сказал он.— Скоро будешь на моих похоронах в трубу дуть.

Он ждал, что сосед начнет ободрять его, разуверять, но тот только глубоко вздохнул и сказал:

— Все там будем, Игнат Данилыч.

— Ну, от этого мне не легче,— усмехнулся Игнат.— Тебе, может, и не понять, разные мы с тобой люди. Ты вот всю жизнь морщишься, точно уксусу хватил...

— Не вздорил бы с людьми перед смертью-то! — тихо перебил его Яков.— У каждого свой курс, а смерть всех сравняет.

— Ну и врешь! — сердито крикнул Игнат.— По-твоему, значит, вся жизнь не в зачет. Так себе, нуль. Вот тебе, видел?

Он сложил из худых пальцев сухой угловатый шиш и протянул Якову.

— Безобразничаешь, Игнат Данилыч. Нехорошо,— обиженно сказал Яков и пошел к забору, повторив на ходу: — Нехорошо.

Умер Игнат на другой день. И случилось так, что видел это только Яков Стручков. Когда он вышел в огород, Игнат сидел на кровати в той же позе, что и вчера, и опять позвал его к себе. Яков сначала отказывался, но потом все-таки полез в дыру. Когда он приблизился к Игнату, тот хотел что-то сказать, но язык у него замолол несуразное, а сам он стал валиться вперед и, обхватив тонкий саженец груши, подмял его под себя.

— Игнат Данилыч... Игнат Данилыч...— звал испуганный Яков и силился поднять страшно тяжелое, обмякшее тело соседа, и почему-то яснее всего ему запомнилось, что в бороде Игната запутался и бился, жужжа, черный с оранжевой спинкой шмель.

2

Яков пришел домой, ничего не мог делать, и целый день у него дрожали руки. И спал он плохо: перед глазами ворочался черный шмель с оранжевой спинкой, и казалось, что Игнат сейчас поднимет руку и, выругавшись, вытряхнет его из бороды.

Днем Яков вышел в огород, но работать опять не мог — так и тянуло все время посмотреть на забор, в сад соседа.

Вскоре туда вышла младшая дочь Игната Зоя, стала рвать цветы. И было странно видеть, что она одета в черное платье, а рвет такие красивые, такие белые цветы. Яков не выдержал и пошел к соседям. В кухне сидела Василиса Марковна и рассказывала что-то незнакомой женщине. Встав у порога, Яков тоже стал слушать.

— Помню, придет он в воскресный день, спрячется где-нибудь на задах и свистнет,— рассказывала Василиса Марковна.— Я уже смекаю. Сейчас, будто за надобностью за какой, выбегу из избы — и к нему. Он всегда с ружьем приходил... Так оно до сих пор и висит в спальне на стенке... Вот и бродили мы с ним по пойме-то. Дождь пойдет — нам ничего, под стогом спрячемся. Устанем — на траве полежим. И чтоб шалость какая-нибудь с его стороны — боже упаси! Вот, словно вчера, помню — осень была. Чистая такая, воздух будто звенит, примороженный. Идем мы бережком, а через речку стая уток летит. Выстрелил он и убил одну. Ее течением подхватило, понесло. А мы все идем за ней да идем. Потом глядим, кто-то на лодке едет. Он и говорит: «Милый человек,— говорит,— я уточку убил, достань, пожалуйста...» А тот смеется: «Уточку

убил?» И Игнат смеется. «Вот,— говорит,— убил уточку, а достать не могу...» Я села поодаль и любуюсь им, оторваться не могу. Уж больно хорошо стоял он на берегу... Вскоре я и ушла к нему из родительского дома...

Василиса Марковна начала плакать, но, видно, вспомнила, что у порога стоит Яков, и повернулась к нему.

— Ты проститься пришел, Яков Захарович? Повремени малость. Не убрали еще его мы как следует. Повремени, голубчик.

Яков вышел и, не зная, что делать, отправился домой, достал со шкафа трубу и стер с нее пыль. Это заняло всего несколько минут.

«Как ладно Василиса рассказывала... Уточку убил...» — подумал он.

А потом, до самых похорон, не находя себе места, все слонялся из дома в город, из города к соседям, от соседей опять домой.

Прощаться с Игнатом приходило много народу — все незнакомые Якову заводские люди, и узнал он только директора — Андрея Поликарповича Смаковникова, которому шил костюм. Перед выносом стоял почетный караул, играла музыка. Яков тоже дул в свою трубу, и когда поднимал от нот глаза, то видел плачущую Василису и вспоминал:

«Уточку убил...»

Ничего похожего в его жизни не было. Об этом он думал и вчера и позавчера, но так и не нашел ни одного светлого случая, которым эта жизнь была бы озарена. Женился он из-за того, что у невесты был дом. А еще раньше служил он подмастерьем у портного и мучительно завидовал всем богатым, в том числе и своему хозяину, которого ненавидел и был бы рад спихнуть при удобном случае. Но был он за уничтожение не всех хозяев вообще, а только над собой, потому что сам страстно желал стать хозяином. Из-за этого он поссорился со своим сыном Петром. Случилось это в то время, когда Яков был уже компаньоном своего бывшего хозяина. Петр навсегда остался в его памяти худеньким, зеленолицым реалистом, тихим и скрытным. Однажды Яков нашел у него в ранце какие-то прокламации, очень испугался и пообещал выгнать сына из дому, если он посмеет еще раз принести их. У худенького мальчика, очевидно, была крепкая воля, он сам ушел из дому, и Яков слышал, что Петр живет в губернском городе, зарабатывая на пропитание тем, что готовит в гимназию сына начальника тюрьмы, а потом куда-то исчез

и только в двадцать шестом году прислал письмо из Ленинграда, где работал на заводе. Письмо он прислал матери, а отцу даже не поклонился. С тех пор мать несколько раз ездила к нему, рассказывала, что живет он в квартире из шести комнат и ездит на работу в автомобиле. Об отце не спрашивает — видно, не простил. А вот Игната Потехина дети любили и помнили. При жизни они часто приезжали к нему, писали письма, присылали деньги, звали к себе в гости на дни рождения, на свадьбы, на родины, и теперь, когда он умер, все — и Зоя, и Нюся, и Александр, и старшие — Оля и Аким,— все шли за гробом и плакали.

Кладбище было далеко, но Яков, занятый своими мыслями, не чувствовал усталости. Вспомнилось ему и более позднее время. Своего ремесла он не бросил, но о мастерской, конечно, нечего было и думать, пришлось податься в кустари. Доходов от портняжной работы ему казалось мало, тогда он занялся еще огородом. Яков не любил это дело, и каждую весну, когда жена говорила, что нужно копать под огород землю, он с сердцем восклицал:

— Будь он проклят!

Но все-таки копал, поливал, убирал, а потом продавал на рынке огурцы, помидоры, лук и выручку клал на сберегательную книжку. Денег накопилось много, но что с ними делать, он не знал: тратить было жалко, да и некуда, потому что ему со старухой требовалось очень мало, а сын все равно от денег отказался бы. Однажды Яков подумал, что мог бы на свои сбережения напоследок пожить широко и весело. В буйном настроении он взял в сберегательной кассе сразу тысячу рублей, пошел в столовую, заказал водки, икры, пряников, выпил, съел, заплатил шестьдесят рублей, а что делать с остальными деньгами, так и не придумал и отнес их назад в сберкассу.

И теперь он спрашивал себя: зачем же он и его жена трудились в огороде, зачем копались в грязи свинарников и курятников, зачем? Руки их черны, спины согбенны, а счастья нет. Видно, в каждом хозяине сидит раб — раб перед копейкой, и эта рабья жилка осталась в нем на всю жизнь...

Вышли за город. Над землей дрожал горячий воздух. На глинистой почве, сбитой в твердый камень, стояло несколько сухих, почерневших дубов. Но уже в полукилометре виднелся лес, и вскоре он встретил прохладным шумом берез, запахом мха, цветов, травы.

Как давно Яков не был в лесу! Кажется, с самого детства. Но воспоминания об этом смутны, а может быть, их

нет совсем, и есть только уверенность, что когда-то он все-таки приходил сюда. И пока над могилой произносились речи и закрывали гроб, Яков все старался вызвать в памяти что-то похожее на этот лес, на этот чудесный запах цветов и травы, но там, позади, было все пусто и серо...

Музыканты сыграли последний раз и стали уходить. Якову не хотелось идти с ними; он свернул на глухую кладбищенскую тропку и выбрался через другие ворота к полотну железной дороги. Высокая насыпь пересекала огромную долину, по обе стороны рос березовый лес. Очевидно, недавно прошел поезд; его дым запутался между деревьями, и они стояли точно овитые голубыми лентами, колыхающимися на легком ветру. Лес был редкий, но от этого он казался еще более прекрасным, потому что насквозь — каждая его веточка, каждый листик — был пронизан необыкновенно ярким светом солнца.

«Уточку убил...» — снова вспомнил Яков.

Вся его серая, однообразная, безрадостная жизнь, загубленная по его собственной вине, предстала перед ним, озаренная этим светом. Он подумал, что мог бы, как Игнат, стоять над рекой и смеяться, любить, ласкать детей, работать и, заслужив этот почет, быть с честью похороненным. Но дело даже не в этих загробных почестях, а в том, чтобы прожить интересно и красиво. От него же все заслонила копейка. Добывая ее, он не задумывался, что живет не так, а вот, когда жизнь подходит к концу, вдруг задумался, но уже поздно и изменить ничего нельзя.

Что-то надломилось в нем; он взвалил на плечо ставшую вдруг очень тяжелой трубу и побрел домой, оставляя позади этот мир, залитый чистым светом летнего солнца.

1960

МОЙ ЗНАКОМЫЙ ЛЕШИЙ

Есть в лесах моей родины озерцо Светленькое. Оправдывая свое название, оно еще издали сверкает, как россыпь битого зеркала, но стоит заглянуть с берега в его глубину, как оно приобретает прозрачно-малахитовый оттенок, сгущающийся к центру до цвета темно-зеленого, почти черного бархата. Когда оно впервые увиделось мне среди темных елей и сосен, как чистая капля росы на зе-

лепом листе, я подошел по сухому, усыпанному хвоей берегу к самой воде, нагнулся, чтобы зачерпнуть ее кружкой, и ахнул. Взгляд свободно проникал в глубину, где расстилался мохнатый ковер водорослей и, чуть пошевеливая красноперыми хвостами, плавали мелкие окуни.

На берегу этого озера живет лесник Кандыбин по прозвищу Леший. Откуда пошло такое прозвище, Кандыбин и сам не знает. Во всяком случае, на лешего, который, как известно, остроголов, мохнат и нем, он не похож. Мужичок как мужичок: сухой, маленький, с белесыми глазами, реденькой щетинкой, одевается в затасканную солдатскую одежку, любит порассказать, как воевал в Польше, Австрии, Маньчжурии, и может ввернуть при этом несколько слов не только по-немецки, но и по-китайски. Да и разве докопаешься до первородного смысла этих деревенских прозвищ — Мотыль, Большак, Рында, Треухий, Жбанок,— если пристали они к людям большей частью случайно, из-за одного их слова, поступка или совсем маловажной черты характера?

В семье Кандыбин сам восьмой. В детях он считает себя неудачником, потому что жена его Ульяна упорно рожает только дочерей, а единственный мальчик Митя вырос слабоумным. Его присутствие на кордоне почти не заметно. Он любит смотреть, как играют младшие сестры, но сам никогда не играет с ними, и если начинается шумная возня, наблюдает со стороны, восторженно хлопает в ладоши, кричит, смеется, прыгает, и глаза его вспыхивают радостью. Он был бы очень красив — золотоволосый, с огромными серыми глазами,— если бы не блуждающая улыбка идиота, открывающая кусочки гнилых зубов. Как веселая, ласковая собачка, он всюду ходит за старшей сестрой Аней, и стоит сказать, что жених скоро возьмет Аню, начинает плакать и картаво выкрикивать:

— Камнем зениха! Камнем зениха!

Этим пользуются, чтобы поддразнить Митю, младшие сестры. Заслышав гул дровяной машины, они кричат, что едет жених, и Митя с воплем мчится к дороге, останавливается как вкопанный у обочины и встречает машину вопросительно-пугливым взглядом.

Но не только с целью поддразнить Митю говорится на кордоне о женихе. С ним Кандыбин и Ульяна связывают свои надежды на благоденствие, которое должно наступить для семьи, когда все дочери повырастут и повыходят замуж.

— Скоро ли вас зятья разберут, лешачих окаянных! — кричит на них Кандыбин.

И все-таки, как ни трудно ему пестовать свою ораву, все дети сыты, одеты, обуты и учатся, кому пришел срок, в ближайшем селе, живя там на постое с осени до весны.

Летом вся семья, точно пчелиный рой, пребывает в какой-то жизнерадостной трудовой суете. Дочери собирают ягоду, грибы. Ульяна ходит за скотиной. Кандыбин объезжает лес, ловит в озере рыбу, косит траву. Но мшистые леса почти не дают сена, на тощем песчанике вокруг кордона родится только картошка, а я слышал однажды, как Кандыбин говорил Ульяне:

— Ничего, мать, перезимуем. А станет туго, свалю лося.

— Полно уж болтать-то зря,— сердито отозвалась Ульяна.— Вон человек посторонний слышит. Что про тебя подумает?

А Кандыбин подмигнул мне и сказал:

— В лесу не убудет.

За окнами в это время играло озеро, пуская по потолку сторожки дрожащие блики, и от этого сторожка казалась прибранной к какому-то празднику. За обедом все сидели тихо, с добрыми улыбками, и слова лесника прозвучали тогда особенно неприятно.

— А что, Федя,— спросил я его, когда мы вышли после обеда на крыльцо,— убивал ты лося?

— Лося? — щурясь на озеро, переспросил он.— Нет, не приходилось.

— Ты не бойся, я ведь никому не скажу.

— А чего мне бояться? Уж коли пускаю я дровишки налево, так об этом все знают. Пожалуй, суди меня! — усмехнулся он.— Вот они. Мал мала меньше. Куда они денутся?

— Ну, дровишки пускаешь, а почему лося не трогаешь? — допытывался я.

— Дрова-то ведь дрова,— словно оправдывая передо мной свою слабость, смущенно засмеялся Кандыбин,— а лось — он лось.

В то лето на кордоне появился, наконец, первый жених. Он был из того самого села, где Аня кончила семилетку,— колхозный конюх, мужчина уже не молодой, но видный, с матерой проседью в смоляных волосах и не подеревенски бледным, тонким лицом.

Сватовство он повел солидно и обстоятельно. Поговорил сначала с Кандыбиным, с Ульяной, потом, так же об-

стоятельно, изложил Ане свои условия: он хотя и вдовец, по лет ему только тридцать шесть, пьет восемь раз в году — по большим праздникам, живет с мамашей, имеет крепкое хозяйство, приличный заработок на трудодни и знает, кроме того, два ремесла: портняжное и скорняжное.

— Ну, доченька, что скажешь? — спросила Ульяна.

Разговор происходил поздно вечером, но в сторожке никто не спал. Ульяна стояла, прислонившись к печке и сложив под грудью большие мускулистые руки, сам Кандыбин как бы безучастно поклевывал со сковороды вилкой грибочки, а из-за ситцевой занавески, закрывавшей огромную деревянную кровать, выглядывали любопытные мордочки младших сестер.

Я вышел. Озеро уже курилось туманом, и за его лохматой шевелящейся пеленой жили какие-то звуки: что-то тихо булькало, скрипело и посвистывало. Слабо-слабо донесся паровозный гудок. Железная дорога была далеко, километрах в пятнадцати, а этот отголосок большого мира еще яснее давал почувствовать, какой кристальной тишины стояла над лесами ночь.

Что-то бесшумно шевелилось сбоку от меня, на крыльце сторожки. Сначала мне показалось, что это просто клочок лунного тумана, нанесенный с озера воздушной струей, но, приглядевшись, я узнал Митю. Никто не вспомнил о нем в этот вечер, и теперь мне представилось, как бродил он по лесу вокруг сторожки со своей единственной печалью и что-то картаво бормотал сквозь слезы.

В сторожке хлопнула дверь. Митя сейчас же скатился со ступеней и спрятался за углом, а на крыльцо, залитое лунным светом, вышли Аня и конюх.

— Лунища-то, лунища-то! — сказал он.— Светло мне будет ехать. Ну, что ты стоишь, как стамая?

Он поцеловал ее, прижав к косяку, а когда отпустил, она так и продолжала стоять навытяжку, с поднятым подбородком, точно солдат... Ах, любить бы ей в эту дивную ночь, томиться от избытка своей молодости, вдыхать расширенными ноздрями запах теплой хвои, блестеть в полутьме глазами, да, видно, не задалось!

Конюх спустился с крыльца и стал отвязывать лошадь.

— А, дурак! — увидел он за углом Митю.— Сейчас я тебя лошадью затопчу.

Митя пригнулся к земле и, как зайчонок, с визгом бросился на крыльцо.

— Не трогайте его,— тихо сказала Аня.— Мы его любим.

Она пропустила Митю вперед и сама шагнула вслед за ним в темный провал сеней.

Утром я уехал.

Несколько предпраздничных дней ноября мне пришлось прожить в маленьком городке на Клязьме, куда Кандыбин часто приезжал за мукой и керосином. Зима в тот год была ранняя. Уже встала Клязьма; за окном ветер мотал железный фонарь на столбе, вся улица в его свете была охвачена какой-то оргией бесноватых теней, и я думал о том, какая, наверно, унылая, мглистая равнина с плешинами серого, обдутого ветрами льда, со свинцовыми полыньями лежит сейчас перед окнами лесной сторожки.

Оттого, что приближались праздники, еще больше не хотелось оставаться здесь, в чужом городе, в этой холодной угарной комнате Дома колхозника, и я торопливо заканчивал дела, чтобы уехать к родным и близким людям.

Однажды я спустился в закусочную обедать, и у самого входа меня вдруг поразило что-то необыкновенно знакомое. Я еще раз оглядел ядовито-яркую вывеску «Холодные и горячие закуски, вина, водка», обледенелое крыльцо, запорошенных снегом лошадей у коновязи и вдруг узнал рослую мохнатую кобылку Кандыбина.

Самого лесника я нашел в закусочной. Не снимая полушубка, чуть хмельной и веселый, он доедал макароны, обильно политые маслом.

— Бери макароны,— посоветовал он мне.— Важнецкая еда.

Я стал расспрашивать об Ульяне, о детях, и когда спросил про Аню, он вдруг смутился и потускнел.

— А она тут, в городе,— сказал он нехотя.

— Где же?

— В школе учится, на ткачиху.

— А конюх? — поинтересовался я.

— Конюх того...— Кандыбин смутился еще больше и, потупясь, стал сковыривать вилкой застывшие на клеенке капли масла.— Не вышло с конюхом.

— Почему же?

— Да как тебе сказать? У нас и пропой был. А потом как-то поехали мы с Аней в город, заосенело уже, грачи стаями по стерне прыгают, паутинка летит. А она, Аня, значит, сидит в телеге и, вижу, плачет. Да пропади ты, думаю, пропадом. Черт с ним и с конюхом! Отвез ее в город, иди, говорю, на фабрику, определяйся, как можешь... Уж баба-то меня потом точила! Ну, чисто ржа! — Он помол-

чал и, опять пуская в ход вилку, прибавил: — Ты только не подумай, что он нами побрезговал. Мы сами не схотели.

И я понял причину его смущения. Ни деревенская родня, ни соседние лесники, должно быть, не верили, что он сам отказался от такого выгодного жениха.

«Лось — он лось»,— вспомнились мне почему-то слова Кандыбина.

И, кажется, только тогда я окончательно поверил ему в том, что одно дело для него — дрова, швырок, а другое — живой лось.

После обеда он поехал к Ане в общежитие. Присев на край саней, я проводил его до фабричных корпусов. К нему уже вернулся прежний, немного бесшабашный вид, и, сбив на затылок шапку с торчащими в сторону ушами, он весело говорил мне:

— Приезжай летом, рыбу станем ловить. Летом у нас хорошо, комара не бывает. Сосна кругом, песок, мох. Этого он, гад, не любит...

Попрощавшись, я на ходу соскочил с саней. Кандыбин обернулся, махнул мне рукой, и через несколько шагов метель длинными седыми полосами затушевала его силуэт.

1960

МУЖЧИНЫ

Шофер маршрутного такси — долговязый парень в коротком пиджаке — стоял возле своей машины и раздраженно вертел через палец ключи на длинной цепочке. Был полдень, горячий пыльный ветер тащил по асфальту вокзальной площади заскорузлые обертки от мороженого, машина грелась на солнце, а те все прощались. Старая женщина в сбившемся платке торопливо крестила мужчину и мальчика, целовала их и плакала.

— Не понимаю людей,— сказал шофер девушке-диспетчеру.— Разъезжаются на паршивую сотню километров, а провожают словно в могилу! И всегда так. Только задерживают.

— Не твое дело. Пусть прощаются, как хотят,— сказала девушка.

Шофер еще быстрее завертел ключами.

— На мальчика полагается билет,— угрюмо заметил он.— Есть на него билет?

— Не придумывай, пожалуйста. Ему и пяти-то не будет.

— Как же! Верные восемь. Отправляй машину!

Девушка дернула плечиком, подошла к пассажирам и спросила билет.

— Садитесь,— сказала она.— Можете занимать любое место. Кроме вас никто не едет. Вещи есть?

— Уже в багажнике,— коротко ответил мужчина.

Он сел на первое место, рядом с шофером, взял мальчика к себе на колени, и пока они усаживались, старая женщина все смотрела на них печально и нежно.

Машина тронулась. Это был черный приземистый широкий автомобиль, удивительно мягко бравший с места большую скорость. Он стремительно пересек площадь, выбрался из тесноты городских улиц на простор шоссе и всей мощью своего мотора рванулся вперед. Редкие деревья за боковым стеклом смазались в сплошной серо-зеленый забор. Шофер повеселел. Он сразу же забыл о том, что сердился на своих пассажиров, и, дружески подмигнув мальчику, спросил:

— Ну как? Хорошо ехать?

— Хорошо,— сказал тот.

— Еще бы!

Он любил это бесшумное стремление своей машины сквозь уплотненный скоростью гудящий воздух. И ему обязательно надо было, чтобы кто-то восхищался ею вместе с ним. Он постучал ногтем по спидометру.

— Лихо идем.

Но мужчина даже не шевельнулся; он безучастно и вяло смотрел в ветровое стекло.

«Зануда. Тип»,—подумал шофер. Все, кто не знал толк в машинах, безусловно, подлежали разряду зануд и типов. Приходилось довольствоваться лишь неразборчивым мальчишеским преклонением перед всякой машиной, у которой четыре колеса и сигнал.

— Куда же ты едешь? — опять заговорил шофер с мальчиком.

— В Крым.

— Ого, как далеко! Это кто же тебя провожал — бабка?

Мужчина вдруг резко повернулся к шоферу.

— Постойте! — сказал он.— Остановите машину.

— Это зачем же? Ведь только отъехали.

— Мальчику нужно.

— Я не хочу, папа,— сказал мальчик.

— Остановите! — почти грубо крикнул мужчина.

— Я не хочу,— повторил мальчик.

— Нет, хочешь!

«Псих»,— подумал шофер.

Пропылив по широкой обочине, машина встала у кювета. Мужчина открыл дверцу и поставил мальчика на землю.

— Беги вот за тот кустик. Ну, скорей!

— Я не хочу, папа,— опять сказал малыш.

— Беги, я тебе сказал!

Мальчик перелез через кювет, оглянулся и скрылся за кустом ольшаника. Мужчина опять повернулся к шоферу.

— Послушай,— сказал он,— не обижайся на меня, пожалуйста. У него умерла мать, а ты лезешь с вопросами. Я знаю, как это делается: сначала — куда едешь, потом — с кем едешь, потом — где твоя мама. А ему трудно.

Шофер отвел взгляд.

— Извини,— пробормотал он,— я же не знал.

— А теперь знаешь,— твердо сказал мужчина.

Мальчик уже стоял на краю кювета, и они замолчали.

— Прыгай,— сказал мужчина.— Ты все сделал?

— Я не хочу. Ты будешь меня ругать? — спросил мальчик.

— Да нет же, глупый! Я думал, надо сделать это сейчас, чтобы не останавливаться потом. Ну, прыгай скорей!

— Не беда, малый, можем и еще раз остановиться, если будет нужно. Машина-то наша,— сказал шофер и посмотрел на мужчину, давая понять, что теперь он знает, о чем и как нужно говорить.

Они говорили только о машине и взахлеб хвалили ее. Ах, какая это была машина! Пусть не совсем новая, но такая выхоленная, что куда там новой... Она словно глотала серую, накатанную до блеска ленту шоссе. Город уже был далеко позади, и теперь по обеим сторонам тянулся глухой лес. Взгляду не удавалось проникнуть в эту чащу сочнозеленых берез, осин, елей, и только там, где к дороге вырубались деревни, в лесной стене зияли светлые бреши с видами седоватых хлебных полей, лиловых — люпиновых и пестреньких, как ситец,— картофельных. Скоро вдали над лесом показалась радиовышка другого города, а пониже ее — голубой купол и золотой, растянутый на цепях крест церковной колокольни.

В городе была остановка.

— Зайдем? — кивнул мужчина в сторону чайной.

— Нет, в рейсе не пью,— сказал шофер.

— А я, пожалуй, зайду.

— Может, не стоит? Ты все-таки не один.

— Знаю. Сиди здесь,— сказал мужчина мальчику.— Я принесу тебе что-нибудь.

«Все равно Любка не нальет ему»,— подумал шофер.

Впервые движение машины не мешало ему как следует рассмотреть мужчину. У него была небольшая, коротко остриженная голова, мускулистая шея в широко открытом вороте рубашки, крутые плечи и во взгляде хоть и печальная, но спокойная и уверенная сила.

— У тебя с ним тоже вроде дальнего рейса,— осторожно сказал шофер.

— Не бойся, я это помню.

Они продолжали в упор смотреть друг на друга.

«Любка не нальет ему»,— опять подумал шофер.

— Ты послушай радио,— сказал он мальчику,— можешь и сигналом побаловаться, только не очень, а мы сейчас вернемся. Ладно?

— Ладно,— согласился мальчик.

В придорожной чайной, где с некоторых пор была упразднена торговля водкой и где, несмотря на это, ее с утра до вечера пили проезжие шоферы и местные любители, было накурено, тесно и шумно. Шофер и мужчина подошли к буфетной стойке.

— Любаха, налей ему,— коротко сказал шофер грудастой буфетчице.

Совершилось какое-то колдовство под стойкой, сопровождаемое звяканьем бутылок, и на свет появился стакан с водкой, бледно покрашенной крюшоном.

— А тебе? — спросил мужчина.

— Нет, в рейсе не пью,— повторил шофер.

Они отошли к окну, чтобы видеть машину. Мужчина поднял стакан, показывая, что пьет за здоровье шофера, и отпил половину.

— Как это у вас получилось? — спросил шофер.— Болела?

— Да, и очень долго. Не будем об этом.

— Ладно. Вот только не пойму, зачем вы едете в Крым, если...

— Собственно, все равно, куда ехать. Ему надо немного отвлечься. Может, я и плохо придумал, но главное — отвлечься ему. Он ведь еще не умеет утешаться философскими побрякушками взрослых. Увидит море — будет собирать ракушки...

Мужчина одним глотком допил водку, купил для мальчика мягкого, подтаявшего шоколада, и они вышли. До Москвы была еще половина пути, но она казалась короче. Дорога переходила здесь в бетонную автостраду, и машина ровно, без толчков летела по ней на предельной скорости.

— Хорошо шли,— сказал мужчина, когда впереди за обширным полем показались пышные кущи Измайловского парка.

— Никак не могу держаться в графике,— самодовольно признался шофер.— Машина есть машина. Она сама просится. Тебе куда в Москве?

— Да никуда,— пожал плечом мужчина.— Попробую сразу попасть на симферопольский.

— Думаешь, так просто достать билеты?

— Мягкие могут быть.

— Мягкие, пожалуй, могут. Ты иди в кассу, а вещи и мальчика оставь в машине. Я буду стоять два часа.

— Спасибо.

На площади Курского вокзала машина плавно развернулась и встала в ряд таких же блестящих черных автомобилей с шашечной полосой на кузове. Мужчина ушел. Он вернулся через час и сказал, что взял билет в мягкий вагон. Разбудили мальчика, уснувшего на заднем сидепье. Шофер вынул из багажника чемодан.

— Ну, счастливо. Может быть, на обратном пути опять ко мне попадешь.

Они пожали друг другу руки. Мальчика шофер потрепал по плечу.

Через час огромное расстояние уже лежало между ними. Мальчик попросился спать, залез с головой под чистую твердую простыню, но не спал. Мужчина, стоя у вагонного окна, глядел на пыльные постройки мимоезжих станций, на ржаные поля, на затянутый дымкой предвечернего зноя горизонт. А шофер в это время был в обратном рейсе. Его рука, лежавшая на баранке, еще как будто ощущала угловатое, податливо слабенькое плечо мальчика. Ему вспомнилась его холостяцкая комната, пропахшая табаком и объедками, лампочка без абажура, приятели с поллитровками после рейса, случайные женщины — и возможность выбиться из этой наезженной колеи непонятным образом связывалась теперь в его представлении с таким вот мальчишкой, глядевшим на него с комичной серьезностью равного.

1960

КРАСИВАЯ

Через быструю светлую речку Нару плотники наводили после разлива мост.

Стояли теплые ветреные дни. Сквозь сухой ил и мусор, оставленный на берегах рекой, уже проклюнулись зеленые иглы травы, зелененьким туманцем повился прибрежный ивняк, и в небе, голубеющем нежно, по-майски, с утра до вечера трепетали звонкие жаворонки. Под берегом, в затишке, припекало так, что старшой плотников Сергиян не мог работать — засыпал и ронял топор. Тогда сын его, Герасим, тряс родителя за плечо и говорил:

— Шли бы уж, папаша, под шалаш.

— И то,— соглашался старик, но не уходил, а усаживался на торце береговой сваи и продолжал дремать, часто просыпаясь и поводя по сторонам мутным взглядом.

«Тёп, тёп»,— стучали топоры по мокрому дереву, «урилю, урилю...» — рассыпались в небе жаворонки.

Сергиян всхрапнул, поднял голову и вдруг, как петух на спице, встрепенулся, захлопал руками по ляжкам, задребезжал:

— Робя! Затевай потеху, сарафан идет! Ей-ей! Ходом катит... Гераська, живо!

Широкоспинный, длиннорукий, похожий на краба, Герасим кинул в чмокнувшее бревно топор, пал в лодку и, сгибая весла, погнал ее вдоль берега к кустам. Потеха, вот уже несколько дней развлекавшая плотников, состояла в том, чтобы, спрятав лодку, морочить потом прохожему человеку голову, пока тот не начинал раздеваться или готовился повернуть вспять.

Другой плотник — недавно демобилизованный солдат Матвей Земнов — тоже воткнул топор и с выжидающей, немного смущенной улыбкой смотрел на женщину в ярком сарафане, идущую по луговой дороге. Он еще не обвыкся в этой маленькой артельке, держался неуверенно, скованно, да и вообще был, по мнению плотников, застенчив, уступчив и прост. Когда рядились на починку моста, он легко согласился на третью долю, хотя было ясно, что семидесятилетний Сергиян — уже не работник.

— Одно слово — Матюха заречный, шилом щи хлебает,— насмешничал потом Герасим наедине с отцом.

Матвей был из дальней, заречной деревни, и так уж велось исстари, что бойкие, ходовые подгородние считали

застенчивых, домоседных заречных простаками и шляпами.

Женщина между тем подошла совсем близко. Блеск игравшей на солнце реки бил ей в глаза; она заслонила их рукой, и Матвей вдруг узнал ее по этому движению.

— Матюша,— сказала она громко с каким-то отчаянием.— Вот я и нашла тебя.

Сергиян опять хлопнул себя по ляжкам.

— Ба! Знакомые встретились!

— Зазря,— тяжело сказал Матвей.— Ты лучше уйди.

Они стояли друг против друга на самом взлобке берега, и ветер, ударяя Матвею в спину, рвал на нем гимнастерку, светлый короткий чуб, а на женщине плотно лепил к телу сарафан. Ничего не понимая, Сергиян и Герасим смотрели на них. У этих двух людей, родных по крови, общих по ремеслу, по образу жизни, по хозяйству, было одно понятие и о женщине. Они при пьяном случае поколачивали своих жен, редко называли их по именам — просто «бабы»,— утаивали от них часть заработка, оставляя им тяжелый и грязный уход за скотиной и вообще о всех женщинах думали и отзывались только нечисто и грубо. Но даже они смотрели теперь на эту женщину с восхищением и какой-то растерянностью.

— Вот те и Матюха,— тихо сказал Герасим.

А Сергиян, видимо, тронутый внезапной грустью, с которой и не только на глубоких стариков набегают воспоминания о молодости, вздохнул и тоже сказал:

— Жизнь в деревне легкая пошла: ишь какие бабы выгуливаются. Раньше-то такая на работе сразу свянет, а эта — на ж поди!

Женщина была красива заметной, броской красотой, на которую нельзя не обратить внимание, как на яркий свет. Она сама заставляла смотреть на нее, мучила, как жажда, бередила в душе что-то стихийное, звавшее жить безрассудно, вольно, очертя голову.

— Эх, папаша, видели? — торопливо спросил Герасим.

Когда-то, давным-давно, в сырую теплую ночь апреля, выйдя из лесу, они увидели низко над горизонтом большую лучистую звезду. Она разливала в воздухе прозрачный голубой свет, и Сергиян сказал, что это солдаты на учении пустили ракету. Они долго смотрели на нее, но звезда продолжала гореть, неся над полем и лесом свой прекрасный свет, и постепенно какое-то странное чувство овладело ими обоими. Они вдруг шепотом заговорили о том, что хорошо бы получить выгодный подряд, сколотить

побольше денег, сунуть их своим бабам, а самим пуститься по вольному свету с одним топором и отвесом. И вот опять словно взошла перед ними эта звезда. Сергиян только вздохнул, а Герасим, как и тогда, торопливым шепотом повторял:

— Ах, папаша, да что ж это такое! Что ж это такое, а?

И тем более непонятно было плотникам, почему Матвей гонит от себя эту женщину.

— Матюша,— каким-то раненым голосом говорила она,— возьми меня к себе.

— Да уйди ты,— опять сказал Матвей.— Слезы мне твои, все равно что вода.

— Деревянный ты...

— Задеревенел, это точно.

— Скажи, что возьмешь...

— Никаких таких слов не будет, ступай.

— Не уйду я.

— Надоест — уйдешь.

Матвей повернулся к ней спиной, выдернул из бревна топор и мелкими плотницкими ударами погнал вдоль него длинную щепу.

Трудно было поверить, что человек может плакать такими обильными слезами. Женщина закрыла лицо руками, и слезы текли у нее между пальцами до самых локтей. Сгорбившись, она пошла прочь, спотыкаясь и семеня, когда особенно сильный порыв ветра толкал ее в спину.

— Ну и зверь ты, Матюшка,— сказал Герасим, дрожащими руками доставая из мятой пачки папиросу.— Истый зверина хичный, только и слов.

— Нешто можно так с живой-то душой? — укоризненно вздохнул Сергиян.

Матвей не ответил. Он, как и всегда, работал ловко, споровисто, и его невозмутимость вконец разозлила плотников.

— А вот тюкнуть его обушком разок-другой, он, глядишь, и отмякнет,— вспылил Герасим, враждебно глядя на Матвеевы лопатки, плитами ходившие под гимнастеркой.

— Авось отмянет,— поддакнул Сергиян.— Никак я этого не понимаю, чтобы, значит, человека от себя гнать, как собаку.

— Да что вы раскаркались? — выпрямился Матвей.— Знать не знаете, что между нами вышло, а беретесь судить-рядить.

— Баба-то ведь какая! — с тоской сказал еще не опо-

мнившийся Герасим.— Так бы ручейком и побежал ей под ноги...

— Вот-вот,— усмехнулся Матвей,— в самый раз. А мне она все равно что червяк — взял бы да и растоптал, не заметил.

— Это почему же, червонный мой? — прищурился на него Сергиян.

— Да уж так она себя показала передо мной.

— Это как же, значит?

— Скажу.

— Ну-кась.

— Сказ короткий. Обещала ждать, а приезжаю из армии — она за вдовца вышла, старика пятидесяти пяти годов. Чем же, спрашиваю, он тебя взял? Да показал, говорит, книжку на сорок семь тысяч, обещал на меня перевести, я и пошла...

— А он, значит, возьми да и прижми денежку-то? — с интересом спросил Сергиян.

— Нет, дело у них без обману сладилось.

— Не дура баба! — опять перебил Сергиян.— Денежки, значит, хап — и обратно к милому дружку...

Он, а за ним и Герасим громко загоготали, уже без прежнего волнения поглядев вслед удалявшейся женщине, которая все еще пестрела своим сарафаном на ровном пойменном лугу.

— Можно бы и простить,— сказал сквозь смех Герасим.

Матвей тряхнул головой.

— Никак нельзя. Все у меня к ней перегорело, дотла. Ходит она ко мне, инда вот сбежал я, винится, говорит, жить с тем не могу, а во мне вот хоть бы какаянибудь струночка дрогнула — ни. Все мертво, как в сухой глине.

— За сорок-то семь тысяч можно простить,— не слушая его, ответил Сергиян Герасиму.

— Дались вам эти тысячи,— с презрением сказал Матвей.— Я ей советовал — отдай, говорю, деньги назад и уходи на все четыре стороны, коль невмоготу стало. Не одюжит. Уйти — уйдет, а деньги не отдаст, не превозможет свою подлую натуру.

— Зря ты, парень, артачишься,— серьезно, по-отечески сказал Сергиян.— Сорок семь тысяч да еще такая баба в придачу!

— Да-а, кусок...— мечтательно протянул Герасим.

Матвей глядел куда-то поверх их голов, туда, где ки-

пели под ветром занимавшиеся листвой кусты, и тихо, задумчиво сказал:

— Расплююсь я с вами. Поставим мост — и расплююсь... Начисто! Никак я не могу этой самой жадности выносить.

— Это ты какой же оборот даешь? — угрожающе спросил Герасим.

— А такой, что не могу — и все.

— Нет уж, доложи нам, ежели ты таким словом замахнулся! — стараясь придать своему голосу начальническую строгость, крикнул Сергиян.

Матвей уперся в него долгим, тяжелым взглядом.

— Вы, папаша, шли бы, право, под шалаш,— сказал он наконец с недоброй угрюмостью.— Ведь уж ни тяжело поднять, ни крепко ударить... Иди, иди, старичок, не бойся! Я на твою долю не замахнусь.

— Ишь ты, перец! — удивился Сергиян.

Они долго и враждебно молчали, потом — сначала Матвей, за ним Герасим, а потом и Сергиян,— плюнув по обычаю в ладонь, принялись за работу.

«Тёп, тёп»,— опять застучали над речкой топоры.

С весеннего неба сыпали свой радостный звон жаворонки.

Сергиян вскоре размяк, уселся на торце сваи и, погружаясь в дремоту, пробормотал со вздохом:

— Сорок семь тысяч — шутка!..

1960

ТРЯПКИ

Если в Москве или в дачном поселке Внуково вы встретите старика в низкой, наподобие канотье, шляпе, чесучовом костюме и при палке, которая, судя по величественным взмахам, служит старику скорей для завершения его внешнего облика, чем для опоры при ходьбе, то знайте, что вы видели меня — профессора, доктора наук, химика Ивана Фердинандовича Тролля.

Летом я живу с семьей на даче. То есть живет на даче моя семья, а я каждый вечер приезжаю туда в большом черном автомобиле, молча поднимаюсь к себе в кабинет, и мне приносят туда холодный кефир, ягоды или фрукты. К общему столу я не выхожу, потому что меня раздража-

ют жена и дочь. Нет ничего особенного в том, что у жены масляное от крема лицо и вытаращенные от загнутых ресниц глаза, что дочь коротко острижена и носит слишком узкий свитер, но если знать, что обе они никогда не работали, что держат садовника, шофера и домработницу, что жена, предвидя мою скорую кончину, жадно покупает золото, меха и дорогие антикварные вещи, а дочь выходит замуж, как раньше говорилось, не по любви, а по расчету,— если знать все это, то сидеть с ними за одним столом и не раздражаться просто немыслимо.

Когда дочь была маленькой, я очень любил ее и звал Машенькой. По-настоящему ее, видите ли, зовут Ингой, но я терпеть не могу этого гнусавого имени. Теперь и следа не осталось от моей Машеньки — мягкого, ласкового, игривого котенка. Как-то проглядел я, когда надела она эти короткие черные брючки, этот узкий красный свитер, когда вдруг появилась в доме пестрая банда Аликов, Эдиков, Эриков с джазовыми пластинками, и моя Машенька стала говорить со мной примерно так:

— Старик! Тебе не нужно полнеть. Толстая рожа — харя обывателя. Смуглота, тени под глазами, блестящий взгляд — вот что современно, дорогой мой.

А однажды, войдя неожиданно в комнату, я слышал, как она сказала молодому человеку в красных носках:

— Оба мы свободные, вольные, ни к чему не привязанные. Давай возьмем нашу машину и будем носиться по дорогам.

А потом Алики и Эдики исчезли — кончили школу, и одни, по слухам, поступили в институты, другие стали работать, третьи служили в армии. А в доме у нас стали появляться какие-то подержанные личности, которые много ели, много курили и еще больше болтали. Помню, однажды в комнату вкатился маленький лысеющий крепыш, огляделся, засмеялся и сказал Инге:

— В салончик играете, мадонна?

И это действительно было время, когда она тащила в дом без разбора всех, кто мог пошло поболтать или амикошонски посплетничать об искусстве.

— Видели вы,— распинался со страстным придыханием немолодой уже человек в голубом костюме,— видели вы, как в неверном свете утра пепельницу переполняют окурки сигарет, кроваво перепачканные губной помадой?

— Ах, как много у нас литературы от литературы, особенно в стихах,— ломалась очень миленькая девица с накрашенным ротиком.

А в углу кто-то волосатый, в перхоти, орал так, что тоненько звенела хрустальная ваза на серванте:

— Фе! Ну что вы щекочете меня бородой Льва Толстого! Лев Толстой часто дразнил окружающих своими высказываниями, как Афанасий Иванович Пульхерию Ивановну: «Возьму ружье, саблю, казацкую пику и пойду воевать с турками...»

— Прозу-то нынче, братцы, стали из фанеры выпиливать: и плоско, и сухо, и дешево,— прожевывая сардинку, изрекал некто с круглым животиком, отличавшийся умением сказать что-нибудь такое, что превращало весь предыдущий спор в галиматью.

Удавалось это ему потому, что споры эти были кипятком, который ничего не варил. Спорили люди, ничего сами не сделавшие в искусстве, спорили, не слушая друг друга, спорили, не отстаивая какие-то свои, продуманные убеждения и не отвергая или признавая какие-то идеологии и программы, а просто вывертывали напоказ багажники своих вкусов, эрудиций и мыслей.

Только однажды появился у нас писатель с известным именем и несомненным талантом, но никто не обратил на него внимания, потому что он не спорил. Признаться, до сих пор при слове «писатель» в моем воображении прежде всего возникали власы и бороды литературных корифеев девятнадцатого века, а уж потом смутно рисовался облик нынешнего, живого писателя — эдакого импозантного мужчины средних лет в отличном костюме, роскошных сандалетах и с лицом, одухотворенным мощным презрением к мелочам повседневной жизни. Этот же был молод, одет в магазине готового платья и без всяких признаков мощного презрения. Вместо этого в глазах у него было выражение какой-то усталой грусти, и все лицо, уже немного обрюзгшее, казалось исполненным чрезвычайной привлекательности.

Он стоял у окна, под открытой форточкой, где воздух был свежей. И вдруг оттуда, из мартовской сини, из золота первоначальной весны донесся ликующий петушиный крик. Это было так неожиданно здесь, почти в центре Москвы, что писатель вздрогнул и растерянно оглянулся по сторонам. Никто, кроме него и меня, не обратил внимания на этот крик, и, встретившись взглядами, мы понимающе улыбнулись друг другу.

— Весна,— сказал я.

— Март,— сказал писатель.

— Зашли с целью изучения нравов? — спросил я, кивнув на жующую и орущую банду.

— Нет,— конфузливо сказал он.— Я люблю Ингу Ивановну.

— Как же это с вами случилось, голубчик мой?!

— Да как... Шел я в серый зимний денек по Арбату, скреб асфальт микропорами и думал: «Хоть бы с бабенкой какой-нибудь познакомиться, угостить ее в «Праге», на такси покатать... Завиться на Ленинские горы — эх! Захватит дух от гордой высоты». Подумал, а она и тут как тут. Смотрит на меня из-за витрины кондитерского магазина, одну бровь приподняла, задумчиво пирожное из бумажки кушает. Я тоже стал смотреть. Пугаюсь и глазищ ее черных, с синим пламенем, и зубок остреньких, и носика ее эдакого независимого, а оторваться не могу. «Пропал»,— думаю. И с отчаяния, словно головой в омут, брякнул: «Отличная погода сегодня, не правда ли?» Она и вторую бровь приподняла. Я сообразил, что через стекло меня все равно не слышно, и, значит, весь заряд пропал даром. Хотел уже дать тягу, но она своими глазищами приказала: «Стой!» Я и прилип. Вышла из магазина, дохнула на меня головокружительными духами. «Ну, что?» — спрашивает. «Да вот погода,— говорю,— отличная».— «Ну, это не бог весть как интересно».— «Так-то оно так,— соглашаюсь.— Да и погода, по правде сказать, дрянь, а вот если пройтись нам с вами по улице, это будет действительно хорошо».— «Что ж,— говорит,— пройдемся».

Я понимал, что это была шутливая полуправда, которая забавляла нас обоих, но видел и то, как приятно было ему говорить об Инге, смотреть на нее, терпеть со сладким мученичеством любящего человека ее капризы и с улыбкой снисходить с вершин своей житейской мудрости к ее ребяческим затеям.

«Пройдет»,— думал я тогда.

Но летом он появился у нас на даче уже в качестве жениха. Звали его Владимиром Андреевичем.

Однажды утром я шел по дорожке к машине и увидел, как наш садовник окашивал у забора траву тупой косой, которая только мяла и драла, оставляя неровную кошевину. Тут же с полотенцем через плечо стоял Владимир Андреевич.

— Эх, дядя,— сказал он.— Бороду бы тебе так ободрать.

Садовник — крепкий мужчина неопределенных лет,

всегда обросший бородой не бородой, щетиной не щетиной, а так, какой-то игольчатой порослью тоже неопределенного цвета,— очевидно, обиделся и проворчал в ответ:

— Все вы тут чересчур ученые. А ежели самих заставить сделать, то не сможете.

— Ну, это ты брось! — усмехнулся Владимир Андреевич.

Он попросил найти молоток и брусок, отбил, наточил косу и, сняв майку, сноровисто прошелся косой вдоль забора.

Я всю жизнь мечтал учиться простым вещам — садоводству, разведению пчел, столярному делу, вождению машины, но у меня не хватало времени. У толстовского Ивана Ильича всю жизнь не хватало пятисот рублей и одной комнаты, а у меня времени, и поэтому я страшно завидую всем, кто умеет вот так сноровисто и ловко делать что-то.

— А что вы еще можете? — пристал я к Владимиру Андреевичу.

— Да всю деревенскую работу,— засмеялся он.— И жнец, и кузнец, и в дуду игрец.

— А хлеб можете замесить?

— Могу.

— Ну, это я тоже могу,— похвастался я.

А вечером, проходя через столовую, не удержался, чтобы не похвастаться еще, и спросил:

— А доить вы умеете?

— Всякое приходилось делать в хозяйстве,— ответил Владимир Андреевич.

— Доить я тоже умею,— сказал я.— У мамы была очень хорошая корова, ласковая и умная. Когда мама болела, а болела она очень часто, я сам доил эту корову.

— Бож-же мой! — прошипела мне вслед жена, и я представляю, как она подняла при этом свои выщипанные брови.

Гуляя как-то перед сном, я встретил Владимира Андреевича в лесу. Наш дачный участок огромен. На нем размещаются теннисный корт, яблоневый сад, огород, цветник и еще остается много места под дикий лес, где растут грибы и прыгают по деревьям белки. Воздух был сух и тепел: душистый табак в клумбах раскрыл свои белые звезды, и сладкий запах его смешался с запахом скошенной утром травы.

Владимир Андреевич смотрел на освещенные окна дачи. За окном слышался смех Инги. Я знал — он вышел, чтобы не мешать хозяевам приготовиться ко сну, потому

что все еще считал себя здесь гостем, и теперь ждал, когда выйдет Инга и позовет его спать. Она появится на высоком крыльце дачи, оглянется по сторонам, сбежит по ступеням и, отыскивая его среди этих серебряных в сумерках берез, пойдет, повторяя настойчиво и чуть капризно: «Скиф! Скиф! Где ты?» И он, я знаю, ждал этого момента, потому что, когда она в легком халатике сбегала с крыльца и бесшумно скользила по лесу, то была как прекрасный молодой зверь, проворный и гибкий, каждым движением которого можно без устали любоваться. Возможно, тогда в нем и просыпалось что-то скифское, но ей-то, видите ли, кажется, что он похож на скифа потому, что любит лес, поле и горячий ржаной хлеб с постным маслом.

Мне захотелось заговорить с Владимиром Андреевичем. Ему, видно, надоело смотреть на окна, и он ходил от березы к березе, прикладывая к их стволам ладонь.

«Зачем это он?» — подумал я и, тоже потрогав гладкий ствол березы, ощутил его глубокую влажную теплоту, которая была под стать теплоте живого тела.

— Придете домой и запишете в книжечку, что стволы берез, нагретые за день солнцем, были теплы всю ночь,— сказал я.

— Запишу,— засмеялся Владимир Андреевич.

— Вот вы давеча сказали, что вам многое приходилось делать в хозяйстве. Вы, стало быть, из деревни? — спросил я.

— Да. Есть за лесами, за долами такая деревенька. Девять изб смотрят на белую, в кирпичных ссадинах ограду. За оградой — кладбище: вековая тень под вязами, трава по пояс, желтые цветы чистотела, пчелиный гуд. Там и сейчас живет моя мать. А отца у меня нет. Но я его помню. И даже не его самого, а какое-то очень яркое впечатление, оставленное им во мне на всю жизнь. Может быть, я потом дорисовал всю обстановку этого дня, но мне кажется, что когда-то так было на самом деле: дорога в сухой и спелой ржи, телега, зной и груда пухлых облаков на горизонте. И почему-то все это — отец. Мне было семь лет, когда он ушел на фронт. Ну, а мать — такая, знаете, женщина в платке, с вдовьими губами, добрая и строгая. У нас почти в каждой избе есть вдова. И это я уже отчетливо помню, как выбегала какая-нибудь бабенка из избы и с воем брякалась оземь. Так и моя мать выбежала однажды... По какому-то обычаю у нас считается, что горе не надо прятать от людей. В этом иногда бывает что-то

показное: повою, дескать, чтобы люди не осудили, но в сути такого обычая лежит, мне кажется, известная пословица: на людях и смерть красна.

Владимир Андреевич замолчал, но мне, давно уже не говорившему ни о чем, кроме своих научных дел, хотелось слушать его еще и еще, и я спросил:

— Позвольте, Владимир Андреевич, задать вам вопрос, который, наверно, всегда задают писателям. О чем вы сейчас пишете?

— Не знаю даже, как вам сказать,— замялся он.— Есть у Чехова замечательные слова: «Все мы народ, и то лучшее, что мы делаем, есть дело народное». Этим он, конечно, не хотел сопричислить человека к народу за одно лишь появление на свет. Мне кажется, он напоминал: никогда не забывай, что ты — народ, живи в нем органично, как атом кислорода в атмосфере земли, а не посторонняя пылинка, случайно взметенная ветром, и, ради бога, не будь мещанином, не марай чистый лик народа собой, как болячкой, постыдись! Недаром же только лучшее почитал он делом народным... Вот я и пишу сейчас о том, как человек приходит к сознанию своей множественности, своей общности с народом, приходит через лучшие дела своей жизни.

— Милый,— сказал я ему,— зачем вы женитесь на моей дочери? Зачем? Я русский. Мой папа, немецкий колбасник Фердинанд Тролль, обрусел в русских пивных, женился на русской бабе из Рязани, и во мне уже не осталось ничего немецкого, кроме фамилии. А эти две — они и не русские, и не немецкие, и не французские, и не индийские. Они выросли не на земле, а на асфальте. Спросите их — что для них родина. Они не сумеют вам ответить. Иногда за словом стоит только образ: например, «кирпич» — и представляешь себе оранжевый кусок глины. Но есть слова, за которыми таится чувство: «мать», «жена», «ребенок». Лицо их видишь уже после того, как чувство тронуло вас. Таково же слово «родина». Если за ним не следует движение души, то есть чувство, то и родины нет, а только местность. Вот и у них только местность. И ваша литература, и моя наука имеют для них значение лишь постольку, поскольку могут обеспечить их жизненный комфорт. Ведь эти две бабы твердо убеждены, что всю жизнь я вдыхал в лабораториях яды только для того, чтобы они шикарно одевались, катались на машинах и уезжали отдыхать от Рижского взморья в Крым. Они убеждены, что и вы будете изнурять бессонными ночами ваш

мозг исключительно для того же самого... Володенька, милый, не женитесь на ней!

— Что ж поделаешь, если я люблю ее,— беспомощно пробормотал Владимир Андреевич.

Мы долго говорили еще и про народ, и про родину, и я все колесил вокруг да около, не решаясь сказать Владимиру Андреевичу, что моя дочь вовсе и не любит его, как ему, может быть, кажется, что любит она того, в красных носках, что до сих пор звонит ему по телефону, встречается с ним в Москве и потом шепчется об этом со своей матерью. Наверно, надо было так и сказать Владимиру Андреевичу, но сознание того, что передавать случайно подслушанный разговор подло, удерживало меня, и я не сказал.

И вот теперь, сидя в шезлонге, я смотрю, как Инга и Владимир Андреевич играют в теннис. Оба молодые, стройные, ловкие, они бегают по площадке, и, глядя на них, я думаю, какая была бы это замечательная пара, если бы... Ах, если бы!

— Володенька,— говорю я, когда, разгоряченный и улыбающийся, он подходит ко мне,— я скоро умру. Если у вас будут дети, не отдавайте их под начало этих баб.

Он вертит в руках ракетку, и улыбка его становится смущенной, беспомощной, а у меня появляются на глазах слезы.

1961

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

В прошлом году было грибное лето. И до поздней осени в березовом лесу с можжевеловым подлеском держались крутолобые белые грибы, сухие и холодные на ощупь.

Лес уже сквозил.

Под чистым и словно отвердевшим небом летела паутина.

Поляны, усыпанные березовым листом, были полны солнца.

Я ходил, расшвыривая листья палкой, искал грибы, а к вечеру вернулся на разъезд, сел под откосом, на угреве, и стал ждать поезда.

Ко мне подошел старик в обвислых портках, заглянул в корзину.

— Хороший грыб,— сказал он.— Ровный грыб. Крепкий грыб. Где брал? Стой! Не говори. Знаю. Я по области первый грыбовар был. Несут ко мне, бывало, грыб, а я уже знаю: этот в Пропькиных борах взят, этот — на Машкином верху, этот — у Долгой лужи, этот — за Лыковой гривой. Все вижу — не криво насажен.

— До чего же некоторые старики трепаться любят,— сказал сидевший повыше меня парень в маленькой кепочке.

Он, видимо, ехал к вечерней смене на завод, о чем можно было догадаться по чрезвычайной замасленности этой рабочей кепочки.

— Стой! — вспыхнул старик.— Объясни, какая такая трепотня? Ты меня знаешь? Я — Лукич. Ага! Съел? Бывало, грыб еще не тронется, а председатель кооперации Иван Потапыч полковник Набойко уже у меня в горнице. Бух из галифе на стол литр: «Будешь, Лукич, в этом сезоне варить?» Я ему: «Стой!» Выпиваем литр. Иван Потапыч делает своему шоферу Ванюшке глазом вот эдак, и Ванюша бух на стол еще литр.

— И до чего же их много развелось, стариков этих, которые трепаться любят! — опять сказал парень.— Их, я считаю, надо собирать в одно место, кормить, поить, газетами снабжать, но к нормальным занятым людям не подпускать ни под каким видом.

— А ты старостью его не попрекай. Ты, может, к ней, к старости-то, еще чудней придешь,— перебила парня большая краснолицая женщина с бидонами и корзинами, завязанными тряпицами.

— Врет уж больно,— вяло отозвался парень.— Я да я... Не уважаю.

— Вру?! — изумился старик.— Я ж Лукич! Теперешний председатель кооперации рукава закатает, грудь распахнет, сапоги наденет и ну горланить. А грыба в магазинах — нет. Грыб, он сапог не боится. А Иван Потапыч полковник Набойко...

— Ну, уж так и полковник? — усмехнулся парень.

— Полковник в отставке и при двенадцати орденах,— не сплоховал старик.— Он, значит, хоть рукавов не закатывал, а план по грыбам у него всегда в круглых процентах был. Потому что полковник Набойко понимал Лукича. Выпьем мы с ним второй литр. «Будешь,— спрашивает,— в этом сезоне варить?» Я только на старуху

свою гляну: как, мол? А она у меня махонькая, сухонькая, как веничек, винцо тоже попивает. Но силы семижильной — первеющая моя помощница. Она мне знак дает: соглашайся, дескать, чего уж там, выдюжим. По триста процентов выламывали мы с ней. Вот как!

— Нет, ну совершенно не могу я этого старика слушать,— сказал парень и пересел повыше, на самый гребень откоса.

— Слушай — не слушай, а уж таковские мы,— ухмыльнулся старик.— Не криво насажены.

На разъезд пришел гармонист, а за ним — девушки в нарядных платьях, коротких носочках и туфлях на толстых каблуках. Ни на кого не обращая внимания, они встали в кружок и ударили «елецкого». Потоптались немного, попели визгливыми голосами, а потом вдруг гармонист вывел странную и неизвестную песню о том, как «на шикарном на третьем троллейбусе кондукторша Маша была», как полюбила она молодого инженера в очках, а он все время только и читал книгу и «в жизни билета не брал». Слова были самые примитивные, но грустная, исполненная доброго сострадания к несчастной Маше мелодия необыкновенно соответствовала настроению этого осеннего дня, и казалось, что, слушая ее, лесу хорошо ронять свои блеклые листья, солнцу хорошо греть последним теплом своим землю, и небу хорошо сиять непорочной чистотой своей в недосягаемой выси.

— Все они, мужчины, такие,— вздохнула женщина с бидонами и корзинами.— Им бы только свой интерес соблюсти. То он книжку читает, то он рыбу удит. Я ему говорю: «Хоть бы речка пересохла, что ли». А он говорит: «В кадку воды налью и буду удить».

— А что ж ему? Круглый день возле тебя сидеть? — фыркнул сверху парень.— Это он, пожалуй, соскучится.

Женщина неторопливо развернула к нему свой мощный торс: мужской пиджак на ее плечах угрожающе натянулся.

— Откуда ж ты такой тут взялся? — с удивлением спросила она.

— Я-то? Недальний,— усмехнулся парень.

— Трудно, я гляжу, тебе жить.

— Это почему же?

— С людьми не умеешь ладить. Ты, дедушко,— обратилась она к старику,— не давай внимания его словам, рассказывай дальше. Не варишь теперь грибы-то?

— Не нужен, видно, грыб стал,— вздохнул старик.— Забогатели.

— Ну, а где же твой грибной полковник? — спросил парень.— Наверно, завалил план с таким войском, как ты, и поперли его по собственному желанию.

— Пустые слова,— сказал старик.— Стой, я сейчас объясню. Он был одинокий человек, войной обитый, все одно что тополь грозой.

— Ох-хо-хо,— вздохнула женщина,— жизнь наша...

— Стой! В эти места он с тоски пришел. Посмотрел, что родной дом порушен, жены, детишков следа нет, пошел по земле один как перст. «У вас,— говорит,— места древние, леса, реки дивные, люди приветливые. Мне понравилось, я и осел». Ну, осел, живет и, между прочим, как человек еще не старый, интересуется обзавестись новым семейством. Первый раз это дело у него не задалось. Попалась ему девка молодая, неудобная...

— Это как же — неудобная? — спросил парень.

— А так и неудобная. Накатит на нее: ходит неприбранная, нечесаная, сядет, молчит, ногой качает, ничего, кроме халвы, не ест.

— Ох, страсти! — ахнула женщина.

— Года не прожили — разошлись. После этого он долго бобылил. Обожжешься на молоке, на воду дуть будешь. Однако ежели человек хороший, счастье его в свой срок достанет. Тут уж как ни крути, а ежели человек хороший, то непременно либо он по билету выиграет, либо сын его, глядишь, на врача выучился и в шляпе ходит, либо дочь в Москве живет, и он к ней каждый месяц в гости катает.

— До чего же все-таки ты, старик, канительный,— вздохнул парень.— И рассказать-то толком не можешь, все тебя куда-то в сторону заносит.

— Ничего подобного, по самой середке гребу,— невозмутимо отозвался старик.— Жила в нашем селе,— ткнул он рукой в сторону длинного ряда крыш за откосом,—учительница Анна Афанасьевна. Собой невидненькая и уже седенькая на височках, а такая веселая да хохотливая. Бывало, в тугие-то годы после войны заваривает морковный чай и все: «Ха-ха-ха, вот ведь, Лукич, и чай-то у меня морковный и сахару-то нет, совсем угостить тебя нечем». И опять: «Ха-ха-ха».А между прочим, взяла из детского дома сиротку и пестовала ее, как родное дитя. Когда у нас Иван Потапыч полковник Набойко появился, эта самая сиротка уже девушкой была и в

городе в медицинском училище училась. Черпявая, румяная — прямо яблочко анисовое, до чего хорошая девушка. Приезжала по воскресеньям домой. Идет вот так же осенью Иван Потапыч нашими задами, вышагивает, как журавль,— высокий был, голенастый,— а она навстречу ему. И несет целый нук всяких листиков. «Зачем несешь?» А та отвечает: «Для гербария...» Знаешь ты такое слово, перец? — неожиданно спросил старик парня.

— Ну, ты не больно,— смутился тот.— Рассказывай знай.

— Стой, расскажу. «А кто тебя этому учил?» — спрашивает Иван Потапыч. «А мы,— говорит,— этим с папой еще на Украине занимались, когда я маленькая была».— «А где твой папа?» — «Не знаю».— «А как тебя звать?» — «Катей».— «А маму?» — «Ту маму Верой звали, а эту Анной». Тут полковник Набойко даже на коленки перед ней встал: «Прости,— говорит,— что поверил я, будто ты погибла, Катюша, и не искал тебя. Ведь ты моя дочка...»

— Ахти,— прошептала женщина и вытерла пальцами глаза.

— Стой! — сказал старик.— После этого Иван Потапыч и учительница порешили, что дочку им не делить, поженились и поехали в Сибирь.

— Зачем же в Сибирь-то? Нешто тут счастью тесно? — спросила женщина.

— А туда Катюшу после учебы послали. Вот снялись они и поехали на новом месте огород городить.

— И все врет,— заключил парень.— Ну разве так бывает в жизни, чтобы люди друг друга так просто на задах нашли? Нет, не могу я этого старика слушать.

И он подвинулся еще дальше, за гребень откоса.

— Ничего удивительного,— возразила женщина.— Человек войной корежен, всякими бедами трачен, он должен свое счастье найти. Кому же еще, как не ему, найти свое счастье?

— А то как же! — уверенно сказал старик.

Вдали зашумел по лесам поезд. Он набежал на разъезд в железном грохоте, в шипенье пара, в мелькающем блеске стекол, отразивших низкое солнце. Пока девушки суматошно залезали на высокие подножки вагона, гармонист все наигрывал вполголоса «елецкого», дожидаясь, когда поезд тронется, чтобы лихо вскочить на ходу. Угнездилась в тамбуре и женщина со своими бидонами и корзинами. Парень, посасывая окурочек, занял плечами

всю дверь. Один только старик, оказалось, никуда не ехал. Он еще раз заглянул в мою корзинку и сказал:

— Хороший грыб, ровный, крепкий...

Паровоз загудел, и мы поехали.

1961

ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА

Знаете ли вы эти дни апреля, когда в скрытых от солнца уголках еще лежит снег, еще пахнет им тревожно и шально воздух, а на припеках уже зеленеет трава и, хилый, сморщенный, вдруг сверкнет в глаза, как золотой самородок, первый одуванчик? В такие дни впервые отворяют окна, сметая с подоконников дохлых мух; в такие дни, блаженно улыбаясь, часами сидят у ворот на лавочках; в такие дни кажется, что счастье — это просто солнце, просто воздух, просто жизнь сама по себе.

О, как мы ждали этих дней! У каждого городского человека случаются минуты, когда его начинают раздражать автобусы, афиши, прокуренные коридоры учреждений, и ему хоть ненадолго хочется сменить небо над головой. Откроет вечером форточку, хватит полной грудью весеннего воздуха — и кровь загудит в висках, спутаются мысли, захочется черт знает чего: дикой скифской скачки на коне, какой-нибудь драки или хотя бы упругого, нагруженного запахами весны, влажного ветра в лицо. Тогда-то и начинает он, еще задолго до сезона, трепетно перематывать лески, набивать патроны, смолить лодку... И в добрый час! Я твердо верю, что путь к природе — это путь к прекрасному не только вне себя, но и в себе. Кто волновался, вдохнув буйный запах черемухи, видел, как раскрывается на рассвете точеный цветок лилии в тихой заводи реки, грустил, провожая взглядом осенний караван журавлей, проходил, как по сказке, по зимнему ельнику — тот и в себе неизменно открыл что-то прекрасное.

Весна на этот раз выдалась недружная, с тяжелыми восточными ветрами, с почерневшими заборами, с тревожным криком вымокших грачей.

Мы пришли в деревню под мелким дождем, который к вечеру постепенно переходил в снег, развесили вдоль

печки мокрые ватники и рано легли в горнице на полу спать.

А утром я проснулся, и первое, что услышал: «Погода перевернулась». Не понял даже сначала, приснилось мне это или наяву было — стоит надо мной старичок, лучится из короткой седой бороды улыбкой и говорит:

— Везучие вы, охотнички. Погода перевернулась.

Светло было в горнице, солнечно и ярко. Старичок оказался нашим хозяином. Он уже сходил куда-то и теперь весь румянился от свежего утренника, который еще сверкал за окном тонким инеем на крышах изб, на скате бревен посреди улицы, на перепончатом льду мелких лужиц. Празднично кричали по деревне петухи. Мы одевались и завтракали быстро, словно боялись опоздать куда-то, но когда вышли на крыльцо, то долго не двигались с места, подставляя солнцу ладони и лицо, соскучившиеся по его теплу. Воздух был сух и колко холоден, но солнце, уже набравшее силу, грело напористо, стойко, и это утреннее борение тепла и мороза обещало ясный, бодрый день.

— Куда пойдем? — спросил мой товарищ.

— Все равно,— ответил я.

Мы пошли по обсохшей обочине дороги за изволок, где отчетливо постукивал трактор; там собралось много народу посмотреть, не вязнет ли он в оттаявшей зыби, и все были возбуждены, веселы, потому что трактор легко бегал по полю, а солнце так и валило на землю потоки тепла. Мы поддались общему настроению, хохотали, поталкивали плечами визжавших девчат, солидно судили с колхозниками о севе и без обиды принимали извечные шутки по адресу горемык-охотников.

Трактор вдруг умолк. И тогда же стало слышно, как над полем льется первый жаворонок, чистый колокольчик весенних небес.

— Жаворонок — к теплу, зяблик — к стуже,— умиротворенно вздохнул кто-то, и все долго вслушивались в трепетный звон сверху, пока опять не захлопал трактор, пустив над пашней голубоватый дымок.

Мы ушли очень далеко в тот день по лесистым, не захваченным полой водой буграм, приглядывая места для завтрашней тяги.

— Помнишь,— сказал мой товарищ, когда мы лежали, отдыхая, на солнечной стороне бугра, плотно устланной палым дубовым листом,— помнишь, как давным-давно, еще до войны, мы пришли с одним ружьем в весенний

лес, увязли в мокром снегу, а потом вот так же сидели на бугре против солнца, сушили сапоги и ели черный хлеб с луком?

— Да,— ответил я.— А ты помнишь упавший вяз, который еще несколько лет сопротивлялся смерти и каждую весну выбрасывал мелкие розовые листочки? Он лег на землю своей развилкой, и нам было так удобно сидеть на ней друг против друга! Помнишь?!

— Никак все-таки не пойму,— задумчиво сказал он,— долга наша жизнь или трагически коротка... Минула едва лишь половина ее, а сколько помнится и сколько забыто! Впрочем, нет! Я ничего не забыл. От первого проблеска сознания до нынешнего дня все отложилось в памяти золотоносным пластом, и мне дорога в нем каждая песчинка. Ясно помню себя мальчиком. Лежу в шалаше из старых половиков; душно, жарко, таинственно полутемно. Играю с ящерицей, которую поймал утром под камнем. И вдруг уснул. А проснулся — и навзрыд плакал, потому что во сне нечаянно придавил маленькую серую ящерицу. Потом хоронил ее под тем же камнем за сараями, и было как-то торжественно и щемяще-грустно на душе... Помню юношество свое, осененное, как тенью, неудачной любовью. И когда девушка, которую я любил, уехала и я понял, что это конец, то целый день, сцепив зубы, шатался за городом по бурьянным пустырям, сидел на обрывистом берегу реки и всем своим раненым сердцем как-то особенно чувствовал невыразимую красоту мягко мглеющей дали с синей полосой леса на горизонте, с серебристыми вспышками низкого солнца на крыльях пролетающих чаек... Потом наступила осень, зима. Я начал жизнь, которой был очень доволен. Светло, холодно и чисто было в моей комнате. Знаешь, как чисто может быть в комнате, где не курят, не едят, где не залеживается под кроватью грязное белье и где круглые сутки открыта большая форточка. По утрам я просыпался с чувством необыкновенной свежести. Собирался неторопливо, обстоятельно, и каждое движение — брился ли я, надевал ли чистую рубашку, завязывал ли галстук — доставляло мне удовольствие. Затем мягкий лязг автоматического замка, пружинистые шаги по лестнице, не касаясь рукой перил, первый глубокий глоток утреннего воздуха — все это было тоже прекрасно и с удовольствием отмечалось сознанием. На работе за день я совершенно не уставал. Вернувшись в свою комнату, долго, прежде чем взять с полки книгу, рассматривал и

поглаживал разноцветные корешки, наконец брал что-нибудь самое любимое — Чехова, Мопассана, Оскара Уайльда — и садился под зеленоватый свет лампы... Но однажды случилась у меня бессонная ночь. Я вышел из дому, походил по хрустящему мартовскому насту и, чтобы скоротать время, стал отыскивать в небе знакомые созвездия и звезды. Нашел Орион, Кассиопею и звезду Альтаир в созвездии Орла. «Альтаир... Альтаир...» — повторял я мысленно, а потом вслух. И вдруг такая тоска по любви охватила меня, что я тут же проклял свою упорядоченную, замороженную жизнь, свою чистую комнату, свои гимнастические гантели, и завертело меня с той ночи, как щепку в половодье...

Товарищ мой быстро поднялся на ноги и, чуть отвернувшись от меня, смотрел на широкий пойменный лес, до густой синевы взъерошенный ветром.

— Невеселые как будто истории я рассказал тебе,— снова заговорил товарищ.— Ящерица умерла, девушка разлюбила, а прекрасное имя Альтаир одним своим звуком нагоняет печаль... Но все равно это счастье! Понимаешь ты меня? Я говорю, великое счастье — жить на Земле, многострадальной голубой планете...

Мы долго еще блуждали в тот день по частым березнякам, по полям, по дубовым и ольховым гривам поймы. К вечеру стало свежеть. И когда мы вышли из лесов к деревне, дыхание клубилось у рта тонким паром. Странен и как-то неземно желт был воздух над деревней и над широким выгоном перед ней в лучах низкого солнца. Лошади, что паслись за деревней на бледной прошлогодней траве, перестали щипать, вытянули шеи и смотрели все в одну сторону — на узкую, как крыло, лиловую тучу. Наши длинные тени пугали их. Это были тяжелые, рабочие кони. Они увесистой рысью побежали прочь, но вдруг разом остановились и стали нервно слушать холодную тишину вечера.

— Еще один день,— сказал мой товарищ.— Еще один незабываемый день.

Мы шли медленно, и, когда поднялись на крыльцо, уже стемнело. Но высокое прозрачное и почти беззвездное небо продолжало чуть светиться изнутри, и полая вода далеко внизу, в пойме, поблескивала тем же бледным светом.

1961

ОБРОК

Кузнец умер внезапно. И всех сначала поразила не сама смерть, а ее несовместимость с кузнецом. Был он в свои сорок лет на загляденье хорош собой: серебрилась в крупных кудрях паутина, по углам рта лежали матерые складки, широкие ноздри всегда чуть подрагивали, а в глазах горели такие угли, что даже у многих молодых девчонок становилось горячо под сердцем от их взгляда. Играючи махал он из печи под молот пудовые коленчатые валы, и казалось, износа ему не будет. На заводе про его силу рассказывали такой случай. Вышел он как-то из цеха и увидел, что по заводской ветке мчится вагонная ось с двумя колесами. Кузнец сорвал с пожарного щита лом, загнал его в песок под шпалу, а другой конец принял на свое плечо. Лом согнуло осью, точно ивовый прут, а кузнец выпрямил его о коленку и опять повесил на щит, на место... Вековая держалась сила: дед его был кузнец, и отец его был кузнец, и сам он был кузнец, и фамилия им всем была Кузнецовы.

И вот умчали кузнеца санитары в фуражках с кокардами — только пыль завилась за машиной.

А начался этот воскресный день с того, что грузовик привез дрова. Шофер грохнул кулаком в раму, закричал: «Эй, хозяин! Покажи, где сваливать!» — и стал ждать, насвистывая что-то веселое.

Пока кузнец путался спросонок в штанах, дочь его Маша набросила халатик, вышла босиком на крыльцо.

— Ух! — сказал шофер. (Озорник был ужасный.) — Ух! На вас глядеть, как на солнце,— глазам больно.

В это время вышел и кузнец.

— На солнце могут глядеть только орлы,— сказала Маша.

И пошла через двор к сараю — тоненькая, легкая, длинноногая.

Шофер сдвинул на лоб засаленный берет, сел в кабину и, подгоняя задним ходом грузовик к сараю, подмигнул кузнецу:

— Значит, во всех смыслах задний ход, дядя?

— А ты думал! — самодовольно сказал кузнец.

Дрова с гулким раскатом осыпались с самосвала; вино запахло кислым березовым соком, на торцы, к сладкому, сразу налипли большие синие мухи.

— Целая роща под топор пошла,— покачал головой кузнец.

Шофер опять созорничал:

— А это, дядя, чтобы мораль соблюсти.

— Как так?

— Чтобы, значит, молодежь по рощам не норилась.

— Ну, понес! — рассердился кузнец.— У тебя, видно, одно на уме, оболтус.

Когда он уехал, кузнец закрыл ворота, походил по вытоптанному пыльному дворику. Жил он на новой улице из маленьких коттеджей, которые здесь называли финскими домиками. Улица была окраинная. За канавкой, за пересыхающим ручьем и бревенчатым мосточком, уже начинались колхозные поля, по косогору блестели рамы парников, а дальше, на самом перевале, щеткой торчал мелкий ельник, и было здесь по-деревенски тихо, привольно, ясно небо, хотя и головато, как всегда на новом месте после стройки.

— Деревья надо сажать,— сказал кузнец.— Обязательно, чтобы яблони, вишенье, терн...

Маша в это время ломала у забора полынный веник.

— Буди Василия,— сказал ей кузнец.

— Василий, папа, на рыбалку ушел,— ответила Маша.

— А, дьявол его задави! Ведь было говорено намедни, что дрова привезут.— Кузнец пнул ногой откатившийся кругляк.— Перепилить бы их сразу, убрать — за лето до звона высохнут.

— Ладно, папа,— сказала Маша.— Пусть уж.

Василий догуливал последнее перед армией лето, и ему было все позволено — гуляй напропалую.

— Потатчицы...— проворчал кузнец.

На крыльцо вышла жена с большой корзиной в руках.

— Ну, что развоевался? — ласково спросила она.— Пойдем со мной.

И в то утро, как обычно по воскресеньям, кузнец ходил с женой на рынок.

Было жарко. Утро, по-августовски медленное, долго выстаивалось в сиреневом тумане и казалось пасмурным, волглым, но, когда туман поднялся и растаял, обрушилось на город каленым зноем, сушью, запахами уже подсыхающей листвы тополей и базарной площади.

Пока жена делала покупки, кузнец по обычаю выпил в закусочной кружку пива. Здесь у него нашлось много знакомых, рабочих с завода. Одного — усатенького, юр-

кого, норовившего пролезть к буфетной стойке без очереди — он хлопнул по плечу и спросил:

— Ну, как теперь живешь-можешь, Иван Власыч?

На что тот, хитренько посмеиваясь одними глазами, ответил:

— Нет, я теперь уж не Иван Власыч, а «тыбы». Как вышел на пенсию, только и слышу дома: «Ты бы сходил на базар», «ты бы принес дров», «ты бы вылил помои»...

— А «ты бы выпил кружечку» небось не говорят? — под общий смех всей очереди спросил кузнец.

С базара он нес тяжелую корзину, а жена шла по другую руку и держала его за локоть.

Недалеко от дома им встретилась и надменно поклонилась «каменная красавица» Люська Набойкова — толстая блондинка с белым неподвижным лицом. Она никогда не улыбалась, чтобы уберечь лицо от морщин, и за это на улице ее прозвали «каменной красавицей».

— Ишь ты! — сказала жена кузнецу.— Так и ведешь за ней блудливым глазом.

— Ну, полно, мать!— засмеялся кузнец, обнимая свободной рукой жену за плечи.— Мне бабу нужно, как ты, резвую, чтобы платье на ней шуршало, когда она по квартире бегает.

И, зная, что это говорится не в пустое утешение, а воистину, она, вся такая ладненькая, крепенькая и ловкая, расцвела от его грубоватой ласки.

Дома в ожидании завтрака кузнец возился с младшим сыном, которого звали редким теперь именем Аксен.

— И ты его видел? — спрашивал мальчик.

— Ну конечно! Доктор отхватил его блестящим ножичком и бросил в таз, а потом его закопали в госпитальном дворе, у помойки.

— Бррр...— сказал мальчик.

Он сидел у отца на животе и осторожно держал его большую темную руку с выпуклыми венами и несмываемой грязью в складках кожи. Мальчика давно занимала эта история с рукой, которую сначала ранили на войне, потом долго лечили в госпитале и все-таки отрезали ей палец. Он был вот здесь, на этом самом месте, шевелился, сгибался, сжимался вместе со всеми в кулак, и мальчик, силясь вообразить продолжение маленького гладкого бугорка, все настойчивей донимал кузнеца вопросами.

— А он был такой же, как этот?

— Точно такой же.

— Тебе его жалко?

— Еще бы!

— А почему не вырастет новый? Почему зуб вырастает, палец — нет.

— Ну, уж этого я не знаю, отстань.

Аксютка опять долго рассматривал изуродованную кисть его руки, потом спросил:

— А волоски на нем тоже были?

Они лежали на тощем островке травы у забора, из-под которого лезла седая вонючая полынь, но оба привыкли к ее запаху и даже любили его. В нем жил сухой летний зной, звон кузнечиков, полуденная сонь — и без него лето было бы не летом. В этом запахе для них было даже что-то праздничное, потому что хозяйка дома — жена, мать — каждое воскресенье мела вспрыснутый пол свежим полынным веником, потом вся семья садилась за стол, ела огромную кулебяку с капустой, а кузнец удостаивался к тому же стакана или даже двух водки.

— Ну-ка, Аксеп Федорыч, узнай, как там у матери дела,— сказал кузнец и поднял сына, чтобы снять его с себя, но вдруг охнул, сел и удивленно оглянулся по сторонам.

— Ух, как старую царапину засаднило! — сказал он.

Потом встал и пошел к двери, держась за грудь, но на крыльце остановился, подождал Аксютку, и в кухню они вошли рядом — большой, сутуловатый, с густым серебром в волосах, и маленький, босой, в полинявшей майке, заправленной в синие штанишки.

Кузнец шел и морщился.

— Что-то старую царапину засаднило,— опять сказал он.

В спальне он лег на ковер, на пол, где всегда любил лежать в прохладе и просторе, и уж не сказал ничего, кроме самого обычного, что говорил много раз:

— Окно откройте...

Маша бросилась к окну, толкнула плотно пригнанные створки, и сухой, горячий, пахнущий полем и ельником сквозняк пронесся по комнате, подхватив со столика пачку Аксюткиных конфетных оберток. Желтые, красные, синие, они, кувыркаясь и трепеща, носились в воздухе и падали кузнецу на лицо, а он лежал с открытыми глазами, и веки его не дрогнули...

За день в доме на окраинной улице перебывало много людей. И все, кто видел в это утро кузнеца, теперь с недоумением припоминали и в подробностях пересказывали друг другу каждый его шаг, каждое слово: вот при-

везли дрова, вот был на рынке, вот шутил с Иваном Власычем, вот возился с Аксюткой.

У низенького забора, разинув рот, стояла и грустными коровьими глазами смотрела на пыльный дворик соседка — «каменная красавица» Люська Набойкова.

Иван Власыч, слизывая с усов слезы, сказал:

— Ведь она, наверно, в меня, старпка, подлая, метила, да промахнулась...

А озорник шофер, успевший сменить свой засаленный берет на выходную кепочку, мрачно произнес:

— Все мы на земле, как в гостях.

Было ему на вид лет девятнадцать.

Жена, Маша и Аксютка не говорили — они плакали.

Вечером, вернувшись с рыбалки, узнал о смерти отца Василий. Ударом ладони распахнув дверь, он выбежал из дома и зашагал в поле, подвывая сквозь сцепленные губы.

Темно и тихо было в поле. Ни свет звезд, ни сияние Млечного Пути, как это бывает в августе, не достигали земли; и только в стороне, где пролегала шоссейная дорога, в воздухе шатались столбы света от автомобильных фар.

Под ногами у Василия сухо шуршала ржаная стерня, потом он оступился в глубокую межу, упал, поднялся и снова зашагал, но теперь уже по неровному, комкастому картофельнику, путаясь ногами в ботве.

Очнулся он около леса. Мелкий ельник дохнул на него горячей, устоявшейся за день духотой; жесткая трава, росшая на закрайке, со свистом стегнула по сапогам. Над головой бесшумной тенью — ни вскрика, ни посвиста крыльев — метнулась маленькая совка.

«Зачем я тут? — подумал Василий.— Вот пенек торчит... Вот паутина на лицо налипла... Если воткнуть с приговором в гладкий пенек нож и перекувыркнуться через него — станешь волком, а когда набегаешься, надо перекувыркнуться с обратной стороны. Унесет кто-нибудь нож — так и останешься волком...»

Он сел в траву, припал к теплому пню и заплакал...

И еще. Утром патологоанатом, сделав свое дело, вышел в коридор покурить. Это был высокий, сухой, всегда басовито покашливающий старик, насупленный и молчаливый. В смерти, с которой его профессия сняла мистические покровы, для него не было тайн, и о кузнеце он знал все и теперь, затягиваясь и глядя в окно, думал:

«Война, война... Все еще собирает она среди нас свой гнусный оброк...»

В памяти докучно звучали слова поэта, имени которого он никак не мог вспомнить:

Мы не от старости умрем,
От старых ран умрем...

И когда, поступая против собственных правил, он закуривал вторую папиросу подряд, руки у него слегка дрожали.

1961

18 НОЯБРЯ

Памяти А. Ф.

Теперь она живет в большом сибирском городе, и в Москву ей приходится летать на самолете. Вот уже несколько лет подряд накануне этого дня она в сопровождении мужа появляется в аэропорту, проходит вместе с ним в ресторан, выпивает там одну большую рюмку коньяку, потом вторую, и они молча дожидаются посадки в самолет.

Оба уже не молоды. Он — первая скрипка оркестра — высок, худощав, с аккуратным пробором в серебряных волосах, с серебряными усиками, похож на рекламного мужчину-джентльмена из заграничного журнала мод; и каждый его жест отменно лаконичен, изящен и непринужден. Она же — актриса на партии сопрано,— напротив, кажется очень неряшливой. Из ее прически всегда торчит какая-нибудь некрасивая прямая прядь, вырез платья косит, открывая перекрутившиеся бретели рубашки и лифа; большие кисти рук жиловаты и красны, а сама она уже полна и по-прежнему не ограничивает себя в еде.

Когда объявляется посадка, он платит по счету, подает ей у гардероба пальто и с полупоклоном пропускает вперед возле каждой двери.

У него грустные глаза и грустная улыбка. Он долго следит за тем, как самолет выруливает на стартовую дорожку, набирает высоту и скрывается в облачной дымке.

По летному полю кружит жесткий режущий ветер.

В самолете она спит. Выпитый коньяк помогает ей уснуть, и на остановках — в Свердловске, в Казани — она опять пьет его, потому что во сне лучше переносит полет.

Однажды она просыпается и, отодвинув занавеску, долго смотрит в маленький прямоугольник окна. Там — прозрачно-стылая пустота ночи, сверкающий холод, гладкое, мерцающее в лунном свете крыло самолета. Хочется дико кричать от ощущения этого бесконечного холодного пространства, и она, откинувшись на спинку кресла, плотно закрывает глаза. Но сна уже нет. Мыслит она, как ребенок, дикарь или писатель, образами и, думая теперь о цели своего полета, видит заснеженные московские улицы, снег на деревьях, снег на крышах, снег на воротниках прохожих.

Он любил снег, находя в нем множество оттенков, и говорил, что беден тот, кто видит снег только белым, небо голубым, а траву зеленой. Однажды она ненароком подглядела, как он, присев на корточки, гладил ладонью снег, точно мягкую шкуру большого зверя.

Стояла серенькая зима с медленными снегопадами, с пушистыми шапками на столбах и тумбах, с вороньей и галочьей суетней в старых липах. По утрам долго держались сумерки. В арбатских переулках они были совершенно особенные — спокойные, туманные, подкрашенные блеклой желтизной фонарей и, по его уверениям, отличались от сумерек всех других районов Москвы. Они пахли нетронутым снегом, их не оглашали резкие звуки большого города, в их туманной мгле старомодная дама каждое утро прогуливала любимую собачку, и вид домов с облупившимися фасадами вызывал смутное ощущение прошлого века. Временами начинало казаться, что из-за угла вот-вот вывернется извозчик или быстрой походкой, в башлыке и валенках, пробежит, насупив брови, Лев Толстой.

Поддавшись этой иллюзии, они медленно шли по Малому Власьевскому, по Сивцеву Вражку, по Калошину и выходили на Арбат.

Она привыкла видеть мир его глазами.

— Посмотри на эту ворону,— говорил он.— Ну прямо грач в сером жилете.

— Да, очень здорово! — восхищенно соглашалась она.

Про троллейбус с его свисающими веревками он говорил, что тот похож на Чехова в пенсне.

С ним мир казался шире, увлекательней и беззаботней.

Он был разнообразно, но, пожалуй, как-то дилетантски талантлив: немножко пел, немножко рисовал, немножко писал стихи. И все это легко, непринужденно, безалаберно и щедро. Кем бы он стал?

«Нелепо и, в сущности, страшно, что человек не успел никем стать»,— думает она. Ей хочется уснуть и отделаться от этой мысли, но сна нет, и тогда она берет у стюардессы журнал. В нем рассказывается о пребывании в Москве общественного деятеля Индии, который в этом самолете возвращается теперь из Сибири. Он приходил в антракте за кулисы и целовал ей руки, но теперь не узнает ее. Конечно, без грима она выглядит совсем иначе.

Она всегда считала себя некрасивой и говорила, что нос ее похож на куриную гузку. Он не возражал и несколькими свободными штрихами набрасывал ее портрет-шарж с огромными глазами и носом, похожим на куриную гузку.

Сколько их висит теперь в ее комнате, этих портретов с шутливыми стихотворными подписями!

Стены его комнаты в Гагаринском переулке тоже были сплошь увешаны рисунками на кнопках. Когда открывалась дверь, стены шелестели и двигались.

— В квартире, слишком унавоженной бытом, вырастают фикусы,— повторял он ходячую фразу и не имел ничего, кроме этих рисунков, одного стула и узкой складной койки из бамбука.

Расставшись утром на Арбате, они вновь возвращались в эту комнату — он из медицинского института, она из консерватории. Иногда она оставалась там ночевать, и, прежде чем лечь спать, они шли ужинать в маленькое кафе, где пахло сдобным тестом и молотыми кофейными зернами. Их обслуживала высокая молодая испанка Мария, особенно вежливо улыбавшаяся ему.

— No pasaran! — приветствовал он ее, входя.

И Мария отвечала улыбкой, поднимая маленький смуглый кулачок.

Однажды в полушутку, в полусерьез было брошено несколько слов ревности.

— Ах,— с досадой сказал он.— Просто она уважает меня за то, что я воевал на Карельском перешейке. Хо-

рошо помнит войну у себя в Испании и уважает всех, кто воевал против фашистов.

Она долго всматривалась в его лицо, потом судорожно передернула плечами.

— Подумать только! Ведь тебя могли убить!

— Меня еще сто раз могут убить,— сказал он.

Да, в Москве уже зима. Чистое белое утро встречает самолет в Быкове; пассажиры поднимают воротники и, разминая отвыкшие от земли ноги, нетвердой походкой идут к зданию аэропорта. Снег лежит на его крыше, виснет на ветках молодых тополей; воздух игольчато пахнет морозом.

Чтобы не тратить зря время в Москве, она наскоро завтракает тут же, в буфете аэропорта. Потом электричка увозит ее в Москву. Там по пути с одного вокзала на другой она заходит в цветочный магазин и покупает, не выбирая, то, что есть. Обычно это астры, а на сей раз — несколько мелких, уже сморщившихся гладиолусов.

— Получше заверните в бумагу,— просит она.

Он не любил эти цветы, говоря, что они кажутся ему сделанными из семги. Он даже не знал их названия.

— В цветочном саду я хожу как немой,— говорил он.— Все вижу, а назвать не могу.

Зато он знал каждый цветок, каждую метелку, каждую травинку в лесу и на лугу.

В начале лета, между двумя экзаменами, они приехали в маленький подмосковный городок... Сады, купола церквей, пестрые булыжные мостовые... Жили у его тетки — высокой сухопарой старухи, похожей на Станиславского. Тетка недавно похоронила мужа и говорила только о нем.

— Неудобный он у меня был,— рассказывала она.— Неудобно жил, неудобно и помер. Помри он на десять лет раньше — замуж бы вышла, поживи еще лет десять — пенсию бы получила. Беспутный был старикашка, пьяница.

При доме был сад. Между корявыми яблонями петляла узкая тропинка, к покосившейся стене сарая были прислонены грабельки, лопаты, вилы, колышки; пахло крапивой, вишневой смолой, сырыми, давно не видавшими солнца, уголками.

— Вот я так и жил в детстве,— говорил он.— Летом — кузнечики в траве, зимой — сугробы по крышу.

Он рос без отца. Каждое утро мать, уходя на работу, приводила его в этот дом, к тетке; иногда он ночевал здесь, а утром, полусонный, тащился за «беспутным старикашкой» мимо деревянной каланчи, мимо пыльного забора железнодорожных мастерских, мимо холодных паровозов в станционных тупиках к реке на рыбалку; или шел с теткой на базар, где бойкие китайцы продавали глиняные свистульки и оловянные пугачи; по пути заходили в церковь: там, ускользнув от тетки, он бродил среди молящихся, заглядывал в их сосредоточенные лица, соображая: «Бога боятся»,— и сам мало-помалу начинал побаиваться строгих господних глаз, смотревших с большой иконы прямо на него, в какой бы угол церкви он ни уходил от них; тогда он опускался возле тетки на колени и начинал истово вышептывать: «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...»

— Ах, как хорошо ты рассказываешь,— говорила она.— Я все вижу, чувствую, понимаю.

Захватив учебники, они уходили к реке. Дни были знойны и сухи; пески слюдянисто блестели; над волнистой рябью млел и струился воздух. Велико было искушение уснуть вблизи воды, слушая ее дремотный плеск, и, борясь с этим искушением, они вывешивали на палочке, воткнутой в песок, объявление: «Товарищ, не пройди мимо! Разбуди!»

А вечера стояли густые от тяжелой фиолетовой мглы, поднимавшейся над садом. Остывая, ухала на доме железная крыша.

Однажды в такой вечер она пела ему романс «На холмах Грузии», и он, прислонившись к стволу старой дуплистой китайки, откинув голову, слушал, а потом сказал:

— Если бы к человеческой душе можно было поставить музыкальный эпиграф, то для себя я выбрал бы этот романс... «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою...» Ах, как прекрасно!

Он был задумчив и ласков в тот вечер, не шутил, как обычно, а когда поздно ночью они ложились спать, долго стоял у окна и курил.

— Что с тобой? — спросила она.

— Не знаю,— сказал он.— В мире поселилась какая-то тревога. И когда я вот так открываю окно и вижу темные кусты и лунный свет, смягченный легким туманом, то мне кажется, что все это скоро полетит к черту.

От станции до кладбища километра два пешего пути.

Дорожки в свежем снегу еще не протоптаны, и она идет целиной, часто останавливаясь и отдыхая.

На кладбище — длинные тонкие сосны, кустарниковый подлесок, густой, задичалый.

Цветы она кладет прямо на снег у проржавевшего на гранях обелиска и, спрятав озябшие руки в рукава, не плача, долго стоит над могилой.

Все полетело к черту в то же лето. Его убили не сто, а только один раз — 18 ноября сорок первого года.

С маленькой бригадой артистов она пела в госпиталях. Она и тогда не плакала, но часто где-нибудь в холодном вагоне или таком же холодном номере гостиницы рассказывала подругам о той серенькой зиме и том диком тетушкином саде.

И уж не было в ее жизни иной, кроме той короткой, любви.

Как-то нечаянно и безразлично она вышла, или, по ее собственному, несколько циничному выражению, «сходила на минуточку» замуж. Он был суматошный, капризный, человек, от которого, даже если он ничего не делал и просто лежал на диване, все равно исходил шум. И точно очнувшись от какого-то оцепенения, она вскоре подумала: «Кто он? И зачем он мне?»

Потом она долго жила одна, пока по шаблонному бабьему соображению не подумала об одинокой старости. Тогда она опять вышла замуж, и это был заботливый, спокойный и неверный муж, с которым у нее установились холодно-вежливые и добропорядочные отношения.

Ранние ноябрьские сумерки трогают воздух синеватой мутью. Начинает задувать ветер, срывая с сосновых стволов прозрачную шелуху.

Пора возвращаться.

Поколачивая застывшие ноги одна о другую, она стоит еще несколько минут, потом поправляет совсем сникшие цветы и идет к электричке, стараясь ступать в свои давешние следы.

1961

ГОРЬКАЯ ЯГОДА

1

С севера на юг шел скорый поезд, мотало его на стрелках, проносились мимо захламленные щепным мусором станции, угрюмые леса, пнистые порубки, стучали мосты, и смотрел на все это из окна вагона-ресторана Иван Соломин — человек свободный.

Он заказал яичницу, долго ел ее, собирая со сковороды корочкой, потом позвал официантку и спросил:

— Это что — всегда у вас так?

— Как? — не поняла она.

— Все лес и лес?

— Конечно.

— Ну, дайте тогда стакан водки.

— Сколько?

— Стакан.

— Вам много будет,— непреклонно ответила официантка.

— Ну тогда дайте коньяку.

— Сколько?

— Стакан.

И когда она принесла, он выпил и опять смотрел в окно. Заняться было нечем, путь не близкий — смотри да пей.

Был шестой час ясного летнего утра, когда Соломин покинул вагон в городе К-ве. Ефрон и Брокгауз писали, что этот заштатный городишко имел около трех тысяч душ населения, одну текстильную фабрику, тридцать два питейных заведения и за свою многовековую историю несколько раз принимался гореть. Потом, уже на памяти Соломина, здесь были построены четыре завода, большой химический комбинат, город оброс рабочими поселками и на карте страны стал обозначаться двумя концентрическими окружностями, означавшими, что его население перевалило за пятьдесят тысяч, но еще не достигло ста. Теперь, за те шесть лет, что Соломин не был в городе, здесь опять произошли какие-то, пока еще едва уловимые для него перемены. Вокзал, например, был все тот же, но по бойкой перекличке маневровых паровозов, по скоплению исчерканных мелом товарных вагонов и даже по

продолжительности стоянки дальнего поезда чувствовалось, что темп жизни в городе стал другой.

Соломин кинул за плечо тощий рюкзачок и, стараясь избегать людных улиц, зашагал на Зеленую, к старой бабке своей Варваре.

Ветхий заборчик, подштопанный кусками железа, фанеры, сухими ветками, стеблями полыни, примыкал к дому бабки Варвары, и уже один вид этого заборчика говорил, что здесь одиноко коротает жизнь добрый, хлопотливый человек, воспитавший не слишком благодарных наследников. Соломин бросил окурок, затоптал его и толкнул чертившую по земле калитку.

Бабка вышла из сарая, неся что-то в подоле фартука, и подслеповато щурилась на него, не узнавая.

«Согнулась»,— успел подумать Соломин.

И тут она ахнула, просыпала из подола в траву яички.

— Мешочек-то, голубый ты мой, мешочек-то...

Соломин посмотрел на рюкзак, который держал в руке, и вдруг словно со стороны увидел себя таким, каким стоял сейчас перед бабкой: грубые башмаки с сыромятными ремешками вместо шнурков, короткие, севшие после стирки брюки, слинявшая до белизны рубашка, пиджачишко с помятыми лацканами и в руке этот грязный, в темных сальных пятнах мешочек...

— Пустое, старая,— усмехнулся Соломин.— Ты на рожу мою погляди. Видела когда-нибудь такую гладкую рожу?

Он обнял старуху одной рукой за плечи, поцеловал в голову и повел на крыльцо. Конечно, бабка принялась кормить его, наварила полную тарелку яиц, принесла в решете малины, крынку топленого молока с коричневыми пенками, с желтыми лепешками жира. Соломин только усмехался.

— Не хлопочи, старая. Думаешь, меня там в подвале гноили, на хлебе и воде? Как бы не так! Спал на чистых простынях, трескал вволю, работал на свежем ветерке, вечером в шахматы играл. Раньше я тюрьмы вот как боялся — зубы клацали, а теперь подвернись украсть где-нибудь — глазом не сморгну.

— Ой! — приседала от страха бабка.

— Я посплю,— выпив молока, сказал Соломин.— Брось мне половичишко на траву.

Пока она хлопотала, снимая с кровати тоненький тюфячок, он спросил, разминая сигарету:

— Ну, а про семью что мне скажешь, старая?

— Да что, батюшка,— вздохнула Варвара.— Сам, поди, знаешь.
— Знаю. Александру видела?
— Часто вижу. Гуляют все трое в городском саду. На маленькой Наталочке юбочки краси-и-вые, колокольцем...
— Гуляют. Он-то кто?
— А шут его знает! Плешивый. С тобой рядом поставить — тьфу, взглянуть не на что.
— Эх, старая! — невесело засмеялся Соломин.— Нашла чем утешить! Ну, и на том спасибо, святая душа.
Варвара охапкой потащила тюфяк и подушку, но в дверях остановилась, повернулась к Соломину.
— Пойдешь туда?
— Не утерплю, старая, пойду.
— Совет подам.
— Ну-ка.
— Не ходи босяком-то, не жалоби ее, гляди соколом. Возьми вон костюм, какой от деда остался,— новехонький.
В прохладе, в зеленоватом полусвете под яблонями Соломин уснул мгновенно, но вскоре, как это часто бывало теперь с ним, застонал, заметался и проснулся.
«Саша, Саша, горькая моя ягода!» — подумал он и усмехнулся, вспомнив, что этими словами начинал свои письма к подруге вор-рецидивист Степа Штырь, его напарник на лесоповале.
— Ну, что ж будем делать? — спросил сам себя Соломин.
На улице за забором мальчишка звенел обручем на проволочной каталке; в сарае надрывалась курица; над железной крышей дома уже поплыл зной. Соломин давно не оставался вот так один — только шорохи сада вокруг да невидимая жизнь улицы по ту сторону забора,— и ему стало жутко.
«В самом деле, надо бы приодеться,— подумал он.— Поеду-ка в Москву».
Он достал из кармана смятую открытку, карандаш и написал:
«Саша! Не хочу появляться неожиданно, чтобы не напугать тебя, поэтому пишу. Остановился у бабки Варвары. Приду в понедельник вечером. Будь, пожалуйста, дома, надо объясниться».

2

Из Москвы он вернулся совершенно преображенным — в отличном сером костюме, свежей рубашке, остроносых ботинках — и выглядел эдаким курортным молодцом, загорелым, белозубым, пружинисто-бодрым. Расхаживая по дому, то и дело совался к зеркалу, спрашивал бабку:

— Ну, старая, что скажешь? Каково меня столица экипировала?

— Деньги у тебя знать бешеные,— сокрушалась Варвара.

— Что деньги! — отмахивался Соломин.— Шесть лет тюрьма заботилась о моем будущем и откладывала мне зарплату на книжку. Теперь я при тысячах.

— О? — не верила бабка.

— Правда! Говори, какая у тебя нужда? Может, дом перекрыть? Забор новый поставить?

— Ладно, ладно, не петушись,— урезонивала его Варвара.— Самому пригодятся. Вот женишься, они как раз и пригодятся.

Соломин вдруг сразу потускнел и полез в карман за сигаретами.

«Сорок лет,— подумал он,— а приходится начинать жизнь сначала. Не поздно ли, друг Иван? Все было, теперь нет ничего...»

Этот день, этот понедельник тянулся необыкновенно долго. Соломин пробовал читать, спать, несколько раз принимался есть, а до вечера все еще было далеко. Он лежал в саду на тюфячке и жевал травинку.

Вдруг открылась калитка. Соломин оглянулся, вскочил, и его рука невольно забегала по расстегнутому вороту рубашки. Сухо шурша накрахмаленным колоколом платья, высокая, тонкая, в маленьких туфельках, с мешочком — подобием сумочки,— захлестнутым у запястья длинной руки, по дорожке сада шла молодая женщина. Глаза у нее были синие, со сквозняком, темно-рыжие волосы в продуманном беспорядке, рот большой, плечи покатые, узкие.

— О, сколь прекрасны и удивительны вы, Галина Павловна,— церемонно поклонился Соломин.— «Уезжал, были слепые, а теперь, поди, глядят».

— Не паясничай, Ванечка,— сказала она, улыбаясь, и тут же из глаз у нее покатились крупные слезы.— Варвара говорит, в Москве был?

— Был,— растерянно и смущенно пробормотал Соломин.— Вот за шмутками ездил. Ведь у нас в городе как шьют — если ты простой человек, тебе кладут в пиджак килограмм ваты, а если начальник, то все два.

Она платочком промокнула глаза; от платочка, заглушая все запахи сада, веяло духами. Смотрела она на Соломина счастливо, сострадательно и наконец сказала:

— Другой, совсем другой. А вот я все та же, хочешь ты этого или нет...

Соломин понял.

— Ах, Галка, Галка! — усмехнулся он.— Ничего из этого не выйдет, ничего у нас с тобой не получится.

— И усмешечка новая,— словно не слыша его, сказала Галка.— Такая, знаешь ли, «и в беде, и в радости, и в горе только чуточку прищурь глаза». Мне нравится.

— Хватит! — Соломин сдвинул брови.— Расскажи-ка лучше о себе. Где работаешь? Вид у тебя секретарший.

— По Сеньке и шапка. Я университетов не кончала... Давай уедем отсюда, Ванечка. Оба мы с тобой молодые, красивые, свободные, нам завидовать можно.

— Я, должно быть, старомоден. Мне, чтобы уехать с тобой, полюбить надо.

— Полюбишь. Ведь полюбишь ты когда-нибудь, так почему же не меня?

— Не знаю, Галка,— откровенно признался Соломин.— Наверно, я привык относиться к тебе как к девчонке, которую таскал за ручку в детский сад.

— Дурак! Кретин! — взорвалась вдруг Галка, покраснев и снова обильно заливаясь слезами.— Да я женщина, какая тебе и не снилась. Смотри! Фигура, волосы, глаза... Видел ты когда-нибудь женщину с такими глазами?!

— К черту! — заорал и Соломин.— Не желаю я никаких глаз! К черту! Я сам не знаю, что делать с собой, и не желаю никаких женщин с глазами, понятно?

3

В далеком-далеком прошлом, по ту сторону войны, было у Соломина время, когда всю зиму он по пути в школу провожал до детского сада рыжую соседскую девчонку. Он ненавидел ее. Стоило ему зазеваться, как эта рыжая тварь вырывалась, бежала с громким визгом по улице и кричала:

— Не поймаешь! Не поймаешь!

На них, умягченно улыбаясь, оглядывались прохожие. Они, вероятно, думали, что старший брат резвился с сестричкой, а в нем от конфуза и бессилия клокотало бешенство.

— Задушу...— шипел он, подкрадываясь к ней.

Но она опять отбегала прочь и кричала на всю улицу:

— А вот и не задушишь! А вот и не задушишь!

Потом, когда выздоровела ее долго болевшая мать, Соломин, к своему удивлению, первое время скучал по девчонке и при встрече останавливал ее на улице, спрашивал со снисходительным презрением:

— Ну, каково живешь, гнида?

— Я, Ванечка, в театре на настоящей сцене танцевала, и все мне в ладоши хлопали,— хвасталась девчонка.

Она пошла в первый класс, когда он уже кончил школу, и ему смешно и жалко было видеть, как однажды у ворот она, озябшая, посиневшая, хватала его за рукав и плакала:

— Ванечка, миленький! Не гуляй с Сашкой, от нее собаками пахнет... Она им такие страшные кости на базаре покупает!

Дом Александры и вправду был полон собак. Ее дядя — охотник и собачник — держал и легавых, и гончих, и сторожевых, а от него любовью к собакам заразилась и Александра. Это была заботливая, строгая любовь настоящей охотницы — без сюсюканья, без закармливания лакомыми кусочками, без разнеживающих поблажек,— и Соломин всегда любовался той опытной твердостью, с которой Александра повелевала собакой на охоте. У нее было легкое ружьецо двадцатого калибра, почти не знавшее в ее руках промаха. Но стреляла она редко. Работа собаки по тетереву, куропатке или перепелу увлекала ее больше, чем стрельба, и, проходив иногда в поисках выводка целый день, она делала не больше одного-двух выстрелов. Уставший, раздраженный, отупевший от жары, Соломин палил из дядиного ружья в белый свет. А когда, разложив костер, они останавливались где-нибудь у воды на ночевку, он с уважительным восхищением смотрел, как Александра, такая же бодрая, как и утром, кормила собаку, кипятила чай, вынимала из сумки и раскладывала на газетном листе еду. Тогда — коротко подстриженная, в брюках — она была похожа на тонкого, стройного мальчишку, и Соломин называл ее в мужском роде — Сашкой, но это лишь как-то особенно под-

черкивало в его глазах ее женское обаяние. Да она и па самом деле, несмотря на свое мужское пристрастие к охоте, была очень женственна, и даже в ее любви к природе проявлялась какая-то чисто женская, материнская особенность, исключающая всякое, даже разумное, истребление. Она не била ястребов, запрещала Соломину рвать цветы, не могла без шумного негодования видеть сведенный лес или раскорчеванный кустарник. И однажды Соломин слышал такой разговор между нею и дядей.

— Проклятие! — кричал дядя.— Где она нагуляла этих ублюдков. Вы только посмотрите, что она принесла! Дворняги! Шавки! Утопить немедленно весь помет!

— Дядечка, жалко...

— К дьяволу! Она осрамила меня перед всем городом!

— Ну уж и перед всем...

— А как же! Пять поколений чемпионов, родословная... Нет, ей самой камня на шею не пожалею.

— Дядечка, ну оставьте хоть одного! Я возьму его себе.

— Да не скули ты надо мной, пожалуйста! Тебе кобеля или суку?

— Однако ты и выражаешься, дядечка... Ведь я все-таки не егерь, а девушка.

Так, совершенно случайно, уцелел и потом вместе с Александрой вошел в жизнь Соломина ублюдочно-некрасивый, но преданный и добрый пес, сын неблагородного отца. Его назвали нелепым именем — Чук.

— Да, Чукча,— говаривал ему в минуты шутливого настроения Соломин.— Не мы выбираем себе отцов, и, видишь, эта оплошность природы едва не стоила тебе жизни.

Расхлябанной трусцой, все обнюхивая, всюду тыкаясь своей тупоносой мордой, поливая каждый угол и столбик, этот пес бегал по городу за Александрой и Соломиным, появляясь и в парке, где они гуляли, и на танцевальной площадке, и на пляже. Он в самый неподходящий момент, отфыркиваясь от налипшего на нос пуха одуванчиков, выскочил в пойме из кустов, залаял, запрыгал, но ему с обескураживающим раздражением крикнули:

— Да уйди ты, проклятая собака!

Зимой он сопровождал Соломина и Александру в лыжных прогулках. Прекрасна была зимняя синева на грани дня и ночи, казавшаяся Соломину волшебным

светом сказок, в котором из темных урочищ одиноко и робко выходит холодная Снегурочка. Вдали переливалась гряда городских огней, а в пойме среди снегов все обнимала эта быстро густеющая синева, и перед таинством прихода ночи на минуту какое-то смущение охватывало Соломина и Александру — они останавливались, боясь потревожить тишину скрипом снега, замирал и Чук, настороженно подымая уши, и, когда вдруг резко падала неприветливая зимняя темнота, всем троим особенно дорога становилась их преданность и любовь друг к другу. В избытке нежности, стараясь соприкасаться плечами, Соломин и Александра медленно двигались рядом, а Чук восторженно взлаивал и, взрывая снег, носился вокруг них.

Дома они затапливали печь. Александра, поджав колени к подбородку, садилась на полу, из комнат, потягиваясь, сходились к огню собаки, и все завороженно смотрели на хаотическую пляску огня в печи, а Александра восседала среди них, точно высеченный из темного дерева языческий божок — тонколицый, молодой, грациозный, озорной и мудрый. Иногда в такие минуты Соломин с какой-то пугающей отчетливостью ощущал смысл пословицы «Чужая душа — потемки» — так недосягаема и непонятна становилась для него Александра в ее слитности с природой, с этим зверьем, непонятна в ее неприязни к комнатам и любви к болоту, лесу, снегу, непонятна в недевичьей свободе, зрелости и в то же время чистоте ее взгляда на любовь, какой, вероятно, дается близостью все к той же матери-природе, и ему порой начинало казаться, что преданные, рабские, обожающие глаза Чука больше понимают ее, чем он.

Ах, с какой мучительной пытливостью всматривался он тогда в ее смуглое, тонкое, с глубоко вырезанными ноздрями и малахитовыми глазами лицо!

В сухой, жаркий, ветреный день июля Чук вместе с Александрой провожал Соломина на фронт. В толпе ему наступали на лапы, пинали ногами, бранили, но он, то взвизгивая, то огрызаясь, упрямо пробирался за Соломиным к вагону.

«Дядечку нашего тоже взяли в армию,— писала в письме Александра.— Перед отъездом он роздал всех своих собак знакомым охотникам и при этом плакал, меня же только потрепал рассеянно по щеке, сказав:

— Неужели нельзя было ввести для животных паек, хотя бы на кости с бойни!

Папа тоже давно на фронте. Теперь в нашем доме лишь я да Чук. Когда я прихожу с комбината, он стаскивает с меня валенки, потому что сама я тут же валюсь от усталости на диван. Потом мы топим печь, смотрим на огонь и вспоминаем мирную жизнь, которую так легкомысленно не ценили...»

Дом, печь, собака у огня... С каким острым чувством близости ко всему этому читал Соломин письма Александры, вспоминал и крепкий запах зверья, устоявшийся в доме, и биение огня в печи, и возле нее Александру в ее любимой позе — с поджатыми к подбородку коленями...

После войны Чук не сразу узнал его. А он не сразу узнал рыжую долговязую девчонку, которая, оттолкнув бабку, Александру, Чука, первой бросилась к нему на перроне.

— Будешь жениться на своей собачнице? — с ехидством спрашивала она потом, встречая Соломина на улице.

И хотя уже никогда больше не было ни охотника-дяди, ни собак и уже умер Чук, а она упрямо звала Александру собачницей, стараясь принизить ее в глазах Соломина.

Чук умер от старости. Из просторных комнат, по которым, стуча когтями, он бегал своей расхлябанной, кутячьей трусцой, его переселили в сарай, потому что в доме появилась маленькая дочь хозяев. Он целыми днями лежал, свесив голову через порог, и смотрел во двор. Шерсть на шее у него вылезла, глаза отцвели. Однажды Соломин понес ему миску с теплым молоком, но пес уже еле поднялся, через силу вильнул по врожденной своей доброте и преданности хвостом, зашатался и упал на бок, судорожно вытягивая лапы.

Была ранняя, сухая, солнечная осень, и, пока Соломин ходил в сарай за Чуком, в яму, которую он ему приготовил, нападали желтые листья вяза. Вместе с Александрой они молча засыпали яму холодным, искристо вспыхивающим на солнце песком и вернулись в дом. В этот день впервые затопили печь. Поджав колени к подбородку, Александра смотрела на огонь, потом чуть охрипшим от долгого молчания голосом спросила:

— Грустно тебе?

— Да,— признался Соломин.

Она посмотрела на него блестящими влажными глазами.

— Милый, как хорошо, что за эти годы ты не огрубел и остался таким же чутким, словно струночка, таким чистым и немного даже стыдливым, как в юности. Признайся, ты еще пишешь украдкой стихи?

«Боже мой! Если бы она знала, что́ я теперь стыдливо пишу украдкой! Чуткая струночка...» — подумал Соломин.

— Ты тоже молодец — не обабилась,— сказал он, не отвечая на ее вопрос.

— Да,— согласилась она.— Мы до старости проживем с тобой юными и чистыми. Вот настанет зима, и опять будем по вечерам ходить на лыжах... Луна, снег, морозный пар над полыньями, словно полупрозрачный призрак... А Чука жалко. Помнишь, как он поднял в пойме белую сову?

— Я все помню,— сказал Соломин.

В красноватых отблесках огня Александра напоминала ему ту прежнюю, мальчишески стройную охотницу, и хотя теперь она заметно раздалась в бедрах, отрастила волосы, в первозданной натуре ее не случилось никаких сдвигов. Она по-прежнему не любила комнаты, постоянно стремилась к реке, в лес, а в материнстве опять проявилась перед Соломиным какой-то непостижимой загадкой.

«Должно быть, с такой вот суровой любовью и заботливостью пестует своих детенышей волчица»,— не раз думал Соломин, наблюдая, как она обращается с их маленькой дочерью.

4

Чтобы не встретить знакомых, он шагал окраинами, в обход людных центральных улиц. Хрустящая шлаковая дорожка вела его через поселковый парк, который лишь недавно стал парком, а раньше был просто сосновым бором, куда дети ходили за маслятами. Было тихое, нежное время заката. На вершинах огромных строевых сосен, засыпая, хрипели грачи; истончился, стал слабее душный запах хвои, и в воздухе уже плыл сырой, прохладный пар земли.

Соломин в мыслях давно уже пережил десятки вариантов предстоящей встречи с Александрой и, вконец измучившись, решил больше не думать об этом — не надо ни подготовленных фраз, ни предварительных решений, пусть будет так, как будет. И он шел, разглядывая с пре-

увеличенным вниманием улицы окраинных поселков. Ощущение новизны во всем, что успел увидеть он в городе, не покидало его и теперь. Здесь было много новых домов, много нового молодого люда, шагавшего какой-то вольной, размашистой походкой и разговаривавшего громко, весело.

«Сколько же я пропустил и потерял! И какой мерой измерить эту потерю? Временем? Если бы только временем...» — подумал Соломин.

По своей улице он шел потупясь, не глядя на окна домов и на встречных людей. Калитка была заперта, но он привычной рукой нащупал через дырочку засов и поспешно нырнул во двор. Сердце у него противно колотилось, горло завалил крутой комок. А через двор, появившись на стук засова, уже шла Александра. Как и прежде, она и в домашней обстановке была не какой-нибудь распустехой в халате и стоптанных шлепанцах, а строгая, подобранная — в узком сером клетчатом костюме, отделанном черной тесьмой, воздушной блузке с черным бантиком и черных туфлях, ладно сидевших на маленьких крепких ногах.

«Красиво... Но как холодно!» — подумал Соломин.

— Ну, здравствуй,— сказал он, не зная, подать ли ей руку, поцеловать ли ее или просто поклониться.— Ты не бойся,— добавил он.— Я не мстить пришел. Я не граф Монте-Кристо.

— А я и не боюсь,— ответила она.— Войди в дом. Сегодня здесь никого нет.

«Это она правильно сделала, что спровадила куда-то... этого... своего... А Наталочка?» — подумал Соломин.

В маленькой прихожей он помедлил и несмело отодвинул легонькую полотняную занавеску. Когда-то здесь стояли машинка «Singer», высокий комод со старомодным трельяжем, дубовый шестиногий стол, раскорякадиванчик, потом появилась полированная мебель рижской фабрики, а теперь комната представляла собой смесь столовой и кабинета, где стол под льняной скатертью и простенькие гнутые стулья были утеснены огромным чертежным станком. Зеленоватый свет, сочившийся сквозь заслоненные деревьями окна, делал обстановку комнаты чем-то похожей на театральные декорации, и Соломин с усмешкой подумал, что вступил в новый, может быть, последний акт этого спектакля жизни.

Он сел к столу и положил перед собой сигареты. Александра села напротив.

— Не знаю, с чего и начать,— усмехнулся Соломин.

— Кури. Я-то готова к этому разговору. Можешь начать с того, что я поступила подло, кинув тебя в беде, что любовь моя оказалась непрочной, а сама я — последней дрянью из дряней. Так многие уже говорили.

— Нет, этого я не скажу, хотя было время, когда я думал так же.

— Тогда что же ты скажешь?

— Я знаю, крутить и вилять перед тобой не следует, ты любишь прямые объяснения... Саша!..— Соломин усилием воли унял мелко задрожавшую нижнюю губу.— Давай... ну, как это назвать?.. Будем опять жить вместе. Забудем все — и ты и я.

— Мне это смешно, Иван,— спокойно и жестко сказала Александра.

— Ей смешно! — не сдержавшись, с болью выкрикнул Соломин.— Ты напускаешь на себя это спокойствие. Тебе вовсе не смешно, а невыносимо тяжело и скверно!

— Да нет же, уверяю тебя,— с какой-то насмешливой доброжелательностью сказала Александра.— Постарайся понять, что произошло. Я перестала любить тебя. И не постепенно, по схеме «с глаз долой — из сердца вон», а сразу — точно вышла из огня, новая и очищенная. Если бы тогда не конфисковали имущество, я бы уничтожила его, потому, что срывала с себя все прошлое, как коросту. А от одной мысли о тебе содрогалась, точно схватила нечаянно паука. Подумать только! Ведь в то время, когда все мы на комбинате жили мечтами о большой химии, когда дома мы с тобой купали дочь и умилялись ее лепетом, ты делал какие-то махинации с пластикатовыми босоножками. Бо-со-нож-ка-ми! Фу, какая мерзость! В этом ответ на все: почему я бросила тебя, почему снова вышла замуж и почему не могу вернуться к тебе. Быть неискренней в чувствах и поступках я не могу.

— Не я делал эти махинации,— угрюмо возразил Соломин,— я только покрывал. Сначала по простоте, которая, впрочем, хуже воровства, а уж когда коготок увяз, то из-за страха перед теми матерыми комбинаторами, с которыми сел. Меня, откровенно говоря, и не стоило держать там столько лет, потому что один только суд сам по себе был для меня самым тяжелым наказанием и перевернул во мне все. Срок заключения уже не имел, по сути дела, никакого значения — год, два, десять... Ну, да разве распознаешь каждого! Я не в обиде.

Он почувствовал, что оправдываться сейчас ни к чему, а надо сказать что-то более нужное и важное, но не находил таких слов и видел, что Александра слушает его нетерпеливо и рассеянно.

— Ну, а дочь? Наша дочь? — решил он использовать свой последний и самый, как ему казалось, неотразимый шанс.

Александра резко наклонила голову, и было в ее смуглом с легкой синевой под глазами лице, в тяжелом узле темных волос на затылке что-то усталое и скорбное. Соломин вдруг понял, как боялась она все годы этого вопроса, в какой борьбе с собой и в страхе перед ним, перед его правом на дочь жила, и на минуту мстительное чувство шевельнулось в нем, но тут же сменилось жалостью и нежностью к ней. Ему показалось, что он наконец нашел те нужные слова, которые решат все. Чтобы высказаться до конца, человеку немного нужно слов; все больное, запутанное, трудное, что мучит его, если оно есть, укладывается в одну короткую фразу: «Я хочу счастья». И Соломин по-своему сказал ей:

— Я люблю тебя, Саша.

Но она не ответила, только слегка повела плечом. Потом подняла голову и опять взглянула на него спокойно, холодно. Было слышно, как журчит в прихожей электрический счетчик. Соломин сразу обвял и потупился под этим взглядом.

«За дочь она будет все-таки бороться насмерть», — подумал он.

— Мне, наверно, пора уходить? Давай договорим.

— Что же еще? — спросила Александра.— О Наташе? Она не помнит тебя... и считает отцом... В общем, ты понимаешь. И уж решай сам, надо ломать ее счастливое заблуждение или нет. Я могу только просить тебя...

— Не напоминать о себе? Исчезнуть? — усмехнулся Соломин.— Роман! Голливуд! Библиотека приключений! Да ведь это жестоко!

Он яростно измял в блюдечке, заменявшем пепельницу, только что закуренную сигарету.

— Прямой разговор всегда жесток,— сказала Александра.

— Я теперь знаю, что за ошибки надо платить,— устало сказал он.— Иногда всю жизнь. Будем считать, что я все еще продолжаю платить.

Уже темнело на дворе, и какими-то дрожащими, точно студенистыми, звездами было негусто усыпано небо.

Соломин уже открыл калитку, когда сзади его окликнула Александра.

— Ну что? — спросил он.

— Иван, ты только не считай, что все у тебя потеряно, и не опускайся, держись! Слышишь?

— А! — сказал он и махнул рукой.

5

— Зубной техник Бизонов! О, какая шикарная вывеска у вас, гражданин Бизонов! И, наверно несмотря на патент, есть левый заработочек, а? Я вижу ваши ворота. За такими воротами обязательно должна скрываться двухцветная «Волга». Ведь вы любите, наверно, то, что ярко блестит. Золотишко, например, а? И вот в один прекрасный день, когда вы пьете чай с лимоном, к вам стучат, предъявляют ордер на обыск, потом на арест, и — фю-й-ть! За незаконную скупку желтого дьявола и продажу ему вашей обывательской души вы едете на Север. И вам вместо наконечника бормашины дают в руки пилу. Ту саму, между прочим, которую в свое время мы дергали со Степой Штырем. А мадам Бизонова, оплакивая двухцветную «Волгу», выходит замуж за плешивого химика, потерявшего волосы на вредном производстве. И ваши деточки, маленькие бизончики, становятся химиками... Все смешивают, все разбавляют... А я иду домой. Вы, конечно, хороший. Я рассказал вам про другого техника. Он был вместе со мной, но пилил не деревья, а зубы. Все начальство сверкало его зубами. Спокойной ночи! Дайте нажать на клаксон вашей «Волги».

Соломин нажал на кнопку звонка, оттолкнулся плечом от двери с табличкой «Зубной техник В. Д. Бизонов» и рывками, точно падая вперед, пошел дальше.

— Малый! Там дружинники,— мимоходом предупредил его чей-то доброжелательный голос.

— Плевать,— отвечал Соломин.— Я уеду на Север.

Он рванул дверцу такси, стоявшего у обочины тротуара, и сел рядом с шофером.

— Куда? — спросил тот.

— На Зеленую.

— Это же рядом.

— Ну и что?

В старой, громыхающей дверцами машине его замутило от противной смеси запахов дерматиновой обивки,

бензина и выхлопного газа. Но, свернув на темные боковые улицы, машина скоро остановилась. Сунув шоферу какую-то бумажку, Соломин тяжело вылез и, покачиваясь, стоял на дороге. Разворачиваясь, машина описывала светом фар широкий круг, и улица, словно карусель, неслась мимо Соломина, сверкая стеклами окон.

— Держись, Ванечка, за меня держись,— сказала Галка.

— А, это ты,— пробормотал Соломин.

— Я тебя уже четыре часа жду! Не догадалась, что ты пьешь где-то, я бы тебя увела.

— Принеси воды.

— Сейчас, Ванечка.

— Женщина! — усмехнулся Соломин.— Я шесть лет не был с женщиной. Ты должна меня бояться.

— Не болтай глупостей.

Она усадила его на лавочку у ворот своего дома, ушла и скоро вернулась с ковшом воды. Соломин умылся.

— Пожуй теперь,— сказала Галка, подавая ему горсть кофейных зерен.

Он заметно отрезвел, пожевав кофе, и уже совсем разумно сказал:

— Это очень паршиво, когда остаешься жить только для себя, понимаешь? Некого любить, не о ком заботиться... Ну, бабке я дам денег, а дальше что? Понимаешь, какой парадокс! Ведь если я желаю счастья тем, кого люблю, я должен — фюйть! Испариться. Вот и все, Иван Соломин. Надо тебе отсюда уехать, это ясно.

— Уедешь, Ванечка, уедешь,— похлопывала его по руке Галка.— А сейчас иди спать, утро вечера мудренее.

— Эх ты, царевна-лягушка,— невесело засмеялся Соломин.

6

В передвижении современного человека по планете есть что-то небрежно-щегольское. То он, положив локоток на опущенное боковое стекло, мчится с ветерком на автомашине, то, откинувшись удобно на спинку кресла, летит в самолете и, позавтракав в Москве, думает о том, чем будет обедать в Новосибирске, а ужинать в Хабаровске, то сладко спит на ломких от крахмала простынях, убаюканный мягким ходом вагона.

Взять хотя бы тот электропоезд, на котором он, Соломин, ездил в Москву. Попадая в его вагон, какой-нибудь

не слишком бывалый пассажир, не избалованный доселе порядком на вокзалах и комфортом в поездах, для первого раза, должно быть, слегка обалдевает от неожиданности, конфузится своего перехваченного наперевес мешка или распертой до формы шара авоськи и поскорей запихивает это имущество под кресло. В другой раз он обязательно берет с собой, может быть, не слишком щегольской, но все же чемодан. Подкинет его эдак небрежненько на полку, сядет, нарочно попружиня, в мягкое кресло и развернет журнальчик с картинками. И уж не преет в пыльном плаще, а вешает его на крючок, потому что на сей раз не дал маху — не надел в дорогу одежонку поплоше, а достал из нафталина праздничный пиджак с плечами и привязал на шею крепдешиновый галстук с малиново-зеленой полосой. Точь-в-точь как вон тот парень на соседней скамейке. Эй, приятель, у какого павлина ты одолжил это перо?

Такими мыслями развлекал себя Соломин в ожидании поезда, сидя на скамейке в чахлом привокзальном садике. Было раннее утро — у киоска пенсионеры дожидались московских газет, на клумбах еще поблескивала роса, и воздух пахнул молодым огурцом.

В этих мыслях и в этом своем настроении Соломин ощущал какую-то браваду, позерство перед самим собой, но они действительно отвлекали его от того, о чем следовало бы подумать и о чем думать он уже устал. Валяясь на тюфячке в бабкином саду, он обдумал и перестрадал множество вариантов своего будущего. То решил он спиться, обосячиться и жить в городе вечным укором Александре; то видел себя бакенщиком, живущим в избушке на берегу реки: костер, философический бег воды, мысли над неподвижными поплавками, не стоящие, по чистой совести, и гроша ломаного, но такие возвышенные, такие очаровательно-грустные мысли праздного русского человека о жизни, о смерти, о времени, о Вселенной; то воображал себя прославленным человеком, который, вопреки всем бедам и всем назло, не сломался, живет, здравствует и вот улыбается миру со всех газетных страниц... Кому назло? Где та избушка? Наконец он рассердился на себя за эти мальчишеские фантазии и решил просто поездить, посмотреть, пока не остановит его где-нибудь работа и кров по душе.

— Вэнниманниэ, на пэрзвыю пэлэтфэрэм пэрэбэвазт поэзд...— занудел вокзальный радиорепродуктор.

Соломин встал и, помахивая своим невеликим чемо-

данчиком, вышел на перрон. Вскоре с нарастающим воем туда ворвался электропоезд. И когда он снова тронулся и Соломин уже сидел в мягком, обтянутом кожей кресле, он заметил, что мужчины, занимавшие места напротив, вдруг как-то напряженно вытянули шеи и следят взглядами за тем, что, очевидно, надвигается на них из глубины вагона. Соломин оглянулся. По проходу между креслами, покачивая колоколом своего платья, с чемоданом в одной руке и плащиком через другую шла Галка.

— А, вот ты где,— деловито и будднично сказала она, увидев Соломина.

В этом комфортабельном, на эластичном ходу вагоне было до безобразия тихо, и Соломин ничего не ответил ей. Они молча смотрели в окно, пока пассажиры не погрузились в свои дорожные дела — кто в сон, кто в еду, в чтение, кто в беседу, и тогда чуть внятно Галка сказала:

— Я просто буду жить там, где ты... И все. А потом будет видно. Ведь могу я жить, где мне хочется?!

И так как он опять ничего не сказал, она через некоторое время пожаловалась:

— Поесть не успела. У тебя ничего нет?

— Посмотри в чемодане. Кажется, бабка что-то сунула туда,— ответил на этот раз Соломин.

Вагон плавно заносило на стрелках. Кружились за окном поля, сверкали речки, мелькали будки, станции, и смотрел на все это Иван Соломин — человек свободный.

1962

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ

Гремя заскорузлым дождевиком, Горчаков поставил ногу в стремя, оперся рукой в заднюю луку и трудно поднял в седло свое тяжелое тело. Небольшой меринок даже присел слегка и перебрал задними ногами, ища равновесия.

Частый дождь дробно щелкал по дождевику.

Облака длинными космами низко висели над землей, было тепло, тихо, и мутный туман обволакивал все вокруг, точно мокрая марля.

Конюх насмешливо смотрел на Горчакова. Он как будто понимал, что тому не хочется из сухой правленческой избы, где можно, сидя за письменным столом, курить папиросы, читать газеты и говорить по телефону, ехать теперь в этот туман через тускло блестящие от избытка влаги пашни, через грязные, заплывшие озими, через реденькие, едва опушенные перелески. В этой избе и особенно в маленьком председательском кабинетике по всему было заметно, что тут долго хозяйничала женщина: на окнах висели сборчатые занавесочки, диван был под полотняным чехлом, в прозеленевшем стакане еще сохранились ослизлые, почерневшие одуванчики, и вообще кабинет имел какой-то полудомашний вид, какой может придать любому помещению только женщина. Табачный шум и чад совещаний не шли к этому кабинету. Здесь было приятно сидеть одному и думать. Раньше Горчаков не замечал этой особенности кабинета Ганиной, но теперь, когда сам стал в ее колхозе председателем, он вдруг с удивлением обнаружил, как хорошо и спокойно ему работается здесь, и ничего не захотел менять.

— А что, Мария Игнатьевна тоже верхом по бригадам ездила? — спросил Горчаков конюха.

— В распутицу всегда верхом,— ответил конюх, тыча зачем-то меринка большим пальцем под брюхо, отчего тот судорожно вздрагивал всей кожей.— Такое уж у нас место гиблое, что как покапает дождик, так мы по пупок в воде стоим.

Горчаков тронул меринка и шагом выехал за конюшни в поле. Однообразно ложилась лошади под ноги рыжая суглинистая дорога. По сторонам из тумана изредка выступали ветлы да щетинилась по обочинам прошлогодняя полынь. Оттого, что туман закрывал даль, путь казался нескончаемо долгим, и Горчаков то и дело нетерпеливо дергал повод. Меринок, должно быть, привык носить легкую и сухонькую Марию Игнатьевну — грузность Горчакова и постоянное дерганье нервировали его, и он шел как-то боком, обиженно косясь на седока влажным карим глазом. Может быть, Ганина разговаривала с ним, трясясь в седле по валким колхозным дорогам? Может быть, прикармливала сахаром? Может быть, совсем по-другому смотрел на нее этот глаз?

Холодная струйка побежала за воротник Горчакова, он вздрогнул и слегка хлестнул меринка по крупу. Тот вяло сделал несколько шагов рысью.

Странно, подумал Горчаков, какие случайности направляют иногда человеческую жизнь. Вот не заболей Ганина, не накатай тогда колхозники в райком просьбу направить к ним председателем третьего секретаря Горчакова, и он, Горчаков, не ехал бы сейчас на этом рыжем угрюмом меринке, не вдыхал бы этот пахнущий молодой зеленью и мокрой землей воздух, не видел бы косой полет грачей над пашней.

Он вспомнил заседание бюро райкома, на котором все решилось. Он стоял тогда перед членами бюро и долго смотрел в окно; было слышно, как позванивали оконные стекла, когда мимо проходила тяжелая машина. Горчаков чувствовал, что молчит слишком долго, что вот-вот на чьем-нибудь лице появится ироническая усмешка, кто-нибудь резко и откровенно упрекнет его.

— Ну что ж тут думать-то, Николай Ильич! — сказал первый секретарь Астахов, вынимая папиросу и разминая ее толстыми мозолистыми пальцами, еще не отвыкшими от жесткой работы механика МТС.— Мы ведь с тобой еще вчера все обговорили. Не выполним просьбу колхозников — подадим дурной пример.

Горчаков продолжал молчать. Астахову, может быть, и не о чем было бы раздумывать в подобном положении: он молод, здоров, бездетен, но Горчакову с его сорока восемью годами, с большой семьей, с обжитым городским домом нелегко и не просто было начать новую жизнь на новом месте. Теперь Горчакову вспомнилось, как он сам вместе с Астаховым «нажимал» на коммунистов, которые не хотели идти в колхозы председателями.

Неужели и для него должна простучать по столу железная астаховская ладонь! «Фу, как стыдно!» — подумал Горчаков и поспешно сказал:

— Я согласен.

Из тумана неожиданно выступил длинный ток на толстых столбах, под соломой. Горчаков знал здесь все дороги и свернул у тока прямо на упругий, еще сырой выпас, чтобы сократить путь. Перед скотными дворами, которые он хотел посмотреть, ему попалось парниковое хозяйство; котлованы, сизо отливая жирным черноземом, были еще открыты, и маленький старичок в безрукавке на меху, шапке с торчащими вверх ушами и валенках с красными калошами из автомобильных камер стеклил под тесовым навесом рамы. При виде Горчакова он снял шапку и степенно поклонился.

— Ты что это передо мной шапку ломаешь? — усмехнулся Горчаков.— Ведь я не барин, а ты не холоп.

— Холопство тут ни при чем. Я тебе почтенье оказал, Николай Ильич,— сказал старик.

— Ну, спасибо, здравствуй, коли так.— Горчаков снял свою намокшую фуражку и тоже поклонился старику.— Только, прости, не помню, как звать тебя.

— Не беда,— сказал старик.— Мы с тобой и не говорили никогда. А звать меня Игнат Демидыч Зыков. Марью мою ты должен знать. Ганину-то.

Горчаков с любопытством посмотрел на старика. Удивительно и как-то трогательно было узнать, что у Ганиной, женщины уже не молодой, с прямыми пепельно-седыми прядками на висках, есть такой крепенький, розовощекий старичок-отец. Горчаков спешился, завел низкорослого меринка под навес и, стряхнув с дождевика скопившуюся в складках воду, достал коробку папирос.

— Закуришь, Игнат Демидыч?

— Отчего ж.

Двумя пальцами старик осторожно взял из коробки толстую папироску, не сминая ее, сунул в запавший рот и потянулся к зажженной Горчаковым спичке.

— Ну, а как Мария Игнатьевна? — спросил Горчаков.— Давненько я ее знаю. Еще когда я директором фабрики был, мы шефствовали над вашим колхозом. Железная женщина.

— Какое там железо! — отмахнулся старик.— Она жалостливая. Она ежели строжничает с кем-нибудь, так у нее в глазах слезы по горошине стоят.

«И верно ведь!» — подумал Горчаков, вспомнив, какие страдающие и виноватые глаза бывали у Ганиной, когда ей приходилось отчитывать кого-нибудь, наказывать или заставлять что-то делать вопреки желанию.

«Да и вообще что я знаю о ней? — подумал вдруг Горчаков.— И что она знает обо мне?.. Бюро... активы... совещания... сев... уборка... заготовки... «Давай, Маша!» «Выручай, Маша!» А есть у нее, например, дети или нет — черт один знает! Вот мой Володька в нынешнем году из армии вернется, надо ему в институт готовиться, а кому до этого дело, кроме меня? Живем, как семечки в мешке,— вроде бы кучей, а каждый в своей скорлупе».

Где-то за туманом, который стал реже, выше и желто просвечивал теперь на солнце, ударили в рельс или буфер.

— Может, пообедаешь с нами, Николай Ильич? Будь дорогим гостем,— предложил старик.

Горчакову было неловко вот так сразу распрощаться с приветливым стариком, и он согласился. Ведя меринка в поводу, они спустились по муравчатому косогору к маленькой — в двенадцать домов — деревне, густо прикрытой цветущими ветлами. Была она вся крепенькая и тесно собранная вокруг чистого и круглого пруда, эта деревня, а там, куда еще ниже падал косогор, по какой-то особой густоте тумана, по его молочной синеве угадывались луга и речка.

— Мария Игнатьевна тоже здесь жила или на центральной усадьбе? — спросил Горчаков, заводя меринка в распахнутые стариком ворота во двор.

— Что там, на центральной усадьбе,— пыль, гам, бензин! — пренебрежительно сказал старик.— А у нас места привольные: две речки под деревней сливаются; лес — тут тебе и сосновый, и дубовый, и березовый, луга — ну так и хочется пасть в них.

По выбитой лесенке они поднялись со двора в избу, умылись под рукомойником, и старик проводил Горчакова в горницу. Зеленоватый полусвет струился здесь из окон, заслоненных комнатными цветами, на полу лежали пестрые половики, стояла горка с посудой, высокая кровать, комод и на нем патефон под вышитой дорожкой — все как в обычной деревенской избе. С цветного портрета, молодая, круглощекая, глядела на Горчакова Маша Ганина.

— Разрешим по маленькой, Николай Ильич? — спросил старик, высунувшись из кухни.

— Не стоит,— рассеянно ответил Горчаков.

Он все еще с каким-то неприятным смущением переживал давешнюю мысль, и гостеприимство старика смущало его еще больше.

— А что, ребята-то у Марии Игнатьевны есть? — досадуя на себя за это смущение, спросил он, шагнув за стариком в кухню.— Кто тут у вас еще есть? Муж ее? Ребята?

Старик в это время ловко выхватил тряпкой из печи дымящийся чугун и стукнул его на шесток.

— Как же нет ребят! Целых двое. Сейчас из школы придут. И зять у меня есть — тот плотничает. Хороший зять, жаловаться не могу... Да мы не станем их ждать, ты садись, Николай Ильич.

— Нет, уж давай подождем,— решительно сказал Гор-

чаков и сел на лавку, упершись руками в широко расставленные колени.

Скотные дворы в тот день Горчаков так и не стал смотреть. После обеда, когда старик и зять собрались на работу, а ребята сели за уроки, он вывел меринка и, крепко нахлестывая его, поскакал на центральную усадьбу. Там он велел рассыльной девочке, лукавой и бойкой, найти шофера Сеню, сменил забрызганный грязью дождевик на синий диагоналевый плащ и поехал в город.

Рыча и воя, «газик» натужно брал размытую дорогу. Сеня удивлялся молчаливости обычно шутливо-разговорчивого Горчакова и тому, как внимательно председатель взглядывал на него, а Горчаков все еще думал:

«Вот и Сенька — что я знаю о нем? Служил ты, Сенька, в армии или только пойдешь служить? Есть у тебя девчонка? А может, жена? Живы твои отец, мать?.. Немало и раньше возил ты нас с Ганиной по колхозным дорогам, а я ничего не знаю о тебе, как не знала, наверное, и Ганина...»

И он опять думал о том, что и другим решительно нет никакого дела ни до него, Горчакова, которому на склоне лет пришлось ломать устроенную жизнь, ни до его Володьки, которому после армии надо держать в институт.

Вечерело, когда приехали в город. Дождя уже не было, но низкие клубящиеся облака все еще текли по небу, и на улицах раньше времени зажглись фонари. Если бы не клейкий запах молодого листа тополей, то можно было подумать, что стоит сентябрь.

Горчаков зашел в магазин, купил там лимонов, коробку конфет, пачку печенья и поехал в больницу.

— Ну, как там Ганина? — спросил он дежурного врача.

Тот узнал Горчакова, велел санитарке дать ему халат и сам проводил в палату к Марии Игнатьевне.

В дверях Горчаков невольно остановился. Совсем недавно такая неутомимая, подвижная, с трепетным блеском в глазах, Ганина поразила его так внезапно одрябшим, пожелтевшим лицом и каким-то новым выражением глаз — не то безучастно спокойным, не то глубоко и мудро задумчивым. И только голос был все тот же, со знакомой Машиной грустинкой.

— Здравствуй, Николай Ильич,— сказала она.— Спасибо, что навестил. Часто мы с тобой, бывало, ругались,

а ты не попомнил, значит, зла, пришел. Ну, хорошо. Садись.

Горчаков придвинул ногой белую больничную табуретку и сел.

— Я у твоих нынче был,— поспешил сообщить он.— Все живы, здоровы, шлют тебе поклоны и приветы. В воскресенье привезу к тебе ребят. Соскучилась, наверное? Ты, как говорится, болей на здоровье, ни о чем не беспокойся. Я там за всем догляжу.

— Спасибо,— тихо сказала Ганина.

Горчаков чувствовал, что говорит суетливо, неестественно, но остановиться никак не мог и продолжал сыпать словами, рассказывая Маше о ее семье, о колхозе, о районных делах.

— А ты на меня не обижаешься, Николай Ильич? — вдруг перебила его Ганина.

— За что, помилуй? — опешил Горчаков.

— Ведь это я надоумила колхозников с письмом в райком обратиться.

— Удружила! — прорвалось у Горчакова.

— Ничего, Николай Ильич, знаю: коль занял ты место, то будешь работать на нем не за страх, а за совесть. Мне после себя надо оставить человека крепкого. Это перед каждым сопливым мальчонкой там мой последний долг. Так что уж прости, если по моей вине ты с насиженного места сорвался.

— Какая же твоя вина, Мария Игнатьевна...— пробормотал Горчаков.

— Да и тебе на пользу это,— усмехнувшись, продолжала Ганина.— Может, вернешься когда-нибудь на руководящую работу, хватя нашей председательской заботушки, умней руководить станешь. А о городском гнезде не тужи. Ведь твои птенцы не то что мои,— давно на крыле. Владимир-то когда возвращается? Ты ему вели учиться. Какие они теперь без образования работники?

— Все-то мои заботы ты знаешь, Игнатьевна,— ласково усмехнулся Горчаков.

— Да ведь как же! В одном котле кипим. Ну, ступай, пожалуй. Устала я.

Горчаков пожал ей руку и вышел.

Было уже прохладно. Садясь в машину, он застегнул верхнюю пуговицу плаща и опять, к удивлению шофера, молчал всю дорогу до своего городского дома.

1962

ГРАЧИ

Однажды я пересек несколько областей, чтобы побывать в городке, издавна манившем меня своей стариной. Когда я вышел из приземистого каменного вокзальчика, по оттаявшему перрону гулял огненно-рыжий петух, далеко расшвыривая лапами шлак. Стрелочница в длинном тулупе махала на него фонарем и смеялась. Был март, самый его конец.

Отряхиваясь от капели, попавшей на шапку, громко топая, чувствуя тот прилив светлого настроения, который всегда бывает в такие синие мартовские дни, вошел я в гостиницу.

В наших маленьких городках еще много старых неустроенных гостиниц с темными коридорами, большими, сплошь заставленными железными койками комнатами, угарными печами и вечным отсутствием свободных мест. Именно такой оказалась и эта. На страже ее благоухающих карболкой недр за фанерной переборкой с окошечком сидела женщина в сером пуховом платке. Изо всех сил нажимая на карандаш, она писала под копирку квитанцию.

Я деликатно постучал в окошечко.

Ах, какие глаза подняла на меня от своих квитанций эта женщина! Огромные выпуклые глаза южанки, с черными зрачками и голубоватым блеском белков, который, казалось, не гаснет даже в темноте.

— Ах, гражданин, как вы меня напугали! — закричала она.— Разве обязательно нужно стучать у меня над самым ухом, словно где-то загорелось помещение!

Я попросил у нее номер.

— Им нужен номер! — саркастически воскликнула она.— Нет, я все же скоро уйду с этой нервной работы. Если бы вы спросили у меня койку, я все равно не могла бы ее сделать. У нас уже два месяца проживают артисты. А послушали бы вы, как они содомятся из того, что семейные у них проживают вместе с несемейными. Будто я имею на всех отдельные номера. Дикий бред — эта нервная работа. Вы давно бы уже бросили такую работу или стали бы с нее вполне ненормальный.

— Может, кто-нибудь уедет к вечеру? — предположил я.

— Ай, гражданин,— сморщилась она, как от зубной боли,— кто может съехать! Уже ни поезда, ни автобуса не осталось на сегодня. Вы лучше идите вниз покушать и выпить, а когда придет их главный, я спрошу, может, он послал своего артиста выступать в колхоз. Тогда вы ляжете временно на его койку, если он не семейный.

— Ну, а если семейный? — поинтересовался я.

— Ай, гражданин, вы же не глупый, вы же понимаете, что тогда это вовсе неудобно.

Я оставил у нее свой чемоданчик и спустился в ресторан.

Там, как водится, во всю стену кадмиевой мякотью разрезанного арбуза пылал натюрморт. При взгляде на него челюсти сводила кислая судорога. Официантка в накрахмаленном кружевном кокошнике, не подав меню, нацелилась огрызком карандаша в блокнотик и быстро, заученно проговорила:

— Из первых есть борщ, суп-рассольник, из вторых — рагу с вермишелью, свинина отварная, компот, чай...

Выпив тепленького чаю, в который была сунута щербатая алюминиевая ложка, едва не всплывавшая в стакане от своей легкости, я долго катал по клеенке хлебный шарик. Эти маленькие невзгоды только забавляли меня. «Хорошо бы поселиться в этом городе летом,— думал я,— просыпаться на рассвете, когда из огородов пахнет помидорной ботвой и укропом, купаться в реке, покупать на рынке молоко, ягоды, свежую рыбу...»

Из ресторана я вышел в еще более светлом настроении. Даже как-то козлячье подпрыгивалось на ходу от его избытка.

А на улице густо вечерело. Освещенное заходящим солнцем небо из лимонно-желтого на западе к зениту переходило в зеленое, на востоке было дымчато-синим, почти фиолетовым, и чувствовалось, как оттуда со скоростью земного вращения летела на город ночь.

Я опять поднялся в гостиницу.

— Ай, гражданин! — закричала дежурная.— Разве обязательно нужно так шибко стучать в дверь? Разве у себя дома вы обязательно так шибко стучите дверью, чтобы напугать вашу жену? И мне жаль вас, гражданин. Мне вас жаль, потому что никакого артиста не послали в колхоз и все будут спать на своих койках. Я даже не могу предложить вам этот диван в коридоре. Пусть бы на нем спала я — таки нет! На нем спит такой же приезжий

гражданин. Но вы не унывайте, я сейчас позову вам Георгия Семеновича.

Она вылезла из своего фанерного закутка, ушла куда-то по коридору и вернулась с маленьким, в чистеньких голубых сединах старичком, одетым тоже чистенько и аккуратно — в высокие белые валенки, суконные брюки и вельветовую толстовку под поясок.

— Иркутов. Звучная, черт возьми, фамилия, не правда ли? — засмеялся он уже слегка дребезжащим смешком, протягивая мне руку.— Что, ни сбывища, ни крывища, ни крова, ни пристанища? Прошу в таком случае ко мне. Чем богат, как говорится.

Был он, если так можно сказать, уютный старичок и очень понравился мне спокойным достоинством своим и непринужденностью обращения.

— Не стесню я вас?

— Это уж оставьте. Ни к чему всякие церемонии,— досадливо сказал он.— И, пожалуйста, не бойтесь, что попадете к чеховскому печенегу. Я хоть и говорливый старикашка, но меру знаю. Так идете?

— Иду,— согласился я.

— Вы будете благодарить меня, гражданин,— сказала дежурная.

Она вынесла из закутка Георгию Семеновичу длиннополую шубу с потертым воротником черного каракуля, такую же потертую шапку колпаком, и мы вышли на улицу.

Последний свет догорал на золоченом кресте древнего храма, высоко вознесенном над городом. Луковидные маковки церквей — зеленые, голубые в серебряных звездах, проржавевшие до сквозных дыр, удлиненные и приплюснутые, с крестами и без крестов — четко вырисовывались на стылом небе по всему кругу горизонта.

— Ночевать вам придется в церкви. Антураж самый экзотический,— посмеиваясь, говорил Георгий Семенович.— Я пенсионер, но работаю научным сотрудником музея, и квартирка моя оборудована в церковном притворе. Раньше холод там был анафемский, но потом я сложил печь с боровами собственной конструкции, заплатил пожарникам какой-то штраф, но борова все-таки не сломал и теперь живу в тепле.

Мы шли по длинной, прямой улице, лучом исходящей от центра, окольцованного, как и во всех старых русских городах, торговыми рядами. Стоило лишь немного напрячь воображение, чтобы представить, как сто лет назад сби-

вались на этой площади возы, парил на снегу свежий навозец, пахло морозным сеном, гужами, овчинами, трезвонили по всей округе колокола, гнусавили на папертях нищие...

— Вы не смогли бы завтра показать мне город? — спросил я Георгия Семеновича.— Вы, наверно, старожил и знаток его?

— Знаток поневоле, а старожил — не сказал бы. Я не люблю такие города. Старина, конечно, иное дело, но эти маленькие окошечки, угарные печи, выгребные уборные... Обставлять жизнь человеческую такими атрибутами — кощунственно. Я в прошлом архитектор и думал, что делом моей жизни станет создание новых городов, но обстоятельства сложились так, что я сам доживаю век здесь, в церковном притворе, возле уродливой самодельной печи.

— Об этих обстоятельствах, пожалуй, можно догадаться,— сказал я.

— Нетрудно,— согласился Георгий Семенович.— Поселиться мне было разрешено только здесь и нигде больше. А до того я пятнадцать лет, изживая свой талант, свои знания, копал в болотах канавы, валил лес, был истопником в бане и, в общем-то, из человека здорового, сильного, увлеченного превращался в полубольного замухрышку, в замкнутого и подозрительного неврастеника, в сомневающегося и растерянного изгоя. И уже не знаю, что было мучительнее: невзгоды плоти, постоянное унижение твоего человеческого достоинства или всякие сомнения. Стоило только телу насытиться и согреться, так мысль сразу же раскрепощалась от суетной забавы о жратве и уходила к вопросам, куда более сложным. Я спрашивал себя: «А может быть, я на самом деле виноват и только по своей политической ограниченности не сознаю этой вины? Может быть, я действительно посягнул на святыню народа?» Дело-то, конечно, как я теперь понимаю, было плевое, но по тем временам могло сойти за преступление. Ставили мы тогда в одном городе монумент. Ну, как обычно — сапоги, долгополая шинель, рука за отворотом. И вот инженер-прораб похлопал эдак ладонью по пьедесталу и сказал: «Символ эпохи. Под миллион штучка-то стоит». А мне тогда вдруг вспомнилось, как мы недавно ездили компанией за грибами и остановились погреться в какой-то мимоезжей деревушке. Вошли в избу — стол с прогнившей крышкой, ком грязного тряпья на лавке, шесть чумазых погодков и хозяйка-вдова со вздутым животом под

ломким от грязи фартуком. Но улыбается приветливо и, черт возьми, жизнерадостно. «Верка,— кричит,— спосисъка к соседям, принесь стаканы». Верка — нечесаный дьяволенок — шмыгнула носом и убежала. А на столе голой задницей сидит другое чудо и смотрит на нашу снедь со страхом и изумлением. Я дал ему булку, кусок колбасы — он так и впился в них. Вот этот случай я и рассказал тогда у монумента да еще и обобщил. «Если бы,— сказал,— на миллион-то поправить тот колхозишко, построить той вдове и ее ребятам новую избу — живите, дескать, трескайте колбасу с булками,— то это и было бы самым точным символом нашей эпохи, а не мраморно-бронзовая глыба». Слышал мои вольнодумные слова не один прораб, так что не буду грешить на него — не знаю, по чьей милости загремел я на осушку болот, лесоповал, к банному котлу и наконец в этот городишко.

Мы остановились у железной церковной двери, Георгий Семенович достал ключ и, клацая им в замочной скважине, сказал:

— Теперь, помните, как у Бунина? «Дней моих на земле осталось уже мало». Уехать отсюда некуда, да и не к кому. Привык околачиваться по вечерам в гостинице, болтать с приезжими, играть в шахматы. Иногда удается заманить кого-нибудь в свою обитель, как вот вас...

Ключ повернулся, дверь завизжала, заскрипела, загрохала.

На другой день я проснулся, когда сквозь окно, забранное похожей на крестовую десятку решеткой, толстым снопом валило солнце. Пахло воском и хорошим кофе. Георгия Семеновича не было. Я оделся, примерил остроконечный, с тонким узором шлем, потрогал ржавый, почти в мой рост меч и увидел на столе записку, прижатую за край серебряной звездицей. «Пейте кофе. Меня найдете в музее. Дверь заприте на два оборота ключа».

Мы долго бродили в тот день по городу. В древнем русском зодчестве нет броской красоты, разящей мгновенно, как стрела. Оно полонит постепенно. Зная эту его медленную, но неотразимую силу, я подолгу стоял и смотрел на какую-нибудь церковку. Как и всегда, я думал сначала о том, что вот здесь, на этой самой паперти, тряслись когда-то юродивые в рубищах, выходили в подвенечных уборах первые князья со своими потупляющими очи княгинями, лилась христианская кровь под ножами татар. А между тем предельная прямизна линий, точнейшая пропорциональность всех размеров исподволь делали свое

дело, и я постепенно начинал испытывать ощущение чего-то, согласно и стройно стремящегося ввысь, чего-то поющего торжественно и печально.

Когда мы говорим, что у нас нет слов выразить прекрасное, то это не просто риторический оборот. И, может быть, вот из этого онемляющего потрясения прекрасным родилась музыка...

Мы продолжали наш обход древностей, когда мимо прошел человек в расстегнутой шубе, с огромным портфелем. Он улыбался, смотрел на нас и, кажется, не видел. Весна стояла как раз на том перевале, когда человеку хочется вот так расстегнуть шубу и брести, не торопясь, по улицам, подставляя солнцу лицо.

— Смотрите, вот тащится замечательный реставратор памятников старины Аркашка Аристархов,— сказал Георгий Семенович.— Бессребреник, энтузиаст, мало того — фанатик. Эй, Аркадий! Куда это ты, трудяга, с таким портфелем?

— Куда? — встрепенулся тот, точно проснувшись.— Да вот, говорят, грачи прилетели. Сидят на тополях в парке. Иду смотреть. Пойдемте?

— Грачи? Это интересно,— сказал Георгий Семенович.— Пойдем, пожалуй.

Мы тоже расстегнули шубы и пошли. На разметенных аллеях парка в переплетении тонких ветвей, пронизанных синевой и солнцем, возились, гомонили блестящие, как вар, грачи.

— Вот они. Работают,— удовлетворенно сказал Георгий Семенович, задирая свою голубую бородку и прикрывая ладонью глаза.

А молодой лейтенантик с очень красивой спутницей под ручку прибавил:

— Мало их пока. Должно быть, квартирьеры.

В это время неподалеку опустился на аллею крупный исчерна-сизый грач, неторопливо, с достоинством уложил крылья, покосился на нас глазом в седом обводе и тюкнул носом комок снега.

— Хорошо! Стоим и на грачей смотрим,— сказал Георгий Семенович.

— В расстегнутых шубах,— глубокомысленно добавил Аркашка.

И, постояв еще немного, мы разошлись по своим делам.

1963

КАК РАЗЖЕЧЬ СЫРЫЕ ДРОВА

В далеком прошлом есть у Никонова один счастливый день, который он вспоминает особенно часто.

Утром Никонов должен был ехать в лес за дровами. Он проснулся в том ясном состоянии духа, когда нагревшиеся за ночь на печи валенки, старый охотничий полушубочек, вчерашние щи из квашеной капусты, скрип под ногами промерзших досок в сенях — все такая радость, что хочется идти, напевая и чуть подпрыгивая.

По зимнему времени было даже еще и не утро. Напряженно горя всеми своими звездами, широко распластался в небе Орион, чуткая к малейшему звуку тишина наполняла город, и совсем еще по-ночному был палящ и сух морозный воздух. И только дымки над печными трубами да узкая щелочка света в каком-нибудь небрежно замаскированном окне указывали на то, что люди уже проснулись и собираются на работу.

Пошевеливая плечами, чтобы чувствовать приятную тесноту полушубка, Никонов шагал по улицам. Под шапкой у него было непривычно просторно и холодно. Он был уже призван в армию, пострижен под машинку и, хотя продолжал посещать уроки в школе, со дня на день ждал отправки... куда? На фронт? В училище? То время с мгновенной быстротой волшебника творило из школят, куривших по уборным в рукава, солдат, чья жизнь простиралась в будущее всего-то, быть может, на несколько дней. Шла вторая военная зима. Никонов сам всего лишь через три месяца после того дня был ранен и едва остался в живых, а пока он размашисто шагал по хрупкому снегу и еще как-то особо, с вывертом, ставил ногу, чтобы снег взвизгивал под подошвой на всю улицу: «хррыпуии...»

В небе чуть побледнело, когда он пришел к больничной конюшне, ударил в дверь, обитую драной мешковиной, крикнул на кашель и кряхтение за дверью:

— Зотыч! Отчиняй!

Конюх вывалился из крутого, пахнущего сыромятной сбруей тепла сторожки, долго кашлял и стонал.

— Покуда не закурю, буду вот эдак маяться,— пожаловался он.— У тебя нет?

— Нет, Зотыч. Сам стреляю,— засмеялся Никонов.

Его волновал и радовал едкий запах махорки, сбруи и лошади, исходивший от конюха, хотелось самому управляться со всеми этими хомутами, подпругами, дугами, че-

ресседельниками, которыми так суетливо и неловко, как ему всегда казалось, тыкал, растопырив локти, Зотыч, и в то же время было боязно принять на целый день в свое полное распоряжение лошадь и все ее санно-гужевое хозяйство. Между тем Зотыч закладывал в поскрипывающие сани мохнатую понурую лошаденку — вовсе не того литого начищенного, как сапог, до сизоватого блеска жеребца, в легких саночках с которым ездила по городу к больным до войны мать Никонова.

— Где-то теперь Резвый...— сказал Никонов, зная, что воспоминания о жеребце всегда томительно-приятны Зотычу.

И, как всегда, Зотыч, соединяя гордость своим любимцем с возможностью самого мрачного исхода его судьбы в это полное превратностью время, ответил:

— Либо под командармом, либо на колбасу пущен.

Кончив запрягать, он хлопнул лошаденку по крупу рукавицей.

— Час добрый!

Никонов сел в сани, на жиденькое сенцо, повозился, усаживаясь поудобнее, и причмокнул. Лошаденка напряглась и, кланяясь мордой до самых колен своих, потянула.

Недолгие сумерки ясного зимнего утра кончились. На пригородные пустыри с торчащими из-под снега кустиками бурой полыни лег желто-розовый отблеск восхода. Синела пробитая в глубоких сугробах дорога. Наста еще не было, и молодой легкий снег не сверкал, как это бывает к исходу зимы, а весь тонко и чисто просвечивал до самых своих глубин. Будущее, хоть и тревожило Никонова своей опасной неизвестностью, рисовалось ему очень смутно, и он, не чувствуя сейчас за собой иных забот, кроме той, что надо заготовить маме побольше дров, лихо покручивал над головой вожжами, а в груди у него само собой так и пелось:

В лесу, говорят,
В бору, говорят,
Растет, говорят,
Сосеночка...

Лошаденка шла охотно, угонистым, спорым шагом. Вскоре стали попадаться кривые, выросшие на отлете сосны, а за ними уже высился торжественно и стройно редкий золотоствольный бор. Путь был не близкий. В мимоезжей деревне за лошадью, заходясь в исступленном лае, увязались собаки — все, как одна, рыжие, с белой косматой грудью, лиловой от напряжения глоткой и белесыми гла-

зами; потом дорога уходила то в темные заснеженные ельники, то в сквозные сиреневенькие березняки, то выбивалась на светлую порубку с пеньками под круглыми шапками, то опять скрывалась в лесах — все более плотных, немых, диких...

Летом Никонов сам напилил здесь с корня пять кубометров дров. Теперь он только показал леснику уже истершуюся в тряпочку квитанцию, и тот — косоглазый, с заведенными вверх к переносице зрачками парень в лисьем треухе, в пиджаке, надетом на нижнюю рубаху,— вывел на ней «два кбм» и расписался.

— Накинул,— уверенно, но весело, не желая портить себе настроение из-за нескольких поленьев, которые он все равно прихватит в следующий раз, сказал Никонов.

— В аккурат,— возразил парень, но все же, оглядев понурую с закуржавевшими боками лошаденку, взял из рук Никонова квитанцию и переправил два кубометра на полтора.— Я тебя помню,— дружелюбно сказал он.— Ты охотник, у тебя гончар хороший был. Цел?

— Куда там! — махнул Никонов рукой.— Продал. В армию иду.

И поднял в подтверждение своих слов шапку.

На делянке он промял к ближайшей поленнице тропку, снял полушубок и, легко вскидывая на плечо метровые березовые кругляши, нагрузил и увязал воз. Теперь он шел за санями, свободно кинув на дрова вожжи, подпирая на взгорках воз колом, и вскоре из-под шапки у него потекли струйки пота. Тяжела была еще не наезженная дорога, сухой, сыпучий, как песок, снег. Собаки в деревне, видя в руках Никонова кол, лаяли теперь издали. За деревней Никонов остановил лошадь, присел на дрова и вынул из кармана круто посоленный ломоть хлеба и луковицу. Вкусен был этот холодный хлеб; какое-то особое удовольствие было в медленном его пережевывании среди этой морозной тишины, в хрусте луковицы, в том, что за едой можно было, прищурив глаза, смотреть сквозь пар своего дыхания на далекие увалы полей и перелесков, на искристое в тонкой изморози небо, на серые хлопья вороньей стаи над деревней, на маленькую фигурку с дровешками, косо бредущую в постромках по боковой дороге.

Никонов доел хлеб, кинул в рот с ладони крошки и шевельнул вожжами. Он хотел проехать стык дорог раньше, чем к нему выберется та фигурка с дровешками, и подгонял лошаденку, едва поспевая за ней. Он обогнал

уже не одни такие дровешки. День был воскресный, город, как мог, вывозил из лесу свои дрова, и Никонов с неприятным оживлением совести чувствовал себя при этих встречах каким-то аристократом.

Упираясь колом в задок саней, он покрикивал:

— Шевелись!

Но уже видел, что опоздает. И вот фигурка выбралась на главную дорогу, выпрямилась, остановилась у обочины, дожидаясь, когда пройдет лошадь.

То, что случилось вслед за этим, было неожиданным, почти невероятным, но все же случилось. Когда фигурка, одетая в коричневый, выгоревший до рыжины плащ поверх чего-то теплого и толстого, выпрямилась и повернулась к Никонову, слепо глядя встречь солнца, он узнал Налю.

В тот год поредевшие десятые классы городских школ соединили в один. Никонов оказался среди новых, незнакомых ему людей, в незнакомой школе, перед незнакомыми учителями, и на первых порах чувство возбуждающей новизны не покидало его. Преломляясь в этом чувстве, действительность казалась интересной, девушки — загадочней и красивей. Наля Неведова выделялась среди них особой — смуглой зеленоглазой красотой, стремительностью и в то же время ловкой гибкостью всех движений, быстрой, захлебывающейся от избытка темперамента речью. Когда она смеялась, запрокидывая голову, у нее надувалось горло и под смуглой кожей на нем трепетала голубая жилка. После каких-то взглядов на уроках, после каких-то с виду незначительных разговоров на переменах Никонов подбросил Нале записку, назначая ей свидание в парке. Он помнил колкую свежесть этого осеннего вечера, в который запах палого листа как-то истончался, становясь влекуще и томительно неуловимым. Сложное чувство будил этот запах. В нем соединялись и грустное ощущение осени, и острое наслаждение красотой черного, но в то же время совершенно прозрачного до самых небесных глубин воздуха, и жуть одиночества в этом парке, среди белых, точно замороженных статуй. Казалось, совсем недавно сверкал и гремел здесь в последнее предвоенное лето карнавал — пестрая вьюга конфетти, перепутанный дождь серпантина. На Никонове была полумаска с белыми навыкате глазами и клубничным носом, несколько перышек зеленого лука в петлице. В беззаботно-дурашливом настроении он подходил к томившимся в своих киосках продавщицам и спрашивал: «Квас есть?» —

«Нет».— «А квас?» Теперь же тишина, тьма, холод, сухое, мертвое шуршание листьев под ногами... Каким-то радужным, мимолетно пригрезившимся сном казалась Никонову вся эта жизнь. В ней хорошенькая девушка Наля непременно пришла бы на свидание, но теперь, он был уверен, не придет. Его вдруг даже скорчило от стыда за свою небрежно-нагловатую записку, и он пустился бежать вон из парка, путаясь в палой листве, спотыкаясь о затвердевшие бугры клумб. Лишь позднее, на школьном вечере, все само собою разрешилось между ними. Он взбежал на второй этаж, в темный коридор с квадратами зеленого лунного света на полу, увидел у окна Налю, и оба они молча потянулись друг к другу. С той минуты для них настало тяжелое смутное время взаимного узнавания, недоумений, оторопи перед чувством, с которым они еще не знали, что делать.

Продолжалось оно, это время, и сейчас, когда они встретились на лесной дороге.

Смуглые щеки Нали рдели темным румянцем, но под глазами лежали голубоватые круги усталости, устал и медлен был жест руки, которую она подняла, чтобы загородиться от солнца. Смущение, нежность и жалость охватили Никонова. Забыв остановить лошадь, он шагнул к Нале и близко заглянул ей в лицо.

— Ты? У вас что же — никого мужчин в доме нет?

— Нет,— сказала Наля.— Смотри, лошадь твоя ушла.

— Стой, стой! Тпру! — закричал Никонов и, увязая в снегу, побежал по дороге, но лошаденка встала, и он вернулся.— Да-а-а,— сказал он, оглядывая Налин возок из тоненьких березовых кругляшей.

Он хотел добавить, что эти палки ни к черту не годятся, но вовремя спохватился.

— Ну что же, давай потянем,— сказал он, берясь за лохматую веревку.

Они подтащили дровешки к саням и привязали их к задку. Но лошаденка, давно не кормленная овсом, только натужно возилась, переступала в оглоблях и не брала с места. Тогда Никонов опять налег на кол, качнул сани.

— Н-но! — крикнул он, как заправский возчик.— Выручай, мил-а-ая!

Идти рядом по узкой дороге было неудобно. Работая изо всех сил колом, Никонов спрашивал Налю через плечо:

— Что же ты одна-то рвешься? Почему мне не сказала?

— Я каждое воскресенье вожу,— с гордостью ответила Наля.— Мы с мамой стараемся, чтоб на всю неделю хватило. Холодно, конечно...

— У меня мама тоже одна останется,— с неожиданной для него самого жалобной ноткой вырвалось у Никонова.

— Я буду к ней приходить, если можно,— тихо сказала Наля.— Одной очень трудно. У нас папа на фронте и брат. Оба пишут пока... Ты знаешь! — вдруг засмеялась она, и он понял, что она хочет отвлечь его от невеселых мыслей.— У брата не было девушки, и когда он уходил на фронт, положил в карман мою карточку, чтобы быть как все.

Оттого, что они приобщались сейчас к каким-то подробностям семейной жизни друг друга, заручались взаимной помощью в эти тяжелые дни, было Никонову хорошо и странно, точно его приласкали теплой и мягкой рукой. Когда они садились отдыхать на дровешки, он обнимал Налю, целовал ее в холодные губы, в щеки и уже не чувствовал той отчуждающей тяжести, которую несли они оба все это время.

Уже потянулись по снегу длинные синие тени от сосен, поблекло и ушло ввысь предвечернее небо, и прозрачный серпик на нем стал наливаться голубовато-молочным светом, а возок с дровешками на прицепе все еще тащился через бор и пригородные пустыри.

Никонов перестал ходить в школу. Каждый день он бывал теперь в лесу — если была свободна лошадь, то с ней, а чаще всего с дровешками, самопрягом,— или орудовал пилой и колуном во дворе у себя и у Нали. Вот как случилось, что предармейские дни его были наполнены свежестью зимнего леса, сладким истомлением мускулов, запахом березовых опилок и прежде всего новым для него чувством родственной близости к Нале, несущим его, словно теплая волна.

Из армии Никонов вернулся через шесть лет — лейтенантом, уволенным в запас. Вскоре он женился на Нале, похоронил мать, потолкался с непривычки к мирной жизни и ее труду по разным должностям и, проявив некоторые способности к газетной работе, прочно осел в городской редакции. Но и тому уже много, много лет.

По сей день он живет все в том же доме и зимой, вернувшись с работы, любит сам топить печь. Еще по осени, когда кажется, что вечно будут висеть над городом тяжелые, как мокрое сукно, тучи, ветер крутит вихри палой листвы и асфальт на главной улице потеет какой-то

слизью, отрадой становится печное тепло, сухой прогретый воздух деревянного дома. Никонов приносит из сарая большую охапку дров, и через несколько минут по всему дому начинает пахнуть березовым соком — хозяин он нерадивый, и дрова у него всегда свежие, только что из-под пилы. Чтобы разжечь их, нужна немалая сноровка. Сначала Никонов тщательно готовит растопку: сдирает с поленьев бересту, потом ломает заранее высушенную смолистую лучину, нетуго скручивает жгут из старой газеты и складывает все это в узкую нишу под дровами. Остается только чиркнуть спичкой. Хилый лепесток ее огня следует подносить сначала к газете, от газеты занимаются тонкие, как иглы, волокна на сломах лучин, а потом, жирно и черно коптя, сворачиваясь в трубки, загорается береста. В этом деле требуется неторопливость и терпение. Стоит свернуть слишком туго газетный жгут или не переломить лучину, и какое-нибудь из последовательных звеньев всей процедуры не сработает. Тогда, обжигая руки, пачкая их в саже, низвергая на пол каскады золы, приходится начинать все сначала.

Потом Никонов закрывает дверцу и слушает, как печь мощно сосет воздух. Она гудит на разные голоса в зависимости от погоды. В тихий, сырой и теплый день гуд бывает вялый, точно отягченный и обессиленный этой сыростью: на безветрие и сухой холодок печь отзывается ровным наполненным органным ревом, а при ветре в ней что-то ворочается, вздыхает и вдруг хлопает, как мокрое полотенце на веревке.

Когда дрова перестают стрелять и потрескивать, можно, слегка приоткрыв дверцу, заглянуть в печь. И если на поленьях нигде нет черноты, если все во чреве печи бездымно сияет золотистым, голубым и белым накалом, то уже не опасно совсем распахнуть дверцу, чтобы всласть любоваться бесконечными превращениями огня.

Никонов давно уже втайне от своих друзей и знакомых пишет книгу об огне, которая по его замыслу должна быть страстным и ярким, как сам огонь, рассказом о фантастической красоте огня, о его животворной силе, о трагизме его стихии. Огонь свечи, освещавший лист бумаги под пером Пушкина, охотничий костер Тургенева, светильники персидских гербов, созидающий огонь Пьера Мартена; пожар безумца Герострата, позорное пламя костров средневековой инквизиции и печей Освенцима — вся история самой Земли, ее цивилизации и культуры кажется ему озаренной светом огня и накаленной его жаром. Он хочет,

чтобы ликующим гимном и печальным реквиемом звучал этот рассказ об огне, и потому работает упорно, придирчиво, зло.

Читает написанное Никонов только Нале. И часто, очень часто, едва запахнет в доме березовым соком и забьется в печи огонь, ему вспоминается тот далекий зимний день, соединивший их в чем-то гораздо большем, нежели та первоначальная хиленькая любовь, которая не устояла бы перед годами, разминувшими их в жизни.

1964

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Дверь, обитая дерматином, не успела вовремя закрыться, и Крылов слышал, как Искра Михайловна сказала кому-то в приемной:

— Опять наш главный не в духе.

— Баба! — пустил ей вдогонку сквозь зубы Крылов.— Дура!

Чувствуя, что сердце начинает колотиться неровно и часто, а рука, державшая толстый синий карандаш, пошла ходуном, он встал, опустил фрамугу и уперся лбом в переплет оконной рамы. От стекла тянуло в лицо сырым холодом. Временами Крылов находил своеобразную прелесть в заоконном пейзаже с его ажурным переплетением ферм подъемных кранов, сбегающимися и разбегающимися на стрелках рельсами, с маленьким хлопотливым паровозиком без тендера и думал в несколько высокопарном стиле: «Вот она, поэзия железных каркасов...» Но иногда это железо, этот каменноугольный дым, этот колюче вспыхивающий на солнце шлак угнетали его. И сейчас ему тоже казалось, что будь под окном какие-нибудь пестрые осенние цветники, какие-нибудь золотистые аллеи, и у него не так бы сильно ломило во лбу.

«Поэзия железных каркасов... Дурак!» — подумал он и усмехнулся. Когда и себя он ни за что ни про что обругал дураком, ему окончательно стало ясно, что головная боль сегодня особенно сильна, что работать он не может и что день безнадежно испорчен.

На звонок, мелко семеня крепкими полными ногами в узкой юбочке, вошла Искра Михайловна, остановилась

точно на середине ковра и вопросительно устремила на Крылова взгляд, которому длинные прямые ресницы как бы давали направление.

— Придет директор, передайте — болен, еду домой,— хмурясь, как всегда, когда ему приходилось сознаваться в своем недуге, сказал Крылов.

— Вызвать Мартынова? — спросила Искра Михайловна, умевшая перед лицом начальства в любом случае оставаться деловито-исполнительной и бесстрастной. В приемной же, Крылов знал, она напропалую кокетничала с молодыми инженерами и грубила рабочим.

— Вызовите,— сказал он.

Но когда у подъезда шофер Мартынов — миловидный курчавый мальчик допризывного возраста — распахнул навстречу ему дверцу новенькой черной «Волги», он решил пройтись пешком. Стоял, быть может, последний теплый день. Вагоны дальних поездов уже привозили на крышах снег, а здесь все еще не было даже утренников, и липы на улицах еще не облетели.

Сгорбившись, надвинув на глаза шляпу, шаркая ногами, Крылов медленно шел по солнечной стороне. Каждый шаг тупым ударом отдавался в голову. Он давно уже привык переносить эту боль, и теперь она не мешала ему думать о том, что дома у него нет обеда и если он сейчас ляжет, то вечером все равно придется вставать и где-то искать перекусить, потому что на голодный желудок голова будет болеть еще сильнее.

«Лучше уж сейчас,— решил он.— Днем в ресторане не так многолюдно и шумно».

Зал ресторана и впрямь был пустынен и бел, как снежное поле. Блистающими сугробами стояли под свежими скатертями столы. В большие окна ярко, холодно светило солнце. Крылов заказал обед и почти насильно впихнул его в себя, обильно запивая нарзаном, но, когда поднялся, вдруг почувствовал дурноту, быстро вышел в уборную, и там его судорожно, удушливо стошнило.

«Плохо»,— подумал он, глядя в зеркало на свое зеленое, осунувшееся лицо.

Он сразу так ослаб, что руки и ноги у него дрожали. Домой он едва дотащился, уронил в прихожей на пол пальто и, не раздеваясь дальше, повалился на тахту. Спать он не мог, думать последовательно — тоже и знал, что минуты и часы, наполненные болью, скукой, прыгающими мыслями, потянутся теперь нескончаемо долго. Это еще больше раздражало его. Ни с того ни с сего вдруг подума-

лось, что надо бы остричь голову под машинку, потом из красноватого тумана выплыло мальчишеское лицо Мартынова, и Крылов громко, со злорадством в голосе крикнул:

— А, Мартынов! Это ты убил Лермонтова?

Когда пришла заводская уборщица Домна Васильевна, два раза в неделю убиравшая его квартиру, Крылов метался по тахте и громко стонал.

— Али доктора позвать, Николай Андреич? — всполошилась Домна.

— К черту! — сказал Крылов.

Он давно покончил счеты с докторами. Вот уже больше двадцати лет после контузии на фронте у него болела голова — то слабее, то сильнее, но постоянно. А любое недомогание, будь то простуда, переутомление или просто дурное настроение, вызывали приступы такой мучительной боли, что у него мутнело сознание. С этой болью он учился в институте, с ней читал книги, ходил в театры, работал, ел и спал. Из-за нее не удалась его семейная жизнь. Он всегда старался, чтобы окружающие не ощущали на себе его болезненное состояние — не жаловался, не капризничал,— но все-таки был, как и сам понимал, тяжелым, молчаливым и раздражительным человеком. Поэтому он осуждал не жену, которая ушла от него, а себя — за то, что женился, переоценив свои духовные и физические силы. Коробило его только то, что ушла она с каким-то пошлым субъектом, который, имея, как оказалось, диплом инженера, ходил по домам травить крыс. Высокий, спортивного сложения парень с красивым лицом и надменным взглядом, он звонил в дверь и вежливо спрашивал: «Грызуны не беспокоят?»

— Николай Андреич, батюшка,— причитала Домна,— да что же это с тобой делается? Перекрестись, батюшка, легче станет.

Совершенно ошалев от боли, Крылов широко осенил себя крестным знамением.

— На тебе! Что, легче стало? Как бы не так!

Он дал Домне раздеть себя и уложить в постель, потом слышал, как она звонила по телефону на завод Искре Михайловне и просила ее приехать.

«Это еще зачем?» — подумал Крылов, но воли его уже недоставало на то, чтобы препираться с Домной. Некоторое время он еще видел, как она входила и выходила, то поправляя ему подушки, то смачивая губы чем-то кислым, но вскоре перестал сознавать что-либо реальное и

весь погрузился в тяжелый полубред. Ему казалось, что Домна — его мать, и он каждый раз, когда она подходила к нему, пытался поймать и поцеловать ее руку. «Значит, меня обманули, сказав, что она умерла»,— думал он, но в то же время ясно помнил, как сам хоронил ее; к тому же высокая, сухопарая Домна нисколько не была похожа на маленькую, пухленькую, с розовыми щечками старушку маму, и от бессилия разобраться во всей этой путанице Крылов опять начинал стонать и метаться. Потом он почувствовал знакомый раздражающий запах духов Искры Михайловны.

— Что вы, Домна Васильевна, мне неудобно оставаться здесь на ночь,— сказала она.— Пойдут разговоры.

— Милая,— уговаривала ее Домна,— ведь у меня внучонок один в квартире. Испугается малый, плакать будет.

— Ладно,— послышался фистулящий басок,— я могу остаться. Про меня разговоры не пойдут.

— Ты грубиян, мальчишка! — взвизгнула Искра Михайловна и, кажется, топнула ножкой.

Крылов с трудом открыл глаза, чтобы удостовериться, не бред ли все это, увидел перед собой Мартынова и опять крикнул:

— А, это ты убил Лермонтова!

Но теперь Мартынов не смолчал, как в первый раз. Он взял Крылова за плечи, прижал его к подушкам и сказал своей резкой фистулой:

— Ерунду говорите, Николай Андреевич. Лежите спокойно. Вам рыпаться нельзя.

— Грызуны не беспокоят? — спросил Крылов.

— Все в порядке,— ответил Мартынов.

В комнате задернули шторы, стало тесно и тихо. Крылов давно уже потерял счет времени, но все-таки чувствовал, что до вечера далеко, а впереди еще и бесконечная ночь. В минуты просветления, чтобы забыть о страданиях, он заставлял себя думать о чем-нибудь приятном и настойчиво возвращался памятью к далекому-далекому дню своей предвоенной юности, когда он — парень в белой рубашке с отложным воротничком — гулял с девушкой по редкому, пронизанному солнцем лесу. Как особенно чисто и радостно светит солнце в редком сосновом лесу! Косо ниспадая к земле сквозь высокие хвойные кроны, его лучи переливаются оранжевыми, голубыми, желтыми оттенками такой кристальной прозрачности, без единой пылинки, что кажутся отфильтрованными и освеженными в какой-то чистейшей прохладной влаге. Девушка молчит, не смотрит

на Крылова и, приседая, рвет крупные ромашки. А когда с огромными букетами этих ромашек они возвращаются в город, за ними тянутся мальчишки окраинных улиц и нудными голосами канючат цветочек. Крылов отделяет от своего букета тоненький пучочек и дает мальчишкам — отвязались бы только, дьяволята! Но тут женщина в фартуке, в валяных головках на босу ногу, набирая у фонтанки воду, звонко кричит на всю улицу: «Чтобы девушка тебя по стольку-то любила, кащей жадный!»

Все это вспоминалось Крылову непоследовательно, отрывочно; в его сбивчивых мыслях ускользающе мелькали то назойливые мальчишки, то женщина у фонтанки, то платье девушки, широким кругом расстилавшееся по земле, когда она приседала, и только устойчивое ощущение затопленного солнцем леса опять и опять возвращало его к тому дню.

Наконец боль так утомила Крылова, что он забылся в тяжелом, перемежающемся кошмарами сне. Потом и они оставили его. Был ли это глубокий, без сновидений сон или обморок, Крылов не знал. Он очнулся на другой день и сразу понял, что именно другой день, потому что через зашторенное окно, выходившее на восток, в упор светило яркое солнце. Чувствовалось, что там, за шторами, сквозившими каждой своей клеточкой, его так много, что ему тесно даже среди глубоких небес осени и хочется поскорей ворваться еще и сюда, в комнату.

Крылов встал и отдернул шторы. И сейчас же в комнате все точно вспыхнуло: стекла нижних шкафов, блюдообразный плафон люстры, стакан с водой на тумбочке у кровати, наручные часы, чернильница, авторучки на письменном столе — все так и брызнуло разноцветными осколками солнечного спектра.

— Ух! — глубоко вздохнул Крылов.

Ему показалось, что в комнате все еще мало света. «Надо попросить Домну вымыть стекла»,— подумал он и, выдернув из гнезда шпингалеты, распахнул еще не заклеенное к зиме окно. Медленной лавиной, окатывая Крылова с головы до ног, в комнату потек холодный утренний воздух. Далеко внизу на школьном дворе кричали дети, содомились в голых липах воробьи. Множество красных и зеленых крыш лежало перед окном, как-то особенно веселя своей пестротой.

«Свет, воробьи, крыши... Все это — мне!» — радостно подумал Крылов, начиная дрожать то ли от холода, то ли от волнения.

Он засмеялся, натянул пижамные штаны и побежал в ванную, но в соседней комнате вдруг с удивлением увидел, что на тахте кто-то спит, укрывшись рыжим бобриковым пальтишком. По курчавой шевелюре можно было узнать Мартынова. Чтобы не разбудить его плеском воды, Крылов поплотней прикрыл за собой дверь ванной и, пока стоял под горячим душем, все радовался, что в доме оказался живой человек и что сейчас он, Крылов, потихоньку оденется, спустится в магазин, купит там колбасы, сыру, свежего хлеба, потом вскипятит чай, разбудит Мартынова и они вместе позавтракают.

Но когда все было готово, Крылову стало жалко будить мальчика. Сон его на свежем воздухе, уже затопившем всю квартиру, был так глубок и спокоен, что сам по себе прервался бы еще не скоро. Крылов позавтракал на кухне один. Потом накрыл Мартынова одеялом, оставил ему записку и пошел на завод.

Голова болела не сильнее, чем обычно.

1964

СНЕЖНЫЕ ПОЛЯ

Умер у себя в деревне Алексей Ефимович Буранин, бакенщик...

Я долго шел со станции через сверкающие снега, загораживаясь от бокового ветра пахучим на морозе каракулевым воротником, и узкая тропа в снегах отзывалась на мои шаги каким-то пустотным звоном.

Вечер. Лежу, свесив голову, на жаркой печи, а внизу, в передней, где полно людей, но приличествующе случаю тихо, какой-то мужичок рассказывает:

— Я три дни в городе луком торговал, а нонче иду домой, вижу, под деревней в поле человек кружит. Ближе. Глядь, он. Ты, спрашиваю, Алексей Ефимович, чего тут? Да зайцев, говорит, троплю. Я еще подивился: человек намедни пластом лежал, душа с телом прощалась, а нонче зайцев тропит. И, главное, ружья при нем нет. Пришел домой, рассказываю бабе про диковинную эту встречу, а та на меня бельма выкатила: ты, говорит, в уме ли? Алексей-то Ефимыч еще вчерась помер.

Кто-то протяжно вздыхает. Краснолицая массивная старуха в черном, которую все здесь называют кокой,

крестится. И уже другой — маленький, прямой, как карандашик, с выпуклой грудью солдата — рассказывает свое:

— Мы с ним однолетки, до войны четырнадцатого года вместе призывались, вместе служили. Он писарем был, Бывало, какой приказ написать, он вмиг. А уж придет к нему солдат за отпускными документами, он не куражится над ним, не волокитит, все оформит как надо, и езжай себе солдат, гости дома у отца-матери...

— Про Алексея Ефимыча худого слова не скажешь,— приговаривает кока.

И тотчас в передней оживает одобрительный шумок: вздыхают, ворочаются, кивают головами:

— Не скажешь...

Передняя кажется мне очень темной, хотя под потолком горит сильная лампочка. Отчего это? Быть может, оттого, что весь день слепило меня оранжево-голубое сияние снегов, а может быть, так уж от века устроена деревенская крестьянская изба, что сколько ни внеси туда света, все равно будет лежать за печкой, в углах, стелиться по полу эта мутная темь. Вот и холодильник как-то нелепо громоздится белой глыбой в углу под иконой божьей матери. Он выключен на зиму; стряпая к завтрашним поминкам, дочери и снохи то и дело кидаются в сени за мясом, за рыбой, за медом, и передняя выстужена, как сарай.

Мне становится неловко так долго занимать место на теплой печке, но коченеть внизу, засунув руки в рукава, тоже не хочется. Лучше уж поразмяться на воле. Я спускаюсь по лесенке, выбираю из груды старья за печкой большие подшитые валенки, надеваю латанный на спине полушубок, шапку и выхожу на крыльцо.

Ветра нет уже. Но какой мертвой, навечно оцепеневшей от холода кажется ночь в этом безветрии! Ни вспышки огня, ни звука, ни движения в снежных полях.

Я по привычке отыскиваю на нем знакомые созвездия, а сам неотвязно думаю о том, кто лежит сейчас за этой стеной в темной горнице, и вечность светил в сравнении с ним кажется мне какой-то ранящe обнаженной.

«Нощь смертныя мя постиже неготова, мрачна же и безлунна...»

Иду подальше от темных окошек горницы, нарочно с нажимом ставлю ногу в неуклюжем валенке, чтобы хоть скрипом снега разогнать эту холодную тишину, а повернув в прогон, вдруг слышу из полей натужное урчание трактора. Огней его не видно за изволоком, но я знаю, что он

пробивается сюда, к деревне, разгребая на завтра дорогу от кладбища. Это единственный звук, который дает ощущение жизни в замороженной, осыпающейся острыми кристаллами ночи, и я иду к нему, глубоко и крепко увязая в смерзшихся сугробах. Наконец вижу, как свет фар двумя столбами уходит из-под изволока в темное небо. Трактор неуклюже ворочается в глубоком снегу, откатывается назад, бьет тяжелым ножом в нагромождения снежных глыб, вспыхивающих под фарами голубыми искрами.

Становлюсь в полосу света, машу рукавицей. Тракторист, видно, рад человеку. Останавливает трактор, вылезает из кабины. Закуриваем с ним, разглядываем при коротком свете спички друг друга. Я вижу потное мальчишеское лицо с широкими скулами и острым подбородком, глубокие глазницы, белобрысую прядку из-под шапки.

— Пробьешь сегодня до деревни?

— Пробью. На час работы осталось.

— Родственник будешь Алексею Ефимычу?

— Нет. Знакомый.

— У него много знакомых. Ходовой был старик. Завтра посмотришь — со всех деревень соберутся. Любили его у нас.

«Про Алексея Ефимыча худого слова не скажешь»,— вспоминается мне.

— Садись,— кивает тракторист на свою машину.— Вдвоем время скорей побежит.

Лезем в кабину, в масляный запах машины, и меня долго валяет и дергает, пока наконец снежный навал перед ножом не раздается надвое, и трактор вылезает на торную деревенскую дорогу.

Идем в избу. Там уже накрыт стол к ужину, и кока во главе стола медленно, округло и плавно раздает из-под самовара чашки с дымящимся чаем. В углу, у стола и вроде бы как-то вдалеке от него сидит вдова; невидимая тяжесть круто согнула ей плечи, и она не поднимает взгляда от колен, на которых лежат ее темные жилистые руки с искривленными на верхнем суставе пальцами.

Трактористу наливают полный, по самый край, стакан водки. Он кидает на пол у порога свою промасленную до глянца тужурку, шапку, скрутившийся в веревку шарф и, наколов на вилку большой груздь, пьет. И сразу глаза у него становятся белые и пустые. Он сам понимает, что охмелел, смущенно посмеивается, трясет головой, бормочет:

— Ничего. Это с устатку, с холоду... Мне только машину поставить...

Я провожаю его до трактора. Он, видимо, сразу трезвеет, как только берется за рычаги, трогает плавно, без рывка, и уверенно держится дороги.

Я долго смотрю ему вслед.

Ах, как длинна еще впереди ночь! Еще только ее начало, восьмой час, и время, которое надо прожить до утра, ощущается как тяжесть.

Утром я просыпаюсь поздно. Апельсиновый свет солнца горит в замороженном окне. Пахнет теленком, и сам он в углу за кроватью, чмокая, сосет край моего одеяла. Вспоминаю, что я в соседней избе, куда определили меня на ночлег, и тороплюсь встать, пока никого нет. Упругая бодрость, легкость чувствуется во всем теле после глубокого долгого сна. Выхожу на крыльцо. Ясный ветреный день на грани февраля и марта уже сияет густой весенней синевой. Все в нем чисто и четко, как на гравюре,— заиндевелые ветви косматой березы, вороны у дымящейся проруби на пруду, заборы, антенны над крышами, зубцы хвойного леса по горизонту. На крыльце, в затишке, чувствуется, как солнце совсем по-весеннему пригревает щеку, и на карнизе матовая с ночного мороза сосулька уже сверкает на самом кончике алмазной каплей.

К избе напротив прислонена кумачовая крышка гроба с венком из бумажных цветов; траурно темнеют на чистом снегу еловые лапы. У избы стоят закутанные в платки ребятишки, в жуткой зачарованности смотрят на гробовую крышку, а по тропинкам в глубоком снегу идут, идут черные согбенные фигурки стариков и старух, сверстников покойного.

— Вот денек-то дал бог Алексею Ефимычу на прощанье,— говорит, останавливаясь возле меня, старик с завязанными красным платком ушами и долго вытирает слезящиеся от нестерпимого блеска снегов и солнца глаза.

Я тоже иду взглянуть в последний раз на Алексея Ефимовича. Снег ядрено хрупает под ногами, ветер колюче, сухо обжигает лицо. Обиваю голиком валенки и вхожу в переднюю. Здесь черно от траурных платков. Старик, вошедший со мной, снимает шапку, крестится в угол на холодильник и плечиком, плечиком пробивается в горницу. Вдова и кока в головах у покойного, при появлении новых людей начинают голосить с причитом. Вижу изжелта-желтый блестящий лоб, длинные, как у всех покойников, веки, серую щеточку усов. И сколько не мертвого, а ка-

кого-то торжественного, строгого покоя в выражении его лица, в наклоне подбородка к высокой, застывшей на вдохе груди!

Говорили, что умер он тихо, благостно,— иного слова не подберешь, как «отошел»,— завещав играть над его могилой вальс «На сопках Маньчжурии». Было у него и при жизни это спокойное, даже чуть ироническое отношение к смерти: «У нее блата никому нет»,— противоречащее всему его жизнелюбивому, деятельному характеру. Откуда? Что же все-таки оно такое, смерть,— ничто или великая тайна? Что увидел и узнал он, когда сказал: «Я умираю»? Почему он принял ее с таким покоем, с легкой усмешкой, тень которой еще лежит в уголках его сжатых губ? Ведь она не была для него избавлением от тягот жизни,— он жил со вкусом, радостно, светло и безбедно... Часто, уже в старости, говаривал он: «Вот бы мне лосиные ноги. Всю бы землю напоследок обежал. Так бы и стеганул по гарям, по лесам, по болотам». И странно было видеть в нем, человеке, органично живущем в природе, какое-то слегка удивленное внимание к ней. Он часами просиживал возле улья, дивясь непостижимо разумной работе пчел; или вдруг начинал рассказывать о заречных озерах, лесах и болотах с таким восторгом первооткрывателя, словно это был не вдоль и поперек исхоженный всеми местными рыбаками и охотниками край, а какое-то тридевятое царство, где не удивительно встретить и бабу-ягу в ступе. На берегу он жил в чистой, оклеенной светленькими обоями избушке под березами и тополями. Там стояли две кровати с марлевыми пологами, стол, батарейный приемник, этажерка с историческими романами, два стула, шкафчик с посудой. И когда фотоэлемент, зажигавший бакены с наступлением темноты и гасивший их с рассветом,— крохотная штучка, умещавшаяся на ладони,— в одно лето сделал ненужными и керосиновый фонарь, и долбленый осиновый ботик, и чистенькую избушку на берегу, и само дело, которому бакенщик отдал больше четверти века, он тоже не приуныл — ушел на пенсию, избушку выкупил у государства и летом жил в ней, как прежде.

Прочно был укреплен в жизни всякой радостью человек.

Стуча застывшими ногами, в переднюю входят музыканты. Все они в потертых демисезонных пальтишках, слегка хмельные и деловитые. Выпивают еще у наскоро накрытого стола, греют руки о стаканы с чаем, сетуют,

что нет чистого спирта для труб, и садятся переписывать ноты для вальса «На сопках Маньчжурии».

И вот в деревенскую тишину, в безмолвие заснеженных полей ударяет траурный звук труб и тарелок. Выносят гроб, ставят его на розвальни. Сильная гнедая лошадь легко трогает их, и вся процессия быстрым семенящим шажком, толпясь, устремляется вослед по расчищенной накануне дороге. Последний путь. Идет он ровным полем, через две деревни, к некрупному березнячку, в котором приютилось сельское кладбище. Режущий ветер летит над полем, до глазурного блеска подметая снежную корку. У деревенских околиц музыканты опять ухают в трубы и тарелки. Какая-то старушонка, вся сносимая ветром, печально смотрит на проезжающие розвальни; концы ее платка, подол длинной юбки, полы нанковой поддевочки — все стремится по ветру, и кажется, что ее, такую легонькую, сухонькую, самое вот-вот понесет по сверкающему полю.

Укрытое от ветра некрутым изволоком кладбище погружено в холодное оцепенение. Пряменькие, как свечки, стоят заиндевелые березы, и на их коричневых веточках иней кажется фиолетовым пламенем. В чистом снегу безобразным рыжим пятном выделяется отверстая могила. Заранее слышу стук о крышку гроба этих смерзшихся комьев суглинка, чувствую, какой пустынной тоской отзовется он во мне, но не отхожу и вот уже наяву слышу и чувствую и этот звук, и эту тоску.

— Ой, папочка, как тяжело на тебя навалили! — рыдает дочь покойного, обвисая на поддерживающих ее руках.

И какой же равнодушной, величавой холодностью объят этот морозный день! Как невозмутима ясность его солнца, неба, снегов, хвойных далей. «Полноте,— как бы говорит он смятенным горем людям,— посмотрите кругом, все осталось, как было, и пребудет вечно».

Не оборачиваясь, быстрой деловитой походкой уходят в село к автобусной остановке музыканты. Самое тяжелое позади. Уже с гомоном, с толкотней все рассаживаются по стянувшимся к кладбищу саням и рысцой, рысцой — шевелись, резва-а-ая! катят в деревню за поминальный стол.

Народу невместимо много для тесной передней. Родственники, друзья, соседи, сослуживцы-водники... Сижу стиснутый с обеих сторон плечами и — хочешь не хочешь — слушаю сетования колхозного бригадира, который кричит мне в самое ухо:

— Навозили мне вместо минеральных удобрений камней на поле, так лежат кучей. Хоть камнедробильный завод ставь. Можно такое делать?

И чем больше он пьет, тем решительней наступает на меня:

— Лен у нас спокон веку не родится, а нас каждый год заставляют его сеять. Можно такое делать?

День быстро гаснет. Окно сначала розовеет, потом заволакивается сиреневой мглой и вскоре становится иззелена-синим, почти черным. Поднимаются из-за стола возники. Мне по пути с ними. Рассаживаемся в санях на морозно пахнущем сене теснее друг к другу, ноги мои в городских ботиночках спасительно придавливает крутой бабий зад, и трогаем, скрипя гужами, повизгивая полозьями. Ветра опять нет к ночи. Опять в полях такая тишина, что каждый звук отчетлив, сух и чист, словно он тут же схватывается в звонкую льдинку. Но в санях, в сене, в овчине, в груде наших тел тепло и уютно. И уже без леденящего отчаяния, спокойно и грустно думается о том, что где-то за изволоком березки-свечечки стоят над суглинистым бугром, что вечные звезды с одинаковым равнодушием смотрят на него и на наш угретый живым теплом возок, пробирающийся по снежному полю.

1966

ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ

В сырой осенний день Воронов надел резиновые сапоги, плащ и вышел из комнатушки при больнице, покручивая через палец ременный поводок. Был Воронов высок, с поднятыми плечами, короткой шеей, смотрел вниз и потому казался угрюмым, старше своих двадцати пяти лет.

Откормленная на больничных объедках гончая сука, ласкаясь, завертелась у него в ногах. Он взял ее на поводок и повел через жидкую от дождей суглинистую дорогу к избе егеря Фиалковского. Егерь сгребал в саду палые листья. Он прислонил к стволу яблони грабли, пошел навстречу Воронову и потрепал гончую за ухо.

— Решил?

— Ну, а зачем же она мне в Москве на седьмом эта-

же? — мрачно сказал Воронов и подал Фиалковскому конец поводка.— Держи. Цену сам дашь, тебе виднее.

— Собака хорошая. И как раз к сезону,— сказал Фиалковский.

Он накинул петлю поводка на заборный столбик, ушел в избу и вскоре вернулся с пачкой десятирублевок, подал ее Воронову.

— Не считай, цена справедливая.

— Ладно,— сказал Воронов.

Он отводил глаза. Ему казалось, что этот горбоносый, по-охотницки поджарый Фиалковский смотрел на него пренебрежительно. Какой порядочный охотник продает собаку в самом начале сезона!

— Не нужна она мне в Москве,— повторил Воронов, стыдливо пряча деньги в карман.

Он пожал егерю руку и, не оглядываясь на забеспокоившуюся собаку, пошел прочь.

От ходьбы по скользкой грязи ему стало жарко. За селом он расстегнул плащ, ворот рубашки и глубоко вдохнул влажный грибной воздух леса. Великая тишина стояла в полях и в лесу, уже отшумевшем листопадом. Мокрые соломенные ометы рано успели побуреть, да и все кругом было теперь до первого снега буро, тускло, кроме изумрудно-зеленых, точно лакированных, озимей.

Воронов, постояв и отдышавшись, вступил в лес, где дорога, выстланная листвой, уже не была такой трудной. Высокий и частый лес сквозил далеко впереди, но было в нем все-таки сумеречно, так что день казался глубоким, послезакатным вечером.

Воронов за два года жизни в селе ходил по этой дороге, должно быть, не одну сотню раз, но теперь шел в последний. Это сообщало привычной обстановке привкус необычности, и Воронов острей присматривался ко всему, что давно уже примелькалось ему, трепетней и глубже вдыхал знакомый запах осеннего леса, лиственной прели, мокрой земли. Он присел на скамейку из двух стесанных кругляшей под табличкой «Берегите лес от огня», покурил, бросил окурок в предназначенную для этого ямку, потрогал вырезанные на одном из кругляшей буквы «Л + З». Все — в последний раз. На душе у него было торжественно и грустно, ему хотелось бы не говорить ни с кем сейчас, уехать бы с этим приятно щемящим чувством грусти, но его ждали, и он, пересиливая себя, поднялся и опять зашагал по дороге.

Уже по-настоящему смеркалось, когда он наконец по-

дошел к маленькой, в один ряд домов, деревне. Искристо светились ее запотевшие от избяного тепла окна; залаяли, вторя друг другу, собаки — басами, визгливыми фальцетами, с подвывом — всем бестолковым деревенским дворняжьим хором со скуки и преднощного страха. Воронов вымыл в пруду сапоги, вытер их на крыльце о чистый, круглый, плетенный из разноцветных лоскутков половик и привычно нашарил в темных сенях дверную скобу.

В передней за столом, покрытым запачканной чернилами клеенкой, сидела девочка лет десяти, смотрела в раскрытую книгу и беззвучно плакала.

— Ревешь? Опять задача не получается? — спросил Воронов, снимая плащ.

Девочка не ответила, даже не взглянула на него.

Сняв сапоги и сунув ноги в валяные опорки, приготовленные у порога, Воронов подошел к ней по чистым пестрым половикам, которыми был застелен сплошь весь пол, сел на стул с гнутой спинкой.

— Сестра где?

— Она к надомнице пошла,— сказала девочка.

Воронов подвинул к себе задачник, спросил, какая задача у нее не получается. Прочитал и долго смотрел на заплаканное белобрысое лицо девочки, раздражаясь ее непонятливостью, думая о том, что в последний раз видит это невзрачненькое лицо, эти жиденькие косички — хвостики, эти белесые тупенькие глаза, в последний раз — и слава богу: такую беспросветную скуку нагоняет на него их вид.

— Ну, что ж тут мудреного? — раздраженно спросил он.— В составе было восемь вагонов с каменным углем...

Он принялся толковать девочке задачу, но та, заранее приготовясь ничего не понимать, только смотрела в стол, моргала посеревшими от слез ресницами и наконец, не выдержав, крикнула своим басовитым окающим голосом:

— Что ты пристал ко мне, как со-о-оба-а-ака!

Воронов шлепнул на стол задачник, дрожащими пальцами выхватил из пачки папиросу. В это время застучали в сенях каблуки, и в переднюю, запыхавшись, вбежала женщина — без пальто, в одной только серой пуховой шали, накинутой на голову,— прижимая что-то под шалью к груди.

— Ох,— сказала она, приваливаясь плечом и виском к косяку,— ты уже тут... А я к надомнице бегала, задохлась совсем... Раньше-то не сообразила как-то.

Она, не нагибаясь, скинула туфли и в носках козьей шерсти мягко подошла к столу, поставила на него водку, белое десертное вино, несколько банок рыбных консервов.

— А ты, Люська, опять зареванная? Задача не получается?

— Тупица она,— сказал Воронов, хмуро глядя на пепел папиросы.— Дай пепельницу, Васена.

Васена подала ему из посудной горки стеклянное блюдце с золотым ободком, собрала со стола Люськины тетрадки, нетерпеливо запихала Люську в плюшевое пальтишко.

— Ладно, ладно, девонька, потом решишь. Ступай поиграй у Маньки Феоктистовой, там котеночки, маленькие.

И когда закрылась за Люськой дверь, порывисто обняла вставшего ей навстречу Воронова, прижалась к нему всем своим крутым, сильным телом и тянулась губами к его лицу — была невысока ростом,— привставая, задержав дыхание в стиснутой груди, отчего лицо ее пошло сизоватыми пятнами, и шепотом выдохнула наконец:

— Последняя моя ночка...

— Ну! Я же говорил, что приеду летом в отпуск.

— Не приедешь,— сказала Васена.

Она стала собирать на стол, он опять закурил, смотрел на бутылку десертного и с отвращением думал: «Гадость какая, боже мой! Сургучом пахнет... Частиковые консервы... И ведь не понимает, что холодный огурец из погреба, грузди с луком, с постным маслом — вот закуска nec plus ultra [1], а не эта «роскошь», от надомной торговли.

— Выпьем за разлуку,— сказала Васена.

Она откинула теперь шаль с головы на плечи, вся раскраснелась от быстрой ходьбы по холодному воздуху, от стопки вина и смотрела на Воронова блестящими со слезой глазами.

«Только бы плакать не начала... А ведь любит меня! — вдруг подумал Воронов, точно лишь сейчас открыл это.— Уеду — мокрую подушку по ночам кусать станет».

Он встал, обнял ее с нежностью и силой, отшвырнув на пол шаль, чтобы чувствовать под тонкой кофточкой сильные плечи — он знал, что они очень белы, как и вся она, что только лицо, шея, кисти рук, икры у нее обветрены и загорели,— и рывком поднял ее со стула.

---

[1] Самый лучший, непревзойденный *(лат.)*.

— Подожди, надо крючок пакинуть. Как бы Люська не вошла,— шепотом сказала Васена...

Ночью в горнице напряженно горел зеленый глазок приемника. То затихая, то усиливаясь, звучала далекая музыка. Приемник весь светился внутри, точно приглушенный фонарь, и этого света хватало, чтобы Воронов мог видеть лицо Васены в раскиданных по белой подушке черных волосах.

«Всегда буду помнить ее...— думал он.— Вот ведь и старше она меня... На сколько? Кажется, лет на шесть-семь. И простая деревенская баба, вдова, дальше районного рынка не бывала, а знаю — буду помнить, даже тосковать первое время. И, может быть, действительно приеду летом».

Он считал, что жил два года после института в деревне, где был единственным врачом, серо, однообразно глухо — начал уже ворчать по-обывательски и пить,— но теперь подумал, что выпало в его здешней жизни много и таких дней, когда он бывал по-настоящему счастлив. Осенняя охота с гончей, мелкая дрожь азарта, когда где-то в гулком облетевшем лесу вдруг с подвизгом раздастся собачий лай, запах листвы, пороха, окровавленной заячьей тушки, лесная дорога в сумерках, таящих какие-то волшебные страхи, и потом чистая изба Васены в пестрых половичках, ощущение под руками крепости, силы, жара ее тела...

«Ах, ведь не теряю же все это навечно! Буду приезжать. Буду приезжать! Это же еще лучше, когда вместо привычного, доступного в любую минуту, опять мне выпадут, как праздник, несколько таких дней».

Он улыбнулся от ощущения легкости и удовлетворения, которые принесла ему эта мысль, вытянул в сладком зевке все здоровое молодое тело свое и уткнулся, продолжая улыбаться, в плечо Васены, чтобы спать, спать, спать...

Утром пили чай на серой льняной скатерти. Люська ушла в школу. Воронов поглядывал то на ходики с цветастым циферблатом, то на свои ручные часы.

— Ну вот и пора,— громко с неподдельной веселостью сказал он, отодвигая от себя стакан, тарелку, вилку.

— Присядем на дорогу,— серьезно сказала Васена, хотя оба они и так сидели.

Она положила руки на колени, выпрямилась и молча смотрела на пол. Наконец вышли. Утро было морозное —

с инеем и тем острым блеском всего воздуха на солнце, который предвещает бесснежную ясную осень. На дороге теперь хрупал ледок, и уже не пахло из леса листом и сыростью, а стоял повсюду колкий запах инея.

Шли молча, и опять, как вчера, было тихо в лесу, но совсем по-другому — не глухо и ватно, а чутко к любому звуку — и «хруп-хруп» под их ногами раздавалось далеко окрест.

Когда вышли из леса, остановились. Воронов не хотел, чтобы Васена провожала его до села, потому что, кроме него, в машине на станцию ехали еще двое — бухгалтер колхоза и почтальон за почтой.

— До свидания. Я напишу,— сказал Воронов.

У Васены были холодные руки и губы, а щеки горели, она терлась лицом о его лицо, не целуя, и чтобы отстранить ее, ему пришлось сделать усилие.

Уходя, он представлял, как она возвращается одна по лесной дороге — идет медленно, опустив голову, пряча зябнущие руки под шалью,— а кругом это острое сияние, эта хрупкая тишина...

1967

ПЕСТРУШКА

Каждый месяц в году по-своему хорош. Но есть у меня два самых любимых месяца — март и август. О марте я как-нибудь расскажу отдельно, а сейчас — об августе, спелой поре лета, поре зрелости плодов, самой богатой поре природы и человека. Вернее, об одном августе моей жизни. Еще вернее — об одном его эпизоде.

Именно этот месяц мы выбрали для путешествия на лодке вниз по реке Клязьме.

Было чуть студеное, ясное, омытое росой утро. Река клубилась молочным туманом, на противоположном берегу из кустов вылезало неяркое и огромное солнце, точно разбухшее в сырости далеких болот. С широкого обмелевшего плеса город, расположенный на холмах, казался беспорядочным нагромождением голубых, красных, зеленых и желтых домов, поставленных друг на друга, словно кубики. Старинный белокаменный собор с золотым шпилем плыл в небе подобно легкому облаку. На окнах домов и

куполах собора лежали красноватые отблески восходящего солнца. Вдоль реки по насыпи, мелькая просветами между вагонами, шел длинный товарный состав, груженный лесом автомашинами и громадными ящиками, на которых обычно бывает надпись: «Не кантовать!»

Легкий ветерок сваливал паровозный дым к реке, развешивая на реденьких прибрежных кустах его седые лохматые клочья... Было самое обыкновенное августовское утро.

Но для нас оно было не таким уж обыкновенным. Даже, более того, оно было для нас единственным, это первое утро нашего путешествия. Оно запомнилось нам на всю жизнь, потому что единственное всегда необыкновенно и запоминается очень прочно.

И пожалуй, то же самое можно сказать о каждом утре, каждом дне, каждой ночи этого счастливого августа.

В лодке нас было четверо. Леонид Михайлович — бывший редактор флотской газеты, капитан второго ранга в отставке — по праву занимал в нашем экипаже место капитана. Он направлял лодку по курсу кормовым веслом и для острастки экипажа отвергал любое наше предложение решительным капитанским «нет!». Писатель Сергей Васильевич по своей солидной полноте и непоколебимому спокойствию вполне подходил на роль боцмана. Я нес нелегкую матросскую службу — греб распашными веслами, тянул лодку против ветра на лямке, рубил дрова, вбивал колья для палатки, таскал на крутой берег ведра с водой и еще выполнял всю работу, которую должен был делать юнга — мой сын. Кроме, впрочем, рыбной ловли и охоты. Эти обязанности он великодушно оставил за собой.

Но речь здесь пойдет не о нас, а о пятом члене нашего экипажа — курице Пеструшке. Она появилась в лодке на двенадцатый день пути. Уже немало было съедено консервированной говядины, гречневых, гороховых, овсяных концентратов, ухи и жареной рыбы, огурцов, помидоров, картошки, яиц, простокваши и творога, и мы начали тосковать по свежему мясу.

Надежда на охоту не оправдалась. Открытие охотничьего сезона застало нас в Бельковской пойме.

Я помнил эту пойму, полную уток, бекасов, дупелей, а теперь она точно вымерла.

— А не бывает у человека от недостатка в пище свежего мяса цинги? — задумчиво спрашивал юнга.

— Нет,— говорил капитан, с отвращением пережевы-

вая кусок жареной щуки.— Бывало, в море мы неделями питались одной рыбой... Впрочем, нет. Была еще солонина и зеленый горошек.

Под Мстерой мне удалось все-таки подстрелить двух куликов. Уже сгущались вечерние сумерки, мы очень утомились и решили полакомиться куличками за завтраком. Но какая-то проворная зверушка опередила нас, стащив наших куличков, в чем расписалась на влажном песке строчкой мелких следов.

— Водяная крыса,— сказал я.

— Хорек,— сказал юнга.

— Ничего вы не смыслите,— сказал боцман.— Это — горностайчик.

— Черт бы вас побрал! Проспать такой завтрак! — сказал капитан.— Нет! В Вязниках идем в столовую и едим мясо, сколько влезет.

Но сколько может человек унести в своем желудке? В вязниковской столовой мы до отвала наелись бифштексов, побродили по городу, съели в пельменной по две порции пельменей, а впереди был еще долгий путь до следующего по маршруту города Гороховца.

— Мне о рыбе даже подумать тошно,— грустно сказал боцман.

— Не холодильник же возить с собой,— раздраженно сказал я, тоже подумав о рыбе.

И вдруг спасительную мысль подал нам юнга.

— Можно везти мясо в живом виде,— сказал он.

— Корову? — язвительно спросил капитан.

— Барана? — фыркнул боцман.

— Курицу,— спокойно возразил юнга.

— Нет...— начал было капитан, но запнулся.

Боцман — человек решительных действий — перебил его:

— Это мысль! Идемте на базар и купим курицу.

Базар! Летний базар в Вязниках! Россыпи вязниковских огурцов — сочных, хрустких, источающих запах свежести и утренней прохлады; пирамиды налитых, готовых лопнуть от спелости помидоров; груды темно-рубиновой владимирской вишни; запахи лука, чеснока, черной смородины, солений... Голова идет кругом!

Торговки куриной живностью занимали хоть и небольшой, но отдельный ряд.

— Кто из вас умеет выбирать кур? — спросил капитан.

— Не нарваться бы на какую-нибудь старую мочалку.

Придется потом грызть сухожилия. Коров, кажется, по зубам выбирают. А кур?

— По гребешку,— сказал боцман.

— Нет,— на всякий случай сказал капитан, но спорить не стал.

— Вот эту,— решительно показал юнга на пеструю, упитанную с виду курочку, которая лежала связанная по ногам в плетенной из прутьев корзине.

— Нет,— сказал капитан.

— Эту,— настаивал юнга.— Смотрите, какая красивая.

— И гребешок яркий, не синюшный,— поддержал юнгу боцман.

— Из всех курочек курочка,— умильно запричитала торговка, плотненькая старушка с румяными щечками.— И уж такая веселая, шустренькая, бойкая. И несушка хоть куда. Яйцо кладет крупное, чистое.

— Зачем же продаешь? — спросил капитан.

— А за характер. За бойкость эту самую. Всех остальных долбит, щиплет. Ни курам, ни уткам, ни гусям от нее, изверга, спасу нет.

— Ишь разбойница,— сказал боцман и ткнул курицу пальцем в бок.

Та хрипло застопала и заворочалась в корзине.

— Берете, что ли? — спросила старушка.

— Ладно, берем,— согласился боцман, ведавший нашим денежным запасом.

Капитан молча взял корзину и повесил ее на руку.

— А корзину-то, милый человек, куда поволок?! — всполошилась старушка, и щечки ее побледнели.— Корзина не продажная.

— Как же курица без корзины? — удивился капитан.— В чем же я ее понесу?

— Уж в чем хочешь, а только корзина не продажная.

— Эка ты неудобная старуха! — рассердился капитан.— Давай уж и корзину. Мы доплатим.

— Нет,— ладила свое торговка.— Корзина не продажная. Сказано, и все тут.

Капитан рывком снял корзину с руки, бухнул ее на землю, сунул курицу под мышку, и мы зашагали на пристань, где под присмотром сторожа была причалена наша лодка.

Вдруг капитан резко остановился и обвел нас каким-то странным взглядом.

— Нет,— процедил он сквозь зубы,— надо немедленно свернуть этой твари голову.

Мы с недоумением смотрели па него.

— Сорви-ка мне под забором лопушок,— сказал наконец капитан юнге.— Надо штормовку почистить...— Пр-р-ро-клятая птица.

Я сказал, что видел, как на Кавказе местные жители носят с рынка кур за ноги вниз головой, и они, миленькие, не шелохнутся.

— Не околевают? — спросил капитан.— Нет? Тогда бери и неси сам, а я к ней больше не притронусь.

Курица, взятая за ноги, и впрямь вела себя очепь смирно и вскоре была водворепа на корме под скамейку, где пролежала до следующей стоянки.

Стоянку мы разбили на реке Лух, чуть выше его устья. Быстрый Лух стремительно нес по извилистому руслу свои бронзовые, на торфяном настое, воды; было видно, как по смуглому донному песку шарахаются темные силуэты щук. Мощные прибрежные дубы-великаны шелестели над нами своей листвой, точно нашептывали сказку древних-древних времен. А по ночам в иссиня-черном августовском небе струилась серебряная река Млечного Пути.

Приход утра еще задолго до рассвета первой угадывала наша Пеструшка. Вечером она взбиралась на нашест-колышек, положенный на две рогатины, и засыпала, как только начинал меркнуть закат, а утром, хлопая крыльями, слетала на землю и будила нас, когда восточный склон неба едва-едва трогала рассветная прозелень.

Пеструшка жила у нас на стоянке уже четыре дня, и концентраты опять успели набить нам оскомину.

На пятое утро капитан стал точить топор. Он довел его лезвие до зеркального блеска и прямо-таки бритвенной остроты, но все еще продолжал свою работу, ни на кого не глядя и хмуря пучковатые брови.

Мы молчали.

Наконец капитап поднял взгляд и протянул мне топор.

— На,— сказал он,— действуй. А щипать будет юнга.

— Почему это мне действовать?! — возмутился я.— Вон боцман ничего не делает. Пусть он и действует, а я, видите, картошку чищу.

— Как ничего не делаю? — возразил боцман.— Я сейчас пойду жерлицы проверять.

И он, несмотря на свою полноту, проворно сбежал с крутояра к реке.

Капитан сильно всадил топор в пенек.

— Пожалуй, сегодня можно обойтись салатом и овсяной кашей,— сказал он.— Подождем до завтра.

Но кашу пришлось отдать Пеструшке и стравить на подкормку рыбам, потому что ее никто не ел, а для салата не оказалось огурцов, и его просто не готовили.

Уснули мы голодные и слегка за что-то сердитые друг на друга.

— Может быть, ты? — спросил утром капитан юнгу, запивая черный сухарик сладким чаем.

— Ну уж, нет! — вскинулся юнга.— Из ружья я, пожалуй, могу ее стукнуть, а топором не буду, увольте.

— Ладно, валяй из ружья,— нехотя согласился капитан.— Только иди подальше, за дубы. Там и ощиплешь, чтобы тут не сорить. Ступай.

Юнга повесил на плечо ружье стволом вниз, взял Пеструшку по-кавказски — за ноги — и скрылся в густом кустарниковом подлеске.

— Нет, отчаянная молодежь все-таки нынче пошла,— вздохнул капитан.— Ничего для них особенного трахнуть вот так и — готово.

Мы молчали, ожидая выстрела, но прошло минут десять, и вдруг из кустов вышел юнга, опустил на траву живую и невредимую Пеструшку и прислонил ружье к дубу.

— Вот если бы влет стрелять,— смущенно забормотал он,— тогда другое дело. Вроде бы на охоте. А то я ее на мушку беру, а она травку щиплет... Может, кто-нибудь подкинет, а я ударю, а? Влет чтобы... А?

— Навязалась ты на наши головы,— с остервенением сказал капитан бродившей возле нас Пеструшке.— Чтоб тебе и твоей хозяйке пусто было, идол ты пернатый.

В тот день мы снялись со своей стоянки. Упругая бронзовая струя Луха вынесла нашу лодку на широкий серебристый плес Клязьмы, и уже ее плавное величавое течение повлекло нас дальше вниз.

За полдень на высоком правом берегу показалось село. От него, как желтые ручьи, сбегали к воде по косогору протоптанные в траве дорожки. По одной из них, неся на коромысле пестрые половики, спускалась женщина.

Капитан вдруг резко крутанул кормовым веслом и направил лодку к берегу. Женщина и лодка одновременно сошлись у дощатого плотика.

— Здравствуй, хозяйка! — приветливо крикнул капитан.

Женщина засмеялась — была, видно, веселая — и шлеп-

нула половики па мокрый плотик так, что на нас полетели брызги.

— Здравствуйте, горемычные! — сказала она сквозь смех.— Издалека, знать, плывете. Вон как прочернели.

— Слушай, хозяйка,— серьезно заговорил капитан, не настроенный, как видно, на веселый лад.— Купи у нас курицу.

— Ку-урицу? — удивилась женщина.— Да на что она мне? У самой их полон двор.

— Купи,— настаивал капитан, вытягивая за ноги изпод скамейки Пеструшку.— Хорошая курица. Всеми статьями вышла. Смотри, разве плохая курица?

Мы наконец поняли замысел капитана.

— Из всех курочек курочка,— сказал юнга.

— И уж такая веселая, шустренькая, бойкая,— подхватил я.

— И несушка хоть куда. Яйцо кладет крупное, чистое,— добавил капитан.

— Молодая курочка. Гребешок, смотри, яркий, пе сппюшный,— заключил боцмап.

— Да ведь, поди, краденая,— усомнилась женщина.— Нет, не нужна мне ваша курица. Наживешь с ней беды.

— Эка ты неудобная,— досадовал капитан.— Ну, не хочешь купить, возьми так. Она нам тоже пе нужна.

— А коль пе нужна, так в котел ее — и вся недолга,— опять засмеялась женщпна.

— Мы не едим мясо,— серьезно сказал юнга.

— Больные, что ли?

— Вроде...— неуверенно сказал боцман.

— А с виду не похоже,— оглядывая его, продолжала смеяться женщина.

Капитан между тем пе терял времени даром. Он незаметно для нее уперся веслом в плотик, потом со словами: «Да ты, хозяйка, пощупай, какая она сытенькая» — передал ей в руки Пеструшку и вдруг резким толчком отпихнул лодку чуть не на середину реки. Я в лад ему ударил распашными.

— Ловко сработано,— сказал боцман.

А на плотике с Пеструшкой в руках стояла женщина и что-то кричала, но мы были уже далеко, и только одно слово донес нам ветер, докатили серебристые волны:

— О-зор-ни-ки!..

1968

— Ну и дороги у вас тут, дядя!
— Место такое гиблое,— отвечает возница.

Да, видно уже не часто торят колеса эту дорогу. Из леса на нее наползают сырые мхи, по обочинам жидким месивом оплывают огромные шлепки подосиновиков, которые некому срезать вовремя, мостики подгнили, гати проросли между бревнами стрелолистом — задичание и обветшалость...

Возница Еремей Осмолов — дюжий старик за шестьдесят, с крупным в сизых прожилках носом, с колечками давно не стриженных волос на шее и за ушами — поглощен своими заботами и потому не очень разговорчив. Заботы же не малые. Третий день он перевозит по частям домашний скарб на свое новое место жительства — в совхозный поселок Садовый — и, видимо, повержен этим поворотом своей судьбы в большое смятение, которое по временам выражает полным недоумения возгласом: «Мыслимо ли?!»

Путь обратный — порожняком. В телеге только мое охотничье снаряжение, а мы с Еремеем идем пешком, потому что на гатях и корневищах трясет так, что болят виски и грудь.

Я не был здесь со времен объединения колхозов,— стало быть, без малого лет двенадцать; Еремея Осмолова помню еще буйно курчавым мужиком, в распахнутой на волосатой груди рубахе, неистощимо работящим в колхозе и дома. Он же меня не помнит вовсе — заезжего молодого корреспондента, ночевавшего в Северке всего лишь одну ночь.

Особенная это была деревня — Северка. С одной стороны ее подпирали государственные леса, с другой, по поречью,— непролазная ольховая, вербяная, черемуховая крепь, у самой лишь реки оставлявшая узкую полоску заливного луга. И стояли сорок дворов Северки особняком от всего районного мира. Человек да конь, как встарь, справляли здесь всю крестьянскую работу, потому что эмтээсовские трактора и комбайны ломались уже на гиблых дорогах к Северке. И все-таки малоземельный колхоз «Искра» считался не из последних в районе. Его иногда похваливали на районных совещаниях передовиков, на заседаниях бюро райкома, на советах МТС, сюда нередко наезжали корреспонденты районной газеты, вроде меня, и

трудодень в «Искре» был поувесистей, чем у многих соседей, так что не ради красного словца, а ради истины говаривали северковцы со скромным достоинством: «Ничего, не хуже других живем-можем...»

Это наглядно подтверждал и самодовольный вид прочных, кондового леса изб, убористо разместившихся в два ряда. Летом их почти не было видно за рябиновыми и терновниковыми палисадниками, зато зимой взгляду сквозь голые ветви открывались добротные, с кружевной резьбой фасады, непреложно вызывавшие представление о достатке, тепле и мире.

Семьи в деревне жили многочадные и дружные, делились редко; все здесь успели, бог весть в каком колене, перероднитъся, и поэтому в Северке обитали люди преимущественно трех фамилий — Лыковы, Башкины да Осмоловы. Из прочих, но не числом, а запальчивым, озорным и непоседливым нравом, были заметны Шайтановы. На вид они ничем не отличались от других — такие же светлоголовые, льноволосые, кудрявые,— но бывало, что невеликий стан их нет-нет да и пополнялся таким калмыковатым отпрыском с глазами-антрацитами, с прямыми, конской толщины волосами, со смуглыми скулами, что только диву можно было даваться, как ярко и вдруг способна вспыхнуть веками дремавшая капля азиатской крови, неведомо когда и как занесенная в русскую деревню Северку.

Когда объединялись колхозы, Северке не повезло. Ее угодья не граничили ни с одним из колхозов, и стала она просто дальней бригадой большого нового колхоза, его падчерицей и обузой. Поредели ряды изб, сосновый молодняк полонил поля, ветшали конные дворы и коровники, да и приусадебное хозяйство все больше теряло силу плодородия и власти над душой крестьянина. Потом стал на землях колхоза совхоз, и вовсе была забыта завалившаяся за леса и болота Северка.

— Мыслимо ли?! — в который уж раз вздыхал Еремей Осмолов.

Опять мы долго шагаем молчком сбоку тарахтящей телеги, и опять, теснимая какими-то сомнениями, грудь Еремея исторгает этот недоуменный вздох.

— Ну что ты маешься, дядя? — спрашиваю я.— Не на погост переезжаешь, наверно.

— Деревня! — восклицает Еремей.— Деревню мне мою жалко! Ты, говоришь, бывал у нас в прежние годы, сам должен помнить, какая это была деревня. А теперь —

семь дворов, девять стариков, двенадцать старух, и до недавних пор обитала еще одна девка. От нее в моей жизни и пошла вся смута. Черной души тварь. Я какую надежду в себе носил? Думал, вернется из армии мой Митька, приведет в избу сноху, и зацветет моя бобылья жизнь вторым цветом, захозяйствуем мы в родном гнезде при внучатах. Не задалось! Эта девка Санька Шайтанова, головешка черная, враз Митьку обратала. Поначалу мне было все равно — Санька так Санька. Она, по совести сказать, девка первых статей — сильная, крепкая, спина как лежанка, глаза — уголья... Бес!

Осмолов жмурит глаза и долго причмокивает,— до чего, видно, и впрямь хороша эта Санька Шайтанова.

— Стали они, не таясь, в обнимочку у меня под окнами посиживать. Я не препятствую. Только спросил Митьку,— это, дескать, у вас всерьез, парень, али баловство? «Всерьез,— говорит,— папаня».— «Ну, мол, валяйте, благословляю, хозяйству давно молодой хозяин требуется, я уж — полсилы». Вижу, парень на мои слова кряхтит и жмется. «Ты — спрашиваю,— чего?» — «Ничего, мол, папаня». На том и разговору нашему конец. Да вот не спалось мне как-то с вечера, вышел я на крыльцо, стою и слышу ихний шепот с лавочки. Митька, тот опять больше кряхтит, а Санька, шельма, так и сыплет мелким бисером. Какая, дескать, жизнь здесь, в Северке, со скуки все собаки перегрызлись и петухи передрались, и поедем мы-де, мол, мил мой Митенька, в совхоз Садовый, вот там-то жизнь — малина и все такое прочее, только работай. Я жду, что Митька скажет. Тот малость покряхтел и говорит: «Папаню с хозяйства не стронешь, а я согласен, черта ли мне в этой Северке». Санька опять ему — жу-жу-жу про свое, едем да едем. Тут уж я шагнул с крыльца,— ах ты, говорю, отродье бродяжье! Ты мне парня не сманивай, катись, куды хочешь, а мы другую найдем, не вертихвостку. Засмеялась только, словно монетки звонки рассыпала, и пошла прочь. Митька то за ней кинется, то ко мне вернется, потом шваркнул картузом оземь и ударился прогоном в поле. Я тогда тоже освирепел, схватил в сенях топор и разметал всю ту лавочку под окном на мелкие щепочки.

Отголосок прежнего неистовства, должно быть, снова просыпается в Осмолове, он встряхивает вожжи и обкладывает лошаденку крепкой бранью. Исход этой истории мне уже известен, и, только чтобы поддержать разговор на неблизкой и нескорой дороге, я спрашиваю:

— Уехали?

— Уехали,— вздыхает Осмолов.— Мыслимо ли?! Много мы недобрых слов друг дружке с Митькой напоследок наговорили и разошлись, как неродные. С большой обидой разошлись. Он первый весточку подал, к себе звал, обратный адрес полностью обозначил — поселок Садовый, улица Первомайская, дом — пятый, квартира — двадцать два. Все на городской манер. Не то что у нас, по-старинке,— Северка, Осмолову Еремею и — точка. Эта выкрутаса меня еще больше задела. Задается, думаю, парень, форсит перед отцом. И копил я обиду целых два года, каждую мелочь Митьке в счет ставил, а про Саньку без матерного слова и вспомнить не мог. Осатанел вовсе. А тут еще дворы в Северке, как зубы у старика, редеть стали. То один хозяин в Садовый избу перекатит, то другой. Я же на этот поселок, как на проклятое место, глядеть не хотел. Однако не знаю, что случилось со мной прошлой зимой,— наваждение какое-то. Подохла у меня собака... Так, зряшная собачонка, пустобрех. Потосковала два дня и подохла. Кинул я ее на зады,— думаю, весной отойдет земля — закопаю. Лег вечером спать, а она, проклятая собака эта, так и видится мне рыжим пятном на снегу. Всю ночь с боку на бок вертелся, утром позакидал ее снегом — нет! Опять видится. Нехорошо мне стало с тех пор, сон потерял, кусок в рот не лезет. Про собаку про ту давно и думать забыл, а тоска не проходит. Сам не помню, как собрался однова дни и пехом двинул в Садовый к Митьке. Пришел под вечер. Вдоль улиц огни сияют, на клубе — вывеска красным заревом, аж снег под ней багрится. Эх, думаю, палят энергию-то, не то что у нас с керосинцем: сморкнешься — из носа сажа хлопьями летит. Разыскал по адресу Митьку. Дом этот номер пятый в четыре этажа, сам Митька проживает в комнате с балконом, на потолке — люстра с висюльками, на полу — малиновая дорожка с зеленым кантом, на стене — ковер с русалками, на столе — электрический самовар. Митька суетится. «Вот,— говорит,— так и живем, папаня». Стерва Санька тут же. Стала чаем меня потчевать. Варенье выставила, лепешки сдобные, колбасу, селедку. Митька, гляжу, поллитровку из-под кровати тянет. Все как следует... Нес я сюда тоску, да горечь, да обиду, а сам чувствую, что радостно мне за Митьку... Я, известно, своему дитю худа не желаю. До того рассолодел,— чуть слезу не пустил. Она у стариков-то близкая. Однако спрашиваю Митьку: «А что, сынок, из родного гнезда, значит, фррр,

улетел навовсе?» — «Сам,— говорит,— посуди, папаня. Мне там и руки-то приложить не к чему. Ведь я шофер второго классу». Наутро стал я домой собираться. Митька — шварк на стол две полусотенные бумажки. «Вот,— говорит,— тебе, папаня, от меня гостинец...» Взял, а сам думаю — на кой черт они мне сдались. Их в Северке-то и за год не избудешь. Так и вышло. Только нынешним летом и определил те бумажки в дело: нанял троих удальцов-плотников избу в Садовой перекатать...

Осмолов долго молчит и потом, точно подбадривая себя, заканчивает:

— Я еще работник, мне силы не занимать стать. А все же поближе к сыну надо держаться, хоть и жалко мне местов этих до судороги.

Уже меркнет восточный склон неба, когда мы подходим к Северке. О, как дико разрослись здесь неухоженные, обесплодевшие вишневые и терновниковые сады, как буйно вымахали лопухи и полынь на хорошо удобренных в прежние годы усадьбах, каким запустением веет от бесформенных груд битого кирпича на месте некогда горячих русских печей, что пекли и варили, сушили и томили, грели и врачевали!..

А ночью, когда за окнами черной степой стоит августовская темь и мы спим в осмоловской избе на драных половиках под полуистлевшим тулупом, Еремей то ли во сне, то ли в тревожной бессоннице вдруг опять протяжно вздыхает:

— Мыслимо ли?!

— Ты чего, дядя?

— Ну, мыслимо ли?! — приподнимается на локте Еремей.— В поселке том так заведено, что коров никто не держит и молоко по утрам в ларьке за сниженную цену каждый сам себе покупает. Мыслимо ли, я спрашиваю, чтоб крестьянин без коровы был?

Утром чуть свет я ухожу с ружьем в пойму. Там тоже уже все внове для меня — заросли старые тропы, прорублены в кустарниках новые, затянулись знакомые болотца, скопились в ямах другие озерки... И сам-то, сам-то я не нахожу к вечеру сил, чтобы вернуться в деревню, а коротаю ночь под стогом, слышу сквозь чуткий сон плеск реки о глинистый берег, возню и писк мышей в стогу.

И только к полудню, после утренней зорьки, я снова в Северке. Удальцы-плотнички уже ободрали с Еремеевой избы крышу, сняли стропила и теперь раскатывают стены.

С озорными прибауточками два парня без рубах подают сверху за концы бревно, третий, постарше, пособляет им снизу багром, бревно падает, и по ветру летят серые хлопья сухой истлевшей пакли...

Скоро, должно быть, очень скоро дикий лес и одичавшие сады сомкнутся на месте старой Северки.

1972

ТЕРНОВНИК

Старик Завьюжин всегда не стучит, а как-то по-особенному вкрадчиво скребется в окно, выражая этим деликатным звуком свое почтение к моим письменным и книжным занятиям.

Вот и сейчас, принимаясь за кофе, я слышу этот звук, похожий на треск тоненькой щепочки, отрываемой от доски. За окном синеет рассвет студеной и ясной осени. Заоконные лесные дали еще однообразно мглисты и тусклы, но я знаю, что там, куда мы сейчас пойдем, уже рдянеют чуткие к малейшему ветерку осинки, золотой прядью кое-где тронута зелень берез, под дубами щелкают, как тяжелые пули, опадающие желуди и пахнет... пахнет свежей лесной осенью, полной грусти и очарования.

Я открываю Завьюжину дверь. Он входит, погромыхивая двумя эмалированными ведрами, ошаркивает подошвами видавших виды кирзовых сапог о коврик у порога и, немного смущаясь великолепием убранства моей обители, бочком пробирается на кухню. Признаться, я и сам больше люблю в этом просторном доме, обставленном полированной мебелью и телерадиоаппаратурой, уютную кухню, где устоялся жилой запах моего кофе. Я живу здесь совершенно один — в этом совхозном доме для приезжих; от избытка не столько времени, сколько душевного покоя живу размеренной, упорядоченной жизнью, ложусь и поднимаюсь в определенный час, делаю гимнастику, принимаю ванну, варю себе на газовой плите кофе, много хожу пешком по поселку, по садам, по фермам, потом сажусь за работу, и вообще-то очень доволен своей жизнью... вот только, если бы не эта смутная тишина осенних вечеров в необитаемом доме, которая рано или поздно начинает гнести человека, как бы он ни стремился к ней многие го-

ды доселе. Поэтому я всегда рад вторжению в мое одиночество старика Завьюжина, который только здесь тишеет, а вообще-то старик шумный.

Я предлагаю ему кофе.

— Не питье,— отмахивается он.— Вот тернового маринаду с утра хлебнуть — это я люблю.

Терновник — цель нашего сегодняшнего похода. По словам Завьюжина, за лесом, в заброшенных усадьбах обезлюдевшей деревни, этой ягоды — необеримое количество. Терновник мне совершенно не нужен, но, по словам того же Завьюжина, в деревне обитаем всего лишь один двор, где живут старик со старухой («Вовсе повихнувшиеся люди»,— сказал про них Завьюжин), и я хочу познакомиться с ними.

Мы выходим уже при полном сиянии осеннего утра.

Заморозка нет, но воздух свеж и колок, и невысокое солнце в густо-синем небе еще холодно, как золотой поднос на стене.

Выйдя из дома, Завьюжин преображается; он бойко бежит вперед — маленький, складный, живенький,— размахивает ведром, издающим противный визг и скрежет, ругает грязь на дороге, директора совхоза, внучат-неслухов, и шуму от него не меньше, чем от старого тарантаса на булыжной мостовой. Я знаю, что в новой квартире, которую старик получил от совхоза, он тоже, как и в доме для приезжих, чувствует себя не в своей тарелке — мебель там понатыркана самым неудобным образом, всюду, за неимением русской печи и полатей, разбросаны валенки сыновей и внуков, кухня заставлена ненужными горшками, чугунами, плошками,— хотя, когда в стену его старой, вывезенной по бревнышку из деревни избенки двинул тяжелым ножом бульдозер и над ней взвилось облако оранжево-серой пересохшей пыли, он пришел в неистовый восторг — подпрыгнул, замахал руками, высоко подбросил шапку и завопил: «Валяй ее под корень, ребята! Литруху ставлю на помин!»

Дорога ведет нас через узкий хребет плотины. Каскад искусственных озер по обе стороны ее блещет синеватым никелем; то здесь, то там лениво вывернется на поверхность тяжелый карп, мелькнет смуглым боком, и вновь огустевшая от холода вода застынет в металлической неподвижности. Скоро, скоро ветер нанесет из лесу и садов на озерную гладь разноцветных листьев, испятнает ее пестро и ярко, а там и первый мороз охватит ее морщинистым ледком. Скоро... А пока сады за плотиной еще встре-

чают нас запахом доспевающей антоновки — тонким ароматом первоначальной осени. В ухоженных шарообразных кронах яблонь, среди темной листвы, висят восковато-желтые плоды, и даже на глаз чувствуется их наливная тяжесть и утренняя осенняя прохлада. Поджав хвост в репьях, шарахается от нас сторожевая собака, отвыкшая в этих бесконечных садах от людей.

— Тунеядец! — напутствует ее Завьюжин.

Звучно шлепая полами брезентового плаща по голенищам резиновых сапог, появляется сторож, щурится на нас против солнца и, признав своих, просит закурить.

— Шалят? — спрашивает Завьюжин, протягивая ему тоненькую папиросу-гвоздик.

— Бывает,— сдержанно отвечает старик.

— Ловишь?

— Пугаю.

— Ха! Ты испугаешь... Ружье-то, говорят, потерял.

Сторож конфузится, показывает Завьюжину глазами на меня и, чрезмерно внимательно раскуривая папироску, лепечет:

— Да прислонил, понимаешь, к яблоне, а потом закружился и не нашел. Директор из зарплаты удержал. Теперь вот новое выдали.

— И это потеряешь,— убежденно говорит Завьюжин — любитель съязвить и задраться.— Сорви-ка нам на дорожку поспелей. Люблю антоновку. Пахуча.

Сторож кидает ему в ведро пяток крупных яблок, дробно ударивших словно в большой барабан, и мы идем дальше. Я на каждом шагу в каком-то наивном восторге дивлюсь таинственной силе земли, способной из крохотного семечка взогнать это великолепие, это обилие плодов, стряхнуть их с себя по осени и к следующей опять напитать своими соками новый урожай.

— Ты бы помолчал, дед,— прошу я Завьюжина, перемалывающего языком какой-то вздор.

— В самом деле,— спохватывается старик.— Хорошо то как!..

За садами, в преддверии лесов, нас встречают несколько корявых раскидистых сосен. Поднявшееся солнце уже обогрело их вершины, и воздух здесь пахнет теплой хвоей, смолой, сухим деревом. Под соснами в рыжей хвое растут огромные старые маслята с завернувшимися наверх краями. В это щедрое грибное лето ими пренебрегли грибники, устремляясь дальше за царь-грибом наших лесов — белым.

Старик мой опять забывается и что-то полувнятно бормочет себе под нос. На этот раз я прислушиваюсь.

— Хвойный лес зовется красным, а лиственный — черным,— говорит он по привычке высказывать свои текущие мысли вслух.— Красный строевой лес мы считали от шести до двенадцати вершков в отрубе... Кондовый лес — это сухорослый сосняк в двести пятьдесят слоев, полукрасный — в сто пятьдесят слоев, а пресной, преспяк, болотный — в восемьдесят. Зеленчак — тот совсем жидкий лес — до двух вершков, моховой, оболонь. Ну, а камышовый — и говорить нечего: тростник, плавни, камыши, дрянь. Дровяной лес — мелкий, что в стройку не годен. Поделочный — это для столярных работ: первое дело, конечно, дуб, потом ясень, ильм, липа, береза. Издельный будет, который на всякие промыслы идет: осина, скажем, на ложки, вяз — на полозья, ветла — на дуги... Леса, вы, леса чудесные... Выше вас только солнышко.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я Завьюжина.

— Как же! — удивляется он.— Жизнь моя длинная. Всякой работы пришлось попробовать, и в лесу работал, и в поле. Это сейчас наши садоводы три месяца зимой в отпуске нежатся. А бывало-то, с весны до осени землю ковыряешь, а зимой в леса с лучком идешь, чтоб в брюхе голод волком не выл.

Лес стоит еще зелен, кое-где дыхание осени багряно подпалило молодую осинку или дикую рябину, позолотило ветку березы, но во всем, во всем — в густой синеве неба, в прозрачности далей, в отчетливости каждого звука, в запахе увядающего листа — чувствуется грусть осени, и уже пора лететь журавлям, потому что, по словам старика Завьюжина, сегодня Иван-постный, и, значит, «журавли потянули на Киев».

За лесом от самого подножья последних деревьев раздольно ложится перед нами озимое поле. Уходит оно далеко за изволок, к пенистым купам лип и вязов той деревни, куда мы держим путь, а по нежно-зеленому ковру озимой бежит прямая желтая от пыли дорога, слегка опрыснутая мелкозернистой росой.

Не знаю ничего упоительней ходьбы налегке босиком в жаркий летний день по такой дороге, когда между пальцами пыхает пуховая горячая пыль, а кругом во ржи свиристят, куют и пилят неугомоны-кузнечики. Но осень, осень, во всем осень, и в росе, должно быть, холодна, как сырое полотенце...

— Недалече,— говорит Завьюжин.

Но прозрачная осенняя даль обманчива. Видно далеко; мы долго еще идем меж изумрудных озимей, и купы деревенских деревьев медленно поднимаются нам навстречу из-за изволока. Наконец показывается раздерганная ветром соломенная крыша старой риги. Печален вид этой серой соломы, печальны вьющиеся над ней серые вороны. Неужели,— думается невольно,— здесь еще есть жив человек? Но неоспоримым тому доказательством являются копошащиеся между столбами риги белые куры, меченые по капюшонам лиловыми чернилами. Зачем, если, как говорит Завьюжин, здесь обитаем всего лишь один двор? А вот и сам его обитатель. Сидит на крыльце еще крепкой избы с подновленными голубой красочкой наличниками, ничего не делает, просто смотрит, как мы подходим к нему по заполоненной полынью и татарником деревенской улице. Он и сам еще крепок на вид — большерук, плечист,— но как-то весь запущен и, сдается, нечист. Борода с густой проседью и волосы на голове перепутаны, ворот рубахи-косоворотки засален дочерна, пиджачишко словно нарочно мят и валян в пыли, из рваного носка сапога торчит клок портянки.

— Здорово живешь, Кузьмич! — приветствует его Завьюжин.— Ну, как? Убрался с огородишком-то?

— А, это ты,— без всякого оживления отзывается хозяин.— Здорово. Капуста еще на корню, а остальную овощь всю убрал.

— Хозяин ты справный.

— Известно.

Пока они разговаривают так, я оглядываюсь вокруг. Некогда деревня была, наверно, дворов на двенадцать, но сейчас вразброс, далеко друг от друга, стоят лишь шесть заколоченных изб, седьмая — Кузьмича, и еще одну уже начали раскатывать по бревнышку на вывоз. Запустение. Сады в усадьбах выродились и одичали, только терновник, заглушив все остальное, разросся непролазной крепью.

— Не надумал к нам в поселок-то перебираться? — спрашивает Завьюжин.

— Зачем мне? — все так же равнодушно, как и встретил нас, отвечает хозяин.— Я землю люблю и никуды с нее не тронусь.

— Никуды-ы,— передразнивает Завьюжин.— А у нас не земля, что ли?

— У вас не та земля. На той земле мне неинтересно. У вас ведь как? Нынче тебя в сад посылают, завтра — на поле свеклу дергать, послезавтра еще куды-нибудь за-

тыркнут, и нет никакой отрады хозяйствовать на земле, понежить ее. Там у вас земля вроде бы своя, да не своя. Не будет у меня за нее душа болеть.

— Вот-вот! — начинает сердиться и напрягать голос Завьюжин.— Не в земле дело, милок Кузьмич, а возьми ты, к примеру, меня. Я что, не за совесть на совхозной земле семнадцать лет работал? Пенсию восемьдесят четыре целковых не за почетный труд получаю?

— Ты — одно, я — другое,— тянет Кузьмич, которому этот разговор, затеваемый, видимо, не впервые, кажется недостойным внимания.

— Ясно, ты — другое! — саркастически усмехается Завьюжин.— Ты тут, как вон тот тёрн, без пользы землю полонишь и сам задичал.

— Я тебя знаю,— неожиданно жалобным голосом говорит вдруг хозяин.— Тебе человека обидеть — первое удовольствие. Помирать ведь скоро будешь! Что перед богом-то скажешь?

— Уж чего-нибудь наплету. Ты об этом не пекись. Бога, вишь, вспомнил! — опять с сарказмом усмехнулся Завьюжин.— Совсем ты тут в уме подвинулся без людей-то.

— Почему без людей? Чай, со мной старуха.

— Одно название, что старуха. Совсем ветхая и не слышит ни черта. Ты хоть бы собаку завел.

— Была собака. В прошлом году с приезжими охотниками сбежала.

— Вот видишь.

— Что, видишь?

— Сбежала, говоришь, собака-то.

— Сбежала.

Привычка задираться и спорить, видимо, борется в Завьюжине с состраданием к Кузьмичу, в котором как-то мгновенно не осталось ничего от спокойно-самоуверенного, знающего себе цену хозяина, и старик мой некоторое время молча смотрел на него, потом миролюбиво спрашивает:

— Ну, а здоровье-то как?

— Вроде бы не слаб. Вот только по ночам зябну... Да и мерещится...

— Чего?

— Всякое... Особенно Кузька.

— Кто?

— Чертенок. Шустренький такой, пужливый, как мышонок. Разоруется — я ему только крикну: «Шалишь, Кузьма!» — он шмыг за занавеску и притаился. Я каждый вечер ему сахару на пол щиплю.

— Балуешь, значит?

— Любит. Отчего же и не побаловать.

Мы долго молчим. Как-то подавляют запущенный вид и полубредовые слова этого человека, чья великая и святая любовь к земле нелепым образом обернулась против него. Стоит только представить глухие осенние ночи в заброшенной деревне, где вокруг ни огня, ни звука, лишь неприкаянный ветер свистит в голых ветвях деревьев или позванивает в окна унылый дождь...

— Тоскливо, поди, здесь одному-то? — спрашиваю я, втайне надеясь на удовлетворительный ответ.

Напрасно! Кузьмич вновь обретает спокойный, уверенный тон и неторопливо возражает:

— Зачем? Мне тосковать неколи, я работник.

Завьюжин безнадежно машет рукой.

— Пойдем, однако. Ведь за делом пришли, а не лясы точить.

В терновых крепях действительно обилие ягод. Через полчаса выбираемся из зарослей с полными ведрами, все в паутине, исхлестанные, исцарапанные, со сведенными кислой судорогой ртами и опять идем мимо избы Кузьмича. Его уже нет на крыльце; через низкий плетешок видно, как он ходит по своему огороду, дерет грабельками с картофельника в кучу жухлую ботву — хозяин на своей земле...

— Вот так и живет. Вовсе несуразный мужик, — говорит со вздохом Завьюжин.

С полевой дороги я в последний раз оглядываюсь на деревню. Над соломенной крышей риги серыми хлопьями летают вороны, пенно вздымаются еще густые купы лип и вязов, и солнце — кроткое, ласковое солнце осени — глядит из синей глубины небес на этот отживающий мирок.

1972

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО

В Подмосковье, вблизи истока большой реки, есть санаторий для сердечников. Санаторий как санаторий: белый корпус о двух этажах, открытая веранда, щелканье бильярдных шаров в холле, запах пригорелой каши из кухни, баян, культурник Сеня в шелковой тенниске, скука.

Сюда-то и приехал в начале августа отставной полковник Иван Степанович Крестьянинов после тяжелой и долгой болезни. Первые дни он почти не покидал плетеную качалку на веранде; от слабости часто засыпал в ней, а проснувшись, не сразу приходил в себя и крепко тер лицо сухими ладонями, улыбаясь и растерянно и смущенно.

Через неделю главный врач назначил ему прогулки по маршруту на двести метров. Он спускался через темную ореховую рощу к реке, шел берегом до купальни пионерского лагеря, возвращался, отдыхая несколько раз на подъеме, и все думал о том,— думал иронически и грустно,— что эти педантично отсчитанные метры уже не имеют для него никакого значения. И если бы ему сказали, что жизнь, счеты с которой он считал поконченными, напоследок взбудоражит его душевным потрясением невероятной силы, он бы только так же иронически и грустно усмехнулся: «Разве что это сама костлявая?»

Стоял прекрасный август — один из тех, когда сухая палящая жара перемежается освежающими дождями с ворчуном-громом за горизонтом и все цветет, зреет сильно, ярко, благоуханно, обильно.

Иван Степанович Крестьянинов гулял уже по маршруту на шестьсот метров. К пижаме за свою военную жизнь он так и не удосужился привыкнуть, надевал теперь рубашку взаправку, отутюженные брюки на тугом ремне и этаким не потерявшим выправки молодцом с прямо посаженной серебристой головой шел по берегу, поигрывая тонкой ореховой палочкой.

Однажды, как обычно, собираясь гулять, он спустился по трем широким ступеням санаторного портала и остановился на секунду, чтобы потянуть остуженный недавним дождем, пахнущий грибами воздух. В то же самое время он увидел идущую мимо женщину с таким знакомым лицом, таким знакомым, близоруким прищуром, такой знакомой походкой, что замер на полувздохе и, не сознавая в испуге, что говорит вслух, спросил:

— Кто это?

Его сопалатник, читавший на лавочке под липой мокрую газету, усмехнулся.

— Ну, батенька, значит, окончательно ожили, если вас красивые женщины стали интересовать. Это жена главного.

— Невозможно... Извините...— пробормотал Иван Степанович.

Сопалатник вскинул на него поверх очков удивленный взгляд, но ответить ничего не успел, только плечом пожал: блажит-де старик, и опять углубился в газету, а Иван Степанович, сорвавшись с места, задыхаясь на быстром ходу, сдавленно крикнул вслед женщине:

— Да постой же! Это я!..

Она остановилась.

Она оглянулась.

Она близоруко прищурилась на него.

Она выговорила совсем неподходящее к случаю, нелепое слово:

— Подтяжечки...

И он увидел, как мертвеет ее еще такое яркое и свежее лицо.

Машинально они пошли прочь от санатория, от любопытных глаз, смятенные и подавленные. Наконец она спохватилась, что ему трудно поспевать за ней, обернулась, сжала ладонями его виски и заплакала. У Ивана Степановича тоже плыло и туманилось перед глазами ее лицо.

— Как же так? — сказал он.

— Я ничего не понимаю,— ответила она.— Ведь я сама видела на нем голубые подтяжечки... Я сама их видела!

— О чем ты?

— Погоди, все путается... Давай сядем где-нибудь, меня ноги не держат.

Они прошли еще немного по берегу и сели на врытую в землю скамью. На реке, смеясь, визжа и горланя, барахтались в своей купальне пионеры, вожатая что-то кричала им в мегафон, никому не было дела до старика и женщины, сидевших, казалось, в полной санаторной праздности на скамье под прибрежным осокорем.

— Сын? — отрывисто спросил Иван Степанович, низко наклоняя голову, словно подставляя еще под один, уже последний удар.

— Жив,— сказала она.— Работает в Мурманске, морской инженер.

— Невероятно...— прошептал Иван Степанович.

Она взяла его волосатую жилистую руку, прижала ее к своей щеке.

— В тот день, когда ты приказал женщинам и детям покинуть заставу... Который это был уже день?

— Девятый.

— Да, девятый день... Сколько дней вы еще держались?

— Четыре.

— Так вот, мы шли и все оглядывались на заставу. Там за дымом ничего не было видно, а наутро с высокого берега Буга увидели над заставой красный флаг и поняли, что вы еще держитесь. Смотрели на флаг и плакали, тискали плачущих ребятишек и никак не могли уйти, прятались в кустах. Ушли лишь ночью, когда флаг перестал быть виден. Вы все еще держались.

— Да, еще четыре дня держались,— машинально повторил Иван Степанович.— Потом меня ранило. И не знаю, сам я уполз в болото или кто-то из живых товарищей оттащил меня, только очнулся я уже в деревне. Там мне сказали, что женщин, которые ушли с заставы, немцы расстреляли, а детей увезли куда-то.

— Почти так,— сказала она.— Вышли мы удачно, нас спрятали у себя крестьяне, но потом все-таки какой-то подлец выдал немцам. Ты помнишь, что в первый день, когда начался артобстрел, я выскочила в одной рубашке, и все у меня сгорело вместе с нашим домом, и я надела свитер с убитого немецкого мотоциклиста из тех двоих, что, помнишь, нечаянно заскочили на заставу.

Так вот, они обвинили меня в том, будто я убила немецкого солдата, и повели на расстрел. Я отдала Вадика Дусе и Клаве... Помнишь их?.. И пошла. Меня поставили лицом к сараю, а потом вдруг схватили за плечи, повернули и повели на допрос к их офицеру. Почему-то до сих пор помню, что у него на пальце было кольцо с черепом... Там уже были Дуся и Клава... Он требовал, чтобы мы показали на заставу дорогу, которой вышли. Мы отвечали, что шли наугад и никакой дороги не знаем. Да, впрочем, так оно и было на самом деле. Несколько раз нас водили к сараю, а потом вдруг перестали, словно забыли, и мы поняли, что на заставе все кончено. Через несколько дней нас проводил туда старик, у которого мы прятались. Дусе некого уже было там искать, она осталась с детьми в деревне. А мы с Клавой пошли. Клава сразу нашла своего. Он был с отрубленными ногами, голова замотана шинелью. Мы сняли шинель, и Клава увидела бинты, которые сама накладывала на его рану. А тебя мы долго не могли найти, приходили на развалины заставы несколько раз, разрывали могильные холмы. Наконец в одной яме, куда были свалены и убитые лошади, нашли обезображенный труп... Документов в гимнастерке не нашли, но на нем были новые голубые подтяжки... Ты, наверное, уже не помнишь, что накануне налета ходил в баню, и я положила тебе в чемоданчик новые подтяжки. Ты их выкинул,

а я опять положила, и мы даже немного поссорились из-за них. Поэтому они мне запомнились, и я решила, что это ты.

Похоронила, несколько раз после войны ездила туда, на могилу...

Она опять прижалась щекой к его руке.

— Я потом сложными путями все-таки перешел через линию фронта,— сказал он,— пробовал наводить о тебе справки — ничего.

— Где же было найти! Я до сорок четвертого была в оккупации, потом поселилась вот здесь, работала поварихой. Тогда это был не санаторий, а госпиталь... Вадика я привезла из оккупации еле живого, и, скажу откровенно, если бы не моя работа на кухне, он вряд ли бы выжил.

— Он помнит меня?

— Нет. Но знает, что отец его погиб.

— У тебя есть еще дети?

— Да. Двое. А ты женат?

Он покачал головой:

— Так и не смог. Прожил было с женщиной около года, а потом оба почувствовали, что мы совершенно чужие друг другу, и разошлись.

— Ведь, наверно, тебе и стакан воды подать некому, когда заболеешь?

— Да, я сразу зову неотложку, и — в больницу.

Она заплакала, бормоча сквозь скомканный платок, которым зажимала рот, чтобы не разрыдаться:

— Что же нам делать?.. Что же нам делать?..

— Ну зачем ты, перестань,— ласково сказал он.— Что теперь поделаешь? Ничего делать не надо. Я уеду сегодня в Москву.

— Ты очень болен?

— Да.

— Позволь мне навещать тебя. Оставь адрес.

— Хорошо,— подумав, сказал он.— Только ничего никому не говори. Все должно остаться как есть.

— Я сама не своя сейчас... Я ничего не соображаю...

— Успокойся и подумай. Ведь у тебя еще двое, а я, не для жалких слов говорю, уже не жилец.

— Не надо так!

— Что уж там. Это правда.

В тот же день, сославшись главному врачу на «семейные обстоятельства», Иван Степанович уехал из санатория.

В Москве после санаторных приволий ему показалось

жарко и чадно, он плохо спал по ночам, садился в майке у открытого окна и, подставляя грудь потоку прохладного ночного воздуха, думал. Жена навсегда осталась в его памяти тоненькой, худоплечей девочкой с маленьким Вадиком на руках, какой он видел ее в последний раз, когда она покидала осажденную пограничную заставу, и теперь с чувством смущения и недовольства собой не находил в себе никакого чувства к ней, теперешней сильной, цветущей женщине, кроме прежнего чувства безнадежной утраты, которым раньше точила его мысль о ее смерти.

«Это, может быть, самое страшное, что накорежила проклятая война,— думал он.— Никто из нас не убит, но жизнь нашу она все-таки унесла... Где, где в этом мире ты, моя девочка, с маленьким сыном на руках?..»

Ночь помигивала в окно неяркими летними звездами; Ивану Степановичу становилось холодно, он кутал плечи одеялом и, согревшись, засыпал лишь незадолго перед самым рассветом.

Эти бессонницы изнуряли его, но в остальном он чувствовал себя сносно и дотянул так до осени, пока вдруг, казалось бы, пустячный случай опять не опрокинул его.

На завтрак и ужин он привык довольствоваться бутылкой кефира или стаканом чая с бутербродом, а обедал в столовой неподалеку от дома. Он так привязался к этой столовой, к ее сложным запахам из кухни, к ее кисейным занавесочкам, к одной и той же официантке в кружевной наколочке, к тусклой копии с фламандского натюрморта на стене, что, когда в конце лета столовую закрыли на ремонт, он не захотел изменить ей и готовил себе на обед сам какую-то ужасную стряпню из концентратов. Но вот столовая наконец открылась, и он с разочарованием, переходящим в брезгливое раздражение («Ох уж эти нововведения!»), не нашел в ней ничего от привычного. Исчезли занавесочки и салфеточки, исчез фламандский натюрморт, исчезла официантка в наколочке, и вместо запахов из кухни — запахов жареного лука и печеного теста — стало пахнуть от разноцветных пластмассовых столиков сальной мочалкой. Но главным, что вызвало его неудовольствие, было самообслуживание. Все приходилось тащить на стол сразу — и суп, и жаркое, и кофе, затем возвращать поднос, идти в буфет за минеральной водой, и при всем том у него начали дрожать руки, и он расплескивал суп и кофе по подносу.

Однажды он уронил поднос и, уже не владея собой, стал громко бранить новые порядки, а заодно и горнич-

пую, убиравшую битую посуду. Его посчитали пьяным; вышла из своего кабинета заведующая, холодно сказала:

— Пойдемте со мной.

«Упаду. Скандал»,— успел подумать он и повалился на подвинутый кем-то стул.

Через несколько дней он оправился и пожелал увидеть сына, мурманским адресом которого заручился еще раньше. Одевшись в свою безукоризненно отутюженную форму без погон, с колодками всех орденов и медалей, он приехал в такси на вокзал, купил билет, но, выбравшись из душной очереди у кассы, вдруг схватил за рукав милиционера и сказал:

— Скорей проводите меня в медпункт.

Там, на жестком, обитом холодным дерматином топчане он умер, прежде чем ему успели оказать какую-либо помощь.

1972

ЛИСТОПАД В БОЛЬНИЧНОМ ПАРКЕ

После жаркого лета встала какая-то медленная осень — в октябре деревья были еще зелеными, и тепленькие дождички стали выгонять на газонах иглы свежей травы. А потом вдруг вслед за тихой звездной ночью часа на три завернул сверкающий солнцем, инеем и перепончатым ледком лужиц утренник, и в больничном парке полетела, полетела золотой метелью листва вязов.

С непокрытой головой, завернувшись в теплый халат, чудесно было бродить в этой студеной свежести, в синеве, в золоте.

Здесь, за Сокольниками, было тихо. Трамвайный грохот Стромынки слышался лишь по вечерам отдаленным рокотом. Весь этот день сухой шорох палого листа стоял в парке, и под ногами гуляющих, под метлой дворника не утихал все тот же, похожий на шипение, шорох.

Не один я, пренебрегая режимом, не ушел после обеда на тихий час. Было жалко проспать этот час, быть может, единственного дня осени, одаренного теплом грустного октябрьского солнца. С десяток выздоравливающих сидели на лавочках и прохаживались в глубине парка, за виварием, где их не было видно из окон больничных кор-

пусов. Знаком мне был только актер театра кукол, маленький, широколобый, с заостренным к подбородку лицом человечек, с таким неожиданно низким для его телосложения голосом, что, не спрашивая, я знал, что в амплуа его должны были входить не иначе как волки, медведи, Бармалей и Карабас Барабас. Он сидел, завернувшись в длиннополый халат, а рядом с ним на лавочке, на подстилке из желтых листьев, лежала большая матово-зеленая кисть винограда. Актер не притрагивался к ней, и я догадывался, что виноград был припасен для маленькой обезьянки Мими из вивария.

Под виварий была оборудована церковь краснокирпичной кладки с голубыми изразцами над папертью. В давние времена здесь была богадельня, и у призретых в ней стариков имелась своя церковь. Со снятыми куполами, служа другому богу, стояла она и поныне, и такие же кирпичные корпуса больницы, и корявые, выше корпусов вязы парка были тоже от тех давних времен. Вязы старели. Сменить их должны были каштаны. Они уже вымахали в полколокольни, и прижившаяся здесь их южная красота вызывающе выступала темной сочной зеленью на фоне поблекших стариков вязов. В это жаркое лето каштаны, должно быть, буйно цвели, и теперь среди их лапастых листьев пряталось много плодовых шишек. За ними, досадливо нарушая тишину этого хрупкого дня, охотились трое парней в пижамах. Один из них, стоя в развилке дерева, колотил по тонким ветвям палкой, а двое других подбирали похожие на маленьких ёжиков шишки и со всей силой шлепали их о кирпичную стену вивария, чтобы расколоть и достать блестяще-коричневое налитое ядро.

Актер смотрел на парней и мученически кривил свое треугольное лицо. Вдруг он оживился, заерзал на лавочке и улыбнулся. С бокового крыльца вивария спускалась Настя-Кнопка, неся на руках обезьянку Мими, завернутую в полинявшее байковое одеяло.

Настю-Кнопку знали все выздоравливающие, со скуки навязчиво осаждавшие виварий, чтобы поглазеть на животных. Настя непреклонно стояла на страже покоя своих подопечных обезьян и кроликов, а слишком напористое любопытство пресекала таким крепким словцом, что одни — поделикатней — конфузились, другие — побойчей — давились хохотом и отступали. Лишь актеру было позволено иногда приносить для Настиной любимицы Мими что-нибудь из фруктов.

Хоть и говорится, что маленькая собачка до старости

щенок, Настя-Кнопка при всей ее точеной миниатюрности была все-таки рано состарившейся женщиной, и все женские ухищрения — крашенные в соломенный цвет волосы, подведенные брови и губы, серьги с красными стеклышками — делали ее только жалкой, а в глазах молодых парней и смешной. Наверно, они и прозвали Настю Кнопкой, затушевав этим прозвищем и ее отчество, и фамилию.

Спустившись с крыльца, она села рядом с актером и, выпрастывая из одеяла ручки Мими, сказала:

— Пусть понежится на солнышке. Зябнет. Никак нам еще не прогреют наши кирпичи.

Мими проворно схватила тонкой волосатой ручкой протянутую актером кисть винограда, но есть не стала, а вся зарылась в одеяло и, спрятав где-то там лакомство, снова высунула свою маленькую головку с плотно прижатыми ушами. Выражение мордочки у нее было грустное.

— В бананово-лимонном Сингапуре...— вздохнув, сказал густущим басом актер.— Откуда она?

— А кто ж знает? Должно, сухумская,— ответила Настя.

Она держала обезьянку бережно, как ребенка, и та жалась головкой к ее плечу.

— Жалеешь? — спросил актер.

— Люблю я их, хвостатых-мохнатых, балую,— сказала Настя и, протягивая руку, крикнула парням: — А дайте-ка нам, мальчики, орешков поиграть!

— Рублишко,— засмеялся парень с длинными мягкими локонами, изрядно засалившимися в больнице.

Он шутил, но было в его мгновенном, готовом ответе что-то затверженное, ставшее манерой — развязной, наглоатой — и шутка не получилась.

Настя опустила руку. От какого-то недуга руки у нее всегда мелко тряслись, тряслась и голова, приводя в дрожь все ее ранние складки на лице, а когда она сердилась, то начинала еще и заикаться.

— Д-дай,— сказала она.

Парень, конечно, понял, что шутка его, как говорят, не прозвучала, но, из упрямства и злясь то ли на себя, то ли на эту неприятно дрожащую Настю-Кнопку, он опять сказал, пересыпая каштаны с ладони на ладонь:

— Рублишко!

— Вот д-дурачок,— сказала Настя.

— Я? — ломался парень.— Грузины по четыре рубля за килограмм продают, а я мартышке отдай? Все равно

твою мартышку врачи замучают, а потом шприц в задницу и — привет.

— Д-дурак! Злой дурак! — взвизгнула Настя и, прижимая к себе обезьянку, путаясь в размотавшемся одеяле, бросилась на крыльцо.

О каменные ступени тяжело и мокро шлепнулась гроздь винограда. Все мы, оцепенев, молчали.

— Д-р-рянь! — на весь парк рявкнул актер.

Вокруг нас мгновенно стали собираться гуляющие.

— Кого ты обидел? — гремел актер. Он, может, рад был бы говорить тише, не привлекая всеобщего внимания, но это у него просто не получалось.— Тебя спрашиваю! Не прячь глаза! Кого ты обидел?

Парень натянуто улыбался. В нем, видимо, боролись смущение и давно усвоенная манера держаться независимо, напористо, нагловато.

— А что я ей такого сказал? — с усилием выдавил он.

Обращаясь уже не к нему, да, пожалуй, и вообще ни к кому из нас, актер медленно заговорил. Бас его спустился до предельных низов и был как рокот потока в глубоком ущелье.

— Представьте ее осьмнадцатилетней санитарочкой на фронте... Маленькая, щупленькая девочка... Сапожки тридцать второго размера на заказ... В Пинских болотах вытащила на себе из-под огня восемьдесят раненых. Последний сам тащил ее и подорвался на мине. С тех пор она трясется от контузии, не может ни писать, ни лекарства накапать, ни укол сделать и всю жизнь только ухаживала за больными, а теперь вот за животными, потому что уж и полный стакан чаю подать не может.

— Откуда вы это знаете? — спросил парень — не тот, что носил длинные локоны, а другой, что все еще стоял в развилке каштанового дерева.

— Знаю, и всё тут,— ответил актер.

— А может, враки? — усомнился теперь уже тот самый парень, с локонами.

Актер встал. Халат не по росту повис на нем чуть не до земли. Это делало маленького актера с его широким лбом похожим на бродячего античного мудреца в бедной тоге.

— У нее есть орден за этот подвиг. Единственный. Но зато главный, высший орден страны,— сказал он и мелкими шажками пошел по дорожке, выстланной желтой листвой старых вязов.

1972

САПОГИ

Начальник инженерно-геологической партии Косарев вылез из палатки и, любуясь эластичной игрой мускулов на своем торсе, стал делать утреннюю гимнастику.

Он был молод и еще не успел до конца переболеть обязательной, как корь, болезнью, симптомы которой состоят в навязчивом стремлении подвергать любое явление жизни пробе на вопросы «почему?» и «зачем?». Нагибаясь, приседая и подпрыгивая, он думал о том, почему настроение человека зависит от таких в сущности преходящих мелочей, как погода, сон, завтрак. Он отлично спал — недолго, но глухо, без сновидений, без проблеска сознания,— утро вставало над степью свежее, ясное, в сухом сверкании осеннего солнца, завтрак обещал быть гурманским — кумыс, мясо подстреленной вчера дрофы, растворимый кофе,— и вот настроение у него такое, что хочется рвануться в солнечную синеву небес и купаться в ней, как вон тот канюк, парящий высоко над палаточным лагерем.

Косарев упал на руки, чтобы тридцать раз отжаться от земли, и канюк, словно подражая ему, тоже ринулся к земле, заметив с подоблачных высот какую-то добычу.

— Ах, дуралей! — сказал Косарев, увидев, что канюк нырнул в заложенный геологами шурф.

Охотясь за змеями, эти птицы часто попадали в шурфы и бились там до изнеможения в тщетных усилиях расправить свои широкие крылья и снова взмыть в родную стихию небес. Тогда приходилось накидывать на пленника куртку, спускаться в шурф и помогать канюку выбраться на волю.

Косарев отжался тридцатый раз, поднялся и полез в палатку за курткой и сапогами. Без резиновых сапог в шурф спускаться было нельзя, потому что за ночь туда набивалось до десятка гадюк, которых надо было еще пришибить камнем или геологическим молотком на длинной ручке.

Куртку и молоток Косарев нашел, а сапог на месте не оказалось.

Он вспомнил, что вчера его заместитель по хозяйственной части Сосновка взял у него отслужившие срок носки сапоги, обещал принести новые и вот — не принес.

«Ну, почему людям непременно нужно напоминать об их прямых обязанностях?» — спросил себя Косарев, и настроение у него стало не совсем плохое, но все-таки хуже, чем давеча.

Сосновку он нашел в складе, где тот обычно ночевал, если с вечера поругался с женой. По той же причине завхоз, наверно, забыл и про сапоги.

— Сосновка,— сказал Косарев,— времени половина шестого, и, между прочим, дай мне сапоги. Взял вчера мои, а новые не принес. Почему?

— Одну минуту, Юрий Михалыч,— ответил сиплым со сна голосом завхоз.

Он долго зевал, потягивался, кряхтел, отплевывался, потом закурил, и Косарев, глядя на его серое даже под степным загаром лицо, думал:

«Ну, почему люди так наплевательски относятся к своему здоровью? Курят до завтрака, пренебрегают физическими упражнениями, ссорятся на ночь с женами, встают утром в дурном расположении духа... Почему?»

Он думал так, и настроение у него самого становилось от этих мыслей все хуже.

— Размер какой? — спросил Сосновка.

— Сорок первый...

Завхоз, согнувшись, ушел в глубь склада и вскоре вынес новенькие, в седой пыли талька сапоги.

— У меня, Юрий Михалыч,— сказал он,— накопилось пар тридцать списанных. Надо бы уничтожить, а то от них в складе не повернешься.

— Уничтожь. За чем же дело встало? — сказал Косарев.

— По инструкции положено в вашем присутствии.

— Ну, вот оно — мое присутствие. Валяй действуй, как положено,— усмехнулся Косарев, а про себя подумал, что на всякие пустяки зачем-то существуют специальные инструкции.

Сосновка опять ушел в склад и стал швырять оттуда сапоги, пока не нашвырял большую черную груду, зеркально поблескивающую на солнце глянцевыми голенищами. Потом он выкатил толстый чурбан, поставил его на торец, как плаху, и топором с широким лезвием стал в два удара отрубать сначала от головок носки, а потом головки от голенищ. Удары по резине получались плескучие, как пощечины. Изрубив пар десять, Сосновка сложил резиновую лапшу поодаль от склада в кучу и, полив из бутылки бензином, поджег. Черный вонючий дым

поплыл в сторону по легкому утреннему ветерку. Пламя в черном дыму билось оранжевое, зловещее, как на антивоенном плакате.

К складу за какой-то надобностью, а может быть, просто так, пришел наемный рабочий — старик Авдей Миронов. Когда он нанимался на работу, его из-за ветхости не хотели брать, но он вырвал у молодого парня лопату и стал копать, да так споровисто и неутомимо, что к обеду вынул из шурфа земли больше всех. Он был махонький, этот старик, с гнутой, как серп, спиной и длинными толстыми руками.

— Здорово живете, начальник,— сказал он.— Эко товару-то сколь накидали — купцы!

Он поднял из груды один сапог и стал вертеть его у подслеповатых глаз, щупать, пощелкивать по подошве. Сапог был целехонек, как, впрочем, и все остальные. Сосновка тем временем опять принялся за свое занятие — стукнул топором раз, и отскочила чашечка носка, стукнул два, и отвалилась, похожая на колено трубы, головка.

Видно, только теперь Авдей Миронов уяснил смысл происходящего. Он прижал ко груди сапог и в изумлении посмотрел на орудующего топором Сосновку, а потом на Косарева, точно недоумевая, почему начальник не остановит завхоза, который не иначе как сбесился. И Косарев под этим взглядом вдруг как бы со стороны увидел и себя, и палачествующего Сосновку, и этот инквизиторский костер, и нелепость того, что здесь делалось, стала ему до обескураженности очевидной.

— Они что — сапоги-то... Заразные, что ли? — неуверенно спросил Авдей Миронов.

— Какого еще черта — заразные,— прикрякнув, ответил Сосновка.— Вышел им срок носки, и — под топор.

— Дык ведь прочные совсем сапоги!..

— Прочные не прочные, вышел срок носки — подлежат по инструкции уничтожению.

— Ты погоди, милок,— быстро заговорил Авдей Миронов, придерживая занесенную руку Сосновки.— Ты, милок, отдай их мне... Я в них полсела обую, в поле ходить... К нам их не привозят, сапоги-то... Зачем же добро под топор?

«Да, зачем?» — спросил себя Косарев и, морщась, сказал вслух:

— Ты, Сосновка, и верно, отдай-ка сапоги старику, пусть в село унесет.

— Нельзя, Юрий Михалыч,— возразил завхоз.— По инструкции мы не имеем такого права.

— Почему?

— А я знаю?

— Ну, продай,— настаивал Авдей Миронов.

— Еще хуже придумал! Не могу, дед... Да отпусти ты руку-то мою, черт двужильный! Впился, словно клешней,— отбивался от него Сосновка.

— Хоть одну пару продай!

— Уйди!

— Сосновка,— опять вмешался Косарев, но уже не так уверенно.— Отдай, право, ну их к черту...

— Да что вы, Юрий Михалыч! — взмолился завхоз.— Порядка не знаете? Я раз вот так же на Кольском раздал валенки, а потом пошел слух, будто я их пропил... Выговор по партийной линии схлопотал, едва под суд не угодил... Хватит с меня, учен...— Он вдруг криво усмехнулся в сторону Авдея Миронова и прибавил:

— Ты лучше укради, дед. Хватай пару и тикай на полусогнутых. Мы глаза закроем.

— Вот и вышел дурак,— без злобы, но угрюмо сказал старик.— В мальчишестве на ярмарке украл глиняный свисток — до сих пор ухи горят.

Он бросил в кучу сапог, который все еще прижимал одной рукой ко груди, и отошел в сторону.

— Кончай, что ли,— раздраженно сказал Косарев и почувствовал, что от его хорошего настроения не осталось и следа.

Когда обрубки последнего сапога были брошены в костер, он вспомнил о капюке, попавшем в шурф, и пошел вытаскивать его. Геологи берегли этих птиц, помогавших им бороться со змеями. Шел он и в утешение себе думал о том, что скоро сюда придут строители и возведут большой новый завод и что такие мелочи, как поношенные сапоги, не стоят того, чтобы из-за них портилось настроение.

Но оно все-таки было у него испорчено...

Отойдя шагов на двадцать, он оглянулся. Сосновки не было,— должно быть, ушел в склад, а старик Авдей Миронов сутуло стоял над костром и, видимо, в знак порицания содеянного над сапогами злодейства мочился в черный дым и оранжевый огонь.

1972

СОЛИСТ

Мы слушали очень хорошего певца и вышли из зала притихшие, боясь расплескать то сложное настроение восторга, грусти, окрыленности, какое способна создать только музыка.

Был тихий морозный вечер. Острый пушок инея игольчато сверкал на тротуарах, крышах, заборах, фонарных столбах. Фонари висели в темном воздухе, как огромные фиолетовые пузыри. Замерзшие окна троллейбусов светились изнутри рыже и тускло.

Кто-то один из нас вздохнул, и, вторя ему, все тоже дружно вздохнули.

— Если бы у меня был голос! — сказала женщина, любившая попеть слабым, еле слышным голоском для себя, когда шила, или готовила обед, или в нестройном хоре праздничной компании.— Если бы мне голос, я бы охотно пела людям, где только можно. Без просьб, без уговоров, без бисов, без аплодисментов... Пусть меня ненадолго хватило бы, но я пела бы всюду — на сценах, площадях, в ресторанах, с балконов...

— Да, это, пожалуй, счастье — петь людям и видеть, что голос твой находит отзвук в их душах.

Это сказал сослуживец той женщины — невысокий застенчивый человек в большой мохнатой шапке, точно придавившей его своей громадностью,— и, видно почувствовав несоответствие своего облика с высокой патетикой сказанных слов, добавил смущенно:

— Эко я кудряво загнул.

Мы опять шли молча, прислушиваясь к себе и к хрусту инея под ногами, потом тот самый маленький человек в шапке задумчиво сказал женщине:

— А может, одного голоса-то и мало... Вот я давеча в зале видел слезки у вас на глазах, и за это певцу честь и хвала. Но, пожалуй, даже этот народный певец не может похвастаться таким успехом, какой имел однажды многогрешный.

Мы остановились, точно враз примерзли к тротуару.

— Ну, уж вы того...

— Как это?

— Когда?

— Вы?..

— Представьте себе, я,— сказал человек в шапке.— Многие ли сегодня в зале плакали? Вот вы, ну еще, может

быть, три-четыре чувствительные дамочки. А я однажды вызвал слезы всего зала. Там было больше трехсот женщин — и все не просто тихо пускали слезу в платочек, а рыдали откровенно и громко.

— Ну, это уж похороны какие-то,— сказал один из нас.

— Никакие не похороны, а обыкновенный концерт самодеятельности в фабричном клубе. Мне тогда было лет девять, и жил я с матерью в ткацком поселке. Маленьком таком, глухом, с одной фабрикой и станцией, где останавливался один поезд в сутки. Ну, сами догадываетесь, война тогда была. Поселок затемнен, холодно, голодно, ткачихи по двенадцать — восемнадцать часов из цехов не выходят... Ветер, помню, в этом поселке как-то особенно уныло свистел, подлец. Там росли высокие тонкие сосны, вот он на них и выводил, как на тоскливых струнах... Клуб был — кубическое, очень неуютное сооружение. Не отапливалось, конечно. И вот там наша школьная самодеятельность давала концерт. Собрались ткачихи — полный зал, сидели в пальто, в платках. Мужчин — ни одного. Воздух в клубе от дыхания отсырел, и пахнуть стало, как в ткацком цехе,— жирной влагой, хлопчаткой. Старшеклассники разыграли какую-то партизанскую пьеску, спели про синий платочек, поплясали, а потом вышел на сцену я. Что такое было тогда это «я»? Востроносая сипюшная рожица, тонкая шея в хомуте широченного воротника, огромные валенки с голенищами раструбом... Петь мне нужно было какую-то артековскую песенку, слова которой и сейчас не помню и тогда забыл, как только очутился перед залом. Учительница пения пробренчала на промерзшем клубном роялишке вступление, а я молчу. Она опять дала вступление — молчу. Учительница старается подсказать мне слова, шипит что-то по-гусиному, но я уж ничего не воспринимаю, обалдел совсем от стыда и вдруг, не знаю сам как, запел без сопровождения первое, что пришло в голову: «Позабыт, позаброшен, с молодых-юных лет я остался сиротою, счастья-доли мне нет...» Учительница убежала. В зале тишина стоит мертвая, и только голосочек мой слабенько вызванивает: «Вот умру я, умру...» Слышу, в зале женщины начали всхлипывать, а когда я спел про могилку, на которую, знать, никто не придет, ударились все в голос. Никаких аплодисментов мне не было и бисов не было, но знаете, что женщины кричали из зала? «Ничего,— кричат,— малец, не пропадешь с нами, прокормим, не бросим...» И все в таком духе. Мы с матерью были эвакуированные, почти никто не знал нас в

поселке, и ткачихи приняли меня за настоящего сироту. Вот вам и голос... Не голос пел, а горе. А оно жило тогда в каждом сердце...

Он замолчал и, так как мы продолжали идти молча, воскликнул, видимо желая привлечь наше внимание к главному в своем рассказе:

— А женщины-то! Ткачихи-то! Не бросим,— кричат, прокормим... Каковы, а?

1972

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Приближение болезни я почувствовал еще в пути, и когда вышел из вагона у деревянного вокзала маленького северного городка, то уже знал, что мне не избежать больничной койки.

Больница была тоже деревянной. Серые, некрашеные бревна ее построек казались какими-то скитами и должны были действовать удручающе не только на больного человека, но и на здорового. И короткие дни северной зимы тоже были серы, мглисты, мутны, точно окна снаружи занавешивались грязными простынями.

Сколько насчитал я этих тягучих, как резина, дней,— несть числа!

Но по календарю на юге уже была весна и двигалась, подтачивая снега, озаряя небо синью марта, накаляя добела солнце, двигалась на крыльях теплых ветров к маленькому северному городку.

В один из ясных мартовских дней мне было позволено гулять. Необыкновенной радостью вдруг обернулись в этот день самые обычные вещи. Приятен был запах бобрового воротника на легком морозе, скрип досок на промерзшем крыльце, вороний, уже совсем по-весеннему хриплый, кар, и сверканье первой тоненькой сосульки на водосточной трубе, и особая встревоженность разномастных собак, рыскавших по больничному двору в поисках объедков... Но еще большей радостью пронизывало сознание выздоровления, входившего, казалось, в меня с каждым глотком чистого колкого воздуха.

Больница стояла на окраине города. Город жил лесом и поэтому давно уже свел лес на много километров вокруг, и теперь сверкающая снежная равнина лежала пе-

редо мной насколько хватало глаз. Точно поредевшее войско деда-мороза, толпились где-то низенькие пеньки под круглыми снежными шапками.

Я спустился с крыльца и, повернув за угол, увидел старика в нагольном, узко приталенном полушубочке, заячьей шапке и высоких валенках. Белая борода его золотисто сквозила на солнце. Мне, давно уже не говорившему ни с кем, кроме врачей, сестер, санитарок и больных, захотелось переброситься хоть несколькими словами со свежим человеком, и я сказал:

— Здравствуй, дедушка. День-то какой славный, а?

— Чистый денек, прямо — хрусталинка,— улыбнулся старик.

Улыбки его не было видно в бороде, но она так и брызнула из его зеленых от этого обилия света глаз.

— На пенсии уже, наверно, дедушка?

— Пенсия пенсией,— все так же сияя глазами, сказал старик,— а я еще тружусь.

— Где же?

— А на поприще продления рода человеческого.

— Это как же прикажешь понимать тебя — буквально или иносказательно?

— Как ни на есть буквально.

— Не пойму я что-то, дед.

— Проще простого понять. Истопник я в родильном доме. Вот и выходит, что тружусь на поприще продления рода человеческого. Понял теперь?

Ах, лукавый старик! Весь день я пересказывал наш разговор больным в палате, а когда приходила сестра, меня заставляли пересказывать ей, потом — врачу, потом — санитаркам, и у всех в палате было такое ощущение, что собрала нас здесь не болезнь, а случайное недоразумение, которое вот-вот должно разрешиться, и мы вернемся в этот сияющий мартовской синевой и солнцем мир.

1972

ПОД СТАРЫМИ ТОПОЛЯМИ

Старые тополя на бульваре моего родного города всегда вызывают у меня воспоминания о далеком прошлом, и не потому ли я так люблю побродить по бульвару, особенно в ранний утренний час, когда влажный воздух про-

питан запахом тополиной листвы. Ведь мир воспоминаний населен людьми и наполнен событиями не менее интересными и значительными, чем день бегущий. В воспоминаниях друзей и близких бессмертен человек. Воспоминания неистребимы, даже если уже исчезли с лица земли люди, дела и вещи, вызвавшие их к жизни.

В этот раз, приехав в К., я мельком увидел на бульваре двух знакомых людей, с которыми, по сути дела, не был знаком, но так часто встречал их в прошлые годы, что в представлении моем они были неотделимы от города, как часть его истории.

Они стали старше на тридцать лет, оба заметно потучнели, обрели плавную неторопливость в походке и прочное спокойствие в выражении лиц. У него на воротничок рубашки набегала толстая складка шеи, было бело-розовое лицо здорового, трезвого и некурящего человека, в одежде бросалась в глаза подчеркнутая чистота и аккуратность. Она же — эдакая крупная, красивая полнотелой красотой женщина, медленная и даже величавая — спокойно глядела перед собой кустодиевским взглядом.

Рукава его пиджака, застегнутого на все три пуговицы, были, как и прежде, засунуты в карманы. Он не носил протезы.

Даже через тридцать лет память легко подсказала историю этих людей. Перед войной они, может быть, единственный раз поцеловались на школьном вечере где-нибудь в залитом лунным светом коридоре или под этими вспотевшими листвой тополями. На фронт она написала ему два письма — он не ответил.

Когда вскоре он вернулся в город без обеих рук, она пришла к нему и сказала, что никогда не уйдет. Он прогонял ее; нарочно, чтобы обидеть, ругал самыми бранными словами, бился головой о стену, истерически вопя, что лучше убьет себя, чем позволит ей ухаживать за ним. Но она не ушла.

На первых порах ей, семнадцатилетней девочке, любившей романы Тургенева и разводившей у себя во дворе пионы и георгины редких сортов и необыкновенной красоты, пришлось справлять за ним весь грязный уход. Это было, наверное, тяжелым испытанием, тем более что он ощетинивался против любого проявления ее заботливости. А сам в это время бегал к хирургам по госпиталям, которые тогда были размещены почти во всех школах города.

Каким-то непостижимым хирургическим волшебством

приспособленные сначала держать ложку, его короткие культышки со временем оказались способными держать и рейсфедер. Он стал работать на заводе чертежником, калькировал медленно, но аккуратно и точно, и ему поручали неспешную, но особо тонкую работу.

Узнал я, что работает он там и поныне.

Мы восхищаемся красотою подвига-порыва, но есть неэффектный внешне подвиг самоотверженной любви на всю жизнь, за который люди еще не придумали награды...

1973

ВЕСНА, СТАРЫЙ ПИСАТЕЛЬ, МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК И РЫЖАЯ СОБАКА

Этот маленький случай в жизни маленького мальчика произошел ранней весной, когда на осевшей под первым теплым лучом дороге появился первый грач.

Утром сквозь частый березняк желто светило па снег туманное солнце, и в колеях дороги, в каждой впадинке, за каждым комком лежали синие тени. Все это мальчик увидел через оттаявшее окно избы. Зимой стекла были сплошь покрыты лапастыми морозными узорами, и за ними ничего не было видно, а в это лучезарное утро вдруг открылась вся холмистая снежная даль, широкая деревенская улица, прямые медленные дымы над крышами, молодой тополек, золотившийся каждой своей почкой, и большой блестяще-черный, с седым носом грач, долбивший на дороге навозные комки.

Мальчик еще не ходил в школу, и делать ему было нечего. Одевшись, крепко подпоясавшись по шубенке широким армейским ремнем, он вышел на улицу. В деревне у него был друг — старый писатель в сверкающих золотой оправой очках. Он жил здесь и прошлым летом, дарил мальчику рыболовные крючки-заглотыши, длинные перяные поплавки, крепкую леску-жилку, и они подружились. Мальчику нравилось, что писатель держался с ним, как с равным. Он, мальчик, даже покровительствовал ему в той жизни, которую они вели на берегу реки, в лесу, в лугах, показывая дорогу к рыбным заводям, луговым озеркам, малинникам и грибным местам. И теперь нужно

было поскорей сказать писателю о том, что прилетели грачи.

Мальчик вошел к нему без стука. Писатель повернулся на скрипучем стуле, медленно снял очки и, сведя густые брови, сказал:

— Я же запретил тебе беспокоить меня по утрам.

— Прилетели грачи,— не смутившись, сказал мальчик.

— Это другое дело.

Писатель встал. Он был невысокий, с крутой спиной и тонкими ногами, свободно болтавшимися в раструбах поношенных валенок. Одеваясь, он по-стариковски кинул полушубок сначала на спину, потом трудно полез в рукава.

Мальчику всегда становилось жалко его, если приходилось замечать, как он стар. Почему-то особенно тяжело ему было видеть, как писатель наматывает на шею длинный узкий шарф — наматывает и наматывает окостенелыми руками, пока не останется маленький кончик, который будет торчать у него из-за воротника на затылке. Мальчик даже плакал перед сном в постели, когда вспоминал этот шарф; ему казалось, что ночь и холод за окном никогда не пройдут и люди больше не увидят друг друга в этой ледяной тьме.

Он и сейчас отвернулся, чтобы не видеть, как писатель будет наматывать шарф, но золотисто-голубое сияние мартовского дня уже померкло для него, и ему хотелось плакать.

— Пойдем,— сказал писатель.

В сенях им под ноги радостно кинулась рыжая собака.

— Пойдем,— сказал и ей писатель.

И все трое спустились по мокрым обтаявшим ступеням крыльца. От собаки в теплом влажном воздухе сразу густо запахло псиной; сырно и кисло запахло от нового полушубка писателя. Мальчик показал рукой вдоль широкой, как площадь, улицы:

— Он там.

Они пошли по тропе между высокими сугробами, и синие изломанные тени двигались вместе с ними. Тропа была такая узкая, что идти приходилось друг за другом. Мальчик волей-неволей видел кончик шарфа на затылке писателя и чувствовал в горле тугую слезную судорогу. Он завидовал собаке, которая беспечно и резво бежала впереди всех, на бегу хватая зубами мокрый снег. Она не

понимала, что хозяин ее стар, что когда он кончит свою работу и уедет в город, то вряд ли уже вернется сюда, в деревню среди ржаных полей и березовых перелесков, к маленькому мальчику, который так любит его.

Грача не оказалось на прежнем месте. От этого мальчику сделалось так обидно, что он наконец не сдержался и заплакал.

— О чем ты? — спросил писатель.

Но мальчик был не в силах выразить словами то, что неясно и тяжко гнело его. Он сказал только:

— Ты уже кончил свою работу?

Писатель умел угадывать в словах большее, чем они значили сами по себе.

— Да,— сказал он,— я скоро уеду, но ты не горюй, мы опять увидимся с тобой.

— Нет,— потупившись, сказал мальчик.— Ты очень старый.

— А-а, вон оно что! Вытри слезы.

Они пошли дальше, туда, где в проеме улицы сияли чистые снега полей и на них ощутимо лежала толща голубого мартовского воздуха. За деревней, прислонившись к пряслам, писатель долго молчал. С тихим звоном рушились под напором солнца сугробы в полях, и дрожащий фиолетовый прозрачный пар поднимался над березовыми перелесками, пробудившимися к сокодвижению. Было тепло здесь, на угреве, присмиревшая собака села у ног хозяина; по каштановой шерсти ее лились золотые солнечные блики. Мальчик тоже затих; лишь изредка прерывистый вздох — последыш плача — сотрясал под шубенкой его тело.

— Я скажу тебе,— заговорил писатель,— скажу тебе то, что ты, быть может, не осилишь сейчас ни душой, ни разумом, но со временем обязательно поймешь, если не будешь жить по гнусному закону эгоизма. Жизнь моя прошла, как большой праздник. Я радовался тому, что принимал от природы и людей, и еще больше радовался тому, что отдавал людям. Уходя, я оставляю им все и через это остаюсь вместе с ними. Будешь ли ты писать книги или пахать землю, делай это не для себя, а для них, и никогда глухое отчаяние конца не сожмет твое сердце, потому что ты будешь знать, как знаю и я, что сотворенное тобой возродится в новой жизни — в новых людях, деревьях, цветах, птицах и зверях...

— И в собаке? — спросил мальчик.

— И в собаке,— улыбнулся писатель.— А вообще-то,

все, что я наговорил тебе, давно уже сказано проще: помирать собираешься — рожь сей.

Мальчик по-своему все понял. Он в последний раз прерывисто вздохнул и сказал:

— Я тоже заведу себе такую собаку, чтобы и у меня собака была.

— И правильно,— одобрил его писатель.

Ничего особенного не случилось в это утро: опять, как вечно, синим мартовским светом весна заглянула в глаза всему живому.

1973

СОДЕРЖАНИЕ

Никитин С. К.

Н62 Повести и рассказы. / Предисл. В. Соколова; Сост. и подгот. текста К. Никитиной.— М.: Худож. лит., 1989.—527 с.

ISBN 5—280—00520—7

Творчество Сергея Константиновича Никитина (1926—1973) представлено в однотомнике его лучшими произведениями.

$Н\frac{4702010201-178}{028(01)-89}$ 20—89 **ББК 84Р7**

Сергей Константинович

НИКИТИН

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Редакторы *Н. Иванова, Е. Федорова*

Художественный редактор *И. Сальникова*

Технический редактор *О. Ярославцева*

Корректоры *Н. Яковлева, Л. Лобанова*

ИБ № 5463

Сдано в набор 25.07.88. Подписано к печати 26.12.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,72. Уч.-изд. л. 29,99. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3219. Заказ № 3999. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]